

АЛЕСЬ
АДАМОВИЧ

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ
ТОМАХ

ТОМ

4

Каратели

[Радость ножа, или Жизнеописание
гипербореев]

**Публицистика
и критика**

70-х — начала 80-х годов



P2
A28

A 4702010200—147 подписное
M302(05)—83

© Издательство «Мастацкая
літаратура», 1983.

Каратели

**(Радость ножа,
или Жизнеописания
гипербореев)**

*Александру Михайловичу Адамовичу
за повесть «Каратели»
присуждена Рабочая премия
Нурекской ГЭС 1980 года.*

Гипербореи, гиперборейцы — в древнегреческой мифологии — обитатели Крайнего Севера (куда не донесет холодный ветер Борей, на границе нашего мира с миром антиподов), а по представлению некоторых античных авторов — это народ, живший в середине первого тысячелетия до н. э. на Востоке, в Азии.

У Фридриха Ницше: «Обратимся к себе. Мы — гипербореи, мы достаточно хорошо знаем, как далеко в стороне мы живем от других. «Ни землей, ни водой ты не найдешь путь к гиперборейцам», — так понимал нас еще Пиндар. По ту сторону севера, льда, смерти — наша жизнь, наше счастье. Мы открыли счастье, мы знаем путь, мы нашли выход из целых тысячелетий лабиринта... Нет ничего более нездорового среди нашей нездоровой современности, как христианское страдание. Здесь быть врачом, здесь быть неумолимым, здесь действовать ножом — это надлежит нам, это наш род любви к человеку, с которым живем мы — философы, мы — гипербореи...

В единичных случаях на различных территориях земного шара и среди различных культур удается проявление того, что фактически представляет собой высший тип, что по отношению к целому человечеству представляет род сверхчеловека. Такие счастливые случайности всегда бывали и всегда могут быть возможны. И при благоприятных обстоятельствах такими удачными могут быть целые поколения, племена, народы».

Лев Толстой:

«Если можно признать, что что бы то ни было важнее чувства человеколюбия, хоть на один час и хоть

в каком-нибудь одном, исключительном случае, то нет преступления, которое нельзя было бы совершить над людьми, не считая себя виноватым...»

ЧЕМ ВЫШЕ ОБЕЗЬЯНА ВЗБИРАЕТСЯ ПО ДЕРЕВУ...

Анна Шикльгрубер, служанка, незамужняя, родила Алоиса, которого усыновил человек без определенных занятий Джон Георг Гидлер: Алоис Гидлер и Клара родили Адольфа... Адольф Шикльгрубер-Гитлер родился в австрийском городе Браунау 20 апреля 1889 года.

Особые приметы: хорошая память, плохие зубы.

...Он плакал во сне, проснулся от одиночества, тоски. Открыл глаза и вспомнил, что заболел: перед тем как заболеть, всегда плачет во сне. В большой, отделанной деревом и задрапированной теплыми коврами бетонной спальне он был один. Никого не хотелось видеть. А его ждут: там уже собрались, с 16.30 его ожидают начальники штабов — сухопутных войск, военно-воздушных, морских. И «человек № 2», «человек № 3», «№ 4», «№ 5» — все, сколько их есть пронумерованных, себя пронумеровавших. Смотрят на разложенную на столе карту, развязно болтают, обсуждают положение на юге, осторожно посматривают на единственный стул и стараются угадать Его сегодняшние мысли, решения.

Думать о себе, как о Нем, видеть себя, как Его, давно стало привычкой Адольфа Шикльгрубера-Гитлера. На Него и сам уже может смотреть со стороны, но не снизу вверх, как другие обязаны, а скорее — как очень заботливый, хотя и бесцеремонный денщик. Которому все кажется, что хозяин без него не то и не так сделает и тем повредит своей репутации. «Ну, что у Тебя рука эта все дрожит, попридержи правой, если дрожит!.. Ну, что Ты так засмутился, уставился в свою бумагу?! Может, еще очки достанешь, на нос посадишь — при всех?!

Крикни! Громко выкрикни — неважно что! — и пойдет. Сразу узнают тебя, обрадуются...»

До трех утра не спал, выслушивал вечерние донесения офицеров-оперативников: о неожиданно широ-

ких действиях русских на Харьковском направлении. Неужели догадываются, что не Москва, а юг главное направление?.. Хотят опередить, ослабить Твой удар. Поздно! Такого, упреждающего, боялся — кошмары мучили! — в тридцать девятом, сороковом. Вдруг вырвутся на европейские бетонные дороги! Пока их обратно загнали бы, все израсходовали бы: накопленные боеприпасы, бензин, время. Главное — время! И при этом не давать им чему-то научиться, воевать научиться: разгрызть по одному, главное, по одному! Те самые генералы, которые дрожали перед азиатскими просторами и хитростью Сталина, потом, друг друга толкая, спешили сообщить, как все удачно и по плану идет. И даже лучше, чем планировалось. Никто не мог рассчитывать на внезапность тактическую. Стратегическую — понятно, этого добиться некоторым удавалось, если какое-то государство взялось раньше и действует энергичнее. Но чтобы сегодняшней противник ничего не замечал до последнего дня, когда современная военная машина такая громоздкая, звучная!

Или они действительно не верили, не хотели верить собственным глазам и ушам?

Вот уж действительно: если Провидение решило погубить, оно прежде ослепит. Зато, если изберет кого, не пожалеет знаков.

Их было столько все эти годы, знаков, — и на востоке, и на западе...

Но вот этот сон, и снова слезы, давние, детские слезы — уводящие далеко назад, где не было Фюрера, а если и был, никто этого не знал. И знать не хотели! Не было Фюрера, но были тоже планы и мечты — всегда о великом. Художника Гитлера мечты, который всем им докажет, заставит приползти к ноге — всех, кто знать не хотел его... Который стоял у изголовья умирающей и уже знал, что умирает Мать Избранного. Под призрением «доктора для бедных», еврея Эдуарда Блоха, умирала Мать Фюрера!.. Интересно, сберег доктор Блох картину, подаренную ему после похорон? Теперь эта акварель — его талисман! Сколько раз ни наступала бы германская армия еврея Блоха, Эдуарда Блоха из австрийского города Линца, куда бы ни переезжал он — будет, как было в 1938-м. Далекая и вседержущая рука откроет ему дверь в соседнюю страну.

И снова в соседнюю. Пока существуют соседние страны.

Возможно, Эдуард Блох и будет последний еврей в Европе, потом в Америке, потом в Азии, в Австралии...

Ни к чему теперь болезнь, а Ты обязательно разболеешься — нашел время! Возьми, возьми в руки себя. Нужна ясная голова — это наступление должно все выправить. Зима показала: положиться не на кого. И больше всего злит, когда начинают бормотать, будто Ты не говорил им, не было этого, не предупреждал, не указывал заранее! Пусть, пусть снова сидит Людвиг Кригер и все записывает, чтобы не могли отпереться, когда И с т о р и я будет подводить итоги. Можно подумать, что Ты не вбивал всем в башку, не повторял сто раз: не Москва, не Москва, не Москва! Главная цель — юг, промышленность и нефть юга!.. Так нет же, каждому хотелось обскакать Наполеона. А что бензина осталось на один месяц — это не их, не генеральская забота. Затащили армии в снега, на погибель!.. А потом готовы были бежать, как тот самый корсиканец, до Березины и дальше. И побежали бы, если бы не взял армию в собственные руки и не превратил русские «котлы» в немецкие крепости. Сколько ни смещай этих Беков, этих Браухичей — все они одной кости, и для них ты «гефрайтер», даже не унтер-офицерский чин. Как бы громко, каким бы сладким хором ни повторяли: «мой фюрер!» Вот отдал бы я тогда армию капитану Рему, он бы вас всех подравнял, подстриг под СА! А может, зря, зря не отдал?! Ха, вон как удивились и скрыть не смогли удивления, обиды, что «гефрайтер» отшвырнул их бездарную директиву и написал свою — о наступлении на Кавказ, на Сталинград. Как же, их наукам не учился — списывать у Клаузевица, Мольтке, Шлиффена, а лезет в их святая святых! И никак не привыкнут, что нет больше военного министерства и привычного генерального штаба. Вот где было бы не продохнуть от генеральской спеси! Никак не усвоят, что главный фактор — то, что генерирует гений фюрера, а не их штабные линейки. Я и сам не могу объяснить, как это исходит из меня, но разве мало доказательств! Она в учебники войдет, № 41 — решающая директива о решающей битве! Пока Сталин дожидался нового наступления на Москву

(далась она им всем, и моим тоже!), я перережу России жилы. Сначала на юге. Потом Мурманскую дорогу. Москва и повиснет — в пустоте. Пыль и кровавое месиво! Не нужна мне Москва. Как и Петербург не нужен. Пусть содрогнется мир: я с корнем вырву два ноющих зуба Европы. В Гималаях эхо отзовется. Впереди — Иран, Ирак, Египет, Индия... И Тибет! Наконец-то никто не будет стоять между мной и Ними!..

Холодная, скользко вогнутая, замкнутая Вселенная, а в ней солнечно освещенная ниша. Как стеклянная мухоловка. Стенки из синего бесконечного льда. Там, снаружи, — Их глаза. В круглой нише, внутри ледяной Вселенной ползают по изогнутой стенке те, кто называют себя людьми. (И воображают, что они не внутри шара, а на поверхности — «на планете».) Снаружи — Они! Глаза льда. Нет, огненные Глаза! Я, только я вижу Их. О, нелегко было выманить Их из тысячелетней дали и выси! И остановить, удержать на себе. На Германии. Мои людендорфы думают, что под Москвой меня русские остановили. Нет, меня, нас о с т а в и л и Они! Отвели Глаза в сторону, и лед пополз, стал побеждать. Огонь отступил. Отвернулись на миг, чтобы мы ощутили, что с нами будет, если оставят нас совсем. Как его оставили, отдав в мои руки. Не сибирские дивизии и не Америка страшить должны, а Их гнев. И не гнев это, а внезапное безразличие, отсутствие. Их нет, и лед наступает на нишу. Надо быть Их огнем, Их гневом и ужасом, и тогда Глаза снова смотрят, ждут, требуют. И все идет, как предсказывал я. В этом еще раз все убедятся, когда заработает директива 41, победоносно двинется шестая армия, направляемая моим шестым чувством. Любопытное совпадение!.. Вот наше главное оружие, секретное, им владеет Германия, пока есть я. Только пока я есть. Пора наконец понять простую истину: Фюрер хорош не потому, что хорош, а потому что есть и он незаменим. Попрекают меня импровизаторством. Меня! — эти бумажные черви в мундирах, которые я же им и вернул. Я, «гефрайтер», «младший чин», вернул им генеральские, фельдмаршальские погоны!.. Вернул Германии оружие. Но они все еще Клаузевицем живут, война для них — служанка политики, и только. А политика по их книжонкам и понятиям — наука всего лишь о воз-

можно. О «возможном»! Тоже мне наука. Возможное я достану и без всякой науки. Весь фокус, чтобы добиться невозможного. Вопрос о жизни и смерти расы, а они — «возможное»! Не государства сегодня, а расы воюют — все против всех. Какие бы ни возникали союзы, коалиции. И должна победить и остаться одна-единственная. Разве возможно, чтобы одна — всех? Ну, а погибнуть германской, арийской расе — эту возможность вы допускаете? Ага, вас другое смущает: зачем кричать на весь мир, зачем объявлять наши конечные цели? Лишних врагов наживать. Пусть мир считает, что «Майн Кампф», что угрозы истребить низшие расы — всего лишь аллегория, образное преувеличение...

Ну что ж, пусть так считает мир, если он боится, не умеет смотреть правде в глаза, смотреть в глаза мне. Но вы-то, вы, мои сподвижники и номера, вы, мои немцы, — чего вам трусить? Мы еще только в начале дел и пути. То, что я существую, — важнейший фактор.

Не союзы, не коалиции страшно потерять. Их не было никогда у Германии — союзников надежных. Главное для нас — не упустить время. И единственно важный союз — с Ними, с Могуществами. Значение имеет лишь то, что Они меня избрали, и я с Ними. Я знаю, я-то знаю, что прежде чем заметить меня, Глаза остановились на нем. На моем главном противнике. И за это я ненавижу его больше, чем за его большевизм, которым мой Иезеф пугает Европу и Америку. Они к нему присматривались, я это понял, примеривались, оценивали. Он объявился раньше, и там Азия, это ближе. Глаза на нем стояли, пока мы копошились на этом европейском полуостровишке — в своем Мюнхене, и когда даже Берлин не был наш. У немцев не было признанного вождя — кого было замечать?! А были трусливые политиканы: вздрагивали, как от снарядов, от одного лишь урчания французских, английских желудков, лениво переваривающих германские репарации. На ком еще могли остановиться Их глаза? Не на бедняге же дуче с его опереточными чернорубашечниками. Когда придет Время Песка, я его и гауляйтером, пожалуй, не поставлю. За один только запах изо рта! Кажется, что и в телефонной трубке слышен. Жрет мясо. Кстати, вот вам классический пример

коалиций! Как отважно бросается дуче, да и все они, вонючие наши сателлиты, вперед, но только туда, где уже торжествует, победило германское оружие. Ну нет, на этот раз будешь сполна платить за победу — пойдешь добывать ее на Кавказ, на Волгу — все пойдете!..

Да, я опоздал, а он был прямо под Ними. Проклятая география! Проклятый полуостровишко — Европа! И народ мне достался, — он хотя и не испорчен настолько вольтерьянством и евреями, как народы латинские, но с ним тоже будь начеку. Сегодняшний немец, а немки, те особенно, — руку не моет, коснувшись руки, одежды или машины фюрера. Про это сами по радио мне рассказывают. Но как скоренько они умыли бы руки свои, если бы не получилось с рейнской операцией, с Чехословакией, с Польшей... Шарахаться в крайности — это у них в природе. Еще за день до моего триумфа голосовали за красного Тельмана, буквально за день!..

22 июня 1941 года — вот когда я все о вас узнал, немцы! Сыновья ваши сквозь огонь устремились на Восток — добывать великое будущее для Германии, а вы, вы!.. Вы забаррикадировались трусостью, осторожностью в своих норах-домах, и ни один берлинец — зеваки не нашлось! — не пришел на Вильгельмштрассе, чтобы приветствовать гвардию фюрера. Точно испортилось у всех радио... Немец не пожелал посмотреть на марширующие войска — возможно ли такое?! Оказалось, мои вы преданные и верные, с вами возможно все! Так что славьте фюрера и его неслыханные победы — голос у вас прорезался сразу же, как услышали о великих победах на Востоке, — но у фюрера память хорошая. Что-что, а память у меня отличная, мои вы верные и преданные!.. И вот с ними, с такими, я сумел то, чего никто не добивался. Не за 20 лет, а за 5—6! Одно радио хватило мне для этого. И евреев.

И Они отвели глаза — в мою сторону...

Уж теперь-то я сделаю из вас германцев, выбью немецкую труху из истории, из душ ваших! Какие-то бедуины, пастухи завладели полмиром, когда у них появился вождь и идея, настоящая религия не слабых и сырых, а воинов, преданных пророку. Вот у кого, у мавров, а не у римлян позаимствовать бы нам религию, а с нею получить в наследство полмира. Но с германцами случилось самое плохое, что только

могло: на плечах они унесли римское золото, а в душах — еврейскую, христианскую заразу. Нет! Из большевистской Азии мы принесем только золото победы. Только! Всю заразу, как холеру в средние века, выжечь огнем. На месте.

Но моим немцам и хочется, и дрожь в ногах... Какие разработочки присылают мудрецы из Восточного министерства! Спор чиновничий затеяли: 30, или 50, или 70, или 100 миллионов выселить по Генеральному плану. Не повиснет ли «невыносимая тяжесть» на совести исторического немца, если с поляками поступим, как с евреями? И нельзя ли украинцев использовать против русских, а литовцев, латышей — против и тех, и других, и белорусов. Все пытаются обойти твердый принцип: впредь никто, кроме немцев, не должен носить оружия! Даже в моем Розенберге пискнул либерал. Одно дело на бумаге да в романтических спорах и мечтаниях, а тут практика, мясо. А ведь и он — втайне, конечно! — считает себя моим учителем. Это они меня «открыли», «зарядили», «сделали»! Для немца даже фюрер — всего лишь нафаршированная колбаса! Вильгельмштрассовским революционерам хотелось бы с помощью одних славян победить и истребить других — все у них союзы да коалиции в голове. В мечтах да на бумаге цифры не пугали. А когда до дела дошло... Интересно бы посмотреть на этих Майеров, Ветцелей да на моего прибалтийского эстета Альфреда, если бы им пришлось не миллионы душ туда-сюда отсчитывать, а двух-трех женщин, но самим, своими руками ликвидировать. Да еще с их недоносками. Поставить живых перед ними — ну-ка исполняйте нашу историческую миссию! Опозорились бы, как Гиммлер в Минске. Велел поставить под расстрел сто, но на втором десятке свял, сбежал, как баба. И молчит, тут он не спешит докладывать!.. Нужен огонь и огонь! На Востоке мы выжигаем еще и немецкую серу из германской руды. Без этого хорошей стали не получишь. И делать это будем безжалостно. В лаборатории чистой расы не создашь. Одними этими вашими измерениями черепов.

Нет, не сырья, не «вооружения вглубь», «вооружения вширь» — не этого недостает мне. Что бы ни толковали мои «специалисты». Будет и сырье, будет и оружие — если умело балансировать ресурсами. Време-

ни — вот чего не хватает. Чтобы из сырья человеческого, которое нам оставила история, из этого мусора рас выплавить чистую сталь новой расы, нового человека. Нажал на перо — сто, тысяча, миллион упали на бумагу! Нажал на спусковой крючок — столько же под дулом автомата! Новому Человеку все будет одинаково легко и радостно. Будь у меня два-три поколения, воспитанных как следует, невозможного не существовало бы. Но отпущено мне было только шесть лет, если не считать времени, когда я шел к власти. Но и на эти шесть я, кажется, не имел права: следовало начинать в 1938-м — прямо с Мюнхена. Невзирая на то что они уступили, во всем уступили, эти лондонские трусы. Но свои, немецкие трусы, повисли на руках и ногах: рано, не готовы, хотя бы еще полгода! Мы сильнее не стали, а они пришли в себя — остальной мир. Не следовало дарить им такую возможность. А еще эта идиотская история с итальянским наступлением в Греции.

Отняли, отнимают у меня месяцы, недели, которые могут отозваться в столетиях!..

Нет, мне еще надо было докричаться до них — до Главных Союзников. Политический жаргон, шепоток иносказания для них не годились. Нужно было во весь голос и открытым текстом. Они должны были увидеть, что я готов исполнить Их дело, погрузиться в такую кровь, на какую никто не решался, по крайней мере, в открытую. Они должны были поверить, что моя борьба — Их борьба. Ведь Им безразлично куда — с Востока на Запад или с Запада на Восток — течет река крови. Важно, чтобы текла и чтобы это не ручеек был, а всеобновляющий поток, уносящий весь мусор истории, расовый сор. Цена идеи исчисляется кровью. Моя стоит больше — в Их глазах. Ни одна идея не обещала столько очистительной крови, огня...

Я сразу понял, когда это случилось, — наконец Они перевели глаза на Германию! Особенно, когда началось в маленькой Финляндии. И прежнее обрело логику, высшую: она вдруг открылась мне. Я понял: приходит мое время! И даже то, что было до поры скрыто, спрятано от меня — даже это обернулось заботой Провидения о моем торжестве, успехе. Я распахнул дверь на Восток, не зная, что там увижу. Не зная, не подозревая, какая танковая армада, воздушная мощь у него там. Когда

бы знал я, не решился бы, пожалуй, а это не входило в Их расчеты. И Они позволили ему обмануть меня. И тем самым поманили, подтолкнули меня напасть. И разбить, разметать армии, скованные по рукам и ногам его страхом перед судьбой. Внушенным ему страхом...

Надо знать, помнить, что все наши чувства, цели, наши интересы, границы и пр. и пр. для Них — не обязательное, воображаемое. Как и обычное наше представление, что земля — каменный шар, круглая глыба. Из людей я один это знаю, один я вижу Их глаза и нашу «планету», как она есть, — ледяной шар изнутри. Какое острое наслаждение носить в себе высшее знание, выдерживать направленный на тебя Их взгляд — Глаза Ужаса! А вокруг маленький наш привычный мир, и такой здешний, земной испуг на лице Евы: «О ком ты, мой дорогой, говоришь? Кто «они», о ком ты? Ты плохо себя чувствуешь?» Простая душа, она все-таки не верит, что я нечто большее, нежели «мой фюрер». Когда Елизавета Ферстер — мужественная германка, сестра великого Ницше, прислала приветствие «Первому на земле сверхчеловеку», всем это показалось лишь красивым жестом. Ведь для них все, в конечном счете, слова, слова.

И не подозревают, даже мои ближайшие «номера», что Новые Люди уже здесь, присутствуют, действуют, и я — их посланец. Важнейший фактор то, что я существую.

Ради кого-то или чего-то другого не стоило, но ради такой идеи можно было вынести все, что вынес я и через что прошел. Все смог, сумел и остановил Глаза Ужаса на Германии. Той самой Германии, где меня унижали, оскорбляли, знать не хотели, обзывали «почтмейстером», грозились «выгнать плетью» в Австрию... Где-то же есть он, затаился тот Гжесинский — польский ублюдок, посмевавшийся стать немецким полицейским чином. Он смел плетью грозить будущему фюреру и ушел от возмездия. Другие тоже спрятались — сколько их, попрятавшихся! Ускользнули в неизвестность, в смерть или за границу. А старый бык Гинденбург — в немецкую славу, в историю. Пауль фон Бенекендорф унд Гинденбург!.. Дайте время, я поукорочу ваши имена! Наступает пора новой аристократии. Придет время, и в германских пантеонах станет простор-

нее. Мощи этого тупицы-шутника вышвырну в первую очередь...

«Кто он такой, этот Гитлер? Я сделаю его почтмейстером, пусть лижет марки с моим изображением...» Он это сказал, он посмел?!

О, старый мерин, потом и ты узнал, кто я такой. Как вяло пожимал руку новому рейхсканцлеру, позванному к власти немецким народом. Но пожимал! Чувствовал «фон унд», чувствовал, что не для того пришел Адольф Гитлер, чтобы играть в парламентскую болтовню, а чтобы вас всех вышвырнуть. Посмотрим, где будет твое «изображение», старая кляча, когда я возьмусь за немецкую историю по-настоящему! Придет Время Песка!..

В чем только меня ни подозревали, чем ни попрекали — дезертирством из австрийской армии, «еврейской» буквой «д» в фамилии деда... Даже автомобилем «за сорок тысяч марок» — эти крикуны из СА, пока их не укротила ночь длинных ножей. Попрекали машиной, которая потом спасла фюрера, выхватила из-под полицейских пуль — с ключицей сломанной, с этой вот рукой, но спасла! Кем, чем вы были бы сейчас, где были бы без фюрера?! О, жадная толпа, которая, даже покорившись, подчиняясь, старается овладеть тобой, господствовать! Тянет преданно руки, чтобы завладеть полностью тобой. И ей даже удается. Как сладостной Гели удавалось, моей пышнотелой и нервной племяннице, а когда не до конца удалось, взяла в руку пистолет и отняла себя у своего господина. «Ну, тогда я уйду!» — и ушла, закрылась и выстрелила. Ревнивая и неверная. Как сама Германия. Сама и поплатилась. Ревность и неверность — в этом их природа. С этого и Ева пыталась начинать — в первые наши месяцы. Все грозила отравиться. И все это ради того, чтобы, подчинившись, господствовать. Завладев, предать. У толпы, у женщин — тут верное чутье, инстинкт, верный путь. И та же жадность. Любя, поклоняясь, отнимут все радости, без которых сами своего существования не представляют. Живи ради них, дыши ими и ничем, никем больше! Еву до сих пор прячу: смертельно обидятся, если узнают. Как же, обручен с Германией! Все готовы отнять добрые, преданные немцы у любимого фюрера. Но фюреру ничего и не надо. Ничего! У него есть то, о чем вы и думать не умеете. О чем

не догадываются даже те, кто знает о Еве, — ближай-
шие «номера». Даже эта африканская свинья Герман.
И всезнающий рейхсфюрер не знает. Да, интересно,
как там у моего хромоножки Йозефа? Бьет Магда на-
шего сморчка-германца или он собственным удоволь-
ствием и старанием делает ей детишек — сколько их
там уже, пять или шесть? Гиммлер намекал на связь
его с какой-то подлой славянкой, чешкой: ну штрассе-
ровский бесенок, ну, социалист!

Мне известны ваши порочные тайны и тайные по-
роки, мои законопослушные немцы! Плотоядные, не-
верные, старательные, оглядчивые. Мы общей тайной
перед миром повязаны. Только вы и передо мною про-
стодушничаете. О, это простодушие старонемецкое, эта
честность на весь мир! Они-то и есть самая великая
немецкая хитрость и самая полезная. Как швабы луч-
шие, талантливейшие лжецы в Германии, так мы с
вами — в Европе. Благодаря нашему мефистофельско-
му простодушию. Если чем и победим другие расы, то
именно простодушием, которым всегда питалось истин-
но немецкое чувство правоты перед всеми и за все.
Кто больше меня предан этому гениальному немецко-
му чувству? Так не надо хотя бы передо мной хитрить.
Я во всем с вами и всегда. Да, мы всегда честно тре-
буем только необходимого, ничего лишнего! Требуем по
праву немецкой культуры, немецкого трудолюбия —
честно! Чувство любого немца, когда он обижен за
Германию, — самое справедливое. Это народное чувст-
во. Как ни у кого другого. Никто и никогда не хо-
тел считаться с нашими правами, требованиями, кото-
рые только справедливы. И сегодня мы честно объяв-
ляем: отныне мы становимся нацией истребляющей!
Англосаксам придется передать нам вместе с Ближ-
ним Востоком, Африкой, Азией — и эту роль, это
право.

Ваша, немцы, простодушная честность, она и моя
тоже. Но я не позволю вам сыграть в слишком знако-
мую игру: не удастся вам простодушно отречься от
своего фюрера. Умыть руки, которыми тянулись к Не-
му, старались коснуться хотя бы одежды или крыла
машины. Я не сам, мы не сами пришли — вы нас позва-
ли. Но не были бы вы немцами: и здесь вы просто-
душничаете, хитрите! Вы не вышли с нами на мюн-
хенские улицы, осторожненько выглядывали из-за

штор, когда мы шли под пули. Вы не дали мне все голоса, хотя и поманили нас. А этот ублюдок Штрассер едва не расколол партию, и едва все не погибло. Я должен был пистолет поднести к виску и только угрозой, что уйду, выйду из игры — только этим снова привлек Их глаза и повернул события в нашу пользу. У вас на все и всегда есть алиби. И все равно мы возникли не сами по себе, мы — из вашей всегдашней правоты, мы — из вашей простодушной немецкой обиды на всех: на банкиров, на красных, на Запад, на Восток, на поражение, на голод, на своих, на чужих. Вы нас позвали!..

Я выбрал борьбу со всеми и до полной победы, что означает — и я это не скрывал никогда! — полное уничтожение побежденных. Вы на это согласились, пошли за мной, за нами. Потому что я угадал вас, угадал то, чего вы сами стыдились всегда, боялись в себе. Мы повязаны. Не рассчитывайте, что вам простят то, чего не простят мне. Если победим не мы.

Я вас вижу всех и до конца, вы меня — на сколько хватает вашей смелости. И сколько я позволю. Наша с вами общая тайна кончается там, где начинается только моя. И где начинается тайна моего общения с Могуществами. С Ними я разговариваю не на немецком. Я сам это не сразу обнаружил. Почему-то совсем не задумывался раньше, на каком мы разговариваем, когда Глаза Ужаса смотрят мне в лицо. Ева пугается, спрашивает, что со мной, готова голову мою пощупать, если бы не боялась, что рассержусь. И больше всего пугает ее, что разговариваю на незнакомом языке. Только имена звучат для нее знакомо: Дитрих, Петш, Лянц, Кубичек... Но при чем здесь Кубичек, этот жалкий музыкантишка?.. О чем это я? Да, так и должно быть: особый язык, не всем доступный, язык посвященных! Но если не немецкий, тогда какой же выберем мы, избравшие себя? Все планируем, а об этом наши мудрецы — никто! — даже не задумываются. И мне это не сразу в голову пришло. Столько лишних народов, испорченных рас, а ведь это и языки. Это тоже наши трофеи. Но никем не замечаемые. Предполагалось, что это ненужный хлам, лишнее, подлежащее забвению. А ведь это чудесные скальпы для победителя! А что, неожиданный поворот мысли. Шутка истории. Никто не задумывался, как все-таки будут об-

щаться Высшие Люди и чем отгораживаться будет каста господ от тех, кто внизу. Как будут общаться различные касты, которые мы создадим? Идеально было бы — каждой выделить свой язык. Кроме служебного — пусть себе и немецкого. Без этого не возникнет ощущение избранности. Посвященности и недоступности. Высоты. Тибета. Не придумывать же специальный язык, еще один, новый эсперанто. Противно, труп! Нет, получить язык с еще теплой плотью, кровью! Кто сказал, что это противоречит нашей идее? Мы же не отказываемся даже от французских картин — явного декаданса, от старинных книг — даже христианских! Рейхсмаршал Геринг тем только и занят, что все тащит в свои дворцы. Кому картины подавай, кому шахту, поместья, но никто не увидел величайший трофей — язык врага! А что, забрать на самый верх язык греков, например, или албанцев. Или еще более древнее что-нибудь. Даже Ганнибал, Александр не замечали такой трофей. А они знали права победителя.

А что, если французский или даже английский! С английским поработать пришлось бы! И не самое трудное их чахоточный остров. Что остров: закрыть для посещения на годик-два, предварительно запустив туда все эти батальоны, что сейчас практикуются на Востоке. Бах-Зелевский докладывал, что у них там, особенно в Белоруссии, много поучительного, достойного внимания... Так вот, закрыть остров, а потом распахнуть: заходите, смотрите! Что такое, куда девались эти англичане? Был такой народ, говорите? Хорошенько ищите, хорошенько! Что-нибудь да осталось, если был...

Дорого вам обойдется ваше островное высокомерие, ваша несговорчивость, всегдашняя готовность влезть в германские континентальные дела! Но существует еще этот монстр, чудовище искусственное, что нависает из-за океана. Созданное все теми же старательными, неосмотрительными немцами. Будет справедливо, если американский континент заговорит только по-немецки. Останется на нем лишь то, что на немецком будет разговаривать. Но сложность даже не в этом, а в англоязычных тварях — азиатских, африканских, австралийских — их столько по всему миру! Попробуй сними английский скальп со всех этих голов — белых, желтых, черных! Но чем труднее задача, тем больше

она зажигает. Сделать так — за 10, 20, пусть 30 лет, — чтобы английский, когда-то «мировой», стал служить четыремстам или только сорока человекам! Цель, обратная той, которую ставили высокомерные островитяне. И ничего не скажешь, твердо, умело шли к ней четыреста лет, принуждая все новые континенты говорить по-английски. А тут наоборот: убрать с планеты миллиард, который смеет понимать язык господ. Фантастическая цель, под стать богам, да и то разве что до христианским!

А для тех, кому позволим существовать на «планете», общим будет немецкий. Он и будет языком приказывающим. Он словно специально для этого создан. Не случайно укротители пользуются именно немецким — в цирках и зверинцах всех стран. Да, да, по-немецки вежлив лишь обман! Кто это сказал?.. Но из немецкого следует убрать лишние эмоции. Сколько в нем наследили все эти плакальщики-гуманисты, многие века эксплуатировавшие низменные чувства жалости, сострадания! И чему надо помешать обязательно, так это немецкой привычке к регламентации. Мои немцы захотят все добросовестно перестроить на свой, на немецкий лад. Как будто мы затем пришли, чтобы украинца заставить мыть тротуар перед жилищем. Пусть доживают, что им осталось, в своей исторической грязи, не наше дело поднимать культуру, учить, лечить туземцев. Немецкий порядок, но совсем в другом понимании, смысле. Каждое немецкое слово будет звучать, как сигнал, и они должны бросаться со всех ног и выполнять приказ! А может быть, вообще — язык жестов. И этого для них много! Прежде всего — дороги. И все их образование — дорожные знаки. Хотя и это не нужно. Им не ездить по дорогам, которые они будут мостить, их повезут. Каждое поселение, каждая улица в доживающих свой век неарийских городах должны существовать замкнуто. Ни вчерашнего, ни завтрашнего для них не существует, только то, что есть сейчас. А есть только это: высится столб в центре каждого изолированного региона, а на нем репродуктор, а из него звучат приказывающие немецкие слова. А в остальное время — музыка. Сколько угодно, как можно больше музыки. Пусть вымывает, уносит из их памяти все прошлое. Никакой истории, ничего о прошлом, о будущем. Пока к зарастающим лесами городам и в поселе-

ния не придут машины и не увезут всех на восток — по бетонным дорогам. Сейчас там ни хороших дорог, ни нужного спокойствия, но порядок налаживается. Изобретательные командиры неплохо используют деревянные здания с соломенными крышами. У славян даже церкви покрыты соломой. Что-то языческое, крематории одноразового употребления. Но чем дальше мы продвинемся в Европу, в собственно Европу, тем сложнее, труднее будет без хорошо налаженной системы и технологии. У западных славян дома из кирпича, камня. Не говоря уже о латинских народах. Любопытно все это выглядит: продвигаясь на Восток, мы одновременно начинаем двигаться с Востока на Запад — в осуществлении наших расовых целей...

15 июня 1942 года каратели штурмбанфюрера СС Оскара Пауля Дирлевангера убили и сожгли жителей белорусской деревни Борки Кировского района Могилевской области. Кроме этой деревни, спецбатальон Дирлевангера (один из многих, действовавших на территории Белоруссии) уничтожил еще около двухсот деревень — более ста двадцати тысяч человек. В числе этих деревень и Хатынь.

Ю. В. Покровский (советский обвинитель на Нюрнбергском процессе): Известно ли вам что-либо о существовании особой бригады, которая была сформирована из контрабандистов, воров и выпущенных на свободу преступников?

Бах-Зелевский (бывший начальник штаба всех боевых подразделений по борьбе с партизанами при рейхсфюрере СС): В конце 1941 — начале 1942 гг. для борьбы с партизанами в тыловой группе «Центр» был выделен батальон под командованием Дирлевангера. Эта бригада Дирлевангера состояла в основном из преступников, которые имели судимости, официально из так называемых воров, но при этом они были настоящими уголовными преступниками, которых осудили за воровство со взломом, убийства и т. д.

Ю. В. Покровский: Чем вы объясните, что немецкое командование тыла с такой готовностью увеличивало количество своих частей за счет преступников?

Бах-Зелевский: По моему мнению, здесь имеется открытая связь с речью Генриха Гимmlера в Вевельсбурге в начале 1941 года, перед русской кампанией, где он говорил о том, что целью русской кампании является: расстреливать каждого десятого из славянского населения, чтобы сократить их количество на 30 миллионов. Для опыта и были созданы такие низкопробные части, которые фактически были предназначены для реализации этого замысла.

Особая команда, «штурмбригада», доктора Оскара Дирлевангера состояла из трех немецких рот (кроме немцев — австрийские, словацкие, латышские, мадьярские фашисты, французы из вишйского 638-го полка), из «роты Барчке» (Август Барчке — фольксдойч, начальник кличевской районной полиции) и «роты Мельниченко» (Иван Мельниченко — бандеровец) — католики, лютеране, православные, атеисты, магометане...

Деревня Борки состояла из семи поселков — более 1800 жителей...

Из показаний бывшего карателя-дирлевангеровца Грабовского Феодосия Филипповича, уроженца деревни Грабовка Винницкой области:

«На эту операцию мы выезжали из Чечевич на автомашинах и мотоциклах. Помню, уже не весна, уже картошка цвела... Перед выездом Барчик сказал, что поедем в деревню Борки на помощь немцам, так как их в районе этой деревни обстреляли партизаны. Примерно в трех километрах от деревни Борки на шоссейной дороге Могилев — Бобруйск автомашины и мотоциклы остановились. По команде Барчика взвод Солдатенки Анатолия и Добрынина Дмитрия, а также часть немцев и украинцев разгрузились. Тот же Барчик сказал, что эти взвода совместно с группой немцев и украинцев должны оцепить центральную деревню и прилегающие к ней поселки с восточной и северной стороны. Остальные наши взвода, а также силы немцев и часть роты Мельниченко поехали дальше по шоссейной дороге...»

ПОСЕЛОК ПЕРВЫЙ

Тупига Иван Евдокимович, год и место рождения — 1920, деревня Евецко-Николаевка Днепропетровской области. С 1933 года проживал в Белоруссии. Образование — 7 классов. Специальность — механик, слесарь. Рост — 180 см, глаза — карие, волосы — темные, нос — острый, губы — толстые.

Особые приметы: повреждена шея, отчего голову обычно держит с наклоном к левому плечу.

Ну, сачки, ну, работнички! Учат вас, да никак не научат. Шефа, штурмбанфюрера Доливана на вас, чтобы душа вон! Покуривают, скалятся, аж тут из-за сарая слышно. А я тут возле пустой каты, как хрен на вяселли. Зато в деревне немцы и бандеровцы — те свое дело знают! Из погребов сальце удят, шмутки бомбят. Бегают по дворам, как подсмаленные...

Тупига пошарил в отвисших, как пустое вымя, карманах желтой мадьярской шинели. Полы шинели у него подняты, засунуты за ремень. По-июньски жарко, но шинели он не снимает. Оттого что голова все время принаклонена к плечу, а жилистая шея изогнута, такое впечатление, что человек постоянно прислушивается: левым ухом к земле, правым — к небу.

Пошарил в накладных карманах зеленого френча с белыми, крест-накрест, игрушечными винтовками и гранатами на черных эсэсовских петлицах. Вспомнил, догадался и обрадованно ляпнул по ноге: о, есть! Добыл из брючного кармана кусок галетины, осторожно забрал ее, как лошадь, большими губами и принялся сосать. Наклонился и поднял на руки раскоряку-пулемет, который до этого скучал у его ног. Сказал, хрустя ртом: «Иди, ладно». И снова пожаловался: «А нам стой тут, как хрен на вяселли». Наклонил голову и сунул, как в хомут, под замасленный, грязно-зеленый ремень, и раскоряка-пулемет уютно пристроился у него поперек груди. Тупига поправил тяжелое железо, чтобы обоим было удобно.

Где эта паскуда, этот Доброскок? Дал бог второго номера! Диски бросил в песок, шинель бросил. Тоже за сарай спрятался: можно подумать, без него там не

обойдутся. Ха, идет, ну, ну, иди, я тебе сейчас выдам, скажу пару тепленьких! Шагает коротконогий, как пишет, — колхозничек, сачок паршивый. Недомерок воючий, загнали ноги в задницу, а вытащить забыли. Но и этот туда же: хлебом его не корми — пусти в курятник, теток попугать-пощупать, когда они ни живы ни мертвы от страха. На пару с Кацо промышляют. Всегда с оцарапанными носами, рожами — тхоры¹ воючие. Нет, на месте Доливана научил бы я вас работать. Ползет, еле ноги переставляет. А я для вас — карауль пустую хату. Там одна баба и осталась. Ну точно, одна во всех окнах! Бегает от окна к окну, летает по хате, ждет не дождется. Идет, идет твой милоч, не бойся, что забыли. Хоть через полчаса, но вспомнили, идет и по тебя. Дурной все-таки народ эти бабы! И правда, как курятник. Их бить, убивать гонят, тащат, а они хлеб, миски, платки волокут — чуть не подушки. Верят, что их увозить будут. Как же, в Германию, ждут вас там — не дождутся! Вон сколько фуфаек и кусков хлеба, тряпья всякого по полю валяется, по картошке. А выбрать, взять нечего. Один платок только и поднял, в цветах весь — подарок стерве могилевской, пусть покрасуется. Да еще спички отнял. Зажала в руке и несет. Куда ты несешь, спросить бы тебя? Наверно, как утром взяли ее от печки, так и не разжала руки. «Дай прикурить, тетка!» — а она не понимает. Умрешь от всех вас! Но откуда у них спички? Немцы же не привозят. Во, борисовская фабрика. Распотрошили магазин в сорок первом. А может, и правда из Москвы им все присылают. Говорят же, что в деревне этой бандит на бандите. Был я, был в вашем Борисове! Спасибо, побывал везде. Только дома сто лет не был. Да и где он, тот дом?

— Ну что идешь, как спишь? Диски твои где? Что «ладно», было бы ладно, я б тебе не говорил. Как врежут зараз из того леска бандиты, сразу забегаете. Вот тогда и правда жарко станет.

— Да ладно тебе, Янка.

— Евдокимович...

— Дай лучше закурить, Евдокимович. Слюна, как резина. Курнуть дай.

— А штаны не тяжелые?

¹ Хорьки (бел.).

— Две ямы загрузили. С верхом.

— А эту что, на развод оставили? Или вы с Кацо для себя припрятали? Доливан вам протрет глаза, если не видите. Может, и еще десять их там — под печкой, под полом. Что, Тупига за вас будет выволакивать? Не рассчитывайте!

— Загорится дом — сами выползут. Нам что, больше чем кому надо? Верно я, Иван Евдокимович? Дай курнуть.

Доброскок, низкорослый, с красным, как у новорожденного, сморщенным личиком, все переступает короткими ногами в тяжелых сапогах, все сплевывает сухим ртом. За каждым словом сухой плевок. Глаза воспаленные, страдающие. И хитрые. Он боязливо посматривает на окно, где белеет лицо женщины, и с затаенной какой-то мыслью приплясывает возле нависающего Тупиги, а тот смотрит на него с насмешливым наклоном головы, как курица на ползущего червяка. Вот-вот клюнет. А Доброскок тянет, тянет — слова, время...

— В эти самые Борки хлопцы наши до войны прибегали, бегали, говорю. Во куда, знацца, к девкам они бегали!

— А тебя не брали, сморчка?

— Все говорили: Борки, пойдем в Борки...

— Не брали бздуна!

— Мне и своих хватало. Знацца, это сюда бегали. Во какая деревня большая. И там дым, и там.

— Кому тут приходилось бегать, так это голове колхоза. Собери вас попробуй, сачков! Таких вот работничков. Ну, что топчешься? Забирай ее и кто еще есть и веди. Пока ты баб щупаешь, бандеровцы все сундуки да погреба обшарили.

Тупига вдруг начал судорожно хвататься за бока, за живот, за грудь — все карманы обстучал. И замер сладко, как кролик, добравшийся до крольчихи: кажется, пискнет умирающе и глаза закатит. С отрешенным, вовнутрь повернутым взглядом, Тупига застыл, как бы прислушиваясь. Голову совсем на плечо свалил. Кадык, как поршень, протолкнул слюну, и раз, и второй. Есть! Нашел! (Кажется, что кто-то все время подкладывает в карманы ему сладкие сюрпризы.) Достал смятую пачку сигарет, заглянул в нее. «Одна!» —

сказал обрадованно и выхватил сигарету желтыми зубами. Пачку, однако, не выбросил, а сунул в карман.

И пошел огородами к деревне, где все бегают со двора во двор солдаты в черном и голубом. Оглянулся и сердито показал своему второму номеру на сумку с пулеметными дисками. И на окно, испуганно белеющее. Доброскок тронул, как бы проверил, при нем ли, немецкую пилотку с «адамовой головой» — костями и черепом, поправил на плече слишком длинную для него французскую винтовку, даже одернул черный мундир и пошел к дому. В окне все белеет ужасом и ожиданием женское лицо. Громко, как бы знак подавая, ударил каблуками по грязному крыльцу.

...Идут за мной! Это по нашу душу, детки, идет. Погонит туда, за сарай. За тот страшный угол, куда все ушли. Наша очередь, наша, детки мои! Так кричали, так плакали, а теперь тихо. Нас ждут за тем страшным углом. Смертонька наша идет. Сынок мой необцелованный! Или доченька?! Вы даже не заплакали ни разу. Не услышала, не увидела и не знаю, кто ты — сынок, дочурка? Не надо, не стучи ножками по сердцу — я здесь, я с вами, а он еще, может, и пожалеет нас. Он все отталкивал, отпихивал меня в угол, к стенке, загораживал от других немцев, когда нас была полная хата, — тащили, хватали за руки, за одежду, били, кричали, и стоял такой вой. Он глянул, узнал, я видела, что узнал, и все спиной меня отпихивал. Не пугайтесь, не полохайтесь, сынок, доченька. И что ж нам одним делать тут, когда никого нет, никого-никого на свете?! Вы и не услышите. Больно будет мне, страшно мне — как хорошо, что вас еще нет! И вы их не увидите...

— Так это ты, знацца? Ну так добрый день, племянница! Ты это, знацца, а я увидел и думаю. Узнал сразу, хотя ты во какая! Что ж твой мужик, учитель твой, с брюхом тебя да по такому времени оставил? В армии? Или тоже в банде? Ну, чего ты все в окно да в окно? Обязательно чтобы видели тебя! Не забудут, не бойся. И что мне теперь с тобой делать? Кого я вместо тебя поведу? Есть тут кто еще, зашился, может? Под печкой, может? Эй, ты там, вылазь, гранату сейчас кину, по-доброму говорю! Ну вот видишь, нету никого. А меня послали, думают, что еще остались. А тут одна

ты. Ну, что глядишь? Не признала? Габруся сынов помнишь? Доброскоки мы. Не помнишь, малая была, когда приезжала к нам из города с мамашей. А теперь чего прибежала из города сюда? К бандитам! Сидели бы, где сидели, или у вас там жевать нечего? У нас дома карточка висит — твоя и твоего учителя, мужика твоего. Он где? Да ты не бойся, свой я, Габрусевых помнишь? Еще мой брат Федор был. Пропал, как пошел в военкомат, так и не вернулся. Даже и не звали в тот военкомат, сам побежал...

Еще бы я его не узнала! Как две капли, только Федор высокий был. А лицо такое же: все морщится, как плачет. Смешными мне казались оба, смотреть не могла. Брат его приезжал еще со стариком в Бобруйск, куда-то учиться устраивался. Но тот добрым казался, смеяться хотелось. Увидела этого — сразу про них подумала. Еще когда гнали нас от деревни через поле сюда, к этой хате. Кто-то фамилию Доброскока выкрикнул — нашу фамилию, какой-то полицейский, и я тут же услышала. Хотя от криков, ругани, «ферфлюхтеров», от воя детского и мыслей, куда нас и что с нами, — ничего не соображала, ничего не слышала.

— Знацца, и ты в Борки попала? И я тоже в первый раз. Все говорили: Борки, Борки! Девочек отсюда наши брали замуж. Беда с вами: тут такое делается, а она рожать надумалась! А может, ты с мужиком сюда прибежала? В банду захотел! Не сидится им, а теперь бабам и детям за них отдувайся. Надо им эти партизаны! Сидели бы как люди!.. Ну что мне с тобой делать, говори? Ну что? Где я тебя в этой конторе спрячу? Все сгорит. А я кого-то должен привести, послали за тобой. И Тупига видел...

О чем он, чего он от нас хочет, господи? И кто это так плачет, почему я здесь, неужели правда, что это я, что я здесь, плачу, кричу, и все это происходит, господи?..

— Разозлили немцев, а отвечать нам с тобой! Ну вот сама скажи: что я могу? Живая сгоришь, если бы и осталась. Думал, что как-нибудь, племянница все же. Но что ты тут придумаешь? Во, ай-яй-яй! Тупига вер-

тается, назад идет! Ну, пропали! И еще не один, с кем это он идет? Сиротка! Его тут не хватало! Звини, хотел, а тут видишь... («Эй, тхор блудливый, ты все здесь?») Видишь, кличет Тупига! Ды иди уже, чего тут. Слышь, баба, добром вас просят!..

Я плачу, я кричу, вою, рву на себе волосы, мне не хочется свет белый видеть — жить не хочется. Мне только страшно идти по полю этому, среди разбросанных платков, галош, детских курточек и видеть впереди тот сарай, угол, за который все ушли и где такая жуткая тишина. Каждый, подходя к углу, обязательно останавливался: детки бросались в сторону, их ловили, хватали, тащили туда, за угол... Какое счастье, что мои не видят, ничего не увидят. Мы тоже оставим на этом поле платок. Оставим. Гриша придет из лесу — он обещал прийти, когда я рожу, забрать нас от тетки Маланки — придет и заберет платок и будет знать, где мы. Будет знать где. Видите, детки, нас не бьют, не толкают. Вот он даже платок мой поднял, догнал, подает мне. Потому что он дядька наш. Ваш дедушка. А за ним еще двое идут: гогочут, им так весело, так весело. Только минуть угол. И ничего не думать, ничего не думать... За страшным, тихим сараем — голоса, смех! Вот они: в черном, в зеленом, голубом стоят среди поля и под стеной — смотрят на меня, замолчали и ждут. Я что-то должна сделать, они ждут. Я должна умереть. Но где все люди, куда они их девали?.. Больно толкают — в плечо, в спину. К нему подталкивают, вот он — тот, кто ждал, дожидался за углом! Все на него смотрят, на нас — на него и на меня, — и ждут. Он глаз не поднял, не видит меня, но он уже зол на меня больше всех, уже ненавидит. За то, что меня надо убить, за это он так ненавидит? Рука с нагаком опущена к ноге, а сам он по пояс голый, подвязался, как фартуком, рубахой. На жирной груди мокро от волос, никогда не видела, чтобы столько волос было на человеке. Руки аж черные, нет, это рукавицы у него шоферские, по локоть длинные... Стоит над ямой. Только не смотреть на яму, не смотреть туда! Картофельная ботва затоптана и полита чем-то, как смолой, песок слипшийся... И на ноги налипает, меж пальцев. Я не обула ничего на ноги, собралась в Германию, а ничего не обула. Я же босая!.. А они смеются все громче, выкри-

кивают и смеются: «Гляди, уже с брюхом!.. Вот что значит Доброскока послали. И Кацо не докажет!.. Смелее, смелее, тетка, у Кацо это еще лучше получается!» А яма молчит. И все открывается, все ближе, шире открывается. В поясницу больно уперлась винтовка, они меня вперед подталкивают, а Голый, Черный все отступает, не поднимая руки с синим наганом, отходит, к яме... Только не смотреть. В яму не смотреть. Такое что-то кислое из нее! Мне же нельзя пугаться, мне нельзя! Деткам повредит, пошкودит. Нет, я отвернусь, я не хочу смотреть. Дядька, что ты, что же это ты робишь с нами!.. Какое у него плачуще-сморщенное личико, как дико оно похоже на детской! Испуганно заслонилось локтями, руками, вскинувшими винтовку...

Доброскок выстрелил в повернувшуюся к нему женщину. Выстрела она не услышала. Сделала шаг, второй, третий назад и опрокинулась навзничь на убитых — в яму. Тупига подошел к яме, и ему показалось, что рука женщины еще захватила и потянула на колени подол платья.

Женщина спала...

Свидетельства жителей «огненных деревень» — Красница, Борки, Збышин, Великая Воля:

«Во ржи они не искали. Из хаты в хату ходили. Може, ближе где искали, а нас — никто. Только было такое тяжелое, страх — и спать хотелось... Знаете, на нас ветер шел, этот дым, понимаете, такое мятное, люди же горели, запах тяжелый был. И спать хотелось...»

«Рассказывать вам, как это все начиналось? Ну вот, я жала на селище. Я ячмень жала, а рожь стояла, и там перебили двенадцать душ. А как стали они людей тех бить, я во так легла ничком и заснула. Я не слышала, как их били, не слышала ани писка того, ани крика. А потом, когда встала я — ого! — уже моя хата упала, уже и соседские. Все трещит, и свиньи пищат, и вся скотина ревет. Так я поднялась и стою, а соседка идет и говорит:

— Чего ты тут стоишь? У нас же всех побили!»

«А тут приезжает на лошади полицейский, который добивал. Видит, что живой, — добивает. Он ко мне подъехал, а я глаза приоткрыла и тихонько смотрю на него. А дети не шевелятся, спят. Уснули».

«Я попал тогда как раз в другую группу, двадцать четвертым. Я только помню, что до того момента был при памяти, пока скомандовали ложиться. Упал я — уже выстрелов не слышал, как по нас стреляли. Может и уснул. Что-то случилось».

Так это правда? Правда, что я здесь и мне это не снится? Но почему я должна не здесь быть, а где-то еще: и мама, и отец со мной, они меня любят, и нам хорошо вместе. Голоса у них добрые, утренние, когда ничего еще не случилось за день, никто никого не расстроил, не обидел. Это вечером отец бывает сердитый, уставший от ругани со своими строителями, и тогда мама с ним разговаривает вполголоса, очень спокойно, но все равно не так, как утром. Почему я думала (я помню, что думала, считала!), будто мама моя умерла? Вот же она, со мной, с нами, и все мы вместе! Да, война, где-то война, и там нет мамы, отца тоже нет, я там одна, а здесь мы вместе, все втроем, и они такие молодые и похожие на самих себя — отец и мама. Особенно мама. И наша общая спальня: процеженный сквозь белые шторы свет, ярко-красный шелк в вырезе пододеяльника, отец позвал: «Малышка!» — и я соскользнула со своей кровати на холодный, как стекло, крашенный пол, меня встретили его руки и втащили на «взрослую» кровать, мягкую и пахнущую табаком. Я нырнула носом, лицом в скользко холодноватый красный шелк и стала шиться под белый пододеяльник, а папина рука ищет меня там, щекочет, мама нас утихомиривает: «Как маленькие!» Папины руки оторвали меня от одеяла-«земли», высоко подняли, держат, и я больно ощущаю под его пальцами, какие у меня еще детские, тонкие ребрышки. Щекотно и почему-то стыдно, но от этого еще радостнее. Мама смеется вместе с нами, но она тотчас почувствовала мой стыд и отнимает у папы меня, стаскивает с «неба» на одеяло. Пахнущие кремом, ночью и еще чем-то красивые руки ее не могут справиться с папиными, и у нас столько смеха, возни, рук, ног! Папа опустил меня лицом, ртом, губами на жесткую, колючую грудь. И тут же перекатил, как котенка, к маме: «Вот твое молочное хозяйство!» Мама пугается, сердится: «С ума сошел!» Стыдит меня: «А ты, большуха!» Но я все равно прижалась, как притянуло меня, жадно-жадно к ней приль-

нула и так близко услышала тихое постукивание. Тихое, потом громче, громче, уже весь мир заполняют гулкие удары — я снова там, у себя, под необъятным куполом мамино сердца!..

Уют и тревога, полет и цепкая устойчивость... Что-то уже радовало его, мальчик улыбался, слыша гулкие, ровные удары, он морщился, сжимался, когда высокий купол куда-то уносился, унося и его, а удары делались оглушительными и частыми-частыми. Из материнской плоти в него заходила кровь, принося сны. Все поколения когда-либо живших людей и умерших давно существ пытались пробиться в его сны, теснились в маленьком мозгу, в каждой клетке его тельца, снова пытались вернуться туда, откуда унесла их и все дальше уносит смерть. Сны он не видел, он их ощущал: как чье-то доброе или злое присутствие. Доброе сливалось с ровными и вечными ударами, злое копилось, когда удары делались оглушительными, тревожно-частыми. С каждым ударом вспыхивала, открывалась из конца в конец вселенная, звук этот уносил купол вверх, держал и не позволял куполу опуститься, упасть и все увлечь за собой...

Шестимесячный под живым сердцем матери лежал вместе с нею на трупах.

На ручных швейцарских часах немца Лянге было 11 часов 31 минута по берлинскому времени.

...Мама отталкивает меня от груди стыдливо, даже сердито, отец хохочет, опять поднял на вытянутых руках, и я вижу что-то черное там, где наше большое зеркало. Длинная, как мамино новое платье, черная тряпка висит на зеркале. Господи, нет, это неправда, что мама умерла! Папа поднимает меня, чтобы я могла ее видеть, а я не смотрю на лицо, а только на платочек в желтых пальцах, нежный, как светящийся мотылек. Потому что если увижу ее лицо, — это будет правда. Господи!.. Какие-то женщины внизу шепотом подсказывают мне: «Поплачь, тебе надо плакать, тебе надо...» Я отвожу глаза на зеркало, на черную тряпку и нарочно вспоминаю, как мы ходили фотографироваться, все втроем, а он спрятался под черное, тот, к кому мы пришли... Упадет черная тряпка, и я все увижу. Все!.. «Ты не бойся, ты поплачь, тебе надо плакать...»

...Прошло три минуты после выстрела Доброскока: Тупига как раз посмотрел на свои «кировские», было уже 11.34 по берлинскому времени. Именно здесь женщина открыла глаза, лишь на миг, и увидела, унесла в себя, в спасительный сон и это: чьи-то огромные, в сапогах ноги над ней и уходящие в небо, наклонившиеся, будто падающие, нечеловечески большие фигуры. Слух ее зачерпнул и звук — воющий, далекий...

И каратели слышали многоголосый вой в соседнем поселке и теперь говорили об этом.

— Во когда мельниченковцы проснулись.

— Нет, там первая немецкая.

— Когда будет им конэц?! — сердито сказал, глядя в яму, голый по пояс каратель с черными, в шоферских рукавицах, руками, вытирая волосатый живот и под мышками сначала одним, потом другим рукавом грязной рубахи, которой он опоясан, как фартуком. Стащил и подальше от ямы, к стене бросил рукавицу, принялся стаскивать вторую, а она, длинная, тесная, не слазит с потной руки, щедро покрытой шерстью. Морщится, как от боли, и смотрит на Тупигу, который в шинели стоит рядом и, склонив набок голову, жует травинку. Черные глаза все намирают на Тупигу, все больше круглеют, а тот вроде и не замечает, что вид его кому-то неприятен.

— Пачэму не сымешь? Пачэму? Кто тебя заставляет? Кто, спрашиваю? Я тебя заставляю?

Голый, потный каратель все больше свирепеет, будто его самого пеленают в пыльное сукно Тупиговой шинели.

— Кто укусил вашего Кацо? — поинтересовался Тупига.

— Шинэл, пачэму шинэл! — страдающе выкрикивал Голый. — Пачэму не сбросил?

— Вы бы все побросали, — презрительно сказал Тупига и ткнул стволом пулемета в сторону ямы: — Во, они у вас ползают. Работнички!

И другие подошли, стали смотреть. Подсказали:

— Проведи разок. Заведи свой граммофон.

— Распишись, как в день получки.

Нехотя, с ленцой, движением мастера, которого призывали исправить чужую мазню, халтуру, передвинул на груди «дегтяря», взвел клацнувший затвор и стал бо-

ком к яме. Даже голову от плеча поднял, держит почти прямо. Резко передернул ремень пулемета так, чтобы ствол смотрел вниз, и сразу ударила очередь. Длинная и дымная. Как бы сопротивляясь, упрямясь, но влекомый тугой пружиной, Тупига медленно поворачивался, разворачивался на краю большой, оставшейся от картофеля, заполненной людьми ямы. И пошел по краю, ноги его, сапоги рвали окровавленные и похожие на внутренности стебли картофеля, ступали осторожно, чтобы Тупиге не поскользнуться и не сбиться с плавного рабочего хода. Эхо, забивая паузы меж очередями, понеслось через поле, ударилось о зелено-белый березник, бросилось в противоположную сторону — о дома поселка стало биться. (А оттуда уже выползает мирное, как на пастбище, стадо коров.)

Тупига тянул очередь, как опытный портной шов, — твердо и плавно, внимательно вслушиваясь в работу машины. Следил, замечал, как испуганно вздрагивают и, кажется, ойкают мертвые, словно оживающие от его работы... Сначала у стенки ямы, по краю прошелся, подчистил (правда, кое-где неаккуратно задевая, сбивая черный и желтый песок), затем круг поменьше взял, оставляя самый центр ямы напоследок, — где, поджавшись и все равно бесстыже, на спине лежит та самая, которую привел Доброскок. (Было это на самом деле или только показалось Тупиге, что руки ее еще потянулись к подолу, когда она свалилась туда?)

У меня ползать не будут. Не будут! Не будут!.. Ишь, комсомолочка бесстыжая, развалилась, как дома. С затяжкой надо, с затяжкой, а точку поставить на ней. На-а-не-е-ей!.. Сейчас, сейчас — угадать, чтобы не раньше и не позже, последние пяток патронов, пуль — туда, в самый центр, на-а-а-не-е-ей!..

Уже подвел гремящую очередь к лежащей в середине женщине, уже взорвалась кроваво голова старика, который распластался у нее под спиной, уже почти доста-а-ал...

И тут пулемет пусто смолк, будто и не стрелял. Лишь вонь пороховая перед лицом.

— Где диски, свинья? Тебя спрашиваю! — Тупига слюной брызгал в лицо Доброскоку, а тот только моргал и не понимал.

— И правда — диски! — наконец вспомнил Доброскок и, повернувшись, посеменял, исчез за углом.

Тупига как можно спокойнее отошел от ямы и сказал, чтобы все слышали:

— Работа! Учитесь, сачки!

— Эй, Тупига! — вдруг заорал молодой и весь в ремнях полицай (это с ним Тупига вернулся из деревни, с ним шел за Доброскоком и женщиной). — Давай пошли! А то Барчик свернет шею тебе на другую сторону. Фэрштейн? И мне, посыльному, заодно.

— Заткнись, Одесса дурная!

— А мне что? Сказано: найди и тащи живого или мертвого. Нужен ему зачем-то.

Вот уж на кого целого диска не пожалел бы — на воругу этого, крикуна! Никто фамилии его не помнит, зато клички аж две: «Одесса» и «Сиротка». Противный голосок, скулящий. И наглый. И все так изобразил, что другие смеются, им хоть палец покажи, будут скалиться. А сами на месте Тупиги еще как бы заносились: его, а не кого-то другого ищет командир роты, без него не может! Да только Тупига не из таких: зовут — пойдет, но бежать не собирается. И даже радоваться во весь рот.

Идти надо, раз кличет гауптшарфюрер. Но тут есть свой начальник — Лянге, и хоть он всего лишь шарфюрер, но настоящий, германский немец, а не такой недоделанный, как Барчик. Стоят у стенки сарая оба шарфюрера, два командира одного взвода, и тихо беседуют — не лезть же к ним! Лянге по-русски ни бельмеса, но Сечкарь-то, русский командир и шарфюрер, слышал, что говорил Сиротка, и, значит, должен объяснить немцу. Он для этого — а для чего же еще? — и состоит при Лянге. Помогает немцу командовать «русским взводом». И еще семеро немцев — «майстэры» во взводе, для того, чтобы Лянге не скучал, чтобы не один был среди чужестранцев. Прежде их было только трое — немцев во взводе, теперь добавили, стало по семь, по десять в каждом ненемецком взводе. Это после того, как целое отделение сбежало в лес, весь караул Горбатого моста. Заскучали по Советам! Вот на кого дисков не пожалел бы!

Замухрышка этот Сечкарь никак не натешится, не нарадуется, что говорит, как настоящий немец: научил-

ся где-то студентик! Так и сечет, так и лопочет — все патриотизм свой показывает. А Лянге слушает и не слышит, смотрит и не видит: он все ушами своими занят. Просверлит ухо и посмотрит на свой палец, второе продырявит и тоже посмотрит. Не любит он близкой, громкой стрельбы, уши у него попорчены паровым молотом.

— Там живые были, ползали, — запоздало объяснил Тупига в сторону немца. Чугунный он какой-то и непонятный, этот немец. И ему разрешают иметь толстые, черные усы — ни у одного немца усов нет, разве что у высших офицеров бывают маленькие, как у фюрера. Это потому, что у него заячья губа. Одна у него радость и забота: вернется батальон в казармы, в Печерск, каждый ищет свой способ отдохнуть — кто посылку в Германию собирает, кто на месте меняет, загоняет сало и шмотки-транты на шнапс, а Лянге бежит к евреям. Это всем известно. «Где шарфюрер Лянге?» — «Где же еще, обнюхивает жидков!» В подвале сидят, работают евреи. Классные сапожники аж из Польши — специально для штурмбанфюрера и его знакомых держат. Лянге из их конуры не вылезает. «Что он там делает?» — «А что собака с зайцем делает? Лапки ему только и достанутся, нюхает, пока можно!» Но говорят и такое, что Лянге вовсе не с молотом паровым, а с сапожничьим работал — мастерская у него в Германии. Вот он и скучает, не жидков, а кожу нюхать бегаёт, вар, дратву. Отнимет у Боруха работу и сам начинает головку натягивать, гвоздей в рот себе натыкает и только мычит, когда Борух его нахваливает: какой мастер наш герр шарфюрер, какой мастер! Возьми, возьми его в свою бригаду, еще и стахановцем будет! Он тебе когда-нибудь покажет, какой он мастер, наш Лянге. Мирный-смирный, но это он, а не другой кто придумал и посоветовал начальству: чужестранцам давать специальные патроны, чтобы видно было, куда пуляешь. Трассирующие пули, светятся — у Лянге не посаж-куешь, не схитришь! Будешь стрелять куда надо. Этот сапожник дело знает. Хотя и слушает — не слышит, и смотрит — не видит. Но что ему надо, заметит и услышит.

— Гут! Марш, арбайтен! — махнул рукой и показал куда-то туда, где Тупигу дожидается Барчик. Ага, Сечкарь все-таки объяснил ему. Ишь, как старается

по-ихнему студентик, все патриотизм свой показывает!

Вошли в жито и, прокладывая каждый свою стезю, пошли к лесу. Жито реденькое и неровное, изо всех сил старается и не может закрыть желтый песочек.

Чернозем белорусский! А и они туда же: не нравится им Германия, у которой урожай, каких и на Украине нет. Где он там, Доброскок, где этот бульбяник? Хорошо, хоть сумку с дисками нашел, не забыл. Недобиток кличевский! Вот, наверное, семенил ножками, когда от партизан драпали барчиловцы из своего Кличева. Наплодили сталинских бандитов бульбяники, а теперь не нравится, когда немец всех поджаривает, — и правого и виноватого. Но сегодня заяц этот показал класс. Ахнул в бабу, как из пушки!

— Ловко ты — у Кацо прямо из-под носа!

— Кацо ни за что не простит ему, — с лету подхватил Сиротка. — Только волосатый нацелился, а наш Доброскок...

Опять там стреляют — возле сарая. Что они, работу Тупиги поправлять решили? За сараем всех не видно, но край ямы и немец Лянге видны. Стоит, держа автомат у самых колен, брызгает короткими очередями. Он всегда так: даст другим поработать, но последний выстрел за ним. Подойдет и побрызгает на твою работу. Как собака на столбик. Бабку свою немецкую поучи писать в бутылочку!

Перезаряжает автомат. Что он там рассмотрел? Или та, брюхатая, на которую не хватило в диске пяти патронов, до которой не дотянул, — может, ожила, снова подол поправляет?..

— Тупига, сколько на твоих золотых? — орет Сиротка издали. Бежит впереди — собачья привычка! — Барчик мне сказал: фарфлюхтр, а к двенадцати тридцати — живого или мертвого!

— Я тебе покажу — мертвого!

На «кировских» показывало 11.50. Возле сарая больше не стреляли. Стоя над ямой, Лянге перезаряжает автомат, ладонью вгоняет новый «рожок».

Тупига свернул к ложбинке, забитой зеленым кустарником. Густой, свежий березняк, не иначе, криничка

там прячется. Сиротка добежал первый. И уже шарит в темной яме рукой с закатанным по локоть рукавом, ахает:

— Во, сволочь, во, холодная!

— Раков ловишь? Убери лапу, не паскудь воду!

Тупига попил с ладони и на лицо себе плеснул, провел мокрой рукой по теплomu вытянутому телу пулемета, который сразу зачернел краской. Наклонился помыть голенища, сапоги. А тут что-то больно ударило в затылок и — «Бах! Бах-бах!».

Сиротка отскочил и все еще держит свой вытянутый пистолетом палец. Ноздри короткого носа — будто двустволка, глаза круглые от дурной радости. Но тут же перепугался, когда Тупига распрямился и обычно набок склоненная голова его стала прямо, высоко, как у змеи. Яростно клацнул затвор пулемета.

— Шуток не понимаешь! — взвизгнул Сиротка.

— Одесса дурная... — не сразу выговорил Тупига, и Сиротка понял, какое страшное мгновение пронеслось мимо. Мокрыми ладонями Тупига провел по худым, темным от шерсти щекам и пошел к лесу. А сзади тащился Сиротка, скуля и ругаясь. Жаловался, грозился:

— Думает, я ему прощу! Не думай! Я тебя в Могилев¹ отправлю, я тебя полечу, если больной!..

ПОСЕЛОК ВТОРОЙ

Из показаний Багрия Мефодия Карповича, 1913 года рождения, из села Михайловка Полтавского района:

«Я вступил в карательный отряд СС из лагеря военнопленных с целью улучшить свои бытовые и материальные условия... Эта деревня Хотеново была партизанской. Мы зашли в хату, а там пятеро или больше детей. Мы вышли во двор, тогда я говорю, что расстреливать не буду, он мне тоже показал на сердце и говорит, я тоже не могу. А я его еще спросил: «А почему не будешь, а кто же будет расстреливать?» Он мне ответил, что для расстрела позовем из следующего дома, и он за нас расстреляет...»

¹ До войны в Могилеве была известная психолечебница, именно с ней было связано выражение «отправить в Могилев».

Из показаний Рольфа Бурхарда, зондерфюрера немецкой комендатуры города Бобруйска:

«Это было, кажется, в начале июля 1942 года. Знакомый мне по работе сотрудник СД Мюллер спросил меня, как я поживаю. Я ответил — ничего, только туговато с продуктами для посылок домой. Мюллер мне ответил, что в воскресенье, когда я буду свободен, я могу вместе с ним поехать в район и там можно будет кое-что достать.

Утром в воскресенье я пошел в СД и вместе с Мюллером поехал на легковой машине в деревню Козуличи. За нами следовало еще три грузовика, на которых были посажены эсэсовцы.

Деревня Козуличи Кировского района была оцеплена эсэсовцами, и население выгонялось из своих хат. Я вынул свой пистолет из чехла и тоже принимал участие. Все граждане были построены и, за исключением старосты и семей полицейских, выведены на окраину, там их загоняли на мельницу, а потом мельницу поджигали. Пытавшихся бежать мы расстреливали на месте. Я видел, как эсэсовцы в горящую мельницу вталкивали или просто бросали детей и стариков.

После этого мы с Мюллером вернулись в Бобруйск. Было забрано порядочное количество продуктов. Из них я получил около двух килограммов сала и кусок свинины...»

Такие дома сгорят! Даже жалко. Неплохо устроились куркули борковские. Колхознички бульбяные! Песочек желтый, а голода не знали даже в тридцать третьем, когда другие погибались. Потому и бандиты еще на уме. Советы им в голове. Мало вам Сталина, колхозов, не натешились! Но дома можно было бы и не сжигать, если большевиков навсегда прогнали. А то может и сами немцы не верят, что навсегда? То они дрожат над каждой мармеладинкой, как над причастием святым, а тут на ветер и дым такое добро пускают. Ну, а бандеровцам что, они здесь в командировке, им лишь бы ухватить под полу. Вон как бегают со двора во двор. Побьют, попалят и геть в свою Западную!.. Тоже хорошие куркули!..

Ну, где эти мои придурки, куда побежали? Стоят друг друга, что Доброскок, что Сиротка — одним мешком крестили! Бегают, подлизывают за бандеровцами,

которые уже в середине деревни постреливают. Не очень за ними лизнешь. Стащить бы с которого мундир да показать, сколько под ним штанов да бабьих кофт понадевано! Другой — что тебе капустный кочан, таким и приедет в Могилев. Ага, вон и мои. Остановил их немец, лепечут что-то, объясняют, чьи и куда идут, по какому делу. Нет, не немец это, по-русски окает, а немец у него за спиной жметя — с кульком грязным в руках.

— Камрад в долгу не останется, ребята. Не в службу, а в дружбу.

Чего им надо, этим друзьям? А Сиротке лишь бы поорать:

— Эй, Тупига, хочешь? Француз салом платит. Копченое. За одну только хату.

Так вот оно что! Еще один сачок сыскался — французский! Они тебе ворованное сало, а ты за них поработай. Продают и сами же платят. Доливана, шефа бы сюда, он бы вам залил сала за шкуру.

— Как жидовки бобруйские! Курицу зарезать — соседа зовет.

— Ничего ты не знаешь, Тупига.— Сиротка рад за других стараться, когда его не просят.— Для курей нож надо специальный — кошерный. А твоя машина — на любой случай. Ого, Тупига у нас мастер. Барчик и помочиться без него не может. Специалист наш Тупига! Одним диском обрабатает, что твое отделение не сумеет. Распишется «дегтярем» и инициалы поставит. Берись, дура, сало какое!

Вот и берись, раз в Одессе все такие грамотные.

Чудеса, да и только у этих немцев! То готовы на край света ломиться, чтобы ни один не спрятался, а тут ходит у них под носом, и не видят. Да такого француза, с таким носом в сорок первом любая полиция остановила бы: снимай штаны! Вылитый жмеринка этот ихний француз! Но мне что, больше, чем немцам, надо?

— Ладно, пихай свое сало сюда, раз у самих кишка тонка. Доброскок, где Доброскок?

Снова смылся и диски утащил. О гад, ну, добегаешься у меня, это точно! Я тебя достану без кошерного...

Изба большая. И сделана мастеровито, ничего не скажешь. Даже над воротами специальная крыша, наддверие, чтобы долго стояли. И окна все в резьбе. Но промашка у дядьки получилась: звезду вырезал над окна-

ми. Думал, и ей сносу не будет. Нашлась сила покрепче. Гореть ей вместе с домом твоим. Интересно, сам он тут сейчас, работничек, или в банде прячется? Да и не разберешь у этих колхозничков. Он тебе и дома и замужем. А только Доливана не перехитришь. Он сортировать не станет, он этим и не думает заниматься, сортировать, кто и какой.

В окно смотрят, прилепились к стеклу. Еще бы столько гостей на ихней улице! Бабы, конечно. Мужик, если и дома, в окно таращиться не будет, косит глазом сбоку, спрятавшись. С бабами все понятно, заранее знаешь, как и что будет. И это правильно, что их обычно отделяют и занимаются ими после мужиков. А когда вместе, тут жди чего угодно. Все равно что бензин да в соломе держать. Ну, что смотрите, может, узнали? Свой, свой идет, видите, даже усмехается. Вот так, и не бойтесь. А что, может, и знакомый... Не надо только лишнего изображать. Это Кацо, когда идет, — что тебе бык на ворота! Разбегайтесь кто куда! Уши закроешь от визга, плача. А зачем, если подумать? Себя показать — любой дурак умеет. Ты дело покажи. Жмуриков, когда они уже в яме или в куче, — тех ворочай как хочешь. А с живыми — раньше присмотришь, с какой стороны зайти да где стать. Не жалея слов, усмешки — не убьет тебя! Вот так: открыл калитку — закрой. Чтобы курей чужих не набежало. Хозяин к хозяевам идет. Иду, иду, не смотрите так! А сенцы не успел дядька смастерить. Снегом будет задувать. Только и успел, что столбы поставил, стропилами связал сверху, а крыши еще нет над сенцами. Ушаты, ведра по углам, жерны — хлеб молоть, кламья под ногами всякого... Ну, ну, что еще тут? И кто тут в прятки играет? О, сестричка! А где братик? Ну, ну, беги в хату, беги к мамке, нечего тут делать! Больше никого под этими трантами? А на чердаке?.. Ну нет, сам лезь, французик паршивый, я тебе не пожарник. Вот бы здорово: полез, нос туда, а его по башке — тюк! И привет вашим! А в корзине тут что скрипит, шевелится, котята? О, это ты? Совсем как ежик свернулся. Ловко поместился в такой маленькой корзине! Беги в хату, беги за сестренкой!..

— Добрый день господам! Что собрались, как на фэст¹? Или сватов ждете?

¹ Престольный праздник (бел.).

Главное не молчать, если зашел к людям в хату, что попало говори, но молчать нельзя.

— Что это вы девку, хлопчика из хаты выгнали? Самые непослушные, наверно?

Ну, француз, ну, купил! Да здесь три или четыре семьи! Сбежались, сбились в одну хату все соседи, как специально. Наверно, потому, что тут мужик есть. При нем смелее. Вон сидит у окна, на табурете. В окно и не смотрит, ему не интересно. Сел, и он уже не он. Ну, француз, ну продал хатку! На всех кроватях, на сундуке, на печи — отовсюду смотрят. Как бобов насыпано — на каждую тетку, может, пятеро пацанов, а теток тоже — одна, две, три... Не меньше семи.

— Во кому хорошо! Что ж он у вас — один? На всех один? Пятью семь — тридцать пять... Во кому выгода! Как петуху...

Неважно что, но говори, не молчи. Чтобы голос слышали — обыкновенный, не злой. Хорошо еще, что не несколько, а одна комната и большая. Даже кухонной перегородки не поставил. Это ты молодец, дядя. Есть где стать, чтобы все были на виду, под рукой. О, француз, ну, продал, ну, купил!.. Ну, что смотрите? Человека не видели? Ничего у вас не украл, а смотрите, как на злодея. Да тут глаз детских больше, чем у меня патронов. Другому и трех дисков не хватило бы.

— Хотите мармелад? Знаете, что такое мармелад?

Я уже с ними, как немцы с нами: думают, что мы в жизни не видели этой дряни. Что правда, то правда — научились и мармелад за еду считать, с хлебом есть, как с маслом.

— Хорошая печка у вас. Что, бабка? Хорошо кости погреть? Хлебом у вас так пахнет! Готов, доставать пора, а то еще сгорит. Которая тут главная жена?

Что смотришь, дядя? Ну, и что бы ты сделал с «бобиками», если бы мог? Да только руки коротки! Вот, вот, сиди и и покуривай, бандит. Смотришь. Поздно смотреть. Пахнет хлебом — вот и жили бы, как люди живут. С мякиной, домешками, с бульбочкой, но хлеб. Не жрали сухую землю, лебеду, хоть паршивый гриб, хоть ягода, а всегда у вас что-то было, есть, от этого и дурь в голове. И никак из вас не выбьют.

Кажется, сколько уже лет, как не голоден, а все равно кружится голова, стоит зайти в хату, где хлеб пекут.

Слюной можно захлебнуться. Все с тех пор, с того времени! У них тут и в тридцать третьем пекли, ну, может, бульбы побольше, желудей да коры. А там, если уж нет, то ничего нет. Пять лет густо, но уж если пусто... Кто сюда добрался, тот ожил. Думал, умом тронусь, столько нас лежало в деревнях да на вокзалах — высухших, как прошлогодние палки подсолнечника. Хитрецы, выбрали себе вроде бы незавидный край, одни болота да леса, а пожалуйста, без пшенички, зато и без голодухи. Ну что, ведьма, зыркаешь? Лежишь на своей печке, вот и лежи, грейся! Сколько там собрала, собой загородила? Целый выводок цыплячий! Похожа, до чего же на ту похожа — такая же сухая и сердитая. Рудня называлась деревня. Кругом ольха, зеленая, живая. А канавы и дороги от ржавчины грязно-желтые. Рудненцы говорили, что когда-то и запорожцы тут бывали, болотное железо варили. Пожалуйста, и железо: нагнулся и бери, как гриб, как ягоду! А когда шел, когда вывалился из товарняка и брел, шатаюсь от ветра, дождя, думал, что не дорога такая желтая, а в глазах от голода. Дополз до первой хаты и осел, на пороге свалился: так ударил в голову хлебный дух. Заплакал. Заплакал, суки! А вам все еще мало. Партизаны еще вам нужны, доиграетесь!..

— Хлеб у тебя не пересидит, хозяйюшка?

Кто у них тут хозяйка? Ага, вот эта, в белой кофточке. На руках малое, и она не сидит, а возле своего мужика стала, так ей смелее. Дернулась идти и тут же на дядьку глянула.

— Ладно, тетка, я горячего хлеба не ем. Мне одна старуха на всю жизнь объяснила: живот спячэцца и будешь качацца, пакуда спруцянеешь! А я все живой. Выходила, спасибо ей, старуха. Вы тут молодцы, не голодали, хлебный дух не выводился.

— Усяк бывало, по-рознаму.

О, ты и говорить умеешь, дядя! Жадно сосет окурок, будто сейчас из губ у него выхватят, скоро усы затрещат, обсмолит. Надымарил — один за колхозное собрание. Сколько же тебе, дядя? Лет тридцать, хотя и замаскировался бородой, — самый бандит. А такой невиноватый, такой колхозник: ничего и никого, он только покурит, он подымит! А потом что?.. Руки дрожат, аж за колени хватается. Так бы и вцепился, так и вцепился бы! Сиди, дядя, пока не побрызгал на

тебя, на горячего, вот из этой штуки. Змитер хитер, но и Тупига не дурак — слышал такое?.. Стать вот там. Пройти туда-сюда, прогуляться, а стать там. Чтобы и на кровати, и под кроватью, и на печке... Гад, француз, сколько же ты насобирал их? Глазенки, глазенки из-за бабьих плечей да пятки черные, как у ежика...

Что, что у тебя там?.. Снова забеспокоился дядька. Цигарка, огонь в зубах, а он баночку от гуталина достал, перетирает самосад пальцами. Или гостю предложишь? Нет времени с тобой тут раскуривать!

Тебе, может, и некуда спешить, а у нас расписание, начальство ждет.

— У вас тут на стенке целый колхоз.

Под стеклом — и даже в рамке! — большущая икона родни. И все такие серьезные, таращатся, как на пулемет! Бабы, мужики — все в новых рубахах, а один, молодой, даже в шляпе.

— Говорю, родни у вас, как у буржуев!

Говори не говори — молчат и смотрят неподвижно, как с карточки. Не кричишь, не наставляешь пулемет, но эти бабы такой народ — заранее все чувствуют. Ожила вдруг хозяйка, даже зарумянилась, а глаза неподвижные.

— Ага, я сейчас, я хутенька — хлеб вам достану.

Почувствовала, что гостю уже нечего делать. Сейчас, она сейчас! Побежит и отдаст хлеб, а ты уходи от ее детей. И другие бабы на нее все посматривают, от нее чего-то ждут. Толковая, наверно, молодка. Во, какая белая да чистая рубаха на мужике. Ухоженный. Ишь, чмур, пристроился! Люди кровь проливают, а он греется возле молодницы. Надел белую рубаху, и его не трожь. С него и начать. Вот удивится. Глаза у них всегда делаются удивленные-удивленные... Следи, следи, все равно не уследишь. Черт, не то я что-то делаю, заигрался. Даже в животе нехорошо. Француз проклятый!

— Вода у вас хорошая?..

— Ага, колодцы у нас глубокие.

— Да, хорошая, холодная. Глубокие, говоришь?

Сказал ты, дядя, а что сказал, не знаешь. Глубокие — это Доливан любит, штурмбанфюрер. В любой деревне обязательно заглянет в колодец — первым делом. Не надо время терять, ямы копать...

— Много мужиков осталось в Борках?

— Да есть! У нас и полиция своя. Немного, правда, но своя.

— Сколько немного?

— Да десять или больше.

— Это на семи поселках? Отвалили, нечего сказать! А ты почему не вступил? Привыкли, чтобы кто-то за вас.

Хозяйка встрепенулась, как курица. Сейчас скажет, что он больной, хворый, неудалый, порченный...

— У него груди слабые.

Ну вот, как по писаному. И грех и смех с вами. И назлишься и повеселишься. Вот удивятся француз и его дружок, если я сейчас выйду из тихой хаты. Как вошел, так и вышел: нате вам ваше сало, сачки!

— Ну, что молчишь там, старая? Рассказывала бы им про куру-рябу. Скоро столкнут тебя с печи внуки; сколько их у тебя?

Улеглась по краю печи: это она уже загородила их, она уже их спасет!.. Наперед все знаешь, но почему-то всякий раз тянешь, затягиваешь, рассматриваешь их, и им даешь себя рассмотреть. А они слушают твой голос, а сами стараются не прозевать тот момент, самый главный. Молчат, а шепот из всех углов: уходи! уходи! уходи!

На сундуке маленькая, чистенькая, беленькая, хоть в гроб клади, старуха, личико морщинистое, как у Доброскока, она все на окна смотрит, там слушает и других заставляет слушать:

— Ой, детки, стреляют! Ой, чегой-то они там? Курей стреляют?

Говорит, спрашивает, смотрит, и так ей хочется поверить, что это курей стреляют. И за тебя боится, будто ты и не полицейский с пулеметом, а тоже с ними и тебе тоже страшно. Заранее все знаешь. Заранее. И они тоже стараются не пропустить момент, когда ты перестанешь кружить перед ними и говорить, говорить... И всегда этот момент неожидан для них. Да и сам всякий раз поражаешься, как все меняется сразу, стоит нажать пальцем. Вот этим пальцем... Отгрохочет на твоих руках «дегтярь», а все уже по-другому. Лежат, поджав колени, локти или раскинувшись так, что и захочешь — не придумаешь специально, и вместе с тобой удивляются, что все-таки произошло... О, лампадка у вас, зажгли: значит, знали, что я приду! Борода-

тый, как колхозник, бог что-то держит в щепоти. Посоли, посоли! А я добавлю...

— Вот так: до бога высоко, Сталин далеко, а немцы тут! Видите, как получилось!

Отступить за стол, подальше, чтобы видеть всех и повыше — и тех, что за бабу на печи спрятались. Но начать с мужика. А после вернуться и пройтись под кроватью. Хорошо — прямая линия: от дядьки по кровати, сундук, печь, назад тем же путем и — во-от где вы, голубчики! вот где мы вас нашли! ну, и много вас тут, под кроватью?..

Всегда лучше бить от порога, но печь мешает. Всегда спокойнее, когда дверь спиной чувствуешь. Но тогда печь не твоя, придется прерывать на половине и снова начинать. А те слушают на улице, ждут: пусть услышат одну очередь, только одну: битте, принимай работу! Это тебе не лягушек потрошить!..

— Что ж вы советские иконы сняли? Спрятали отца и учителя?

— Кого?

Ишь, забыл, уже не помнит, уже не понимает!

— Царские вывесил и думаешь — немцу понравится? А того не знаете, что это — Янкель!

— Кто?

— Кто, кто! Христос ваш! Янкель, только крещеный. Но немцы на это не смотрят: крещеный не крещеный.

Если по совести, так не очень и поймешь немцевы дела с богом, с попами, с церквями. Вроде как и разрешают, даже открыли и там, и там, а сами, когда на политзанятиях выступают, кроют и бога и евреев одними словами. Немецкий бог называется по-другому, Гитлер его часто в речах поминает: привидение! привидение!.. Черт их там разберет! Зато штурмбанфюрер, если увидит церковь, если где уцелела, — готов креститься на радостях. Дерево старое, сухое, краской, олифой пропитанное — горит, как солома. И люди спокойнее себя ведут, легче, охотнее заходят, идут в такое здание — не то что в амбар или в школу. Надеются, что и немцы в бога верят. Верят, да не в вашего...

Все знаешь заранее. А рассчитать, как все получится, чтобы точно знать, — не всегда удается. Так и жди, что-то помешает или кто-то. Без спешки надо все рас-

смотреть, прикинуть, обдумать. Ни разу не было, чтобы без фокусов. Вдруг как проснутся — в окно сиганет, побежит, закричит, и тут уже не до порядка, лупишь, лишь бы осадить панику, свалить в кучу. А то и свой олух что-то не так, по-дурному сделает — взбудоражит, распугает. И тогда свету белому не рад будешь. И кровью, и соплями измажешься. Только злость лишняя. А чего, если подумать, злиться? Сами виноваты, работать не научились.

Нужен подход к людям, и все будет чин чинном.

— Ну, а где эти, где мужики ваши? Что ж не держите, бабки, при себе?

— Много вас удержишь! Вот тебя...

О, тут и румяная да круглая есть, не сразу и заметил. И улыбается, пробует улыбаться. Не на того ты нарвалась! Такое с Кацо может пройти или еще лучше — с моим вторым номером. Это их хлеб. Свой я сам заберу. Который в печи. «Спяэцца живот и спруцянеешь...» — старушка давно сама «спруцянела», а я — вот он...

— Что я, я на виду, не прячусь, а вот ваши парти-и-за-ны!.. А ты, борода, что в банду не пошел? Или ты и дома и замужем?

— Мне и дома добра!

Ого, гневается уже, интересно!

— Ну, а в полицию почему? Что ж не записался?

Сказать ему нечего. Зато румяная молодка не молчит, голосок не пропал еще.

— Какая тут в Борках полиция? Смех один! Только где самогонка, там они. А как ночь, попрячутся. Придет к тебе и сидит сычом у окна, никого даже до ветру не выпускает. Это он боится, что... этих самых приведут. Ну, партизан. А кому он нужен такой?!

— И верно, сидит квашней всю ночь, когда такая молодка в хате! Я бы сам его бандитам отдал, как дурную собаку волку.

Что это я тяну сегодня, как никогда? Назло тому лягушатнику? Пусть помучится: а вдруг раздумаю брать его сало!.. Разговорился с бандитами. В полицию их уговариваю. Ишь смотрят: ничего не знаем, ничего не ведаем! Зато мы ведаем... Печка хорошо просматривается, если на сундук встать. Но их там, на этом сундуке, десяток: мокро будет и скользко. Смотрят, малым даже интересно, что этот дядька тут ходит

и усмехается... А что, и правда уйти! Кому я что должен? Сало? Так я и без тебя найду, если очень захочу. Просто хотел вам показать, кто чего стоит. Только звание одно, что француз или австрияк, а как до дела доходит — сачки, ничуть не лучше моего Доброскока!

— Может, и правда хлеба хотите? Свеженький!

Она как подслушала — беленькая хозяйка, голосок зазвенел, готова уже дитя соседке передать, чтобы бежать, вынимать хлеб из печи. Но нет, еще сильнее прижала, чтобы оно не смотрело никуда, а к печи посылает другую:

— Феня, ты там ближе, достань и дай человеку. Хоть весь.

Ишь ты беленькая, худенькая, все чувствует. Боится выводок свой, гнездо открыть. А Феню посылает проверить, как бы в разведку. Разрешу или не разрешу идти к порогу...

— Я сам возьму, не надо!

Когда-то сидел на пороге, не мог переползти, так ударил в голову хлебный дух, сидел и плакал, а старуха все возилась у темной печи, из миски брызгала водой на горячие буханки, круглые, большие, близкие, и уговаривала: «Не съем же я одна, и тебе дам, только обожди, а то спячэцца живот и спруцянешь, як тут учора один...»

— Ой, детки, что это они? — маленькая старуха так и влипла в окно, даже вазон слетел на пол и горшочек с землей разбился. — Они же людей стреляют! Они же людей!

Ну, так и знал! Какой-нибудь олух обязательно что-нибудь да испортит. Пожалуйста, кино устроили напротив окна! Работай на дураков, а они во что вытворяют. Двое в касках, похоже, что немцы, подняли на огороде бабу с детьми, с целым выводком, и нет чтобы завести в хату или хотя бы в сарай, так они тут же их стреляют. Стоят рядышком, как на плацу, и в упор, в упор, из винтовок, прямо в кучу, и хотя бы ее первую, чтобы не кричала так...

— Ой-ой! — Не там, тут, в хате уже крик. — Что ж вы это робите, что ж вы это?!

Ну, все пропало, теперь начнется! Дядька вскочил на ноги. Он услышал, как Тупигин затвор клацнул, и вдруг закричал, выкатывая глаза:

— Ну, меня стреляй! Меня! Я, может, и правда — партизан! А их, детей за что? Кто вы, вы люди или кто вы?..

Сейчас поймешь, если спрашиваешь! Спокойно, спокойно...

Тело пулемета назад рванулось — как бы и он испугался. Дядьку отбросило, он толкнул табурет, налетел на него, упал, борется с ним, долго, слишком долго, забирая на себя очередь, которую надо бы уже поднять на кровать, тянуть через сундук, но и поднимать поздно, они уже кто где, рассыпались, к полу приникли, а дядька все дергается — теперь на всех не хватит, так и знал, что помешает что-то, не бывает никогда, чтобы без фокусов, а еще этот дурень диски утащил, вот на кого не жалко последний патрон потратить!.. Пулемет сам ушел на кровать, выворачивает руки, шеи, краской брызгает на стены, отыскал тех, что на сундуке и рядом, на полу, а стол мешает, не дает пройти, чтобы видеть всю печь, и те, что на полу, у ног, мешают, страшно отдавать им ноги, но дотянул и до печи, во-от, дотяну-у-ул, та-ак, получай и ты, ве-едь-ма, получай, посмотрим, какая из тебя броня, кого ты закроешь, спрячешь. Не о-очень спрячешь!.. Сколько в ней соку, печка враз стала красная — плывет сверху...

Грохот оборвался, а эхо ревет внутри. Булькает кругом, хлопает, может, они и дышат, конечно, дышат те, что под кроватью да на полу, но это уже француза дело. Хлеб только забрать, а то сгорит... Горячий, сволочь, кусается! Пошли, дурачок, а то сгоришь на уголь вместе с ними!..

ПОСЕЛОК ПЕРВЫЙ.

11 ЧАСОВ 51 МИНУТА

ПО БЕРЛИНСКОМУ ВРЕМЕНИ

Она открыла глаза, чтобы только не видеть мертвую маму и это черное зеркало. Солнце стояло над ямой из-под картошки, било мертвым в глаза, и она не увидела, что над ямой стоит толстый усатый немец и перезаряжает автомат.

Возможно, ей только показалось, что она открыла глаза: слепящее солнце проникало в глаза сквозь красноту закрытых век.

...Я держу яркое кругленькое зеркальце близко к глазам, оно нагрелось на подоконнике, вижу свои красные-красные губы, запретно пахнувшие маминой помадой, делаю ими «поцелуи», жадные и стыдные. Я на кухне, я стою почему-то на коленях, как бабушка по утрам перед иконой. Нет, я знаю, почему я это делаю. Потому что это стыдно. Если бы кто увидел, мне бы оставалось только умереть. А от этого мне, бесстыжей, почему-то сладко, приятно, как никогда. Было бы ужасно, если бы мама или отец вдруг заглянули сюда, за ширму, а я на коленях и с зеркалом. Пахнет коровьим пойлом, картофельными паронками — у меня перед глазами грязные ведра, большой ушат. Мы, как все на бобруйских окраинах, держим «хозяйство». Стою на коленях, губы покрашены, а я крещусь рукой, как наша бабушка, бывало, — я умерла бы, мне уже не жить, если бы сейчас меня такую увидели! Не зеркальце это, а иконка, круглая, маленькая — осталась в нашем доме от бабушки. Когда бабушка жива была, большая икона-картина висела в углу, над ее кроватью, а потом ее сняли и куда-то кому-то отдали. А вот эта кругленькая сохранилась. Бабушкиных слов я не знаю, но мои красные бесстыжие губы шепчут их, шепчут. Запретные, сладкие губы, запретные слова!.. Вот так и мама облизывает губы, когда покрасит их, собираясь с отцом в гости. Задумчиво и красиво обминает их. Отец сзади подойдет (она видит его в зеркале) и положит руку на плечо, пальцами трогает ее шею — они улыбаются так, словно никого на свете нет, даже меня, а только они. Маме неловко и хорошо — как мне сейчас. Она обязательно снимет его руку: «Не мешай, опоздаем». — «Ну и давай опоздаем!» — «Ваня, у тебя одни глупости...» Я здесь за ширмой, а они в другой комнате, но я почему-то их вижу и не удивляюсь этому. Значит, я сплю? Почему я не удивляюсь? Губы от помады чужие, огромные, и так пахнет сеном, коровьим навозом, молоком. Что я делаю, зачем я здесь?.. Сейчас войдут, и я умру от стыда! Коровьим теплом сладко пахнет, навозом, а мы с Гришей наверху, на чердаке — на сене лежим. Под нами задумчиво жует жвачку корова, одиноко и смешно вздыхает, как большой пустой мех, и имя у нее смешное, с таким и купили ее — Книга. «Вы с коровой одинаково дышите», — я смеюсь, закрываю ему рот губами, чтобы успокоился, побыл

спокойно минутку. Его лицо прямо над моим, нетерпеливое, просяще-детское, такое глупое. Я крепко держу его руки, отдаю ему покрашенные губы, забираю себе его дыхание, смеюсь, а мне сладко и страшно... По солнечному лучу пулей врываются в сарай ласточки, припадают к черному, еще сырому домику, целуют его и уносятся, прочищая клювик укоряющим чириканием: «Чем здесь лежать!..» Не закончит, бессовестная, и умчится за новой порцией грязи.

— Родненькая! Родненькая!

Он шепчет, задыхаясь, умоляя и стыдясь сказать, он боится моего счастливого смеха. Он думает, что я над ним смеюсь. А я от страха, потому что я уже знаю. Все уже было у нас. Уже было. Я тоже долго не знала, не догадывалась, и вдруг поняла: было, мы с ним, как муж с женой, мы с ним живем! А нам все казалось, что будет еще что-то, я его (и себя) так мучила стыдом и страхом, мешала ему и себе, и за этим не заметили, что уже все было. Но я вдруг поняла, а он еще не знает. Как бы тоже испугался и обрадовался, если бы и он понял, что мы уже мужчина и женщина, что мы уже!.. Кислый запах любви, стыдный... Или это из-за ширмы? Нет, снизу, где корова. Из ямы... Из какой ямы? О чем я? Где я?..

Мне страшно, что кто-то под нами есть, кто-то дышит там, вздыхает... Но это же корова, я знаю, наша Книга! Но почему такое жуткое это ее дыхание? А если это сон только, и я не здесь, и Гриши нет со мной, и что-то происходит там, куда улетают ласточки? Я знаю. Я все уже знаю. Мы живем...

ПОСЕЛОК ТРЕТИЙ

Тихо здесь, как тихо! Только диски стучат под рукой у Доброскока да Сиротка все сплевывает. Жирный сладковатый дым заполз и сюда, в редкий соснячок, слюна стала противной, будто не своя, а тут еще этот все плюется. Ему все нипочем. Посвистывает и плюется, опущенные руки раскинул и почесывает свои воровские ладони о сосновые ветки. Подкидыш детдомовский — этому везде дом! Лезет каждому на голову, а сдачи получит и сразу на спину завалится и хвостом завилает. Вот такие, без царя в голове, и пе-

ребегают к бандитам, а от них потом и остальным беда. Доливан звереет, на ком попало лютость срывает. За убежавшего двоих стреляют — может быть, и невиновных, кто под руку попадет. Только дурак может думать, что немцы вот это все делали бы, что в Борках, если бы не знали твердо, что победят, что большевики уже не вернутся. Не враги же они сами себе и не стали бы они такое делать, если бы думали, что русские тоже придут в их деревни да города. Да и те, в лесу, разве они простят, если ты служишь в батальоне Доливана? Бегите, бегите к ним, они спросят, что в этих Борках делали и отчего дым был на всю округу такой сладкий. Ну, а Тупиге и до тех и до этих дела мало. Пусть им ихнее будет — и немцам тоже. А Тупиге и своего хватает. Для себя живет. Пока живет. Пока вот эта штука под рукой. Есть пулемет, есть и Тупига. И наган есть, пулеметчику, как и командиру, личное оружие положено. Тупигу вам не получить, пока живой. А из неживого хоть чучело набейте.

Снова жито открылось, но здесь, в низине, оно погуще. Сиротка взвизгнул и бросился вперед, как в воду, загребая руками и ногами: ему, как дурному щенку, от всего радость. Малинник в жите увидел, мелкие и густые кустики, погребся туда и уже орет:

— О, привет, хайль!

И тотчас рядом с ним встала согнутая женская фигура и уже лопочет, уже она не виновата, уже у нее дети-сироты, а мужа нема... Сколько ж тут этих сирот и все в батьковом: кто в рубахе, кто в больших сапогах, в пиджаке — одни хлопцы. Ишь спрятала новобранцев, пару годков добавить им, и пошли-потянулись друг за дружкой в лес, к бандитам. А Доливану опять забота.

— Я сам сирота! — радуется дурная Одесса и смотрит на Тупигов пулемет, на Тупигу: для тебя, мол, постарался, выковырял — работай! Еще один француз нашелся!..

— А может, Доброскока подпустить раньше, а, Тупига? Арбайтен, мужички!

И пошагал, злодюга. А Доброскок сторонкой, сторонкой — следом за ним. Чуть что, скажут: Тупига оставался последний, ему и свет гасить. Ах, вы!..

— А ну, на землю! Ну, что раскудахталась? Ниц ложись!

А те убегают и весело оглядываются, ждут, когда же загремит музыка. Смеющиеся львы!.. О таких вот, что дурака валять только и умеют, напридумывали всякие слова — в газетках да на политзанятиях. «Львы», «привидения» и еще всякое там! А как были, так и остались — сачки! Что-то в бок печет? Да, хлеб в сумке, он все еще горячий.

— Дает, во дает! — старается перекричать пулемет Сиротка. И Доброскок повернулся и смотрит на стреляющего Тупигу, но бочком стоит и смотрит, будто его и нет здесь. Широкая спина Тупиги и его наклоненная к плечу голова плавно разворачиваются, а локти вздрагивают, удерживая пулемет.

Повернулся, поправил и заботливо оглядел свою машину, и только тогда двинулся вслед за Сироткой и Доброскоком.

— Нет, пойду гляну! — сорвался назад Сиротка, но Тупига перегородил ему дорогу.

— Ты это куда, лев? Ухватить что-нибудь, на говенькое?

— А тебе какое?..

И тут — грохот! Рожь справа от Сиротки побежала, побежала, как от внезапного ветра. Сиротка влево бросился, упал, Доброскок аж присел от ужаса и удовольствия. Вскочил на ноги Сиротка, вместо лица что-то белое с дырочками для глаз, носа.

— Псих! Тупица! Доложу кому следует! Думает, все может, раз он дурак! Да за меня бы тебя, да знаешь!..

Сиротка машет кулаками, гримасничает, даже за винтовку трусливо хватается, а из глаз, из наглых вывернутых ноздренок какая-то слизь.

Тупига аж вспотел: так перепугал его Сиротка. Он мог добежать до малинника и увидел бы, что баба и весь выводок живы-здоровы. Узнали бы, что Тупига поступил как трус и размазня. Как сачок! Вроде того очкарика, что вышел из хаты и обрыгал, работничек, крыльцо. Всю дорогу потом над ним потешались. Тупига сам не знает, как и почему так получилось: весь малинник выкосил, жито вокруг, а бабу и пацанов обошел.

Наверное, лежат в малиннике и шепчутся, глядя вслед и не веря в свое счастье. Как на бога смотрели, когда уходил. Надо уводить этих побыстрее. Все ску-

лит злодюга, все матерится, а Доброскок весело лопочет, доволен, что попугали Сиротку. Лес впереди, не кустики, а настоящий. Слоняются какие-то из оцепы — немцы или мельниченковцы. Они, кто ж еще — «галицийцы», бандеровцы! Держатся всегда вместе, смотрят недоверчиво. А под рубахой, когда забьют которого, — у каждого крестик. Им даже бороды разрешают. Им и трезубец разрешают на немецкую пилотку и попа своего иметь. Во, на травке, под кустиками валяются, жарят-парят, про это они нигде не забывают. И у каждого свой собственный костерчик — колхоз для них хуже Янкеля. Деревенское сало подрумянивают на прутиках косцы-удальцы. Навстречу тебе смотрят, будто ты и есть тот самый, которого они еще вчера зарезали. Ну, ну, можете посмотреть, сало у меня свое, прутик вот он, есть, а огонек — дар божий. Кто-кто, а вы должны это знать: без бога курицу не зарежете! Помолятся за фюрера, Великую Германию, напоследок «хайль самостийная!» выдохнут со слезой и уже ходят, как выпивоха после баньки — чистенькие, румянькие. На восточника глядят, как на вошь чесоточную.

— Що бегаєте тут? А если б мы вас за бандитов посчитали? Да постреляли, щоб ты тогды сказав?

— Сказав бы, что дурак!

— Ну-ну! Разумниками вы были, покуль немец на вас не нашелся, поумнее.

— Маловато тебя, дядя, в колхозе подержали. А жалко. Хоть бы знал, как с людьми разговаривать культурно.

— Пожалей свою...

Не удалось поругаться: зашевелились, забегали «самостийники», к дороге стягиваются — что-то там происходит. А вкусное сало украд француз! С теплым хлебом (все еще держится в сумке печной жар) вкуснятина! Что у них там, пойти посмотреть?.. Ага, вот что их подняло. Баба шпарит сюда, прямо на оцеп. Видно, из другой деревни, а может, борковская, но где-то была, увидела дым-пожар, услышала стрельбу и заспешила домой. Они такие, эти бабы! С ними бывает. Особенно, если дома кого оставила. Шпарит прямо на оцепление, только вертит головой туда-сюда, стрижет ушами, а сердце давно в босых пятках — аж пылок за ней бежит, курится. Оглохла она, что ли, ослепла? Или тоже

думает, что здесь курей стреляют? За плечами у бабы вещмешок военный, а в руках еще и корзина.

— А что, может, нагрузили бандиты, — поддать, поддать бандеровцам жару! — взрывчатки положили, и неси, бабка, рвани их там!..

— У вас тут всякая олешина — бандит!

— Я и говорю. Пушку бы вам, хоть небольшую!

— Що ты скалишься, як конь из-под дуги? Завернуло тебе шею, гляди, чтобы не поправили!

— Те, что поправляли, знаешь где?..

— Кто здесь гавкает, а ну нишкни!

Распоряжается трезубец мордатый, а того не видит, что один его колхозничек — во, во, снова! — спрятался за березу и машет, машет такой же, с трезубцем, пилоткой, подает бабе сигналы. Не старайся, усатый, баба и не смотрит в твою сторону, у нее голова на выстрелы да на дым завернута — на соседнем поселке теперь самый гром и страх! А тут, впереди у нее, только собаки воют, но хаты целехонькие стоят...

Пулемет из-под куста ударил гулко и длинно. Баба с мешком — в одну сторону, ее корзина — в другую... Это на одну-то бабу двадцать патронов! Ну, ну, идите, собирайте яичницу!.. А где тот сигнальщик? Уже на пеньке сидит, вроде и не он это. Только усы те самые лапшой висят. Сидит и затвор своей винтовки изучает.

Тупига, неся голову чуть не на плече, срезал путь и вышел прямо на усатого дядьку. Спросил, показывая на поселок:

— Что там? Кончили уже? А почему собак не постреляли? Непорядок.

— У вас это швидко!

— А у вас как? Что ж ты, дедуля, куры бабе строил? А если кто видел?

Дядька аж за усы-завязки схватился рукой, что на затворе лежала. Смотрит испуганно, люто.

— Тоби що трэба, кацап? Бо я во, зараз!

Ну, у Тупиги под рукой штуковина покрепче. Прочешет — ни одна вша больше не куснет. Вот так-то лучше! Сиди и дыши в тенечке! Да, но отойдешь десять шагов, а он тебе в спину. Скажут, так и было. Им укокошить восточника, кацапа — семь грехов с души!

— Не шуми, дядя! И не бойся. Ты что думаешь, только ты человек? А я — зверь? Я и сам, если хочешь знать...

Вырвалось или нарочно сказал «я и сам», но тут же захотелось, чтобы и на самом деле кто-то думал, знал, что ты не такой, как все здесь. Хотя бы этот чмур усатый.

Поселок аккуратный, везде заборчики, скамеечки, аж два колодца — от первого виден второй. Тупига заглянул в прохладную круглую глубину: пустой, только вода в этом. Да, жили, будто немцы тебе! Правдами, неправдами, а жили. Других гвалтом стаскивали с хуторов, выселков — в одну кучу, а эти ухитрились, хоть и колхоз, жить вразброс. И к центральной усадьбе близко, но каждый поселочек за своим леском.

Ворота, калитки настезь, куры в песке гребутся, купаются, спасаются от жары, и никакого дела им, а куда все люди, хозяйки их подевались. Только собаки воют, и сколько же их тут! Каждая у своей калитки, в своем дворе: окрипли от лая, воют, аж заходятся — самому хочется на четвереньки стать. И скотина в сараях бушует. Голодные свиньи визжат, будто режут их там. А подводчиков не видно, сволочей, не выгоняют, не увозят. Солнце сверху бьет, как из пушки, тень коротенькая — на собственную голову наступаешь.

Тупига остановился среди улицы и снял с шеи ремень-шлею, на которой висит его раскоряка-пулемет, поставил его на белую от пыли траву, распоясался и уронил под ноги тяжелый от подсумков, от привязанных круглых гранат и нагана поясной ремень, взялся снимать тяжелую и еще теплую от круглого хлеба русскую противогазную сумку, насквозь промасленную и от этого не зеленую, а уже черную. Теперь можно стащить с плеч, мокрых, чешущихся, сырую, как глина, шинель. Другие еще утром оставили шинели на машинах: сачкам всегда то жарко, то холодно, то мулко!

Из калитки — будто собаки его гонят — выскочил Сиротка. Глянул на Тупигу, сделал ручкой и нырнул во двор напротив. И тут же Доброскок — следом за ним. Карманы у обоих, сумки уже чем-то набиты.

Вернув все на себя, все ремни, всю тяжесть, Тупига уже с отвращением, как собственную отмершую кожу, поднял с земли шинель и повесил ее через плечо. Стал прикидывать, в какой дом зайти ему.

Во жили люди, под крышами жили и не знали, что самое опасное место теперь — своя крыша, свои стены. Тут человек, как в ловушке. Дом показывает, где тебя искать. Но люди по привычке считают, что свои стены помогают. Разве что гореть!.. Соседские собаки облаивают, а в этом дворе тихо. И в сарайчике тихо. Кто-нибудь из молодых тут жил — не успели обжиться. Или бобыль одинокий. Что тут найдешь? Но домик аккуратный, занавесочки, цветочки на окнах. О, даже на палочку дверь заложена! Всего лишь к соседям вышла хозяйка и сейчас вернется... Им, конечно, сказали, что на собрание или проверка документов. Когда скажешь, что с детьми, тогда верить перестают, но все равно еще верят. И хлеб с собой берут, и вещи лишние тащат: как же, от дома их отрывают, может, далеко погонят! Далеко, дальше не бывает...

Печку вытопить не успели, пусто и неинтересно на кухне. У них тут не одна, а целых три комнаты. Неудобная квартира — по нынешним временам и делам. Подушек сколько, наверно, девок здесь, девок! Прозевал Кацо. И зеркало, большое, городское, могли бы посмотреться потом, как вам с Доброскоком девки изукрасили бы рожи. Что это? Ботиночки, нет, всего один, а второй — это в зеркале. Новенькие, маленькие. Но где же второй? Вот бы принес домой такие, когда жена забеременела. Только когда это было?.. Никто не скажет, что бил ее или ругал, когда забеременела. А она заболела гриппом, насморк, голова — да и померла. Было обидно, но и обида забылась. В чужом краю, в чужой хате был свой человек и его не стало. Но, может быть, и к лучшему все это. Самое опасное сейчас — свой дом, стены, крыша...

Прошел в темную боковушку — еще и эта комнатенка у них! — неся на пальце единственный ботиночек и посматривая, нет ли где второго. Где-то же достали, сволочи! С этим делом и в городе было трудно, не то что в селах. Вот он, для кого их припасли! Висит в люльке, сидит, откинувшись, в покачивающейся постельке, и спит, как возле мамы. Голенький, пухлый, такой похожий... На кого только? И всех мух собрал на себя: грязный — и лицо, и руки — от высохших слез и какой-то еды (успели-таки ему подложить, подбросить!), мухи так и льнут к нему. Ползают, щекочут, он мор-

щится и всхлипывает-вздыхает сквозь сон, так по-взрослому. И подсматривает! Тупигу передернуло от отвращения и даже испуга. Глаз приоткрыт, такой недетский, подсматривающе подрагивает ресницами. Тьфу, от жары мерещится! Спрятали, называется. И рады где-то, что спрятали, сберегли. А что хата гореть будет, о том не подумали. Смотрит уже! Глаза распахнул широко и готовится заплакать...

ПОСЕЛОК ПЕРВЫЙ.

11 ЧАСОВ 52 МИНУТЫ

ПО БЕРЛИНСКОМУ ВРЕМЕНИ

Ты только не пугайся, Гришенька. Я что-то скажу, а ты не пугайся. Прошу тебя! Ты не испугаешься? Я... я умерла. Я, Гришенька, умерла. Но ты же видишь, не страшно, я с тобой разговариваю. Но все равно так грустно и плакать хочется. Если бы ты знал, как нехорошо мне здесь. Ну вот, прошло, видишь, я уже смеюсь!.. Мое лицо в мамином зеркале, смотрю на вспухшие, нацелованные губы, а за спиной у меня Гриша, тоже улыбается: положил руки на мои плечи, теперь мы женщина и мужчина, все уже было, и так непривычно и хорошо знать это, что ничего уже не будет. Я умерла, Гришенька, но это совсем не страшно. Видишь, как хорошо нам, спокойно. Только мне жалко Гришу, такая смешная и трогательная эта юношеская упрямая шея и эта по-солдатски остриженная голова. Нет, зачем он так, наголо? Его схватят, загонят в лагерь! Зачем он это сделал? Забрать, спрятать всего в себя и носить, и слушать, как ему тепло, безопасно и какой он смешно-нетерпеливый, мой мальчик. Я проснулась, я лежу — вот я вся, аж до пальцев ног, далеко вытянулась под одеялом, это все я. Сладко и стыдно, точно я за кем или кто-то за мной подсматривает. Руки крест-накрест, детским «крестиком-подставочкой» под подбородком — я часто так просыпаюсь. Давно — с детства и еще раньше... «Это ты во мне так сидела, — смеется мама, — спокойненькая была, задумчивая и там». Я слышу голос, а ее не вижу. Но все понятно, что ж удивительного в этом. Она, и я, и Гриша — все мы здесь... Да, я помню, я это помню, как мне было уютно и безопасно, и как близко и привычно стучало

мамино сердце. В детстве я старалась слева улечься возле нее и, тепло прильнув, слушать, как оно спрашивает, будто я все еще там: «Как тебе? Как тебе?..» Мне хорошо, я проснулась, но не вся сразу, а только затекшей рукой и стыдно открывшимися ногами. Натянула одеяло и, держа его на весу, несколько раз подняла и опустила колени. По темным соскам, по животу и коленкам наглый ветерок — вот вам, вот! Фу, какая! Сквозь ширму светится, желтеет квадрат окна, значит, это кухня — я почему-то на кухне сплю. И шкафчик коричневый, и печка с грязными подтеками, и ведра с прокисшей картошкой. Кислый запах любви, кислый запах... Как Гриша смеялся, по-мужски счастливо, когда я пересказала, объяснила ему словами врачихи, что у нас все нормально, я совсем-совсем здоровая: «Вы нормальная, влажная женщина...» Нам неловко смотреть в глаза друг другу, когда утренний свет смешивается с кислым, с нашим ночным запахом, и потому я сейчас одна. Что ж тут удивительного, сейчас утро, и поэтому я одна. Господи, почему я такая несчастная: эти пупырышки на ногах, на бедрах, как зерна, жесткие, он их чувствует — у меня у одной такое, ни у кого, а только у меня это уродство! Он их гладит так осторожно, будто ласково, а я знаю: чтобы убедиться, что есть, остались, и ему неприятно, но он такой, что не скажет. У мамы, у подружек, я специально на речке смотрела, все гладенькое, нежное. А я уродина. Бедный, бедный Гриша! Я такая несчастная, и мне надо плакать. «Тебе надо плакать, больше плакать — будет легче...» Опять женщины и зеркало под черной тряпкой, и они хором советуют плакать. И что-то стучит, все стучит снаружи, хочет войти.

— Сейчас я открою, и все увидишь. — Гриша хочет стащить, сорвать с зеркала черную тряпку.

— Не надо, Гришенька! Прошу тебя! Я не хочу, я боюсь смотреть...

ПОСЕЛОК ТРЕТИЙ

Ага, вот они! Все тут. Уже с улицы Тупига понял, что все и произошло в этом доме — самом большом и новом. Вообще это проделывается в лучших зданиях, в которые и до войны собиралось много

людей: школа, клуб, церковь. А в этом доме, наверное, любили собираться на вечеринки. И двор просторный. Окна выдраны с мясом. Знакомый, даже издали ощутимый кислый запах селитры и крови. Гранатами забавлялись. Кислый такой воздух! И смех. Сидят в хате, разговорчики травят — работа перед глазами. Начальство налетит — вот, пожалуйста, только кончили. Перевыполнили! Первое время Тупигу тоже тянуло посидеть, посмотреть, кто и как упал, лежит, заголившись или закрывшись, или сидит, как живой, раскуривать сигареты и слушать разные истории, как у костра. Все это для новеньких и сачков!..

Задержался во дворе. Нет, эти бандеровцы и тут хотят отличиться. Чтобы все, как у немцев. Барахло, бабьи транты сложены на скамеечках, у забора на траве, даже развешены — что получше. Трофеи не измазаны кровью, зато сами в соплях! Кто это тебе добровольно, без крика-плача разденется? А вот он, тот пацан! Вынесли все-таки иконы, божьи люди, и на барахлишко положили... На руках у богородицы спрятался, а то все казалось: где его видел? Руки пухлые, на толстых ногах перевязочки, и смотрит-подсматривает, как взрослый!..

Из хаты в сени испуганно-весело выглянула красная мордочка Доброскока. Эти уже здесь, добежали. Дурной, громкий голос Сиротки слышен:

— Ахтунг! Тупига идет!

— Вольно, сам рядовой!

— Во, дывись, ищо один кацап!

Для этих бандеровцев все восточники — кацапы, москали.

Сиротка все радуется, дурила, орет, стравливает:

— Кацап, а сто очков вашему Кнапу даст! У Тупиги, как очередь, так подавай, Доброскок, новый диск, а диск, так полдеревни. Распишется «дегтярем» и инициалы поставит. Он бы один вот этих всех...

Хочется им сидеть здесь и селитрой, кислятиной дышать! Глушили гранатами, как рыбу, аж потолок красный, а на полу плывет — ступить негде. Сидят на скамье рядочком, ноги поджали, как коты в дождь. Лакустово отделение. Лупит носатый румын своих вояк, как дурной дурных. А нос-то, нос, пахать можно, глаза, как у злодея-цыгана! Сиротка этих лакустовцев

окрестил: «дай мне в морду», — самому попадало, когда был у Лакусты под началом. Злодюга на злодюгу нарвался. А бандеровцы, похоже, что и оплеухами своего командира гордятся. У них все лучшее, «западное» — и дисциплина, и поп, и трезубец, и «уважение к старшим»!

— Ну, что уселись, молодые колхознички? — Любят они это слово! — Как перед прокурором.

— А к ним не хочешь, кацап?

Смотрит, сверлит черными глазищами цыганская морда, будто у Тупиги нет своей игрушки, погромче. Считается украинцем, а сам из Румынии и скорее всего — цыган. Как еще не попался, когда в сорок первом все их таборы подметали?

— Сиротку вам в помощь привел — может, назад заберете? Но вы тут сами справились — с божьей помощью...

— Ты нашего бога не трогай, бугай московский!

Это уже Кнап подал голос, Лакустов пулеметчик. Как Доброскоку ноги в зад, так этому голову в плечи загнали — с другого конца, но тоже укороченный. Ежик необсмоленный, а как глазами сверлит, как пугает! Да что ты со своей чешской тархтелкой — не пулемет, а воробьев пугать!..

— Недоучили вас москали, так мы...

— Эх, Кнапик, Кнапик! Думаешь, грамотные не нужны и немцам? Волу хвост закрутить — вся твоя наука. А Муравьев, если был лейтенант, так он и теперь командир. Или вот Лакуста: учился, наверно же — теперь вас учит. По заливку.

Ух как не понравилось! Тупига передвинулся на всякий случай поближе к «майстэрам». Двое их тут, в каждом немецком отделении есть немцы, «майстэры». Горбатый Курт и его братец Франц пристроились у выдранного окошка, где воздух свежее, фотографии хозяйские рассматривают. Интересно им, что-то свое, немецкое, говорят, смеются. Немцы у Лакусты знаменитые на весь батальон: скажешь «веселый Франц», и все знают который. Ко всему Франц еще и по-русски говорит. Они близнецы, Курт и Франц, хотя черт, наверное, копыта себе сбил, прежде чем таких разных, непохожих свел в пару. Если стереть с Франца всегдашнюю улыбку, а с Курта его косую злость (он не только горбат, но еще и косит), может, и похожие они будут —

оба черненькие, худенькие. Франц любит потешаться над Куртом: «Это не Курта горб, это мой. Тесно было; толкались. Я ему его и сделал». И скалит зубы, такой же пустозвон, как и Сиротка. Или подойдет и спросит: «Ну, когда майстэра пук-пук?» И покажет на оружие твое и на свой затылок.

А однажды увидел деревенских подростков-близнецов. Обрадовался, как своим, долго водил по деревне, всем показывал, ставил рядом с собой и Куртом — как дитя веселился. А потом придумал. Одного за спину другому пристроил: «Бутерброд!» — и одним выстрелом убил из винтовки. Засмеялся и объяснил:

— Пук! И нет Франца, нет Курта!

На дворе, на улице топот, будто лошадей гонят. Сиротка первый догадался:

— О, Белый свой цуг¹ ведет. Видишь, Кнап, учись. Человек ротой теперь будет командовать.

— Назвали взвод ротой и думаете — свет перевернет твой москаль!

*Из показаний Лакусты Г. Г. и Спивака И. В.—
1974 год:*

С п и в а к: Лакуста зверствовал будучи командиром отделения, избивал людей не один раз. Я стоял на посту, а он меня кулаком в ухо!

Л а к у с т а: Пусть скажет за что! Оставил пост и пошел самогонку искать. А я должен с этим Сироткой — все его так называли за дурость — есть и пить, так вы это понимаете? Я и в Донецке после войны пьяницам спуску не давал, своим плотникам, бригаде. А как же с ними еще?

Последнее слово, кассационные жалобы о снижении срока, ходатайства о помиловании бывших карателей Федоренко, Гольченко, Вертельникова, Гонтаря, Функа, Медведева, Яковлева, Лаппо, Осьмакова, Сульженко, Трофимова, Воробья, Колбасина, Муравьева:

«26 лет после войны я честно трудился, приносил пользу людям. Прошу 1/2 вклада оставить жене».

«Надеялся, что после выхода из немецкого лагеря все изменится к лучшему. Однако же после выезда на первые карательные экспедиции я понял, что стал

¹ Взвод (нем.).

предателем. Бывшие командиры не сумели организовать таких, как я, а сам я бежать не решился».

«Перед арестом на моем иждивении было 8 детей, но ни им, ни жене я не рассказывал о совершенных мною преступлениях, т. к. рассказывать об этом было страшно».

«За время службы в ГФП я, бесспорно, убил человек пять. Был награжден немецкой медалью, но я ее сразу же выбросил. Немцы не знали, что я был членом партии».

«Граждане судьи! Я выходец из рабочей семьи, рано начал свою трудовую деятельность... Прошу учесть раскаяние и сохранить мне жизнь».

«После прихода Советской Армии я воевал против немцев, 20 лет трудился.

Не имел замечаний, а, наоборот, 6 грамот, избирался членом избирательной комиссии».

«Перед судом сейчас стоит другой Гольченко, искренне раскаянный, глубоко осознавший всю тяжесть совершенных мной преступлений, идеи мои только большой труд на благо народа».

«Настоящий приговор в отношении меня не может оставаться в силе и подлежит изменению по следующим основаниям...»

«Отбывал наказание на Севере. Честно трудился...»

«Никому не желаю того. Лучше умереть, чем быть изменником. Прошу учесть мой преклонный возраст и медаль «За трудовую доблесть». Мне было присвоено: «член бригады комтруда».

«В приговоре сказано, что я награжден четырьмя немецкими наградами, а у меня их было три...»

«Среди полицейских я старался быть незаметным. Любой приговор, самый суровый, я воспримому как должное».

«Когда началась коллективизация, первый вступил в колхоз. На первых выборах в 1937 году был избран...»

«Я не виноват, виновата война. Не было бы войны — не попал бы я в плен и не сидел бы теперь на скамье подсудимых».

«А наши вожди-сослуживцы, командиры ни один не сидел за злодеяния против советских граждан, были на воле до 1968 г. Спасибо нашим советским следственным органам за чуткость: не дали им тоже избежать от советского правосудия».

«Я не стараюсь защитить себя, т. к. все время чувствовал, что являюсь подлецом и негодяем... Однако я хочу сказать, что мы сейчас не те, какими были 30 лет назад, и поэтому встает такой вопрос: каких же людей вы будете приговаривать к расстрелу — тех, которые были 30 лет тому назад, или тех, которые в течение более 25 лет честно трудились на благо всего нашего народа, которые в настоящее время имеют детей и даже внуков?!»

Письмо в суд матери бывшего карателя:

«Я старая больная женщина. Как мать прошу помиловать моего сына. Мне трудно найти слова, но все же мой сын заслуживает снисхождения. Я знаю, что он глубоко раскаялся».

«В 41-м мне было 35 лет. Изменил Родине и пошел служить к врагу по своей малограмотности и низкой сознательности. Причиной для измены было то, что в лагере военном люди все умирали, там было очень плохо. Конечно, я не считаю теперь себя за человека. Почему стал убийцей? Ничего другого не оставалось делать. Коль пошел к ним служить, то приходилось делать все, что заставляли... Если бы мою семью привели к яме и приказали мне стрелять, то, конечно, пришлось бы стрелять в них».

«Процесс моего перевоспитания начался задолго до ареста. Поэтому я не нуждаюсь в столь длительном тюремном заключении».

«Прошу учесть также, что моя жена всю войну была на фронте...»

А что там с пацаном? Через деревню проходил взвод Белого, видно было, что забегали в дома. Что с ним? Сидит, играет с ботиночком?.. Мрачный он, этот сибиряк Белый — всегда как больной. А сам медведь, воду на таком возить!.. Спит пацан или кричит, зовет? Докричишься, что зайдут немцы или бандеровцы... Нет, тихо. Ага, живой! Сидит в своей люльке и гудит, гудит. Как в детяслях. Наревелся, а теперь пузыри пускаешь, мух-то, мух собрал! (Тупига даже свою щеку погладил, будто и его кожу стягивают, щекочут высохшие слезы.) Солнце бьет мальцу прямо в глаза, не видит, кто зашел, но услышал, вот-вот заревет снова. Руками тянется к грязному лицу, люлька начинает раскачиваться...

Тупига старался не заслонить солнечного луча, ему не хотелось, чтобы его видели. Но его шаги слышали, и голый, пухлый, преследуемый солнцем, мухами, ужасом ребенок уже кричал — так, что и в другом конце деревни услышат. Тупига, как пойманный, отступил к порогу, пулемет упрямылся — напоминаясь оттягивал шею, но люлька такая легкая, раскачивается, и ему почему-то страшно бить из пулемета. Наган шершаво, прохладно схватил его пальцы, припал к ладони и вздернул руку на уровень лица! По-живому вздрогнул — раз и еще раз...

Тупига направился к выходу и вдруг увидел самого себя: громоздкий, с упавшей на плечо головой, оседланный пулеметом, с лицом испуганным, а в руке наган!.. Позади раскачивается люлька, и он, не поворачиваясь, ее видит. И видит, как на белый от солнца пол падают, брызгая, огненно-яркие струйки. Ударил револьвером (и больно — косточками пальцев!) по всему этому: открывшаяся зеркальная дверка шкафа со звоном ослепла. А Тупига сказал и сам услышал, как незнакомо, откуда-то из будущего, прозвучал его голос: «Жалко было, пацана пожалел! Живым сгорит».

МЕЖДУ ТРЕТЬИМ И ЧЕТВЕРТЫМ ПОСЕЛКАМИ

Белый Николай Афанасьевич, 1920 года рождения, русский, из села Бахчевка Красноярского края. Окончил лесотехникум.

Что надо Белому, командиру взвода, который перестроится в новую, «русскую» роту, отчего он такой мрачный, такой с виду больной, а сегодня просто злой, об этом знает в целом мире только Суров. Он старается рядом шагать, и с самого начала войны они почти все время оказывались рядом, в одной баланде варились. Друг о друге знают все. Раньше близость к взводному, с которым считался даже ненавидевший его командир роты, украинский гауптшарфюрер Мельниченко и которого немец Циммерманн открыто уважал — особая близость к этому человеку раньше Сурова и грела, и придавала уверенности. Сейчас пугает. Что-то произошло, происходит с Белым. Надо бы пого-

ворить, как прежде, выяснить, уточнить планы, но неприязненные, ставшие какими-то рыжими глаза Николая отталкивают все дальше, не подпускают.

Они почти рядом идут, но вражда шагает между ними.

Белый, косясь, видит своего очкарика, своего «ксендза», своего «политрука», и злоба, как похмелье, как тошнота, ворочается в нем. Ишь, какой чистенький, румяный. Очки добыл себе немецкие, золотые, от них еще больше блестит, такой аккуратненький. А почему бы и нет, за спиной, на горбу у Белого можно сколько угодно охорашиваться. Белый — человек конченный, терять ему нечего — но еще годится, чтобы напоследок им обтереться. Ну нет, еще посмотрим, милоч! Чует, чует кошка, чье сало съела! Чуть глянешь в его сторону — золоченые глаза хоть и обиженно, но по-прежнему бодренько подтверждают, что все идет как прежде. Он здесь, твоя чистая совесть с тобой, все идет как надо! Шло, шло и пришло — так оно, товарищ ксендз! Самое время кончать эту музыку. Короткая кишка оказалась у тебя. Да и моя тоже, что уж тут прятаться. Одним дерьмом измазались, и нечего притворяться, мой ксендзок. До чего же и правда похож! После тридцать девятого прислали одного в леспромхоз. На плечах замызганный бушлат, а на носу вот такое золото, и на каждом шагу: «Може пан бенде ласков!» И все молитвы свои шептал.

И этот! Весь в немецком, до подштанников, в дерьме по уши, а все не забудет, кем был когда-то.

Вот он шагает, спутник-агитатор! Все, ваша святость, обоим нам кранты.

Не одному мне, но и тебе.

Суров встревоженно поглядывал на своего шарфюрера и бывшего друга. Да нет, не «шар», а уже объявлено, что «гауптшар» и командир новой, «русской», роты, которая будет формироваться. В этом все дело, здесь и собака зарыта! Видно, надумал новый гауптшарфюрер окончательно на сторону немцев переметнуться. А все сваливает на случай с партизаном-разведчиком. И на Сурова — как же, он виноват, что не вышло, не получилось, как распланировали, что и на этот раз в лес уйти не удалось. Не вышло, верно, но что поделаешь, если сорвалось. И очень жалко парня, разведчика партизанского. Но недолго

же ты жалел, утешился «гауптшарфюрером»! За эту операцию и получил. За поимку партизана. Не Су-рова наградили, Белого, и можешь так на меня не смотреть!

Просто решил делать немецкую карьеру, и ясно, что Суков ему теперь ни к чему. Выдать вряд ли решится: побоится, что из Сукова выбьют больше, чем хотелось бы. Сделает проще: залепит автоматную очередь в спину во время боя, и похоронят «иностранца Сукова Константина Викторовича» с немецким салютом. И останется он для всех и навеки предателем, немецким прихвостнем. Один Белый будет знать, что не был Суков предателем, не был карателем — вот еще ирония, самая злая!

Суков и Белый познакомились еще в армии, но сблизил их плен. Оба бывшие командиры, но старшина Суков в мае сорок первого окончил еще и краткосрочные курсы в Смоленске. Тогда все учились на краткосрочных — не хватало в армии младшего командного состава. Под Рогачевом полк попал в окружение. Всех, кто им почему-то не понравился, и евреев немцы перед строем поубивали в первые же дни плена. Суков оружие оставил в лесу вместе с гимнастической. Но убеждения, конечно, сохранил. И жизнь, которая еще могла пригодиться. Его не выдали, хоть многие солдаты в лицо знали младшего лейтенанта. Значит, одобрили его поведение. Стать под расстрел по-дурному — это не самое мудрое, верное решение. Хотя некоторые так и сделали. Ладно, старики, так и одногодки его, с одним-двумя, как у Сукова, кубарями: себя хотели показать, а показали безграмотность свою! Политическую, военную!

Не случайно Белый к нему потянулся в Бобруйском лагере. Почувствовал твердость убеждений. Это при хороших калориях таким, как Белый, все нипочем. Весельчаки, душа нараспашку, спортсмены! Но именно таких голод первыми и догоняет, ломает. Маленькие, щупленькие еще держатся, а недавние медведи уже смотрят тупо-удивленно, тоскливо, тихо безумеют. Бобруйский лагерь, крепость! — кто прошел через это и выжил, не сошел с ума, того ничем уже не удивишь, не испугаешь. Но с чем никогда не свыкнуться — так это с неблагодарностью и глупостью людской. Что ж, видимо, пройти надо и через предательство друга, ко-

того поддержал в трудную минуту, сохранил ему надежду. Такое уж время...

То же самое, те же события по-другому видел и помнил Белый.

Когда Николай Белый, спасаясь от голодной безвыходности и тупого ужаса, согласился стать «добровольцем» — караулить оставшихся в лагере доходяг, сопровождать телеги, машины с трупами к траншеям — он Суrows не терял из виду. Как мог, подкармливал своего однополчанина. Вот тогда, там и началось это, хотя сформулировано было значительно позже. Не до формулировок и планов было Суrowsу, его шатало от голодных поносов, а сам Белый додуматься до этого не смог бы. Но ситуация уже существовала, определилась: Белый стал врагом для своих, а Суrows берег себя и имел право, мог объяснить кому следует, кто он, Белый, на самом деле, что у него было в голове и в сердце, когда брал немецкую винтовку. Тем более что он рисковал, подкармливал, спасал, как только мог, своего собрата, командира. Оставлял в определенном месте за уборной или ронял на ходу в песок хлеб, колбасу — по-разному приспособлялись. Но после пожара в крепости и расстрела Бобруйского лагеря команду Белого перебросили в Могилев. И вот там они снова встретились. Вдруг появился в могилевских казармах Суrows, в той же, что и Белый, добровольческой форме. Невесело усмехнулись друг другу, говорить было не о чем. А пленные все поступали с востока, будто чудовищные насосы накачивали все новую и новую массу в огромный лагерь, заполняя старые казармы, бараки, огороженные колючкой заснеженные овраги или просто участки изрытого жуткими норами поля... Что значили они двое, их судьба, имена, мундиры, чувства? Усмехнулись и разошлись. Сначала числились в охранной полицейской роте, даже мундиры на них были не немецкие, а какие-то с красными петлицами, сказали, что литовские. Стерегли лесосклады над Днепром. Но весной объявился в Могилеве «особый батальон» Дирлевангера, а точнее рота с небольшим, которую Дирлевангер привез откуда-то из Польши. Для начала он включил в батальон фольксдойча Барчке с его беглой кличевской командой — местными полицаями. Потом взялся за «добровольцев», не разбирая, кто украинец, а кто русский или татарин. Другие все

еще учитывали это, а Дирлевангеру вроде бы все равно. Говорилось о борьбе с партизанами, и Белый даже обрадовался — так это совпадало с его расчетами, мечтами. Войти с партизанами в контакт, перестрелять «своих» немцев и увести отделение в лес! Уже рад был, что его сделали командиром отделения. Сурова он еще раньше к себе перетащил, и они не раз обсуждали план, как распропагандируют «добровольцев» и уведут к партизанам.

Вот так, с одним планом на две головы, оказались у Дирлевангера. И с одной книжечкой на двоих. Потому что гимнастерку Суров бросил, но командирскую книжечку сберег, она и теперь зашита в немецкое сукно. Так хорошо все спланировали, так умненько. И стали ждать случая. Суров особенно умничал: присмотреться! нацелиться наверняка! Не подумали, олухи, что у Дирлевангера на их хитрость своя имеется, свой план на их план — не хуже. Теперь-то Белый знает, узнал...

Суров, как бы угадывая недобрые мысли и воспоминания своего командира, тоже вспоминал. И вот это тоже: что сказал ему Белый, когда привезли в пещерские казармы раненого разведчика. В который уже раз распланировали уход в лес, а вместо этого — поймали партизана! «Ну что, ксендз, где у тебя зашито? Не потерял? Вот теперь уж точно можешь выбросить!» Ишь, словечко выискал: ксендз! Козел отпущения — вот кто тебе нужен. Суров всему виной! Я, что ли, послал тебя в «добровольцы»?

А вначале не так было, было понимание взаимное. Хотя Белый и назывался шарфюрером, но вел не он. Прислушивался к мнению Сурова. А не делал бы этого, давно погорел бы. Сколько таких храбрых накрылось, не за такие дела подвешивают — у немцев это мигом. Специальную виселицу за собой везде таскает батальон, назвали ее «вдовой», но скучать ей не приходится. Почти каждую неделю кого-то в батальоне хватают, а потом выводят из подвала запущенного, синего, уже не отличишь, Петров это или Иванов. Будто одного все женят на этой страшной «вдове». Тут поостережешься, если не дурак и если не хочешь дело завалить. Сберег гада, а ему, поди, уже расхотелось идти в партизаны. Зачем, если он уже гауптшарфюрер, роту ему дают. Вот только Суров мешает. Обдумывает, как это-

го Сурова убрать. Потому и растревляет себя. А разведчик — только предлог...

Нет, вы полюбуйтесь на моего ксендза! Рожа обиженная, святая. Он и сейчас себя чистеньким считает. Думает, что и партизаны такими же добренькими глазами на него посмотрят. А я-то старался, действительно не давал капле на него упасть, чтобы хоть его не забрызгало. Понравилось на чужом горбу, так он и слезать не хочет. Когда пришло время действовать. Да где там пришло? Прошло! Давно уже прошло. После той самой Каспли. Как странно, что первая деревня так называлась — почти капля. От одной той капли не отмыться во веки веков, не то что... Никакие Суровы не помогут, не отскребут, не выжмут, не высушат! Там все и началось. В первой деревне. Над первой ямой. А дальше только жалкое трепыхание да самообман. Дирлевангер свое дело знает. Не ты у него первый. Ехали, как на обычную операцию, «погонять сталинских бандитов». И опять, как школьницы, пошептались с Суровым: не тут ли удастся, повезет? Если не отделением, так хоть бы вдвоем перебегут к партизанам. Про деревню Касплю и Дирлевангер, пожалуй, не знал, не слышал до того самого момента, как машины выехали к ней. Потом Мельниченко рассказал, пьяный, что стрелял по батальону он — с тремя такими же «партизанами». Это у Дирлевангера называется: пощекотать ноздрю быку. Не раз потом такие штучки проделывались. Если партизан, настоящих, кто бы мог подзадорить, не оказывалось, высылались вперед или в сторону небольшая группа, и оттуда звучали «бандитские выстрелы». А в тот день даже командиры не знали про этот приемчик. Перестроились, развернулись чин чинком, как на фронте, и, под прикрытием минометов, орудий, повели наступление на «партизанскую деревню». Она сразу же вспыхнула от снарядов и трассирующих пуль.

Что дальше было, что делали в той Каспле, про то и в снах боялся вспомнить: тотчас просыпался от ужаса и тоски, сколько бы шнапса ни налил в себя вечером. Суров тоже участвовал (а как же это назовут?), хотя и не так, как Белый. И, видимо, там он выудил из себя ловкую мысль, которой так здорово опутал Белого и три месяца держал, водил, как на веревочке. Суров не стрелял, не убил никого, сидел в оцеплении —

пусть и дальше так будет: кто-то чистый должен остаться, любой ценой, тем более что у Сурова зашито это самое... Ну, а он и друга сумеет, сможет обелить перед партизанами. Объяснит, какие у него настроения, как, что и почему. А для этого хотя бы ему надо остаться незамаренным. Чтобы и капля на него не упала. Нашелся святой из борделя! Нет, надо же такого тумана, такой пены напустить! Рассчитывали носовым платочком такую кровь стереть. Но действовала уверенность Сурова. Да и страшно было окончательно согласиться, что выхода нет и быть не может. Суров утаскивал Белого куда-нибудь в поле или в темные углы и, как девице, морочил голову. Даже пощупать давал, что у него там зашито... Так бы и отходил по мордам — самого себя! А этот и в самом деле поверил, что судьба у них разная: один в крови по локти, другой у него на плечах, на спине отсидится. Ножки поджавши. То больным его делал, то на кухню, то в оцепление совал — только бы не пролил невинную кровь. Только бы сберечь чистеньким до решающего дня. А когда день такой пришел, ему слезать не захотелось. А зачем: он и до конца войны просидеть готов, поджавши лапки! Еще неизвестно, как в лесу встретят, как посмотрят на его книжечку. И поверят ли, что из борделя — и чистый? А может, как раз за книжечку больше всего и не простят: опозорил, замарал! Не смотри, не смотри, знаю все твои мыслишки наперед. Подожди же, я тебя утру! Ну ладно, мы, туда нам и дорога, так еще и парня загубили, такого парня! Он нам, проституткам, поверил, спасти хотел, а мы его немцам отдали. Как барана связанного. А теперь будем опять все сначала, пошепчемся: как мы умненько уйдем и как нас примут, а мы им все объясним...

А ведь и правда — шанс был, появился! Сиротка кашу заварил. Блатняга прибежал к Белому — на него первого натолкнулся — и выпалил, захлебываясь от гордости, азарта, что какая-то Катька с хутора навела его на партизан. Девка, к которой он бегал несколько раз и которая «так и липнет, спасу нет» (пожалела гада, поверила его детдомовским соплям!), так вот она проговорила, что ее родной дядька может увести в лес, к партизанам. И ребят, если есть хорошие. Подмазываясь, Сиротка, конечно, заливал ей про свои переживания, мучения от службы у врага. Дурак не понимал,

что его повесят вместе с его Катькой и тем партизаном. Бегал-то он на партизанский хутор тайком от немцев, начальства, неизвестно с какими намерениями. «Вдова» приласкает как следует, это тебе не Катька!

Так и объяснил ему, и Сиротка тут же струсил по-настоящему. Можно было все забрать в свои руки, а ему приказал, чтобы помалкивал, как рыба. Сразу — действовать! Увел Сурова в могилевские переулки и объяснил, какой счастливый и, может быть, последний случай представился. Давай сюда всех, кто у тебя надежный, кого распропагандировал, держишь на примете! Когда-то ведь называл — троих, потом пятерых. Хватит, если ребята надежные. С их помощью весь взвод скрутим, если решительно взяться. В таком деле важно, чтобы думали, что вас больше. Чужое поле, лес, немцы далеко, каждый будет думать, что только он в стороне, а все уже решилось, давно сговорились. Ну, а «майстэры» — не помеха. С них и начать: расставить своих, надежных, так, чтобы враз всех уложить!..

Суоров выслушал, а потом, покраснев, как девица, признался, что это, как бы сказать, не совсем точно — про надежную пятерку. Он, видите ли, сомневается. Разговаривал с одним, со вторым, но все больше мигами и фигами, а окончательное, главное слово произнесено не было. Потому как рискованно, а ему это не нужно, зачем ему? Над ним не каплет.

Тут же стал поносить, ругать предателями, кровавыми собаками всех, на кого Белый хотел бы опереться. Белый и сам знал — кровавые и есть, собаки и есть! А кто ж мы еще?! Но хоть кого, хоть двоих, троих дай мне! Чтобы зацепиться, а там уж я их, сволочей, заставлю! Сами не заметят, не поймут, как и когда у меня все, что надо, сделают...

Но пришлось спускаться на землю. Что тут о суровской тройке, пятерке толковать, если самого агитатора нужно агитировать. Сколько у него убедительнейших доводов против и сколько уверенности, что настоящий случай, еще лучший, будет, он уже в пути, уже на подходе! Болтун проклятый, все осторожничал, берег себя, как знамя. Только и умел, что гулять с Белым под ручку по переулкам, сказочки приятные сочинять, а иногда давал пощупать, что у него там зашито. Чтобы только Белый не пал духом, чтобы с крючка не сор-

вался. Удобно, сухонько ему сидеть, что еще надо! Не хлюпает под ногами, сверху не каплет...

Нет, не удалось ему улизнуть на этот раз! Понял Суров, что не отступится шарфюрер, что ему уже не вможу. Пятерых все-таки подобрали, кого Суров не сразу, но назвал. Чтобы с ними, с каждым в отдельности, еще потолковать, не открывая ничего определенного. Надежнее было, конечно, уйти вдвоем, без всякой попытки увести или разгромить взвод. Суров к этому и клонил: если уж невозможно больше ждать! Знал, знал, гад, что Белый на это не решится. Прийти к партизанам — с чем? С руками в крови по локти и ждать, что тебя защитит, оправдает попик в золотых очках, которого самого на осине надо вздернуть! А взвод, оружие, пострелянные «майстэры» — это уже дело, это что-то значило бы на партизанских весах.

Суров маялся и мялся, показывал, как только мог, что не верит в успех, что авантюра это и он за последствия не отвечает. Белому было все равно, он шел ва-банк. И вообще на месте будет виднее. «Все, ребята, хватит в чужой кровушке купаться! Своей пора платить!...»

Но оказалось, что о хуторе, о шашнях Сиротки уже знает немец Циммерманн, и счастье еще, что узнал он раньше, чем Мельниченко или Дирлевангер. Позвал Белого — своего русского заместителя, дублера. «Ну так что? Будем брать медведя?» Отступить было некуда. Оставалась еще надежда, что помогут наполеоновские замашки маленького очкарика Циммерманна. И он действительно все на себя взял, пообещал немецкому начальству, что обойдется одним взводом. Все так, как незаметно внушил ему Белый. Интеллигентный гаупт-шарфюрер Циммерманн, бывший учитель, достаточно доверяет своему русскому дублеру. И уважает. Может быть, за рост, которого самому так недостает. Особенно, когда пьян, уважает. Тут он даже болтлив. (А его русский язык — семейная память, предки его из Прибалтики.) «Хороший вы парень, Белый, даже жалко, что вы не немец!» А в последний вечер, перед самым делом, откровенничал особенно. «Ну, а дети, почему детей?» — спросил Белый прямо, в открытую. Перед этим Циммерманн долго и нудно огорчался, что так бедно и некультурно живут на такой хорошей, богатой земле. «Тут будет рай! Фюрер так и сказал, когда смот-

рел на деревеньки без дорог, где столько детей и все, ужас, с какими здоровыми, белыми зубами!» — «А разве фюрер приезжал в Белоруссию?» — «Какую Белоруссию? Я говорю про Украину. Вы не украинец, и можно с вами откровенно. Они-то больше всего нас и беспокоят. Слишком много их, этих украинцев. А земля под ними самая лучшая в Европе. Пусть едут в райх, а мы на их место...» Циммерманн даже расхохотался, вообразив эти «встречные перевозки». Его гиммлеровское пенсне просто пылало от удовольствия. «Но когда мы заселим Украину, нам будут мешать эти вечные глаза нахлебников-соседей».

Потом он спохватился, вспомнил, что Белый все же не немец и как раз «сосед». «Давайте забудем, Николаус, кто из нас немец, а кто русский. Допустим, мы и есть те счастливики, которые потом будут жить. После всей крови и жестокости. Вот сегодня, нам с вами, какое нам дело до древних народов, племен, которые были, а потом их не стало? И, наверное, не метелочкой из перьев, а железной метлой их смели. Что, мы от этого аппетит теряем, сон? Мы пользуемся их теоремами или числами, а про них и думать забыли. От сибаритов остался ночной горшок, говорят, единственное их изобретение. От целого народа — ночной горшок! Ну и что, это мешает нашему счастью? Так и потомки наши, да они и замечать не будут, что под ногами чей-то прах, пепел! Вот говорят: дети, дети, может, лучше перевоспитать! Кровь не перевоспитаешь. Ее можно лишь вылить. И даже лучше — менее болезненно — всю за раз. Чтобы не делать этого снова и снова. Жаль, что вы, Николаус, не могли читать Шпенглера, был у нас философ, еще до фюрера. Не нужно было бы объяснять, что такое бремя фаустовских народов. Англичане его несли, испытали, но они слишком практичный народ, слишком жадный, торгашеский. Им не хватало идеализма. Они не умеют мыслить высоко. Да, кто-то обязан снова и навсегда проделать эту работу, упорядочить наконец мир, пока его не сожрал, как сифилис, выродившийся «мировой город». Омолодить мир, развращенный еврейскими плутократами и большевистским социализмом. Только фаустовские народы способны на такую кровь. А из них, по-настоящему, — только германский. На нас взвалили работу, и на нас же теперь проклятия всего мира! Сколько надо идеа-

лизма иметь, чтобы не слушать воя и нести свое бремя! Ну, а если трезво взвесить: разве мы лишь для себя? Даже фюрер не вечен. Не он, не мы будем пожинать плоды новой жизни в тысячелетиях. Ну, а немцы, не немцы — какая разница? Будут жить люди. Когда один народ, одна раса, тогда все — просто люди. Но какие! И жизнь какая! Не уверен, что я вот так же философствовал бы, будь я на вашем месте. Нет, я не дурак, чтобы поверить, что вы, иностранцы, за идею нашу сражаетесь. Но если не сердцем, так хотя бы головой можно понять? Вот вы, Николяус, могли заметить, что я не питаю ненависти к здешним жителям. Разве я похож на многих других моих соотечественников? А почему? Да потому, что не за что ненавидеть пепел, на котором взойдет завтрашняя нива! На ваших людей нужно смотреть тоже как на полезных участников общего дела. Да, оно выше не только их жизни, но и нашей. Каждому свое, но все заняты исторической работой, даже та женщина, даже ребенок: одни расчищают поле, убивают, да, это так, другие горят и умирают, но все для того, чтобы не было больше этого. Никогда чтобы не было! Если я и злюсь на кого, так это на предков — наших, ваших, не важно! — которые и свою часть работы переложили на нас. Чтобы так не говорили потом о нас с вами, мы должны сделать свою работу добросовестно. Для этого нам дана, в нас вложена особенная чуткость расового инстинкта. Потом он может выветриться. И за предков, и за потомков — это наше проклятье, но надо исполнить все до конца. Чтобы не пришлось кому-то снова лить кровь. Мучить кого-то. Снова и снова! И все лишь оттого, что вы, Николяус, или я, Циммерманн, пожалели ребенка... Одного-единственного! Я — одного, вы — одного...»

Так говорил Циммерманн, а потом, когда начинал вроде бы трезветь, хотя пил еще больше, вдруг погружался в обиду, скучную и тягучую, как рассвет с головной болью. Вспоминал всех своих родственников, доказывал свою прибалтийскую близость к Альфреду Розенбергу, а потом ругал и родню и Розенберга, а заодно и всех, кто когда-либо обижал его, Циммерманна. Обидчиков набиралось много, потому что все, кто обижал Циммерманна, были врагами и Великой Германии, бесчисленные обидчики Германии наносили удары

и по сердцу учителя Циммерманна. Подумать, так у всех на земле и дел других не было, как только чинить нестерпимые обиды ему, Циммерманну, и Германии!..

Из показаний на суде Рольфа Бурхарда — зондерфюрера немецкой комендатуры города Бобруйска.

Вопрос: Участие в сожжении деревни Козуличи вы принимали по собственному желанию?

Ответ: Так точно.

Вопрос: Вы имеете высшее юридическое образование, скажите, как вы рассматриваете факт сожжения абсолютно ни в чем неповинных 300 мирных жителей?.. Из ваших показаний следует, что вы за два куска сала, 4—5 кусков свинины и гуся приняли участие в сожжении заживо 300 человек...

Ответ: Да, это так. Это жуткое дело... Я раньше никому не говорил об этом и только на следствии рассказал всю правду...

Вопрос: Вы считаете себя политически грамотным?

Ответ: Я считал и считаю себя грамотным.

Вопрос: Скажите, когда вы стали понимать, что фашист — это человек, который покрывает себя позором?

Ответ: Процесс этого осознания проходил у меня медленно. Началось это во время пребывания в Бобруйске и особенно сильно во время пленения. Но я считаю, что в настоящее время, может быть, я освободился от фашистской идеологии, но какие-то остатки еще имеются. Может быть, в течение полугода я освобожусь совершенно. (Смех в зале)».

Действовали два плана: у Белого — свой, у Циммерманна — свой. Но Белый знал, как и что планирует Циммерманн, а гауптшарфюрер о тайных намерениях Белого и Сурова ничего не подозревал. Суров посоветовал: послать на предварительную встречу с партизанским разведчиком Сиротку одного. Белый согласился и уговорил Циммерманна именно так и сделать. Но потом, после всего, сообразил, что сваял дурака, и соглашаясь с Суровым, и уговаривая немца. Суров, видно, рассчитывал, что Сиротка попадет в партизанскую ловушку, его утащат в лес, как барана, и на том окончится. И Белый, как дурак, ему подыграл. Вместо того

чтобы самому побывать на такой встрече. А там он нашел бы способ, возможность с глазу на глаз переговорить с партизанами, заставил бы их ему поверить, и хорошую ловушку подстроили бы Циммерманну. Поверили, не поверили бы, но хуже, чем получилось, все равно быть не могло. Побежал один Сиротка, трусая и радуясь, вернулся под вечер — героем! Рассказывал с восторгом и слюной захлебывался. Как он здорово заморочил их! Сколько Катькиного самогона выпил! Как чокался с партизаном «за успех»!.. Наплел им, что восемь человек, восьмеро «добровольцев» просто рвутся «искупить вину перед Советской властью и народом», а сам он больше всех ненавидит «ворога», который отнял его «счастливое детдомовское детство». Ворога! И словцо белорусское употребил — так он трусил, что не поверят и прихлопнут. Труднее всего было перебороть недоверие хозяйки хутора, матери той самой Катьки. Очень пугал ее мундир с эсэсовскими черепами, костями. Но даже ее разжалобил под конец, напирая на детдомовское свое сиротство.

Жалость этих женщин дорого им обошлась. И доверчивость разведчика. То, что они людьми были и поверили, что имеют все-таки с людьми дело. Не оправдаться во веки веков — за один этот дом, эту семью! Что спрашивать с Сиротки да с Циммерманна: один еще не сделался человеком, второй уже выполз, вылузался из человеческой кожи. Зато вы с Суровым все знаете, все понимаете, а что натворили?!

Забирать, ловить «бандита и Сироткину курву» шли целым взводом — для подстраховки. Ждали — Циммерманн с опаской, Белый с надеждой — что партизан тоже подстрахуется, посадит за спиной у себя взводик. Не дурак же на самом деле, чтобы Сиротке поверить: у него же на морде, как у хоря, все про него написано! По подсказке Белого Циммерманн вызвал тех, кто войдет в «ударную восьмерку». Вошли все «люди Сурова». По Циммерманну они должны были брать партизана, по Белому-Сурову — уходить, пробиваться вместе с партизаном в лес. Хорошо и то, что уговорил Циммерманна не приезжать задолго до условленного времени и не делать засаду: засекут обязательно, и никто на встречу не явится! Взвод остался на пригорке, залегли с пулеметами, а «восьмерка» двинулась к хутору — через ранние зеленя, в открытую. Чтоб партизан мог

увидеть, пересчитать, убедиться, что происходит именно то, о чем условились. Уже минут двадцать шли через поле, как кровь из разорванных жил, уходили последние мгновения, и Белый начал: «Придем, а вдруг нас там поджидают хлопцы с Горбатого моста!» Назвал одну, вторую фамилию беглецов, прокливаемых в батальоне. Бросил пробный шар. Сиротка даже присвистнул, ему хоть забавным показалось, а «суровская пятерка» слушает, посматривает непонимающе, настороженно-тупо. Как бы голосом беглого командира отделения Загайдаки Белый позвал: «Хлопцы, заждались мы тут. Давно пора, пока не поздно!» Смотрят испуганно: что это он, что за шутки? Один, второй, почти все по очереди высказались, вся «распропагандированная пятерка»: «Давно его шкуру бандиты высушили на барабан. Жалко, а то бы мы сейчас!» — «Сволочи, в колхоз захотели!» — «О, поджарим Катьку мы твою, курву твою, Одесса...» Все было ясно — законченные «иностранцы», как называют немцы всех местных, кто служит в батальоне. Разворачивайся и лупи из автомата, захватишь краем очереди Сурова — ему тоже туда и дорога! Но вместо этого лишь посмотрел на Сурова. А тот вернул невинный взгляд: «Видишь! Я же говорил, что кровавые собаки!»

А все дальнейшее происходило будто и не с Белым. Даже не по гауптшарфюрера плану, а волей и вдохновением этого вонючки Сиротки. Потому что воля и решимость Белого внезапно растаяли, растворились в какой-то вязкой пустоте. В злобном безразличии к самому себе и своей судьбе. Что тут решать, если жизнь давно за него все решила... Будь как будет, будет же как-то, вот там, тогда все и будет! Это с ним уже случилось. Но с такой тупой, издевательской силой навалилось именно здесь — в самый решающий момент. А может быть, потому и навалилось, что момент был решающий. Как над ямой в Каспле: стрелять, не стрелять? в кого стрелять? в себя? в Дирлевангера? в затылочек голого мальчика, который сидит лягушонком, колотится всеми позвонками и просит, плачет: «Дядя, хутчэй, дядя, скорей!..» Ты взял протянутый тебе парабеллум, еще потный от руки другого «иностранца», ты делаешь шаг, второй к яме — на вялых, без костей ногах, точно там поджидает тебя смерть, твоя собственная, оглушенно идешь к ним, раздетым, а все оде-

тые — такие же, как ты, и они тоже дожидаются очереди, как и раздетые, но очереди не умирать, а убивать. Сам должен выбрать из сидящего надо рвом человеческого ряда, в кого будешь стрелять, — такое правило для новичков у Дирлевангера. А он стоит здесь же, близко, смотрит, сколько «мишеней» выбрал, «использовал». Двоих приказано, обязан, а больше — на твое усмотрение. Сколько выберешь — столько и сам стоишь в глазах немцев! И это тотчас оценивается — сигаретами. Передаешь пистолет следующему «иностранцу», а тебе — две сигареты. «Не хотел, кацап, больше, ну и дурак! Во, смотри, учись!» И даже смешок среди тех, кто уже отстрелялся, стоят, верят и не верят в то, что делали и что с ними сделали, сделалось. «Дядя, скорей!..» В кого, в кого?! Все кричит в тебе. И такое злобное безразличие ко всему на свете: будто уже случилось, ты уже выстрелил. В немца, да, в Дирлевангера! А потом в себя! А кто-то твоей рукой вдруг стреляет в дрожащий над острыми темными позвонками детский затылок. И уже ничего не может быть. Ничего!..

Партизан стоял во дворе, поджидал — не хотелось верить глазам, но это была правда, и Белый как-то вяло ужаснулся. Входили в распахнутые широкие ворота, по-волчьи теснясь и поджимаясь от опаски. Один Сиротка улыбался во весь свой жабий рот, выворачивая розовые десны — он тут свой, у него тут невеста, друзья! Партизан смотрел серьезно, но спокойно. У колодца привязан оседланный конь — белый красавец! На парне желтоватый китель, плохо, по-деревенски сшитый — не из одеяла ли немецкого? Но ремень командирский, со звездой, и портупья, а на плече ППД, какой Белый получил, когда ехал и не доехал, потому что война окончилась, — на финскую. На портупее, высоко на груди, прицеплена лимонка — грозная, как бомба, рубчатая Ф-1. (Да, это была его единственная подстраховка.)

Белый смотрел на партизана, как ни на одного человека никогда не смотрел. На его неправдоподобно простое, даже застенчивое деревенское лицо.

Вот человек, для которого будто и не было страшного сорок первого, когда рушилось все, а ты был только песчинкой. Откатывались и в плен попадали армии, что значили ты один или группка вас перед необъяснимой силой, навалившейся на все и всех. А они, вот

такие хлопцы, дядьки или окруженцы, а то и просто школьники, подобрали в лесу винтовки, гранаты и спокойно похаживают по своей земле, как по своей. Дома и стены помогают. Хотя и пылают...

Вот тут бы и развернуться, и шарахнуть очередью по «своим»! Тогда в Каспле молил, уговаривал мальчонка: «Дядя, скорей!..» Выстрелил в него, а попал — в кого попал? Был на свете такой человек Белый Николай Афанасьевич — нет его больше!

Глаза партизана смотрели на устремившихся к нему убийц не то что с доверием или приветливостью, но с каким-то жутким непониманием и спокойствием. Что-то очень забытое, очень школьное и простецкое было в деревенском парне, обвешенном оружием, в его лице, глазах. Подбадривающая ирония и даже смущение оттого, что «добровольцам», конечно же, неловко смотреть ему в глаза — кому приятно быть сволочью! Простецкая улыбка: «Так уж, братки, получилось, что пришли вы ко мне, и спаситель ваш как бы я!» А возле него, против него переступали с ноги на ногу — тоже как бы смутившиеся — волки. Очень уж просто подпустил, легко подошли! И с волками бывает, что от близости, от внезапной доступности добычи, от жадной слюны вдруг сведет, замкнет пасть, и не открыть!.. Вот он здороваётся со своими убийцами. (Сиротка первый подбежал и чуть не целует!) И твою — главного Иуды! — руку пожал партизан. Нет, не вам, а ему неловко! Одному за другим, всем восьмерым пожал руки. А Сиротка уже за спину зашел и там испуганно гримасничает. До чего же отвратительно может быть лицо человека! «Ничего, ладно, поехали», — сказал партизан и шагнул к оседланной лошади. Гады пошли, потянулись следом, а двое поотстали, будто еще что-то собираются делать, решают, решаются. Да кому решать, давно нет вас на свете, а есть такие же, как и остальные, «иностранцы»! Жадно толкаясь, толпой устремились за своим спасителем. А он еще наклонился и на ходу из темного ведра-бадьи, притянутого к срубам и зацепленного за крюк, захватил ладонью воды и бросил себе в рот. Как бы предчувствуя смертельную жажду! Оглянулся на хату, на окна: там белели лица женские, тревожные... Конь армейский, настоящий кавалерийский, — к нему, преследуя спасителя своего, хищно устремилась вся стая: впереди Сиротка, а позади

всех — иуды, да, да, мы с тобой, дорогой поп! Партизан еще поправил стремя, не спеша, как бы оттягивая погибель, провел рукой по вздрагивающей спине лошади, а Сиротка и все за ним еще придвинулись. Сиротка канючит и похихикивает: «Хлопцы что надо, кадровики... искупят, воевать умеют... не пожалеете!..» Партизан ногу в стремя, чуть откинулся для размаха, а они и повисли на нем, рванули за плечи книзу. Он рукой к висящей на груди гранате — будто к парашютному кольцу! — почти успел, но удар в голову был страшный. На спину опрокинули, навалились, испуганно хватаясь за все еще упругие руки его, за ноги — вся «суровская пятерка». Только Сиротка за коня схватился по-барышнички — его трофеей! Непонятно, как ему удалось, но партизан перевернулся со спины на живот, на локти, на колени и стал медленно приподниматься, отрываться от земли. Те, что сопя и матерясь, возились на нем, не замечали, а Белый и сегодня это видит: перекошенным ртом парень тянулся, старался зубами поймать кольцо своей гранаты, вот-вот!.. Сколько раз Белый видел, да и сам испытывал ее — человеческую жажду спастись от навалившейся смерти. Но такого броска навстречу погибели — своей и врагов, такого лица, рыдающего, молящего о погибели, не видел никогда! И тут прозвучал выстрел. Нет, не Белого, не Сурова — не по сволочам! Это Сиротка разглядел опасность — вот-вот разнесет всех в клочья грозная лимонка! — просунул ствол своей винтовки между борющихся тел и выстрелил.

Вскочили, отпрянули, кто-то с испугу уже замахивался на Сиротку: «Дубина, своих мог!..»

Потом партизан трясся с раздробленным плечом на телеге, вдали догорал двор, а каратели все веселились, «жалели» Сиротку: как-никак «его» хутор, «его» теща и Катька горят!

Страшнее всего было встречаться глазами с лежащим на телеге партизаном. Но приходилось, несколько раз. И когда он лежал в крови у колодца связанный, а в хате кричали, плакали женщины — туда уже побежали «люди Сурова». И когда возвращались, а маленький Циммерманн смешно учился сидеть в седле, и его хвалили, поощряли, заодно издеваясь над «конокрадом» Сироткой.

Не было больше деревенского парня с неловкой про-

стецкой улыбкой, лежал и молча смотрел в небо, время от времени дико скашивая белки глаз на карателей, тот, кто ждет не дождется тебя в лесу. Да, Белый уже увидел глаза, которые встретят его и его адвоката Сурова, когда они наконец все умненько организуют и прибегут к партизанам...

В Печерске, когда взвод после бани, после именинного, со шнапсом, обеда по случаю «поймки Циммерманном бандита», малость утихомирился, Суров отыскал Белого и, пряча глаза, предложил «пойти куда-нибудь и обсудить положение».

— Может, международное?! — гаркнул на него гауптшарфюрер Белый и прошипел: — Поведешь снова щупать в сукне твою совесть?

Чуть не плача от ярости, предупредил:

— Ты на глаза мне не попадайся!

Отвел душу, но легче не стало. И уже не станет. Да, самое паршивое, когда уже не на что надеяться, рассчитывать.

И в лагере самое страшное было это, хотя что там не страшное было!

Вот это ты, неужели ты вот этот, ползающий среди источенных голодом полутрупов, обглоданных крысами оскаленных тел, которые не успевают вывозить на телегах, на машинах — существо, мечтающее сейчас об одном: поймать неуверенными слабыми руками толстую, теплую и злую тварь? И потом варить, варить в ржавой банке за уборной, зная и совсем не думая о том, что место это давно пристреляно с пулеметной вышки. Выковыриваешь, выдираешь из затоптанной тысячами ног, исковырянной пальцами, изгрызенной зубами земли оставшиеся еще корешки, траву — тебя вроде и нет давно на свете, но ты все еще существуешь. Вцепившись вместе с десятком таких же костлявых и бессильных, тащишь, толкаешь телегу, доверху груженную трупами, а за тобой идут, тебя сопровождают, злобно понукают немецкие и ненемецкие голоса — откуда-то из другого совсем мира. Выстроив всех, кого вывозить на этих телегах не сегодня, а завтра, послезавтра, какие-то люди говорят речи, читают листовки о том, что военнопленные — предатели, которым нет и не будет прощения и пощады. Это было так все далеко, а лагерная погибель — вот она, рядом, но и это ложи-

лось на душу, еще больше сгущая чувство беспросветности. Набирали людей сначала в «украинские формирования»: за спиной у ораторов-вербовщиков стоял стол, на котором разложены ломти хлеба, куски колбасы, хлеб с мармеладом, стояли кружки с кипятком...

В сибирской деревне, где прошло детство Белого, хватало переселенцев с Украины, и он знал и песен много, и слов, фраз, но чисто говорить по-украински не мог. А чтобы добраться до стола, если ты даже решился на еще одну безнадежность и безысходность — самую последнюю, надо было доказать, что это твой язык. «Скажи «макытра», — весело злобствовали хозяева бутербродов. — Ну-ну, кацап, як воно у тэбэ получится?» У Белого получилось легко, и он тотчас все получил: хлеб с мармеладом, винтовку, Касплю, а за ней и все, что потом было и что продолжается... Как с горы понеслось! А сначала охранял тот же Бобруйский лагерь в крепости — тех, кто не захотел немецкого хлеба с колбасой и винтовкой и продолжали вымирать — по полтысячи в сутки. Город над Березиной еще тяжело спит, а пленных, кого еще можно поднять окриками и ударами, выталкивали с третьего, со второго, с первого этажей огромного и мрачного, как замок или тюрьма, здания и гнали на работы. Больше всего колонн движется в сторону реки, деревообрабатывающего комбината, по-здешнему — форштата.

Да, слово это, форштат, в Бобруйске для всех привычное, обжитое, еще довоенное. Ну, а война привела, вместе с армией немецкой пришли и все другие слова, без которых, как без выстрелов, ни одна колонна не доползала до места работы: цурюк! хальт! арбайтен! ферфлюхтер! шайзе! швайн!.. И пленные тащатся на работу, они «арбайтен», как неживые — что почти соответствует их состоянию, но немцам все кажется, что над ними едва ли не издеваются, что их дурачат эти упрямые полутрупы с пылающими глазами. А чем голоднее, тем ярче глаза, и тем с большей лютостью бьют, бьют, а палка, а приклад отскакивают от близких костей, и охраннику снова кажется, что сопротивляется, что мешает, не дает достать как следует!..

Охранников-ненемцев Белый делил на несколько гадовских категорий. С одними не хотел ничего общего иметь. Других считал такими же, как и сам: они тоже спрятались в немецкие шинели от лагерного ужаса и не-

избыточной голодной тоски, а сами все еще хотят верить, что это не окончательная гибель: надо только удержаться, хотя бы на самом краю — не свалиться назад, откуда выбрались, но и туда тоже, где самые гады. Все, что им приходилось делать, проделывали с внутренним ужасом, тоской и при этом вели свою безнадежную, но такую необходимую им бухгалтерию: а вот этого я не стал делать! сделал, но не так, как хотелось немцу! вот, я даже помог человеку! без меня н а ш и м лю д я м было бы еще хуже!..

У каждого свой чистюля Суров, бухгалтер и хитрец Суров, но где-то внутри, в кишках. Оттуда ты и выполз — из моей требухи, золотой чистюля! Друг с другом пошептаться боялись, так хоть с собственной кишкой. А что, она и есть самый надежный друг человеку! Раньше этого не знали, не верили, а немец показал, поверить заставил. Не в такое поверишь и еще не это увидишь — времена такие пришли, что на собственной земле сделался «иностранцем», ауслендером. И по немецким спискам, по их бухгалтерии, а для своих тем более!

Вон их сколько за спиной у тебя, целый взвод «иностранцев», разбавленных «майстэрами». Вроде бы по собственной земле шагают, да только нет земли, которая бы нас теперь признала своими. Это только Суров еще убежден, что не топчет ее немецким сапогом, а летает над ней невинным младенцем.

Как бы и что бы ни думал сейчас Белый, до тошноты отравленный самим собой — каким стал, каким его сделали, но жила и даже старалась укрепиться в нем все та же изначальная человеческая потребность верить, что он не самый худший. Что как раз он и есть не самый худший: он столько помнит случаев, когда мог сделать зло, другие делали, а он нет или не так охотно, как другие!

Но быть не худшим среди тех, там, куда попал Белый, совсем не сложно. Хотя бы не старайся сам, не лютуй сам, без приказа, и вообще не мсти вчерашним товарищам по голоду и лагерным мукам за грязную свою сытость, колбасу немецкую и мундир немецкий — и ты уже лучше многих.

И совсем не сложно, не трудно было хотя бы помнить, как было тебе самому два месяца или две неде-

ли назад, когда тебя вот так же гнали на форштат работать и подыхать. Прежде чем сделал хотя бы одно движение, сначала должен показать себе, проявить в гаснущем сознании всю операцию, все действие руками, ногами, телом — от начала до конца. Представил, и уже кажется тебе, что проделал то, что громко, матерно приказывают, а сам, оказывается, все еще лежишь на земле или неподвижно стоишь над носилками, над бревном, над лопатой. Тебе кажется, что ты что-то делаешь, а им — что упрямишься, придуриваешься, вот он на тебя уже налетел, набросился, уже вбивает, вколачивает через твои кости, в твое ватное сознание боль, муку. И пристреливает. Нет, это не тебя, это другого, рядом. Но сейчас и тебя, сейчас!.. Тех, кто у воды, кто должен вытаскивать бревна, тех сталкивают с кромки льда в Березину длинными шестами, и они выползают на берег, облепленные почерневшими шинелями, но вылезти имеешь право лишь с бревном: волокут осклизлые, как трупы, или уже оледеневшие и тоже скользкие, тяжеленные бревна на берег, вцепившись синими руками, прильнув — слизь к слизи, а глаза все равно пылают...

А ты здесь, по эту сторону, где все гады, но где тепло, сухо, где сытно и тебя не убивают, не бьют, не сталкивают шестом туда, откуда недавно выкарабкался... Нет, сам ты не станешь ничего делать и даже, что прикажут, не все выполнишь, как хочется немецким командирам, но ты по эту сторону, и все, что тут происходит, делают, что задумывают делать — все ляжет и на тебя.

Из показаний на суде бывшего заместителя коменданта Бобруйского лагеря для военнопленных № 2 Карла Лангута — 1946 год:

**В о п р о с: Расскажите, как был подготовлен с провокационной целью поджог лагеря, в результате которого погибло большое количество военнопленных.*

К а р л Л а н г у т: 4 или 5 ноября 1941 года ко мне пришел комендант лагеря полковник Редер и сказал, что со мной он должен побеседовать. Прежде всего он потребовал, чтобы я дал слово, что никому больше об этом разговоре не расскажу. Такое слово я дал. После этого Редер говорил, что командование отказалось давать транспорты для отправки военнопленных в Гер-

манию. Все военнопленные умирали с голода. Поэтому полковник Штурм, он был тогда представителем штаба по делам военнопленных, дал приказ уничтожить военнопленных лагеря № 2. Лагерь имел тогда 18 тысяч человек... Ко мне 6 ноября должен был прийти руководитель одной из зондеркоманд, которому я должен был показать казармы. Он должен был подготовить и осуществить поджог, причем сделать так, как будто военнопленные сами подожгли лагерь с целью побега. Руководитель этой зондеркоманды пришел ко мне 6-го. Я ходил с ним по казармам, затем на чердак третьего этажа. На чердаке находилась вентиляция. Руководитель зондеркоманды сказал, что 6-го ноября он привезет материал для поджога, а также горючее. Я пообещал, что буду при этом, когда он приедет. 6-го ноября он вернулся и привез материал для поджога. Он был еще с двумя людьми и сказал, что 7 ноября он все устроит и что моя помощь ему больше не нужна.

7-го числа в 15 часов фельдфебель мне доложил, что правое крыло казармы горит. Я позвонил зондерфюреру Мартынюку в пожарную, и Редер мне приказал по телефону, чтобы я вместе с Мозербахом, который являлся вторым лагерным офицером, и двумя переводчиками пошел в казармы и выгонял всех военнопленных во двор...»

Суров находился на втором этаже «цитадели». В тот день, 7 ноября, на работу не выгоняли. И даже не вытаскивали во двор трупы, и машины забирать их не приехали. Трупы еще с вечера стаскивали, сносили к лестницам: живые отвоевывали себе место на нарах, под нарами, в проходах — на всех не хватало загаженного пола. К утру лестницы с третьего и второго этажей были завалены мертвыми настолько, что обычно с расчистки их и начинался день: иначе невозможно было выгнать на работу еще живых. Специальные рабочие команды разбирали завалы, возня продолжалась часами — с сопением, матерщиной, ударами палок. Казалось, что на лестницах натужно борются живые с мертвецами, а охрана их подгоняет, поторапливает.

В это утро никто не возился там, не слышно было немецких команд, не хлопали наружные двери, не ревели машины. Еще с вечера было объявлено, что

«по случаю большевистского вашего праздника работы не будет, но и пищи не будет—можете отдыхать!..». Утро не наступало долго, в окна-дыры залетали мягкие хлопья снега, как бы загоняемые яростным светом вспыхивающих прожекторов. Снег таял на мертвых и живых от холодной духоты — и то и другое ощущалось одновременно: нечистое, больное дыхание многих тысяч тел и озноб сквозняков. Суров с вечера добыл себе местечко на нарах, ради этого пришлось повозиться с мертвыми.

Потом лежал в нескончаемом голодном полубреду, пока не пошел снег и не стали залетать в окна мокрые хлопья снега: к ним потянулись, поползли — вода! Неумело и жадно ловили яркий, злобный луч прожектора — десятки шарящих, летающих над головами рук. Потом снова лежал, но уже на полу, на чьих-то холодных ногах, спинах. Очнулся от толчков, от сиплых криков: «Горит над нами!..», «Пожар наверху!..»

В оконных проемах был уже день, и все так же шел снег, а вместе с ним опускался и дым, откуда-то сверху. Где-то левее слышен был человеческий гул, странно ровный, бессильный.

Те из пленных, кто были у окон и могли что-то разглядеть во дворе, сообщали: «Крыша, там, слева!..»

А в коридоре, у лестницы люди уже сбились в бессильно-яростный ком. Через мертвые завалы живая шинельная масса медленно сползала вниз. Толпа напирала, протискивала сама себя сквозь щель, которая не расширялась от этого движения, напора, а, наоборот, сужалась — как полынья от наледи в трескучий мороз. Суров снова почувствовал себя живым, это всегда вспыхивало заново, когда гибель была особенно близка и казалась неотвратимой. Он ничего не ощущал, кроме бессильно-яростной гримасы на собственном лице, ничего не слышал, кроме своего голоса, — и то и другое сливалось в одно: «Что ж вы, сволочи, кто там не идет, кто держит, да отбросьте его, гада!..» Дым через окна глубоко проник в здание, забивал глотки, проникал в самую душу, и казалось, что несокрушимо тяжелое здание огромной «цитадели» раскачивается, как корабль на воде — от тысячетелого движения, тысячеголосого крика.

Карл Лангут: «7-го числа в 15 часов фельдфебель доложил, что правое крыло казармы горит. Я позвонил зондерфюреру Мартынюку в пожарную команду, и Редер мне приказал по телефону, чтобы я вместе с Мозербахом, который являлся вторым лагерным офицером, и двумя переводчиками пошел в казармы и выгонял всех военнопленных во двор. Я с Мозербахом туда пошел и увидел, что третий этаж горит. Я пошел в барак военнопленных, который также горел, и вместе с переводчиком гнали людей сверху вниз. Понятно, что 18 тысяч человек не могли сразу сойти вниз. Люди с первого и второго этажа стояли на лестнице и загородили собой выход для пленных, размещавшихся на третьем этаже. Погода была очень плохая, никто из военнопленных не хотел выйти на улицу, в силу чего выход военнопленных из казарм продолжался очень долго. Таким образом, только несколько тысяч военнопленных вышли на улицу...»

Белый стоял на крепостном валу из красного кирпича, отгороженном от двора колючей проволокой. Два ряда проволоки внизу, а красный вал, стена над ними. Снег мягкими беззвучными хлопьями ложился на рукава немецкой шинели, мокро прилипал к железу и дереву винтовки. Впереди чернело из-за снежной пелены высокое, как замок, огромное здание — центральное в крепости. Главная казарма, «цитадель», выстроенная по-тюремному, буквой «П», всегда так грузно сидела в центре огромного двора, крыльями своими выгораживая еще один двор, поменьше. А сегодня Белому даже чудилось, что это не снег рябой пеленой опускается, а «цитадель» медленно-медленно отрывается от земли вместе с тянущимся к небу дымом и криком.

В этом здании в 1940 году «квартировал» младший лейтенант Николай Белый. В крепости тогда располагались два полка 121 дивизии: гаубичный и его, Белого, пехотный. Как раз вон там, над котельной — рядом с квадратной трубой, на которой цифра «1925», было его окно. Горит его этаж, уже и на левое крыло здания перебирается пламя, а дым становится все смолистее, чернее, а жуткий человеческий вой все нарастает. Во дворе толпятся пленные, их пока немного, до жути мало их, если знать, сколько остается там, в горящей «цитадели». Из дверей вырываются, выдавливаются

еле-еле, а здание такое огромное, а дверей с этой стороны только две!

Когда военнопленный Николай Белый жил в этом здании, ему доводилось ночевать и на втором, и на третьем этажах, и в том и в другом крыле... Где он был бы сейчас, если бы не стоял здесь — в немецкой шинели, с русской (но теперь тоже немецкой) винтовкой? Где-то и Суров там, если еще жив. Пламя из окон третьего, а справа — и второго этажей рвется клубами, черно-красными, жирными, жадно трещит, тошнотно-сладкий, близкий запах гонит слюну, выворачивает желудок. А тут еще икает кто-то рядом — толстый, краснощекий немец.

— Краски горят, — упрямо поясняет какой-то идиот в желтоватой «добровольческой» шинели, такой же, как у Белого, — краски немцы сложили для Красного Креста, а коммунисты залезли на чердак и поожгли.

— Какие краски, что ты плетешь? — не выдержал Белый.

— А такие, что я видел, как носили. Комиссия Красного Креста приезжает, хотели ремонт «цитадели» делать к Новому году...

Смотрит, видит, даже носом обоняет страшную правду, а все равно бормочет какую-то чепуху и трусливо ищет поддержки, согласия в глазах тех, что рядом стоят на валу крепости и тоже все видят и знают. А ты, ты сам что пытался делать, когда скомандовали «фойер!» и у ног заработал немецкий пулемет? Целился и стрелял в квадратную трубу котельной? В знакомую цифру «1925» — в трубу, в цифру, в цифру?! Я, Белый, не виноват, не я виноват, я не стреляю в своих, в своих, в своих!.. Куда только не залезет, за что только не спрячется человек от правды, когда она вот такая!

Скомандовали стрелять не сразу, а когда огонь уже яростно пожирал второй этаж и дым тяжело пополз на город, а во дворе, окваченные каменной буквой «П», столпились уже тысячи пленных — тех, что как-то выбрались, вырвались из «цитадели». Пленные, которые оказались ближе к ограде, проволоке, к крепостному валу, уже ощущали, сознавали, что для них самое тревожное не позади, не там, где с яростным трещанием пылает «цитадель», а здесь — вот эта зловещая тишина по другую сторону колючей ограды. Прямо

перед ними стояли немцы, «добровольцы», чернели пулеметы...

Так и стояли по обе стороны двойной ограды, тех и других разделяло пять метров — два ряда колючей проволоки.

Горящие глаза, темные и мокрые от тающего снега лица, вычерненные грязью, сажей и неизвестно чем шинели и гимнастерки, у многих босые или в тряпье ноги — все это колыхалось, перемещалось, зажатое крыльями «П»-образной «цитадели». Те, что ближе к проволоке, к красному кирпичному валу, глазами встречались с немцами, с «добровольцами»: «Что же это вы делаете? Что еще задумали? Вы же задумали еще что-то!..» — «Нет, это вы и ваши коммунисты! Гляди, чего надумали!..»

А когда скомандовали «огонь!» и на крепостной стене заработал пулемет — хлестанул в упор, людская масса на миг замерла, казалось, что это удивление ее удерживало в неподвижности, но тут же сместилась, хлынула вправо, потом влево... А пулемет бил, бил в упор, по толпе, которой деваться некуда, люди падали, падали и оставались на земле, как камни после внезапного отлива. Белый вместе с другими стрелял. Посылал и посылал выстрелы в цифру «1925», высоко поднимая винтовку. Потом он часто повторял, мысленно — себе и кому-то еще, не зная кому, — что стрелял в трубу, она и сейчас там, с цифрой... Точно на свидетеля ссылался. Какие уж тут свидетели! Особенно после Каспли. Да и разве одна была Каспля? Сладкий, тошнотный запах, смолисто-жирный дым не отстают, тянется следом — по всей Белоруссии. Он уже кругом, посмотри! Посмотри, Суров.

Когда ударил пулемет, сразу заглушив смолистый треск пожара, Суров был далеко от крепостного вала, ограды. Он в числе последних выбрался из удушливо черного дыма. Целую вечность выбирался и не раз уже готов был поверить, что все, конец, и ничего больше не надо, не хотелось ничего, только бы не слышать этого стона вокруг и в самом себе — ползущего вниз стона и воя, рвущегося к спасительному выходу. И вдруг, раздавленный, с выбитым плечом выброшен под задымленное, но все равно такое просторное, широкое небо. Страшный двор лагеря показался свободой, спасением.

И тут ударил пулемет, и толпа отхлынула, понесла и его куда-то влево, к воротам. Пулемет грохотал сбоку, справа, но вдруг замолк и точно забежал наперед — от лагерных ворот ударил. Пули мокро, обиженно, без разгона и взвизга хлюпали, задерживаемые стеной из человеческих тел. Оставляя под ногами и позади убитых и затоптанных, людская масса хлынула в противоположный конец двора. Теперь пулеметы гремели сзади и слева, и тут же, еще один, опять встретил бегущих огнем в упор. Бежать было некуда, да и некому уже: повалились живые среди мертвых, раненых, в окрашенный кровью грязный снег. Еще метались, бежали, ползли люди по заваленному телами плацу, а Суров лежал и ждал, когда вздрогнет и его туловище, его голова, нога, рука от удара, как вздрагивают, дергаются у тех, что рядом и на нем лежат. Стрельба не утихала. Лежал, и ему делалось все теплее — от подтекшей крови. Коленям, рукам было совсем тепло. Руки, лица лежащих под ним, рядом, на нем были мокро-холодные, а кровь все равно теплая, живая — он еще удивился, еще подумал об этом.

Он потерял ощущение времени, забывал и снова вспоминал, где он и что с ним, к нему приходила мать в белом больничном халате, щупала голову, озабоченно брала руку, а перед этим привычно грела свои руки дыханием и прикладывая к худенькой своей шее — она всегда так делала, когда с холода входила к больному. А когда в сознание снова возвращался лагерь, трупы вокруг, ярко пылающая, как смолой налитая, огромная «цитадель», сын пугался, что и она, и она здесь, спешил расстаться с видением — открывал глаза и смотрел на клубящееся, подсвеченное заревом вечернее небо. Черный дым уносил в небо зловещие, мечущиеся отблески. Еще стреляли из винтовок, иногда потрескивали автоматные очереди. Трассирующие пули втыкались в клубящееся небо и сразу гасли. Удушающий запах горелого мяса забивал нос, рот, жирно налипал в глотке, тошнотой заполнял пустой желудок...

Утром он очнулся, услышал живые голоса, стоны, всхлипывания. Трупы закаменели, и он под ними зачоченел на холодной, как железо, земле. Где-то разговаривали по-немецки, а кто-то, поднявшись, жалобно попросил: «Переведите нас в первый лагерь», и Суров понял, зачем это говорится. Будут сейчас добивать,

достреливать, уже машины подгоняют — будут вывозить трупы, а уцелевших добьют. Они уже поднимаются, кто живой, не все сразу, но когда поняли сами, что их еще много, и догадались, что, может быть, в том и спасение, что их много, слишком много, подниматься стали и раненые, тяжело раненные. Вылез из-под убитых и Суров, долго не мог разогнуться, встать на ноги, должен был сначала посидеть на ком-то. Сидел, как на сваленном дереве, и смотрел, а перед ним неоглядные груды тел и кое-где поднимающиеся, пошатывающиеся фигуры в обвислых, рыжих от подпалин шинелях.

Господи, да сколько же может вынести человек?!

Он вынес еще и бесконечную дорогу от Бобруйска в сторону Глуши, Слуцка. Живых было, набралось все еще много, хватило почти на сто километров — по тридцать-сорок трупов на каждый километр. Весь город задыхался от трупного угара, жители провожали колонну уцелевших военнопленных с каким-то новым ужасом в глазах, а немцы, охрана, будто застеснявшись, впервые за все месяцы организовали даже подводы для тех, кто не мог идти сам. За городом подводы протащились не больше пяти километров. Колонну остановили, часть немцев побежала в лес и сразу же стали гнуть березки и ломать, выламывать палки. А другие сгоняли, сбрасывали с подвод ослабевших, раненых. Люди старались показать, что могут, что и они смогут идти на своих ногах, прорывались в колонну, а их отталкивали, швыряли в канавы. И стреляли. Длилось это с полчаса. А дальше погнали колонну уже без обоза, но зато в руках у каждого немца была толстая березовая палка. Любят они березу: и на могилках немецких обязательно березовые круглячки, оградки, и тут все выбрали только березовые палки.

После, вспоминая страшную «варшавку», асфальтовую дорогу на Слуцк, Суров яснее всего видел не убитых, достреливаемых, не выбегающие к шоссе деревни — через поле бегущих баб с хлебом и чугунками, детишек, по которым охрана открывала пальбу, — а тот момент, когда немец вдруг останавливался, точно решив что-то для себя, бросал на грудь автомат и брал в обе руки свою палку. Люди шли к нему, а он опускал, поднимал и опускал на головы тяжелую палку, крикая, как лесоруб, а на распаренном лице, в налитых

красной слезой глазах было: «Это вам за пожар, за поджог, за то, что вас так много и мне надо вот это делать — бить, бить, бить!..» А ты шел к нему и не мог не идти.

Потом было голое поле, огороженное в два ряда проволокой и еще без пулеметных вышек. Охрана ходила снаружи, мерзла и дожидалась, когда наконец вымрут все еще живые две тысячи пленных. Люди, кто мог, зарывались в землю, процарапывая мерзлую пахоту и заодно съедая корешки и все, что попадалось. Там и остались они, спрятавшись в норах-могилках от холода и немцев. А Сурова кто-то растолкал пинками, поставил на ноги рядом с кем-то еще. Он услышал: «Кто хочет жить?..» — и еще что-то, потом их повели, он оказался в теплой бане, и когда, все еще не веря в реальность происходящего, стаскивал, обрывал с себя сопревшие ключья гимнастерки и уцелевшие ошметки брюк, вдруг вспомнил, вяло схватился пальцами, стал искать: «Здесь! Здесь она!» Кусок рванья, в котором прощупывалась помятая книжечка, унес с собой, как бы вместо мочалки, а потом незаметно сунул в карман своего нового, «добровольческого» кителя.

Только тут дошло до него, на что решился и как это называется. Но он знал, знал себя, знал точно, что стрелять в своих не станет.

Как знали точно и Белый, и другие — сотни, тысячи других.

Самое гадостное состояние, когда ты уже ни на что не надеешься, а тебя снова поманила судьба, снова вдохнула в тебя надежду — будто с петли сорвался и дышишь, дышишь, дышишь! — но тебя схватили, подняли и снова тянут к удавке. К «вдове» тянут. Как последний раз было в Печерске, когда вешали командира украинского взвода Куксенко «за оскорбление фюрера и райха» матерным разговором с портретом «Гитлера-освободителя». Со стенки казармы взирал выпученными глазами на возню с казнимым пострадавший — тот самый «освободитель», смотрел с гордым поворотом головы и плеча и, пожалуй, неодобрительно и как бы готовый разгневаться. Повесят еще одного и разойдутся по своим делам, а ему торчи целый день напротив преступника, который все дразнится, язык показывает! Но немцы, если это происходило в Печерске,

«вдове» устанавливали всегда в этом конце двора. Чтобы фюреру хорошо видно было. Процедура отработана в деталях, повторяется, как церковная служба. Батальон, выстроившись прямоугольником, замирает, как перед молитвой, а потом немецкий голос и следом переводчика голос сообщают, что такой-то есть агент, что он распространял, выражал, хотел, пытался... И вдруг голос самого Дирлевангера — как с неба: «Фортретен!» Все иностранцы и без переводчика знают, усвоили, что это означает: «Шаг вперед!» Казнимый, который одиноко стоит (если еще в состоянии стоять) в квадрате шеренг, делает шаг по направлению к ожидающей его «вдове». И снова зачитывается приговор, опять прерываемый дирлевангеровским: «Фортретен! Марш!» Пока не подойдешь так близко, что «вдова» сможет тебя обхватить за шею...

Большой он фантазер, этот Дирлевангер. Любит всякие штучки. Даже и для немца небезопасные. Весь батальон знает, что живет у него, при нем, привезенная еще из Польши молоденькая Стася: говорят — еврейка! А за компанию и еще пятерых в подвале держит, но эти специалисты, незаменимые сапожники. Давно гром мог грянуть над штурмбанфюрером, не выручат и классные сапоги, которыми он одаривает могилевских генералов. Но пока сходит с рук. А доносы, наверное, идут, эта система у них отлажена не хуже, чем боевое снабжение и все прочее.

На фантазии, на штучки штурмбанфюрер неистощим. Хотя бы эти вот страшные, бесконечные Борки! Вел он себя последние недели непонятно. Партизаны сожгли на шоссе неподалеку от Борок две машины, перебили ехавших в Кировск бобруйских полицейских. За это выбили, выжгли деревеньки, которые расположены от шоссе дальше, чем Борки, а их не тронули: сказано было, что это полицейская деревня. Гауптштурмфюрера Барчке Дирлевангер едва не застрелил за то, что он по собственной инициативе нахватал в Бороках молодежи, а когда стали убегать, многих перестрелял. Барчке неделю ходил с синяком и без очков — хорошенько саданул ему штурмбанфюрер рукояткой «вальтера». Под горячую руку охотника, у которого едва не спугнули крупную дичь, угодила старательный Барчке. Похоже, что для Дирлевангера деревня эта значила больше, чем другие, которые сжигали не заду-

мываясь, убивали с налета. Здесь он не спешил, даже вроде бы растягивал всю процедуру. Долго вокруг да около ходил, обнюживал, примеривался...

Штурмбанфюрер этот, не поймешь, нормальный или псих. То совсем не смотрит ни на что, не слышит ничего — стоит или сидит, как идол, то вдруг начинает трястись, орать, размахивать длинными руками, даже колени, выпирающие на тонких ногах, как у огромного кузнечика, начинают друг дружку обстукивать. Длинный, тощий и неутомимый, он на самом деле напоминает нескладное и неожиданное в движениях насекомое с пронзительными и недобрыми голубыми глазами.

На этот раз он даже речь держал — перед офицерами, немцами и «иностранцами». Такого еще не бывало. Собрались в офицерской столовой, но все не начинался инструктаж, Дирлевангер сидел за отдельным маленьким столиком, тянул пиво, которое перед ним поставили, и смеялся неожиданно громким смехом. То, что ему рассказывал сидевший за его столиком сердитый с виду толстяк с дубовым листом штандартенфюрера в петлицах, судя по всему, не было ни веселым, ни забавным. Но Дирлевангер нервно вскидывал прямые плечи и пугающе громко смеялся. Говорили, что гость прямо из Берлина приехал и что они старые приятели, хотя толстяк на два ранга выше штурмбанфюрера. Потом подозвали штурмфюрера Муравьева, Славу Муравьева, который в батальоне помогает Дирлевангеру командовать «иностранцами». И переводчика-латыша. Муравьев подошел по всей форме: каблуками щелкает не хуже немцев, но языку ихнему все еще толком не выучился. О чем-то говорили с ним, а латыш-переводчик помогал, отвечал Муравьев как-то даже неохотно, с лицом спокойным и хмурым. Без подобострастия. «Иностранцам» нравится, что их командир такой независимый, а потому он для них «наш Слава», «наш Муравьев» — еще одно утешение для дураков. С удовольствием шептались про случай, после которого штурмбанфюрер взял его из ротных в батальонные командиры и повысил до штурмфюрера. На Дирлевангера и такое находит: вдруг нальет зельтерской стакан и поднесет младшему чину. Растерявшийся, обрадованный таким уважением, вниманием дурачок возьмет и выпьет, и бормочет «данке». А штурмбанфюрер наливает еще. Кто посмеет отказать-

ся? А хозяин уже пододвинул, собственноручно, другой сифон... Укатать может одной только улыбочкой своей, голубоглазой! А Муравьев сразу нашелся, не принял стакан и будто бы сказал: русский не немец, а вода не шнапс!

Заговорил, начал речь свою Дирлевангер сразу, едва лишь от стула оторвался, длинное туловище еще и распрямиться не успело, тяжелый рыжий переводчик еле поспевал — испуганно подхватывал, выкрикивал фразы штурмбанфюрера:

«Я еду в Берлин... О нас знают... Получим тяжелое вооружение, в каждой роте будет тяжелый взвод... Эти Борки будут учебой и экзаменом... Радость участия в исторических акциях... Наш опыт бесценен... Что значат какие-то инструкции! (Ткнул пальцем в небо, но без всякого уважения.) Мы разведка, дальняя разведка. Думают (посмотрел на потолок), что главное на фронте. Вражеских солдат в России осталось на один хороший удар. А врагов — все еще десятки миллионов! Мы первые солдаты главных сражений, будущих. Ваши дети будут говорить: мой отец прокладывал путь! Хо, инструкция! (Презрительно махнул рукой куда-то вдаль.) Их списывают с наших отчетов. Завтра в Борках мы покажем, что умеем. И сами увидим, чему научились. Берлин ждет...»

Теперь Дирлевангер носится по поселкам, появляется то там, то здесь, собирает урожай для своего Берлина. Приказал, передал, чтобы все взводы, которые освободились от работы, стягивались к центральной усадьбе. Туда и направляется Белый, сняв свой взвод из оцепления. На «его» поселке, самом большом, сегодня работала немецкая рота. Белый прикрывал ее от леса.

Все делается сегодня основательно, даже торжественно. Еще до рассвета начали окружать Борки: путаница, метания по полевым дорогам на машинах, чтобы заткнуть все дыры. А когда все замерло на поселках, Дирлевангер проехал на бронетранспортере через все Борки. Он стоял в бронированном ящике, как в гробу. А кругом — ни души. Засветились ракеты, одна, вторая, там, здесь, ближе, дальше — и началось, приступили. В поселке, за которым закрепили и взвод Белого, немецкая рота действовала способом «обслуга на дому». Веселые, гады! Немцы ходили по дворам и не

спеша осматривали сараи, погреба, загоняли всех в хаты («Нах хаузе, матка!»). Выстрелы звучали во всех концах деревни, но заглушенные стенами домов.

Взвод Белого располагался на опушке так, чтобы и от партизан отбиваться, если подойдут, и не упустить убегающих из деревни жителей. Немцы чисто работают, внимательно, но и от них всегда кто-нибудь спрячется, уползет, убежит — для этого и раскидывают «оцепы» со стороны леса или болота. Конечно, побежали, и твой взвод (а скоро будет и рота, твоя рота!) стрелял, ловил и делал со своими людьми то, что нужно Циммерманну, Дирлевангеру, немцам. Только кто вам свои и кому вы свои? Это Суров все еще убежден, что его примут как своего. И тебя почти уговорил верить. Словно ты все тот же Николай Афанасьевич Белый. Прежний Белый от тебя так же далек, как и Коленка, у которого в детстве всегда болели уши, которому мама обвязывала на ночь голову мягоньким своим платком и защищала «младшенького», «слабенького» от насмешливых братьев. Перерос их всех, вымахал почти в двухметрового Николая Афанасьевича. Но нет никакого Николая-Коленки, и нет у нас матерей, разве что «вдова», вот она и приласкает, если затоскуешь! Думал, что со своим здоровьем и характером действительно и царь, и бог, и воинский начальник, а что получилось? Куда вышел, куда вынесло? Какой-то псих-немец, откуда-то из-за Эльбы, а сам ты с другого конца света — из-за Енисея, знать его не знал и не хотел бы знать, но чужая сила вас свела, и делаете одно дело, и нет, не бывает дел страшнее, гаже! Эта жаба широкая даже не искала тебя, сам нашелся, прямо к нему тебя вынесло. И в Каспле он ни слова не сказал, даже не командовал, стоял и смотрел, а делалось само. Тебя подобрали на дороге, как потерянный винтик, примерили, смазали маргарином, сунули в свою машину. И сидишь, как на своем месте. А на чьем же, если сидим? Только тот дядька, смешной и нелепый со своим громким криком: «Што вы, люди? Ды што вы, люди? Я ж не сумею, каб дитё ды забить!», — вот он не ввинтился, не подошел, его засунуть, ввинтить не удалось — тут же застрелили и столкнули в общую яму. А ты все прикидывал, решал: «Кого? Себя, в голову? Повернуться и в немца! Пока успеют прострочить...» Глянули детские, молящие глаза, из-за сведен-

ных лопаток выглянуло личико перекошенное: «Дядя, скорей!..»

Скорей ввинчивайся, потом пойдет легче, проще, а не пойдет — есть шнапс, все равно не пойдет — есть «вдова»! Или как немцы ее называют — «витвэ».

Сделали дело и бежим дальше, как гончаки! Куда хозяин направил. А может, ты в партизаны бежишь? Давай жми, расскажешь им, как вешали их разведчи-ка и как тебе жалко было, что у него заплывшие от побоев, запухшие глаза, и он не мог тебя разглядеть. А ты — подбодрить, помахать ему ручкой.

А ведь что получилось, получается? Всякий теперь имеет право сказать, что Белый очень старался, когда ловили партизана. За так второй серебряный квадратик обершарфюрера и «русскую» роту в придачу не дают. А Циммерманна и отпуском наградили. И Сиротку повысили — в холуи к Барчке. В одной с ними компании! Зато Суров и на этот раз в сторонке.

Чистенький остался.

Ну, и далеко ты забежишь, все такой вот чистенький?..

Взвод Белого подходил к зеленому, в садах поселку, который всполз на пригорок. По голосам, перекликающимся во дворах, на огородах («Пэтро, мэду хочешь?..», «Привяжи, привяжи пчолок, а то, гадовки, кусают!»), понял, что здесь мельниченковцы работают. Машины вдоль пустой улицы выстроились, шоферня, наверное, по погребам шарит, орудует, а сама рота слышна где-то за горкой. Гудит за селом, как во время молотьбы, когда в поле перемещаются деревенский гул, голоса, крики. А коров, скот уже угнали. Не знаешь, как ступить, чтобы не влезть в свежее дерьмо, не наступить, не поскользнуться. Заохали, заприплясывали «майстэры»-немцы, ищут щепочку, дергают, ломают ветки вишен, чтобы соскрести с сапог лишнее. Другие, кто попроще, просто стряхивают, дергая ногой.

— А ну, подтянись! Что задергались, как кот на дожде? Чистюли!

Глянул на Сухова. И добавил:

— Влез, так не трепыхайся!

Уходить, смываться побыстрее. Работа в разгаре, того и гляди немец какой налетит, завернет, заставит помогать. Выстрелы пока одиночные: загоняют в тот, наверное, сарай, только крыша и виднеется отсюда.

Слышно, как за спиной кого-то на воспоминания повело, и все боится, гад, что не поверят, громко убеждает:

— Романенко соврать не даст, мы с ним были, послали нас разведать. А там прошел уже батальон, не наш, говорили, что Зиглинга, так ничего не осталось от деревни, один только сруб без крыши, обгорелый. Амбар или сарай. Романенко подсадил меня, я глянул сверху — ну, не поверите! — как кочаны белые. Дожди прошли, сажу смыло, а их столько набито, что стоят, не упал никто — только головы, как капуста. Я говорю: «Романенко, глянь ты!..»

— А ну, кочан дурной, заткнись!

Уходить надо правой стороной, через поле. Сюда и улочка убегает. Чистая, не заляпанная — «майстэры» обрадуются, решат, что ради них, оберегая их сапоги, свернул сюда.

А крики, завывания, выстрелы слева за горкой становятся громче, сильнее. Уже пачками выстрелы. Не ладится, видимо, у мельниченковцев, не хотят люди добром заходить в сарай. Уже видно, как бегают там, мечутся. Сразу слышнее, громче все делается, когда глазами видишь толпу. «Майстэры» морщатся и вздыхают. Где их дом, их Германия, фюрер, а им тут надо быть — среди «иностранцев». А что, если не пожелают дальше их работу делать? Неужели не боятся, не думают? Самый старый из немцев, прихрамывающий Отто Данке машет на каждом шагу головой. Как лошадь в жару. Огорчен, в осуждение?

А может, хочет убедиться, на месте ли его кочан.

Уже вышли на картофельное поле и прошли метров сто, удаляясь от сарая и криков, винтовочных выстрелов, когда там что-то случилось. Загрохотало, застучало и понеслось к лесу эхо пулеметной и автоматной стрельбы, а по полю уже бегут — черным крылом устремились к лесу люди. Сорвались, побежали — видно, все до конца поняли и не удалось мельниченковцам затолкать их в сарай. Чего доброго теперь и взводу придется участвовать! Бронетранспортер откуда-то выкатился, густо пыля, понесся по полевой дороге, сечет из крупнокалиберного пулемета. А свои гады даже команды Белого не дожидаются: схватились за автоматы, сдергивают с плеч винтовки, уже стреляют. Поймал взгляд Сурова, и показалось, что нехороший

он, мстительный и запоминающийся: вот что твои делают, твой взвод! Суров тоже снял с плеча винтовку, куда-то высоко направил — как Белый когда-то в трубу, в цифру «1925»! — выстрелил и снова глянул на Белого. Ну-ну, поиграй, посмотрим, что дальше будет, как у тебя без Белого, без моей опеки получится!

А гадам уже весело: там впереди всех бежит высокий мужик в натальной рубахе — мишень заметная, и каждому хочется проверить свой глаз, руку, опередить своим выстрелом соседа. Даже толкают друг дружку от нетерпения. Как на том на хуторе, когда стаей шли следом за партизаном к его лошади... А у высокого мужика еще и ребенок на руках: несется к лесу, держа перед собой, высоко вскидывает колени, а трассы пуль обтекают, обгоняют его, пронизывают бегущую толпу, прореживают...

Вдруг что-то произошло, даже стрельба поутихла. Серый конь понесся по полю. Конечно же, тот самый, что забрали у партизана, а на нем Мельниченко — этот дурила и летом не снимает казацкую папаху! У Циммерманна перекупил коня, за золотые часы. Носится Мельниченко по полю, на котором снопами лежат люди, никто уже не бежит, и рослого дядьки с ребенком на руках тоже не видно. Видно только, как ползут в черное и белое одетые люди, переползают с места на место, а туда уже бегут от сарая мельниченковцы — следом за своим кавалеристом-«фюрером».

— Николай, — снова по имени обратился Суров, — немец Поль сюда катит, на бронетранспортере.

— И что?

— Как бы не погнал и нас.

— Погонит, и пойдешь! А ты что думал?

Все его Подем называют — гауптшарфюрера Тюмеля, мельниченковского шефа: все с ним запанибрата, наверное, потому, что пропойца, каких среди немцев поискать. «Пьян, как Поль» — высшая оценка в батальоне. И вечно с ним всякие истории приключаются. Однажды его чуть не украл какой-то дядька. Проезжая мимо, шибанул санями по ногам, тот и ввалился, грузный, как кабан, а дядька по коню, по коню — еле догнал и выручил дружок Мельниченко. А может, и сочинили пьяные герои!

Вон катит в своем грязно-зеленом железном гробу,

сюда устремился. Пистолетом тычет, толкает водителя в спину, как сибирский купчишка ямщика, и матерится по-русски так, что за сто метров слышно.

Крупнокалиберный снова ударил в сторону леса — вот бы залепил, залепить бы по дураку в папахе, что носится на белой лошади! Поль метнулся от водителя к пулеметчику, долбит по каске своим пистолетиком. И вот уже на Белого орет: так-разтак вас, варум ниht арбайтен, почему-распочему?..

А водитель уже развернул свой гроб позади взвода, и Поль теперь как бы гнал взвод Белого впереди себя к сараю. У Поля глаза навывкате — фюрерские, в придачу и усики себе завел фюрерские, а при его широкой красной физиономии и коротком теле фюрер получился совершенно как мясник!

Возле длинного, с провисающей соломенной крышей сарая несколько немцев и мельниченковцев стоят у подпертых задним бортом машины ворот: видимо, когда люди бросились бежать, тех, кого все же загнали в сарай, заперли таким вот способом. А один щенок стоит среди двора и палит из винтовки в поле — туда, где немцы и мельниченковцы, пьяно пошатываясь, бродят среди разбросанных по всему полю тел и стреляют в землю, добивают. Белый выхватил из-за пояса длинную гранату-колотушку и с удовольствием огрел мельниченковца по потной голове:

— Куда стреляешь, падло? Куда, спрашиваю?

Сарай с подпертыми воротами молчит, запертым людям хочется надеяться, что о них забыли, и они молчат. Только несколько плачущих детских голосов доносится из-за стен.

Немец-шофер подает из кузова бронетранспортера канистру с бензином, а Поль, бешено выкатывая фюрерские глаза, показывает, чтобы кто-нибудь из солдат Белого принял ее и облил стены. Пьяные мельниченковцы ничего не видят, не соображают, а взвод Белого тоже не приучен за других стараться. Ждут, гады, чтобы приказал шарфюрер! Там, на поле, не ждали, настроились в охотку. Но они сильно недолюбливают мельниченковцев, от которых лишь недавно отделились, и никто не спешит опередить бандеровцев, подменить, работать за них. Должен Белый приказать, чтобы приняли канистру и облили стены сарая, в котором заперты люди. На него смотрят. И Суров тоже. Вот и еще

одна Каспля, которую Белому брать на себя. Поль, тараща глаза, размахивая пистолетиком, фюрерским криком перебирает все «мать-перемать», какие только знает, помнит.

— Суров! — назвал Белый. Голос его (сам услышал) прозвучал коротким выстрелом. — Суров! — повторил, как нашел, обрадованно. И все, и конец! Давно всему конец. Да, да, ты! Не смотри, точно ослышался или оглох. Кажется, другого Сурова здесь нет!..

— Я, кажется, ясно приказал? Чего ждешь?!

С радостной злостью глядел на золотые стекла. На посеревшем лице растеклись близорукие, но разглядевшие что-то ужасное, последнее глаза Сурова. Да, да, ты не ослышался — я приказал! Не обознался — это я, Белый, перед тобой! Вот твоя Каспля, Суров. Ну, решай. Теперь ты. В кого выстрелишь прежде: в Поля, в меня? Решай порасторопнее, а то Поль лопнет скоро от крика и гнева или сам пальнет из пистолетика.

— Действуй, Суров, ручками, ножками!

В лицо краска, кровь вернулась, просто видишь, как перекачивается она по нему: из головы в ноги, из ног в руки — давай качай, решай давай, Суров! Твоя Каспля подступила. В руках оружие у тебя. Сделай, если сможешь, и за меня. Чего я не смог. Только куда тебе — с такими-то глазами, с лицом таким!..

Поль уже сосредоточил свое пьяное внимание на Сурове: на него орет, в него тычет парабеллумом. Но разлившиеся за вспотевшими стеклами суровские глаза ничего не видят, не слышат, а только Белого. Кажется, оглушен человек, заранее оглушен тем, что он сейчас сделает, — и потому делает.

Цепко схватил канистру, будто век шофером работал и точно в ней все спасение его. Но сначала поставил ее на траву, чтобы закинуть за спину винтовку. Не нужна Сурову винтовка, мешает. То-то же, такие мы, мой дорогой поп! Еще раз, последний раз на Белого глянул. И схватил канистру.

Прогнутая собственной тяжестью длинная соломенная крыша, сухие бревенчатые стены, подпертые машиной ворота прячут и удерживают тех, кому гореть. Они там смотрят в щели и уже увидели человека, бегущего с канистрой — крик навстречу Сурову, женский, детский ужас! Плеснул на сухие бревна, и они сразу сделались черными, точно обуглились. Но бензин упал

и на зеленое шинельное сукно, зачернил и его, потек по сапогам Сурова. Вот что значит без практики! Вытягивая руки, чтобы не обливаться, не измазаться, Суров побежал вдоль стены воющего сарая и все плескал на бревна, и за ним оставалась неровная, расползающаяся чернота. Она вместе с запахом бензина вползла и в сарай, потому что оттуда уже несется крик страшный, стучат, ломаются в подпертые ворота. Немец соскочил с бронетранспортера и побежал к сараю, на ходу щелкая зажигалкой. Наклонился к стенке и сразу отпрянул: бесцветное пламя нежно блеснуло и как бы пропало, но тут же рванулось вслед за Суровым. Как бы выследив, молнией метнулось к нему, поливавшему остатками бензина угол сарая. Он уронил канистру. Белому показалось, что из рукавов, из-под полы суровской шинели вырвалась, затрепетала красная тряпка. Суров побежал по полю и все пытается оторвать ее, отбросить. Машина, подпиравшая ворота, отъехала, крупнокалиберный пулемет, автоматы и винтовки бьют по сараю, пронизывая и оципывая стены, заглушая и покрывая все...

ПОСЕЛОК ЧЕТВЕРТЫЙ

*Из показаний Тупиги И. Е. в 1960 году:
«Мельниченко Иван Дмитриевич командовал ротой, ее называли у нас «украинской». Командиром роты был немец Поль, но назывались «мельниченковцы». А Мельниченко откуда-то из-под Киева, он грамотный был, он и раньше лейтенантом был. Черный, как цыган. В общем пустой человек, с коня не слезал и вечно пьяный. И все мельниченковцы такие, вот и в Нивках — сразу кинулись по сундукам да погребам. Мы бы всех партизан припутали, если бы не эти мародеры. Один Мелешка молодец, не растерялся, установил пулемет и... Я про то, что никакой дисциплины, одна самогонка и грабеж. Потом, в конце войны, он и еще сколько-то убежали в лес...»*

Пьяный, «как Поль», Мельниченко носился по огородам, среди побитых, пострелянных его ротой жителей. «Диты мои! Соколики!» — фразы, обрывки из какого-то кино, или песни, или самим придуманные ко-

пошились в памяти, на языке. Он — батька, атаман на коне-звере, а кругом басурмане, и он кличет свое войско на геройство и смерть. А сам с поднятой плетью налегает на своих мельниченковцев, замахивается в воинственном гневе, но при этом помнит, что и «майстэры» бродят по полю и заняты тем же — пристреливают, и что даже командир, если он не немец, не имеет права их пальцем тронуть. Зато своих достает плетью с удовольствием: «Не журишь, казачура!», а они удивленно охают, скалятся, как улыбающиеся волки, и выкрикивают что-то вслед. А он все кличет: «Диты! Соколики! Мельниченко завжды с вами!»

Конь под ним — картинка, дорогой конь. («Сволочь, Циммерманн, такой годинник, золотой весь, увез в свою Германию!») Но этот зверь прежде носил на себе партизана — Мельниченко не забыл, не простил. Хлещет его плетью со вкусом.

— Вовче мясо, ты у меня потанцуешь! Бандюга!

Лупит, сечет плетью коня, достает и своих пьянчуг, носится меж трупов (бабы и дети больше кучками лежат, они будто сползаются друг к дружке), конь всей кожей дергается, ногами перебирает по воздуху, когда вот-вот наступит на тело, бросает желтую пену, дико косит глазом.

— Ах ты, банда, будешь як миленький! Я навчу под Мельниченко ходиты! Узнаете, кто такой Мельниченко!

Даже штурмфюрер Муравьев не был в Германии, а Иван Мельниченко был, посылали. Поль брал его в Фатерлянд — показать немцам-родителям своего спасителя: не окажись его тогда рядом, уволокли бы Поля, как барана, бандиты.

Да, было что порассказать, когда вернулись из Германии. Хотя бы про Лейпциг, немецкий город. Оказывается, это немцы Наполеона разгромили, а не под Москвой. И тут набрехали москали. Есть памятник в Лейпциге — специально по этому случаю. Каменная громадина, похожая на домну. Зенитки наверху кажутся спичками — такая высота. И как раз начали палить по американцам, плавающим над тучами. Эхо, как в громадной бочке, перекатывалось. Ревела каменная домна, как медведь.

Мельниченко спас немецкого офицера, и семья захотела повидать, поблагодарить его. Этот Поль мало

на немца похож. Того и гляди влипнет спьяна куда-нибудь. На минутку отвернулся и не понимает: куда Поля девался? Сани деревенские удаляются, дядька в желтом кожухе нахлестывает коня, оглядывается, злодуга, а на санях кто-то ногами по воздуху бьет... Мельниченко стал палить из автомата, побежал, крича, следом; бандит и столкнул Поля, отпустил. А Муравьев по-своему перевернул: шатаются, мол, пьяненькие неизвестно где, сами падают в чужие сани. И пошли всякие анекдоты: дескать, бросило в сторону по льду полозья и стукнуло Поля под коленки, он и завалился, а дядька гнал коня с перепугу, пока не потерял немца. Муравьев в кутузку засадил Мельниченко. На Поля, на немца руки коротки, так он — Мельниченко. Вот была физиономия у Муравьева, когда пришло письмо от родителей Поля с просьбой разрешить их сыну привезти в отпуск «того русского, который, жертвуя жизнью, спас германского солдата», их единственного сына. Вот так-то, штурмфюрер Муравьев-Хильченко! Приклеил к кацапской фамилии какого-то «Хильченко» и считает, что теперь ему можно командовать и «украинской» ротой. А немцы никак его не раскусят. Мельниченко уже сражался с бандами, когда этот «штурмфюрер» в Бобруйском лагере вшей кормил, еще и сам не догадывался, не помнил, что он — «Хильченко». А Мельниченко в числе первых пошел против Советов, жидов и москалей. Знал Бандеру, знал Войновского, был в Косове, когда они только начинали формировать первую «украинскую дивизию». Правда, далеко это не пошло — с дивизиями. Немцы вдруг увезли руководителей в Берлин, а дивизию раскрошили на роты, взводы и разбросали кого куда. Взвод Мельниченко попал в Белоруссию, его нарастили до роты, — это когда уже появился Дирлевангер. Ядро — «галицийцы», а еще два взвода из военнопленных — «восточники». «Западники» тверже, идейнее, послушнее, но темные, как бутылка пивная, многие и расписаться не умеют. Со своими, с «восточниками», больше мороки и всяких неприятностей (с Горбатого моста эти сбежали!), но зато они не святоши и не куркули. Те дисциплинированнее: навтыяжку и глазами ест. Но готовы слопать и взаправду. На рожах написано: «Все вы тут — москали, бога продали!» И попа, еще косовского, таскают за собой везде. Хоть бы бандиты его утащили, как Поля

пытались. Окрестили Мельниченко с его конем «Суворовым» — знают, куркули, чем позлить!

Со своими проще, но тоже хватает забот. Дисциплину с них и не спрашивай. Будто колхоз им тут. А с Мельниченко немцы спрашивают. Муравьев только и дожидается, ловит случай, чтобы в глазах немцев унижить.

А, вот он где лежит, тот дядька, что бежал первый! Ноги-руки раскинул, и нет ему дела до того, что спугнул деревню, своим криком дурным погнал на поле: «Бабы, гореть будете!» Набегался, лежишь теперь! И пацан его здесь, в борозду откатился: поджал голые коленки к тому месту, раскровяненному, где у него подбородочек был... Бывало, задремлешь вот так на жнивье, пахнущем теплой пылью, проснешься от холодных, как бы чужих ног, а тебя уже ищут, за вишнями матери голос: «Иванку, сынку, дэ тэбэ носыть, бовдура!»

— Куда пятишься, бовдура, куда, я спрашиваю? Я тебя навчу родину любить!

Уже пена кровавая слетает с оскаленных конских зубов, с удил, раздирающих храпу, но конь все уходит в сторону, чуть не по воздуху ногами сучит, чтобы не наступить... Наразбрасывали пацанов по всему полю! Плетью погнал коня к березняку. Надо снять оцепление. Нечего им прохлаждаться, пусть идут к сараю — кончать дело. Мог бы послать кого другого, но ему надо куда-то скакать, кому-то что-то кричать — такой у него настрой. Оглянулся несколько раз на сарай: кто это там? Чьи? Не подослал ли помощничков Муравьев — специально чтобы показать, что мельниченковцы не справляются? Ничего, придет и на Муравьева капут, неважно, что штурмфюрер. Сколько веревочке ни виться... Мельниченко захохотал. Представил Муравьева делающим трусливые шажки к поджидающей среди плаца «вдове». Громко захохотал среди поля, даже пьянчуги за своими выстрелами услышали, удивленно оглядываются — что это с их командиром?

Вот бы заманить штурмфюрера Муравьева «в партизаны». Как тех дурачков, которых специальные «связные» по цепочке переправили из Могилева в деревню, а там их поджидало СД: сюда, сюда, соколки!

Это ж надо, забрал из роты Мельниченко целый взвод, чтобы сколотить кацапскую роту. Этих немцев уже не поймешь. Сначала было понятно, а теперь и черт

не разберет. Вот бы и Муравьева так — по цепочке и в лапы СД: это ты не давал жить честным патриотам?

До поездки в Германию многое мог стерпеть Мельниченко, а теперь дудки, Муравьеву придется поубрать свои лапы, если не хочет, чтобы ему их оторвали. Большое к себе уважение привез из Германии гауптшарфюрер Мельниченко. Но и смущение некоторое. Сидит оно в душе и памяти, как заноза. Но про это не расскажешь, как про лейпцигский памятник.

Добирались до Германии поездом долго, как на край света. Впервые ощутил по-настоящему, сколько у этих немцев врагов, — и не только в России. Такое было чувство, что не в тыл, а от фронта к фронту едешь. Поезда не идут, а ползут, бандиты прямо за колеса хватают. Уже за Бобруйском, проехали какой-то Ясень, и паровоз вспорол себе брюхо о мину. Пока до Минска доползли, дважды обстреливали. Немцы вынуждены вырубать леса вдоль дорог. Дым по всему пути, военнопленных и жителей гоняют лес валить. Но партизаны могут и вот так: возле Барановичей подстрелили паровоз из противотанкового ружья, издали. Как куропатку. Паром окутался и стал. Где тут паровозов, вагонов набраться! Еще спасение, что захватили их в первые недели войны так много.

В Польше поехали быстрее вроде бы, но тут же голова поезда свалилась под откос. Полмира у них в руках, а всякий может по ногам их лупить из-за куста. Жгут, палят этих белорусов, этих поляков, а они своего не кидают. Сами не живут и другим не дают!

Только Польш, очумевший от шнапса, ничего не замечал. Остановка среди леса, рельсы бандиты утопили в болоте, а он рвется «на вокзал», чего-нибудь прикупить. И все тычет пальцем за окно: райх! орднунг!

Слово «орднунг» Мельниченко слышал по всей Германии, у них это как «хай живе»! Порядок, что и казати, во всем. Даже устаешь от него. Только среди развалин и чувствовал себя человеком. И уже радовался воздушным тревогам: ничего, побегайте, и вам не помешает!

Первые дни гостевания в Лейпциге, пока был шнапс в привезенной канистре, проходили в каком-то желтом тумане, из которого выплывала то белая огромная прическа, голова «муттер», то красный и широкий, как плотницкий карандаш, рот невесты Поля. Орднунг в до-

ме (двухэтажном, с внутренними лестницами, лесенками) держался на «муттер», на ее тихом ровном голосе. Рядом с нею и лысенький батька Поля и грузный Поль, оба излишне болтливые, суетливые, ходили, в лучшем случае, на «фольксдойчей». «Муттер» со своей огромной белой прической высилась над всем и всеми: зенитки можно устанавливать, как на том памятнике-«домне».

Работала у них украинка Оксана. Ко всему еще — с ридной Николаевщины, совсем землячка. Кость широкая, деревенская, но лицо исхудавшее, бледное, и только глаза молодые, темные, как вишня украинская. Ну, немцы, ну, сильны, не зря говорят, что они обезьяну выдумали! Это ж надо, человек из одного только трепета перед взглядом и тихим голосом хозяйки не дотронется до пищи, голодает, как в лагере, хотя целыми днями жарит-варит!

Оксана очень поразились, что ее земляка не привезли, что он в гости в Германию приехал. Никак это не могло в ее деревенской голове вместиться. Мундира эсэсовского словно и не замечала — так подействовал на нее сам голос земляка Мельниченко. Конечно же, наведаясь в чуланчик под лестницей, куда Оксану на ночь запирали. Замкнут в конуру и ключ повесят возле уборной. Отомкнул и, не закрывая дверь, чтобы доставал свет из уборной, вошел, сел на ее ящик-кровать. Испуганно и жалко ему улыбнулась, закрывшись какой-то тряпкой. Но не давалась яростно, как они это умеют — деревенские, не произносила ни слова в ответ на его: «дура!», «для немцев бережешь!» Но когда отступался и брал ее руку, она не выдергивала и даже отвечала пожатиями. Ушел обессиленный и мокрый — от ее слез. И так было еще две ночи. Плакать начинала потом, когда он оставлял ее в покое и только ругал ее «дурой» и «немецкой шлюхой!». Даже грозился, что пожалуется фрау и Оксану отправят в лагерь. А она слушает и плачет, но как-то непонятно все у нее. Пока не догадался, что не его самого, а речь украинскую слушает, и это она заставляет Оксану и улыбаться, и плакать, и даже пальцы ему робко пожимать. Понял, как с дурой этой надо себя вести. Стал жаловаться на ненавистную, вынужденную службу у немцев, вспоминать Николаевщину, Киев, батьку и мать, школу, даже пионерское свое детство. Все, что

и у нее когда-то было. Туманно намекал, что не ради немцев он напялил эсэсовский мундир. Она хватала его за руки, заставляя замолчать: тут и моль подслушивает! А он уже и сам почти верил, что вот только заедет домой, предупредит, спрячет стариков, а дальше начнется то самое... Он им всем покажет: и Муравьеву и Дирлевангеру! Оксане пообещал, что навещается к ее няньке, передаст матери весточку. Оксана плакала и беззвучно смеялась, сделалась послушной, ласковой, и все пошло, как надо. Все они, дуры, одинаковы, что дома, что в Германии. А все равно здорово получилось: приехал в Фатерлянд, а там тебе приготовили целенькую украиночку! Ордунг!.. До немки, даже если бы можно было, Мельниченко и не дотронулся бы. Что Эльза — Полева невеста, что другие: птичьи ножки, птичьи носики! Нет, машины в этом Фатерлянде все-таки самое лучшее.

Про своего командира Поля узнал все, чего не знал прежде. Оказывается, попал он в батальон прямо из концлагеря, что-то вроде урки немецкого. Узнал и еще нечто, над чем посмеивались в доме, но прямо не говорили. Да, при таких невестах чего только в башку не полезет. Обнимешь — плакать хочется. И на козу начнешь посматривать! А вот фюрер действительно не дурак. Сообразил, кто в Германии главный элемент. Скажи такой с птичьими ножками и клювиком, что она лучше всех на свете — пойдет за тобой в огонь и воду. Фюрер и старается: что германки самые-самые, а все другие — недобабы и все такое! Будь немки красивше, не было бы и немецких побед на фронте. Мельниченко в этом уверен. На них, таких вот, все и держится. Зенитки можно на голове устанавливать!

Вытащил Поля из концлагеря Дирлевангер, они дружки давние, еще по учебе, хотя Дирлевангер годами побогаче. Его фотография наклеена на второй странице семейного альбома Тюммелей (на первой — фюрер). Впервые Дирлевангера увидел на снимке: высокие залысины, ввалившиеся щеки, глубокие провалы глаз. Похож и не похож на себя самого — как черный череп на белый. Поля привез в семью новые фотографии, муттер угощала ими соседей, гостей. Ахи, охи, ужас, смех: какие страшные, злые эти «русские»! Даже когда уже не опасны, лежат или висят. Особенно женщины, женщины особенно! А н а ш и м с ы н о в ь-

ям приходится жить там среди них. И дети наши, смотрите, даже улыбаются!..

Часть этих ахов, охов перепадала и Мельниченко. (Он уже почти понимал по-немецки, будто вода из ушей вылилась и стал слышать.) О, этот русский гость, бедняга. Он так предан Полю, так поражен, просто порабощен его храбростью и честностью, жизнью рисковал ради Поля, когда бандиты выследили, похитили его!..

Фотографии, которые Поль не оставил дома, Мельниченко выкрал у него в поезде и выбросил через туалет на рельсы. Чего доброго и киевской «муттер» стал бы показывать.

Невеста Поля чуть в обморок не падала от тех снимков. Поль хохотал, хватал ее за худые коленки, а она старается, она падает. Но ни разу не упала. С такой прической-абажуром падать в обморок удобно лишь стоя или сидя. Она, гадина, сразу учуяла, что гость жалеет Поля, у которого такая невеста. И возненавидела Мельниченко. Откровенно, опасно. Когда рассказывала, как подружки ее писали фюреру и предлагали себя на одну ночь, на первую ночь, и сама при этом раздумянилась, засветилась, даже похорошела, Мельниченко неосторожно хрюкнул от смеха. Представил, сколько их, фюреровых невест, и беднягу Адольфа за такой свехурочной безрадостной работой. В комнату будто покойника внесли: все усталились на гостя. Мельниченко показал на играющих в углу котят, чтобы невинно объяснить свой смешок. Эльза быстро-быстро залопотала, злобно поглядывая на него. Но Поль только рукой махнул.

Ко многому Мельниченко привыкнуть не мог в доме Тюммелей. К тому, например, что Поль и дома, в семье, такая же свинья, каким привык видеть его в Белоруссии. Сам он, Мельниченко, не смог бы матери показаться таким, каким стал в батальоне. Как-то зашел на кухню, к Оксане, она кролика потрошит, муттер что-то пересыпает из коробочки в коробочку, а Поль стоит над кухонной раковиной, откинувшись, и мочится, разговаривая с матерью. У них и не такое возможно. Поль за обедом подложил Эльзе нечто в тарелку, гости захохотали, а у Мельниченко глаза на лоб полезли. Не сразу и сообразил, что дерьмо не настоящее, не

человеческое. Из резины, фабричное. Кто-то специально делал, отливал веночек, да так аккуратно, похоже!

Ну, а Эльзу при всех хватать за ляжки и приглашать Мельниченко сделать то же самое и в чем-то убедиться (что мослы да жилы?) — это каждую минуту происходило, а сама невеста только обиделась на гостя, что он ни разу не воспользовался разрешением. Почуяла, гадина, что не из-за скромности или уважения.

— Иван либт унс ниخت!

И с какой угрозой сказала это: «Иван нас не любит!» Нет, не на моторах и стали, на немецких бабах Гитлер держится и побеждает, никто не переубедит Мельниченко!

Перед самым отъездом Поль вдруг пришел в клетушку под лестницей. Сел на ящик-кровать, пьяно оттолкнул Мельниченко. Оксана вскочила, прижалась к стенке, прячась за Мельниченко. А тот стряхнул ее, как кошку: «Не убудет тебя!» — и ушел.

Назавтра Оксана подавала завтрак вся в синяках, а у Поля на шее, на лбу белел пластырь. Муттер молчала, как грозовая туча. Появилась невеста, удивилась, муттер ей все объяснила. Эльза заплакала и выскочила в другую комнату. Но тут же вбежала. Ну, ключья полетят с Поля! А она на Оксану налетела и щипать, бить! И выкрикивала, что та сдохнет в лагере.

В Киев въезжал с волнением. Родители знали, что их Иван в немецкой армии. Для тех, кто в немецких формированиях служит, почта работает, и Мельниченко даже от стариков весточку получил: живут, где жили, старший брат и младший неизвестно где сейчас... Братья, видно, не сообразили вовремя, что рухнуло все, позволили затащить себя к Москве — если, конечно, целы. Да, была жизнь и поменялась: как рубли на марки. Уже и не верится, что бумажки деньгами казались. Что с того, что и верили, и песни пели. Как-то умели все забывать. Зато теперь Мельниченко все помнит. А голодуху особенно, когда скот весь перерезали, а люди высохли, как выгоревший на полях подсолнечник. Пьяненький батяка, пристроившийся дворником в Киеве, бывало, вспоминал Николаевщину и свою должность «головы колгоспу».

Одну и ту же историю много раз пересказывал на разные голоса, будто сам не веря, и всякий раз удивлял-

ся своей простоте и глупости — как он под конец спросил прокурора: «А вы, може, и правду не знаете?»

«Почему люди не работают? Будешь за это отвечать!» — «Так опухли вси, помирають». — «Как, почему помирают? Будешь отвечать!» — «Так голод же. Навкруги. Та и у вас тут лежать. На вулицях. Все вымокло, а потом высохло. Ни зерня, спориш тилько и застався. А запасы, яки теперь запасы у людей!» — «Опять за свое! Будешь отвечать!»

Батька до двери уже добрался, но не выдержал, вернулся и — шепотом начальству: «А вы, може, и правду не знаете?»

Как же, не знали! Все знали. Но так умели, так научились ничего не видеть, не помнить! По себе знает Мельниченко.

Как встретят его старики, старался не думать: радовался, и только. Увидит снова их, свой домишко, накрытый кусками толя поверх побитой черепицы, садик, сползающий к Днепру. Войдет в жалкую халупу и выложит из большого, красивого чемодана подарки. Почти все из Белоруссии, только чемодан немецкий, и это хорошо, что такой он немецкий. Как бы из Германии подарки. И марок привез, хотя пришлось их располовинить: в Германии гость хорош, если за угощение платит. Пошел с Полем и положил на сберкнижку Тюммелей пять сотен. Эльза даже поцеловала на прощание. Губы у нее оказались теплые.

Киев после Германии поразил не развалинами и пожарищами (этого и в Германии насмотрелся, не говоря уже о Белоруссии и Польше), а безлюдьем. Казалось, что одни немцы да полицаи заселили город, их только и видишь и слышишь. Неужто правду говорила Оксана, что всех, кто с руками и ногами, вывозят? Совсем оголеет земля: то мор голодный, то вот это!

Но все равно это Киев, золотой, голубонебый. И куда ни глянь — Днепр! Пилотку сунул в рюкзак! Какой дурак придумал эти черепа с костями?

Нет, они не скажут ему ничего, батька с маткой — тихие они, только пощечнутся. Старший брат в глаза их «старосветскими помещиками» обзывал. «Вас еще Гоголь раскритиковал! Ну чего вы сидите всю ночь у окна? Кому нужен батька наш? Берут врагов, а не кого попало».

Мельниченко с Полем пешком добрались до киев-

ской окраины, матеря здешние порядки. Мати с глиняной миской стояла на пороге, три курицы толклись у ее босых ног. Она с беспокойством смотрела на двух немцев, которые задержались у калитки. Испугалась по-настоящему, когда в одном признала сына.

— Батька, батька! — закричала громко и обидно. Будто на помощь кликала. А тот выскочил из сарайчика — худющий, с обвислыми усами, без очков (спал), ничего не понимает.

— Що ему трэба? — спросил он. — Нэси там яйки, чи шо! А то курэй похваляют.

Сын сказал:

— Добры дэнь, мамо.

Подошел и привлек ее растрепанную голову, прижал к мундиру, чтобы не пялилась на него так. Но мать мягко его оттолкнула и сама взяла, боязливо притянула его обнаженную голову. И заплакала.

А Поль стоит напротив, распаренный жарой и шнапсом, широко улыбается — и черепа на его рукаве, на пилотке скалятся. («Нашли, черти, чем играть!») Совсем напугал старуху, когда схватил ее руку, все еще зажимающую сырой куриный корм, и неожиданно поцеловал.

А батька и того хуже! Совсем бабой сделался. Повернулся и побежал в халупу. Оказалось, за очками. Так и не поцеловались. И потом все косился, все не мог привыкнуть к мундиру. А сам про то все, что кого-то забрали, а еще повесили, и еще увезли в Немечину. Забыл старый хрен, как ночей не спал, сидел у окна, дрожал — про то, небось, начисто забыл!

— Усэ ж нэ чужие, свои.

— Сыскали «своих»! Тем хуже, когда свои. И что немцам делать? Вы бы посмотрели, сколько всюду бандитов.

На это батька — пока пьяный Поль спал — обрадованно взялся шептать про партизан и про то, как дрожат немцы. Прямо на Крещатике застрелили двух офицеров. Немецкую столовую взорвали. И кинотеатр, клуб. А в селах что делается! Везде партизаны!

— Яки цэ партызаны? Сталинские бандиты! Вы бы побывали в Белоруссии...

Но что там, рассказывать не хотелось. А батька все гудел, что Украину вывезут, семени не оставят — ни людского, ни пшеничного.

— Нас богато, — отбивался сын, — хоть свет посмотрят, працувати немцы научат.

Будто и не слышит, хрыч старый, расспрашивает, правда ли, что в лесном краю, на Черниговщине, людей живьем палят, целыми деревнями...

А мати про то, как убивали евреев, — еще прошлым летом. Гнали по улицам, а их столько: «Як ти дэмонстранты!» А одна женщина-еврейка забросила в огород ребеночка.

— И таке тямуще, так все разумило! Лежит, хотя и вдарылось, не плачэ. Я поклыккала: «Сюды бежи, дитятко!»

Мельниченко аж похолодел: прячут, этого еще не хватало! Нет, умерла, мати и число помнит. Тиф привязался, но никому сказать нельзя было: подопрут хату и спалят вместе с больными!

— Дезинфекция така у вас! — буркнул батька.

Стал злиться и сын, кричать про то, как до войны было, и про евреев все, что сам батька, бывало, говорил, когда с дружками выпивал. Нет, все забыл! Талдычит свое:

— И нэ кажи! По всёму выдно, що евреи им на один зуб. На евреях тильки расчинять, замисять, як на дрожжах, а з нас спечуть. На уголь зроблять. Як з тых, што на Черниговщине. И в Белоруссии. Думаешь, мы ничего не знаемо, не чулы!

Совсем разбрехался старый, рад, что сын его не какой-нибудь «Павлик», не побежит в комендатуру. Ходили туда с Полем, но для того, чтобы обрадовать стариков, переселить в хороший дом. Все-таки не у каждого здесь сын — гауптшарфюрер СС!

А за это сын получил последнюю порцию обиды. Тут уже что-то сделалось с матерью. Закричала, залилась злыми слезами — будто на ту самую «немецкую каторгу» сын их гонит.

— Ни-ни! Хочь рижь — не пидем!

И видно было, что, только связав их, можно переселить в еврейскую квартиру.

— Ничого нам не трэба! За що, господи, за що!

А когда уже прощались — все эти разговоры велись, конечно, когда Польш спал пьяный или уходил куда, — батька вдруг выпалил:

— Нэхай тэбэ нимци краще убьють, сыну, нэхай лучше вони! Чым свои, так краще нимци.

А матери тут же стояла и плакала, и видно было, что согласна, что давно про это шептались они. Сговорились, как дети.

— «Краще!» «Свои!» Какие «свои»? Породнились!

— Ты, сыну, дослухай. Нам все одно плакать. То краще — хай нимци.

— Забыли все! Мало вам було Сталина, мало с голоду сдыхал, дрожал? Забыли!

Но что им объяснишь, если они тебя живого хоронят! Чешут, как по бандитской листовке...

— Ну ты, бандюга! — Мельниченко хлестанул коня, который сбился с ноги. — И ты еще!

Из кустов вышел навстречу усатый шарфюрер, Мельниченко крикнул ему, чтобы вел взвод к сараю, немедленно! И помчался туда сам, стороной, краем поля, где не мешают убитые, не пугают коня. А возле сарая уже пальба, и дым встал, уже подожгли. Поль распоряжается там. Но солдат стало намного больше. Кто такие? Может, и правда, вмешался Муравьев. Подскакал, и первый, кого увидел, — Белый! Тот самый москаль, которого Муравьев тащит в гауптшарфюреры. Который целый взвод увел от Мельниченко. И он набрался наглости прийти помогать, распоряжается тут...

— Кто звал? Кто прислал?

Ах ты! Он даже не смотрит! Мельниченко привычно поднял плеть, еще не думая, что ударит. Поднятая рука аж заныла сладко от ожидания, как он его сейчас охлестнет, с потягом, по-казацки. Достал! И красный, горячий рубец вспыхнул на щеке Белого!

Пока конь, бандитская морда, плясал, отступая от пламени, выбросившего черный дым, Мельниченко потерял глазами своего врага, а когда снова к нему повернулся, у того в вытянутой руке уже чернел пистолет. Что он хочет делать, боже? Что это он! Как это может быть? Это он выстрелил в меня? В руку удар! В бок! В меня, боже?.. Боли нет, только немота и ожидание нового удара, и ужас, и неверие, что это происходит. Со мной происходит! Ну, ось, мамо, ось хотила ты! Вы хотилы того! Як хотилы, так и выйшло, сын ваш помер... Як вы хотилы... Вы хотилы!..

Белый вгонял пулю за пулей в своего недавнего командира — будто все в нем собралось! — всю обойму разрядил, пока тот клонился, падал с коня. В общей

пальбе, криках, треске черного пожара никто, и Белый тоже, не услышал выстрела, которым бородач-«западник» в упор свалил Белого.

Из стального кузова бронетранспортера бил по сараю из вздрагивающего, но почему-то онемевшего пулемета Поль — это еще увидел Мельниченко...

Из документов известно, что Иван Мельниченко лежал в немецком госпитале почти полгода, а когда вернулся в батальон, вместо роты получил взвод — ротой командовал уже другой гауптшарфюрер. В 1944 году увел двадцать человек в лес — когда уже фронт подходил. Из партизанского отряда тут же убежал, скрывался в Карелии. Затем перебрался в Киев. Прятался на чердаке своего дома. Пришел уполномоченный с понятиями делать обыск, полез на чердак — Мельниченко выстрелил в него и убежал. Жил в балках, выходил на дороги и забирал, что у кого было съестного. Набрела на него спящего женщина с козой (Надя Федоренко), он выдал себя за дезертира. Много раз приводила козу, доила в балке, приносила хлеб. Через нее переправил властям письмо-обращение: «Я виноват, ловите меня. Родители за детей не отвечают!» Сочинил автобиографию и тоже переслал. Очень чувствительно описал, как весь мир перед ним виноват за все, что он, Мельниченко, делал, приходилось ему делать. Очень поверил в силу своей логики, правды и сам явился в НКВД — следом за письмом. Из поезда, когда его перевозили, удрал. Еще месяц жил, двигаясь по направлению к лесным краям. Был убит в Белоруссии.

ПОСЕЛОК ПЕРВЫЙ.

11 ЧАСОВ 53 МИНУТЫ

ПО БЕРЛИНСКОМУ ВРЕМЕНИ

Гриша сорвал черную тряпку и смотрится в зеркало. Я так и знала: там зеркало, и ничего больше! А что еще может быть? Почему я все думаю, жду, что вот-вот страшное должно открыться? Он смотрит, смеется, зовет меня. Почему он смеется: ведь это она, та женщина, я так и знала! Та самая... Ползет по снегу, поднимается на колени, упадет и ползет, разбрасывая пятна крови. Ничего не может выговорить, рот у нее разбит,

разорван, лицо заплыло кровью. Что-то написать на снегу пытается, пятнает его кровью, вскидывает красную руку, показывает туда, куда уводит ее глубокий след, откуда прибежала...

ПОСЕЛОК ПЯТЫЙ

Из показаний Муравьева Р. А. (1971 год):

«Август Барчке был фольксдойч, из местных немцев, командовал ротой местных полицаев. Ядром роты Барчке стал кличевский гарнизон, которым он прежде командовал и который убежал от партизан в Могилев, был разогнан ими. Как я уже сказал, Барчке был фольксдойч, невысокий такой, толстоват и в очках, возраст — лет сорок, не более...»

Август Барчке, или, как называют его полицаи — Барчик, страдал. Его постоянно мучил стыд, постоянно. Стыдом одержим человек, как другие постоянным насморком. Непреходящее это чувство в нем — смущение, стыд перед Германией, которая пришла как бы специально ради него в Кличев, в Могилев. Вот и сюда, в Борки. И теперь видит его среди тех, с кем он жил, кем командует, а с ними только стыда наберешься, конфуз на каждом шагу. Обязательно не так все сделают или вовсе ничего не сделают, не выполнят, нарушат. Не знаешь, от кого больше зла, беспокойства: от тех, кто в сарае, не хотят выходить, не слушаются, или от своих полицаев, которые все не так, все по-дурному, по-пьяному!.. Не кончили, второй, самый опасный, «мужской» сарай еще не очистили, а многие уже смылись, побежали к ульям — «пчелок бомбить», как это у них по-дурному называется. Барчке бросился за ними — гнать, лупить, и его же искусали пчелы. Щека как деревянная, губы вывернуло, сделались, как у деревенского дурачка, глаза не видят... Теперь похихикивают со стороны. Нашли себе забаву, только бы не работать. А тут, как нарочно, штурмбанфюрер нагрнулся, стоит там у песочного карьера, куда мужиков гоняют стрелять.

Таким его и увидел Тупига — своего гауптшарфюрера. Как очки еще держатся! Носик провалился, пальцами не вытащишь из распухших, глянцево-красных

щек. Медку попробовал, господин Барчик? На здоровьице!

— По вашему приказанию явился, господин гауп...

— Тебе во сколько было приказано? А ну иди к яме!

Туда, к яме, выстроены две шеренги немцев, по этому коридору и водят из сарая. Немецкая рота работает, а Барчик в придачу. Его люди заняты амбаром, доставкой «снопов» к яме. Нет, не амбар, скорее мастерская тут была, ремонтная, наверное. Шестерни, железки валяются в вытопанной траве, стены в мазутных пятнах, кривые надписи: «Не курить», «Курить только свои» и какой-то «Федя» — два раза. Тупига постучал носком сапога по ржавому колесу, ковырнул торчащий из земли кусок приводного ремня. Вот таким когда-то свернуло шею Тупиге: почти беззвучно ремень лопнул, когда он наклонился к мотору, обожгло под ухом, взвилась черная змея перед глазами и стало темно-темно и затошнило... А Барчик, когда в Кличеве работал, тоже с ключами и в мазуте бегал, отличался от всех лишь тем, что носил деревянную обувь — трепы. Оказывается, это немецкое слово: трепы. Цок-цок-цок! — шустренький, старательный, а чтобы выпить, даже в праздник — ни-ни-ни! Потом стал начальником районной полиции. Когда пугнули, когда с печи всех полицейских кличевских согнали партизаны, был уже в сапогах. В трепях своих не удрал бы. А Тупига не дурак, он заранее перебрался из Кличева в большой город, в Могилев, в настоящую полицию. Ни печи, ни стен у него никогда не было — не цеплялся до последнего, как эти куркули. Вот улепетывали!

Огонь уже долизывает дома, заборы, сараи. А пылало, наверное, сильно: каски, пилотки, спины, мундиры немцев и полицейских — все как мукой посыпано. Там, где карьер, яма, ахнул залп, прострочил автомат. А возле мастерской мечется Барчик с гранатой-колотушкой, лупит ею своих работничков по спинам, загоняет в приоткрытые ворота, чтобы они вытаскивали мужиков — следующую партию. Другие полицаи подпирают ворота, держат, чтобы не ломанули изнутри. Держи, держи, так ты и удержишь, если они надумают там! А они что-то задумали, потому что над проломанной крышей торчит высунувшаяся голова парня, наверное, подняли мужички и держат, чтобы он им рассказывал, что делается и как все снаружи. Тупига встретился с гла-

зами парня и даже подмигнул ему: давай, я вижу, но это не мое дело! Барчик бегаёт, суетится, а что над головой у него, не замечает. Пусть, даже интересно, если что произойдет! Как раз и пригодится пулемет Тупиги. У парня шея длинная, как у черепахи, он все смотрит — оторваться не может! — в ту сторону, куда гоняют мужиков, где яма...

А из ворот уже вышли двое, еще одного выбросили, следом вытолкнули еще троих. Молодой бородач вышел — похоже, что сам, громко сказал:

— Пойдем, дядьки, раз люди так просят. Что там высидишь!

И даже Барчика пожалел:

— Кто ж гэта цябе так отдела? Пчолки? Яны у нас сердитые. А ты и не знал?..

Ух, как взвыл гауптшарфюрер, как поперли, колотят, погна́ли всю семерку по немецкому коридору — почти бегом!

А Барчик уже пищит сорванным голоском:

— Выводи следующих! Выходи добром, а то гранату кину! Сейчас кину!

Тупига вдоль немецкого коридора пошел по направлению к ямам, к выстрелам. Ямы желтеют старым, сухим песком, истоптанным и в смолистых пятнах — не мазут, кровь. Но убитых не видно, они где-то внизу. А наверху, над карьером, стоят семеро с винтовками, дожидаются следующей партии. И смотрят кто вниз, а кто по коридору, откуда гоняют. А в сторонке — он, штурмбанфюрер! Стоит один, никого рядом. Тонкие, в высоких сапогах ноги Доливана узнал раньше, чем серое, с черными усиками лицо.

Даже спина зачесалась у Тупиги: мог налететь прямо на Доливана!

И тут появился в немецком коридоре Барчик: он и еще двое полицейских гонят следующую семерку, а шеренги немцев помогают, прикладами проталкивают мужиков вперед, к яме... Ну, ну, еще Доливан твою рожу не видел, покажись, господин Барчик!

Чуть не плачет гауптшарфюрер, голосишко у него совсем пропал:

— Пошел, кому говорят! Туда — и ложись! Туда — и ложись!

Зачем-то и сам за ними побежал вниз, в яму, за-

скользил по песку и крови, упал и кричит лежа: «Туда — и ложись!»

На него заорали сверху, что не то делает: мужички должны стоять, пока в них будут стрелять. Тогда стал хватать их и поднимать, ставить на ноги, а руки красные, как у гуся лапы. Уже не может разобрать, кто живой в этой яме, а кого застрелили, наклоняется и хватается всех подряд, пытается поднять, поставить на ноги и мертвых... Совсем одурел под взглядом Доливана. А тот стоит и, похоже, ничему не удивляется. Кто-то засмеялся — он глянул туда, и снова стало слышно, как догорает деревня и копошится в яме Барчик.

Что такое? Не семеро, а одиннадцать стоят! Барчик не понимает, отчего наверху забеспокоились, зашептались. Молодой немец-обершарфюрер, который командует расстрелом, побежал вдоль строя, неся перед собой кулак и ругаясь «ферфлюхтером». Не понимаете, в чем дело? Попросите, Тупига вам объяснит: затесался и среди вас сачок или француз! Немецкий, собственный. Палит в белый свет, как в копейку. Только бы не попасть.

И Барчик наконец тоже понял. Он чуть не заплакал по-настоящему. От стыда. Уже за немцев. Стал выбираться из ямы и от волнения не может: песок плывет, ползет под ногами...

Рассыпанно ударили два залпа, один за одним. И снова в яме все лежат. Только Барчик, наклонившись, стоит, пережидая пальбу.

Вдруг послышалось снизу, из ямы:

— Болит! Немец, добей!..

Барчик испуганно повернулся к яме:

— Ты где? Подними там руку!

— Болит...

— Руку, руку покажи!..

Над трупами слабо, как живой дымок, заколыхалась тонкая обнаженная рука. И все, кто стоял наверху, начали яростно палить вниз, бить в яму...

ПОСЕЛОК ШЕСТОЙ

Муравьев Ростислав Александрович.

Родился 15 октября 1918 г. в поселке Игрэн Днепропетровской области, русский, беспартийный, образование высшее. Рост высокий, шея короткая, глаза серые,

лоб прямой, нос широкий, с горбинкой, губы тонкие, подбородок выступает, уши большие.

Особые приметы: на правой руке отсутствует безымянный палец, поврежден мизинец.

Из показаний Майданова Михаила Васильевича в 1960 году:

«В этом селе немцы и наши были построены в две шеренги. Как я помню, впереди стояли немцы, а за ними — мы. Немецкий офицер через переводчика (фамилии их я не знаю) приказал, чтобы мы выполняли все распоряжения немецких солдат, а кто не выполнит, тот будет расстрелян...»

Штурмфюрер Слава Муравьев поджидал своего шефа. Должен заглянуть и сюда, в поселок Пролетарский. Было приказано не начинать без него. Борковская операция не совсем обычная — очень уж сложный «ри-туал».

Взводы, немецкий и «иностраный», уже выстроились, стоят в положении, которое изобрел для «посвящения новичков» сам штурмбанфюрер. Парами стоят: не немец немцу в затылок, а затем пойдут по деревне и для тридцати немцев это произойдет впервые. И они уже знают, зачем их привезли, почему стоят так и что произойдет. Все тридцать очень разные, и различные обстоятельства заманили или затащили их к Дирлевангеру. А делать им придется одно. Прикажут, и будут делать — Муравьев уверен, что будут. Как миленькие! «Не пойду, не буду убивать, меня стреляйте!» — может, думали так многие, могли так рассуждать где-то там, вчера, далеко. Ну, а здесь попробуй, не вообще, а когда знаешь точно, что выволокут тебя к этому вот забору, прислонят, как чурбан, и застрелят! Одни отупело, пойманно смотрят на каски немцев, на немецких офицеров и Муравьева, другие на деревню посматривают — с идиотским молодым любопытством. По пустынной улице лишь патрули прогуливаются, чтобы не бегали бабы из хаты в хату, не переползали в погреба, в сарай. Меньше будет паники, и больше будут надеяться, что самое страшное с ними не случится, не произойдет. Да, горят соседние поселки, и стрельба там, но люди многое могут объяснить не самым страшным образом, если только не подхватит

их и не понесет паника. Даже дым утренний кое-где над хатами, эти даже завтракать собираются: мы, как всегда, а потому не произойдет сегодня это, не случится! Не может случиться!..

Как все-таки верит человек, что его, именно его, минует самое ужасное. Вот даже на некоторых лицах под черными полицейскими пилотками с белым «адамовым» черепом это ползает — бледное и потное «не может быть!».

Может, может, милый! Случится это сейчас — и именно с тобой!..

Через такое прошел и Муравьев, и он знает, как все будет. Никому не позволят уйти, увильнуть, для того вас и построили. Не знал ты всей правды о себе — сегодня узнаешь! И будешь на ней, на правде этой, оседать — как на колу. Собственной твоей тяжестью тебя и доконают. Но не сразу. Вот и штурмфюрер Муравьев все еще жив-здоров, а уже сколько месяцев, дней, минут опускается по тому колу. Вчера ночью, после дикой пьянки, кричал во сне туда, где был когда-то Слава Муравьев, чей-то сын, чей-то муж: «Не верь, не верьте, я не палач, я солдат, я в стане врага, но я солдат!» Во сне, помнится, до слез красиво звучало это: «в стане врага».

Но проснулся — и ничего! Ни матери, ни Людмилы, нет никого у Муравьева, потому что нет больше на свете и Славы Муравьева. Тот, кто вместо него, — другой некто, совсем другой.

«Как ты мог, Слава? — с каким ужасом, наивным, древним, спросила женщина в круглых очках — его мать. — Как мог ты позволить своей жене убить ребенка?» Жена — молодая, на удивление белотелая женщина по имени Людмила — сделала аборт. Потому что мужа ее — Славу Муравьева — забирали в армию, в военное училище — со второго курса пединститута, и ей «стало тревожно».

Только во сне штурмфюрер Муравьев подпускает к себе этих женщин — мать, жену. Только во сне: там он не властен не впустить, отвернуться, уйти. Но зато там еще возможно что-то назад повернуть, вернуть. Там, но не здесь.

А жить надо, пока живой.

Когда-то «жить» — означало побыстрее вбежать

в завтрашний день: вырасти, из села поехать учиться в большой город, найти дело, которое не наскучит за целую жизнь, и такую же, на всю жизнь, женщину... И все это было тогда впереди. И вот оно что впереди ждало!..

Когда-то собирался стать учителем. Правда, еще раньше мечтал стать военным. В пединститут поступил потому, что все Муравьевы — не только отец и мать, но и две тетки — учителя.

А тут стали забирать из институтов в армию, взяли и его, в училище, и он пошел охотнее многих. Армию, военных любили.

Когда ахнуло: «война!», Слава Муравьев не мог скрыть молодого возбуждения, почти торжества: кто сейчас нужнее горячих стойких лейтенантов?! Кадровых военных осталось маловато...

Но их училище все держали под Москвой, все доучивали, как будто они не умели, не сумели бы главное сделать: умереть, чтобы врага не пустить дальше. Уже Минск, уже Гомель пали, сводки называли цифры вражеских потерь в людях и технике, и невозможно было понять, как немцы все еще способны наступать.

В конце августа курсантов собрали, они сидели в большом зале бывшего института и дожидались какого-то важного сообщения. Ну, наконец-то!.. А им зачитали странный приказ: об ответственности семей военнослужащих за перебежчиков и сдающихся в плен... Муравьев помнит, что он никак не мог связать этот приказ с собой и своими близкими. Плен? Что за ерунда! Как это возможно?

Наконец лейтенантов и младших лейтенантов распределили по частям, только что сформированным, погрузили в эшелон и ночью повезли на запад. Без конца просыпался. И не от ожидания новых бомбежек (они его совсем не напугали), а от волнения, что наконец едут — навстречу загадочному и грозному, что называется «фронт», «бой». Уснул, и показалось, что поезд тут же остановился, за окном тяжело пробежали, прозвучала команда: «Высаживаться! Быстро! Быстро!» Утро тускло озарялось вспышками, совсем недалеко погромыхивало. Даже пулемет слышен был. Посыпались из вагонов, стали стаскивать с платформ орудия, сводить лошадей. А кто-то уже распорядился, и командиры молодыми зычными голосами уводили людей в по-

ле, растягивали в цепь: «Вперед! Вперед!» Прямо в бой въехали на поезде — вот чудеса-то! Слава Муравьев нетерпеливой подбежкой вел свой взвод навстречу бою, врагу, зная, что это высшие мгновения его жизни: не обошла судьба, не обделила!

Тяжело было с полной выкладкой двигаться по овсу и вике, полегшая от недавних дождей зелень вязала ноги, ее рвали яростно мокрыми от росы сапогами и ботинками: так и должно быть, так тяжело и должно быть, и такое общее, грозное дыхание, именно грозное, и уже крик — далеко справа, слева: «За Сталина! За Родину!» Побежали. Лейтенант Муравьев, опережая политрука роты, подхватил, распростер над цепью, как знамя: «Вперед! За Сталина!» Закричали «ура!».

Тут бы навалиться на врага, смять, растоптать и гнать, гнать! Но впереди лишь кустики темнели, редкие полевые груши да конь — его все увидели, казалось, одновременно — спокойно стоял под деревом, дожидаясь, когда ему снова захочется опустить морду в росную зелень.

Уже что-то поняли, снова перешли на шаг, но команды зазвучали резче, требовательнее. Шорганье голенищ и обмоток, звяканье металла, торопливое дыхание сотен людей все еще отталкивали правду, отдаляли миг общей догадки и стыда, неловкости и, как ни странно, облегчения... Эти длинные и несуразно торчащие штыки, эти молодые выкрики командирские, — а до немцев, до передовой, может быть, пять километров! — вот-вот разрядится все смехом и разносом «при подведении итогов занятий».

Но подводить итоги должен был бой, который никуда не делся, поджидал впереди.

Навалился он в этот же день, шесть часов спустя, ошеломил, неожиданный, хотя, казалось, ждали, готовились к нему, и длился не то пять минут, не то сто суток. Что-то выкрикивали люди, отдавались команды, но на самом деле командовали грохот и рев железа, крики боли и ужаса, а когда окончилось все и немецкие танки ушли куда-то в сторону, к железной дороге, Слава Муравьев лежал в полузасыпанном окопчике, ощущая на ногах и спине жуткую, но спасительную тяжесть сырого песка, и слушал вырывавшийся из земли — из других окопчиков и по всему косоугору — разноголосый крик, из которого свечкой — как из дет-

ского больного бреда — вставало одно слово: «Мама!»

Восемнадцати-двадцатилетние, раздавленные гусеницами, разорванные железом, звали на помощь одного-единственного человека, все — одним словом. Других слов уже не помнили.

Странно, но это никогда потом не вспоминалось с насмешкой, горьким презрением, — первый бой и детские крики: «Мама!» Хотя многое, очень многое помнится именно так.

Бойцы и лейтенанты с винтовочками, редкими полуторками, сорокапятками, откуда-то вынырывающие и пропадавшие старшие командиры с «эмками», танкетками — вот и все, что запомнил Слава Муравьев, что металось перед мощно накатывающейся чужой силой.

Немецкая армия захватила не только половину европейской России, она в душу вломилась, тесня, вытесняя то, что было (думалось — навсегда!) в нем, Славе Муравьеве. Первый бой был лишь началом и даже не самым нелепым и бестолковым. Какое-то барахтанье, жуткое и беспомощное, в неверном, в кровавом болоте. Остался без взвода, потом командовал ротой, чужой, а потом снова без людей, никто, и тут же, через три дня, уже исполнял обязанности начальника штаба полка. Он все пытался быть командиром и искал, чтобы кто-то сильнее его, опытнее, дальновиднее, кто-то был бы над ним, ну, хоть кто-нибудь! Как истово верующий к богу, тянулся он всей душой туда, где привычно всегда находился человек, от которого исходили порядок, власть, воля, порой непонятно жестокая, но такая желанная теперь. Но как раз теперь она и не ощущалась, зато привычное бессилие перед чужой волей осталось, и оно лишало многих, слишком многих желания и готовности брать на себя ответственность.

А накатывающаяся сила, казалось, распоряжалась самими обстоятельствами. Она действовала методично, направленно и широко — по всему фронту. Сила эта капливалась то там, то здесь, и там и здесь одновременно, и била, гнула и снова перла вперед.

Где-то же существовал мощный механизм, для которого его шлифовали. Где-то же был он! Слава Муравьев почти ощущал, как он где-то грозно разворачивается, готовится ударить. И вот последний его бой. Если это может называться его боем. Немецкие танки навали-

лись, настигли, как и в первом бою, неожиданно. Господи, сколько она длилась, та первая внезапность, — не часы, не дни, а все время, пока воевал лейтенант Слава Муравьев, несколько месяцев! Внезапность — не в нем ли самом она гнездилась?..

На этот раз танки двигались в сопровождении автоматчиков, огонь трассирующими был такой, что казалось, трещал, пылал сам воздух. Это уже было какое-то автоматное хулиганство. Начштаба полка Муравьев (какой там полк — ошметки взводов!) выскочил прямо из-под разлетающихся бревен, из-под падающей крыши — в его штаб угодило сразу два снаряда, в два угла — и пытался задержать бегущих бойцов, полз вместе с ними, пластался в грязи под сумасшедшим огнем. Вдруг коня увидел за сараем, кавалерийского, оседланного, на привязи. Задом так и ходит, дрожа всей кожей, чернолоснящейся, взбил копытами землю, пытаясь порвать поводья. Замелькало в памяти, в сознании измазанного грязью лейтенанта Муравьева знакомо прекрасное, волнующее: черное крыло бурки, отрывающее от земли, поднимающее из грязи!.. Подполз, вскочил на ноги, еще выстрелил из-под коня по мелькнувшей на огороде немецкой фигуре и бросился к стремянам. Одной рукой за луку, второй, в которой пистолет, за гриву, оттолкнулся правой ногой от земли, а левая вместе со стремянем ушла коню под брюхо. Не затянута подпруга! Беспомощно повисший, он слышал, как пули с плотоядным цмоканьем впивались в конское брюхо — с противоположной стороны. Падавая и опрокидывая на себя коня, он еще заметил невысокого немца, который откинулся на полусогнутых ногах и сечет, сечет из автомата...

Тут его и взяли. Немец появился откуда-то из-за спины, крадущейся походкой — точно он все время выслеживал именно Славу Муравьева. Муравьев лежал, как прижатая сапогом лягушка — животом к земле. Теплая кровь из лошадиной туши натекла под задравшуюся гимнастерку, липко намочила спину, бока. Он вертел головой, поднимал лицо, чтобы не пропустить, когда в него выстрелят, не прозевать свою смерть — большего ему уже не дано было. Немец, обидно маленький, в очках, похожий на аптекаря или бухгалтера, носком сапога потрогал вытянутую морду коня, но глаза его и дуло автомата неотрывно смотре-

ли Муравьеву в лицо. «Ну что, убьем тебя?» — Муравьев может поклясться, что немец это сказал, хотя голоса его не помнит. Чужой согнутый палец лежал на крючке автомата, готовясь это проделать. Но зачесался вытянутый острый нос, немцева переносица: он поправил очки, потрогал себя за кончик носа. И тут рука немца рванулась назад к автомату, глаза испуганно отпрянули. Сапогом со всего маху ударил лежащего по локтю — в голове у Муравьева заискрило, а когда нормальный свет к нему вернулся, у немца в руках был его ТТ. Близоруко поднес пистолет к очкам, рассматривает. Значит, пистолет все время лежал под ладонью у Муравьева, но он и не вспомнил об оружии, придавленный, распластаный, как лягушка.

Состояние полной раздавленности, беспомощности не кончилось, оно осталось и после того, как немец, видимо, заинтересованный командирскими знаками Муравьева, помог ему выбраться из-под лошади. Как из сна в сон переместился — в безнадежные толпы, колонны пленных, гонимых на запад. Плен! Это был конец, крах всего. Где-то на Волге жили; о нем думая, на что-то надеялись мать, Люда, отец, но для них лучше было бы узнать, что он мертвый. Только бы не дошло, что Муравьев Ростислав Александрович все еще жив. Даже если убежит (думал про это неотступно), ничто не отменит факта — лейтенант Муравьев живым сдался врагу! Навсегда выброшен из той жизни, где остались все, кто ему нужны. Он — пленный, он сдался, и от этого не убежишь, не уклонишься: это произошло, уже настигло. Не затеряешься, не спрячешься в шинельной массе — не заслонит. Потому что все отброшены, вся многотысячная масса. И не только жестким приказом, который своими ушами выслушал курсант Муравьев, не придав ему личного значения.

Отброшены, отброшен всем, что было и как было до войны, перед войной.

Семью Муравьевых можно было считать удачливой — по довоенным временам и меркам. Как-то обошло их в предвоенные годы. Но оказывается, даже то, что не задело тебя лично, на самом деле входило, проникало и в тебе оставалось, даже если сам того не замечал. И когда пленному лейтенанту показалось, что

мир, без которого себя не представлял, мир этот, отступая, рушась, тем не менее с прежней нетерпимостью и даже гадливо оттолкнул его, Славу Муравьева, мстительно и навсегда от него отрекаясь, он с этим как-то сразу согласился. Будто иначе и быть не должно. Все, что он знал о жизни (тут уже не только своей семье), не оставляло надежды. Терял он особенно много, больше других, и именно потому, что до войны их, Муравьевых, не задело, обошло. У других пленных, многих, такого ощущения личной катастрофы, возможно, не было. Хотя кто знает, что испытывали, как чувствовали и думали они? Разве об этом беспокоиться человеку в такое время?

А Муравьева это сосало, изводило не меньше, чем голод. И тоже — и наяву, и в снах.

Правда, тот мир, который мог спросить с него за плен, за такую беспомощную, неумелую войну, отступил и все дальше откатывался на восток. Муравьев не мог не желать его возвращения, пусть не для себя, так для других — для матери, отца, Людмилы... А потом о себе вспоминал, и все чаще злобой наполнялась его опустошенная душа: да, там ты нас встретишь все такой же непрощающий, но где ты был, где воля твоя жестокая была, когда она была так нужна, когда дикий хаос засасывал нас, целые армии?!

В Бобруйске, куда их пригнали, сначала всех затолкали в крепость, но здания, бараки, двор крепости не могли всех вместить. Спешно расширяли расположенный неподалеку Первый лагерь. Перегнали туда. А Муравьев обнаружил, что охрана обоих лагерей может не только по-немецки ругаться, а и по-нашему материться, когда замахивается прикладами или палками. Кто-то наплевал на все и решил жить, а не сдыхать. Можете от них отказываться: им и самим ничего это не стоит — отречься от всех и всего! Надели форму победителя и содрали с себя пыльную, обгорелую форму безнадежности, плена, голодного поноса, поражения. Еще вчера ты гордился им, своим стройным, в ремнях, лейтенантством, а сейчас твоя форма в глазах стольких людей стала знаком плена: это гонят пленных, это работают пленные! Убили пленного, серым шинельным комом лежит на обочине... Нечеловечески отощавшие, какие-то ржавые — это мы! С

женскими огромными глазами — это мы!

Уже не верится, что когда-то о чем-то кроме хлеба, теплой похлебки мог мечтать...

О немцах и о той машине, что перемолола армии многих стран в серое лагерное месиво, уже думалось как-то издали. Это какая-то стихия, четко организованная и отлаженная, но стихия.

И ненавидишь ее настолько же, насколько и собственное свое бессилие и существование...

По тифозному лагерю, заваленному трупами, которые не успевали вывозить, шныряли какие-то существа-крысы. Глаза хищно нацеленные, безумные. Серые существа эти опасно подвижные, опасно живые — гораздо живее других пленных, бродящих, как во сне. Люди-крысы что-то варили в дальних углах лагеря, наклонившись, закрывая котелок или консервную банку, огонек. В любой дымок сразу же стреляли с вышек, и они падали, и почти всегда на котелок. Однажды Муравьев — Слава Муравьев, учитель Муравьев, лейтенант Муравьев — прячась за трупами, прополз к только что убитому, стал шарить, искать возле него, нашел опрокинутый котелок: то, что варилось, теперь с шипением дожаривалось на залитых угольках. Запах пищи пронзил — ударил по всему существу, как током. Он схватил что-то скользкое и, уползая, жевал, глотал. Ожидая выстрела, конца, смерти, старался хотя бы успеть: сжевать, проглотить! Господи, сколько в одном человеке разных существ! Целое кладбище. Но все, даже глубоко погребенное, запрытанное, живет. Попробуй избавься, попробуй выбрось того Славу Муравьева, который жрал и не знал что... Когда подожгли соседний лагерь — Бобруйскую крепость, и черный тяжелый дым пополз над Березиной, над городом, и когда он дополз, сладкий, жирный, до лагеря № 1, где всех пленных выгнали из барачков и держали под пулеметами — вот когда Муравьева начало рвать, выворачивая пустой желудок, только тут он догадался, вспомнил по запаху и позволил себе до конца понять, что он тогда сжевал и проглотил...

А ведь привыкать стал Слава Муравьев, послужив у Дирлевангера, к поджаренной человечине! Если бы знакомый сладковатый запах по-прежнему на него

действовал, тогда хоть не ешь ничего. Вот и сейчас густо тянет из-за свежего березничка. Там первая немецкая рота работает.

«Везде можно остаться человеком!» — отец повторял это по поводу и без повода. Можно, да, можно! Муравьев уверен, что он все же лучше других, многих, кто оказался бы на его месте. «Лучше других на моем месте» — это утешает и даже рождает чувство правоты. Даже чувство обиды на всех, кто «разбираться не станет...».

Очень много о себе, если не хорошего вполне, то не самого плохого, знал и постоянно помнил штурмфюрер Муравьев. Вот хотя бы то, как долго он даже мысли не допускал, чтобы пойти и служить победителям. Хотя он человек военный, профессионал и понял раньше многих других, что войну немцы выиграли. А когда плелся к столу, который немцы и вербовщики-«добровольцы» накрыли и выставили за проволокой у лагерных ворот, он тоже не думал о службе: еще бы только раз досыта поест, попробовать нормальной, человеческой пищи, а там пусть убивают! Но у ворот его еще раз остановили: «Как, как твоя фамилия?» — «Хильченко». — «А не Иванов?» — «Нет, Муравьев...» Так по-детски попался, что когда захохотали и оттолкнули его и он упал в снег, он заплакал. В первый и, уверен, что в последний раз на этой проклятой войне. Сотни голодных глаз, а издали и тысячи смотрели на нарезанный серый немецкий хлеб, на круглячки красной колбасы и налитые стаканы чаю — подходи и ешь, пей горячее, снимай свою вшивую и надевай чистую, выжаренную немецкую форму!.. Девятеро стояли у ворот, согласившись выйти за проволоку, жрать у всех на виду и уйти — от смерти в жизнь. Пусть не свою, неизвестно какую, но жизнь. Вдруг немецкий офицер, который, видимо, любил круглые цифры, показал на бессильно осевшего в грязь Муравьева, и тогда ему крикнули: «Кажись: данке! И становись десятым».

Он им этого не простил: ну, нет, сдохнуть успею всегда! Я вас отблагодарю. Вы еще подо мной походите! Ходят теперь, бегут на его голос вприпрыжку — тот же Мельниченко и все его «самостийники». Морщатся, по-собачьи щерят зубы, а ходят, как шелковые! Этот Мельниченко, ого, как показал бы себя, окажись

он на месте Муравьева. Спит и видит, как заменит его...

Конечно, и Муравьев едет в такие вот Борки, и он делает то, что по его немецкой должности и чину делать обязан. Но не больше того! И штурмбанфюрер терпит, прощает многое, чего другому не простил бы. С партизанами — не с бабами да детьми! Вот где нужен им Муравьев, который совсем не по-немецки на партизан смотрит. А потому и немцев кое-чему научить может. Немцы слишком верят в партизанскую всезоркость и неуязвимость. Им, чужим всему здесь, слишком трудно, сложно вообразить себя на месте противника. Тем более такого противника, который ни в немецкой натуре, ни в их истории никогда и не ночевал. Ну, а Муравьев всему цену узнал — разным и всяким побасенкам и легендам. На собственной шкуре познал, как все на самом деле. И его не пугают эти колхозники, да школьники, да учителя с винтовочками, листовочками, комиссариками. Есть там и кадровики-окруженцы, но что могут сделать они здесь, если на фронте — армия! — не смогли, не сумели?..

Сначала Муравьев присматривался к немцам с профессиональной завистью военного: вот это машина! Нет, не их листовки, не газетки на немецком и русском языках, не пропагандистские слова о «национал-социалистской идее», «новой Европе», «величайшем гении и полководце» его интересовали — обыкновенная смазка, какой все пользуются. Даже более грубая и безграмотная, плохо усваиваемая. Но его влекло вблизи рассмотреть, как ходят, как отрегулированы рычаги машины, в которой и сильный, и трус, и храбрец — все действуют, как это необходимо командирам, командованию. А что немцы далеко не храбрецы, не «зигфриды» в большинстве и, как все люди, хотят живыми остаться, а не умереть — даже за фюрера! — он разглядел очень скоро. Даже скучно, тошно сделалось, когда увидел, что это так. Но, может быть, так и надо. Зато если приказано — трусят не трусят, но все будут делать, чтобы командирский приказ выполнить...

Его тоже учили, готовили быть частью грозной машины, он всей душой поверил в самоценность дисциплины, исполнительности, стойкости. Война, так обидно начавшаяся, оторвала его, швырнула под колеса чужой машины, он чуть не размозжил голову о чужой

металл, но уцелел. Теперь с него стирают старую смазку, смазывают заново, другой. Но не в словах дело. Муравьев не какой-нибудь белорусский дядька с четырьмя классами и не «самостийник», вроде Мельниченко, чтобы ему жеванное в рот запихивали. Он, раз уж так получилось, избрал место «солдата в стане врага», и пошел на это с головой холодной, не дурача себя новыми словами. И даже уважает себя за эту трезвость, даже немного гордится собой. В командиры он не напрашивался, но выправка уважающего себя военного сразу заметна, и Дирлевангер обратил внимание. Сначала только о звании спросил через переводчика и прошел дальше, но вдруг вернулся: «Какое образование?» Сказал и об учительском институте. Штурмбанфюрер оглядел лейтенанта-учителя с недобрым любопытством: «Любите детей?» Двойная фамилия — назвал себя все-таки «Муравьевым-Хильченко» — тоже понравилась. «Гут!» — и на завтра дали цуг — взвод. С первого же дня стал надраивать свой цуг до блеска. Всех, кого отдали под его начало. Какой национальности, военный ты или из местных полицаев, Муравьева не интересовало. Это «мы», а это «они», и «мы» должны показать, доказать, что можем быть не хуже «их» — в строю, в стрельбе, а в бою особенно! Пусть хоть так, хоть теперь уважают нас. Взывал к чувствам: «Покажем, ребята, а? Шаг покажем!» Или: «Галю молодую» запевай! Покажем?»

Еще в дни, когда он отчаянно цеплялся за откатывающуюся и распадающуюся машину, ему этого мучительно хотелось: быть, почувствовать себя впаянным в устойчивую, надежную, победоносную! И в бесконечных колоннах военнопленных, бредя навстречу их мотопехоте, все еще присматривался: что это за сила такая, кто они, какие? Теперь он видел их вблизи — немцев. Даже сам командовал по их уставу. Что ж, обычный устав, который когда-то пруссаки подарили всей Европе. Но для других он так и остался скучным учебным пособием, а для немцев — это точный рентгено-снимок их сердца, их позвоночника. Действуют по уставу потому, что существо их так организовано. А не так: схочу — буду, не схочу — хоть кол на башке тещи! И он тесал, обтесывал. Поддавались, старались, тогда и он для них не цугфюрер, а «Слава», свой в доску,

пожалуйста! Не для себя старается, а чтобы людьми себя могли чувствовать, снова уважать себя.

Сначала дотягивал своих до немецкой выправки, автоматизма, дисциплинированности. Да и просто надо было мышцы намотать на тощие тела тех, кто прошел лагеря. Но присмотрелся к немцам поближе, и даже презрение к ним возникло и делалось все злее. Разве можно уважать эту бабью мелочность, жадность в еде и к посылкам, всякому барахлу — и это при их несокрушимой убежденности, что нет на свете честнее, богаче и достойнее их? Мир распотрошили, и куда же все подевалось, если им надо посылать в Германию белорусского гуся или еврейское белье? Обидно видеть, как те, кто пленил тебя и кому пошел служить, как они всерьез трусят перед одной лишь тенью партизана — эти берлинские шуцманы, которые присланы, чтобы страх нагонять на «бандитов». Ну, тогда Муравьев вам покажет, как надо воевать с партизанами и не думать о своей шкуре, а уж про гуся тем более. Эх, будь он своим при такой машине, да разве так он воевал бы, Слава Муравьев! Тогда пусть уважают в нем солдата, если русского уважать не хотят. А там, гляди, и дальше пойдет, изменится что-то...

Был случай, который мог окончиться для него скверно, но Муравьев показал, что он и немца уважать не будет лишь за то, что он — немец. Если хороший солдат — пожалуйста! Но не за то лишь, что ты — немец. Возможно, что и Дирлевангер про тот случай знает, но ни разу и виду не подал. А иначе должен был бы женить своего «русского дублера» на «вдове». Еще бы: «иностранец» ударил немца! Немецкие офицеры имеют право, и солдаты даже привыкли к пинкам и оплеухам. Но чтобы ненемец! Даже если он и командир.

Было это в начале мая. (Больше месяца носил бинт, а потом привыкал к своей руке без двух пальцев — безымянного и мизинца, — розовая кожица, прозрачная, как вощенная бумага, вот и сейчас все чешется...) Две роты направлены были забирать по району молодежь. Сами в Германию ехать не хотят — посылай повестки, не посылай.

Муравьев вдруг принял решение: сделать на бронетранспортере бросок в непуганую глубинку. Километров шесть промчались. Немец-шофер и два других

«майстэры» явно не одобряли его рискованной затеи. Да и почему бы им не подумать, что Муравьев собирается (как когда-то Загайдака с Горбатого моста) утащить всех в лес, в лапы к «бандитам»? Чем страшнее становилось немцам, тем веселее было Муравьеву. Ворвались в деревню, а там как раз свадьба. Вся молодежь в сборе. То, что надо. Прихватили и жениха с невестой, и дружков-шаферов. Конечно, со скандалом: выпившие все, да и когда это у нас на свадьбах не бузили? Согнали в кучу, заперли в двух избах. Другой на месте Муравьева погнал бы в чем стоят, он же разрешил теткам толково собрать их в неблизкую дорогу.

Кто знает, сколько людей там, в России, будет спасено — да и здесь тоже — такими, как Муравьев, да, каратель Слава Муравьев, да, палач штурмфюрер Муравьев! «Человек в любых условиях человеком может остаться...» Конечно, отец не имел в виду т а к и е условия, не допускал даже, да и не поверил бы, что его Слава может стать, кем стал, делать то, что он делает.

Но разве то, что происходило, что случилось за этот год, кто-нибудь мог вообразить вчера? Раз уж так сложилось, кто-то должен взять на себя самое страшное, тяжелое: среди палачей оставаться солдатом, быть примером и в конце концов помочь своим. Нет, совсем не так, как сделал Загайдака: ну, увел он отделение, девять человек, ну, убьют они десять немцев. Пока их самих не прихлопнут. Война-то все равно проиграна. Только распалют лютость победителей. Теперь самое главное — судьба и жизнь не моя и твоя, а многих и многих миллионов, тех, кого народом именуют. Что может Муравьев, такие, как он? Да, они в стане врага, врагу помогают побыстрее закончить уже выигранную войну. Были и такие головы, мысли: мол, у нас оружие, незаметно нарастим целую армию русскую, и немцам придется считаться с нами. Чепуха! Фантазии! Путь один: завоевать у немцев уважение. Делать приходится черт знает какую работу. Но везде можно остаться человеком, которого будут уважать. Показать, чего мы стоим — хотя и проиграли войну. Переубедить, убедить, что с нами можно иметь дело — и в работе, и на войне. А у них впереди еще полмира. Такие мы им будем нужны. Убивая вместе с ними какие-то тысячи, потом спасем миллионы. Главное — впереди. Главное — там.

Пока с плачем, воем бабы тащили к бронетранспортеру одежду для «навербованных», харчи им на дорогу, Муравьев решил пройтись по деревне. Он любит зайти в хату, поговорить, послушать местных жителей. Смотришь на себя их глазами, со стороны и лучше, острее ощущаешь, что у тебя внутри и кто ты, что ты на самом деле. Для них ты предатель, враг, но к ним не испытываешь ответной злобы, ненависти. Не можешь им сказать, почему ты в форме немецкого офицера, эсэсовца, а если бы и сказал, не смогли бы, не захотели бы они понять. Потому что умирать надо им — ради других, которые далеко. И понять их можно. Но другие когда-нибудь, может быть, поймут и тебя...

Зайти в хату, посидеть в той деревне не пришлось. Ахнуло, даже увидел, как на огороде грязью плюнулась земля, — ого, пушечка у них завелась! Муравьев весело выбежал со двора на улицу, скомандовал: «К машине все!» А над деревней озорно повизгивали пули — два пулемета взалхлеб лупили откуда-то из-за горки. И тут Муравьев похолодел: увидел, как бронетранспортер сорвался с места, только чьи-то ноги над бортом по-жабьи задержались. Броневая машина умчалась, водитель-немец бросил всех, даже одного «майстэра». Побежали через огороды, не слушаясь командирского голоса Муравьева, ни немецких, ни русских его ругательств не слыша. Били уже и с другой стороны, от туда, где кладбище. Впервые ощутил, что не только под немецкими бомбами и пулеметами можно чувствовать себя беспомощным, слабым, никчемным. Рвануло, куснуло пальцы — вскинул руку к глазам: что-то красное вцепилось и держится!.. Не сразу понял, что это его собственные пальцы, висящие на кожице... Четверо остались на том поле, некому было их тащить — мертвых, а может, только раненых. Муравьева и еще двоих перевязали уже в лесу, почти на бегу. Страх и ярость гнали Муравьева, пока беглецы не выскочили прямо к мосту и не увидели возле полицейского дзота свой бронетранспортер. Немец-водитель покуривает и нагло-весело смотрит им навстречу. Муравьев знал, чувствовал, что если он э т о г о не сделает, то потеряет к себе уважение навсегда. И потеряет все. Все добытое с такими усилиями после лагеря.

Немец с любопытством смотрел на обернутую окровавленным кителем руку Муравьева — точно ему по-

дарок несут. Ну, Муравьев и поднес ему! Отпустил правую, левой, здоровой, двинул его по уху так, что немец тюкнулся виском о стальной угол своей машины и сел в песок, голубые глаза в лоб ушли.

Это был момент особенный для Муравьева. Нет, не просто труса, дезертира ударил, а немца-труса, немца-дезертира. Служить я вам служу, но уж отныне знаю всю цену — и вам и себе!

Немца этого потом наградили — как раненого. На этом с ним поладили. И он, конечно, считал, что сделка в его пользу. Не знает, какую свободу, какое радостное распрямление, освобождение подарил он Муравьеву — своим немецким бегством и своим немецким согласием на награду. Да, да, человек везде человек! Если он человек. И еще неизвестно, кто спасет, а кто загубит. Боркам вот этим все равно не выжить на партизанской земле. Думать надо о миллионах других людей и завтрашнем дне и не растравлять победителей. Раз уж войну проиграли, воевать не умели, не смогли. А почему не смогли — легко за это с Муравьева спрашивать! Беги, беги там, и не оглядывайся так грозно, ревниво, непрощающе!..

Нет, не такие уж дураки были те князья и воины, которые шли на службу к чужим ханам. Да, приходилось русскую лить кровь, жечь и казнить своих в непокорных княжествах. Но народ сберегли. Россия не на год и не на десять — на века. А если бы и после разгрома все поперли на рожон да голым пузом, не имея сил, — что было бы и что осталось бы? Вырезали бы всех подряд...

Дирлевангер возит с собой книгу «Чингисхан», показывал и Муравьеву, видимо, потому, что есть на ней автограф рейхсфюрера Гимmlера. Штурмбанфюрер не сказал, а всезнающий Циммерманн раскрыл, откуда и как попала книга с рукой Гимmlера в могилевскую библиотеку Дирлевангера. Не он один таким вниманием отмечен. Всем гауляйтерам и командирам крупных зондер- и айнзатцкоманд Гимmlер эту книгу дарит или от его имени вручают.

Немцы читают «Чингисхана» со своим прицелом. Ну, а Муравьев, когда увидел, полистал, о своем подумал. Нет, не дураки были «изменники»-князья! Где теперь тот Чингисхан и его победы, караван-сарай? А Россия стояла и стоит. Благодаря Куликовской

битве? А дожили бы до нее, не возьми на себя бремя измены те, имена которых забыты или прокляты?

Думано об этом, передумано, а поговорить не с кем! Вот разве что с Циммерманном, если ближе сойдутся. Ему тоже не легко среди своих — белая ворона!

Обершарфюрер Циммерманн уже после третьей рюмки лезет в книги. Как другие — «в бутылку». Очень обидчив, потому что и чином и ростом ниже других. Почти детский на нем мундирчик с эмблемами-черепами, а начитанностью, грамотой выделяется среди всех офицеров Дирлевангера. Книги в большой могилевской квартире Дирлевангера выставлены в гостиной, наверное, чтобы все могли их видеть, чтобы не забывали об университетском прошлом штурмбанфюрера. Дирлевангер и сам любит напомнить: «Вот с этим кретином (о Поле) мы вместе учились в Лейпцигском хохборделе. Я кончал, а он только начинал, но кончил раньше — выгнали». И расскажет, очень рассеянно (такое всегда впечатление, что он плохо слышит даже самого себя), как студенты по давней традиции ковыряли друг дружке физиономии студенческими шпагами и как Поль любил расписываться в пивных не на стенках, а на потолке.

— Любимая обезьянка господа бога! — подмигивает Муравьеву своим пенсне маленький Циммерманн. Муравьев хоть и старше его эсэсовским чином, но он русский, а значит несравненно ниже, и за это Циммерманн готов разговаривать с ним на равных. Истерзанный безуспешными попытками вклиниться в общий громкий немецкий разговор, Циммерманн уводит Муравьева к полке с книгами и уже оттуда обстреливает пьяный стол язвительными замечаниями. Вновь прибывающих или тех, кому надо уходить, встречает и провожает обязательным:

— И пришел (ушел) осел, прекрасный и мужественный!

Муравьева лишь в последнее время стали приглашать на товарищеские ужины — единственного из «иностранцев». Все-таки он растопил Дирлевангера. Штурмбанфюрер однажды привел его к себе на квартиру одного, и там он увидел Стасю — загадочную служанку Дирлевангера. Худенькая, как подросток, белозубая, а улыбка ее поразительно кого-то напомнила: Муравьев даже растерялся, и Стася смутилась...

— Битте,— сказал и усмехнулся ширококорото и криво Дирлевангер,— прошу кохать и шановать!..

Дирлевангер всегда говорит только по-немецки. А тут такой немецко-славянский винегрет. Польское «кохать» и «шановать» прозвучало у него как слова домашние, обжитые. (Стасю привез откуда-то из-под Люблина.)

Нет, все-таки можно их заставить уважать «иностранцев». Не унижаясь, а показывая умение, дело и когда не дрожишь за свою шкуру. Вот и Циммерманн. Увлеченно, старательно проделывает умственную гимнастику перед Муравьевым. Значит, хочется ему, чтобы этот «иностранец» его оценил.

— Читали? — спрашивает Циммерманн, проводя влюбленно, даже сладострастно маленькой рукой по корешкам книг. Выхватит нужную с полки, быстро, быстро полистает, клюнет носиком, и шпарит, почти не глядя на страницы.

— «Быть может, я лучше всех знаю, почему только человек смеется: он один страдает так глубоко, что принужден был изобрести смех. Самое несчастное и самое меланхолическое животное — по справедливости и самое веселое...»

Точно большую рюмку опрокинул в себя, так счастливо заблестели у маленького немца глаза за профессорским пенсне.

— Вот! Вот так умел писать Ницше. Которого вы, конечно, не читали. Впрочем, они (кивнул туда, где гогочет и пытается петь застолье) не читали ничего. С чужих слов заучили, что великий германец проклял евреев за христианство, изобретенное для нас. Подсунули специально, чтобы лишить другие расы воли к власти и отдать власть больным и сирым. Чтобы, кроме них, не было сильных рас, народов. Но какая будет жалость и ошибка, если Библию тоже сожгут в каком-нибудь пожарном депо! Жечь книги — любье! — это по меньшей мере неблагодарно. Неумно и неблагодарно. Они (опять, скривившись, глянул на застолье) уважают только действия и не знают, не подозревают, сколько полезного сделал Гуттенберг и его дети — книги. Та самая Библия, если ее с умом читать, нашими глазами. На нас работали и за нас многие — даже те, кто думал, что с нами борются. Потому что если смотришь в пропасть, то и пропасть начинает смот-

реть в тебя, погружаться в тебя. Мы лишь подобрали ножи, которых много наразбрасывали и давно. И неважно, для кого Ницше или другой кто точили ножи своих жестоких парадоксов. Важно, что наточили. И это сохранили, донесли до нас они, книги! У моего дедушки, католического священника, книг было больше, чем в нашей роте патронов и гранат. Кстати, дедушка мой в Риге жил, прежде чем переехал в Германию, в наш Гале. Вынужден был отречься от сана. Из-за служанки, от которой родился мой отец. И еще — он слишком внимательно читал Библию.

Схватил с полки Библию, немецкую, поставил назад, взял русскую (рядышком стоят).

— Вот...

Но заинтересовался чернильными каракулями на полях книги: такого-то числа водили корову к быку на случку, «за быка пуд жита», и еще какие-то хозяйственные заботы...

— Бесподобно! Нет, вы — язычники. Немцы верят добросовестнее, по-протестантски, из них это труднее вытрясти! Фюреру, думаете, легко с нами?

Тут же выкрикнул Полю про жито и быка, никто, кроме Муравьева, его не понял да и не услышал. Муравьеву объяснил: «Я спросил, чем Поль платил за козу или свинью. Или ему платили — как быку?»

Все знают, что Поля держали в концлагере за какие-то штучки, чуть ли не скотоложство. И тема эта никогда не приедается на вечеринках у Дирлевангера.

Листая книгу, Циммерманн легко находит и зачитывает полюбившиеся ему места: про то, как бог-предводитель, бог-воитель отдавал чужие народы в руки своему, «на съедение»: убейте всех, и мала и велика, и землю врага посыпьте солью! («Тут так и сказано: «на съедение!», «посыпьте солью!») «И взяли в то время все города его, и предали заклятью все города, мужчин, и женщин, и детей, не оставили никого в живых... Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было: и Бог воззовет прошедшее». И как ревниво присматривал за собственным народом, избранным, и карал детей за вину отцов до третьего и четвертого колена. А если слепят, смастерят себе идольчика, хотя бы каменного: «Ага, отлепиться от меня задумали!» И приказывал самым избранным из избранных: «Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану

от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». «Да ведь наш дьявол милостивее!» — когда-то кричал моему деду сосед, аптекарь-пакистанец. Моего дедушку очень обижали противоречия Ветхого и Нового Заветов, старой и новой морали. Идите, говорит старый бог народу избранному, к фараону и попросите того-то и того-то, серебра и золота, а я ожесточу фараоново сердце, и он откажет вам, а за это я нашлю град, мор и саранчу на его людей и землю! Сделаю так, чтобы он отказал, и его же народ за это покараю! И как могут в одной книге рядом стоять: «зуб за зуб!» и «не убий!», «до седьмого колена мечь» и «прощай врагов?». Мой дед не читал Ницше, век девятнадцатый вообще плохо слышал (а немцы — хуже всех!) человека, который разрубил этот христианский узел. Он первый, кто так громко и открыто осмелился сказать: а ее и не надо, никакой морали! Не нужна она людям, избравшим себя. Ни старая, ни новая: природа морали не знает! Прямо в сердце, в мускулы било током: «Боги умерли! От вас, избравших себя, произойдет народ избранных, а от него родится сверхчеловек!» Надоела дряблая болтовня о добре для всех. Сколько можно? Но выхода не видели. Фюрера еще не было. А книги были. Были! Вот эти. Но прочли их, как надо, только мы! Всегда и навеки: прекрасно то, что полезно для нашего движения. А что полезно — это открыто фюреру.

Опять ласково, почти сладострастно, погладил маленькой рукой разноцветные корешки, даже привстал на цыпочки, чтобы повыше достать.

— Он подсказал, что делать. Не в теориях, не в политэкономиях ищите — в себя загляните, да не трусьте, поглубже! Себя выпустите, дайте живому проявиться! Не стыдитесь себя! Отбросьте шелк! Ощутите радость ножа! Помните, у вашего Достоевского убийца обертывает бритву лоскутом шелка. Кого спас стыдливый лоскуток? Одно лицемерие! Христианское. Буржуазное. Марксистское.

Перебрасывая с ладони на ладонь книги, как ловкий печник кирпичи, переворачивая страницы слюнявым пальчиком, эсэсовец в пенсне и в детском мундирчике надсадно пробивался к ушам и сознанию Муравьева сквозь пьяное гоготание и пение других немцев:

— Жалость, сострадание к ближнему, доброта — ох, как это ново! И как удобно! Все это шантаж со стороны слабых, низших. Природа не лжет, говорит откровенно слабым, больным: вы должны погибнуть! А они адвокатов наняли, и те, болтая века и тысячелетия о жалости, сострадании, лишь удваивают, утраивают на земле страдание. Я жалею тебя, и нас уже двое несчастных — вместо одного. Это как зараза. Страдающих надо изолировать, как прокаженных. Циклоп смеется, когда его щекочет нежная рука — так и великая идея, когда ее дразнят моралью. Вся культура выросла из одухотворенной жестокости. Но именно одухотворенной, а не просто жестокости. (Презрительный взгляд на застолье.) Великая цель достигается лишь великим преступлением — против так называемой морали. Но нельзя упрощать, как делают у нас. Доброта не противопоставлена и новым людям. Вот, читаю... Ну, здесь про полезность стадной морали, инстинкта стадного, даже религии, но если это отдать низшим расам. Этим подготавливается порода людей, которая должна будет сама восхотеть нашей руки. Сама — в этом высший гуманизм! «Следствием было бы презрение к самим себе слабым: они постарались бы исчезнуть сами, сгинуть...» Так сказать, от неловкости. Как видите, мы тоже за мягкие методы. Каждому свое, но лучше если по доброй охоте. Когда с нас, голодных, драли репарации прожорливые версальские победители, похитившие нашу победу с помощью евреев и красных, они не церемонились. Вы знаете, чем нам грозили французы, англичане? Вывести немецкую молодежь в рабство, в Африку, если не заплатим. У победителя всегда была своя мораль! Но у них была чисто торгашеская, без всякой идеи...

Всего лишь четыре дня назад происходило это — в квартире штурмбанфюрера. Хмельную болтовню Циммерманна слушал Муравьев с удовольствием. Не все позиции — нет, не все! — сдал Муравьев. Ему, может быть, тяжелее, чем другим: он в стане врага, он вынуждает победителей менять свои представления о побежденных. А от этого польза разве для одного Муравьева? Ему, в конце концов, мало надо, ничего не надо!..

А потом в комнату тихо вошла с подносом Стася, служанка Дирлевангера. Стол обычно накрывала по-

жилая женщина. Молча приносила еду, испуганно говорила «данке» за грязную посуду, снова появлялась, исчезала. Стасю перед гостями Муравьев увидел впервые. Внесла поднос с чашечками кофе. И снова поразился Муравьев, насколько похожа, как напоминает она Бертю, его школьную любовь. Если перекрасить ее белые волосы в темный цвет... Или вернуть им цвет первоначальный? Отрастающие волосы Стаси предательски чернеют у корней. И невольно начинаешь думать: а глаза, такие голубые — ее, настоящие? У еврейки Берты, молоденькой школьной учительницы, глаза были, как уголь, черные. Но улыбка такая же «громкая» — полный белых, красивых зубов рот. Это было бы даже некрасиво у другой — не такой молоденькой, живой, веселой, как Берта. Вот и у Стаси: скромно или упрямо закрытый рот некрасиво выпирает. Но зато когда улыбается! Ждешь, когда...

— И воззвал Иисусе громким голосом: «Лазарь, иди вон!»

На этот раз в наступившей тишине Циммерманна услышали даже самые пьяные. Потому что услышал Дирлевангер: он внимательно рассматривал маленького обершарфюрера, очень внимательно. Лазарь! — так зовут и старшего сапожника, одного из подвальных евреев. Все еще живые, потому что считаются и называются «полезными», сидят прямо под квартирой Дирлевангера, делают классные сапоги могилевским «фюрерам». Полгода назад их было семеро, осталось поменьше. Как раз про старого, чернобородого Лазаря шепчутся, что он отец Стаси. «Погорел твой отпуск в Германию!» — подумал Муравьев, глядя на побледневшего Циммерманна. Маленький обершарфюрер никак не поставит на место книги. Ну, вот, испуганно посыпались на пол! Стася — худенькая, вся почти ребенок! — стояла, опустив глаза. Вся такая скромно-немецкая, в чистеньком передничке горничной, служанки. Тут бы Циммерманну — заодно уж! — процитировать еще и штурмбанфюрера: «Я не против, если вы спали с русской девкой, но вы обязаны тут же, своей рукой, застрелить ее». Специально для «иностранцев» заповедь. На них законы о расовой гигиене не распространяются. Но чтобы с еврейкой! — этого даже «иностранцам» не позволяют. Нет, все-таки сорвиголова этот Дирлевангер! По канату ходит!

А он вдруг пошел на Циммерманна, нет, не на него — к книжной полке, снял голубую немецкую Библию, поискал страницу и молча подал книгу Стасе. Та засуетилась, куда поставить серебряный поднос, его забрали у нее, а Дирлевангер неверной, сердитой рукой пьяного усадил ее в неудобное мягкое кресло:

— Дизес да, лис эс дизен швайнен фор! ¹

Негромкий, какой-то непривычный немецкий язык рассказывал историю Юдифи — с сочувствием, с гордостью за еврейскую женщину, которая, не щадя своей вдовьей чести, проникла в стан врага и осталась на ночь в палатке грозного военачальника, а когда он уснул, отрубила ему голову. И тем посеяла панику среди врагов, осаждавших ее родной город, спасла народ. Эту библейскую легенду Муравьев помнил со школьных лет — по веселому пересказу, читанному, кажется, в подшивке «Безбожника». И картина запомнилась: красавица на красивом подносе держит красиво отрезанную голову с аккуратно завитой ассирийской или вавилонской бородой...

Да, чьей-то голове падать! Это почувяли даже пьяные за столом. Поль испуганно тарацился. Дирлевангер слушал стоя и заставлял слушать всех.

Беловолосая девушка-ребенок кончила читать и подняла на штурмбанфюрера глаза. Глаза были ясные, голубые. Мягко присев, схватила серебряный поднос с остывшим кофе.

— Я принесу горячий, — сказала, почему-то глядя на Муравьева, белозубо улыбаясь. Совсем как Берта.

Две шеренги — немцы и новички-«иностранцы» — застыли от испуганно громкой команды молоденького немецкого офицера. Из-за близкого кустарника следом за бронетранспортером показался черный «оппель» штурмбанфюрера. С этого момента время жизни и смерти поселка Пролетарский — трехсот шести человек, которые никогда не слышали и не услышат имени Оскара Дирлевангера — зависело от того, как скоро он доедет, выберется из машины при его длинных, как у насекомого, тонких ногах, и когда, переждав инструктаж офицера, наставление новичкам-карателям, даст команду приступить...

¹ — Вот это читай этим свиньям! (нем.)

Из показаний Майданова Михаила Васильевича — родом из деревни Ольговка Киреневского района Курской области (продолжение):

«Каждый немец предложил стоящему за ним «иностранцу» следовать за ним к дому. Когда около каждого дома встали по два человека, немец и наш, то офицер дал команду зайти в дома. Я вместе с немцем зашел в пятый или шестой дом, а всего в этой деревне было двадцать пять или тридцать домов. В дом я вошел первым и увидел сидящих за столом старика и старуху в возрасте семидесяти лет и рядом с ними сидел парень лет пятнадцати. Немец мне сказал: «стреляй» и показал рукой на сидящих за столом людей. Я из своей винтовки сделал три выстрела, в каждого по одному выстрелу. Стрелял я в упор, и они упали на пол. После моих выстрелов дал по ним очередь немец и сказал «капут».

Шинкевич Степан Анисимович — уроженец села Николаевка Николаевской области:

«Впереди шел немец, а я за ним. Войдя в дом, я увидел три человека: мужчину лет сорока, среднего роста, он сидел около стола, женщину-старуху лет шестидесяти, которая лежала на кровати, и стоявшую недалеко от кровати женщину средних лет. Немец рукой показал мне, чтобы я стрелял в мужчину. И я выстрелил. Стрелял из винтовки в голову. Мужчина упал на пол и некоторое время содрогался. Немец короткой очередью застрелил двух женщин, и мы из дома ушли. Входя и в этот дом, мы с людьми не разговаривали ни о чем. Сразу застрелили и ушли».

Из показаний Грабовского Феодосия Филипповича — уроженца деревни Грабовка Винницкой области:

«После того как мы сошли с машины и построились, Дирлевангер через переводчика нам поставил задачу, что мы обязаны заходить в дома, всех расстреливать, а дома сжигать, что нами было и выполнено. Все каратели украинского взвода по одному, с одним или двумя немцами, стали заходить в дома...»

1946 год. Ответы на суде немецкого солдата Ганса Йозефа Хехтля — австрийца, уроженца города Сан-

Пельтен, бывшего ефрейтора 718-го полевого учебного полка.

О т в е т: Теперь, конечно, я знаю, что это нехорошо...

В о п р о с: Когда была вторая карательная экспедиция против партизан?

О т в е т: Вторая операция против партизан была проведена в 1943 году в феврале месяце, между Полоцком и станцией Оболь. Во время операции я лично поджег 40 домов и 280 человек расстрелял. Всего наш взвод расстрелял более 2000 человек мирного населения... Я неправильно делал, но если бы я не выполнил приказ, меня бы наказали.

В о п р о с: О чем вы думали, когда стреляли мирных людей?

О т в е т: Я ни о чем не думал.

В о п р о с: Сколько вам было лет тогда?

О т в е т: Восемнадцать.

Из показаний Иванова Афанасия Артемьевича — уроженца деревни Скриплица Кировского района Могилевской области:

«Немцы и мы стояли полукольцом у ямы, в которой находились мирные граждане деревни Вязень и Селец Кличевского района, и стреляли в них из имевшегося у нас оружия. У меня лично в то время была винтовка. У Ворончукова Демьяна и Романовича Владимира ручные пулеметы, у Барчика Августа, Изоха Василия и Борисенко Архипа Петровича автоматы...»

Хильченко Павел Иосифович — уроженец деревни Крутики Чернобаевского района Черкасской области:

«После поступила команда расстрелять жителей деревни... С нами в деревню прибыли немецкие офицеры из нашего батальона, и они отдавали распоряжения о сборе людей, а их распоряжения передавали командиры взводов и отделений рядовым карателям. Немцы и барчиковцы небольшими группами и по одиночке пошли по деревне, и в разных местах Студенки слышалась стрельба. Я также пошел по улице и встретил одну женщину, которая на руках несла ребенка дошкольного возраста. Женщина с ребенком свернула с улицы на огород. Я пошел вслед за ней и на огороде выстрелил из имевшегося у меня нагана в женщину.

Когда я стрелял, я был от нее в нескольких метрах. В женщину я выстрелил один раз, и она упала. Потом я выстрелил в ребенка. Я это сделал потому, что было распоряжение Барчика и немецких командиров расстрелять всех жителей деревни Студенка. Кажется, человек пятьсот».

Его же показания:

«...Около сруба в деревне Маковье находились немецкие офицеры Сальски и Роберт — имя это или фамилия, я не знаю. И еще другие немцы. Сальски приказал открыть огонь по людям, которых загнали в сруб недостроенного дома. Сальски умел разговаривать по-русски и давал команды на русском языке. Я установил ручной пулемет на ножки против проема для дверей в срубе — метрах в десяти от него, и мы открыли огонь... Немецкие и офицеры и командиры взводов стреляли в людей из автоматов. Тупига через окно. Это я помню, потому что еще боялся, как бы он сюда не завернул свой пулемет, потому что стрелял в боковое окно».

Из показаний Карасева Григория Семеновича — уроженца деревни Неговля Кировского района Могилевской области:

«В противоположном от входной двери конце комнаты мы обнаружили двух пожилых женщин, которые сидели на кровати. В чем они были одеты, не помню. С ними мы ни о чем не разговаривали. Смурович выстрелил из карабина в одну женщину, и она упала на пол. Затем я из своего карабина с трех метров выстрелил в грудь другой. Она тоже упала. Помню, что, не обращая внимания на убитых женщин, мы открыли сундук...»

Из его же показаний:

«Я зашел в один дом и увидел в первой его половине убитыми женщину и мужчину. Проходя во вторую половину, я увидел люльку, подвешенную на веревке к потолку, в которой лежал ребенок в возрасте примерно одного года. Был ли это мальчик или девочка, я не разобрался, выстрелил в упор из винтовки и убил его».

Из показаний Багрия Мефодия Карповича — родом из села Михайловка Полтавского района:

«Мне хорошо помнится такой случай. Я проходил по деревне, называлась она, кажется, Нивка, и я видел немца, который нес мальчика лет шести-семи, держа его за рубашку, а затем три раза его о землю ударил и убил».

Его же показания:

«Парень, лет может десяти, вцепился немцу в ремень: «За что ты убил маму?» Тогда я выстрелил. А немец снял с кровати грудного ребенка с подушкой и положил на пол. Поднес ствол винтовки к самому лицу и выстрелил. И приказал вытаскивать тех, кто под кроватью...»

Бывший каратель Силин Александр Иванович — уроженец деревни Точище Кличевского района Могилевской области:

«Когда возвращались из Борок домой, кто-то из карателей рассказал, что Русецкий Андрей расстрелял по приказанию Иванова Афанасия целую семью. Тогда же все смеялись, что, когда Русецкий расстреливал людей, у него тряслись руки».

Из письма-заявления Муравьева Ростислава Александровича (после приговора к расстрелу):

«В этом письме речь не обо мне, а о моей семье и моих родственниках.

2 сентября 1945 года я добровольно возвратился из Франции и в Советской зоне явился в контрразведку, считая, что моя фамилия и мои преступления ей известны. Но на меня, к сожалению, посмотрели с изумлением. Обо мне не знали. Тогда я поставил перед собой цель — наказать себя, но так, чтобы можно было трудом доказать правительству: мои преступления перед родиной совершены не из ненависти к Советской власти, а растерянностью в начале войны, страхом перед голодной смертью и возмездием со стороны карательных органов, трусостью перед смертью в момент пленения. Наговорил на себя «достаточно», судом был приговорен к 15 годам и направлен на шахты...

Никогда никому (а тем более семье, родственникам) я не рассказывал о своих преступлениях и думал, честно говоря, что уже не придется.

Я вас очень прошу — не передавайте огласке че-

рез газеты, радио, телевидение и другие каналы информации о предстоящем процессе.

Вся моя семья и родственники — истинные труженики и порядочные люди в лучшем смысле этого слова. Я преступник, в 1945 г. наказал сам себя (к сожалению, недостаточно), а в 1971 г. объективно выходит так, что больше наказывается моя семья. Машина «Волга», гараж и 4,5 тысячи денег — это принадлежит моей жене. Тем более что в 1945 г. у меня была конфискация. Таких женщин, как моя жена, не так уж много на Руси, будьте милосердны к ней. Она, интеллигентная женщина, врач-гинеколог, добровольно приехала ко мне на поселение, самоотверженно разделив трудности, переживаемые мужем.

Я каким-то образом оказался среди них уродом, так пусть же весь мой позор падет только на меня.

Будучи в плену, я во многом заколебался и считал, что навсегда потерял Родину. Я был совершенно обессилен и убит. Уже тогда я считал себя преступником и не понимал, почему так случилось. Я не могу точно сказать, почему оказался в стане врага. У меня не хватило сил сопротивляться, и я стал врагом по стечению обстоятельств. Всему виной война. Попав в плен, я считал себя конченым, потерянным для страны человеком. Я пошел на службу к немцам, т. к. у меня было одно желание — выйти из лагеря. Меня преследовала мысль, чтобы только выжить.

Все происшедшее со мной в 1942—1944 гг. я расцениваю как большое горе, причиненное Родине, а также мне и моей семье... Я не стараюсь защитить себя, однако я хочу сказать, что мы сейчас не такие, какими были тридцать лет назад... Но несмотря на все это, я считаю, что ко мне должна быть применена высшая мера наказания. Только прошу не обижать мою семью и не конфисковать имущество.

Я не отрицаю своей вины, не прошу снисхождения, но не могу принять на свой счет ряд преступлений. Я занимался укомплектованием кадров, рекомендовал офицеров и унтер-офицеров, устройством семей полицейских, конфликтами между немцами и русскими — был просто офицером связи.

Я предал свою Родину, я изменник, я подлец, но я был солдат в стане врага, а не изверг и палач!..

В то время я был в основном солдатом, которому бы-

ла противна такая жизнь, я лез всюду, где меня могли убить, но, к сожалению, пуля не нашла меня тогда.

Разве я знал, куда попал, когда из плена «добровольно» поступил в команду СД? Только через месяц узнал. Желание выжить, а также узнать, что же это за сила, которая смогла сломать Советскую власть (тогда казалось именно так) и привело к падению, а потом немцы окончательно связали одной веревкой с собой...

Только я лично никого не убивал, не истязал. Это наговоры. Зачем мне это было, если у меня было под командой столько людей? Уже за то, что я ими командовал, я больше, чем они, заслуживаю высшей меры. Какой мне смысл теперь отрицать?..¹

Из будущих исследований, источников о гипербореях XX столетия:

«В эпоху долгожительства воистину редкой добродетелью среди гипербореев стала готовность прекратить собственное существование. Даже когда жизнь теряла всякое человеческое оправдание и становилась опасной для чужих жизней. Гиперборей живут восклицая: «Лучше ты умри сегодня, а я — завтра!» И в одном они талантливы, все без исключения гиперборей — в искусстве самооправдания. И тем искуснее здание, чем меньше у них материала».

РАЗГОВОР УМЕРШЕГО БОГА С ПРОСТИТУТКОЙ

О н а. Что означают все эти часы, Господи? Или это какая эмблема, знак? Собираешь старые часы и развешиваешь среди звезд.

¹ После выхода в свет книги «Каратели» в 1981 г. Янка Брыль передал мне письмо своего земляка Владимира Константиновича Томки из г. п. Городище. В письме сказано: «Между прочим, эти каратели в 1944 г. стояли в д. Великое село, возле Городища. Автор говорит, что на суде Муравьев сказал, будто бы он лично никого не убивал, только приказывал убивать. Весной того года кто-то из батальонцев дезертировал, но, боясь также и партизан, прятался в своей деревне, недалеко от Городища. Его поймали. Выстроили на площади весь батальон, зачитали приказ, и Муравьев сам, лично, выстрелил из револьвера в затылок осужденного... Мне когда-то рассказывали люди из деревни, на глазах у которых все это происходило...» (Примечание автора.)

О н. Ты снова пришла, женщина! Спасибо, добрая душа. Я тебе кажусь старым часовщиком? «И времени больше не будет...» Это все иконы времени, они остались, музей, назовем это так. От потопа — водяные, от сотворения планет — солнечные, от сотворения вселенной — эти, с черными дырами там, где привыкли видеть цифры...

О н а. Значит, они вместо икон здесь?

О н. Не вешать же мне свои портреты! Ни у кого нет такой коллекции, правда ведь? Песочные, механические, электронные, радиоактивные... А эти знаешь какие? Расщепляют время: секунду растягивают на многие годы. Об их существовании человек догадывается, но смотрит на них обычно лишь в самые последние свои мгновения, перед концом. Потому что и дальше жить в полусне, как вы живете, уже некогда.

О н а. Одного только петуха здесь нет. Меня в детстве в моей деревне петух будил. В окно заглядывал — одним, другим глазом, сердито так, такой желтый.

О н. Ему здесь было бы одиноко, живому.

О н а. Ты об этом снова... Будто Ты можешь умереть на самом деле!

О н. Это не я говорю. Помнишь, как радовался твой студент: «Боги умерли! вперед, высшие люди, гипербореи! Умерли боги — пришло время сверхчеловека!»¹

О н а. Ты тоже считаешь, что я повинна в его безумии. Я столько раз об этом читала... Вернее, мне читали: не пропустят, покажут! Не слишком ли много на мои слабые плечи?

О н. Ты подошла, ты погладила его по щеке, а он убежал, а потом все-таки вернулся... Так и было на самом деле?

О н а. Да, вернулся, отыскал меня. Я его предупредила о своей болезни. Потому что увидела, что он меня любит. Представляешь — меня!

О н. Значит, он был ужасно одинок, ужасно! Есть у меня знакомый, он пишет...

О н а (*не слушая*). Значит, все-таки я, во всем одна я повинна! В безумии его, а значит — и всех.

О н. Я этого не говорил, женщина. Есть у меня знакомые и среди историков. Приходилось слушать их

¹ Фридрих Ницше.

громкие споры. Так вот, твой бедняга студент лишь помог болезни определиться. Он лишь выразил красиво — и может, это главный грех его! — совратительно красиво прояснил то, что происходит в мире. И тем самым повесил вину времени себе на шею... (Хорошо умеют иногда написать мои знакомые.) Ничего не скажешь, словом владел и он, твой огнепоклонник, антихристианин: «Отвратить свой взор от себя захотел Творец и создал мир...» Да, имел буквы, как он выражался, «чтобы и слепые их видели». Слепых оказалось больше, чем он даже мог рассчитывать, когда звал действовать ножом. Во имя «новой любви» к человеку. Тщеславное зеркало — вот кто твой велеречивец! «Смотрите, люди, как я вас беспощадно отражаю! А для этого — смотрите на меня». На меня! — в этом вся штука. «Знать вас не желаю, презираю вас, ничтожества, смотрите, смотрите, как я вас знать не хочу! Сюда, на меня, в меня смотрите!» Густо же вас на этом замесили — на злом, не добром тщеславии. Унизить — чтобы возвыситься!

О н а. А мне он показался таким добрым и сострадательным — похожим на женщину. Глаза, как у больного ребенка. Я у него первая была, я сразу поняла.

О н. Первая женщина — и сразу сифилис! Можно обидеться, рассердиться на целый мир.

О н а. Я даже денег не взяла. Зачем он не ушел, вернулся, господи, я же предупреждала его?

О н. Свое хотение поставил превыше всего. Это с вами бывает. Нет, я в высоком, в бытийном смысле!..

О н а. А потом, на фотографиях, он стал носить эти противные солдатские усы. Такие были у солдат, что поймали меня на отцовском лугу и затащили в лес. Они все лошадьми воняли. Вот они и заразили.

О н. Они — тебя, ты — его.

О н а. А он — всех?

О н. Мы с тобой уже говорили: не так все просто. Вот у меня физик есть знакомый, так он предлагал такую модель...

О н а (*не слушая, о своем*). Если моя вина, так не с меня же началось. А кто-то и тех солдат...

О н. «В начале было Слово, и Слово было Бог...» Так, кажется, у Иоанна? Но Сына зову в свидетели: не того я хотел! Я вообще ничего не планировал, не задумывал. Твой студент угадал: я не из глины создал

вас — из вдохновения! Вы удались мне в особенно счастливый миг. Такого не бывало до, не повторялось после. Может быть, и впрямь: стало одиноко и захотелось иметь равного себе. Вот вы все в небо всматриваетесь, по-вашему, Космос. С первого дня своего. Даже подпрыгиваете от нетерпения. Как дети: все хотите убедиться, что вы не одни, не одиноки. И вас очень обидела бы догадка, что вы могли и не возникнуть. Даже моего хотения или нехотения было недостаточно. Нужна была та минута, озарение.

О н а. Кажется, ты жалеешь уже о своей щедрости, удаче, Господи? Да, мы жестокие и неблагодарные дети. Но ты же мог и подрисовать свое творение, подправить.

О н. Исправлять, улучшать вдохновение? Доделывать, переделывать. «С холодным носом» — как любит выражаться один мой знакомый режиссер! Которому никак не удается осуществить свое вдохновение. Потому что другим заранее известен результат. У меня комитета по делам вдохновения не имеется. Ну, а если серьезно, так ведь я отдал вам все: и тот инструмент, которым вас сотворил, — Природу. Продолжайте, заканчивайте. И самих себя — тоже. И вы, черт знает что смогли, сумели — нельзя не поражаться! Планету, которая вам была дана навывост, сделали маленькой. Хотя начинали, как муравьи. Физик, тот самый, как-то вывел — специально для меня! — формулу исторической энергии, разрушительно возрастающей... Тут уж в пору действительно вмешаться, «из Космоса» посылать сигналы: холодно, холодно... тепло, тепло!.. жарко! А какими я вас видел вначале, как жалко вас было порой, когда человек уступал всякому, у кого клыки и когти. Подальше от саблезубых и поближе к смиренным, как коровы, динозаврам! (Впрочем, эти прошли по земле раньше.) Скромно пользовались тем, что уже завоняло и не привлекает никого. Вас было так мало в большом, в огромном мире, что себе подобных убивать — на это разума еще не хватало.

О н а. Но Каин?..

О н. Это позже, гораздо позже. Когда человек познал радость наслаждения властью, жестокостью. Радость ножа!

О н а. Почему же, почему? Это обязательно, Господи?

О н. Хотелось бы верить, что не обязательно. Но мне труднее: я больше помню. Я все помню! Как бы не пришлось и человека, уже мне, вносить в Красную Книгу! И еще неизвестно, по чьим формулам — физиков или поэтов, таких, как твой студент, Землю взорвут...

О н а. А значит, нельзя нас оставлять одних.

О н. Не все так считают. Студент твой лучше знал людей: «Бог, который все видел, даже человека: этот Бог должен умереть! Человек не выносит, чтобы такой свидетель жил!»

О н а. Я женщина, и я особенно чувствую, как тяжело человеку одному.

О н. Кто знает, возможно, мне действительно не хватило твердости до конца. Или любви. Тоже до конца. Не знаю. Как у моего знакомого хирурга. Нужно было сделать операцию, а он — самый крупный специалист — отказался. Не решился. Перепоручил. Ведь на столе лежал его сын. Это не жестокость, поверь, женщина, это другое что-то.

О н а. Я знаю. Это любовь. И что, сын умер?

О н. Умер отец!.. Ну, я, кажется, делаюсь высокопарным. Да, у него все прошло благополучно... А у меня... Увы мне! Я устал миловать!.. Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски!.. Устал я! Враждуйте, народы, но трепещите!.. Вооружайтесь, но трепещите!.. Будут жечь оружие, а спасения не будет!..

И сломлю гордое упорство ваше и небо ваше...

О н а. Теперь Ты страшен мне! Не узнаю Твоего голоса, лица.

О н. Небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь... Мясо будете есть, пока не пойдет оно из ноздрей ваших!.. Ибо господь, бог ваш, есть огонь поядющий, бог ревнитель...

О н а. Ты ли здесь сейчас, Господи? Разве не о Тебе сказано:

«Когда он замечает, что мир заслуживает уничтожения, тогда, встав с трона суда, он садится на трон милосердия»?

О н. А потом пришел он. И воздвиг арку мира между мной и вами. В облаке гнева явилась радуга. Жалость к вам — жестоким. Сострадание — к безжалостным. И это пересилило даже к отцу любовь, веру в обязательную его справедливость. Он возжелал —

на глазах у отца! — перетерпеть ваши муки. Мне в укор: «Не делай другим, чего не пожелал бы себе — сыну своему!» Вот как против меня поставил мою же заповедь. Каплю за каплей испил, со страхом, с человеческим страхом: «Отче мой! если не может чаша сия миновать меня...» Через собственную, через родную боль я ощутил, каково и вам — да, недобрым, да, жестоким, но от самих себя и страдающим. Я в ад спустился — к сыну. Впервые вошел туда. И ад широко раскрылся, чтобы уловить бога. И ада не стало: весь смысл ада — в боголишенности. Не стало адского огня. И бога прежнего — опоясанного огнем и гневом — не стало. В ваши руки отдана судьба ваша. И огонь поядущий — в ваши руки. Ну, чья десница тяжелее? Бога небесного или божков земных? Тех, что обожают управлять миром. С молодых ногтей готовы уверовать, что мир для того создан, чтобы они имели это удовольствие — управлять.

Назовите мне жертвоприношения, каких не возродили они! Отцы детей, дети родителей отдают на заклатие — идолам. Которых сами потом низвергаете. Чтобы освободить место для новых?..

О н а. Господи, у меня не такие ноги, чтобы шагать за тобой с вершины на вершину — по притчам твоим.

О н. Неужели нужно быть распятым, чтобы тебя услышали? Или огнем опоясанный должен вернуться я?

О н а. Пожалей их!

О н. А вы, вы хотя бы испугайтесь! Пока не поздно.

О н а. В них твое дыхание.

О н. Хочешь сказать: они такие, какими из моих рук вышли. Но я уже объяснял. А мне один физиолог попытался и научно разъяснить результат моего вдохновения — феномен человека. Оказывается, в зверюшек я вложил их самих. И ничего больше. Они изначально равны себе. А человек равен тому, что из него еще сделают. Условия сделают и другие люди. В волке заложен «волк», в овце запрограммирована (как выражаются мои знакомые) «овца», и они ролями не поменяются. Как это происходит у вас — палачи и жертвы!.. Ни при каких условиях. Из нормального кузнечика всегда получится кузнечик, из воробья — воробей, из тигра — тигр. Не то, совсем не то человек! Если его вырастят обезьяны, будет обезьяна, хотя и в человеческом обличье. Если волчица вскормит своим молоком и воспи-

тает, будет волк. Пустота, которую я оставил в человеке, может заполниться чем угодно. Я лишь сосуд изваял — особенный, не могу не гордиться! — и вручил вам. Сами собой наполняйтесь. Всем, что накопили, накопите. Друг другом наполняйте себя. Собою — других. Род ваш неделим. В тебе — все, и в каждом — ты. Сами себя делающие, творящие — вот кто такие люди!

О н а. Но мы так хотим счастья! Больше всего. Все хотят счастья.

О н. Хотят все. Но почему же так часто — это я у себя спрашиваю — желание и обещание добра кончается злом? Даже крест, на котором умер мой сын во имя любви, сумели превратить в символ раздора, ненависти.

О н а. Кончится тем, что ты нас возненавидишь!

О н. Даже у богов есть свой ад: это их любовь к людям! Тут прав студент твой... О, если бы я знал, перед кем стать на колени. Если бы знал перед кем. Просить, молить: не загубите случайное и лучшее мое творение! Не сотрите живые письмена! Никто не сможет — и я тоже не смогу! — повторить. Никогда больше.

Я молить готов!..

О н а. Господи, что Ты сделал? Господи! Что со мной теперь будет, с нами? Ты меня (такую! меня!) поцеловал? В самые губы! Совсем обезумел мир. Что Ты сделал, зачем? Я же предупреждала!.. И его тоже. Что вы делаете с собой, несчастные? Что вы делаете, проклятые?

ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЕ ДЕРЕВНИ БОРКИ

Доктор Оскар Пауль Дирлевангер, год рождения 1895, Вюрцбург, родители — Август Дирлевангер и Паулина Херлинггер.

Член партии с 1932 г., в СС принят в 1940, в 1942 — штурмбанфюрер, командир спецбригады, 1943 — оберштурмфюрер СС, 1944 — штандартенфюрер СС, в конце 1944 — оберфюрер, командир эсэсовской дивизии, уничтожившей восставшую Варшаву, а затем — деревни вместе с жителями в горах Словакии.

Рост — выше среднего, глаза — голубые, волосы — белые, нос — тонкий, образование — университетское, коммерческое, вероисповедование — христианское, особые приметы — никаких.

Выезжая из деревни, где его солдаты и новички-«иностранцы» побежали по дворам, по хатам, Дирлевангер уже не помнил о тех, кто сейчас работает или кого убивали там. Хватает у него и других забот, мыслей. Сидящий рядом с водителем штурмфюрер Муравьев молчит и неподвижно смотрит вперед: умеет не мешать, когда шеф не в настроении. Этот азиат с широким носом и тонкими губами знает, как себя вести. Ненавязчив, но всегда под рукой. Такт и понимание дистанции у него есть. Но все равно Дирлевангер уже принял решение. Слишком значительные фигуры участвуют в тайной игре, возне вокруг Оскара Дирлевангера, и тут уж не жалуйтесь, если кому-то будет плохо. На то он и «дублер» — русский дублер командира спецбатальона — чтобы делить и неприятности своего шефа. А если надо, то и «козлом» быть. Тем самым, в которого русские бросают все шишки.

И там, в деревне, когда рассматривал шеренгу новичков и слушал штурмфюрера Муравьева, его инструктаж на русском языке, думал не о них, а о письме партайгеноссе Фридриха, сочинял мысленно ответ, умелый, предусмотрительный ответ. Написать и отправить завтра же. Отличная идея: изложить как бы в дружеской болтовне все обстоятельства и расставить акценты-ловушки таким образом, чтобы письмом сразу заинтересовались в цензуре и подали его выше, как можно выше. Уж там-то поймут! Ничего нет хуже, как иметь дело со средним, а не с высшим звеном. Сверху и громом молния ударить может, но зато там не боятся брать на себя ответственность. Там юмор понимают — не то что эти безликие чиновники! И там нет предрассудков старонемецких. Упомянуть в письме имя рейхсфюрера Гиммлера таким образом, чтобы узрели намек на личное знакомство и общую тайну, но и вроде бы двусмысленность. Сразу подадут наверх. А рейхсфюрер, возможно, помнит, как однажды уже протянул руку помощи неизвестному старому бойцу партии Оскару Дирлевангеру. Должны наконец понять, что тут не рядовой случай, а все та же и очень опасная практика: сведение

трусливых чиновничьих счетов с настоящими революционерами национал-социализма! В конце концов все держится на немногих людях, близких по духу — и сама пирамида государства. Высший государственный интерес — сохранять дух национал-социализма, а он в старых бойцах. Уже был случай, когда рейхсфюрер простер грозную и спасительную руку. А ведь тогда Дирлевангер даже не был принят в СС. Все не могли забыть, что он ветеран СА, что близко стоял к Рему. Глупый и храбрый, доверчивый капитан! — сколько репутаций и жизней увлек он за собой в могилу. Но Дирлевангер никогда не бросал вслед ему камни, как это спешили делать другие. Потому и раздули историю с девочками-малолетками. Ах как вдруг всем стало не по себе от «страшных» слов: развращение лиц моложе четырнадцати! Но попало это дело на глаза рейхсфюреру Гиммлеру, и сразу мрак озарился человеческой усмешкой понимания: «Смотри, какой браконьер!» Свет и воздух ворвались в канцелярии: «параграф 176, абзац 1 — за соращение, развращение...» — сразу все потеряло грозное значение, одно живое слово поставило на место все и всех. Стали повторять, тоже с пониманием: «Ах, это тот браконьер?..» И вместо тюрьмы, лагеря — легендарный авиаполк «Кондор», Испания! А теперь снова зашевелились, подбираются, подползают. Снова пытаются отнять у Германии еще одного ветерана движения. Ненавидят и боятся «плебеев». Это они в свое время натравили фюрера на штурмовиков, на Рема, боялись, что рейхсвер станет действительно народной армией, а вчерашние оберлейтенанты, капитаны выметут из штабов всю генеральскую рухлядь. Теперь, когда побеждаем, они тоже активисты, научились руку выбрасывать, тянут старательно! Поверх голов старых бойцов стараются дотянуться до фюрера.

Муравьев повернул назад голову, показалось, что к нему обращены смех и восклицания шефа. А тот сердито встретил его взгляд и приказал водителю, чтобы обогнал болванов, которые пылят впереди «оппеля». Немец-шофер длинно, требовательно засигналил, пятнистый бронетранспортер сразу свернул в зеленую рожь и остановился, качнувшись, а хвост пыли обогнал его и медленно пополз по дороге — навстречу дымам.

«Дорогой партайгеноссе Фридрих...» Начать и сразу же: «Я приятно поражен...» Именно — приятно! Да, да, приятно поражен, что рейхсфюрер СС лично получил сведения о моей жизни в Люблине... На этих словах задержится брезгливый и цепкий взгляд — стеклышки знаменитого пенсне: «Кто это смеет ссылатся, поминать всуе имя Гиммлера?» Да, Дирлевангер, Оскар Пауль Дирлевангер, обратите внимание — уже штурмбанфюрер, командир специального батальона! Тот самый «браконьер» и, между прочим, ветеран Испании, Польши. О Польше как раз разговор идет, о Люблинском концлагере... Вцепились, как псы! Не сдал, видите ли, какие-то подштанники еврейские. Не по инструкции сдал имущество. О, эти их инструкции! Они и сюда их шлют — с моих же отчетов списывают и мне же указывают, как и что делать. Где зубы, золотые челюсти куда девал? Будут жрать гусей, поросят, которых соберет и отправит мой батальон, и снова писать про подштанники и зубы. Потеряешь с ними всякое терпение. Но в письме об этом — вскользь, с презрительной усмешкой. С горькой и презрительной. И, может быть, упомянуть о подарке рейхсфюрера — о книге «Чингисхан». Книгу с автографом Гиммлера, хотя и не он автор, вручают всем гауляйтерам и командирам отличившихся айнзатц- и зондеркоманд. Отличившихся! А рейхсфюреру будет приятно прочесть, что намек, что юмор его с рассылкой этой книги понят, оценен. Эти просторы основательно утюжились с востока на запад, пришла пора проделать то же самое — с запада на восток. Пожать руку Чингисхану — через тысячекилометровые пространства, через века! Вот это мышление, масштабы — не ваши дерьмовые инструкции: «Напряжение дня рекомендуется снимать товарищескими вечеринками, чтением писем родных и близких...» Может быть, чтением ваших инструкций-рекомендаций? Вот возвратимся из этих Борок в Печерск и тут же примемся. Идиоты!

«Я приятно поражен, партайгеноссе Фридрих, что бригадный генерал Г...» (Не называть фамилию полностью, пусть разгадывают!) «Что бригаденфюрер Г. выполнил свой долг и...» (хорошо бы написать: «оклеветал меня»). Выполнил, свинья! Получается, что только бригаденфюрер озабочен государственными интересами. Сколько месяцев минуло после того Люблина-

Майданека, уже целым батальоном командует Дирлевангер, жизнь, судьбы тысяч уже не поляков, не евреев, а этих советских белорусов зависят от его решимости и твердости, а бумаги все ползают по следу, ищут, нащупывают. Заодно с этими бандитами-партизанами, да, да, и те и другие хотят одного: уничтожить Дирлевангера! Вот так оно получается, мой дорогой рейхсфюрер! Послушать их, так люблинский Оскар Дирлевангер об одном только и мечтал: сохранить жизнь полсотне евреев. А вторая его вина: отравил их, тех самых евреев. Концы с концами не сходятся, но это не имеет значения для немцев, которые от зависти или с испугу топят других немцев. И тем самым великолепно демонстрируют расовое братство. Ах, какой нехороший этот Дирлевангер: взял и отравил тайком! Чтобы, пользуясь отсутствием бригаденфюрера, самому распорядиться золотыми челюстями и коронками. Сначала подкармливал, даже вступал в дружеские разговоры — для себя отобрал и оберегал тех, у кого золото во рту. А потом быстренько отравил, и золото исчезло.

Все убедительно. И все ложь!

Такие бригаденфюреры слишком высоко оценивают свою деятельность в лагерях. Предел их стараний и преданности фюреру — убрать парочку миллионов евреев из Европы. Аж мурашки по спине от таких масштабов! Им нас не понять, для кого такая работенка — лишь способ разогреться, зарядиться перед настоящим делом. Перед нами не три, не пять, а тридцать, пятьдесят, сто миллионов — славянское море! Приехал бы да помотался по белорусским болотам! Это не за двумя рядами проволоки сидеть, на пулеметных вышках. Непроходимые леса, болота, бандиты за каждым кустом и углом — вот в каких условиях мы работаем. Тут сразу забыл бы о золотых зубах. Не казалось бы событием, достойным внимания высших инстанций, «неправильное» оформление имущества пятидесяти заключенных. Сколько можно об этом спрашивать, а мне отвечать на дурацкие запросы? Гауптштурмфюреру Штрайбелю сдал — Штрайбелю! Штрайбелю! — и все пошло для каторжной команды. Все штаны-подштанники! А что касается паршивых коронок, так их вырывали в присутствии начальника полиции Люблина, и все передано лагерным врачам. Да, да, дантистам! Разве вам ничего об этой практике неизвестно? У эсэсовцев

тоже портятся зубы, и для них всегда оставляют часть добытых коронок. Я будто знал, предчувствовал, а потому сразу поставил в известность самого бригаденфюрера Г., хотя он теперь делает вид, что впервые слышит об эсэсовских зубах, о практике, которая не с нас началась. Отшибло память, как только прослышал, что узнали и недовольны в Берлине. Такие немцы переносят в нашу среду нормы, которые могут практиковаться лишь в отношениях с другими расами, немцами. Если все смешать, как же мы построим новый порядок, честную немецкую жизнь на всей планете? Значит, можно лгать и немцу, травить своих — если не собаками, так бумагами! Нет, подумай, партайгеноссе Фридрих (и вы, рейхсфюрер!), как все просто и убедительно! Пил шнапс с евреями, имел любовную связь с еврейкой, а потом взял и всех отравил! Целый барак. Более того, слушайте, слушайте! Уже колебался, раздумывал, не отбросить ли мне мои прочные принципы мировоззрения и не променять ли их на благосклонность какой-то еврейки. Но потом испугался и накормил их мышьяком. Как здорово угадывается в этой логике собственная их неполноценность! А как сами они верят в окончательную победу идей фюрера, пусть другим рассказывают, но только не мне. Видел, насмотрелся уже в Польше. Чего стоит одна история с рубашкой поляка: тайком вышил по ней цифры забитых в лагере и фамилии самых старательных фюреров, а они прочли, и такой переполох был. Точно склад оружия обнаружили! Все тряпье перебрали: а нет ли где еще доноса на них? Ты же сам мне, партайгеноссе Фридрих, рассказывал, что и на тощих задницах смотрели: а вдруг там кто-нибудь выколол цифры и фамилии для будущих мстителей, там прячет обвинительный материал! А рваную рубаху с нитяными их фамилиями не забыли послать в Берлин: смотрите, как мы рискуем, оцените наше мужество! Каким голосом запели бы вы на моем месте — в этой бандитской Белоруссии! Попробуй втолкуй типам, которые лишь заучили, как молитву, национал-социалистские идеи, что не ко всем обычные мерки приложимы, попробуй объясни свои поступки людишкам, у которых идеи фюрера не расцвели в душе радостью, игрой, наслаждением! Они даже не допускают положения, когда настоящий немец, человек-господин испытывает потреб-

ность проходить, как нож, через массу недочеловеков, не боясь измазаться. Потому что старого бойца ничто замарать не может. Смелая, рискованная, на самой грани игра! — что еще даст такое ощущение хозяина положения, господина, победителя? Вам бы все за стену прятаться, через стеклышко следить, чтобы не слышать воплей и проклятий! Сюда бы вас, в Белоруссию! Тут «контактов», даже «нежелательных», не избежать. Как бы шокировало вас, если бы узнали, что мои солдаты на деревенских вечеринках играют на губных гармошках. Правда, потом, утром, заходят к тем же людям, в те же дома и всех ликвидируют. Всех, кому наигрывали. Но про эту мелочь в своих доносах вы, пожалуй, забудете упомянуть. Зато из губных гармошек извлекли бы громкое «государственное» дело!

Чем больше штурмбанфюрер Дирлевангер и чем презрительнее думал о грозящей ему «бумажной» опасности, чем увереннее выкладывал «партайгеноссе Фридриху» все свои козыри, тем неприятнее сосало под ложечкой. И тревожнее делалось, пропадало всякое настроение. И это в такой важный, ответственный трудовой день.

Слишком хорошо знал Оскар Дирлевангер, как рушатся судьбы и карьеры, подточенные незаметными бумажонками и ничтожными людишками, которых, к сожалению, не можешь поймать в прорезь прицела. Человек уже у самого святилища, кажется, все нипочем ему, недосыгаем, и вдруг летит с горы вниз, а вслед ему: полукровка! гомосексуалист! скрыл! присвоил!.. Не успел опомниться, а уже в Заксенхаузене, уже с черным или фиолетовым треугольником на полосатой одежде! Уже тихий, уже смиренный, с лопатой или киркой, уже и не представишь его прежним, в генеральском мундире, с моноклем. Слишком знакомо, сам наблюдал таких, когда служил в Люблине и ездили обмениваться опытом в Заксенхаузен, в Дахау. Вот и Поль — далеко не генерал, но преданный фюреру немец — храбрый пьянчужка Поль тоже прошел через это. Поползал с киркой да в полосатой одежде с фиолетовым треугольником извращенца. Счастье его, что на пути ему встретился Дирлевангер. Но и Дирлевангер не помог бы, да и не стал бы помогать, если бы не поступило от рейхсфюрера распоряжение-разрешение набирать в айнзатц- и зондеркоманды всю эту публику.

Чтобы заставить их заняться немецко-полезной деятельностью.

Но как меняется человек, не перестаешь удивляться. Тот же Польш — был студентом, буйным и неуправляемым, потом заключенный под номером, без голоса, без лица, и снова прежний, но еще более буйный, пьяный, все на своем пути крошащий Польш! Но даже не это главное — каким ты кажешься или выглядишь со стороны, а каким сам себя осознаешь. Это и Дирлевангер пережил, когда сидел в ожидании суда по обвинению в забавах «с лицами моложе четырнадцати лет». Ты уже вроде бы и не ты: губы сами слипаются в улыбочку, плечи к ушам, а уши к плечам тянутся, любой вахман кажется господом богом...

А в концлагерях, как нигде, разглядел человека — в упор. Это мудрое распоряжение: всех, кому служить в «общих СС», посылать для стажировки в лагерную охрану. Действительно, начинаешь понимать, как выглядят и чем пахнут отбросы человечества. Преступники, евреи, проклятые поляки... Рейхсфюрер Гиммлер умеет самую суть выразить словом, которое запомнишь: «Походите, подышите у анального отверстия Европы!»

И вдруг сюрпризик: откуда-то вываливается Польш и становится по лагерной стойке: «головной убор» — тряпичное подобие берета, держит, прижав к груди, глаза приопущены. Слинялый, жалкий ошметок человеческий — бывший Польш Тюммель, дебошир и пьяница Польш! Дирлевангера он, конечно, узнал, но не радость и надежда, а трусливая, виноватая покорность была на его отощавшем грязном лице. Наглостью уже было то, что он узнал бывшего своего собутыльника и тем самым как бы приглашал узнать, признать его самого. Потолки лейпцигских пивных, студенческих кабачков, на которых он так любил расписываться, где-то и сейчас провозглашали имя Поля Тюммеля, но немца-арийца под этим именем уже не существовало, а был номер такой-то в полосатой одежде. Грязный, жалкий, несчастный. Главное, несчастный, и этим как бы подтверждающий свою принадлежность к отбросам. Этим — даже больше, чем одеждой и треугольником. Даже свежей, хорошей колбасы кусок, если по ошибке уронишь его в посудину с гнилыми отбросами, обратно не выхватишь и есть не станешь. Сразу же станет от-



Анна Митрофановна Адамович
с сыновьями Евгением и Александром
и внучкой Наташей. 1960 год.



Вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Кузьмы Чорного.
В президиуме: Нил Гилевич, Василь Витка, Иван Чигринов,
Алесь Асипенко, Михаил Делец, А. К. Романовская,
Сергей Законников и другие. Выступает Алесь Адамович.
1980 год.

бросами и он. Так и человек, даже если он немец, но если он потерпел поражение и вид его взывает к жалости. Заговорил с Полем, а в ответ голос из грязной посуды — лагерный голос, бесцветный, испуганно-покорный. Захотелось ударить, втоптать его еще глубже — чтобы уже ничего общего с тем Полем, с твоим студенческим прошлым!

Потом все же вспомнил о нем и даже вытащил, забрал в свой батальон. Но с того момента знал точно, ощутил — как запах ощущают — что и среди немцев есть расовые отбросы. Это те, кого жизнь столкнула вниз, под ноги и кто смотрит оттуда глазами потерпевших поражение. Всем немцам грозило такое вырождение, если бы не вернули им волю к власти, национальную волю фюрер и его партия. Свалились бы надолго и, может быть, навсегда под ноги остальной Европе, сделались бы жалкой, обреченной нацией, неспособной к решительным действиям, к самоочищению. Даже теперь, даже многие так называемые «идейные немцы» не понимают, зачем было перед большой войной усыплять двести или триста тысяч больных, старых, неполноценных немцев. Не в том вовсе дело, что нация не в состоянии была прокормить их. (Глупое и оскорбительное для трудолюбивого народа объяснение!) И не репетиция это была. (Как будто в лагерях не хватало нужного материала!) Нет, все было серьезнее. И толковое могло быть. Если бы сами оказались на высоте. Эти тайные «санитарные машины» для перевозок людей, эти «особые больницы», где делали последний укол и писались «истории болезни» и откуда посылались денежные счета родным и близким за «лечение» и за урну с прахом — разве могло это остаться тайной, даже в условиях национал-социализма? Все подготовили, забыли только объяснение — толковое, убедительное — подготовить. Немцы, настоящие немцы поняли бы, если бы им вовремя и откровенно растолковали. Уж, кажется, не раз убеждались: делай с людьми что хочешь, но время от времени поговори с ними основательно, даже в чем-нибудь повинись — и можешь ехать дальше! Нет чего-то, ну и признай в удобный момент, что нет, что были такие-то упущения. Люди обрадуются правде, а про суть и забудут. «Пушки вместо масла!» — нам глаза этим кололи немало. Зато теперь пушки добывают немцам масло. «Правда вместо

масла!» — принцип не менее полезный и проверенный. А мы им пренебрегли, и правду немецкий народ получил не из наших уст, а от коммунистов, из зарубежных передач да из проповедей церковных мракобесов. Какой вой подняли все эти «гуманисты»! Только где они были, когда ограбленные немцы подыхали с голода? Никому дела не было. А тут завопили. Еще бы, почувствовали, что немцы остаются немцами! И самые решительные из нас не позволят, чтобы гнилостная кромка нации — все эти душевнобольные и несущие в себе поражение члены нации — заразили, отравили ядом весь организм.

Но не в лицемерах и трусах, своих и заграничных, дело. И не в душевнобольных, явных. А в невольном чувстве, от которого и сам не свободен. Чувство это — ужас перед поражением. Кто побывал в лагерях, даже в охране, те действительно поняли, как просто и как страшно стать отбросами. Да что лагеря! Потеряешь здоровье, расположение рейхсфюрера, и хотя останешься немцем, но ты уже вроде и не ты, а нечто достойное жалости, а значит — истребления. Конечно, не все потеряно, если ты не красный. И все же! Раненые считаются героями, если они немцы. Пишут об этом, говорят. Но что-то не договаривают до конца. Ведь раненый стопами, видом своим взывает к жалости, будит в других немцах и поддерживает вредное для здоровья нации чувство. Сострадание, даже к своим — обезволивающее, болезненное чувство. Волков не случайно называют санитарями леса. Но они и свое племя лечат тем же способом. Исходящий кровью, скулящий от боли волк вызывает в них ярость. Верный инстинкт! Будь нас не 80, а 800 миллионов, мы могли бы до конца быть последовательными. Каждый, кто хоть раз воззвал к чужой жалости, состраданию, тот сам швырнул себя в лохань для отбросов! О такой стерильности расы пока можно лишь мечтать. Но это не значит, что данный принцип не действует и сейчас. Действует! Только искаженно, уродливо, даже во вред полноценным немцам. Главное: не позволить, чтобы тебя хоть на миг столкнули вниз, под ноги!

Дружище Фридрих подмигивает, а у него тонкий нюх! И если уж он решил, да еще в письме, предупредить об опасности, значит, это действительно так. Намеками на «старые грешки» с какой-то люблин-

ской еврейкой показывает, что он (а значит, и другие) знает, слышал о Стасе. Уже роют, свиньи!.. Да, да, немедленная свадьба! Сидишь, дублер, о чем-то думаешь, а о том не думаешь, что в Могилеве ждет тебя невеста и свадьба!.. (Муравьев не стал оглядываться, хотя снова показалось, что восклицание и смешок шефа к нему обращены.) Ну, а письмо пойдет и сделает свое дело. Конечно, если его подадут рейхсфюреру и если он не забыл «браконьера». И все равно обидно. Чем выше поднимаешься по фюрерским ступенькам: обершар — гауптшар — унтерштурм — штурм — гауптштурм — штурмбан — тем нестерпимее знать, что где-то там прячется, ползает недобрая, завистливая, никчемная бумажонка, которая тем не менее способна оттолкнуть, сбросить вниз твою лестницу — вместе с тобой. И чем выше ты, чем вес больший набрал, тем больнее и ниже падение.

Старые и новые бумажонки зашевелятся еще завистливее, когда узнают об успехах особого батальона Оскара Дирлевангера. Но нет, поздно, дорогие коллеги! Дай только бог, чтобы удачной оказалась поездка в Берлин... Пусть другие, со своими «чисто немецкими» батальонами, чисто арийским составом еще поучатся, как надо работать, реализовать на практике идеи фюрера. А уж потом пусть презирают «дирлевангеровский сброд». Намекнуть в письме, зачем еду в Берлин: тяжелое вооружение, минометы, орудия... От банд не отбиться, если заниматься тем, чем занят батальон, и не иметь усиленного вооружения... Налетят, как осы! Но батальон будет идти вперед. Если, конечно, не слишком будут мешать свои же — завистливые бумажные души. Спасибо бригаденфюреру графу фон Пюклеру, его приписка на последнем отчете, его поддержка относительно тяжелого вооружения очень кстати... (Пусть знают, что и среди «фонов» у Дирлевангера связи!)

В этом мире все так, всегда. Ты занят трудным, сложным делом, можно сказать, новаторским, революционным, а кто-то обязательно виснет на руке, взбирается по тебе повыше, как крыса по ножке стола. Брр-р! Письмо закончить брезгливой, ироничной фразой. Нет, усталой, как бы нехотя: проводил вчера крупную операцию против банд. Две тысячи врагов Германии можете списать со счета. Или, если угодно,

записать на счет штурмбатальона Дирлевангера. Потерь не имел... Но это не значит, что нам легко. Я не возражаю, если кто-то захочет поменяться: фронтовые условия на наши. А то ведь и сейчас кое-кто там верит, что белорусы — самые безобидные из славян. Что ж, добро пожаловать! А я на ваше место — хоть на север, хоть на юг! И дайте мне обычных немцев, а я вам свой «национал-социалистский интернационал». Но прежде чем решиться, расспросите, какой это труд — о нервотрепке еще особый разговор! — сколько чисто физических усилий приходится затрачивать, чтобы всего лишь одну деревню уложить в ямы или уговорить войти в церковь, в сарай. Подождите, вы еще будете мои приемы, отчеты изучать в ваших академиях! Как Клаузевица.

Из будущих исследований и материалов по истории и психологии гипербореев.

«Наука на службе у гиперборейцев. Памятка гиперборею.

Человеческое тело содержит:

воды — достаточно, чтобы наполнить 10-галлонную бочку;

жира — достаточно, чтобы изготовить 7 кусков мыла;

углерода — достаточно, чтобы изготовить 9000 карандашей;

фосфора — достаточно, чтобы изготовить 2200 головок спичек;

железа — достаточно, чтобы изготовить средних размеров гвоздь;

кальция (известки) — достаточно, чтобы выбелить курятник...»

В небе, в лучах солнца, а ночью в прожекторном луче будет гореть кристалл. Увеличенное огромными линзами лицо великолепно забальзамированного фюрера будет хорошо видно всем снизу, с земли. Чтобы оставленные жить и размножаться помнили ежеминутно, кому обязаны всем. А то ведь, скоты, забудут всех, кто выполнил главную работу — за них, ради них. Плывущий над землей кристалл, цейссовские линзы, огромные, как глаза Космоса, — волнующая идея! Но попробуй заикнись, и тут же получишь: Дирлевангер

заживо хоронит фюрера! Зато сам он оценил бы человека, в душе которого вспыхнуло такое видение. Приказал бы вызвать к себе, и наконец состоялся бы разговор, который столько раз велся мысленно. Не заоблачные фантазии, нет, а прежде всего практические вопросы. Которые давно ставить и решать пора — с истинно революционным размахом. Пока они там пересчитывают чужие зубы, могут и свои потерять. Необходимо — и срочно! — создавать штурмбатальоны, как можно больше, на каждую округу. А тип батальона найден. Если, конечно, судить по результатам, а не играть словами: «дирлевангеровский сброд»! «дирлевангеровские уголовники»! Партизанские банды вырастают, как грибы. Москва не спит. Тут кто успеет раньше! Или они опомнятся, наберутся силы и злости, оружием запасутся, всех вовлекут в безжалостную войну за спиной у фронтов — и тогда достань их из болот и лесов! — или специальные бригады успеют так проредить население, что белорусы эти один одного не услышат издали, не увидят за дымом друг друга. Даже те, кто уцелеет, останутся. Вы опытом «дирлевангеровского сброда» вовсю пользуетесь, старательно переписываете в свои инструкции. И мне же с серьезным видом присылаете. Ладно, добра этого хватит у меня на все ваши канцелярии. Одни Борки, самим богом славянским созданные для широкого эксперимента, добавят ума и выдумки в ваши бумаги, как ни одна академия. Да разве поймут манекены в мундирах бригаденфюреров, что испытываешь, какие чувства немца, господина переполняют тебя, когда еще не труп, а живой стоит перед тобой и ты его заставляешь несмело улыбаться на ш и м золотом! Или когда засыпаешь и просыпаешься рядом с Юдифью. Знаешь, почти точно знаешь, что никакая она не Стася, и какие ножи в ее детском сердечке, как она их точит каждую ночь, смачивает слезами и видит во сне свою историческую сестру, при отблесках вражеских костров уносящую голову на золотом блюде. Засыпаешь и не знаешь, где — на детском плечике или на липком окровавленном подносе откроешь (откроешь ли?) глаза... Прикончить в собственном подвале пятерых сапожников и еврейскую дочку — для этого не надо быть штурмбанфюрером, ветераном движения, партии. Да и хватает такого дела в деревнях, и там оно посложнее — с бандитским этим

народом. И уж если так хлопочете о нашем душевном равновесии, об отдыхе после нервной работы, позвольте мне самому искать и находить средства «снимать напряжение дня». Какому-нибудь Полю достаточно получить двойную дозу шнапса — до и после. А другим не это надо. Мы говорим, много говорим про новую аристократию. А она начинается не с чего-нибудь, а с этого: одному и шнапса достаточно, а другому подай что-то потоньше!..

Стасю схватили при облаве на люблинских поляков — худенький нечесанный ребенок с дикими глазами и высокой грудью. Шейка — для двух пальцев, трогательная, как стебелек. Все это бросилось в глаза, хотя одета она была в какое-то ржавое мужское пальто. Впрочем, мужская одежда лишь подчеркивала ее детскую женственность. Дирлевангер взглянул и прошел бы дальше к своей машине — он выходил из офицерской столовой, когда поляков гнали, проталкивали по улице — но взгляд зацепился за чьи-то горящие, яркие, будто узнавшие его, глаза. Он мог поклясться, что эта пойманная полячка его узнаёт, узнала — так она смотрела! Потом уверяла, что ничего подобного, что просто так смотрела, может быть, от отчаяния, а ему показалось. Так и не уверен, знала или не знала, что он именно тот офицер, который перекупил специалистов-евреев у фон Граббе, когда тот собрался переезжать в Смоленск. У жадной свиньи фон Граббе перекупил ее папашу и еще шестерых — за золото! Не их, конечно, а партию отличной хромовой и лаковой кожи, ну, а заодно и команду, которая этот материал могла превратить в первоклассную обувь. И теперь, пожалуйста, хром еще не израсходован, а ты кончай и последних, которые в подвале остались. Не жалко в конце концов и этой кожи, но глупо и как-то унижительно. Расскажи тому же Фридриху, что покупаешь за золото еврея, чтобы его прикончить, — да он сумасшедшим обзовет! Дожил герр коммерсант! Знала Стася о том или не знала, но неужели и до сих пор надеется, что Дирлевангер верит в ее маскарад? Какими отчаянно беззаботными, голубыми бывают эти глаза, когда заводишь, как бы случайно, разговор о евреях в подвале. Вот уж полгода игра эта подогревает их чувства. И не имеет значения, какие это чувства — даже если и ненависть, и ужас! Важна острота. Тихонько тащишь,

вырываешь по одному из ее дрожащих пальчиков, подбираешься к черно-бородатейшему Лазарю, ради которого она пошла, идет на все! А сам как бы соображениями с нею, усталыми мыслями делишься. Совсем по-семейному... Мол, пора закрывать лавочку! Шушукуются по Могилеву, что у Дирлевангера ковчег еврейский, тайный. Все фюреры в наших голенищах форсят и мне же норовят ножку подставить. Хватит нам и четверых, даже троих нахлебников. Кто там еще остался? Этот грязный и грозный еврейский Яхве — Лазарь бородатый? Так, этот... Двое тощих братцев, как их там зовут? И Берка — нервирует он моих часовых своими молитвами. Да, а зачем нам тот молодой, что он умеет, возможно, он даже и не сапожник? То-то они, хитрецы, хором его все нахваливают! Вот его прибрать... И, пожалуй, все-таки Лазаря. А то и в самом деле, наглая борода, поверит, что он незаменимый. Не таких заменяли! Нет, хороший был мастер, даже жалко! Сапоги на ногах не слышишь, не чувствуешь, спать в них можно!..

Даже веко, ресничка не дрогнет, так выдрессировала себя! Ваше, мол, немецкое дело, а меня подвал ваш не интересуется! Только вот что... Впрочем, это пустяки, женская блажь, и какое право имеет горничная чего-то хотеть, даже если она самого Дирлевангера горничная?.. Да и где я буду их носить, такие туфельки: я же никуда не выхожу, да я и не хочу никуда выходить! И туфелек, как у фрау Ольги, жены бургомистра могилевского, тоже не хочу. А вот штурмбанфюреру мечтала заказать краги. Ты будешь смеяться, но я однажды пол-Кракова прошла за каким-то паном, девочкой еще была, все смотрела, как красиво пружинят ноги в крагах. Зайчики солнечные играют, как на перламутровых раковинах. А вдруг этот молодой сапожник как раз специалист? А Лазарю я как раз хотела поручить туфельки... Он уже и мерку снял, прости, пожалуйста. Не успела тебе сказать...

Сначала ничего такого не думал про Стасю: полячка как полячка, какой с нее спрос! Почти верил, что так и есть и что родителей потеряла, не знает, где они («Ваши увезли!» — сказала наивно-обиженно). Мало об этом задумывался: не детей же крестить с нею, как любят говорить сами славяне! Пока не доложили, что часовой видел-слышал, как она веселой козочкой забе-

жала в подвал с какой-то обувью в руках, а там вдруг стала тихо плакать, закричали на нее, заругались, — часовой заглянул, а бородатый черный Лазарь замашивается на Стасю железной сапожницей «лапой». Тут она изо всех сил стала улыбаться, объяснять раздающему оплеухи немцу, что ничего не произошло и что она сама доложит штурмбанфюреру, пожалуется, что этот «противный старик» не хотел брать ее работу...

Тогда их было еще шестеро. Одного притащили, оставили в комнате у Дирлевангера, и он сам допросил. Взяли самого молодого, потому что он знал немецкий, и можно было с ним поговорить без переводчика. А это было важно — Дирлевангер сразу заподозрил тайну не для посторонних ушей. Час спустя вывел бледного заросшего человека во двор к гаражу и застрелил. Последние его слова: «Я не сказал, что она дочь! Я не сказал, вы неправильно...»

Понял, все правильно понял Дирлевангер! Мог поклясться, что Стася смотрела, как выводил, как стрелял — в окно все видела, но когда позвал ее к себе в комнату, явилась, как всегда, тихая, скромно-оживленная. Вот тут и подумал: да, это Юдифь, настоящая! Проклинаемая и готовая на все... Но ничего ей не сказал, что собирался сказать. Игра так игра! Пообещал, как утешил: «Скоро у нас будут столичные специалисты. Вот только заберем Москву. Пора для них место освобождать».

Даже захотелось в подвал спуститься, взглянуть на Лазаря поближе. Старый дурак, громовержец подвальный! Вот на кого овчарок спустить! И сам на себя поудивлялся: это что, я обижен, сержусь из-за своей «Юдифи»? Все-таки спросить ее напрямик, когда будет уходить «под венец» с Муравьевым: случайный был тот ее взгляд из толпы или же это Юдифь ловила случай, чтобы проникнуть в шатер кровавого Олоферна? Отчаянным взглядом умоляла увидеть ее, выделить в толпе, увести с собой — и выделил, и забрал ее (и еще троих полячек) для работы на кухне (уже начал формировать свой спецбатальон). Сам привел в шатер и сам вручил поднос. Шатер, конечно, условный, а поднос самый настоящий, отличный, из серебра: будешь кофе подавать мне в постель! О н и т а м расценят это как грубое нарушение «расовых законов» — если партайгеноссе Фридрих не преувеличивает и им уже известно.

Не поединок расовых волей, а примитивное нарушение закона! Попробуй докажи, что не нарушение это, а как раз утверждение — высшее, через риск и иронию. Сколько в этой ситуации со Стасей-Юдифью именно иронии — над всей историей и традицией иудейской! В те минуты, когда из рук ее тащишь, забираешь еще одну еврейскую жизнь, в эти мгновения не Стася и не жалкая евреечка смотрит на тебя, а вся иудейско-христианская история ломает руки в бессильной ярости и отчаянье!

Турки — вот кто знал, как красиво можно пользоваться врагом, его душой и телом. Взрослых убивали, а из детей растили, воспитывали свирепых янычар для султанских дворцов. Зачем-то нужно было султану, чтобы над его ложем скрещивались кривые сабли чужеземцев, в чьих жилах текла вражеская кровь. Можно представить, как горячило это ленивую султанскую кровь — больше, чем все старания рабынь-наложниц.

Нет, правильно, что не струсил, не поспешил и не велел вчера прибрать их всех с глаз долой. Нельзя к собакам поворачиваться задом — оборвут штаны вместе с мясом. Сразу показал бы, что была вина, раз прячешь концы. А так, пожалуйста: вас мои сапожники интересуют? Можете забирать и хоть с кашей их съесть! Если, конечно, у вас хорошие сапоги и не хотите иметь еще лучше. Ну, а служанка Стася или как ее там... О ней поинтересуйтесь у моего русского дублера штурмфюрера Муравьева. На днях была свадьба у них. Кажется, не запрещено офицерам-«чужестранцам»? Что-то не в порядке у невесты с расой, кровью? Надо ли уж так заботиться о их чистоте, какая разница? Что, она даже еврейка, эта самая Стася?! Мне бы ваши трудности — справиться с одной еврейкой! Если это даже действительно так. Меня вон деревни ждут. И не одна, можете поверить!

Муравьеву бы повернуться да взглянуть на шефа, и он заметил бы, каким прицеливающимся взглядом смотрел на него штурмбанфюрер, каким веселым. От нетерпения и удовольствия Дирлевангер даже голенища свои мягкие массирует, почесывает. Аккуратненький адъютант его осторожно отстранился — знает своего шефа, предпочитает, чтобы он не заме-

чал его. И Муравьев не оглядывается, не любит лезть шефу в глаза. Но не удержался, ответил взглядом на взгляд водителю, переглянулись с Гансом Фюрером. Дал же бог фамилию немцу! Каждый, если не переспросит, то подумает, что недослышал, что он какой-нибудь «шарфюрер».

— Да, да, просто Фюрер, — скромно подтвердит, обязательно подтвердит узкоголовый брюнет. И смотрит, как подмигивает. Фюрер этот не то польский немец, не то немецкий поляк — из Силезии он. И все в нем такое же неопределенное. То ли хитрец великий, то ли просто тупица с многозначительным от природы лицом, бывают такие лица. Вот и Муравьева втянул в неприятные ему лакейские переглядывания насчет «хозяина-барина». Но действительно, что с Дирлевангером сегодня? Что-то с ним происходит, аж повизгивает, как собака от блох, от тайных своих мыслей и планов...

И он тоже принохивался, мой «дублер», к служанке Стасе, тоже интересно было, кто она и что она. Вот и понюхаетесь, на законном основании. Пусть попробует отказаться, как тогда зельтерскую отказался пить! Пусть еще раз попробует! С ними даже весело, с людьми. Если знать их так, как Дирлевангер изучил, знает. Берешь стакан воды, обыкновенной зельтерской воды, которую изготавливают для немцев в этом самом Могилеве, и подносишь молоденькому офицеру или «чужестранцу». Важен при этом взгляд твой, глаза — сначала рассеянные, потом все более внимательные, твердые, жесткие. Смущенно и неосторожно человек принял первый стакан из рук штурмбанфюрера и выпил. А второй не желаете? Может, сделаете одолжение? Ну, тогда еще, если уж вам взялся прислуживать сам штурмбанфюрер! «Данке» — потом, а это я уже налил. И еще налить не трудно. Что, так и будет штурмбанфюрер держать налитый стакан, дожидаться, пока соизволите принять?.. Овчарками затравить — любой дурак сможет, а ты вот так, стаканом зельтерской воды! Муравьев, помнится, не поддался, сразу же ловко и необидно отказался: «Вода не шнапс — много не выпьешь!» На этот раз выпьешь все, что поднесу!

Из донесения офицера сельскохозяйственной комендатуры: «Люди этого батальона вели себя, как разбойники. Не обращая внимания на группы по изъятию скота, убивали скот непосредственно в хлевах, где его и оставляли. Далее его группы по 2—3 человека убивали свиней, забирая себе лишь лучшие куски их туш... Бессмысленное расточительство — это предательство интересов родины.

Аналогичные действия были совершены латвийской ротой № 1/18 в Семежево, где они забрали у крестьян лошадей и распродали их».

«В эти дни батальон Дирлевангера провел в районе Радашковичей операцию по набору рабочей силы, что не дает мне возможности убрать на 100 проц. урожай. Из дер. Путники, Володьки, Олехновичи 1-й ротой этого батальона были угнаны все жители в возрасте от 15 до 50 лет. Среди этих людей были служащие районного управления, волостных управлений Декшняны и Дуброво, а также рабочие железной дороги и организации ТОДТ. Люди могли удостоверить свою личность выданными им пропусками, однако эти подразделения их не признавали. Эти показания подтвердили руководители названных учреждений.

Кроме того, в Раковской волости полностью опустошены 2 деревни; там нельзя встретить даже старика. После проверки установлено, что этим же батальоном отобрано у крестьян 250—300 лошадей, которые не были возвращены владельцам. Вот почему мне практически почти невозможно организовать уборку урожая.

**Шмитц, районный уполномоченный
по сельскому хозяйству».**

«...Во второй половине июля с. г. немецкие отряды СС проводили очистку от партизан территории Воложинского района. При этом отрядами штурмбанфюрера Дирлевангера были сожжены вместе с постройками заживо жители деревень Першайской волости: Доры, Мишаны, Довгулевщина, Лапицы, Среднее Село, Романовцы, Нелюбы, Полубовцы и Мокричевщина.

Отряды СС никакого следствия не проводили, только загоняли жителей, преимущественно стариков, женщин и детей, в отдельные постройки, которые затем поджигались.

В Дорах жители были согнаны в церковь и вместе с церковью сожжены.

Глава отдела БНС Кушель».

«...Для работ по уборке урожая создаются специальные колонны из жителей близлежащих деревень, которые уже работают под охраной полиции.

Размещение нетрудоспособного населения по соглашению с уполномоченным по сельскому хозяйству в Радошковичах будет проведено в несожженных деревнях Радошковичского района.

Как уже сообщалось, совместная работа со штабом Крайкенбома шла хорошо, а со штабом Дирлевангера, как известно, не было никаких совместных действий.

О штабе Дирлевангера руководитель штаба по набору рабочей силы г-н Зандер сообщил мне следующее:

Штаб Дирлевангера вечером 1 августа 1943 г. забрал девушек из штаба Крайкенбома, которые работали там на кухне (девушки из гор. Ивенца). Девушек обвиняли в том, что они якобы сожительствуют с жандармами. По показанию матерей, которые ездили в Минск к своим дочерям, видно, что девушки были так избиты, что на другой день их передали в больницу гор. Минска. 1 девушка была расстреляна и 2 повешены. Поэтому о настроении населения гор. Ивенца в настоящее время не стоит даже и говорить. Большинство из этих девушек я знаю по своей продолжительной работе в Ивенце как порядочных и честных.

Районный уполномоченный по сельскому хозяйству Розе».

«22 сего месяца мне сообщил зондерфюрер Флеттер из 3-го батальона 31-го полицейского стрелкового полка в Першае о том, что местечко Першай, а также весь район общины Першай заняты батальоном Дирлевангера, который собирается осуществить обработку этой местности.

Все попытки добиться отмены этих мер оказались безуспешными.

По поступившим до сих пор сведениям, сожжено 11 населенных пунктов, после того как из них было угнано население.

Населенный пункт Першай избежал уничтожения лишь благодаря вмешательству майора, командующего 3-м батальоном 31-го полицейского стрелкового полка, расквартированного там.

Из этого населенного пункта были направлены в империю на трудовые работы следующие лица: все работники государственного хозяйства, все служащие общинного управления, все рабочие и служащие молочного завода, а также все трудоспособное население этого населенного пункта.

Мои просьбы оставить людей, необходимых для дальнейшей эксплуатации государственных хозяйств и молочного завода, а также для управления общиной, оказались безуспешными. Освобождены лишь бухгалтер и заместитель бургомистра, а члены их семей (женщины) не освобождены. Весь находившийся в стойлах скот был застрелен, сожжен или же уведен в качестве трофея батальоном Дирлевангера...

Метод проведения операции батальоном Дирлевангера привел к тому, что удалось мобилизовать лишь людей; в то же время была поставлена под угрозу эксплуатация хозяйства в ряде населенных пунктов из-за отсутствия людей и строений, а в остальных пунктах и государственных хозяйствах, где еще сохранились строения, работа очень затруднена из-за отсутствия рабочей силы.

Следует поэтому учесть то, что в дальнейшем резко сократятся поставки молока. Дальнейшая разверстка плана поставок является теперь беспредметной, поскольку требуется новая перерегистрация еще сохранившихся предприятий. Это связано с трудностями, так как полностью отсутствует весь аппарат управления общиной, а население пребывает в состоянии полной растерянности...

Районный уполномоченный по сельскому хозяйству в Воложине».

Вы годами их переделывали, моих ворюг и гомосексуалистов, всех этих бунтовщиков да социалистов, а полезными для райха людьми сделал их я — за месяц-два. Работают, и подгонять почти не надо. Да что месяц, я за три дня любого сделаю человеком дела, полезным. И уж во всяком случае лишу охоты и способностей вредить нам. Метод стерилизации социально вредных особей — на этот раз не физический. Секрет самый нехитрый, только изрядно подзабытый даже у нас, в стране средневековых замков. В этих каменных гнездах когда-то широко испытывался тайный

«способ омоложения детской кровью»: хозяева замков окунали свою изношенную плоть в красные ванны-корыта. В теплую детскую кровь. Идея верная, но слишком прямо, буквально понятая. Обновления можно действительно достичь, только в другом смысле. Кого только нет в моем батальоне, а хлеб немецкий никто даром не ест. У меня с ходу перекрасишься, кем бы ты прежде ни был! Сам себя перекройшь — мутти не узнает! И сам себя узнавать перестанешь. Вот она, сила крови детской. Это не мой метод — уговаривать, упрашивать: отрекись! прими наш символ веры! Много чести! А надо дело поставить так, чтобы каждому и каждый день приходилось выкупать собственную жизнь. Свою единственную и бесценную. Забрать ее как бы в залог — сам вручишь или ее у тебя силой прихватят, не это важно! — и пусть выкупают. Особенно важный взнос — первый. И лучше всего, надежней всего — детской кровью. Или бабу пусть прихлопнет — на глазах у всех. С этого начинается нужный нам человек, каким ему быть отныне и вовеки! Чем менее готов к такому шагу, тем интереснее. Прочешь бы его мозги: как изворачивается, как обещает себе и целому миру, что все поправит другими делами — еще верит, что будут какие-то другие. Не выстрелю в подставленный затылок — не будет и будущих славных дел! Вот так, не надо ему и подсказывать, сам всему оправдание найдет. А тебе остается лишь держать пистолет у его собственного затылка, и тогда не лбом, а затылком человек соображает. Затылком — и надежнее, и намного быстрее, расторопнее! Фюреру некогда дожидаться, пока вы их всех перевоспитаете. У меня же они не за проволокой, а на открытом поле — беги, если можешь! — за неделю становятся другими и новыми. Хоть ты их на палец наматывай!

Когда собирал командиров таких формирований группенфюрер СС фон Готтберг, чтобы обменялись, поделились опытом друг с другом, и съехались в Минск все эти зазнайки из «чисто немецких» зондер- и айнзатцкоманд, с каким недоверием слушали они выступление Оскара Дирлевангера! То, что у него больше, чем у других, в батальоне «иностранцев» — «сброд со всей Европы», вызвало не интерес, не желание присмотреться и поучиться, а покровительственное к Дирлевангеру, почти хамское отношение со стороны коллег. Хло-

пали по спине и спрашивали: а евреев в твоём «айнзатц-интернационале» много? Конечно, не хочется им, чтобы и их батальоны и роты все больше разбавляли ненецким сбродом. И пример, «эксперимент» Дирлевангера их только раздражает, считают его выскочкой. С одними немцами, конечно, работать проще и легче. И безопаснее, именно безопаснее — так бы и говорили! Нет у тебя за спиной, вокруг тебя этих чужаков с оружием — хоть и привязанные, и прирученные, но все равно чужаки! Но где вы наберетесь «чистых немцев» завтра, банды вон как плодятся? А впереди еще новые земли, страны. Или одним днем живете? Ничего, вы еще будете изучать действия, опыт «дирлевангеровского сброда» вместо Клаузевица! У меня последние отбросы, добытые на ваших лагерных свалках, в дело, в работу пускаются. Вчера еще воображали себя черт знает какими христианами или социалистами, а тут гонят красную стружку, чистят-подчищают этих белорусов, да поляков, да русских, знай только направляй! Главное — окунуть в краску с макушкой, а потом можешь отряхиваться! Занятия этого хватит на всю оставшуюся жизнь. От детской крови еще никому просохнуть не удавалось. А кем только себя не воображали!

Да что о других, если и себя еще помнишь черт знает кем — почти социалистом. В те времена как-то ухитрились на штандарте со свастикой видеть только свой цвет: одни — белый, другие — черный, даже красный! Там было на любой вкус, как и в некупой программе 1925 года, когда всем обещалось все: и сыну пролетария — Йозефу Геббельсу, и сыну коммерсанта — Оскару Дирлевангеру, да и самого Круппа не обидели. Интересно, помнит Йозеф Геббельс, как якшался он с социалистами Штрассерами? Или они только помнят и никак забыть не могут, что Дирлевангер близок был с мятежным капитаном Ремом? Да, с мучеником движения Ремом!

Чудно как-то вспоминать себя прежнего и знать, как все пошло на самом деле, куда все сдвинулось. Читал жадно всякие книги, заграничные программы и журналчики, даже советские... Отпечатанный в Берлине на немецких станках и бумаге советский журналчик показывал счастливое лицо счастливой женщины и ребенка — советских, а ты смотрел и чему-то радовался. И сейчас помнится, как радовался тому, что

где-то, пусть не в растоптанной, голодной Германии, но есть уже счастливые. Это ж надо, такого дурмана наглотался, такая каша в голове была! Немцев чуть ли не продавали в Африку, а сын разорившегося (разоренного!) немецкого торговца позволял себе роскошь радоваться, что кому-то и где-то жить лучше. А тем временем все эти «братья по классу», «союзники по классовой борьбе» — и английские и французские — жевали немецкие репарации за одним столом со своими банкирами и капиталистами и что-то не слышно было, чтобы отказывались в пользу голодающих немецких детей. Фюрер, как только объявился, стал задавать самые простые вопросы. И давать самые понятные ответы. И немцы откликнулись — изголодавшимся жемудком. Истосковавшимися мускулами. Социалистический рай — где и когда это еще будет! Если будет. А то, что говорил и подсказывал фюрер, открывалось за первым углом. Дойди до еврейского магазина, до еврейской конторы и потребуй, забери принадлежащее тебе по праву! Войди в Рейнскую область, в Судеты и забери свое! И это будет только справедливо. А если какая-то часть немцев все еще считает, что счастье в социализме, тогда, пожалуйста, заберите и его — социализм, но только весь, пусть он будет исключительно немецкий и только для немцев. Немцы и так слишком долго думали и заботились о других, о всех и не знали простой истины, что счастье человечества — в счастье немцев. Существует лишь одна человеческая раса, а все другие незаконно и нагло присвоили звание людей...

Фюрер произносил слова самые простые, немецкие, и все становилось на место и теперь навеки закреплено, а прежде и слова и люди — все носилось, металось по несчастной Германии, как непривязанные вещи на корабле во время шторма. Туман и дурман рассеялись, и теперь ясно, как день божий, что социализм марксистский, что «рай для всех» — хитрая уловка слабых, чтобы стать сильными, ослабив сильные расы. Извечное еврейское стремление стать сильнее других своей сплоченностью среди классово разобщенных народов.

Нынешний Дирлевангер, командир особого батальона, твердо верит в силу национал-социалистских идей и детской крови. А поэтому никакие треугольники и многоугольники — фиолетовые, красные, желтые, черные, его не испугают: он брал из лагерей и уголовни-

ков, и политических, и взял бы любого, зная, что каждого заставят послужить Германии и фюреру, если даже ненавидят само слово «немец». Как эти поляки ненавидят. Детская кровь смывает любое прошлое намертво!

Фюрер все предвидел и рассчитал гениально. Самого человека он предвидел. Не того, каким он себя воображает, начитавшись книг, а каков на самом деле. Знать человека — это знать врага, это уметь и врага заставить послужить целям райха.

Нет, до чего же мозги были замусорены! Даже в тридцать восьмом, тридцать девятом, когда уже входили в Чехословакию, Польшу, и даже в сорок первом. Входили, вламывались в следующую страну, и было ожидание, даже боязнь: а вдруг и на самом деле эти советские живут, как на той фотографии, и были правы Тельман и его спартаковцы! Это при их-то славянской грязи и соломе на крышах? Но если бы даже и правда жили? Немцу-то что до их жизни? Почему немец радоваться должен? Сейчас спрашиваешь и сам не понимаешь. Эту солому и грязь нам хотели подсунуть через красных предателей! И теперь ждуть-хотят, чтобы Дирлевангер был с ними «помягче». Мало доносов по поводу еврейских зубов и этой Юдифи, так еще и хозяйственники, заготовители яиц и шерсти из сельхозкомендатур взяли моду жаловаться: после батальона Дирлевангера им ничего не остается. Не батальон, а чума! Ну, уж тут извините! Если ваши жалобы — не наилучшая характеристика деятельности батальона и его командира, тогда Дирлевангер действительно чего-то не понимает в национал-социализме. Уж тут он действительно до самого рейхсфюрера дойдет. Пусть видят, куда может завлечь беспринципность и травля старых бойцов! А эта наша примитивная, старомодная пропаганда. Только и умеют, что объяснять крутые меры немецких властей действиями банд. А может быть, как раз и надо, чтобы эти славяне не могли понять ни причин, ни мотивов наших мероприятий? Непонятное действует на души куда эффективнее, парализует волю. А задобрить, замирить их сюсюканьем по поводу нехороших бандитов, если эти бандиты — их отцы да дети, все равно не удастся. Сами не умеете и на других, на тех, кто дело делает, жалуетесь! Дожалуетесь скоро, что молока, мяса, яиц не увидите как своих ушей,

если даже деревня в двух километрах от шоссе. Будет вам и урожай и скот! Ужас — вот чем только и можно удерживать, к земле придавить. Пусть царит оцепенение, непонимание, за что и почему. Даже лучше, сильнее действует, если связи между проступком и карой никакой. Вот как в этих Борках. Огонь с неба! А за что, почему — тысячи лет об этом вопрошали у неба, и чем меньше ответа, тем больше веры в высшую мудрость, справедливость богов и собственное ничтожество. Когда партизаны подорвали, сожгли две машины с полицейскими, пожалуйста, Дирлевангер показал — две деревни стер с лица земли! — что германское возмездие неотвратимо. Но Борки тогда пальцем не тронул. Когда увидел огромное это славянское поселение, прямо-таки затрепетала душа: если здесь продешевить, самому тебе три пфеннига цена! Тут уже не возмездие, тут идея — чистая, высокая! Наступит пора, и армии, освободившись на фронтах, снова пройдут на запад, готовя почву под Великий Германский Засев. Тогда никто и ничего никому объяснять не будет. Конечно, своему времени своя тактика. Но позвольте же человеку заглянуть в будущее, в завтрашний день! Туда, где одиноко носится мысль, мечта фюрера. Без этого за буднями теряешь всякую высоту. А эти чело- веки, эта масса, если их казнить сверх всякой меры и не считаясь с «виной-невиной», сами начинают, стараются всему найти объяснение. Так уж они устроены. А пока они этим заняты: «немцы — люди, и мы — люди, за что же люди людей?..» — не зевай, старайся вовремя закрыть ворота или оглушить их залпом. Целей наших, почти космических, они не представляют и долго еще будут мерить нас старой меркой. Главное, самим знать точно, чего хотим — не пугаться собственных планов, масштабов. Тогда не будет ни времени, ни охоты из пустяка создавать проблему, заводить грязные дела на тех, кто идет впереди, прокладывает новые дороги. А чужестранцы, славяне и все прочие туземцы, как раз и не должны улавливать связь между вещами, логику наших приказов и поступков. Ни один не должен чувствовать себя в полной безопасности. Даже если всему подчиняется, все выполняет. Боги всегда правы! — единственное, в чем рабы должны быть уверены твердо. И ни в чем другом, а менее всего — в нашем к ним «справедливом» отношении. У этого чу-

жестранца, что сидит впереди, у моего «дублера», всегда нагло спокойное лицо. Ну, ничего, я это спокойствие сумею смутить. Как-то не обращал внимания. А ведь это бунт! Стремление раба навязать господину собственное понимание вещей: совесть спокойная — могу быть спокоен! Посмотрим, уедешь ли ты отсюда таким же спокойным! После заключительного акта — в центральном поселке. Надо, надо и за них братья круче — за самых приближенных. Самых смирившихся и «полезных» вдруг бросить под ноги! И вместо одного покорного и старательного получишь десять оцепеневших от мысли, что насквозь видим, если раскусили и такого заслуженного. Этот самоуверенный «дублер» давно заслужил, чтобы его оженили. Сначала, так и быть, на Стасе, а там, возможно, и на «вдове». Такие встряски необходимы в батальоне, чтобы дистанция между немцами и немцами все время удерживалась. И вообще нужны. А то черт знает к чему все придет. Раб станет диктовать, как следует к нему относиться. Немец и не заметит, как начнет ценить, а потом и жалеть «своего» раба, а там и вовсе стыдиться роли господина. В истории такое уже бывало. С этого, именно с этого начиналось вырождение расы! И над нами история может подшутить, если вовремя не делать прививок против мягкотелости.

Сегодняшняя заключительная акция в центральной усадьбе, куда соберутся к 16.00 все немцы и жестранцы, должна быть даже для видавших виды необычной и неожиданной. Чтобы дух захватило! Как далеко можно заходить, продвигаться в таких действиях, никакие инструкции не подскажут, а лишь интуиция, знание обстановки и главное — людей...

Эти Борки до последнего своего дня тоже жили в наглой уверенности, что раз у них есть какая-то убудочная полиция и раз они «почти полицейская деревня», значит трогать их не будут. Вот ее-то и подавай, таких — Дирлевангеру! С другими другие командиры справятся, а этих — как раз самых наглых и невыносимых! — могут и проглядеть.

Спокойные утренние дымы над крышами, куры от колес возмущенно отбегают, ленивые гуси ходят-переваливаются у заборов — как еще не задохнулся от возмущения, когда впервые попал в это огромное славянское село! Нагло убежденное, что ему существовать

во все века. И на каждом шагу дети — грязные и здоровые, как поросята!.. А когда принял решение, стало даже интересно приезжать сюда, наблюдать за жителями, зная то, чего не знают они о завтрашнем своем дне. Остановить вдруг хитро-испуганную женщину с ребенком и мирно заговорить с ней. Или со стариком, которому уже сто лет, а умирать не собирается...

В 1940-м вот так же возмутительно уверенно, нагло жили за ламаншской водой английские села и города. Не знали джентльмены, что на другом берегу уже собраны нетерпеливые айнзатцкоманды остроумного Штреккенбаха, бригаденфюрера СС. По вечерам за чашкой английского пунша (влияние близких островов) Штреккенбах любил весело помечтать, как удивятся англосаксы, когда с ними обойдутся без церемоний — как с обыкновенными туземцами. Не хотите ли, сэры, прогуляться на континент — все, все до одного! — там приготовлены для вас аккуратные жилища. Леди могут задержаться на островах, скучно им не будет — мужчины фюрера самоотверженно позаботятся об оздоровлении англосакской крови. Бригаденфюрер намекал, что действительно имеется проект всех мужчин убрать с островов. В лагеря! К черту! У айнзатцкоманд не было еще того опыта, с каким они теперь вернутся на берега Ла-Манша. И было бы только справедливо, если возглавил бы всю операцию новый бригаденфюрер, вместо исчезнувшего, слинявшего Штреккенбаха — например, Дирлевангер. У вас, конечно, на этот случай свои мнения и другие кандидатуры! Мало ли в штабах скучает стратегов, которые набили руку на инструкциях. И между делом жующих нашу гусятину и говядину, хотя и жалуются на нас сельскохозяйственные комендатуры. Нет, мои люди помнят, что и стратегам кушать хочется. Вон сколько орущего и гогочущего на возах и какое стадо коров гоним! Выбирай стратег — тебе какого? Меня! меня! — гусь сам рвется-вырывается из рук хохочущих солдата и полицая, хохочут-гогочут и машут руками и крыльями...

Кроме немцев и полицаяев — они в разного цвета мундирах, от голубого до черного — на дорогах и у дорог попадают и гражданские. Испуганно жмутся к телегам, ко всему, к чему можно прижаться. Это подводчики, такие же, как в Борках, местные жители, которых набрали из других деревень с лошадьми и телега-

ми. Вот и еще вопрос: должны или не должны эти подводчики видеть и знать, что делается в таких вот Борках, до или после их туда впускать, чтобы собрали зерно, всю живность, инвентарь? Мышление у Берлина все еще чисто лагерное, хотя давно с такой работой вышли на неогороженные пространства, а дальше именно этот род селекции и станет основным. Думают, что в наших условиях что-то и от кого-то можно спрятать, утаить. Все еще воображают себя в Майданеке или Дахау. Нет, тут не по бумаге, а жизнью приходится отвечать на трудные вопросы: или мы будем все еще прятаться, а следовательно, выглядеть в глазах населения маскирующимися преступниками, неуверенными, трусливыми, или же сразу и твердо заявим, покажем, что мы поступаем с ними так, как имеем право поступать. И пусть свою дрожь, испуг свой подводчики эти везут-развозят по селам своим, по всей своей бандитской Белоруссии!

Цитаты из будущих исследований, материалов по истории гипербореев:

«Чтобы быть гипербореем, не обязательно жить в Европе. Или в Азии. Или в Америке. Достаточно им быть».

«...В разные времена их, гипербореев, может меньше быть или больше — там или здесь; кажется, что не было его и вдруг объявился — народ гиперборейский; все и всегда перед ними виноваты, а гиперборейцы — никогда и ни перед кем!..»

Машина штурмбанфюрера, ведя за собой бронетранспортер, набитый круглыми и рогатыми касками солдат, прорезается к центру усадьбы Борки сквозь толпы вооруженных людей, испуганно перед ней сторонящихся, и сквозь коровьи стада, а коровы не боятся ни машин, ни штурмбанфюрера, ни даже оружия, только палками их можно поторошить, разогнать, и впереди взлетают и опускаются десятки услужливых палок, как бы салютуя Дирлевангеру. Ругань, мат звучат на самых разных языках. А с неба пепел осыпается, густо сереет на касках, на плечах солдат, на крыльях машин и спинах коров. Измазанные сажей лица, костяная белизна зубов и глаз. Дымы, дымы, куда ни глянешь, широко подтирают небо — черные, как в крематориях, но над центром

Борок небо вопрошающе голубеет. Даже у бывалых солдат батальона в животе должно похолодеть, а у чужестранцев особенно — после заключительной акции здесь, в центральном поселке Борок. Еще утром приказал собрать жителей поселка (без мужчин) отдельно, борковских полицейских и семьи их тоже отделить и дожидаться дальнейших распоряжений. (С мужчинами-неполицейскими сразу покончили — свалили в песчаные карьеры: этот материал слишком долго держать в такой обстановке опасно.)

Машина штурмбанфюрера резко затормозила возле длинного, с выдранными окнами здания школы. Бронетранспортер тоже стал, качнувшись вперед так, что каски солдат, весь ряд, одна об одну звякнули, будто аист заклекотал. Засмеялись солдаты. А один уже и сам догадливо стукнул соседа по голове-каска флягой, заделанной в сукно. Руку его оттолкнули. И снова засмеялись по-молодому. Видя, что адъютант Дирлевангера уже распахнул дверцу и шеф вылезает из «оппеля», стали и они спрыгивать, выскакивать из своего железного гроба, сбивать с рукавов и колен белую пыль. И тут заклекотало у них над головами: настоящий, живой аист одноногого стоит, высится над старой, подсохшей с вершины сосной. На усеченной вершине — колесо, на нем искусно уложенный хворост, просторное гнездо, а хозяин гнезда застыл, как пожарник, оглядывающий окрестности, медленно поводит красным наконечником-клювом. Двое или трое схватились привычно за автоматы, боясь, что их опередят. Но стрельбы никто открыть не решился.

В десяти шагах стоял штурмбанфюрер и тоже глядел на аиста.

Дирлевангер уже бывал здесь, даже на этом вот месте стоял, когда приезжал в Борки на рекогносцировку, и тогда тоже наверху стучал клювом-наконечником этот красноногий хозяин окрестностей. Полувзмахивает неловкими, тяжелыми крыльями, когда нога устает держать его, но вторую подставить не хочет, принципиально. Важный дурак.

Где там начальник борковской полиции? Сидят в школе «начальники», дожидаются, когда их увезут в город, радуются, что они имеют полицейские повязки. Дней десять назад стоял на этом самом месте и, переминаясь с ноги на ногу в красных самодельных

калошах, объяснял, что сегодня начальник полиции он. Обнаружилось, что на эту должность они назначают друг друга по очереди. Такие здесь вояки — не хотят быть главными! Вот до чего боятся! Бандитов боятся, а кого же еще. Вот сегодня и проверим, увидите, кто страшнее и кого надо бояться. А в тот раз злость разрядил на Барчке. Старательный тупица, не спросясь, распорядился наловить для Германии молодежи. А Борки нужны нераспуганные и неразогнанные. Насовал «вальтером» фольксдойчу в физиономию. Ну, а сегодня очередь за другими. Се-е-го-дня... Дирлевангер достал из кобуры тяжелый пистолет, оглянулся на плотненького своего адъютанта, и тот сразу подбежал, подставил плечо: без упора да в такую мишень из пистолета — попробуй! Та-ак... Красная нога переломилась на самой середке, черно-белые крылья, упрямо взмахнув, поставили дурака на вторую ногу. Та-ак, по второй ножке!.. Упал в гнездо, как шар в лузу, но маленькая головка и длинный клюв все так же высятся на длинной шее. Е-еще разок!.. Красным наконечником пронизывая серо-бархатистые от пепла и сажии сосновые ветки, падает по-снайперски сшибленная головка...

Аист, точно разглядев со своей каланчи мальчишеские фантазии штурмбанфюрера, без всякой подготовки вскинул широкие крылья, из черных сразу ставшие белыми — будто сажу с них смахнул! — и полетел, тяжело волоча над самыми крышами как бы на самом деле перебитые красные ноги. Трассирующие пули воткнулись в небо, стукнул выстрел, второй — уже увидели живое над деревней, и как тут удержаться! Аист стал делать круги, пытаясь взлететь туда, где все еще голубеет небо. А солнце сбоку подстреленно прыгает, тоже как бы пытается вырваться из удушливо черных дымов, которые вот-вот сомкнутся под самой вершиной купола... И чем выше поднималась совсем уже белая птица, тем большее число людей с винтовками и пулеметами могло увидеть ее. И уже пулемет бил, покрывая винтовочные выстрелы, азартно потрескивающие в разных концах поселка. Чудно было видеть, что аист все еще живой плывет, все поднимается кругами к голубой горловине неба, будто и не птица это, а всего лишь отлетающая душа этих страшных Борок.

К Дирлевангеру ровным шагом подошел-подлетел

румяный, красивый гауптшарфюрер — командир немецкой роты. Доложил, что женщины и дети — в амбаре, полицейские — в школе, семьи полицейских помещены отдельно — в доме напротив. Гауптшарфюрер нравится штурмбанфюреру. Так смотреть и ждать приказа умеет лишь хороший немец. Не строить догадок, не забегать наперед даже из старательности, но и не колебаться ни секунды, какой бы приказ ни последовал! Если стоит, на лице лишь это и обозначено: я стою; если ест: я принимаю пищу; убивает — я работаю; пьет, песни горланит — я отдыхаю... На лице, в глазах молодого офицера радостная, спокойная уверенность: «То, что знает старший фюрер, он сообщит, когда посчитает нужным, и я буду знать, как поступить, что сделать, чтобы выполнить долг немца!»

«Гарнизона не было, а полицейские были. Свои и чужие собрались, от партизан в Борках прятались. Ховались кто где по хатам.

Ну, так я пошла по воду, взяла ведро, а колодезь вот тут у нас. Таскаю воду — что-то около меня пули свистят: «и-и-и-и-и», вот просто «ти-и-в!». Они, видать, на опушке леса были и меня уже брали в бинокль и по мне, видать, стреляли. Ну, я набрала воды и пришла к своим.

— Знаете что, прямо на меня стреляют. Прямо пули возле меня тивкают! Ну, что ж, говорю, у нас уже так было, что людей брали,— може, снова будут брать, куда сгонять будут?

Советуемся в квартире, не знаем что.

Потом хозяин позавтракал, вышел на улицу и говорит: «Знаешь что, пришел полицейский,— а полицейские в Борках были, на нашем поселке два полицейские были,— пришли полицейские домой, пойду я, что там такое узнаю».

Пошел туда, а один полицейский говорит: «Знаешь что, или вас будут бить или нас. Но будут бить, потому что отобрали оружие у полиции и запирают в школу».

А некоторых полицейских пустили, отправили за семьями: «Приведите свои семьи».

Немцы вот так подхитрились. Ну, они пришли и забрали свои семьи.

В о п р о с: А полицейским немцы что говорили?

— Что идите приведите семьи. А они не знают. Или нас, говорит, увезут, или побьют. Ну что ж, полицейские взяли семьи свои и повели...

Ну, мы сидим. И видим, по той дороге, с того поселка тоже народ идет. Мой хозяин говорит: «Повели и дзержинские полицейские свои семьи» (Касперова Анастасия Илларионовна).

«— У нас ни одного полицейского не было на поселке. А только с Дзержинского. Ну, и ходил один по улице, а мой брат уже хотел спросить, что это будет, почему окружили. Говорит: «Костик, Костик, что это такое?» Так он и не стал разговаривать. Он же думал: «Нас повезут в Германию, а вас будут бить, так зачем я буду с вами разговаривать». Ну, им сказали, что: «Возьмите ваши семьи и мы вас увезем в Германию». И они свои семьи все собрали, эти семьи все, и их заперли в сарай и в школу...» (Синица Анна Никитична).

Оскар Дирлевангер приказывать не спешил, он лишь поинтересовался, все ли фюреры — немецкие и «иностранцы» — собрались сюда со своими подразделениями. Нет, не все, но сейчас, если надо, будут посланы связные-мотоциклисты... Это лишнее: обязаны все явиться к 16.00. Живые или мертвые! Сейчас сколько?.. 16 без 20 минут...

Штурмбанфюрер пожелал пойти в школу, взглянуть на борковских полицаев, и гауптшарфюрер счастливо отступил в сторонку, как бы создавая из одной, но ладной, четкой фигуры почетное сопровождение штурмбанфюреру. Вдвоем — штурмбан- и гауптшар — оба фюрера шли по школьному коридору с обвалившейся штукатуркой, шаги их соударялись, не сливаясь в одном звуке: младший рангом фюрер старательно запаздывал с ударом подковок, и это было точно рассчитанное нарушение — сбой подчеркивал, что их все-таки двое, и младший лишь дополняет.

Караула немецкого внутри здания нет, лишь у входной двери да по углам. Гауптшарфюрер всем распорядился, как надо, хотя и не знает окончательного решения, всей идеи старшего начальника. Нет, что ни говори, а чисто немецкое подразделение — не служба, а одно удовольствие. Не зря другие командиры так держатся за это и совсем не радуются перспективе,

что и их разбавят иностранцами в такой же мере, как особый батальон Дирлевангера. Иностранцы носят немецкие мундиры и служат по немецкому уставу, но не арийская порода выдает себя, и прежде всего скукой подчинения. Командовать — пожалуйста! А вот подчиняться им скучно, нет в них этой радости подчинения старшему, высшему! Уметь подчиняться, чтобы иметь право командовать с той же истовостью — вот чему научила история и что в крови у немцев, и пусть это останется только их достоинством. Этим горы сдвигать можно, ну, а с чужестранцами нужен совсем другой рычаг. Еще искать и искать его! Но не найдешь, если не искать.

Из комнаты-класса, которую уже минули фюреры, выскочил полицай и, подергивая руками пояс, промчался вперед, локтем выбив большой пласт штукатурки, так что она пыльно рухнула прямо под ноги немцам. Полицай ойкнул от ужаса и исчез в дальней комнате. Веяло свежим дерьмом — поверх всех запахов, тоже не медовых. Младший фюрер скосил глаза — должен он обрушить кару на голову виновного? — но понял, что принято решение дерьма не замечать и идти к цели.

В том классе, куда нырнул вонючка, разноодетые полицейские уже выстроились, дожидаются. Старательно расправили на рукавах полицейские повязки, грязные, измятые от ношения в кармане. Снимет эту тряпку, и как ты отличишь его от бандита. На бандитах зелено-немецких штанов и френчей даже больше. Приходится дирлевангеровцам нацеплять на погон белый лоскуток, чтобы в бою своих видеть, отличать.

Для сегодняшней акции такие полицайи вполне подойдут. Легче легкого объявить их бандитами. Напомнить, как убежали при первом выстреле, когда бобруйская полиция привлекла их к операции против партизан месяц назад?..

На грязных подоконниках куски хлеба, какие-то тряпки, по углам — узлы, мешки. Собрались в дальнюю дорогу, судьба деревни, слава богу, не их судьба! Они же полицейские, их увезут, их семьи убивать, жечь не будут!.. Испуганные, бессмысленно или хитро вытаращенные глаза. Тянутся изо всех сил, изображают «смирно», а не все пищу прожевали, а один все еще ремень затягивает... Конечно, можно напомнить (не им, а своим, иностранцам), что борковские дважды

разбегались, когда их брали в экспедицию против партизан. Но это упростит акцию. И так им слишком многое слишком понятно. Боги, пути и мотивы которых ведомы, поступки объяснимы, — не боги, а всего лишь начальство. Которое можно пытаться и обмануть, и обойти. Только недоступное пониманию действует как следует. Когда из батальона сбежали девять человек — целое отделение, охрана моста, Дирлевангер приказал столько же расстрелять. Сам смотрел списки батальона и сам ставил крестики против фамилий — наугад. Не спрашивал командиров, кто и какой, а на ком карандаш споткнется. Но разве всем немцам понятны поступки фюрера? И разве из-за этого их любовь меньше? Без господства духа не получается и господства силы.

Оскар Дирлевангер любит пойти к людям, которых уже обожгла догадка, что с ними сделают, постоять, и посмотреть, и послушать, как ревет в них ужас — даже если они молчат...

Улица вся заляпана коровьими лепешками, младший фюрер мужественно бросился вперед, гневно забирая на себя и отбрасывая подергиванием ноги то, что могло оскорбить сапоги самого штурмбанфюрера. А оно не отклеивается, оно не отбрасывается, и офицер гневно взглядывает на солдат, которые, вместо того чтобы сделать что-то, лишь бесполезно вытягиваются да невольно следят, как ноги начальства таранят коровьи лепешки. С вилянием и подергиванием пробирались, танцуя, по улице и подошли к большому, из толстых бревен гумну. Ворота подперты кольями и телегой, на которую навалили гору мешков. Но лошадь не выпряжена, выворачивая оглобли, она пытается хватать траву, что растет у самой стены. Тихо в гумне, никогда бы не сказал, что там двести или триста душ. Разные, очень разные бывают эти гумна, амбары, сарай, церкви: другие уже разламывало бы от воя и крика, а здесь даже ласточки не боятся залетать и вылетать с чирканьем из подстрешья.

Люди в голубых жандармских мундирах по знаку гауптшарфюрера бросились отводить лошадь с груженой телегой, снимать колья, а другие выстроились полукругом с автоматами, чтобы остановить и отбросить, если запертые попытаются самовольничать. Нет там, что ли, никого, в этом гумне? Обычно напирают, слепо наваливаются на ворота, и те дышат, как жабры

выброшенной на жаркий песок рыбы. А тут... Ворота свободно раскрылись, и Дирлевангер увидел в полумраке сначала глаза, множество глаз. Но почему все эти бабы и дети все отодвинуты в глубь гумна? Когда Дирлевангер понял, в чем дело, он оглянулся на младшего фюрера, и тот встретил его взгляд с одинаковой готовностью принять одобрение или порицание. Нет, Дирлевангеру понравилось. Пока у солдат играет, работает фантазия и не иссяк юмор — изобретательный юмор дирлевангеровцев! — можно поручиться, что все идет как надо. Значит, на деле, а не на бумаге есть, бурлит радость исполнения солдатского долга. Такая работа, что и говорить, не у каждого сразу заладится. И первый признак, что еще не приспособились, — напряженные лица и серьезность во всем. Но потом и в самой работе начинают искать и находить отдых. Как тогда, зимой, кому-то же пришло на ум! Деревню обработали тщательно, улицу за улицей, двор за двором, вроде бы ни души не осталось, но когда подожгли и уезжали, оказалось, что одна еще жива, но не к стыду, а во славу батальона. У самой дороги, где уже начиналось заснеженное поле, увидели одиноко стоящую железную кровать и даже кривой стол при ней, а на столе различные банки-склянки. Поль и его пьяно-веселая команда не посчитали за труд, выволокли из хаты черную, больную старуху, вместе с кроватью далеко унесли из деревни и оставили ее здесь, у дороги. Солдаты смотрели на ошалевшие глаза неподвижно лежащей на своей кровати женщины, и ни один не уезжал без улыбки, советы и пожелания сыпались сверху, с машин: — Эркельте дих ниht, матка!.. Кригет ду нох киндер — руф унс цур киндстауфэ... Найн... Шис ниht! Лассен вир зи ден зовйетс... Цур фэрмерунг! ¹

И теперь вот этот остроумный ржавый снаряд посреди тока, перед онемевшей толпой борковских жителей — вот она, улыбка дирлевангеровца, которому ни жизнь, ни работа не в тягость! Не только насмешка над бабьим ужасом, но и над излишней серьезностью в любом деле. Все идет, как и следует, как по писаному, не в канцеляриях писанному, а в согласии с тем, что еще запишете. И изучать будете!

¹ Не простудись, матка!.. Нарожаешь еще — позови на крестины... Не стреляй, не надо! Оставим се Советам на развод!

Солдат, которому пришла в голову забавная мысль притащить в гумно «партизанский подарочек» (снаряд этот извлекли из-под мостика, когда ехали по моголевскому шоссе), самый молодой в роте солдат Герман Хехтль заметил довольные улыбки командиров и даже покраснел от счастья. Он по-мальчишески оглядывался, выглядывал из-под каски — все ли заметили? И здесь ли, где он, тот старый пень, Отто Данке? Почему не смотрит?..

Оскар Дирлевангер со свитой из немцев и «иностранцев» вошел в ворота просторного гумна. «Тут и еще столько же вместилось бы!» — по-хозяйски отметил штурмбанфюрер. Подошел и согнутым пальцем постучал по немоу ржавому железу. Один Муравьев выглядел мрачновато среди улыбающихся офицеров. В толпе жителей тоже одно лицо выделяется — оно мужское и оно пытается улыбнуться навстречу немцам. Дирлевангер удивленно посмотрел на гауптшарфюрера, и тот стал объяснять: мужчина утверждает, что тайно работает на кировское СД, правильно назвал чины и фамилии немцев из комендатуры.

У полнолицего, хотя и очень бледного мужчины на руках голозадый испуганный ребенок и еще двое или трое под руками у щупленькой, какой-то усохшей женщины, которая с надеждой, огромными заплаканными глазами смотрит на своего мужика. А он понял, что о нем говорят немцы, и жадно порывается мимикой, глазами в их разговоре участвовать, показать, что ему надо выйти туда, за ворота, отойти подальше, и там он все объяснит, и все выяснится, разъяснится к общему удовольствию! Настроение у Дирлевангера сразу изменилось. Что могут значить услуги этого болванатуземца захудалому кировскому СД, когда элементарная арифметика против? Он сам, этот осведомитель, его существование, конечно же, прерогатива местных немецких властей, но вот то, что он держит на руках (а еще сколько у ног — раз, два, три?) — это уже затрагивает высшие интересы немецкого государства. Дирлевангер способен любить детей. Но не здесь и, главное, когда их не столько в одном месте. Глаза, глаза — будто шевелящаяся, поблескивающая икра.

Вот тут Дирлевангер разозлился. Снова постучал по снаряду, и тяжелое железо снова не отозвалось.

— Говорите спасибо этим вашим партизанам!

И тут уж совсем вышел из себя! На кого разгневался, кому и зачем объясняет, будто оправдывается? Да еще по-ихнему старался сказать, мучительно собирая из всех уголков памяти русские слова! И все из-за этого толсторожего иуды!..

— Господин офицер, госпо... — закричал мужчина, увидев, что главный немец собирается уходить. Заревел на руках у него пацан, в ужасе таращась на немцев, пополз на плечо, хочет за спину спрятаться, и дядька голым пацаньим задишком, как тараном, налетел на немецкого офицера, пробиваясь к Дирлевангеру. Его отшвырнули назад.

— Я есть ошибка! — закричал дядька из кировского СД, ломая язык на немецкий лад.

Муравьев смотрит и слушает все, что происходит, и все происходящее как-то окрашено его мыслью о будущих делах и поступках, которыми он все исправит, все, все искупит!.. Почему только будущих? Он и сейчас может кое-что сделать, вот хотя бы этого осведомителя до конца и перед всеми разоблачить. Чтобы услышала и высокая женщина, которая ни на кого не смотрит, прижимает к себе девочку и все говорит, все разговаривает с ней: «Мама с тобой, мама с тобой, мама будет все время с тобой, мама с тобой, с тобой, с тобой!..»

— Здесь говори! — мстительно, зло приказал Муравьев.

— Тут нельзя... там, я там! — все пытается прорваться дядька.

— Здесь, тебе говорят!

— Я работал... Я ходил в Кировск... Мне не дали взять, дома у меня спрятан документ, я могу показать... Каждую неделю докладывал...

— Неправда, теточки! — Это закричала жена его, вертя шейю. — Не верьте, неправда!

А сама с детьми все равно поближе к мужу, к воротам, к спасению, а ее толкут прикладами, отшвыривают солдаты.

— Мамочка, просися и ты! Мамочка, просися и ты! — детский крик на руках у той высокой женщины. — Мамочка, будем гореть, и вочки наши будут выскоквать, глазки будут лопаться, выскоквать!..

Муравьеву почудилось, что старый гаубичный снаряд, лежащий на стуле — черная от грязи свинья! —

дышит, надувается, что вот сейчас рванет, не выдержит и все разнесет, всех поднимет к небу! Невольно поспешил к выходу, следом за Дирлевангером. А солдаты уже взялись выносить снаряд, со стуком сняли его на глиняный ток и покатали, подталкивая сапогами.

А за спиной у них, у Муравьева, в нем — все тот же одинокий женский голос, и его не заглушает, а как бы поднимает и поднимает к черному небу общий предсмертный гул и стон:

— Не бойся, деточка, мамка с тобой! С тобой я, моя слезинка! С тобой! Люди все здесь, не бойся! Люди все здесь, все!

Дирлевангер вдруг повернулся к Муравьеву, посмотрел на него внимательно, усмехнулся широким своим ртом и приказал, чтобы мужчину из СД поместили с полицейскими семьями.

— Вэн эс им бессер гефельт дорт цу брениен! ¹

Дядька все выдирается из ворот, уже полуприкрытых, его выпустили — с одним ребенком на руках. И десяток крепких солдатских рук, тел навалилось на рывками сходящиеся створы ворот. Дядька из СД еще пытался объяснить, что у него осталась там жена и еще дети, бросился к Муравьеву:

— Господин немец, господин немец! У меня документ, я могу показать...

— Уходи, гад, пока не поздно! Вон туда его, в тот дом. Да тащите его!..

Уже прозвучал над тобой голос, гиперборей! Прозвучал и навсегда останется — детский: «Вочки наши будут выскоквать!» Что после этого голоса все слова, которые ты будешь говорить,— себе или другим? Что?!

Еще напирали десятки солдатских рук на ворота, искали, чем их укрепить, а уже два воза соломы — одновременно из-за двух углов — въехали на площадку перед гумном. С бронетранспортера снимают канистры. И тут что-то случилось — к возу, что подъехал справа, побежали солдаты.

Дирлевангер стоит возле машины, а водитель Фюрер щеточкой смахивает с его рукавов, спины пепел, сажу,

¹ — Если ему там больше нравится гореть! (нем.)

опасливо тянется к фуражке, но тут штурмбанфюрер сердито оттолкнул руку водителя и тоже стал смотреть, что там за беспорядок происходит.

Пустяк, пришлось застрелить подводчика, проявил строптивость! Уже сваливают, к стенам укладывают солому, завалили и тело подводчика, а гауптшарфюрер, доложив о происшествии, толково и неторопливо продолжает командовать операцией.

Для всех, может быть, и пустяк, а для Отто Данке, солдата и крестьянина Отто Данке, то, что произошло, едва ли не катастрофа! Как этот бандит, как он, будто клещ, вцепился в ремень Оттовой винтовки, как не отпускал и все что-то кричал, какое-то одно слово: *Ludzi! Ludzi!* И все были свидетелями Оттовой беспомощности, видели старческое бессильное брыкание то правой, то левой ногой в попытке оттолкнуть взбесившегося подводчика, забрать у него свое оружие. Сам штурмбанфюрер мог увидеть! Пока не подбежали и не выстрелили, бандит напирал с выкатившимися глазами на Отто, не выпуская его винтовки, и повторял это свое слово... А они ведь два часа были вместе, и ничего такого за ним Отто не замечал. Вместе собирали и грузили, укладывали на телеги то, что может пригодиться в большом немецком хозяйстве, Отто даже помогал поднять мешок, если тяжелый, или железную борону. И спрашивал, как это называется, как это? Показывал пальцем и глазами спрашивал, а советский крестьянин все называл по-своему, чудно так: «*Chler*», «*Вогонпа*», «*Когота*»... А вот эта вещь, которую он выкрикивал: «*Ludzi, ludzi*», не попадалась на глаза — Отто помнит, что такого слова в их разговоре не встретилось, не было. Почему такое несчастье должно было именно с Отто Данке случиться, почему? Вон стоит с автоматом и ухмыляется, подмигивает из-под каски Герман Хехтль, у него, с ним ничего подобного никогда не приключится, хотя он жулик, бездельник городской, каких среди немцев немало выросло после той войны, в голодные годы. Когда офицеры не смотрят в его сторону, молокосос Герман, отпустив автомат, вскидывает над головой, как молящийся иудей, обе руки, изображая наивысшую скорбь и печаль. Хоронит уже Отто Данке, его доброе имя солдата и немца. Но какую черную душу нужно иметь, чтобы так обмануть доверие, надругаться над немецкой добротой! Правду говорят,



Максим Танк, Пимен Панченко, Алесь Адамович,
А. Т. Кузьмин, Янка Брыль на пленуме СП БССР.
1980 год.



В мастерской скульптора Ивана Миско (справа налево):
Иван Миско, Алесь Адамович, Владимир Коваленок, Аркадий
Бржозовский. 1981 год.

что все они здесь бандиты, грязные и неблагодарные существа, только похожие на людей. Вот и шарфюрер Белый, а второй даже гауптшарфюрер был, в мундирах немецких — за одно слово постреляли друг друга. Все время жди от них чего-нибудь. Скорее бы, и правда, была везде Германия, настоящая, только немецкая! Так с ним хорошо работали, разговаривали, помогал ему — и вдруг как взбесился! Вцепился, как зверь: Ludzi! Ludzi! Сколько помнит себя Отто Данке, судьба с ним обходилась, как мачеха. Как соседи с Германией всегда обходились. Лежит теперь под соломой у стены, ему что, лежит себе! А Отто думай, как и что ему скажут, когда батальон вернется в казармы. Лишится всякого уважения у гауптшарфюрера, а могут еще и поощрительной посылки в Германию лишиться. А уж как этот жулик-молокосос будет издеваться! Закинув вырванную из рук бандита винтовку за спину, Отто захватывал руками столько соломы, что приходилось придерживать и подбородком, и животом, и коленями, носил и укладывал вдоль стены, таскал и старательно укутывал стену сарая. Что-то очень знакомое, домашнее в этих действиях: бери скользким пластом улежавшуюся солому и прикладывай к стене, как пластырь! Это у других все сразу было, а Отто Данке пока стал хозяином хороших построек для скота, вынужден был и вот так действовать в морозные зимы. А ведь бог не обидел Отто ни умом, ни трудолюбием, но ему все не везло, пока не везло и Германии. Радио — вот что помогло Отто понять, кто повинен во всех его и Германии бедах. Сначала ему не очень нравился голос фюрера: слишком громко кричал и, главное, всех поминал, за всех переживал, а крестьянина будто и нет в Германии. Рабочие у них — «новое дворянство», студенты — «молодость Германии», даже женщины — что-то такое! Но какая может быть сытая и здоровая Германия без уважения к бауэру. Спыхватились и уже не забывали больше: и «кровь», и «почву», и то же «дворянство» — все, все теперь крестьянину! И в газетах, и по радио, и специальные агитаторы на велосипедах по селам разъезжали, со стягами и музыкой. А все несчастья и обиды оттого, что Германия всех и всегда спасала, дарила культуру и машины, а русским даже мудрых царей и цариц, а взамен — ничего, кроме зависти, неприязни, постоянной неблагодарности! Взять тех же

поляков! Разве не Германия помогла им стать государством, а чем отблагодарили? Отто сам проходил через Польшу, когда германские войска отступали из России, и знает, какие они, поляки. Вот их да чехов фюрер и наказал первыми. Или все эти русские: сейчас воют в сарае, жутко и слышать и видеть такое, но что было бы, если бы фюрер их не опередил и они ворвались в Германию? Если уж немцы вытворяют бог знает что — большевики вынудили их забыть свою доброту! — то чего можно ждать от азиатов?

Страшно представить, что ждало бы Германию, если бы не фюрер!

Солому уложил у стены ровным валиком, где надо взбил, распушил хорошенько. И особенно на том месте, где лежит этот бандит. Но кто на это обратит внимание? Кто и когда ценил честность и добросовестность немца? Вот когда что-то не так у тебя, без вины виноват, все заметят, а потом, в другое время в твою сторону и не глянут. Но отчего беды, неудачи всегда липнут именно к Отто Данке? Почему легко жить бессовестным, таким вот, как Герман Хехтль? Скалит зубы, кривляется, свинячая собака! А Отто не до того, ему бы как-то совладать с дрожащими руками, и губы, щеки вдруг стянуло, стали, как чужие. Скорее бы уже, ну что они так кричат, воют? Скорее бы всему конец! Лицо перекашивается, одеревенело, и эти руки еще — сейчас все увидят, заметят, вот сейчас снова будут смотреть на бедного Отто, на неудачника Отто!..

Из будущих исследований, материалов о гипербореях:

«Излюбленный и самый неотразимый их аргумент: «Мы предупреждали!» — после чего гипербореи считают себя вправе делать с другими все, что подскажут злоба или месть, властолюбие или корыстолюбие. Но самый главный их подсказчик — обида. Так мучительно, невыносимо перед всеми и всегда быть правыми! И потому они постоянно и заранее обижены на тех, кого им надо убить, замучить, обобрать. Всегда помнят лишь собственные убытки и кто, когда причинил зло или неудобство им. Но сразу и навсегда забывают зло, которое они причиняли другим. Они прямо-таки потеют справедливостью, правотой своей перед всеми и во все века! «Мы предупреждали евреев!..» «Мы

предупреждали оппозицию!..» «Мы предупреждали вьетнамцев, пусть пеняют на себя!..»

«Как они могли, неужели это правда, то, что вы рассказываете о Хатыни? — нет, это уже не немец спрашивает, верит и не верит, а турецкий журналист. В ту минуту он совершенно искренне не помнил, забыл о такой же резне в армянских селах еще в 1915 году. Как объяснить эту способность людей, народов помнить одно и не помнить другое? И возможность быть человеком и гипербореем одновременно. Или — сегодня человеком, людьми, а завтра уже гипербореем, гиперборейцами!..»

Уже перестал бить последний пулемет, уже затихло гумно, совсем затихло, и хорошо слышны стали жадные, жирные всплески пламени, черный треск и чавканье в клубах грязно-желтого дыма. И тут вдруг медленно, как во сне, стали расходиться, раскрываться ворота. Видно, сорвали сумасшедшей стрельбой все запоры-завалы, потому что давно никто уже не бился, не напирал изнутри и никто из ворот не вышел, не выбежал. Каратели, вначале насторожившиеся, когда поняли это и поверили в полный порядок и тишину за воротами и стенами, начали постепенно отступать подалее от огня и приближаться к школе. Грязно-желтый дым все гуще наливался жирной смолюю, тошнотная горячая вонь далеко к школе оттеснила, загнала офицеров.

И тут высокий «иностранец» в темной шинели, у которой полы по-бабьи подняты к поясу, заложены за ремень, вышел вперед и стал напротив распахнутых ворот. Прижимая ухо к собственному плечу, он взвел, направил висящий через плечо пулемет и ударил в клубящееся пламя гулкой длинной очередью. Запоздало, без нужды, просто от полноты душевной. А если иметь в виду присутствие штурмбанфюрера — то и с вызовом, нарушая порядок. Отгрохотал и осматривает свой пулемет, внимательно и неторопливо, словно он тут один и он единственный знает, что надо делать, как поступать. Все невольно переводили взгляд с него и на штурмбанфюрера — что-то произойдет сейчас! — и этим как бы связывали, связали их, Тупигу и Дирлевангера. Полицай наконец повернулся ко всем, и, наверно, ему показалось, что был, а он не расслышал при-

каз какой-то. Все глаза показывали ему на штурмбанфюрера, и Тупига напрямик пошагал к Дирлевангеру. Подошел и стал перед ним и даже ухо полуоторвал от плеча, полувыпрямил скособоченную шею, отчего ростом стал выше штурмбанфюрера: «Я здесь, раз ты звал зачем-то. Если для того, чтобы сказать спасибо, данке — что ж! Но от вас дожدهшься!..»

Оскар Дирлевангер в упор рассматривал жилистого высокого «иностранца» с косо висящим на груди русским пулеметом, явившегося к нему — не за поощрением ли? И не просит, а как бы требует чего-то — такие у него глаза. Да он что, на самом деле жить расхотел?

Тупига спокоен: прятать ему от Доливана нечего, весь он здесь со своим пулеметом! Пусть сачки шарахаются от этого немца, а Тупига ничего не просит, но и не боится никого. Если есть тут кто не сачок, не ловчила-бездельник, а, наоборот, мастер в своем деле, так это они двое, и никто больше. И Доливан, если не дурак, обязан это понимать. И понимает. Потому и усмеяется и даже как бы подмигивает Тупиге. Пусть скажет слово, намекнет, и Тупига с удовольствием — одной очередью, одним разворотом! — повяжет и снопиками уложит этих сачков и дармоедов, что сгрудились, топчутся возле Доливана. Впрочем, и сам немец этот немного с придурью, и на него еще палка нужна: какую-то жидовку с собой таскает!..

Оскара Дирлевангера передернуло так, что высокие, острые колени чокнулись друг о дружку — как только не зазвенели! Раздраженно глянул на Муравьева: «Что здесь происходит?» Муравьев сделал жест, как муху отогнал:

— Уходи, кретин!

Тупига пожал плечами и пошагал. Неторопливо уходил от существа, которое никак не могло погасить в своем сознании картинку: не спеша, с растяжкой кладет руку на кобуру, вытаскивает тяжелый «вальтер», поднимает на уровень лица, глаз иностранца, дожидается, пока спокойная уверенность сменится удивлением, ужасом, и нажимает на спусковой крючок...

...Только здесь, теперь Муравьев решил доложить штурмбанфюреру о непонятной и неприятной истории: иностранец шарфюрер Белый стрелял в унтершарфюрера Мельниченко, унтершарфюрер тяжело ранен, шар-

фюрер убит. К его удивлению Дирлевангер новость принял совершенно спокойно.

— Ин Могилев! Алес вирд зих ин Могилев клэрэн!¹

Сказал это и распорядился выстроить две шеренги, коридор — от школы и до пылающего гумна. Онемевшее гумно ревело по всей длине, в нем и над ним бушевал смолисто-черный вихрь, все разрастаясь, забирая и то небо, которое еще оставалось открытым. Обсыпаемые сажей, пеплом существа в немецких мундирах спешили, вытягивались в две шеренги — одна напротив другой. Зачем и что будет происходить, что надо делать дальше, никто не знал. Дирлевангер же мрачно стоял у своей машины. Раздражение, которое в нем заклокотало, когда иностранец подошел и тупо-нагло стоял перед ним, уже оседало, но круги пошли далеко, привычно захватывая и Люблин, и партайгеноссе Фридриха, и Берлин... Там у них отношение к Дирлевангеру хорошо если такое же, как ко всем командирам таких, подобных команд. А то и хуже, чем к другим. Другие «чистые», а у него «сброд»! Некоторые умники вообще считают функции подобных формирований скоротечными — пока удастся усмирить тылы. И не понимают, что тогда-то настоящая работа и развернется, и таких команд потребуется сотни и сотни. Если вы, конечно, не собираетесь всю немецкую армию превратить в «айнзатцкомандо»! Пренебрежительное отношение к любым и всяким особым командам, ясное дело, подогревается соперничеством и ревностью со стороны крематориев-стационаров. А вдруг «передвижные крематории», вроде дирлевангеровского, продемонстрируют и свою дешевизну, и большее соответствие целям и планам окончательного урегулирования. Вдруг да сделаются из подсобляющих основными! (Именно из лагерных канцелярий вылетают самые кусучие бумаги-ищейки и преследуют, преследуют Дирлевангера!) И, конечно же, демагогически ссылаются на предупреждения, указания самого фюрера: отныне и во веки веков на этих территориях оружие будут носить только и исключительно немцы! Но для того, чтобы правило стало нормой, раньше нужно отнять это самое оружие — вместе с кровью! — у всех у этих русских, белорусов, украинцев и прочих, а кое-кому, наоборот,

¹ — В Могилеве! Все будет в Могилеве! (нем.)

вручить. Что и делается. А куда денешься, когда такая обстановка? Повторять общие формулы, вместо того чтобы добывать для фюрера новые факты, — чья же это обязанность, если не практиков? — конечно, легче и приятнее. Всегда будешь прав и будешь слыть надежным национал-социалистом. Бойтесь, что такие формирования выйдут из-под немецкого контроля? Но только не у Дирлевангера. Все дело в руководстве, в руководителях! Не вырвутся из-под руки Оскара Дирлевангера — столько раз убеждался, а надо, так и продемонстрировать мог бы...

А тем временем в четких действиях команды произошел явный сбой. Слишком долго не подавались и не передавались необходимые распоряжения. Молчал мрачно Дирлевангер, молчали выжидательно и фюреры чином поменьше. Шеренги, образовавшие коридор от здания школы к пожираемому пламенем гумну, томилась безделием. И от жары, от вони. Крыша, стены гумна уже обрушились, догорают, но пламя не только не спало, а все больше ярится, выбрасывая с оглушительным сковородным треском-скворчанием черные клубы дыма и удушающей вони. Те, кому выпало стоять ближе к гумну, корчатся от тошноты, уже рвет-выворачивает нескольких немцев и «иностранцев», и почти все они вытирают рты, губы, сплевывают — если не им, то их желудкам, нутру уже невыносимо это пиршество.

Из школы, чуть не падая, выбежал борковский полицай, а следом появился разгоряченный немец-конвоир. Кто-то, значит, распорядился. Но тот, кто это сделал, дальнейших распоряжений в присутствии штурмбанфюрера делать, видно, не решался. И конвоир и полицай не знали, что делать дальше, а на них сразу сосредоточилось общее внимание. Полицай с непониманием и ужасом смотрел на кого-то поджидающие шеренги, на клокочущее в конце живого коридора страшное огнище.

А Дирлевангер, казалось, не замечал, что все ждут его слова. Да, да, все дело в руководителях, в руководстве! Вся система в его батальоне, наполовину состоящем из чужестранцев, на то и направлена, чтобы твердо, уверенно понуждать их делать то, что они, может быть, делать и не собирались никогда. Час, минуту назад не собирались. А вот еще этих убьешь или го-

тов лечь в яму сам? Столько раз не ложился, а тут уже готов собой заплатить за чужую жизнь? Чужой платить за свою — это как-то легче и привычнее, не правда ли? Ну, а свой дом, если бы приказал Дирлевангер, поджег бы? А если в доме кто-то есть? Смотрят, прильнули к окнам, а их муж-отец идет с канистрой, ноги заплетаются, но идет, идет их муж, идет их отец! Или это уже слишком, фантазия невозможная? Случая такого еще не было в практике батальона. Но это совсем не значит, что он невозможен и его не будет — такого поучительного, интересного случая. Зачем же тогда батальон называется экспериментальным? Случается, все случается! У самих у этих бандитов бывает, когда и жизнью собственных детей платят!.. Как тогда, у лесника на хуторе... Семерых детей поставили, подравняли всех по росту и росточку у стенки: ну, отец-мать, говорите, кто из деревни служит у бандитов проводником, кто водит их мимо немецких постов к железной дороге? И сколько раз ты сам водил? Жена до третьего выстрела тоже молчала, только вскрикивала тонко после каждого, а дальше не выдержала, хватала мужа за колени, за ноги, умоляла сделать так, чтобы хоть остальных, самых маленьких, не убили, а он стоит, как истукан, и только воздух заглатывает, давится... Вот тогда и подумалось: ну, а вы, вы в своих собственных стрелять будете? Смогу я, Дирлевангер, заставить вас? Как кто-то — того лесника. Если не кто-то, так что-то. Ну, а что сильнее и убедительнее, чем страх за собственную жизнь? Не вообще страх, а если сделать так, что у тебя ничего уже не осталось — ни друзей, ни родни, ни родины, только эта самая жизнь. Так уж устроены люди, что ценится она особенно тогда, когда ничего уже не стоит. Когда все остальное у них уже отнято, навсегда. Держаться им уже не за что, так хотя бы за жизнь! Даже скучно с ними, с такими. Ну разве проймешь их какими-то борковскими полицаями? Тут не такой нужен зигзаг. Ну ничего, я вам еще подберу вариант, долго не забудете!

Дирлевангер все молчал, не приказывал, а немец-солдат, который вывел из школы полицая, как бы поддаваясь требовательному ожиданию шеренг, зову живого коридора, уводящего к пылающему костру из трехсот человеческих тел, стал тихонько подталкивать

полицая в ту сторону. Откуда-то вынырнул Тупига, подбежал и сорвал с полицая нарукавную повязку. И тоже подтолкнул его туда же. Испуг и беспомощность на круглом, каком-то бабьем лице недавнего полицая сразу возбудили презрительно-враждебное к нему чувство и немецкой и «иностранной» шеренг — жестокое и веселое чувство. А он еще спросил, громко и нелепо:

— Это куда? Мне туды?.. Што вы, што гэта вы, людцы!

— Ага, туды-сюды! — передразнил его Барчке, остро ненавидя весь свет из-за своей распухшей физиономии, и особенно своих полицейских ненавидя, и хотел ударить борковского полицая кулаком по шее. Неловко, плохо достал по причине своего малого роста и трусливой вертлявости полицая. Но это действие словно притянуло к жертве других. Набежал немец-конвоир, оттесняя полицая коромыслами локтей и забирая, отнимая принадлежавшее ему, стал толкать, заталкивать борковца в живой коридор. Все нет распоряжений, что делать с человеком, который, точно заяц, забежал не туда, куда хотел, но уже с ним что-то делают, что-то веселое и страшное: подталкивают, проталкивают его туда, куда его распяты ужасом и непониманием глаза боятся смотреть. На бабьем лице полицая удивленная, извиняющаяся улыбка: «Вот видите, вот видите, меня затолкали сюда, я не виноват!..» А люди в шеренгах как бы поняли наконец, зачем, для какого дела их выстроили. Как кишка сама начинает проталкивать пищу, сжимаясь и подергиваясь, как только что-то попало вовнутрь, так и шеренги пришли в движение, судорожно задвигались, заработали. Немец или ненец, поочередно или вместе подталкивают, зло или снисходительно бьют человека, которого протолкали к ним другие, с которого сорвали полицейскую повязку, а коль сорвали, то так и следует. Его подхватывают и пинают стволами винтовок и автоматов, пересылают дальше — чтобы все попробовали и всем хватило!

— Што вы?.. За што? Я ничога не знаю!..

Крик этот, дурацкий, бестолковый, всех и злит и веселит. Человека снова и снова отпихивают на часток автоматных и винтовочных стволов и катят, катят — все ближе к ревущему огнищу. Тогда он упал, скорчился, поджал под себя ноги, накрыл затылок,

голову руками и замер под ударами сапог и прикладов, и только слышно было словно из земли идущее, удивленное: О! О! О! Четверо, взяв его за руки-ноги, поволокли к огню. Сначала вяло и беспомощно висел и только снизу глядел все еще с неловкостью в глазах: он такой тяжелый, а они зачем-то его несут, натруживают себя! Но тут же, будто сейчас только понял, куда и зачем его тащат, резко распрямился, двое отлетели, но ног его не выпустили, удержались, и снова сжали его в мягкий ком, но он снова, как пружина, распрямился, выбросил ноги. Подбежали другие, чтобы помочь — не ему, а тем, четверым, пламя выло уже совсем рядом, обжигало, мешало работать, и тут он все-таки вырвался и пополз, пополз, но его схватили за ноги и как лягушку поволокли туда, где скворчит-стреляет пламя, угли. Кто-то из шеренги прикладом ударил в голову, и он перестал пальцами цепляться, рвать траву...

А из школы уже второго вывели. И теперь все происходило по-другому, тверже, увереннее.

— Тупига! Где Тупига? — крикнул Барчке. Из-за гляцевых распухших щек не видит, что Тупига рядышком стоит. Тупига подошел к борковскому полицаю и уже демонстративно, ритуально рванул с него повязку. Но она лишь растянулась и осталась на рукаве. Они оба стали снимать, стаскивать ее — борковский полицай помогал Тупиге.

— Забери у него и мундир! — орет-разрывается Барчке. Сняли и немецкий френч.

— Ну, сачок! — сказал Тупига. — Вот ты и попался! Пошли давай!

Схватился за ствол и за вытертый до лакового блеска приклад своего пулемета и, как граблями валок сена, погнал, попер борковского дядьку перед собой — по живому коридору. И обе шеренги снова помогали им бежать. А навстречу жгло, страшно и до тошноты сладко воняло. Там, где жарница оттеснила, отогнала шеренги, где помогать было уже некому, эти двое остановились — борковский полицай и могилевский. Пулемет уже мешал могилевскому, а борковскому помогал ужас, и борковский осилил Тупигу. Рванулся в сторону — бежать. До этого могло даже казаться, что здесь все, включая и полицейского дядьку, заняты одним делом, выполняют что-то одно. Оказалось, что нет:

один хочет сжечь другого, а тому этого не хочется, потому что сжечь собираются именно его! За ним погнались еще несколько карателей, настигли, схватили. Немцы. А может, и австриец там был. Возможно, что это был словак. Или мадьяр. Или латыш. Или француз. Или кличевский полицаи — белорус. Пятеро фашистов, пятеро гипербореев окружили полицаю, а он за них хватается, как тонущий, обессиленно пытается перехватить удары, пинки, обрушившиеся на него со всех сторон. Ему заломили назад одну руку, вторую и повели, легко и быстро, нагибая голову до самых колен. От дикой боли плавного и послушного разогнали и пустили вперед — прямо в стонущее огнище! И даже искринка не взлетела — такой вязкий и черный был огонь.

Разгоряченные лица снова повернуты к школе. На лицах немецкой шеренги держится и не сходит: «Совершается, происходит то, что должно происходить, потому что иначе это не происходило бы в присутствии штурмбанфюрера и нижестоящих фюреров».

А на лицах местных и неместных «иностранцев» то вспыхивает, то гаснет и снова появляется: «Что происходит и почему? Эти борковские, ясное дело, связаны с бандитами. И вообще они... Да что думать, конечно же, бандиты! А с нами — со мной! — такого произойти не может! Но из-за них, из-за таких и я должен бояться! По-ошел, морда, еще упирается! Раньше надо было, бандит сталинский!»

— Пошел, сачок, сколько тебя ждать будут! — устремился Тупига к новому полицая, которого вытолкали из школы. — Особого приглашения ждешь?

Схватил и завернул за спину его руку, а немец с большущими очками на крохотном личике схватился за вторую руку и тоже завел ее назад, стоймя поставил, как рычаг дрезины. И побежали. Голова полицейского (с него уже и повязку не срывали) наклонена почти до колен, он видит лишь ноги свои, куда-то несущие его, спешащие, а шеей, волосами, кожей головы уже ощущает близкий жар. Только услышал, как вдруг страшно затрепали его волосы, а дикая боль в руках, лопатках на миг отступила, но ударила другая — в каждую клеточку тела! Тупига и немец как с разогнанной дрезины соскочили: с разбега пустили свою жертву прямо в огненное жерло. А сами стукнулись друг о дружку,

немец даже упал, и Тупига сразу показал ему и всем: я ни при чем, сам упал! Но немец ничего, улыбается, в шеренгах засмеялись. Тупига нашел в траве и подал немцу очки. А в этот миг в огнище взметнулась еще раз человеческая фигура, странно выросшая, с поднятыми руками, погасила смех и пропала. Но смех тут же вернулся, упрямо, назло всему: хмельная, не уходящая веселость одинаково окрашивала обе шеренги глаз, ртов, подбородков.

Когда десятого борковского полиция весело затащили, как кабана, закатили в жар, хотя этот упирался, отбивался больше всех, выл и кусался, Оскар Дирлевангер велел позвать к нему того полицейского в шинели и с пулеметом, который старался заметнее всех.

— Тупига! Тупигу! — строго понеслось от Муравьева к Барчке, суетливо — от Барчке по шеренгам. И только Тупига не засуетился. Отдыхая на ходу, стирая сажу с пулемета, оглаживая его, как охотник шею умной, удачливой собаки, направился к Дирлевангеру. Тупиге в общем-то наплевать, что и как эти немцы, даже в офицерских фуражках, сейчас думают о нем. Он вовсе не для них старается, а потому, что в любом деле не выносит сачков. Развелось сачков — мочи нет!..

Снова они стояли друг напротив друга, одинаково худощекие, длинноногие, сажа, как бы уравнивая их, одинаково ложилась на помятую черную пилотку и на скошенную назад черную фуражку, на солдатские сапоги с широкими голенищами и на лаковые офицерские голенища, на эсэсовский плащ, которым адъютант прикрыл плечи Дирлевангера, и на идиотскую — в июньскую-то жару! — шинель Тупиги.

Штурмбанфюрер внимательно, даже с интересом разглядывал раба, а Тупига, наклонив голову, всматривался в глаза своего «Доливана», как курица в чашку с водой, где что-то непонятное, но живое плавайт-копошится. Тупига все же уважительно сдерживал тяжелое дыхание, злое и веселое от недавней возни с борковскими сачками. Нет, пусть все видят, как выделил Тупигу сам Доливан! Интересно все-таки, чем награждать собирается? Что ж, дают — бери, а бьют — беги! Но и сдачи сумеи дать!..

Оскар Дирлевангер разглядывал стоящего перед ним «иностранца» с пулеметом поперек груди. Нет, не в пулемете дело. Если раб есть раб, пулемет всего

лишь инструмент. Как и любой другой. Не пулемет не понравился Дирлевангеру, а глаза, дерзкая уверенность раба, что он нравится немецкому офицеру, что он заслуживает одобрения, поощрения. Вот он как выглядит — раб, из которого не вышибли уверенность, что он может знать мысли, угадать поступки своего господина! Да он хуже, опаснее тех, кто уже сгорел!.. Достать пистолет, и поднять на уровень этих глаз, и ждать, а потом выстрелить...

Тупига видел, как рука немца легла на кобуру: неужели «вальтера» не пожалеет?! Громко произнести: «Данке, господин штурмбанфюрер! Хайль Гитлер!» Тупига, если надо, сумеет отпрапортовать не хуже этих куркулей-бандеровцев! С кобурой подарит или так? Не в кармане же носить...

Нет, у Дирлевангера этот день особенный: день рождения Паулины Херлингер, его добрейшей мутти! Она была очень верующая и пусть поживает спокойно: в этот день сын ее не убьет своей рукой даже мухи. Даже вот этого бунтовщика!

— Ну! — крикнул Муравьев, когда Дирлевангер молча отошел и взялся за дверку машины.— До ночи будете возиться? Долго эти будут подвывать там?

И показал на хату, из которой доносились сдавленный крик и плач. Жены и матки, дети борковских полицейских все, что происходило возле школы, наблюдали с расстояния не более ста шагов...

ПОСЕЛОК ПЕРВЫЙ. 11 ЧАСОВ 56 МИНУТ

Сиротка, услышав сухой и слабый, как горящая хвоя, треск автоматной очереди, оглянулся. Доброскок и Тупига тоже остановились и смотрят, как грузный немец Лянге стоит над ямой и водит стволом автомата.

— Твою работку поправляет! — злорадно крикнул Тупиге все еще обиженный на него Сиротка. Им видно, как подошел к яме и Кацо и тычет в яму рукой с наганом.

Господи, значит, я не сплю и это правда, я здесь — в страшной яме! Нас убили, все еще убивают нас, господи, это правда!..

Солнце, неровно растекшееся по небу, как раздавленный желток по закопченной сковороде, больно слепило глаза. Но что-то заслонило свет, и она их разглядела — своих убийц, все тех же. Черноусый и второй, с черным от волос животом, оба стоят, откинувшись куда-то в небо, и смотрят, высматривают: кто еще есть живой в яме? Рука по-женски сама потянулась к платью, чтобы прикрыть нагретые солнцем колени...

Шестимесячная жизнь тревожно, зябко сжалась: резкие и чужие звуки вломились откуда-то, стараясь заглушить привычный ритм вселенной. Но и сквозь отвратительно частое, чужое гроыхание, прорывающееся извне, стучало сердце матери — вселенной, стучало упрямо, надежно, и все оставалось, как всегда. Но вдруг произошло что-то непонятное и страшное — вечный звук, падавший сверху, отлетел, а следующий не возник, не родился, не упал. В жуткой, небывалой тишине шестимесячная жизнь беззвучно закричала от ужаса и одиночества. Купол стремительно понесся вниз: в один миг вселенная сжалась в комочек и тут же провалилась в него, увлекая и его в небытие...

Из будущих исследований и материалов по истории гипербореев.

«Формулы взрывов, все более опасных, они жадно выхватывали из рук физиков-химиков. А из рук философов и даже поэтов — блестящие ножи, кинжалы неосторожных парадоксов, которыми так удобно вспарывать брюхо всем этим предрассудкам: совесть! сострадание! человеколюбие!.. И разве один Ницше не ведал, что творил? И чем все может кончиться!..»

КОГДА МЫ БРАЛИ ИХ ШТЫКИ-КИНЖАЛЫ, ТО ОНИ БЫЛИ В КРОВИ...

Ананич Иван Сергеевич (торфозавод «Гонча», Могилевская обл.):

«...Мы вышли на магистраль Могилев—Бобруйск сделать на немцев засаду. Залегли в кустарнике часов в двенадцать. Колонна двигалась со стороны Могилева. Нас было три взвода — целая рота.

Это ехали летчики, которые из госпиталя возвращались на аэродром в Бобруйск.

Бой был короткий, быстрый, мы их расстреляли. По-моему, их было точно сорок восемь человек. Насколько мне помнится, ехали они на четырех машинах. На двух была живая сила и на двух продукты. Одна даже была с тушами. Взяли очень много шоколада.

Ну, с ними разделались и ушли. Не знало командование, что это будут летчики, шли просто на очередную засаду.

Пошли на новую засаду. А меня командир послал с группой в деревню Скачки, чтобы собрать продуктов. Мы пришли, как раз коровы шли с поля. Когда мы прибыли в деревню Скачки, жители стали просто-таки плакать. В чем дело? А они, оказывается, не знали, кто мы — партизаны или кто? Мы стали спрашивать, почему плачут. Стали нам рассказывать, что сегодня сожжена деревня Борки и все жители расстреляны, колодцы забиты трупами.

От Скачков до Борок километров пятнадцать.

Продуктов нам жители дали много: несли масло, молоко, буквально бидоны, дали подводу, нагрузили хлеба.

Ну, и, вернувшись, мы доложили командиру: такое и такое дело. Он говорит: «Завтра кто-то должен здесь появиться. Где-то карательная экспедиция действует в этом районе. Она не может быть только из Могилева. По всей вероятности есть тут и из Бобруйска. Быть не может! Они где-то в полицейском гарнизоне притаились и должны все-таки завтра нам показаться».

С рассвета мы снова заняли свою позицию. Я даже это место и сейчас, когда еду, вижу, где я лежал, где первая машина была. Шоссе в лесу. Мы выбрали возвышение, и там шоссе в выемку уходило, — самое удобное место, где бить. Ну, залегли цепью.

Долго не было слышно.

Ну, и где-то в часа два-три загудели машины со стороны Могилева. С того края лежал взвод Кировского отряда. Он к нам присоединился, чтобы участвовать. Нас было уже сто двадцать человек. Ну, а командовал Антюх Аркадий.

Ну, вот нервы не выдержали у одного партизана... Не доехали еще машины метров пятьсот, некоторые

стали патроны загонять в патронники. И нечаянно один партизан выстрелил.

Немцы услышали выстрел. Они спешили. Шофер открыл дверку и тихонько ехал. А немцы по кювету идут. Может метров четыреста еще...

Взвесив обстановку, наш командир роты дает приказ: сделать не простую засаду, а держать настоящий фронтальный бой. Огня у нас, мы чувствуем, хватит — мы решили принять бой. Для этого мы раздвинули взвода буквой «Г». А самому правофланговому взводу командир приказал: как только завяжется бой, пересекать шоссе и — цепью! Для того, чтобы легче было расправиться.

Ну, немцы шли, не знали, что их ждет, сколько тут нас.

Я лежал от поворота метров двадцать, и как только первая машина приблизилась, мы открыли огонь, огонь плотный, хороший... Шофер сидит, мне хорошо было видно — стукнул из СВТ. Хлопцы были хорошие у нас, рота была очень боевая. Ну, завязался бой. Оттуда уже стали хлопцы перебегать, чтобы окружить. Но здесь бил пулеметчик немецкий.

Я перебег в канаву, где немцы, и пока наши подбежали, развернулся и убил пулеметчика. Затем — другого номера. И тут же — и мне в ногу! Вот сюда ударило.

— У вас СВТ на «пулемет» была поставлена, переделана?

— На «пулемет». В общем, расстрелял я три диска. Ну, и тут меня ранило. Я сел, пока меня перевязали, прошло минут пять, и бой закончился. Ребята набежали и смяли их, буквально за пять минут все были перебиты. Было их человек пятьдесят. Эсэсовцы... Но что характерно. Характерно было то, что когда мы брали их штыки-кинжалы, то они были в крови...»

Ананич Алексей Андреевич (г. п. Кличев Могилевской обл.):

«Нам сообщили: каратели поехали деревню Борки жечь. Пока мы пришли, деревня уже горела. Мы с опушки леса видели, что они уже уезжать собираются. Мы напрямик пошли засаду делать. С полчаса посидели, слышим, машины идут. Нас рота была, чуть побольше. Когда показались машины, дали команду: подгото-

витель. И один партизан выстрелил нечаянно. И они услышали. Не доезжая метров семьсот, они остановились, слезли с машин, и спешили, и начали двигаться кюветом. Мы подпустили их поближе, затем открыли огонь и в атаку, как говорят. Ну, разбили их, машины подожгли.

— А сколько их было?

— Их, говорят, человек шестьдесят было.

— Всех побили?

— Всех. Ага. Возьмешь их вещмешок, так там детское барахло было. Даже доставали их эти финки, так в крови были. Людей прирезали и бросали в огонь.

— Они, наверное, не все по этой дороге возвращались, потому что Борки очень большие и немцев больше приезжало?

— Да, возможно, часть их на Могилев пошли. А мы лежали со стороны Бобруйска...»

5.12.43 года — по представлению высшего руководителя СС и полиции в Белоруссии фон Готтберга и начальника соединений по борьбе с партизанами фон Баха-Зелевского — Гитлер наградил Оскара Дирлевангера немецким золотым крестом, а «особая команда» была преобразована в «штурмбригаду». К этому времени подобных бригад, команд, батальонов в Белоруссии действовало уже много — во главе с Кохом, Мюллером, Голлингом, Пелльсом, Зиглингом и другими «фюрерами»...

А еще через неполный год «штурмбригада» Оскара Пауля Дирлевангера, выросшая до дивизии, разрушала, убивала восставшую Варшаву, выжигала словацкие деревни — каратели теперь уже двигались с востока на запад. Прошли по всей Германии, развешивая на немецких деревьях и фонарях самих немцев — «дезертиров», «предателей», «паникеров». А затем исчезли — растворились в армейской массе, с боями пробивающейся в плен — как можно дальше на Запад. Уже в наши дни прах благополучно скончавшегося в Латинской Америке Дирлевангера Оскара Пауля заботливо перевезен в ФРГ и предан захоронению в Вюрцбургской земле.

**ЧЕМ ВЫШЕ ОБЕЗЬЯНА
ВЗБИРАЕТСЯ ПО ДЕРЕВУ,
ТЕМ ЛУЧШЕ ВИДЕН ЕЕ ЗАД¹**

Рост Адольф Шикльгруббер-Гитлер имел 172 см, вес 82 кг, образование — незаконченное среднее (реальная школа).

Особые приметы: плохие зубы.

...Может, и на самом деле сон, всего лишь сон! Один и тот же, как бывает, когда болен и просыпаешься бесконечное число раз. А когда проснешься окончательно, окажется, что ни Великого Фюрера, ни Третьего Райха, ничего, ничего!.. Надо подняться с постели, сесть. Озноб в животе... Под ступнями, меж пальцев ворс ковра, прохладный, мягкий, как вянущая трава. Деревянные стены лаково блестят, тяжелые складки штор — есть, есть это, существует! Белые полосы свастик на желто-зеленом поле ковра. И преданно настроженные глаза прислушивающейся овчарки... За окнами всегда, даже в солнечный день, темные ели и тишина, мертвая и надежная. Если бы не такая тишина! А что, если и везде так, и не гремит великая битва во исполнение твоих приказов? Тебя заперли тут и дурачат, забавляются какие-то преступники, идиоты. Заржут, заулюлюкают, как только ступишь за дверь. Поджидают там. И рука Курта, рыжего кретина Курта, нырнет под тебя — никогда не уследишь, как он зайдет сзади! «Поехали, мой фюрер!..» Железные ненавистные пальцы больно захватили, сжали твоё ядро (единственное!), заставляя тянуться вверх, на цыпочки вставать и хвататься запоздало за волосатую руку — на потеху солдатне! С тобою можно так забавляться, никто же не знает, отроду не слышал, что ты — Фюрер. Для них ты полковой связной с одной нашивкой — какой-то Шикльгруббер. Приполз, добежал, а они, в паузах между взрывами, подзывают, спрашивают: «Что, не нравится, штабная моль?» Но все равно это твой дом, твой родной 16-й полк, дорожке которого ничего и никого у тебя нет! Радуюсь, что жив, что добежал, и еще раз Провидение показало, как оно щадит своих избранных — испытало и по-

¹ Английская поговорка.

казало, чтобы и эти тупицы убедились! — забыл о Курте, а он свое помнит. Зашел, рукастая обезьяна, сзади и с размаху железной лапой, да так, что колени задрожали: «Поехали, герр гефрайтер!»

А что, если все, все — только намечталось? Продолжение голодных венских мечтаний и надежд. Вот так же придумывал себе высокие залы музеев или перестраивал наново улицы Линца, кварталы, окраины Вены — по собственным проектам. Толпы, льстивые толпы, устремленные к великому художнику, и его презрение к запоздалой славе, признанию! На картинах — ни души, ни одного из них, кто прежде знать не хотел гения. Только дома, улицы, замки — стены и камни. Но в одном затемненном окне — человеческий лик, как огонек. Та, которая бескорыстно любила, не Фюрера, а сына, любила даже если бы не стал великим. А другие гнали с садовых скамеек: не положено спать! Из трамвая выталкивали: положено платить! Где он сейчас, усатая образина-кондуктор?.. Плетью грозили, гнали из Германии! Где, где тот Гржж... Собачий у этих поляков язык! Где-нибудь спрятался, живет, а Гиммлер пошарил слепой рукой и успокоился. Я ему всю Европу, полмира распахнул — ищи, находи всех, всех, кто думает, что они спрятались, что я забыл! Как это несправедливо, что смерть навсегда отнимает у тебя преступников. И обидчиков. Врагов. Их полная ниша — чистить, чистить! Бездарно малюют фюрера в рыцарских доспехах, засматривают в глаза, ждут слова одобрения — высшей награды! — и уже забыли, забыли ведь, как смотрели поверх головы, когда приходил в их занюханную Академию юноша, умиравший на «сиротскую пенсию». И раз, и второй — пинка! И думают, что все забыто. Обзывали, и устно и печатно: австрийский дезертир! почтмейстер! демагог! убийца!.. Ах, как смешно: рисовал, раскрашивал почтовые открытки, а безработный лакей Рейнгольд их продавал, и с этого жили! Да, родового поместья не имел, а только пьяные плети от таможенного чиновника — родного отца. Вот этими руками трудился, месил глину, носил кирпичи, а по ночам замерзал на парковых скамейках. Конечно, как можно такому доверить будущее германского государства? «Пусть лижет марки с моим изображением!..» Ах ты, старый бык! Да что нам ваши аристократические фамилии: на вас они кончаются,

а тут новые пишутся — на тысячу лет. С простыми немцами только и чувствуешь себя легко. Когда заходишь к машинисткам. Или когда за обеденным столом вспоминаешь и слушают не «номера» в мундирах, а простые, добрые люди. Какими слезами блестят глаза прислуги, когда слышат, как голодал и мерз в Вене, как умирала муттер, как знать никто не хотел... Сердце простого немца не в состоянии поверить в жестокую правду, что все это могло происходить с их Фюрером.

Мое Слово — не только мое! Это я давно понял, ощутил. Вначале сам поражался, удивлялся. Особенно на суде, а потом в Ландсберге, в темнице, куда пытались заточить будущее Германии. Услышали мой голос — Слово Фюрера, и через неделю даже стража вывесила флаг заточенного — со свастикой. А мой хромоножка, мой Йозеф Геббельс! С чужого голоса, но как горячо поносил Адольфа Гитлера: «Этот мелкий буржуа!..» Чего только не плел на Ганноверском сборище. А услышал мой голос и тут же пополз к ноге. Забыл и зазнайку Штрассера, и свой социализм. История не простит тупице Риббентропу, что сорвалась моя встреча с Черчиллем. Уверен, не ушел бы и он от моего Слова, стал бы, упрямец, таким же другом Германии, какой сейчас враг!

И тем более удивительно и обидно, что Слово совсем не действовало на Курта и его окопную братию. В этой гнилой Фландрии. Им почему-то смешно делалось или злые становились, как собаки, стоило заговорить о серьезных вещах. Пустили побасенку, что гефрайтер Гитлер «лазутчика» заслал к французам — будто бы сына родила французская крестьянка, в доме которой две недели жили связанные 16-го полка. Ко всему вязались: покоя им не давали длинные, «вильгельмовские», усы гефрайтера, и как он голову набок держит, а больше всего их злило и веселило, что не пьет шнапса, не курит и вслух не одобряет тех, кто свинья свиньей. Добежал, пополз под обстрелом, видишь грязные, недовольные рожи, а в тебе — постоянное счастливое чувство: все идет лучше, чем когда-либо, Германия ждет победителей, еще одно усилие — и мы в Париже!.. Ты горюшь словами, а тут этот рыжий идиот! Он уже зашел сзади, с размаху загнал железную руку выше колен и поднимает тебя: больно, хватаешься за стенки окопа! «Вознесемся, святой Адольф!..» И такие жесто-

кие, неприятные эти хохочущие рожи. Тогда им крикнул: «Вы еще узнаете! Вы услышите, кто такой геф-райтер Гитлер!..»

В Азию, в Азию! Вот страна обетованная для позванных господствовать, Европа — давно выветрившаяся почва, истощенная вольтерьянством, интеллигентским скептицизмом. Восходишь говорить и всякий раз боишься начать: кажется, что уже и ты не ты — пока шел, поднимался — и они не они, что их уже подменили, и сейчас захохочут, заулюлюкают. Я сотру ваши ухмылочки, интеллигентские гримасы! Ни один не спрячется. Сколько понаговорили, понаписали, и все против, все против! Целые Альпы книг — и в каждой усмешечка! — нагромодили, и все на моем пути. Скрыть, одна должна выситься — одна мысль, одна воля. И одна Книга! А почему бы и нет, ведь и Библия, и Коран, и Талмуд — единственные, не признающие друг друга. Их слишком много — единственных. Останется одна.

В Азию, в Азию — туда ведет шестую армию шестое чувство фюрера! Там, там шарнир времени, там!..

С Востока мы принесем опыт, который необходим и здесь, дома. Но пришло время серьезно развивать технологию обезлюживания больших территорий. Никто этим всерьез не занимается. А тут, кроме технических проблем, много и психологических, чисто человеческих. Мои фаусты транжирят марки на «чистую науку» — без конца замеряют черепа цыган да евреев, а теми, кто должен эти черепа разбивать и оставаться при этом хорошими немцами, теми по-настоящему никто не интересуется, о них не думают. И получаем в результате, что каждый третий или пятый немец все еще не подготовлен к задачам, которые во весь рост встанут завтра. Чуть ли не у каждого главы семейства есть свой еврей — или поляк, или русский! — которого ему жалко. Других — ладно, но этого, «его» еврея надо сохранить! А если помножить, то скольких надо «пожалеть», оставить? Чтобы через 50—100 лет обнаружить, что снова окружен термитоподобными. Гиммлер это неплохо высмеял — «своего еврея»... Но постой, постой! Он ведь знает про Эдуарда Блоха, еврея из Линца! Который после аншлюса вывез из Австрии подарок фюрера — картину, а заодно и всю семью. Людям Гиммлера поручено было помочь Блоху. Когда

Гиммлер говорил про «своего еврея», помнил он об этом?.. Вот и Рема забавляло, очень веселило прошлое фюрера. Где, кому служил Адольф Гитлер, когда он числился при рейхсфере «партийным офицером», от кого получал марки и за что? Под каким номером и какая была кличка? Рем, от Рема те разговоры. Как же, за две марки в день на побегушках был ефрейтор. У него, у капитана. Шпик за две марки. И он это смел знать, помнить! Знал, помнил и все жил!.. А Гиммлеру, может быть, спать не дает выпавшая из фамилии фюрера буква «д», замененная на «т»? Помнит, а как же! Это он мне и докладывал, когда «номера» дружно навалились на Рема, что пьяные штурмовики в казармах занялись филологией. Ну нет, я вам не отдам право решать, кто из нас не еврей! И кто истинный немец. Может, не устраивает уже, что австриец, из какого-то Браунау, Линца?.. Будто не я вас заставил — горло срывал от крика! — вспомнить, что вы немцы. Вернул немцу самоуважение. Поневоле близка станет судьба всех, кто избрал для служения чужой народ. Даже Наполеон не был французом. Ты пришел, явился их возвысить, поднять из грязи, прозябания, но чем они выше поднимаются, тем они неблагодарней. И ты в вечной осаде. Вроде уже и не нужен, будто и без тебя они могли подняться. Прав, прав был флорентиец: если ты не унаследовал, а завоевал «престол», поспеши всех и вся заменить, изменить, сломать. И в первую очередь так называемых «соратников», кто знал тебя «до» и вообще слишком многое помнит, чего не следует. Если сумеешь — и это надежнее всего! — создай из чужого свой народ, как говорится, по образу и подобию. Чтобы не ты был чужаком, а всякий тобой отвергнутый, отринутый. И не имеет значения, по какому чертежу ты все переделаешь, все изменишь. Тут важно, чтобы все и заново. Чтобы без тебя, без твоего присутствия, твоей воли уже не мыслилось само существование народа. Для этого каждое поколение должно испытать тяжесть, жестокость твоей руки — на себе испытать. Особенно в мирное время. Его вообще не должно быть, мирного, даже если нет войны...

А все-таки было бы скучно, чего-то не хватало бы без привычных «номеров», увлекательной игры в милость-немилость фюрера. Уже недостает чего-то, когда, вот как Рем, привычные фигуры выбывают из игры

навсегда. Надо только уметь окружать себя прирожденными вторыми номерами, которые на первые роли просто не способны. Пожалуй, и Рем такой же был, хотя и заговаривал о «новой революции». Как удивился, испугался самой мысли этой, когда я крикнул ему: «Может, и фюрер новый? Не ты ли, свинья? Нового не будет. И другой революции в Германии не будет — тысячу лет!» Да они больше всего боятся, что без меня останутся один на один с немецким народом, с Европой, с миром! Я незаменим, и они это знают. Самому страшно подумать, что достаточно даже не выстрела, а удара вот сюда в голову или сюда, и шарнир времени будет непоправимо изогнут, даже сломан. Нет, этого не может случиться: я чувствую, я это чувствую вот как свою руку или ногу, что мои цели уходят в Космос. А там не позволят все оборвать так глупо, случайно. Я навеки повязан с народом, с которым мы избрали друг друга. Как охотник и дичь. Только кто охотник и кто дичь? Всякий норовит в охотники. Может быть, вы рассчитывали, что «этот австриец», подарив вам армию, райх, вспомнит, что он не чистокровный немец и всего лишь «младший чин», испуганно сделает шаг назад и станет в строй, а командовать будут другие? Да нет же, не случилось этого, к счастью для вас, мои вы законопослушные и неверные. Да вы сами для себя «дичь»! С какой охотой и старательностью вы кромсали и жгли друг друга, немцы немцев, пока вас не сгреб, не сволок в одно целое железный Бисмарк. И как легко все это могло (на радость соседям!) рассыпаться снова — на карликовые и драчливые, как бурши, «государства», если бы не привели вас в чувство мои два выстрела, всего лишь два выстрела в потолок. Как они ярились, эти каровские заговорщики, патриоты «великой и независимой Баварии», когда неожиданно увидели меня на столе — с пистолетом в одной руке, с часами в другой! Это был символ самой истории: стреляющий пистолет и часы! И черный длинный фрак: момент требовал строгой торжественности. На Мюнхен, на Берлин! Национальная революция началась! Трусы, подлые трусы... Потом в этом старались увидеть смешное — «официант полез на стол...». Неблагодарные! Да не появись я вовремя, вы снова начали бы, немец немца, резать. Во славу пронафталиненного «наследника» или провонявшего се-

ледкой «красного» — с одинаковым азартом. Сто раз права откровенность англичан: не хочешь гражданской войны — ищи врагов вовне, становись империалистом! Кто еще к вам был так щедр, как я: не одного, не двух — целый мир врагов подарил Германии. И тем спасаю немцев от самих себя. Так помните же это, даже если вам очень надо будет поверить, что все, что было, всего лишь сон. Все равно меня выдумаете — заново!

Так лучше уж вам теперь до конца идти. Раз уж везет. Неизвестно, повезет ли с другим!..

...Под желто-зеленой ковровой лужайкой с белыми ломаными стрелами свастик, за деревянной обшивкой — мощный бетон, скала, холод. Лето, а все равно холод — в костях, в животе. Вот она, человеческая плоть! Сколько ни возвышайся, останешься до конца дней со своими ста семьюдесятью двумя сантиметрами, с этой вот рукой, вялой от самого плеча... (с одним-единственным — и тут насмешка чья-то, издевательство! — «ядром», которое все ловит железная лапища Курта). Последний цыган владеет тем, чего природа не дала тебе, всю кровь бросая в мозг, тоже принадлежащий не тебе. Так что Еве приходится снова и снова убеждать и тебя и себя: «А мне и без этого с тобой хорошо, мой фюрер!» Проклятье! Можешь все отнять: земли, города, рудники, жизнь, даже язык стомиллионного народа, а этого не заберешь — у последнего еврея, цыгана. О, они сластолюбивые, эти семиты!.. А тут еще желудок ноет. Чем это обкормил нас рейхсмаршал? Ему что, все жрет, как свинья! Был специальный столик, вегетарианский, и на нем какие-то пироги, и я не удержался. Эта «охотничья избушка» слишком напоминает бордель. Туда бы Гофмана с фотоаппаратом. Или Адольфа Циглера с его классической кистью. Вот у кого бы глаза полезли на лоб! Когда дебелые нагие дианы бросились бы лизать-слизывать и краски с его палитры. Фу, отрывка, мерзость! Как это Геринг решил меня затащить в свой содом? Или они решили продемонстрировать побольше женских форм, чтобы показать, что не гомосексуалисты? Что не грешат по-генеральски. Считается, что фюрер этого не терпит. Помнят, помнят историю старого фон Фриче и фон

Бломберга! Но кто подсказал Герингу эти маски божков, богов? Себе взял маску африканского — с намеком на свое генерал-губернаторское детство. Гора белого мяса с черной свирепой рожой, накрашенными губами и ногтями — вот бы фото да в английскую газету! Зато сморчок-хромоножка напирал не на свою рабочую родословную, а на академический сан: в толпе визжащих нимф голая обезьянка с физиономией античного мыслителя-ритора. Вот бы Магда нагряднула, она бы ему и вторую ногу укоротила, если не похуже! Ну, свиньи, ну, поросята! Небось рассчитывали, что совратят на такое бесовство и фюрера. И тем спустят его до себя. И приблизят, приблизятся. Все ищут слабину, ощупывают остороженько и подло: знают, знают, что давно раскусил их, все их штучки мне известны. Хорош я был бы вот с этими жирными складками живота, с ногами короткими, волосатыми!.. Маску приготовили, лежала на вегетарианском столике — бородатая физиономия, похоже что Зевс, но и на Яхве, и на славянского Перуна похожая. С намеком? А что, надел бы да громыхнул, по-еврейски или по-русски! Гиммлер уже читает по-русски, выучил. Схватился бы и еврейский зубрить! А что, сделать языком высших, и пусть стараются, учат. Пока будет идти охота на последнего еврея и последнего славянина. Выучили бы как миленькие, только бы попасть в избранную двадцатку! Чтобы к ноге поближе. И мои шейлоки арийские тоже ползут к ноге. А сколько было амбиции, самоуверенности! Чуть ли не в рот будущему фюреру лазили пальцами — не рискованно ли вложить миллионы? Сомнительный «крикун», «революционер»! А как ухмылялись тогда в Дюссельдорфе: Гитлер — и во фраке! У какого актера одолжил? Думаете, не читал я ваши улыбочки? А затем прозвучало мое Слово, и они зааплодировали, даже встали, но все равно (видел я, видел) разглядывали, как переодетого жулика: сейчас схватит их марки и сбежит в Америку или Австралию! Да, пришли на помощь, но лишь после того, как дали нахлебаться воды, почувствовать, что иду ко дну. И думали — навеки останусь на побегушках. А теперь вздрагиваете виновато, испуганно, когда моя нога наступает на вас. Само собой разумеется, у нас частное хозяйство, но кто помешает национал-социалистскому государству забрать у одних и передать другим — тем,

кто энергичнее, преданнее, да и просто талантливее как руководитель? Сегодня никто нам помешать не может. И вы это знаете. Вздрагиваете. Да, я говорил и повторяю: не интересы отдельных господ, а дело нации превыше всего! И вы знаете, о чем говорю. Теперь еще больше ненавидите красных — еще и за то, что подтолкнули вас в мои руки. Но и я помню кое-что. Как ходил бесприютный и ненужный никому мимо ваших дворцов, машин. Что ж, кое-что могу и забыть: пусть это будет моей жертвой немецкому единству. Зачем мне обобществлять ваши заводы? Достаточно обобществить хозяев. Вас! Но только и вы должны окончательно выбросить из головы все, на что втайне рассчитывали, о чем мечтали. Есть и останется Адольф Гитлер, фюрер немецкой нации, а шуцмана Гитлера, которого вы хотели иметь под руками, нет и не будет! А неплохо бы, верно: шуцман Гитлер у проходной вашего завода прогуливается, наблюдает вдоль конвейера, а вы прикидываете, повисить ему плату за старательность или обойдется? Хватает, есть кому и без шуцмана Гитлера смотреть за порядком у заводских ворот. Пожаловаться не можете. Но уж простите: место фюрера — единственное... Нет, почему евреи, почему мусульмане не ищут, не интересуются, кто вспоил, кто вскормил их Моисея или Магомета? А мои уснуть не могут, пока не установят точно: кем, из чего сделан их фюрер? Будто он всего лишь колбаса немецкая. И кто только не запихивал в нее свои мозги, марки, добрые дела! Эккард, Розенберг, Шахт, Гаусхофер, Круппы. И пастора Бернарда Штемпфле никак не забудут: как же, без него фюрер и трех слов не связал бы! Даже про Рудольфика Гесса вспоминают, про мою ландсбергскую машинистку, тень мою! Бедный заложник, как ему там у Черчилля? Удивительно, его всегда тянуло в тюрьму, как хромоножку в бордели. И в Ландсберг сам попросился, и в Англию... Этот по крайней мере предан, как женщина, смотрит и вот-вот заплачет от преданности! Самый бесцветный из «номеров», а потому и очень подходил, безопасен был в качестве партийного «дублера». Но даже про него шепоток — Гиммлер охотно кладет мне на стол все, что касается других «номеров», — оказывается, для того Рудольфик попросился ко мне в тюрьму, чтобы нашептать мне мою книгу. Прав, прав флорентиец: неблагоприятен правитель,

который держит возле себя, долго терпит тех, с кем пришел к власти!..

Дитрих — вот кто был настоящий друг и соратник. Шагал рядом, пока был необходим, и ушел из жизни как раз вовремя, не виснет, не засматривает в глаза. А эти свиньи переживут кого угодно. Великий поэт в душе Дитрих Эккард — только он понимал во мне художника. Дружище Дитрих предвидел, что наступает время художников действия — искусство высшего рода. Не из глины, а из массы человеческой лепить красоту и ужас завтрашнего дня! Когда этот вырожденец, заика от кисти, этот Пикассо попытался со мной соревноваться (кистью с бомбами!), его картина как раз и засвидетельствовала натужное бессилие копии перед оригиналом. Не профаны из мюнхенской Академии, а сама судьба закрыла передо мной путь к мертвому искусству, чтобы вручить иной резец, другую кисть. Что их жалкие копии перед корчами Герники, Варшавы, Антверпена, Петербурга! На планете, как на палитре, растирать краски-расы, краски-народы и рисовать их гибель, их конец и приход Новых Людей!.. Раз в год впускать назад в Европу и тех, чьи забытые цвета и названия стерты с географических карт. Делегации полукиргизов, когда-то называвших себя французами, голландцами, англичанами, чехами, провозить через Берлин — заново построенную, величественную столицу нового мира. Перспективную расу очищать от любых примесей, добиваться идеальной чистоты одной краски, а все остающиеся и обреченные растирать и смешивать, смотреть и показывать, что получилось бы из человека, не спохватись мы вовремя. Вот искусство, вот он — размах арийской науки, — мы закончим, завершим работу богов! Как примитивны и ложны были представления и методы всех обновителей мира, особенно новейших. Никто не пошел дальше социальной хирургии. До расовой доходили только чистые теоретики или такие поэты, как Ницше, да парочка англичан. А другим все казалось: убрать еще эту группу в народе, это сословие, эту прослойку нации, этих, пол-этих и четверть этих, а оставшиеся и есть самое ценное, чистое, нужное, искомое — из них взойдут новые люди, новый человек! Алхимия какая-то, примитивно количественный подход! Нет, другой путь и другие масштабы: выбрать

из всего мусора одну-единственную, но прогрессирующую расу и начать новый цикл — вернуть на «планету» человека-бога, гиганта-мага! А строительный мусор сжечь, на удобрение пустить!

Кто из нынешних людишек мог мне это внушить? А сколько их, которые себя и которых объявляют моими духовными вскормителями. Как же, и Гаусхофер, и Розенберг, и даже Гесс тайно подкармливали мой гений в Ландсбергской тюрьме. Покажите свои сиськи, дочери Лоттовы, покажите, не стесняйтесь! За них первых и взяться — за этих «старых бойцов», «ветеранов движения», этих баб сварливых. Как только подойдет момент. И никто не затеряется — сами же пронумеровали себя. Они, мои верные соратнички, думают, что фюреру о них ничего не известно. Какой и в каком банке у кого счетец припрятан. В нью-йоркском, швейцарском, в английском. Как скис бедняга Геринг, когда узнал, что американцы наложили лапу на «деньги его жены!».

«Что, Герман, плохо себя чувствуешь, изжога?» — «О, мой фюрер, вы этого не представляете, вы святой человек!» Представляю, свинья ты этакая, больше, чем вам хотелось бы. У хромоножки лежат в швейцарском банке, у Риббентропа — страховка на пять миллионов. Спросить бы, как он понимает «страховку»: если я его на крюк повешу, ему их выплатят, так, что ли? Ручаюсь, что и у Гимmlера, который охотно поставляет мне сведения о других «номерах», у самого и счетец, и страховка — в чикагском или лондонском. Еще бы, такое лагерное хозяйство у него. Да и от арийских шейлоков перепадает, не для этого ли организовал «кружок друзей рейхсфюрера»? И все в нору, в нору — на всякий случай! Это на какой же случай! Ведь мы побеждаем! А если бы действительно не мы, а нас? Только спины их увидел бы, номера — как на беговой дорожке! Нет, но какой наглец: вошел и, блестя своим аптекарским пенсне, деловито сообщил, что в нью-йоркском банке лежат 70 тысяч долларов на мое имя. За переиздания «Майн Кампф». Не будет ли каких распоряжений?

Уже и на меня мне донес!

Снова и снова хочется себя ущипнуть и убедиться, что все не сон, все правда: и Фюрер, и шестая армия, и победное наступление на юге России, в Африке. Ци-

пать, щипать, бить, бить, бить, жечь огнем, чтобы чувствовать, чтобы чувствовали, что правда, что я есть, что все есть и останется!.. Эти мазурские леса, это глубокое логово хороши для созревания замысла, для концентрирования энергии. Но они не созвучны, мешают, сопротивляются новому чувству — стремлению слиться душой с армией, перед которой бескрайняя азиатская степь. Туда перебазировать штабы, на юг, где решается судьба летнего наступления и войны. Необходимо там быть: генералов снова напугают просторы — до Волги, за Волгой! Они верят картам и глазам и не знают, что от туда, из-за льда, все видится совсем по-другому. Для титанов, для Высших Неизвестных, которые возвращаются и мне открылись, для Них наше пространство всего лишь маленький воздушный пузырь в глыбе космического льда. Ганс Гербигер и Бендер лишь догадывались о том, что мне открылось как физическая реальность. Я знать не хочу никаких просторов, и они для меня не существуют! Потому и не любил, не люблю миража путешествий: с меня хватает Германии, да и нет ничего — в высшем понимании! — помимо точки, в которой в данный момент я нахожусь. Перемещусь на юг или в Азию — туда сместится весь мир. Жутковато даже, побаиваешься двигаться, переезжать с места на место, когда видишь, как все приходит в движение и нарушается неустойчивое равновесие Космоса... Существует на самом деле лишь то, что закрыто для большинства. А само это «большинство», разве оно существует? Если задать правильно вопрос: к о г о «два миллиарда»? Меня все пугали, что их два миллиарда, а немцев всего лишь восемьдесят миллионов. Как можно, разве мыслимо, чтобы столько победили столько и господствовали?! Если думать, что и два миллиарда — люди, тогда конечно. А если видеть лишь термитоподобных — хрустящую массу под гусеницами моих танков?

И на саранче колеса машины буксуют, но что из этого?.. Провидение специально оберегало меня от лишнего, от ложного знания, которое ослабляет волю к действию. Как утаило от меня и армады Сталина. Но то, что я знаю — высшее знание! Я вижу то, что знаю. Где-то там, за Волгой, дожидается нас пустая, до самого Урала, полоса, которую мы отведем под главные лагеря. Белоруссия, на которую мне указывал Ро-

зенберг и его Восточное министерство, так и не стала поглотителем лишних европейцев. С самими белору-сами никак не расстанемся — разбегаются по лесам, Москва им присылает оружие и даже генералов, — и все оттого, что долго раскачиваемся. До того дохо-дило, что некоторые командиры, не понимая, куда они пришли и какая война идет, наказывали солдат за «преступления против мирного населения». Пока не за-ставил всех расписаться, что будут судимы сами, если посмеют обращать внимание на такие вещи. Нет преде-ла глупости немецкой, их привычке к регламентации! На каждом шагу и во всем. А этой Белоруссии я не простил и не прощу за одни ее леса и болота, которые разъединили, разорвали мои армии «Центр» и «Юг» в самые важные, первые месяцы войны. Их Полесье, наспигованное дивизиями, нависало над обеими груп-пами армий, отклоняло нас от плана... Нет, что мне Москва, сама упадет к ногам, как созревшая груша! Когда ударим по Волге — по самому стволу. Высоко-мерные островитяне, слабонервные латиняне увидят, как работает раса уничтожающая. За четыреста лет убрали сто миллионов африканцев да пятьдесят — индусов, вот их предел. А нам надо за десять — двад-цать послевоенных лет очистить Европу от всего сора малых государств и народов. Малых и не малых. Не го-воря уже о славянах и России. Весь мусор расовый сдвинем на восток. Широкая полоса лагерей между Волгой и Уралом примет — одних сначала в роли над-зирателей, а других — по прямому назначению. Без полностью налаженной индустрии уничтожения не обойтись. Все, чем хвастаются сегодня Гиммлер и его начальник штаба по борьбе с партизанами Бах-Зелев-ский, пока только импровизации. И мы связаны по ру-кам и ногам действиями и влиянием банд. А тогда бу-дет полная свобода для полета фантазии. Вся герман-ская армия брошена будет на разгром уже не армий противника, а народов — одного за другим. Но раньше каждый народ вымостит свой путь на восток хорошими бетонными дорогами. Столб, музыка и дорожные рабо-ты. Полная изоляция поселений друг от друга и внутри. Ни одного туземца не впускать в новые немецкие горо-да, села, которые, как прекрасные миражи, встанут вдоль дорог. Репродуктор вместо шамана, а если не-послушание, бунт — бомбы с неба, этого вполне доста-

точно. С них достаточно языка жестов. Постепенно их будут увозить — куда-то за Волгу. Мои мудрецы из Восточного министерства очень заботятся о совести немцев. Но именно это и нужно: нагружать их совесть. Чтобы не возникало соблазна быстренько свернуть в сторону, на обочину. Никто от временных неудач не застрахован, и мы тоже. Но я могу лишь победить. Все другое — наша общая смерть. Но вам, мои законопослушные и неверные, хотелось бы от этого любой ценой уйти. Даже предав фюрера. Чтобы только длиться, длилось никому не нужное прозябание — даже если снова, и уже навеки, поражение. Да, немец — это то, что должно быть преодолено. Я вам не говорю всего, вы еще не готовы услышать все. А то бы вы поняли, что я пользуюсь идеей нации — идеей немецкой нации! — лишь по соображениям текущего момента. Я знаю временную ценность этой идеи... Нет, вам еще предстоит подняться до германцев — через мою борьбу. До германцев вам все еще далеко. Но и это не предел. Потом, потом над всем миром встанет и вечно будет лишь всеобщее содружество хозяев, господ! И множество ступенек-каст, падающих вниз. Но какой язык я все же выберу для высших? Странно, что только сегодня эта мысль посетила меня. Нельзя ее терять из виду. Неплохо бы полоснуть моих простодушных и неверных по их немецкому самолюбию — еврейским языком! Вот завертелись бы, спрашивали, заглядывая в глаза: как же так и почему, а куда девать наши арийские чувства? Отплачу им за все: за немецкую неблагодарность, жадность, стремление все забрать у своего фюрера, оставив ему лишь немецкие заботы да желудки! Высшие не обязаны испытывать ваши чувства, разделять ваши предрассудки, даже если мы сами их, из тактических соображений, культивируем — пора немцам показать это. Жалко только, что в еврейском слишком много слов, понятных немецкой толпе. И это непоправимо. Ну, тогда — славянский, какой-нибудь из славянских. И в этом есть великолепная ирония. Хотя и языки славян многим немцам тоже доступны — ничего чистого в этом мире. Не планета, а свальный грех! Для высших нужен язык, чтобы за ним — как за китайской стеной. А почему бы и нет: спрятаться за иероглифами. Вот только полмиллиарда... Ну и что ж, я уже произнес слово: миллиард! Я первый осмелился

сказать: миллиарды термитоподобных будут счищены с «планеты»! Наступила пора готовить нишу, слишком тесную для всех, под людей-титанов. Идея, которая столько стоит, отныне бессмертна!..

Будет еще забот и с немцами, с германцами — с ними после всех. Простодушные и себе на уме, они уже готовы поверить, что вся моя Идея — в их желудке. И очень обидятся, когда обнаружат, что это не совсем так. И даже совсем не так. Придется и за них братья. Когда наступит Время Песка и надо будет дробить, крошить глыбы германского — уже германского! — национализма и эгоизма. Сегодня на немцах все держится, стоит, а завтра именно они окажутся — скалой лягут — на пути нашего движения. Немцам придется, хотя и позже других, но самим придется в порошок, в пыль измельчить, истолочь своих великих предков. Всех этих Фридрихов и Бисмарков.

А что касается Пауля фон Бенекендорфа унд Гинденбурга, так его великие кости швырну в яму в первую очередь. Кто-то из ассирийцев, царь-победитель хорошо придумал: побежденным в яму бросали кости их царственных предков, чтобы дробили их камнями! В пыль истолочь! Барханы песка, пыли, а над ними одно солнце! Единственная привилегия немцев — быть последними. Сами проделают нужную работу, когда придет Время Песка.

Проделают! На то они и люди! Каждый одним лишь будет озабочен: где ему стоять, сидеть и что ему обещано? Подавать команды или в яме толочь кости? А что кости уже немецкие, германские, — научатся не замечать.

Сегодня им показалось бы, что не того они ждали, не на это рассчитывали, не этого добивались под водительством фюрера. Завтра поверят, что именно этого и ничего другого. Когда я с ними говорю, обращаюсь с трибуны или по радио, в голосе несколько голосов. Не сразу и сам это обнаружил. Каждый слушает только тот голос, который обращен к нему, только к нему. Слышит обещание, что именно ему поручат подавать команды, ему, а не кому-то другому. Каждому обещаю больше, чем всей толпе. И кто бы он ни был — капиталист или студент, женщина или рабочий, крестьянин или государственный служащий — он должен

услышать, что все, все ради него и для него совершается!

Вот отчего мое Слово так действует на тех, кто в толпе. Голос всевечного эгоизма — вот что сдвинет горы и перемелет их в песок! Если бы только не Курт — среди тех, кто внизу. Этот мужлан, этот хам-вольтерьянец!.. К нему, к ним не знаешь с какими словами, с какой стороны подступиться. Он сам все сзади заходит, все время оглядывайся. Всегда ощущаешь пустое, опасное пространство за спиной — это мешает парить над толпой. Вот-вот железная рука больно захватит снизу: «Поехали, святой Адольф, мой фюрер! Поехали, Адольфик Шикльгрубер!» А все не знают, не поймут, отчего у Фюрера лицо такое напрягшееся и руками испуганно взмахивает.

А «номера» теснятся, чтобы рядом, поближе стать, чтобы и их снизу увидели, и никто не догадается прикрыть сзади. Да и не знаешь, а может, он тот самый и есть, кого надо остерегаться? И в снах он, и там покоя нет от Курта: все заходит, заходит сзади — неистребимый хам-вольтерьянец, ничего высокого не признающий, испорченный вместе со всем родом человеческим!

Он оттуда, из времени, когда рушился, разваливался фронт и на Западе, и в большевистской России, а Германия, сама не веря, что это правда, что возможно это, голосом ноябрьских предателей умоляла о перемирии.

Они хлынули из окопов — искать, кто виноват во всех их бедах, а красные мстительно указывали им на патриотов, а в госпитале никому не ведомый гефрайтер, ослепший на фронте, хватался за холодные, сифилитически шершавые стены, будто снова шел сквозь ядовитое облако, искал и не мог найти свою палату, койку, нору, а вслед ему из репродуктора несло: «Германия просит о перемирии!..» Просит! Просит!.. Кто-то обязан был остановить падение, схватить рыжего Курта за воротник и снова поставить в колонну. Провидение отыскало Тебя, слепого, больного, как великий Ницше, и слепого, но увидевшего свое высшее предназначение — на годы вперед, на десятилетия, на столетия вперед!

Но их бесчисленно много, тех, от кого Ты позван избавить нишу-планету. Курт снял мундир и затерялся в

толпе, надел и снова затерялся — в марширующих колоннах.

Их слишком много, готовых заулюлюкать, захохотать — там, внизу. И в каждой такая ненемецкая готовность не сделать, не выполнить, не согласиться. Их бесчисленно много, потому что таков сам человек, это незаконченное существо.

Толочь, толочь, в песок обратить, в послушные солнцу и ветру барханы, выжигать, высушивать! Вперед по песку, по барханам, по могилам!..

Но неужели и я могу умереть? Или могло не быть меня? И сколько раз! Двое у моей матери умерли, едва успев родиться. А когда мальчишкой тонул, и уже пришло, наступило вялое безразличие, даже облегчение!.. Или граната, которая разорвалась в окопе: вот он, шрам на ягодице.

А историческая Резидентштрассе! Искалеченная, вывернутая рука помнит, как больно и страшно ухватился за нее, сжал клешней и не отпускал опрокинутый полицейским залпом Макс Рихтер, позер-аристократичка фон Шонбер-Рихтер. Вот где ощутил я, что рука смерти такая же железная и насмешливая, как у рыжего Курта. Такая же насмешливая!

Я не трус, нет, даже Курт этого не скажет — видели, как я не пугался на фронте близких разрывов — но тут растерялся, как никогда.

Нет, не я, это Они за меня испугались, когда ползал по крови меж трупов и мертвое тело насмешника Макса волочил за собой. Это мир, сам Космос испугались, что так глупо и невозвратно меня потеряют.

Не могут, не имеют права меня отбросить, отшвырнуть! Я не позволю со мной так! Важнейший фактор — мое существование. То, что я существую, — важнейший фактор. Не могут, не имеют права отбросить, отшвырнуть меня...

Гарри Менгесхаузен (эсэсовец из личной охраны фюрера):

«Сообщению Бауэра о смерти Гитлера и его жены я не поверил и продолжал патрулировать на своем участке.»

Прошло не больше часу после встречи с Бауэром, когда, выйдя на террасу, она находилась от бункера метрах в 60—80, я вдруг увидел, как из запасного выхода бункера личный адъютант штурмбанфюрер Гюнше и слуга Гитлера штурмбанфюрер Линге вынесли труп Гитлера и положили его в двух метрах от входа, вернулись и через несколько минут вынесли мертвую Еву Браун, которую положили тут же. В стороне от трупов стояли две двадцатикилограммовые банки с бензином. Гюнше и Линге стали обливать трупы бензином и поджигать их».

Начальник личной охраны Гитлера Раттенхубер: «Тела Гитлера и Евы Браун плохо горели, и я спустился вниз распорядиться о доставке горючего. Когда я поднялся наверх, трупы уже были присыпаны немного землей, и часовой Менгесхаузен заявил мне, что невозможно было стоять на посту от невыносимого запаха. И он вместе с другим эсэсовцем, по указанию Гюнше, столкнул их в яму, где лежала отравленная собака Гитлера. ...Меня поразила расчетливость эсэсовца Менгесхаузена, который, пробравшись в кабинет Гитлера, снял с гитлеровского кителя, висевшего на стуле, золотой значок в надежде, что в «Америке за эту реликвию дорого заплатят».

Из судебно-медицинского заключения:

«Основной анатомической находкой, которая может быть использована для идентификации личности, являются челюсти с большим количеством искусственных мостов, зубов, коронок и пломб».

Кете Хойзерман — ассистентка личного зубного врача Гитлера профессора Блашке:

«Я взяла в руку зубной мост. Я поискала безусловную примету. Тут же нашла ее, перевела дух и залпом выговорила: «Это зубы Адольфа Гитлера».

(Из материалов Елены Ржевской, автора книги «Берлин, май 1945»)

МАТЕРИАЛЫ К СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ ГИПЕРБОРЕЕВ

В Бедламе пелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей
Отказываюсь — выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть —
Вниз — по течению спин...

Марина Цветаева

Иим Сот Роннчит, 16 лет, рассказал, что после прихода к власти режима Пол Пота его вместе с другими жителями Сиенрапа направили на принудительные работы. Однажды его семью привели в одно место, где уже находилось 12 человек, среди них один мужчина, один старик, а остальные женщины и дети. «Я увидел много трупов, среди них тело моего отца. Солдаты направили на нас ружья и сказали: «Вы будете убиты». После этого приказали сесть на землю, а затем солдаты начали избивать нас палками и мотыгами. Они забили пятерых или шестерых, прежде чем добрались до меня. Они били меня по шее и по спине. Я потерял сознание, и они, видимо, решили, что я умер».

«В начале 1978 года,— рассказывает кампучийский беженец Сан Канди,— тридцать семей были расстреляны за деревней. Я видел ров 15 на 2 метра, где их трупы мокли попеременно с травой, применяющейся как удобрение, и коровьим навозом. Этой смесью потом поливали поля».

Из рассказа тринадцатилетнего полпотовца:

— Да, я убил триста человек. Сам считал. Грамотный. В школе учился...

— А как же ты, такой маленький, стал солдатом?

— В село пришли солдаты. Они пошли по домам, выгоняли и избивали людей, отправляли их в коммуны. Меня заметил один командир. Спросил, есть ли у ме-

ня оружие, хочу ли я стрелять. А потом взял меня в солдаты, хотя родители мои были против. Вечером у этого офицера была пьянка. На нее они позвали и меня, дали водку и какое-то мясо. Пей и ешь, приказали. Потом сказали, что это мясо — печень наших врагов, что его надо есть много. После этого он приказал вывести десять человек, дал мне автомат и приказал их расстрелять. Я убил их всех. Так все началось. Он возил меня с собой по селам. Сам отсчитывал жертвы. Среди них я выбирал поупитанней, вырезал у них печень, жарил на костре и ел. А печень — она дает много ненависти против наших врагов.

— А как ты теперь спишь? Тебе снятся какие-нибудь кошмары?

— Нет, ничего не снится. Я хорошо сплю. Днем иногда думаю, что и со мной могут поступить так же, как я делал. Но новая власть добрая...

«Почему вы убиваете детей?» — спросили у взятого в плен на вьетнамской территории командира отделения 323-й роты 232-го батальона 290-й кампучийской дивизии двадцатисемилетнего Оа Транга. «Нам велят уничтожать и детей. Говорят, что, когда они вырастут, они тоже станут врагами... Я делал вот что. Пробивал живот деревянным колом. Потом сбрасывал сапоги и босыми ногами вставал на тело. Медленно-медленно переступал по нему. Когда пленный умирал, я шел к другому...»

10 мая 1978 года радио Пномпеня передавало: «Мы продолжали громить вьетнамские силы вплоть до конца января. В феврале мы перешли в наступление, мощь которого наращивалась. Удары наносятся целыми дивизиями. После разгрома врага мы немедленно выдвинули наши соединения на его территорию... Таким образом, мы достигли цели: 30 убитых вьетнамцев за одного вышедшего из строя кампучийца. Если мы принесем в жертву 2 миллиона кампучийцев ради уничтожения 50 миллионов вьетнамцев, нас еще останется 6 миллионов, чтобы строить социализм».

Пол Пот: «Для строительства нового, беспрецедентного общества нам нужен один миллион кампучийцев из восьми».

Рой Самай: «Режим Пол Пота — Иенг Сари поставил перед собой цель истребить наш народ».

«...Как сказал в прошлом году в интервью Бжезинский, думать, что ядерная война уничтожит человечество,— это «думать не точно». По словам Бжезинского, даже если народы США и Советского Союза будут уничтожены, то на земле останутся народы других стран. По словам этого ядерного идиота, мы не должны проявлять «эгоцентризма» и преувеличивать важность уничтожения США и Советского Союза». (Из заявления компартии США).

«На одном из совещаний, на котором обсуждались перспективы 80-х годов, ответственный представитель ВМС Соединенных Штатов заявил, что в США и в Европе слишком беспокоятся о последствиях ядерной войны, «рассуждая, будто ядерная война означает конец света, хотя в действительности погибнет всего лишь 500 миллионов человек».

«Граждане Демократической Кампучии делились на три категории. В первую входила та часть населения, которая до победы 1975 года уже проживала в освобожденной зоне. Во вторую — оказавшиеся в городах и районах, где марионеточная ланноловская власть пала после освобождения Пномпеня. В третью — семьи ланноловских военнослужащих, иждивенцы чиновников старой администрации, буддистские бонзы, католические монахи, школьники старших классов, студенты, интеллигенция. В официальных бумагах люди второй и третьей категорий иначе как «паразиты» и «лжецы» не назывались. «Отверженные», входившие во вторую и третью категории, составляли приблизительно 4 миллиона человек. В документах они назывались «новыми гражданами» и подлежали после 17 апреля 1975 года переселению в сельскую местность из городов. Всю вторую половину лета 1975 года по дорогам Кампучии тянулись бесконечные вереницы людей, оставляя на обочинах умирающих от изнеможения, недоедания, антисанитарии и побоев. Этот «марш», затеянный полпотовцами, стоил жизни сотням тысяч. По оценкам сегодняшнего дня, уже к середине 1976 года в стране погибло 800 тысяч человек».

«Су По, представитель военно-революционного комитета Пномпеня:

— Полпотовцы панически боялись каких-либо проявлений творчества. Скука, серость, оупение господствовали всюду. Но больше всего они опасались неконтролируемых контактов между людьми. А спорт, театр, самодеятельность, даже буддистские пагоды означали возможность именно таких контактов. Поэтому две «низшие категории» граждан, обреченные на гибель, работали с рассвета до темна. Люди же «первой категории» проводили свободное время на бесконечных собраниях, где тупели от потоков безудержной полуграмотной и доктринерской демагогии».

«Наша установка на переселение — важная после 17 апреля 1975 года. Выселить из Пномпеня более 2 миллионов человек — это беспрецедентное достижение мирового масштаба. Завершив его, мы смогли уничтожить все силы оппозиции, стали стопроцентными хозяевами страны. Разбросанные по сельской местности горожане будут подавлены основными общественными слоями и «сахак», все превратятся в крестьян. Политика «деревня окружает город» переходит в политику «деревня поглощает город».

«Исторический день 17 апреля 1975 года означает, что социалистическая революция завершена на 100 процентов. В Кампучии больше не существует ни класса эксплуататоров, ни частной собственности».

Полпотовцы, говорится в обвинительном заключении народно-революционного трибунала по делу о преступлении правительства Пол Пота — Иенг Сари, «использовали такие методы убийства, которые давали возможность ликвидировать за раз сотни или даже тысячи людей, и это были гораздо более жестокие методы, чем те, которые применял Гитлер:

— мотыгами, киркомотыгами, палками, железными прутьями они били свои жертвы по голове;

— ножами и острыми листьями сахарной пальмы они перерезали своим жертвам горло, вспарывали животы, извлекали печень, которую съедали, и желчные пузыри, которые шли на изготовление «лекарств»;

— используя бульдозеры, они давили людей, а также применяли взрывчатку — чтобы убивать как можно больше за раз;

— они закапывали людей заживо и сжигали тех, кого подозревали в оппозиции режиму; они постепенно срезали с них мясо, обрекая людей на медленную смерть;

— они подбрасывали детей в воздух, а потом подхватывали их штыками, они отрывали у них конечности, разбивали им головы о деревья;

— они бросали людей в пруды, где держали крокодилов;

— они подвешивали людей к деревьям за руки или ноги, чтобы те подольше болтались в воздухе...»

Из газет:

«Более 70 стран голосованием подтвердили, что по-прежнему считают представительство Пол Пота в ООН «единственно законным»...

1971—1979

* * *

Из газет — осень 1982 года:

«Как сообщил корреспондент лондонской газеты «Таймс», утром 16 сентября на израильских военно-транспортных самолетах американского производства «Геркулес С-130» на взлетно-посадочную полосу номер 1 Бейрутского аэропорта с израильской базы Ансар был доставлен большой отряд командос, состоящий из профессиональных убийц. В тот же день началась кровавая расправа в лагерях палестинских беженцев.

Один из очевидцев рассказал корреспонденту «Таймс», что каратели ворвались утром в четверг на 30 автомашинах в лагерь Шатила. Вначале они действовали штыком и прикладом. Хватали женщин и детей, перерезали им горло. Затем начали стрелять по каждому палестинцу...»

«Уже достоверно известно, что израильские самолеты «Геркулес С-130» доставляли головорезов Шарона к месту событий для блокирования лагерей палестинских беженцев, после чего в них были угодливо впуще-

ны фалангистские банды Хаддада вкупе с наемниками из Западной Германии, Англии и молодчиками из Южной Африки».

У Фридриха Ницше: «...на различных территориях земного шара и среди различных культур удается проявление того, что фактически представляет собой высший тип, что по отношению к целому человечеству представляет род сверхчеловека. Такие счастливые случайности всегда бывали и всегда могут быть возможны».

**Публицистика
и критика**

70-х — начала 80-х годов

В СОАВТОРСТВЕ С НАРОДОМ ¹

Возникла идея: создать, напечатать книгу, в которой наше обещание погибшим «Никто не забыт...» было бы понято и реализовано буквально. Во всех городах и селах Белоруссии собрать сведения о павших за Родину в минувшей войне и записать всех без исключения. В военных архивах — имена тех, кто пал в Белоруссии. Такую работу проделать можно только всем миром, «толокой», вовлекая тысячи и тысячи людей. И прежде всего — школьников, молодежь. Что касается наших писателей, то они уже расписаны — каждый за своим (где когда-то жил или родился) районом. Не мертвым, а живым нужна такая Книга. Пройдут десятилетия, и люди свой род-племя будут знать, будут «начинать» со строки, записанной в ней — в этом свитке Памяти.

Да осуществится — с нашим не скудным участием — это дело!

Идея такой книги бросает неожиданный свет и на «обычную» работу документалистов. Многие и давно, каждый на избранном участке, «радиусе», делают свое дело, выясняя судьбы и имена, устанавливая правду, спасая от забвения то, чего действительно нельзя забывать.

Создана, существует огромная по количеству книг мемуарная литература о Великой Отечественной войне. У нас в Белоруссии в годы войны действовало более 200 партизанских бригад. Они и сейчас действуют —

¹ Доклад перед участниками «круглого стола», посвященного проблемам военной документалистики. Минск, февраль 1978 г.

на литературном, на мемуарном фронте. Не все, конечно, но многие. Одни активнее, другие поотстали... Наши писатели и журналисты — А. Кулаковский, Р. Нехай, В. Жиженко, А. Миронов, Н. Тимошек, А. Пётух, В. Хлеманов и другие помогли в этой работе многим бывшим партизанским и армейским командирам.

Поучительно: воинский подвиг защитников Брестской крепости известен стал целому миру благодаря гражданскому подвигу писателя. В нашей благодарной памяти они где-то рядом: солдаты Бреста и писатель Сергей Смирнов.

И Минское подполье благодаря работе прежде всего литераторов получило ту оценку, которую заслужило своими подвигами и жертвами — в статьях и очерках Николая Матуковского и др.

Любопытно, но и закономерно расширение рамок нашей документалистики, все больший выход ее к теме интернационального братства в борьбе с фашизмом — например, книга Эмиля Кардина о Сверчевском.

Что лежит в основе современной документалистики, если иметь в виду психологию самих авторов — участников войны? По-моему, то, что с наивной непосредственностью выразила одна ленинградка:

«Я осталась, я не знаю, почему я, такая, осталась. Я не знаю почему. Я малограмотная. Ну почему я осталась? Может быть, для того осталась, чтобы рассказать...»

Чувство обязанности, долга перед теми, кто не вернулся, кто из войны смотрит вслед нам, живым, — не это ли чувство питает нашу документалистику нравственно? Всякие другие чувства, соображения тоже могут присутствовать, но они проигрывают перед этим и должны проигрывать...

Нет, это не отменяет ту истину, что и документалистика участников войны, рожденная по велению памяти, обращена в день сегодняшний и завтрашний. Сдвигается с места лавина памяти толчками и звуками сегодняшней жизни.

Документалистику пишут и «неучастники», психологические истоки и побуждения их работы — целиком из дня сегодняшнего. Со временем «неучастники» станут главными летописцами минувшей войны. Кто знает, может быть, как раз они скажут особенно нужную правду о «нашей» войне. Все может быть. Но даже если

и так, думается, что прав Виктор Коваленко, когда пишет: «В каком бы направлении ни развивалось художественное творчество, правда документа навсегда останется тем каналом связи, который постоянно будет соединять литературу будущего с поколением, на долю которого выпала война» (Звезда, 5.2.1978). И пока живы они, на долю которых выпала самая тяжелая война, надо, чтобы как можно больше появилось этих самых документов.

В Белоруссии господствует партизанская мемуаристика. То же самое, кажется, и на Украине. В Ленинграде, естественно, такое же место занимает память о тех, кто голодал и боролся в городе и преграждал путь врагу на подступах к Ленинграду.

В московских и ленинградских издательствах вышли наиболее значительные произведения крупных наших военачальников — Жукова, Рокоссовского, Мерецкова и других. В этом же ряду и яркие мемуары наших авиаконструкторов (А. Яковлев, «Цель жизни»), летчиков (М. Галлай, «Первый бой мы выиграли»).

Мы уже привыкли к нарастающему потоку документальной литературы, который вырвался на простор в 50-е и 60-е годы.

Все это ко благу, но ведь возрастает и требовательность современного читателя к качеству мемуаристики. Все больше обнаруживается такая истина, закономерность: книги, адресованные безлико-среднему читателю, а не реальному нашему современнику, живущему чувствами и мыслями конца XX века, разделяют судьбу тех ведомственных изданий, которые читаются лишь людьми, чьи фамилии и деяния упоминаются...

Но ведь не для однополчан пишется и издается, в конце концов, мемуаристика. Тем более что их все меньше остается — однополчан.

Тут-то и встает самая сложная задача: как наладить контакт нашей памяти с молодыми душами, у которых предостаточно своих интересов и дел.

Для мемуарного, «воспоминательного» разговора с новым современником нужна, видимо, и современная мера правдивости, откровенности, доверительности. К этому, кстати сказать, достаточно приучила современного читателя настоящая военная литература (в том числе и документальная). Молодому читателю есть с чем сравнивать новые книги.

Многое, например, написано и пишется о Ленинграде. Небольшую книгу «О тех, кто выстоял» написал и белорусский академик, ленинградец Николай Павлович Еругин. Не знаю, какое упрямство ему помогло — математика, которая точность ставит превыше всего, или чисто человеческое, но он не принял многочисленные «профессиональные» советы, не стал делать, «как у других», и оставил все так, как сам помнит. Его книга стала фактом не издательской лишь, а литературной жизни. Чувство долга автором понимается как неотвратимый заказ рассказать правду, за которую не стыдно. Ни перед живыми, ни перед мертвыми.

О многих произведениях можно повести здесь разговор. Мне, например, особенно интересно, как выстраивается книга солдатских рассказов, воспоминаний, которую готовит Константин Симонов. Но уже полностью опубликованы «Разные дни войны» — одна из наиболее значительных книг о Великой Отечественной войне. В ней, кстати, уже в этой книге, много солдатских рассказов, записанных прямо на фронте, — с живыми подробностями и особенностями языка.

Было бы не по-спортивно сравнивать литературные достоинства, значение книги опытного писателя с потском книг, создаваемых непрофессионалами (хотя и с чьей-то помощью). Правильнее сравнивать «Разные дни войны» с писательской документалистикой и на ее фоне судить о качествах и уроках этого произведения.

Что эту книгу выделяет?

Прежде всего — военная судьба Константина Симонова, военного корреспондента центральных газет, обусловившая масштабы событий, которые он мог лично наблюдать. Нужно, однако, оговориться, что военная биография человека, который побывал во стольких грозных и грозных точках бескрайнего фронта, столько увидел и честно испытал, не была автоматически заложена, записана в корреспондентском удостоверении. Его имели многие, но немногие так безоглядно приобщались, приобщились к солдатской, к армейской судьбе — в Белоруссии, в Одессе, в Крыму, на Севере, в Сталинграде... Я не знаю книги, в которой бескрайняя линия фронта 1941 года так высвечена, трагически и правдиво, как в «Разных днях...». Через личные впечатления и ощущения. Здесь и все длящаяся неожиданность новых и новых, непонятных тогда, прорывов и

успехов врага. Здесь и жадная фиксация фактов, поступков, характеров, событий, в которых проглядывали, рядом с поражениями, наши будущие победы. Победный 45-й (о котором повествуется во втором томе) действительно стал возможен потому, что летом, осенью, зимой 41-го был сорван немецкий блицкриг. Страшной ценой крови, прозрения, науки ненависти, мук народных...

Есть и другие масштабные книги об этих событиях, с достоинствами другого порядка — профессиональным знанием, освещением военных и политических решений и событий второй мировой войны и т. д. «Разные дни войны» через авторские комментарии определенным образом восходят и к тем книгам, но у Симонова, плюс ко всему, есть еще и человек — во многих измерениях, доступных лишь литературе.

Что и говорить, не всем было дано это — выбирать свою судьбу на войне, как дано было военному корреспонденту крупных газет. Лейтенанты или солдаты, будущие писатели-баталисты Григорий Бакланов, Юрий Бондарев, Даниил Гранин, Анатолий Ананьев, Владимир Богомоллов, Василий Субботин, Василь Быков, Иван Мележ накрепко, можно сказать намертво, привязаны были к судьбе батальона, полка, роты, взвода, где они служили. Корреспондент, если он честный или хотя бы самолюбивый человек, считал невозможным уехать с позиции, когда началось дело, заварилась каша. Это — одна психология, одна передовая. И другая у человека, которому выбирать не дано. У этих, других, не было *личного* видения широкого фронта, но есть в их книгах особенная глубина сращения с окопной солдатской судьбой...

Солдатская добросовестность военного корреспондента, которая не только отражена в событиях книги «Разные дни...», но которая и сделала, создала эту книгу, проявлялась не в том лишь, что ты не уезжаешь от надвигающегося боя, опасности, смерти, хотя и можешь, но и в том, что снова и снова едешь этому навстречу — из спокойного тыла. Добровольцев в армии было много. Корреспондент такой — доброволец многократный. И всякий раз все та же психологическая задача. Не будем утверждать, что все и всегда решали ее одинаково.

Читая дневник писателя «Разные дни войны» — честный рассказ про то, как человек, конечно же, опасаясь, что убьют, сволочи, и не дадут написать, расска-

зять, когда придет «время литературы», как он снова и снова лез туда, где убивают, — по контрасту я невольно вспоминал зычное выступление в ЦДЛ одного поэта. Человек совершенно серьезно рассказывал, что он — представьте себе! — слышал гром орудий, поехав к фронту, в Можайск. Дальнего звука этого вполне хватило ему на всю жизнь — на поэтические сборники, на военную поэму и еще на то самое выступление на вечере, посвященном годовщине обороны Москвы.

Писательские книги-воспоминания о минувшей войне и книги-дневники значительны в меру их нравственной обеспеченности. В фактах можно соврать, невозможно соврать в чувстве — никакой профессионализм не выручит. Для меня такими нравственно наиболее «обеспеченными» и значительными видятся «Дневные звезды» Ольги Берггольц, «Ленинград действует» Павла Лукницкого, «В осажденном Ленинграде» Георгия Алексеевича Князева, «Первая книга» Ивана Мележа и вот эта — «Разные дни войны».

Мы знаем и другие случаи, примеры: человек фактически сбежал со своего писательского, корреспондентского поста, на который ставила его Отечественная война. А 25 лет спустя появляются и его военные мемуары. Все есть — факты, даты, имена, всесокрушающая наглость. А чувство — лжет. И спрятать этого невозможно...

Я столько говорю о личностном и нравственном начале в документалистике не ради комплиментов. А идя вот от какой мысли, убеждения, многократно подтверждаемых жизнью: для литературы иногда хорошо даже то, что для писателя-человека плохо и даже очень плохо.

Плохо, когда тебя поставили в шеренгу расстреливаемых, и приговор уже звучит неотвратимо («...посредством расстреливания!») над Семеновским плацем, и ты, видя нечто последнее в своей жизни — плавящееся золото церковного купола, отчаянно считаешь оставшиеся секунды, а дни, а месяцы, годы жизни, которых не будет, кажутся невозможным счастьем бессмертия... Плохо, когда тебя травят, травят, травят — гонит по всей Италии родная Флоренция... Или когда полжизни гноит в тюрьме инквизиция... Для человека-Достоевского, Данте, Кампанеллы... Но они еще и писатели. Где другие теряют все, они нашли: «Записки из Мертвого

дома», «Преступление и наказание», «Божественную комедию», «Город солнца»... В этом парадоксе главное, может быть, преимущество писательской профессии: находить там, где теряешь, казалось бы, все. Именно там, где теряешь. Находить самое ценное для литературы: правду чувств, переживаний и сопереживаний. Ведь в конце концов главным назначением литературы всегда было и остается — выразить в переживании драматическую сложность человеческого существования.

Прямой расчет выбирать дороги трудные. Нести тяжесть, которую твои современники несут. Не ради книг будущих, а по человеческой совести. Житейские чувства сильнее профессиональных — тем более на такой войне, какую мы пережили. В дневниковых записях К. Симонова, хотя они и делались с прикидкой на работу — журналистскую, писательскую, — все чувства связаны не с литературой — с войной. Но вот окончилось главное, общее дело, и тогда вступил в свои права писательский расчет. И законной выглядит радость, что принес с тяжелейшей войны свой писательский «трофей». В письме Симонова американскому издателю (октябрь 1945 г.) звучит благодарность военной судьбе за то, что она была не из легких.

«Война окончилась, и теперь можно сказать, что профессия военного корреспондента была в общем нелегкой. Во мне всю войну боролись два чувства: желание увидеть все своими глазами, чтобы потом, после войны, написать об этом как следует, и боязнь быть убитым, и как следствие этого невозможность написать об увиденном.

Чем дольше шла война, чем ближе было к ее концу, чем больше становился запас наблюдений — тем острее делалось это противоречие...

Теперь все это правда, и, как это свойственно человеку, когда опасность осталась уже позади, упрекаешь себя за все случаи, когда не рискнул сделать то-то и то-то или не хватило храбрости побывать там или здесь...»¹. В ней есть все, в этой книге: и правда фактов, поведения, и искренность чувства, и нравственная высота оценок и самооценок. Автору как бы даже неловко, что он

¹ Симонов К. Разные дни войны: Дневник писателя: В 2-х т. — М.: Молодая гвардия, 1977, т. 2, с. 779. Дальше сноски даются по этому изданию.

столько повидал, смог, сумел и остался цел-невредим. Он готов задвинуть себя в какой-то безликий ряд... И это не поза, а настоянная на многолетнем раздумье правда чувства. Все того же чувства долга, обязанности перед павшими. Нам и без того дано много: мы остались живы, нам дана возможность рассказать...

«Хотя я никогда за войну не служил в одной части ни с кем, кроме моих товарищей по «Красной звезде», — пишет К. Симонов, — однако люди, встреченные хотя бы на коротке и порой всего единожды за войну, но запавшие в душу или по тем или иным причинам оставшиеся в памяти, в какие-то минуты войны были для меня однополчанами. Наверное, без этого, пусть скоротечного, чувства причастности к тем людям, к тому коллективу, в который ты попал как военный корреспондент, вряд ли можно было душевно выстоять, проработав всю войну в далеко не самой трудной, — я уже писал об этом, — но, добавлю, в то же время и в самой одинокой из всех профессий — военного корреспондента»¹.

Профессиональная, гражданская, человеческая искренность и добросовестность сквозит во всем в книге Симонова: в правдивости, порой беспощадности самохарактеристик, в мучительном раздумье, стремлении понять, оценить события и человека, в справедливости к людям. И если ее, справедливости такой, не хватало тогда, в условиях войны, автор возвращает ее человеку, посылает — пусть и через 30 лет — в сегодняшних комментариях. Вот один лишь пример.

Д н е в н и к: «Два рыбака, как и в прошлый раз, сидели впереди на моторке и тянули нашу лодку на буксире. Темно было так, что я с трудом различал лицо Николаева, сидевшего напротив меня. Мы тихо переговаривались. Рыбаки могли бы в такую ночь завезти нас куда угодно, если бы они польстились на немецкую награду, которая была бы немалой за генерала и корпусного комиссара сразу»².

К о м м е н т а р и и: «Откуда они взялись в моем дневнике, эти кажущиеся мне сейчас нелепыми и даже оскорбительными слова о рыбаках, которые «могли бы в такую ночь завезти нас куда угодно»?

В других случаях я иронизировал в дневнике над

¹ Симонов К. Разные дни войны, т. 1, с. 474.

² Там же, с. 386.

подозрительностью других людей. А здесь мне самому пришла в голову мысль, наверно рикошетом долетевшая откуда-то из тридцать седьмого года»¹.

Когда я читал эту книгу, особенно поразила меня заключенная в ней такая правда 41-го, многими пережитая единожды, а Симоновым — многократно. Каждый, кого настигал фронт, оккупация, помнит это чувство нарастающей тревоги и неспособность свою поверить, что возможно это: немцы придут и в твой дом! Военный корреспондент Симонов, побывав под Борисовом, Могилевом, Смоленском, уже испытал, пережив все это, затем, как челнок, снует вдоль линии фронта и, зная больше, чем другие, за них, за других снова и снова испытывает то, что они испытают завтра... Начинаешь видеть, чувствовать, как твое, пережитое и тобой, длилось во времени и на всем пространстве летнего и осеннего фронта 41 года.

Или когда читаешь вроде бы локальный эпизод — первые стычки на Арбатской Стрелке... Испытываешь, переживаешь, вместе с автором, столько всего. Не один лишь 41-й, когда порой люди боялись правды и начальства больше, чем врага и даже смерти. Не одну только войну, а и все, что на этой войне проявилось, мешая нам воевать...

К. Симонов не подгоняет вчерашний дневник к современным комментариям, он оставляет читателю право и возможность делать и свои выводы. Даже если они не совпадут с авторскими. Еще один полезный урок этой книги. Ведь наши комментарии в документальных книгах — не самое долговечное. И Симонов это понимает лучше многих. Для будущего читателя, возможно, больше скажут не сами комментарии, а тот зазор, который всегда остается между ними и живым голосом войны. И зазор этот с годами скорее всего будет расширяться, а не сужаться. Сознавали это и мы тоже — авторы комментариев к «Огненной деревне» и «Блокадной книге»...

Симоновские комментарии выигрывают в том смысле, что они тоже документ — вбирают в себя архивные материалы, а также продолжают (другими средствами и в другом времени) ту же личность повествователя, которая и в дневнике.

¹ Симонов К. Разные дни войны, т. 1, с. 387.

Отсюда особая целостность книги «Разные дни войны», ее художественная и философская многомерность.

Я уверен, что «Разные дни войны» — книга-долгожитель. Многое и многое «художественное» о минувшей войне состарится и умрет, а непосредственное чувство событий, человеческих судеб, зафиксированное в этой и в подобных книгах-документах, будет трогать сердца и души неведомых нам людей. Литература наша, критика вот уже скоро сорок лет зовет, кличет новую «Войну и мир». Быть ей или не быть — распорядится время, одно можно утверждать: все попытки напрямую повторить гениальный план толстовской эпопеи ничуть не приблизили нас к желанному горизонту. Он отступает ровно на столько, сколько шагов делают к нему авторы военных эпопей. Таково уж свойство классики: оставаться недостижимым образцом. Единственный способ для литературы приблизиться к ней — создать свою классику, заново. Не задаваясь при этом целью: а напишу-ка что-то толстовское! Книга «Разные дни...» не расчетом, не претензией создавалась, а самой военной биографией писателя, самим временем...

Книга «Разные дни войны» написана военным корреспондентом, который вопреки всем случайностям войны «в редакцию вернулся». Но она и о тех, что не вернулись. О тех и за них... Правдой Симонов воздвиг лучший памятник военному корреспонденту Великой Отечественной...

* * *

Наш «круглый стол» нацелен на профессиональный разговор документалистов. И здесь, думается, уместно и интересно будет всем нам порассуждать и о своем опыте работы. Поговорю и я, тем более что это не мой лично, а целой группы соавторов опыт. И Брыля, и Колесника, и Гранина. Они меня не уполномочивали высказывать такие-то и такие мысли о жанре наших книг (а я об этом собираюсь поговорить), но многое, о чем я скажу, искали мы вместе, находили или не находили, удавалось или нет — всем.

А вдруг и наш опыт кому-то пригодится. А вообще-то у докладчика установка откровенная: обратить профессионалов-романистов, завлечь, заманить их в «чистую документалистику». Документализм в романах,

повестях — это хорошо, конечно, но и в «чистой документалистике» им есть что делать — самым что ни есть художникам из художников. В памяти народной — в этом все еще главном, хотя и не бессрочном (и надо торопиться!), документе Великой Отечественной войны, столько всего заключено, такая в ней глубина — нравственная, психологическая, гуманистическая... Это я и хочу продемонстрировать на конкретных примерах, рассказах людских.

Первотолчком и к нашей работе было ощущение, что народная память об этом (Хатыни, ленинградская блокада) существует рядом с нами, прорываясь, как обжигающие гейзеры, и уходит, уйдет насовсем, если ее не записать.

Вначале было чувство.

Мысли, как это сделать, во что это оформится, приходили, пришли после. Жанр потом родился. Удачный он или нет — это другое дело. Но похоже, что это жанр, т. е. что-то способное к повторению и в то же время развитию, что должна доказывать и «Блокадная книга» (если она, конечно, доказывает). Самим заглавием «Блокадная книга» мы сформулировали ощущение, что это не роман, не повесть, не мемуары... Тогда что же? Можно назвать это и репортажем с места исторического события, репортажем-воспоминанием. Подчеркивая — «исторического». Потому что не место, а время здесь важнее. Из прошлого, давно ушедшего времени репортаж: *это происходит у вас на глазах — 35 лет назад!..*

Возможно ли вести рассказ о том, что происходит *сейчас, в эту вот минуту* — из тридцатилетней дали? Художественная литература это делает давно и запросто, как бы моделируя ту самую фантастическую «машину времени». Писатель заселяет прошлое вымышленными или историческими персонажами и зазывает, заманивает туда читателя, переселяя и его из современности в прошлое. Любой роман в конце концов превращается в такую «машину времени» — даже если он о современности написан. (Время уходит вперед, и современность делается прошлым.)

Это романы, повести. А репортаж? Пригодна, возможна подобная «машина времени» здесь? Репортаж предполагает сиюминутные события и время сиюминутное.

Но ведь для хатынской, для блокадной, для подоб-

ной памяти бега времени как бы не существует. Нет, люди эти живут сегодняшними интересами, как все. Но та память, если ее потревожило что-то, оживает как сиюминутное переживание, ощущение, почти действие. Даже как физическая реальность. Бывший блокадник говорит: «Есть не хочется, но зубы все время горят...» Вам рассказывает женщина из убитой деревни о том, что происходило 30 лет назад, но ощущение такое, что женщина только что вырвалась оттуда и вы первый человек из живого, из неубитого мира, кому она рассказывает, веря и не веря сама, что было, что такое с ними сделали... А вот еще блокадник: «Теперь сразу все не вспомнишь. Стараешься обычно и забывать, когда вспомнишь. Потому что и теперь силы подкашиваются, делается плохо, когда вспомнишь то время» (Масленников А. П.).

Не любое событие, даже если оно действительно (а не газетно лишь) историческое, способно создать подобную память, а значит и этот жанр — жанр репортажа из прошлого времени. Нужно, чтобы действительно (и у многих) душу перевернуло — на всю жизнь.

Работа и забота авторов подобных книг-репортажей заключается прежде всего в том, чтобы народную память, состоящую из множества безжалостно правдивых рассказов, свести в фокус. Подобно тому, как солнце ловят множеством зеркал. И тем создать общую температуру, намного большую, чем от каждого зеркала-рассказа. Некоторые читатели и первой и второй книг жалуются: понимаем, это нужно, но выдержать, прочесть это я не в состоянии! Ну что ж, не можете так не можете! Но задача, цель у авторов вполне определенная: сделать так, чтобы и через 30 и через 50 лет читающий ощущал и боль, и ожог, и холод, и голод других людей. Зачем? А хотя бы затем, что, забывая вчерашнее, человек рискует встретиться с тем же завтра...

Москвичка написала нам, что после чтения «Блокадной книги» она поймала себя на том, что в магазине стала смотреть: что бы такое купить — горох или еще что-либо, что может долго храниться. А другая женщина сказала, что всю ночь во сне спасала свою собаку — чтобы не съели, не съесть...

Вот так это действует, оказывается, — на чувства. А уж сознание — на то оно и сознание! — должно выработать из первоначальных чувств что-то более осмысленное и разумное.

В свое время «Литературная газета» напечатала рассказ белорусской женщины Ольги Андреевны Минич. Газета получила и переслала нам письмо одной учительницы. В нем тоже ответ: нужно ли обжигать правдой нашего современника или не нужно?

«К вам обращается директор московской средней школы № 8 Черемушкинского района Нина Марковна Баранцева. Школа у нас большая — 1300 человек. Весь учительский коллектив делает все возможное, чтобы воспитать наших ребят нравственно чистыми, преданными Родине людьми. Конечно, материалы о Великой Отечественной войне — самая благодатная почва для такой работы. Но, к сожалению, не всегда написанное о войне доходит до сознания ребят. Мы, учителя, рассказываем о войне и плачем, а глаза ребят сухие и безразличные».

Если глаза у ребят бывают «сухие и безразличные» — вина в том наша, тех, кто устно или письменно разговаривает с ними. А может быть, кое в чем и учебников школьных... И сегодня, например, изучая «На дне» М. Горького, учителя вслед за критиками и авторами учебников с пафосом провозглашают сатинское: не жалеть — уважать надо человека! А почему собственно нужно противопоставлять одно другому — уважение жалости, да еще монолог персонажа подавать как важнейшее убеждение Горького? А может быть, он всего лишь наивный ницшеанец в этой фразе — Сатин? Было время, когда «смелая» ницшеанская фраза кого только ни гипнотизировала — и Томаса Манна и Альберта Швейцера. Не Сатину чета! Так стоит ли нам и сегодня с таким восторгом подавать подросткам как истину сатинское презрение к жалости, состраданию?..

Что касается самого Горького, то все знавшие Алексея Максимовича отмечали как раз, что жалость очень легко проникала в его сердце, вышибала слезы. И это человеческое качество его куда больше разъясняет и жизнь и творчество великого писателя, нежели тот монолог...

Когда в Тонеже мы застали школьников, играющих в картишки в тени от памятника на братской могиле, где покоятся сгоревшие кости их бабушек и дедушек, их односельчан, долго потом мучил вопрос: кто они — выродки? Прошел первый гнев, и теперь, вспоминая тех, даже смутившихся, когда их застали за таким занятием, школьников, думаешь вот о чем: здание их души возве-

дено на «воздусях», без прочного фундамента, без чего-то изначального. А ведь самое изначальное в человеке — чувства.

А что, если прав Достоевский и главное человеческое начало как раз в способности к состраданию, жалости?..

Иду как-то по улице, впереди — одноногий инвалид. Высокий, все еще сильный мужик, а оттого и плечи, высоко взлетающие на костылях, и нога, осторожно опускающаяся на лед, — все такое беспомощное, немое... Его обгоняет мальчишка лет пятнадцати. На проезжей части как раз стояла машина, даже не машина — «Запорожец». Так и прошел паренек, развернувшись к машине, не взглянув на страдающего человека, не видя его. Ничего вроде не произошло, а помнится...

* * *

Множественность рассказов, рассказчиков в книгах, подобных «Огненной деревне» и «Блокадной», — важнейшее условие самого жанра. Формообразующее условие.

Записи отдельных рассказов, судеб людей из народа практиковались издавна. С сохранением всех особенностей живой речи, интонации. Выпущены были великолепные сборники подобных рассказов. Например, «Смоленский этнографический сборник» белорусского и русского фольклориста В. Н. Добровольского. Именно об этом материале Владимир Ильич Ленин говорил, что на нем «можно было бы написать прекрасное исследование о чаяниях и ожиданиях народных»¹.

А художник В. В. Верещагин когда-то издал иллюстрированные автобиографии «нескольких незамечательных русских людей», где представители разных социальных групп своим языком рассказывали о «своей жисти».

«Ведь я, батюшка, родился в крестьянах Орловской губернии, в городе Болжове: родился после француза, — в 16, 17 году. Священник обещался дать выписочку из книг, да так болтнул — не дал»...

Институт языкознания АН БССР хранит записи, где встречаются и рассказы о Великой Отечественной войне

¹ Бонч-Бруевич В. Д. Ленин о поэзии. — На литературном посту. Л., 1931, № 4, с. 4.

и даже сходные с хатынскими. Отдельные рассказы о трагедии белорусских деревень пересказывались, печатались (историком В. Ф. Романовским и др.).

Все дело во множественности — только из этого может родиться жанр книги. Притом нужна не просто сумма рассказов, а их активное взаимодействие, возникающее из заложенных в них же эмоциональных токов. Эти токи обнаружить, прояснить, сделать так, чтобы рассказы, эпизоды, детали расположились по внутренним силовым линиям, а не в качестве иллюстрации к вашим мыслям — в этом сложность задачи.

Множественность рассказов, даже в чем-то повторяющихся, дает новое качество, выражающееся не только в эмоциональном заострении картины голода или хатынских ужасов. Из этой множественности рождается «круговой обзор», заход к «объекту» то с одной, то с другой стороны: читатель убеждается, что от него там ничего не прячут, что все отдано на его суд. Этим искупается даже первоначальное чувство повторяемости — так нам казалось.

Когда мы только начали ездить по Белоруссии, записали несколько десятков человек, мы сразу ощутили и силу эмоциональную и эту повторяемость рассказов. Возникли у нас сомнения, споры: а не достаточно ли? Есть ли смысл ездить по другим областям, ведь и в других местностях мы услышим все об этом? Разные ситуации гибели и спасения, другие люди, слова, переживания, но в общем — все об одном. В небольшой брошюре это не обнаружит себя, а в книге — возможна ли книга из этого, из такого материала?

В других областях и районах Белоруссии, куда мы поехали в следующем и еще в следующем году, мы уже не думали об этом. Знали, что это будет книга, но не о ней думаешь, когда слышишь *такое*, видишь этих людей, а о чем-то большем. Пронести магнитофон по земле, которая знает столько, помнит столько — о том, чего другие не познали или что уже забыли. Ведь человечество такой субъект: в одно ухо пуля влетает, а через другое вылетает!

Это сказано было, и зло сказано, австрийским писателем-гуманистом Карлом Краусом в начале века. Но одно дело пули и снаряды того времени: они могли влетать и вылетать. И совсем другое — атомные, термоядерные штучки. Тут влетит и взлетит!..

И в прежних войнах решались исторические судьбы народов, держав. Но никогда не стоял, не решался вопрос: быть или не быть человеку, человечеству на планете? В прямом, в физическом значении слова. Гремели и уходили в учебники истории и исторические романы войны. Народ всегда знал больше других, что оно такое — война. Но говорили, рассказывали о ней другие, а народ безмолвствовал. Разве что в песнях высказывался.

Никто и никогда его не расспрашивал всерьез, чтобы узнать всю правду о войне. Рассказывали за него. Хорошо, если — гении. Толстой например. Они умели уловить, выразить мысль народную...

Не в том даже дело, что среди нас нет Толстых, а в том, что война и мир сегодня — воистину общечеловеческая проблема. Кто в наших условиях может заявить: я знаю о войне всю правду, я за вас всех ее выскажу! Если кто и думает, заявит так, значит, не сознает всей ответственности, проблемы всей, и слушать его тем более незачем.

За всех?.. Нет, необходимо, чтобы о подобных проблемах высказывались если не все (что невозможно практически), то хотя бы те, кто знает и помнит особенно остро, много. Самые болевые точки минувшей войны для нас — Хатыни (деревня в современной тотальной войне) и блокадный Ленинград (город)...

Рассказы из уст народных не заменяют и не заменят художественную литературу¹. Но и для литературы, думается, рождение, существование таких документальных жанров необходимо. Григорий Бакланов так выразился: литературе будет с чем себя сравнивать.

Когда мы говорим о множественности голосов в подобных книгах, встает вопрос: а сколько это — много? В Белоруссии было ощущение, что можно услышать, записать почти всех, кто из Хатыней. Кто еще жив и живет в своей местности. Конечно, мы не всех записали, но записанные — из всех областей, наиболее типичных местностей. И главное — ощущение законченности общей картины. В Хатынях фашисты не просто убивали,

¹ Наряду с магнитофонными записями устных рассказов в «Блокадной книге» «говорят» еще и дневники. Их присутствие усложняет, но, в принципе, не изменяет жанр. В следующей книге о блокаде дневниковый материал будет вообще главенствовать. Во что это сложится, мы еще сами не знаем.

жгли. Они еще и экспериментировали: готовили кадры, изучали методы еще большего убийства — во многих странах. Они, конечно, рассчитывали в своих планах и на все новые Освенцимы, но главным методом зловещего «окончательного решения» славянского и других «вопросов» могли стать и, возможно, стали бы такие импровизированные крематории-сарай, крематории-церкви и избы, как во многих белорусских, русских, украинских, польских селах. Рассказывающие, когда их слышишь одного за другим и почти в каждом рассказе — сообщение об особом случае и приеме убийства целой деревни — все вместе открывают завесу и над этой правдой второй мировой войны.

Но как это ни важно само по себе, самое главное открывается в психологических глубинах этих рассказов. (Об этом будет ниже.)

В условиях города — другое разумение исчерпанности материала. Из шестисот с лишним тысяч блокадников, живших в Ленинграде ко времени полного разблокирования города (а потом еще вернулись те, что эвакуировались в 1942-м), так вот из этих сотен тысяч сегодня в живых остались — 100—150 тысяч. Немного, но для записывания — это океан неисчерпаемый. Сколько рассказов, воспоминаний нужно иметь, сколько дневников, писем, чтобы родилось ощущение полноты, необходимой множественности? В этих случаях действует все тот же закон перехода количества в качество. Один лишний градус — и вода преобразуется в пар или наоборот — в лед. Такой наглядности здесь нет, но в чувстве, в ощущении именно это: сумма, множественность вдруг начинает жить как целое, «саморазогревается», как влажное зерно...

В деревнях было проще: пришел к человеку и просишь рассказать об одном, о *том* дне. И он знает, о чем надо. Особенно — женщина. Мужчина, особенно если он «при должности», иногда начинал, как и горожанин: «Как известно, 22 июня 1941 года немецко-фашистские...» и т. д. Но и настоящего блокадника неизвестно как направлять. Здесь *это* длилось 900 дней. А что *это*, каждый должен сам рассказать — у каждого совершенно свое. Правда, память большинства сдвинута к осени — зиме — весне 1941—1942 гг., к голоду, но и здесь не один день, а почти год. Рассказ длится и час и три, а пригодится ли это и что пригодится, заранее знать не

можешь. Это решат вместе с вами рассказы многих других людей: потом будет ясно, что выстраивается, а что отпадает...

Но сознание ваше, слух, внутреннее зрение сразу выхватывают из потока рассказа то, что воздействует немедленно...

Зимний Ленинград. Человек, закутанный так, что не поймешь, кто это — женщина или мужчина, стоит перед витриной с объявлениями. От руки его к фанерному листу тянется веревка, на фанере — покойник. Блокадник шел по делу, заинтересовался, да и отдохнуть надо — остановился и читает...

Женщина рассказывает: «Мало кто знает, что в Ленинграде всю блокаду работали музыкальные школы и учителя ходили к наиболее талантливым ребятам на дом... Занимаются, а потом учительница обращает внимание на то, что на постели кто-то лежит. — А это моя сестра, — говорит ученица. — Она мертвая» (М. А. Ткачева).

Или: в доме, мерзлом, пустом, раздается крик живого существа: «Умираю!», «Умираю!» Чудом уцелевший попугай повторяет последнее слово хозяина, который уже заледенел...

Или: лето 1941-го, немцы в четырех километрах от Кировского завода, рабочим поспешно выдают зарплату за месяц вперед. Никогда такого не бывало, и люди плачут от зловещей щедрости бухгалтера...

Вслушайтесь, как говорят, рассказывают люди: каждый о себе, но — «нас били», «нас сожгли», «ловили нас по болоту», «вы не видели людей, которые падали от голода, вы не видели груды тел, которые лежали в наших прачечных, в наших дворах»... О себе рассказывает, но одновременно и обязательно: «мы», «нас»... Снова множественность, но уже исходящая из каждого рассказа в отдельности. Тем самым каждый рассказ уже ставит себя в ряд других, требует, зовет другие рассказы, другие судьбы — т. е. диктует вашей книге жанр, композицию, взывает к множественности... Вот что мы имеем в виду, когда говорим, что такая книга сама себя выстраивает.

В иных рассказах причастность к общей судьбе односельчан или горожан перерастает во что-то совершенно глобальное. Полесские женщины, одна, вторая, третья, высказывая многими испытанное в тех условиях ощу-

щение, восклицают: «Я думала, что это уже всех, везде убивают...», «Думала, что я одна осталась на земле...», «Я уже и жить не хотела, потому что только немцы одни остались да полицаи...»

Современная документалистика у нас на глазах рождает, создает свою образность. Об этом пишут, говорят (например, П. Палиевский в статье «Роль документа в организации художественного целого»¹). Но идейно-художественная целостность любого произведения — в том числе документального — создается единством нравственного климата, господствующего в нем.

Большинство рассказов, которые мы слышали, записывали, несут в себе народное чувство общей судьбы — и в горе и в радости. Да, и в радости: стоит только, например, поставить рядом воспоминания о прорыве блокады. И увиденную трамвайным водителем огненную воду из Невы, которая будто поднялась и с гневным громом летит через головы туда, где 900 дней, закопавшись, сидели истязатели ленинградцев... (Это били стоявшие на Неве наши военные корабли.) И счастливый, озорной крик девушки в госпитале: «Андреенко, прибавляй хлеба!» (И. А. Андреенко подписывал публикации о снижении или повышении нормы выдачи продуктов.) И тот драгоценный сырок, который маленькая девочка — цветов у нее не оказалось — отдала солдату в день Победы...

Особой нравственной насыщенностью рассказов создается тот жанр, о котором идет речь. Без такой нравственной атмосферы слишком многое могло бы показаться ненужной жестокостью, даже патологией. И наоборот: благодаря изначальной нравственности народной памяти появляется возможность поведать и о том, о чем литература не рассказала.

Это не всегда лишь угадываемая нравственность, но и сознающая себя, свое право судить, судящая и приговаривающая. Как в том рассказе простой белорусской женщины, даже неграмотной, которая громко спрашивала нас, а через нас — целый мир: «Так что же это такое делается?.. Какая же это война?! Ну, взрослый, ну, он хоть был солдат... Но дети, дети!.. Ребенок!.. Оно же, как яблочко, катилось, а они бьют, разрывными,

¹ См. сборник статей «Проблемы художественной формы социалистического реализма». — М.: Наука, 1971, т. 1, с. 385—421.

искры скачут... От зверья так хоть на дерево заберешься, спрячешься, а человек, он же человека найдет!..»

А другая женщина, в другом рассказе, как бы отвечает, кто же они, эти существа в образе человеческого... Загнали женщин в избу, а мужчин в сарай. Сначала, как обычно, первых убивали мужчин, и женщины из окон все видели: как их выводили, как один старик, «крепкий такой дед», «взял немца поперек и поставил на карачки», а другие немцы — «га-га-га, набежали, убили деда».

Женщины, дети из окон смотрели, видели (вот какой «телевизор» изобрели фашисты!), как вырывались их мужья, отцы, пытались бежать и все полегли в поле...

Затем взялись за избу — выволакивали под те же окна матерей с детьми и убивали. Те, кто был подальше от дверей, все еще смотрели в окна.

«— А это дочку мою с внучкой... А это мамку мою повели...»

Женщина, единственный уцелевший свидетель — жертва того дня, сказала нам:

— И хоть бы слезинка у кого!

Женщина не говорила, не спрашивала: как могут люди людей — вот так?! Не утверждала, как предыдущая: «Это не люди, это звери были!» Но фраза ее: «И хоть бы слезинка!» — сказала обо всем, выразила все.

В фильме Стэнли Крамера «На последнем берегу» есть сцена: огромные тихие очереди стоят за усыпляющими таблетками — за безболезненной смертью для себя и близких. Стоят матери с детьми, возлюбленные... Вспыхнула и закончилась атомная война, вся планета убита, отравлена, смертоносное радиоактивное облако надвигается и сюда — на последний оазис жизни... Признаюсь, тихая сцена Стэнли Крамера мне показалась искусственной, «стерильной», излишне красивой. Но как он угадал то, о чем знает, что наблюдала воочию женщина, пережившая трагедию одной из Хатыней! «И хоть бы слезинка!..»

Плачут, взывают, когда ты погибаешь, а мир остается, когда даже убийцы — люди и сознаешь, что они слышат, способны услышать. А если одно на всех радиоактивное облако?! Или убивают всех, всех без разбора людей какие-то инопланетные насекомые? Нечто из другой цивилизации, а точнее — антицивилизации.

Удивительно передано это в Ленинградской симфонии Шостаковича — массоподобное движение, наполнение обесчеловеченной силы... Тут скажешь, как та женщина: «Я уже не хотела жить, раз я одна остаюсь»... Фашизм, атомный гриб — это и есть проникающая в нашу цивилизацию, рожденная ею же антицивилизация...

И потому люди перед тем страшным «телевизором» не плакали.

* * *

В народной памяти о войне не только свой особенный нравственный климат. Но и глубочайшее понимание человека, разумение, что он такое, что может он, а чего нет, чего можно, а чего нельзя требовать от него.

Прожив под обстрелами, бомбежкой почти три года, учительница Ползикова-Рубец К. В. в своем дневнике спорит «с самим Львом Толстым» — о психологии человеческой. «Я иду пешком до вокзала Новой Деревни. Езжу в поликлинику через день... И никогда не приходит мысль — а может быть, я не дойду? Это не храбрость, а привычка. Лев Толстой неправ, когда говорит: «Прежде Ростов, идя в дело, боялся, теперь он не испытывал ни малейшего чувства страха. Не оттого он не боялся, что он привык к огню (к опасности нельзя привыкнуть), но оттого, что он выучился управлять своей душой перед опасностью...»

Мы именно *привыкли*. Мы ложимся спать под звуки сирены, под вой зениток, под звуки обстрелов, и мы засыпаем без усилия, от физической усталости, от привычки засыпать в эти часы, и будит нас только сила звука. Разумом мы знаем, что опасность нам угрожает, но чувство молчит. Я слышала рассказ Зои об ее тетке, буквально разорванной на части снарядом при обстреле Балтзавода... Ее удерживали в помещении, но она со словами: «Меня никакая пуля не берет» выбежала и сразу попала под снаряд»...

В любом случае я (наверное, так же, как и вы) взялся бы отстаивать абсолютный авторитет Толстого. А здесь промолчу: не я жил три года, спал три года под обстрелами...

После опубликования «Глав из блокадной книги» мы получаем письма. Многие — от бывших блокадников.

«Я блокадница и блокадная мать. Муж был в армии, вернее флоте, в Кронштадте... Я родила 28 июня 42 г. девочку. В блокадном роддоме... И блокада сидит во мне и не выйдет никогда...»

Все письмо Болотниковой Юлии Владимировны об этом: как глубоко сидит блокада в них, переживших ее. В их памяти, в их болезнях, судьбе. И в особенном понимании самих себя и других людей — об этом она не пишет, это вычитываешь сам.

«Я читала, не помню, в каком номере, Вы писали про двух матерей. Одна не стала кормить одного из детей, а другая накормила ребенка своей кровью. Я бы ни так и ни так не сделала...»

Юлия Владимировна имеет в виду статью «Возможности жанра», которая была опубликована в 1976 г. в «Новом мире». Позволю себе привести из нее выдержки, чтобы ясно было, о чем спорит автор письма. В статье, в частности, рассказывалось: «Женщина, которая в самые страшные дни декабря 1941 года лежала в морозном, темном, без воды, без канализации, вымирающем доме и кормила ребенка буквально собственной кровью — материнского молока и никакой другой пищи не было, так она прорезала исхудавшую руку и давала сосать вместо груди — женщина эта тоже спасала Ленинград, не давала ему умереть...»

В том же доме и даже в квартире той поселилась другая женщина. «Такая вроде бы видная, рослая из себя», — рассказывали нам. И у нее тоже двое было детишек: мальчик и девочка десятимесячная. Когда снизилась норма хлебная до 125 граммов, стала «смертельной» (по словам рассказчицы) погибель, смерть неудержимо устремились к детям и одной и другой женщины.

Первая собой их заслонила — «открыла жилы».

Вторая перехватила ее, смерть, рукой человека, ожесточившегося до крайности. Перехватила, чтобы отвести ее от мальчика, старшего. Но какой ценой отвести?! И куда направить?.. «Получу карточки на троих, а кормить буду только его. И ты сделай так», — советовала она соседке.

Нам адрес давали той, несчастной. Не пошли мы с Даниилом Александровичем. Побоялись. Постыдились подсматривающе слушать человека. Не нам, не пережившим такое, лезть в судьи.

Пусть судят те, кто право имеет — сами все это испытавшие».

И вот перед нами такой человек — действительно переживший все это, а потому судить право имеющий. И женщин тех и наше, авторов «Блокадной книги», отношение к факту.

В словах и фразах горячего письма бывшей блокадницы, порой бессвязных от боли, волнения, такая непосредственная связь с самой реальностью обстановки и переживаний блокадных дней, что тут уж только вслушиваться в глубины, трагически открывшиеся тысячам людей, — психологические и нравственные глубины.

«Я бы ни так и ни так не сделала, — пишет Юлия Владимировна Болотникова, — ни одного на смерть не могла бы осудить, а уж будь как будет: не смогла бы смотреть на того, кто остался бы жив. И он не смог бы жить ценой смерти другого. Не смог бы, я знаю. И кровь не дала бы пить. Не потому, что мне ее жалко ребенку. А потому, что даже самый крохотный ребенок все понимает. Я бы умерла (отдав кровь. — А. А.). А ребенок понимает, что он один, и я бы не смогла. Ему легче было бы умереть около матери, он все понимает, а то один».

У многих и многих, переживших ленинградскую блокаду, трагедию Хатыней и заглянувших куда-то за край (и в себя — на всю глубину), такое понимание природы человеческой и такой суд над добром и злом, что действительно впору вспоминать великих гуманистов. Не знаю, как объяснить — возможно, жизнь так круто развернулась, — но то, что приходило на ум только «великим», что откровением звучало в книгах гениев, запросто звучит, живет в людях вроде бы малоприметных. Женщины полесские, которые нам рассказывали про детей своих — про убитых и про «новых», которыми счастливы сегодня, конечно же, не думали о том, что они вместе с Достоевским отгадывали тайну великую, человеческую: ложь или правда в библейской притче про старого Иова, у которого бог отнял счастье, а затем вернул — дав ему новых жен, новое богатство и новых детей? Взамен отнятых, утраченных.

Нет, я им поверил, этим женщинам, их глубоким, ничего не забывшим глазам, а не утешительным словам старца Зосимы. (Которому, кстати, куда как трудно оспаривать «бунт» Ивана Карамазова.) «Старое горе

великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость». Не споря, они спорят с этим, те женщины. С забвением: не хотят они его и не могут хотеть, хотя память для них — пытка, мучение.

Вначале, когда я слушал ленинградских блокадников, у меня, ей-богу же, появлялось чувство: будто читаю Достоевского! Даже ситуации часто совпадают. Как вот в этом рассказе — страшный, «блокадный» вариант Родиона Раскольникова:

«— Здесь у нее была сестра, она жила у сестры. И вот когда она меня узнала... Ну, уж я не буду все рассказывать?..

— Если можете, все рассказывайте, — просим мы.

— Мы ездили на остров Голодай — на склад за дровами. Помогли друг другу санки тащить. С этого момента она меня и узнала. Она узнала, где я работаю. Она стала следить за мной. Почему — я не знала. Однажды осталась я вечером в столовой дистрофиков. Я там работала кассиром. Клеишь на старые газеты талончики (ведь строгая же отчетность!) и в то же время считаешь. Крыс было что-то невероятное! Вот сидишь, считаешь на счетах, они придут и сядут. На столе. Придут и сядут — пожалуйста! Они же есть хотят! А любят еще качаться на весах, ох, как любят!

Так вот пришла та женщина и стучит. Старик у нас ночевал, грелся. И еще уборщица. Так они: «Вас вызывают». Я говорю, что если по имени и отчеству, тогда откройте. «Нет, — говорят, — спрашивают просто кассира».

Ну, она так стучала, что пришлось впустить.

Она говорит:

— Я есть хочу.

Я говорю:

— У нас ничего нету, и потом без карточек и вообще повара все ушли.

Ну вот, она такими страшными глазами смотрела на меня, не моргая, и что-то она все время под пальто держала, чего она не вынимала.

— Вы ходите одна домой? Пойдем вместе сегодня.

Я говорю:

— Я не пойду.

Она стала требовать, чтобы я пошла вместе. Конечно, мы ее силой выдворили из столовой.

Когда я утром шла домой, здесь я уже слышу, что якобы она заманила женщину под предлогом пилить дрова и стала ее бить, стала ее тащить и топор у нее был приготовлен. Хотела убить ее топором. Но женщина оказалась сильнее... И так она кричала, так кричала, что сломали дверь, отобрали топор. Потом ее забрали.

После десяти лет заключения, когда она вернулась, я видела ее...» (Из рассказа Поповой Ульяны Тимофеевны.)

Наслушавшись такого, заново, новыми глазами будешь перечитывать и Достоевского — «бунт» Ивана Карамазова, например. Молодой атеист Максим Танк когда-то озорно сформулировал этот «бунт» в двух строчках:

Якому дурню далі свет зрабіць,
Які мы ўсё жыццё перарабляем!..

(Прошу прощения за прозаический мой перевод: какому это дураку поручили создать такой мир, который приходится все время переделывать.)

Конечно же, не в Достоевском, не в книжной культуре ленинградцев дело. Хотя эта культура и заявляет о себе в очень многих случаях. Но то же самое знание пределов человеческих, понимание человека, его падений и взлетов, находишь и у самых простых деревенских женщин, порой неграмотных. Знание, понимание, которому человек ничуть не радуется: слишком дорогой ценой оно куплено, с очень горькой памятью оно связано. Такое всезнание и Достоевского мучило, терзало, так ему, писателю, оно хоть нужно было...

Но не знать человек уже не может. И не задумываться над вопросами, которые вроде бы по плечу только «великим», — над вечными из вечных. Если не в словах, то в чувствах их решает. Но иногда и прямо, сознавая свое право на это, выстраданное право. Слишком многие должны были решать эти вопросы практически. И решали. Познавая себя, других, человека в обстоятельствах, где обнаруживалось все, испытывалось все.

И прежние представления каждого о самом себе — также.

Вот записи в поразительном дневнике 16-летнего школьника Юры Рябинкина:

«Хорошо бы улететь... Выкупить все конфеты на новую декаду и улететь, грызя их. Пожалуй, тогда у

меня даже воспоминания об этой жуткой голодовке как-то смягчатся. А ведь что со мной было? Ел kota, убитого самим, воровал ложкой из котелков Анфисы Николаевны, утаскивал лишнюю кроху у мамы и Иры, обманывал порой их, замерзал в бесконечных очередях, ругался и дрался у дверей магазинов за право войти получить 100 гр. масла... Я зарастал грязью, разводил кучу вшей, у меня не хватало энергии от истощения, чтобы встать со стула, — это была для меня такая огромная тяжесть! Непрерывная бомбежка и обстрелы, дежурства на школьных чердаках, споры и сцены дома с дележом продуктов... Я осознал цену хлебной крошки, которые подбирал пальцем по столу, и я понял, хотя, быть может, и не до конца, свой грубый эгоистический характер. «Горбатого одна могила исправит» — говорит пословица. Неужели я не исправлю своего характера?»

Видите, не только выжить, выйти живым из блокады, но человеком выйти — вот о чем он, умирающий от истощения (и умерший через короткое время) шестнадцатилетний ленинградец!

А пока жив, он внушает, внушает себе:

«Только бы начать! Завтра, если все будет, как сегодня утром, я должен был бы принести все пряники домой, но ведь я не утерплю и хоть бы четверть пряника да съем. Вот в чем проявляется мой эгоизм. Однако попробую принести все. Все! Все! Все!!! Все!!! Ладно, пусть уж, если и скачусь к голодной смерти, к опухолям, к водянке, но будет у меня мысль, что я поступил честно, что у меня есть воля. Завтра я должен показать себе эту волю. Не взять ни кусочка из того, что я куплю! Ни кусочка!»

Запись следующего дня — от 11 декабря 1941 года:

«У меня такое скверное настроение и вчера и сегодня. Сегодня на самую малость не сдержал своего честного слова — взял полконфетки из купленных, а также граммов 40 из 200 кураги. Но насчет кураги я честного слова не давал, а вот насчет полконфетки... Съел я ее и такую боль в душе почувствовал, что выплюнул бы съеденную крошку вон, да не выплюнешь...»

Вот интеллигентный человек, очень профессорского вида — таким смотрит с довоенной фотографии, таким кажется, хотя и сильно постаревший, сегодня. Но когда знаешь о нем то, что и он знает, помнит, начинаешь понимать неуходящую из его глаз грусть слабого чело-

века, навсегда потерявшего веру в себя: помнит он, помнит, что в те страшные дни, уже не владея собой, хватал принесенные женой кусочки липкого хлеба, пытался съесть, а жена била его, отнимала и делила хлеб на четыре части — у них было двое умирающих детей.

И тут же рассказ о другом отце, который тайком от жены отдает маленькой дочери свой хлеб — свою жизнь и просит девочку не пугаться, если он замолчит и не будет больше с ней разговаривать...

А вот обычная ситуация, житейская, нравственная, которую испытали — на самих себе «проверили» — многие, очень многие блокадники. Человек потерял или у него украли карточки. Притом в начале месяца. Он и его семья обречены. Только случай, чудо могли спасти их — таковы были жестокие условия повседневного быта. Не люди, жестокие, бессердечные, — это подчеркивают блокадники — а условия.

Строки из дневника (учительницы Ксении Владимировны Ползиковой-Рубец): «От Любы письмо. Мое она получила. Я так и думала. Она не поймет, что в смерти Богданова никто не виноват. Она пишет: «Неужели ни у кого не нашлось для него кусочка хлеба?» Как будто кусочек мог помочь. Может быть, прочтя этот дневник, она больше поймет».

Ученый математик Е. С. Ляпин как бы обобщил для нас такие случаи:

«— Поделиться просто было нечем, и он не просил. Человек погибал в ужасной обстановке. Это страшно... Он сидит в углу и знает, что каждый день к нему приближается смерть. Она приближается ко всем, но к нему в десять раз быстрее, ибо он ничего не ест, у него уже организм подорван, а ты не протягиваешь ему руку с половиной своей карточки, ты чувствуешь себя преступником, но тем не менее ты ему половины своей карточки не отдаешь... Если вы скажете, что если бы взяли и дали? Я могу сказать, — увы, я скажу то, что, может быть, тяжело и, может быть, даже не следует говорить: на-завтра другие, пятеро, пришли бы и сказали, что они потеряли свои карточки.

А государство и эти самые организации ничего сделать не могли бы, опять-таки по этой самой причине. Потому что если бы так сделали, то завтра в таком бюро выстроились бы тысячи, десятки тысяч людей. Причем

это не были какие-то отвратительные люди, это люди, которые сами и близкие которых уже стояли на краю смерти».

Вы спросите: неужели действительно у всех и везде так бывало, если человек терял карточки? Нет. Мы не случайно назвали фразой, услышанной от блокадницы, одну из глав нашей первой публикации: «У каждого был свой спаситель». Почти каждый выживший говорил нам про того, про тех, кто его спас. Часто отрывая от себя, от семьи своей последние крохи. Блокадница З. Островская пишет, как соседка принесла им, потерявшим карточки, стакан драгоценного риса, который получила от моряков, из последнего помогавших огромной голодной семье их погибшего товарища. Вот так выстраивались никому не видимые цепочки спасительной человеческой взаимопомощи...

Потому-то блокадники, *такое* испытывавшие, в массе своей сохранили глубочайшую веру в человека, в человечность. Но память их удерживает всю правду обстоятельств, которые бывали порой сильнее конкретного человека. А потому редко какой блокадник скажет не с жалостью, а с пренебрежением о людях, испытывавших моральное поражение. Даже о тех, кто у него выхватывал хлеб в магазине. Слишком жестокими были муки голода, и не каждый в силах был их выдержать. Особенно снисходительны женщины и особенно к мужской части населения, которая вымирала в первую очередь.

Ну, а если даже над непоборимыми обстоятельствами поднимается человек — тем большая заслуга его.

Вот та же ситуация — с утерянными карточками. Ольга Берггольц день, второй смотрела на невольного убийцу семьи — работника радио, потерявшего карточки, — не выдержала и отдала ему свою. Хотя сама уже страдала дистрофией. Т. е. человек взял и отдал другому, малознакомому и даже малоинтересному ему человеку, свою жизнь. Ольга Федоровна, зная жестокую реальность, никак не рассчитывала на то, что произошло потом: другие работники стали ей помогать продержаться до конца месяца. И помогли.

И это тоже правда блокады. Не отменяющая ничего другого, но всему придающая иное звучание — возвышенно трагическое. Человек способен на многое, на очень многое, но как это горько, что жизнь снова и снова требует от него немислимых жертв.

Блокадники сами рассказывают о духовных проявлениях, потенциях человеческих — как это им открылось в те дни и месяцы. Это — и в письмах, которые нам и в «Новый мир» присылают после публикации «Блокадной книги». Вот некоторые выдержки.

«...Опубликована *правда* о невиданном эксперименте, когда при полном распаде всех нормальных функций цивилизованного общества, при жизни рядом со смертью во всех ее фантастических обличьях, были проявлены неслыханные «потенции человеческого духа» (Раппопорт Цицелия Петровна, Ленинград, ул. Швецова, 6, кв. 9).

А Людмила Николаевна Бокшицкая (Ленинград, ул. Кубинская, 26, кв. 54) в письме своем вспоминает:

«Я пережила блокаду в самом суровом смысле: без запасов, без помощи, но с верой, что скоро кончится. Но наступил момент, уже в декабре 1941 года, когда стало безразлично: не могли пойти выкупить хлеб, не вставали с кровати. Лежали трое: мама, сестра и я. Не реагировали на сигналы тревоги, не слышали, что летят бомбардировщики. И как вы пишете: «у каждого был свой спаситель»... В нашу комнату вошла соседка Надежда Сергеевна Куприянова. Она решила, что и мы уже мертвые, т. к. в квартире, где было много жильцов, живых уже не было... Увидев, что и мы уже «залегли», что мы уже безразличны к тому своему состоянию, Надежда Сергеевна со словами, что она не даст погибнуть семье такой замечательной женщины, ушла. Скоро она вернулась с дровами. Затопила печку, принесла воду. Сказав, что им в госпитале дали кролика, поставила в печку кастрюлю с кроликом. Варился суп, она нас мыла, отгородив одеялом от основного холода. За эти дни наша угловая комната первого этажа так промерзла, что тепло было только у печки в радиусе одного метра. Только после обеда мы узнали, что это кошка, наверное последняя, а не кролик. Этот обед и это внимание позволили продержаться до 10 января 1942 года.

8 и 9 января мы опять без ощущения, что с нами происходит, лежали с мамой две дочери во всей одежде, не выкупая хлеб, и уже не говорили о нем, как это было раньше. Мама начала шевелиться, что-то, как мне показалось, во сне начала тихо спрашивать. А потом мама, как бы с испугом, задала вопрос: какое сегодня число.

И по тому, что мы два дня не выкупали хлеб, установили, что было 10 января 1942 года. И вдруг мама сказала, что «в этот счастливый для нее день мы не должны умереть, сегодня же день рождения Люсёны!» Т. е. мой день рождения. Мы должны сегодня встать и устроиться на снегоуборочную работу. Очевидно, услышали по радио, что требовались рабочие... И теперь эту дату я считаю своим вторым днем рождения, но и днем рождения, общим для мамы и сестры.

Мы пошли на улицу Скороходова, где был пункт по трудоустройству... Сначала мы делали по три шага и останавливались, но ненадолго, затем по десять шагов... Я помню, как мы считали, чтобы не больше, боясь, что можем не справиться, как мы, останавливаясь, проявляли бдительность, чтобы не замерзнуть...»

В поезде Брест — Ленинград рассказывала бывшая блокадница Селезнева Зоя Петровна, как жили они возле Серафимовского кладбища и как дворник точно в такой же ситуации, когда семья «залегла умирать», принес мясо и объяснил, что «коня тут убили, люди все тащат», и как мать сварила, накормила, спасла детей. До сих пор мучит Зою Петровну мысль о мясе том («Какое-то крупчатое, знаете, какое-то такое!») и, главное, память про то, как мать долго рассматривала его, решала и решилась. И никогда потом об этом не говорила.

Вот и еще драма немислимая — материнская, человеческая...

Все это рассказывается не для того, чтобы растрогать. Это все тот же разговор о жанре — «о репортаже-воспоминании с места исторического события», о его возможностях, о «диалектике души», заключенной в таких воспоминаниях, о нравственном и философском потенциале памяти народной. И о характерах рассказчиков, характерах, выступающих из рассказов.

Не за всеми рассказами, записанными на магнитофон, встают ярко очерченные характеры людские, а тем более крупные. Найти их было проще в деревне, нежели в городе, и среди женщин чаще попадались, чем среди мужчин. Правда, характеры в таких книгах и в «обычных» романах — понятия, в чем-то различающиеся. Тут их нужно в буквальном смысле отыскать, притом готовые, притом способные себя раскрыть через богатую на детали речь, через язык. Талант рассказчи-

ка, наблюдательность и «самонаблюдательность» — обязательное условие настоящего характера в нашем репортаже. Тут почти немислим характер молчуна, который вполне «впишется» в роман, повесть. Правда, можно и так поступить, как в «Огненной деревне», в главе «Не могу... Не умею», — обрисовать людей через их неумение рассказать о себе. Тем более что это «неумение» проистекает очень часто от боли, от боязни позвать из прошлого невыносимую память... И тут недопустима репортерская настырность, прыть: записал, что услышал, и иди с богом, ищи такого человека, для которого как раз выговориться означает облегчить боль. Мы даже открыли закономерность: истинный талант рассказчика (а точнее — рассказчицы) попадался в среднем через 10—12 человек. Это — в деревне. Город имеет свои «закономерности» и в этом отношении, но тоже — в пользу женщин. Память женщин безусловно эмоциональнее, а потому талантливее мужской, тем более что они острее все пережили, переживали, особенно матери. И в Хатынях и в блокадном Ленинграде. Ольга Андреевна Минич, Мария Ивановна Дмитриева и другие женщины-рассказчицы стягивают к себе все нити воспоминаний в первой и во второй книгах... Самое сложное, трудное, но и самое важное и в этом жанре — человеческие характеры, к ним по возможности все должно восходить, через них выражаться...

Жанр — это «правила игры», о которых уславливаются автор и читатель. Если кратко сформулировать определяющее правило «репортажа-воспоминания» с места исторического события — вот оно:

...это происходило много лет назад, не о тебе, о себе люди рассказывают, это с ними, не с тобой происходило, давно, очень давно, ты можешь оставаться спокойным, никакими специальными сюжетами, приемами, художествами тебя не собираются втягивать в чужие судьбы и переживания, никто не насилует твои чувства, можешь оставаться спокойным, это не с тобой происходит, это с ними происходило, давно, очень давно... Ты не можешь, не хочешь быть спокойным, ты ненавидишь это слово — «спокойный»? Это твое дело. Это уж как ты сам хочешь...

Современный серьезный читатель не терпит авторского насилия. Не надо его насиловать. Ни сюжетами ловкими, ни художествами заманчивыми. Не надо его

никуда тащить. Пусть он остается там, где есть. Пусть правда сама придет к нему, простая и безыскусственная, — из тридцатипяти-, из сорока-, из пятидесятилетней дали. От самой простой как раз и невозможно спрятаться.

* * *

И такое еще отступление...

Да, правдивейшие рассказы жертв фашистского геноцида — важный человеческий документ. Но и признания, психология, поведение, биографии, само «посюстороннее» существование бывших карателей — тоже документ. Документ бесчеловечности, «расчеловеченности». И мы снова могли (на недавнем процессе в Минске) наблюдать, как они встретились: документ человечности и документ бесчеловечности — не в книге, в жизни встретились. Входили в зал женщины и всматривались в старческое подобие тех, кто убивал, истязал их и детей их. Запомнилась немолодая женщина, которая смотреть на них не захотела, похоже, что ей неловко было в непривычной роли карающего рока. Он в Бобруйске, 32 года назад вырывавший из рук ее дитя, чтобы фашисты выкачали из него кровь для своих раненых, теперь в 1976-м во все глаза смотрел на свидетельницу (придирчиво и покорно одновременно), она же глянула один раз и больше в его сторону не смотрела. Рассказывала про дела их: про вампиров, пособников вампиров, но смотреть ей было неловко — на жалких, лысых, седых, испуганных, раздавленных... И еще: в зале сидели другие бабы и дети — жены, сыновья, дочери бывших карателей, которые все эти годы даже не догадывались, что их мужья и отцы — убийцы детей!..

Женщина рассказывала, а весь облик ее, а тихий голос ее кричали-молили: господи, не хочу ничего, лучше бы ничего не знать — ни того, что в 44-м было, ни этой расплаты в 76-м!

Но все было. Было и ни от чего не уйти ни памяти людской, ни литературе — и не мести ради, а потому, что если трусливо оставить темные бездны позади, ничего не поняв, они снова окажутся у человека под ногами. Женщина рассказывала, не глядя на убийц-стариков, а за словами ее, тихими, неохотными, слышалось надрывное и гневное: «Но зачем мне их отмщение, зачем

мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены...»¹.

Ситуация, которую и Достоевскому не нафантазировать. Хотя это его слова, из его романа. Там же Иван Карамазов прокричал самому господу богу в лицо: «Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое; но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему!...»²

Когда еще война продолжалась, Константин Симонov первый написал о первом, проходившем в Ростове, процессе над фашистами и их пособниками.

Потом Лев Гинзбург умно и глубоко копнул — написал документальную «Бездну», а позже — «Потусторонние встречи».

Сегодня мы читаем об этом же в новой повести нашего Виктора Козько «Судный день» — очень талантливой, как и все, что он о войне написал.

Да, если эту тему и возможно «закрыть», то лишь исчерпав, раскрыв ее хотя бы настолько, насколько мы в силах это сделать.

Мы знаем, мы пишем вслед за Юлиусом Фучиком: не было героев безмянных, жертв близких! Высокий, святой долг литературы оживить их, силой любви, благодарности нашей вернуть им лицо, душу, существование.

Но фашизм, но зло, палачи тоже ходили на двух ногах, были о двух руках и с человеческой речью. Нет, не должны они спрятаться от гневного ока литературы, не должно быть так всегда: человечеству в одно ухо пуля влетает, а через другое вылетает! Чуму победили, когда рассмотрели бактерии, которые, поселяясь в человеческом организме, разрушают его. Фашистская чума тоже имеет свои бактерии, и если их выращивают в стальных сейфах, то поселяют не где-нибудь, а в душах живых, людских — там они множатся. При определенных условиях. Мы все знаем про эти условия? Ой нет! Я вот смотрел на пятидесятилетних подсудимых, бывших карателей, и особенно не мог простить им, что

¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 32-х т.— М., 1976, т. 14, с. 223.

² Там же.

тогда им было 18, 17, даже 16 лет. Да мы же вместе, в одинаковых школах изучали Пушкина, плакали над тургеневским «Муму», над судьбой чеховского Ваньки Жукова и его мольбой: «Милый дедушка, сделай божескую милость, возьми меня отсюда домой!..» — и вдруг — каратели, убийцы детей, женщин!.. Говорят, одногодков легче понимаешь. Здесь же не понимаешь потому именно, что одногодки. Все протестует: нет, такое невозможно! Невозможно, но ведь было... И литература не имеет права не замечать, не показывать, не осмысливать и этот документ жизни...

* * *

«Нигде не философствуют так мало, как на войне; нигде так много не спорят о смысле жизни, как в книгах о войне»¹.

Хорошо сказано! Хотя документальные вещи (дневники К. Симонова, подневные записки Г. Князева и др.) спорят с этим: философствовали и на войне! А уж в книгах о войне действительно как нигде. Видимо, в самом этом занятии причина — в войне. Занятия для человека противоестественном, если иметь в виду главное дело войны — убийство.

«Как бы ни были высоки наши побуждения, война все равно оставалась противоестественным состоянием для каждого человека, не потерявшего людской облик», — справедливо писал Константин Симонов в «Вопросах литературы»². А уж сколько об этом противоречии сказано, написано классиками и больше всего — в «Войне и мире».

Вот отчего нигде так много не философствуют, как в книгах о войне. Или в связи с книгами о войне. Вот и мы сегодня собрались с той же целью — пофилософствовать. Тем более что в документалистике, о которой у нас разговор прежде всего, не все так очевидно сегодня, как казалось еще совсем недавно.

«Медовый месяц» документальной литературы (и документальности в художественной литературе), кажется, на исходе. Нет, «документ» все еще хватают-расхва-

¹ Топер П. Ради жизни на земле.— М.: Советский писатель, 1971, с. 247.

² Вопросы литературы, 1965, № 5, с. 51.

тывают читатели. Я сам видел, как в огромной очереди за очередным документально-художественным бестселлером двое мужчин лупили друг друга желтыми доцентскими портфелями...

Но недавно прочел статью, а точнее несколько дискуссионных статей — одна защищает документалистику, документальность, а другая предаёт её анафеме. Оказывается, правда документальная связывает крылья творческому вымыслу, а потому у нас нет Шекспиров, Толстых, Достоевских... Думаю, что статья эта — лишь первая ласточка. Довольно сильный отряд критиков давно уже точит перья против документальной правды и не сегодня-завтра выступит в поход. Но не такие статьи — самый опасный противник. В конце концов сильные противники полезны для любых жанров и талантов, если борьба, спор ведутся честно. Poleмика — это самопроверка, а она всегда полезна.

Действительно опасный враг документалистики находится в её собственном стане. Документальностью стали спекулировать в литературе, латать её дыры в прореженной, слабенькой художественной ткани, одежде произведений. Моду эту великолепно спародировал Владимир Богомолов в своём мастерски написанном «В августе сорок четвертого...». Тончайшим образом имитируя «документы», он разыгрывает и увлеченную литературу и доверчивого читателя. Чего стоит один его документальный «изюм» вместо чего-то там...

Яркие документальные заплатки на реденькой и бесцветной «художественной ткани» в некоторых военных романах стали как бы и стилем и жанром, обязательной приметой сегодняшней «эпопеи».

И тут я готов согласиться с противниками документальности (если это тоже «документальность»!), когда они пишут:

«...В иных романах о войне видишь лишь факты, кое-какие щекотливые дворцовые подробности, некоторое обнаружение архивных данных, которые сами по себе занимательны, но вот исторического чувства нет, а как уже переходишь от действительных лиц к вымышленным, становится просто скучно»¹.

¹ Золотусский И. Лучшая правда — вымысел. — Литературное обозрение, 1978, № 2.

Видя, читая такие романы, один член уже нашего, белорусского, СП, видимо, решил: документировать, цитировать — так уж новаторски! И написал толстенную эпопею, и вот уже много лет издательство прячется от его напора за внутренними рецензиями. Просили и меня отрецензировать, и таким образом я познакомился с новаторской эпопеей. Есть там, кроме всего прочего, сцена, где тракторист на пепелище послевоенной деревни выясняет отношения с женой — семейная сцена.

Тема не новая, но за всю историю мировой литературы только в эру всепобеждающей документалистики могла возникнуть смелая идея: пусть колхозники выясняют семейные отношения с помощью документов второй мировой войны — цитируя Гитлера, Геринга, Муссолини, Гопкинса, Черчилля, Рузвельта, Сталина... Я не преувеличиваю, не утрирую: на добрых десяти страницах жена большущими цитатами отбивается от мужа-ревнивца. Не подумайте, что это авторский юмор: какое там! Все серьезно, эпически, публицистически!

Тракторист Миша попрекает жену немецким госпиталем, где она работала во время оккупации. Опасается, что любила оккупантов — и политически и по-женски. Чтобы не думал, не подозревал, жена рассказывает, кто и какие они, фашисты:

«— Мишенька, а ты знаешь, что Гитлер говорил. Я в их госпитале наслушалась... «Не моя задача устанавливать справедливость. Моя задача — убивать и истреблять...» (Цитаты, на страницу-две, я вынужден сокращать.)

— Что ж ты хотела от собаки? — соглашается, поддается муж.

— Тридцать шестой год, Мишенька... Снова Геринг: «Битва, к которой мы приближаемся, потребует огромных промышленных мощностей... Единственной альтернативой является победа или гибель...» Вот каким духом были напичканы немцы, Мишенька.

— А Муссолини, может, скажешь, меньше гадил своему народу? (Доняла-таки, прорвало и мужа!)

— Итальянских офицеров в наш госпиталь не принимали, Мишенька! От немцев, правда, слышала о Муссолини. Смеялись с мясистого «дуче»... «Исторические цели Италии имеют два имени: Азия и Африка...

Позиция Италии в Средиземном море делает решение этой задачи ее правом и обязанностью...» Снова тот же бред в мировом господстве, Мишенька!..»

Читая подобное, пока еще созревающее в издательских портфелях и похожее на это, но не столь пародийное на первый взгляд, уже напечатанное, не удивишься, если вдруг раздастся: хватит «романов-документов», надоело! Лучшая правда — вымысел!

Кое с чем даже соглашаясь, давайте все-таки уточним: чего хватит и что надоело? И действительно ли вымысел — самая лучшая правда, как я вычитал в той статье.

Когда пришла Советская Армия и партизаны вышли из лесов в деревни, города, можно было наблюдать такое: человек сидит за столом и ест соль большой ложкой. Ели, пока организм не приходил в привычное солевое равновесие.

С литературой, которая по той или иной причине долго недобирала «солей» действительной жизни, происходит то же самое. Она хватает большую ложку документалистики и черпает, черпает факты, документы, живую жизнь. По-разному назывались это состояние и эти писатели в разные времена и в разных литературах: где «натуральной школой», где «выгребателями грязи»...

У Толстого Вронский бросает замечание по поводу искусства, живописи: французы столько лгали, что для них теперь «нелганье» само по себе уже поэзия... Простое обращение к действительным фактам, к живым людям, документальной правде — уже поэзия. Уже радость искусства. Мы, литература наша, вполне испили эту радость, это счастливое сознание, что на столе соли сколько угодно, а в руке большая ложка. Это длилось всю вторую половину 50-х годов, все 60-е годы. Но, может быть, потому, что в литературе присутствовал такой авторитетный для всех, такой требовательный мастер, как Твардовский, литература наша и на том этапе сразу начала стремиться к большему. Твардовский не терпел «езды со спущенными вожжами» и ни под каким предлогом не позволял делать себе и другим скидки за счет искусства, распускаться. «Сырого» было много и появляется много (иногда даже полезного «сырого»), но мерой было и остается искусство, настоящий профессионализм художника.

Да, очевидно, литература так и существует, живет — пульсируя: расширение, большой захват действительности, а за этим следует уплотнение в формы, все более мускулистые и самостоятельные, пока самостоятельность формы не начинает превращаться в изощренность, в самоцель... И тогда спасение в том, чтобы снова побольше захватить правды самой жизни, факта — снова нужна большая ложка «документальности»...

А может быть, сегодня мы как раз на том участке «пульсации», когда документализм уступает, должен уступить главную роль более мускулистой форме («вымыслу» — если использовать полемическое словцо критика)? И пора его гнать, изгонять — документализм, к чему критика начинает уже призывать. Пока еще одним голосом, но завтра, набрав воздуха, возможно, зашумит в десяток глоток.

Но как уже говорилось, документальность и в 50-е, в 60-е годы, с самого начала, не противостояла «высокому искусству», «форме», наоборот, страстно и с немалыми успехами *реализовала, претворяла себя в искусство*. Не стану называть тут все имена и произведения, а если понадобится бы это сделать, так оказалось бы, что самое заметное, то, что остается в литературе, возникло именно на этом направлении. Но хотя бы пунктирно обозначу: «Жестокость» и «Испытательный срок» Нилина, «Судьба человека» Шолохова, «Время нашей доброты» Друцэ, «Полесская хроника» Мележа, «На Иртыше» и «Комиссия» Залыгина, «Жизнь Федора Кузькина» Можаяева, «Прощай, Гюльсары» Айтматова, «деревенская» проза Абрамова, Шукшина, Белова, военные повести и романы Бондарева, Бакланова, Симонова, Богомолова, Быкова, Астафьева, Субботина, Ананьева, «Разные дни...» Симонова, «Наш комбат» и «Эта странная жизнь» Гранина, «Последние две недели войны» Розена, «Лес богов» Сруога, повести Трифонова, «Птицы и гнезда» и «Нижние Байдуны» Брыля, «Огонь и снег» Шамякина, «Сорок третий» Науменко, «Кровь людская — не водица» Стельмаха, «Потерянный кров» Авижюса, «За чертой милосердия» Гусарова, «Нагрудный знак OST» Семина... А если называть тех, кто помоложе и кто достойно продолжает эту линию, — Распутин, Чигринов, Адамчик, Козько... Нет, пора остановиться, а то что-то слишком много братьев-белорусов оказалось в этом первом ряду.

Да и разве назовешь всех и всё, что именно потому стало искусством, что подержало в руках ту самую «большую ложку документальности»?..

И если кто-то сегодня или завтра решит, что пора ее гнать, документальность, так хоть бы спасибо сказали ей на прощание. Не навсегда расстаетесь, как бы после-завтра снова ни призвали ее, ни встретились. Так и бывает обычно в литературе — та самая «пульсация»...

Но вполне может статься, что на этот раз документальность уходить не собирается даже на время. В ближайшем или даже обозримом будущем не уйдет она, пожалуй, из литературы. «Пристяжная» документалистика не только не ленится, помогает тащить воз литературы, но на иных подъемах берет на себя основной груз. История XX века такое наваливает на литературу, что «художественная» порой уже и не знает, как к этому подступиться. Явно «негабаритные грузы». Вот тут-то и вытягивает ломовая документалистики... Так что есть, будет ей работа, даже если возникнут новые Шекспиров, Толстые, Достоевские. А что (чем черт не шутит!), если они возникнут, появятся, эти самые Шекспиров, в каком-нибудь документальном жанре? Они и здесь нужны — Шекспиров! Еще Достоевский вон что писал — о фактах, о «документах», предлагаемых жизнью:

«Действительно, проследите иной, даже и не такой яркий факт действительной жизни, — и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира»¹.

Даже вот так! Видите, по словам самого Достоевского, есть что делать Шекспиру и в документалистике. Если, конечно, «вы в силах и имеете глаз» — это уж обязательно, как и в любых иных жанрах.

Так-то надежнее: вместе с документалистикой, документальностью, опираясь на них, звать и дожидаться Шекспиров и Толстых, а не взывая, как критик делает: «Назад к вымыслу!» Где гарантия, что через этот завораживающий «высокий вымысел» литература продвигается к Шекспиру, Толстому, Достоевскому (как убеждает нас критик), а не (снова) к «Кавалеру Золотой Звезды»... Шекспир — эвона где! А это совсем близенько и дорога накатана...

Поэтому именно за нашим «круглым столом» умест-

¹ Русские писатели о литературе.— Л., 1939, т. 2, с. 200.

но бросать другие призывы: да не убоится документалистики любой профессиональный писатель, самый непрофессиональный!

Как не убоился ее Даниил Гранин и в итоге сделал, пожалуй, лучшую свою вещь — «Эта странная жизнь». Какой простор, разгон писательской фантазии, вымыслу давала судьба Клавдии Вилор — женщины, прошедшей «свою» войну, свою жизнь, как прошел когда-то Павел Корчагин. Писатель же увидел оптимальный путь, наилучшую точку приложения своего таланта, умения и на этот раз в документальности. И не ошибся — как свидетельствует художественный результат.

Документалистика с приходом в нее крупных писательских сил, талантов делается и будет делаться разнообразнее, богаче и по форме. И очень важно, чтобы документально-художественная форма не переводила «документ» в разряд беллетристики. На этом пути ей действительно не выжить рядом с полноценной художественной литературой.

У документалистики свои законы красоты и правды, свои преимущества, и их каждый должен отыскивать заново, а не брать напрокат у художественной литературы, а тем более у низкопробной беллетристики.

Я приводил уже примеры, прямо надо сказать, сердитые.

В заключение приведу пример обидный, воистину горький, потому что речь пойдет о честном литераторе, тем более что это женщина, да еще судьбы трагической, подвижнической. Прежде чем прочесть ее книги, я слушал ее устные рассказы — война глазами женщины. На этой войне она много раз была буквально иссечена осколками и пулями. От неуходящей боли спасается знаете как — рассказывала и сама смеялась? Очень любит, как всякая женщина, хорошую посуду, если болит так, что еще терпимо, берет тарелку похуже и бросает к ногам. Вторую... А когда невыносимо — самые любимые. Чтобы заглушить боль жалостью — такая тарелка, такая чашка была!..

Вы знаете, что такое санинструктор в танковой роте? Я не знал до ее рассказов. А узнал, стал еще сильнее испытывать чувство нашей «литературной вины» перед ними — перед женщинами, воевавшими наравне с мужчинами, а это — если учесть их психологию, их силы, их физиологию — означает, что они вынесли, испытали

более тяжелую войну, чем даже мужчины. Говоря о литературной нашей вине, имею в виду то, как женщина-фронтовичка изображается в литературе. Нет, чаще всего с симпатией, со святым даже чувством благодарности мужской за то, что подарила ему лучик счастья во тьме адовой, но я не знаю повестей, романов, где бы не мужчина, а женщина была в центре авторского повествования. (Один лишь Евгений Воробьев, добрая душа, пытается это делать, защищая наше рыцарское звание.)

И когда я слушал ту женщину о «ее» войне, подумал: вот кто мог бы сделать то, что не сделала наша военная, преимущественно мужская, литература! Рассказать, что такое война — глазами женщины. И чего заслуживает, какого отношения, какого поклонения она, прошедшая через войну. А то ведь мы знаем, помним и другое... Не эта, другая женщина-фронтовичка и через 20 лет плакала, когда рассказывала: вернулась с фронта к матери в деревню, все хорошо, все счастливы, пожила-погостила, мать и просит: «Уезжай, доченька, в город жить. А то младшим замуж выходить, а у них сестра — фронтовичка!...»

Ну да это — особая тема.

Так вот, оказывается, что оно такое, санинструктор танковой роты. Танки рванулись в атаку, и она, восемнадцатилетняя девочка, должна быть рядом, когда понадобится ее помощь. В машине место для санинструктора не предусмотрено: дай бог втиснуть всех стреляющих да ведущих танк. Вцепившись в железные крюки, распласталась поверх брони вчерашняя школьница, и одна в ней мысль — не о секущих осколках, пулях — о том, чтобы не затянуло ноги в гусеницы. И надо смотреть, не пропустить момент, если загорелся чей-то танк: добежать, поползти, взобраться и помочь раненым, обожженным танкистам выбраться наверх до того, как взорвутся боеприпасы... «Вам хотелось в танк спрятаться?» — «Нет, совсем нет, на открытом, на земле не так страшно!»...

Весь ее рассказ живой, непосредственный, без всякого сгущения красок, и без того густых, и с какой-то даже лирикой женской — она сирота и танкисты были действительно и братьями и семьей родной! — да перенеси она на бумагу, как я это слышал, каждый сегодня знал бы, искал, читал ее книги. Но вы, я уверен, их не знаете,

не читали. Потому что книги написаны — я прочел и с болью убедился — не по законам живого переживания, рассказа, а по беллетристическим канонам. Есть у нее и читатели, и однополчане довольны, и написано не хуже, чем в десятках других сочинений «на военную тематику». Но и затерялись они в безликом ряду документальной беллетристики — книги, которые могли стать событием, исправить «мужскую вину» всей литературы.

Случай довольно типичный. Но если иметь в виду автора, о котором я говорю, остается надежда, что здоровье позволит ей заново рассказать — на этот раз «документально» — свою жизнь и «свою» войну...

Да разве только они, женщины-фронтовички, ждут, что кто-то, отложив свои высокохудожественные вещи, кто-то неленивый и любопытный, придет к ним с магнитофоном? И не только о войне мог бы рассказать народ, если бы его всерьез расспросить.

Доклады принято завершать восклицательным знаком.

У народа нашего особое отношение к правде. Собственно говоря, любой народ боль от ран, наносимых историей, лечит правдой. Выражение: сыпать соль на раны — к этому случаю неприменимо. Правда снимает боль, зажатую, которая мучит и точит изнутри. Народ многое склонен простить, если ему вовремя сказать правду. Он и нам многое прощает, литераторам, — и наше не слишком заметное художественное разнообразие и философскую немощь, робость, если видит, замечает это — стремление говорить правду.

Этим, таким вот отношением к правде-матушке народ незримо воздействует на всю литературу, и в этом смысле он — соавтор всего значительного, по-настоящему правдивого, что было, есть, появляется в литературе.

Старозаветное: «Единожды солгавши, кто тебе поверит?» — документалисту следует помнить особенно крепко. Романист в одной главе может и погрешить против художественной правды, но если в следующей поразит нас правдой, мы его почти простим за предыдущее: ну не хватило силенок там, зато здесь!.. Совравший и уличенный документалист для читателя почти что лжесвидетель. Тут уже попробуй оправдаться!

Вот почему так непросто быть документалистом.

И вот почему так достойно для любого художника слыть документалистом.

ЧЕРЕЗ ГОДЫ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Творчество Янки Брыля, рядом с произведениями Аркадия Кулешова, Ивана Мележа, Максима Танка и других наших писателей того же масштаба и значения, — продолжает и обогащает белорусскую классическую литературу во многих отношениях. Много неповторимого в каждом из этих художников. А то, что их объединяет, — глубокая, подлинная народность их произведений.

Вырастал Янка Брыль как писатель на тропинках и дорогах, которые где сам выбирал, а где — для него и за него — выбирали время, история.

20—30-е годы. Возвращение семьи на Новогрудчину из Одессы, куда издавна на заработки выезжал отец и где Янка 4 августа 1917 года родился: сиротская жизнь и деревенские «университеты» в условиях включенной в состав панской Польши Западной Белоруссии, которые все же дали главное юноше — разумение самообразования как нравственного самовоспитания; сильное влечение, жажду — вырваться и увидеть далекий, другой мир, а вместе с тем на всю жизнь понимание, веру, что не затеряешься ни в жизни, ни в мире, если будешь знать, помнить, где *твой народ* (так, кстати, назывался один из вариантов романа «Птицы и гнезда»)... И одно, и второе, и третье — все сходилось в самом интимном, счастливом, тайном и таинственном занятии, ради которого, казалось, и родился — писать. Вначале, конечно, стихи, а также очень эмоциональные зарисовки из жизни — окружающей и своей, внутренне духовной («...не играю жизнью, а жить хочу, и жить разумно!»). Все это («Просто и ясно», «Приключения Тютика»,

«Сашка Лысый», «Хима») еще до рассказов, которые Янка Брыль считает началом серьезной работы («Марыля» — 1937 г., «Воры» — 1938 г.).

40-е годы (первая половина). Вырвался в «широкий мир», а точнее, выхватили юношу, оторвали от родных мест, от людей и тропинок своих и швырнули навстречу смерти, жестокости безжалостные волны второй мировой войны, которые все поднимались и катились от фашистского эпицентра Европы — на юг, на запад, на восток. Солдат польской армии, вооруженный пулеметом, Иван Антонович Брыль оборонял Гдыню, а затем, не по своей воле, отправился в «далекий мир» — совсем не тот, о котором мечтал с детства! — кошмарными милями, дорогами плена, которые пройдут вслед за поляками и западными белорусами миллионы людей из самых разных стран мира. Среди разноязыкого лагерного вавилона вновь почувствует себя солдатом, но уже не разгромленной армии, а той, которую разгромить нельзя, пока существует человечество. Не спесивого польского капрала, а совсем иной голос слышит будущий белорусский писатель, и звучит он не извне, а внутри — из души, из памяти. Повеление совести, которая требует одного: оставаться человеком и верить в человечность вопреки всему, потому что без этого мир и люди никогда не вырвутся из кровавой полосы своей истории. Пулемета не было в руках, чтобы защищать свое достоинство и то, что за спиной у тебя — других людей. Но оружие было не в руках, так в сердце, в памяти: все, что когда-то говорили ему, внушали, а теперь снова и по-новому повторяли те, кому верил с первой книжки — белорусской, русской, польской — и с первой собственной строки, написанной как бы вслед им... И самый близкий среди них — Лев Толстой.

Воля, как солнце сквозь тучи, звала с востока — оттуда, где остался его народ. Одна, вторая попытка побега из плена, и наконец осенью 41-го — дома! Родина, мать, возможность вместе со своими людьми бороться с оружием в руках против фашистского нашествия — это было бесконечной удачей и богатством. Наряду со счастливой возможностью вновь писать. Потому что эта потребность и работа не прекращались даже за фашистской проволокой. («Многое из начатого, — вспоминает Янка Брыль, — было не только выношено, но и «написано» в памяти. Его теперь надо было записать».)

И вот записывает, а также новое пишет, прячась от полицейского глаза и выполняя рискованные обязанности партизанского связного. Принес из плена (в памяти) и вот это — первые повести: «Солнце сквозь тучи» («записал», написал на протяжении 1942—1943 гг.) и «Живое и гниль» (1943 г.).

Через много лет на «фундаменте» этих первых повестей вырастет роман «Птицы и гнезда»...

40-е (вторая половина) — 50-е годы. Наконец снова обычная, не военная жизнь. После партизанского отряда, где были и жестокие бои, и рискованные разведки, и злободневная журналистская, а также писательская впрок работа. Но обычной та невоенная жизнь не казалась. Во-первых, потому, что ждали ее слишком долго и таким кровавым было ожидание. А во-вторых, для Янки Брыля это было еще и жадное приобщение к советской действительности, о которой столько слышал от земляков в немецком плену, а позже — вместе с другими партизанами — столько думал, рисовал в мечтах. Это было возвращение в объединенную Советскую Белоруссию. И тем самым — возвращение к России, такой близкой через Толстого, Гоголя, Чехова, Горького...

Но были и свои психологические, творческие сложности. Талант, который вырос на усвоенных, по юношески жадно, образцах подлинного реализма (русского, белорусского, польского, западноевропейского), оказался теперь перед непростым испытанием: это были как раз годы, когда в литературе начали проявляться тенденции к тому, что потом получило название «бесконфликтности».

Вот какой перепад — от одного к другому! А талант еще не успел набрать силу, запастись достаточным «иммунитетом» — тут недолго и потерять настоящие ориентиры. Советская литература — это Горький, Маяковский, это Купала, Колас, Чорный, это «Тихий Дон», «Василий Теркин» и т. п. Было у кого учиться. Но был еще и ежедневный литературный процесс, который некоторое время ориентировался совсем на другие образцы — на живых «классиков» «бесконфликтности». Не будем утверждать, что это никак не повлияло на новичка, на молодого прозаика Янку Брыля. И когда он переработал после повесть «В Заболотье светает», то делал это, видимо, с законным чувством, что выбрасывает не свое.

50-е (вторая половина), 60-е и 70-е годы для Янки Брыля и для всей нашей литературы — это движение ко все более осознанному назначению — быть правдивым голосом времени и своего народа и быть подлинным искусством. Обогатившись в первые послевоенные годы сильной, даже господствующей лирической интонацией, творчество Я. Брыля, однако, чрезмерно на ней замкнулось — на определенное время. И вот здесь наступает «размыкание»: не просто обогащение палитры художника (аж до публицистической сатиры — «Привал», «Субординация» и т. д.), но и все более решительный отказ от осознанного ограничения возможностей своего таланта (ограничение, которое декларировалось открыто: «Из дали лет позову только светлое»). Искусство всегда — это не только широта, но и ограничение: тот, кто не отбирает, тот фактограф, а не художник. И главный, а может, и единственно плодотворный критерий того, что следует, а чего не следует рисовать, давать в произведении — нравственный.

Бесконечно светлые детские произведения Янки Брыля — высокое искусство. Но и «Нижние Байдуны», в которых соли, соли — на десяток повестей! — также высокое искусство. Нравственной силы, которую писатель всегда черпал и черпает через свою близость к народу, хватает и на это. На это и на многое другое еще хватило бы. Именно нравственность таланта Брыля, органическая, изначальная, — предпосылка того, что нет и не может быть для этого писателя тем, «материй» слишком низких или чрезмерно жестоких. Многолетняя работа над коллективной нашей книгой «Я из огненной деревни...» еще больше расширила в этом смысле диапазон таланта и творчества Янки Брыля. Пройдя по дантовым кругам хатынской памяти народной, еще больше станешь ценить светлое, доброе, детское в жизни. Но уже и *то* будет стоять всегда — за всем, о чем бы ни писал. Так оно и есть — в новой его повести, последней по времени, — «Рассвет, увиденный издалека». Все сошлось здесь, хотя автор ограничивает себя только детством — вечным, как жизнь на земле. Но это уже совсем не то: «позову только светлое»... Хватает и светлого — дети же, детство! Все простенько, по-брылевски лирично и щемяще. И по-новому трагедийно: здесь вся драма жизни человека на земле. Солдаты первой мировой войны братаются, потому что поняли люди... И ничего не

поняли, потому что вон как весело им науськивать сироту-«казака» на сироту-«немца» — этим оканчивается повесть. («Только тот дикий хохот помнится. И плач. Беззащитный, беспросветный».)

Читая рассказы, повести, романы Янки Брыля, его путевые очерки и статьи, вновь и вновь обзревая вечно молодые, веселые подлески его миниатюр, думаешь о богатстве, которое принес этот писатель в нашу литературу. Богатство народных типов, подлинного белорусского языка, искренности, любви. Не нужно представлять, что выдающийся художник, о котором говорят «народный», — всего только «идеальный сверхпроводник» от народа в литературу, к читателю. Нет, он не только передает, но и вырабатывает, создает ту самую народность — талантом, совестью, трудом, всей своей жизнью в народе и с народом. Без белорусских классиков Купалы, Коласа, Богдановича, без Горцецкого или Чорного (если вообразить, что кого-то из них не было) и само понятие, понимание народности белорусской литературы было бы несколько иным. Беднее было бы. Талантом, красками вот этого писателя беднее.

Какие же краски народности добавил еще и Янка Брыль — после классиков? Собственно говоря, все лучшее, что собрано в его томах, — уже и ответ. Все, что, читая, мы принимаем как необходимое нам, без чего уже не представляем ни себя, ни белорусскую литературу. Как без «Новой земли» Коласа, «Полесской хроники» Мележа, «Знамени бригады» Кулешова... Единственное, что хочется к этому прибавить: после произведений Янки Брыля народность нашей литературы приобрела и большую определенность и большую широту: как никто, он ставит Беларусь, белорусское слово в широкий контекст человечества. То грустное «братание», которое столько раз кончалось новой, снова и снова, потасовкой человека с человеком, народа с народом (ради корысти немногих), перестало быть наивной мечтой. Оно стало необходимостью, потому что человечество и каждый народ, конечно же, хотят жизни, а не всеобщей гибели. К этому зовет и белорусский писатель Янка Брыль — всеми произведениями своими и от имени не слабых, а сильных, мужественных, тех, кто показал, как человек может бороться и гибнуть за себя и за других.

ОТВЕТ НА АНКЕТУ ИЗДАТЕЛЬСТВА «КНИГА»¹

Отвечу на ваши два обобщенно сформулированных вопроса: а) от жизни к книге; б) жизнь книги.

Вы спрашиваете: «Кем встретил войну?»

В 1941-м мне было 14 лет, и, конечно же, я «встретил войну», вооруженный школьным оптимизмом и всезнайством: да у нас, да мы их!.. А на шестой день наша Глуша уже увидела их: совсем как в недоумевающей песенке Высоцкого, которую он сочинил для фильма «Война под крышами»: «Мы их не ждали, а они уже пришли...» До старой границы 100, до новой все 300 километров было от нашего рабочего поселка. До Москвы — прямо по «варшавке», заасфальтированной перед самой войной, — оставалось менее 700... Для живущих вдоль «варшавского шоссе» цифры эти, чернеющие на круглых километровых столбах, — такие привычные с самого детства. Теперь они ошеломляли, пугали.

На Березине фронт не удержался, зато на Днепре стоял месяц, но затем снова непонятно и страшно покати́лся на восток. За себя, за свою Глушу даже испугаться не успели. Зато страх, тревога за Москву не покидали ни на минуту, все нарастали. Это был страх потерять все — не просто жизнь, а именно *все*. Расхожее, стертное выражение: «враг замахнулся на само будущее» тогда было чувством самым непосредственным, тоскливо реальным, щемящим. Почти незаметно для самих себя стали делать то, за что в немецких приказах обещали только одно: «расстрел». Не было городка, поселка, да, пожалуй, и улицы в Белоруссии, где не было бы свое-

¹ 1978 г.

го подполья и «молодых гвардий». Хотя далеко не все себя называли так: просто подкармливали с риском для собственной жизни военнопленных и не могли не делать этого, когда увидели невообразимую лютость голода и непонятную даже в «чужинцах» человеческую жестокость. Собирали оружие — а как его не собирать, если валяется на каждом шагу! С радостной, даже счастливой готовностью отзывались на «голоса из леса», где застряли «окруженцы», которых как-то незаметно стали называть партизанами. Вот так и наша мать занесла в лес первую корзинку медикаментов. Это был сентябрь — октябрь 41-го. Распираемая колоннами машин, предательски устремленная к Москве наша «асфальтка» гудела не переставая днем и ночью и все удлинялась с «немецкой стороны». Но, вопреки всякой очевидности и даже «наглядности», само существо твое ждало, требовало, чтобы это наконец кончилось и все переменилось. И когда свершилось под Москвой, было ликование, самое великое за всю войну. Чего не было, так это удивления: можно было подумать, что под стенами столицы всего лишь осуществили план, отлично разработанный в Глуше. Убежденность, что немцам быть битыми, настолько распирала, что, помню, я поделился ею с немецким офицером, которого вселили в наш пришоссейный дом. Он по карте объяснял нам, как все у них точно распланировано и хорошо идет: «Москау капут... Япония вступает в войну...» Всех нас опередил глухой дедушка. Глухой-глухой, а про Москву расслышал и громко откомментировал: «Зарано пташечка запела, гляди, чтоб кошечка не съела!» Вот тут и я выпалил свое — про Наполеона, конечно, как ему далеко и неудобно убежать было...

Офицер хоть и помрачнел сердито от такой наглой уверенности старых и малых «в своей победе», но повел себя не как эсэсовец, а по-интеллигентски: больно постукал согнутым пальцем в мой лоб, как в деревянное что-то, и не то предупредил, не то пообещал: повесят, повесим...

Впрочем, я уже «Войну под крышами» пересказываю, но это потому, что роман довольно подробно «пересказывает» мою и Глуши моей память. «Записал» я себя в своей наивно объемистой диалогии столь же «дословно» и тщательно, как потом мы записывали рассказы белорусских и ленинградских женщин.

«Хатынская повесть» писалась несколько по-иному. С большим использованием «чужого» опыта и впечатлений других людей. Но память эта особенная — людей из Хатыни. Она и твою поднимает, во сто крат обостряет — будто заново возвращаешься прямо туда, в войну. Такую память Даниил Гранин сравнил в новомирской статье с документальной кинолентой. В «Хатынской повести» меньше лично испытанного, чем в дилогии «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой». Но иллюзия такова (судя по критическим статьям), что как раз больше. Просто сила народной, хатынской памяти оказалась столь взрывной, что от нее «детонировала» заново и собственная, личная память. А следом — и воображение.

Литература давно зафиксировала и утвердила взгляд на военный быт именно как *быт* — и это было открытием необходимейшей правды о человеке на войне. Правда эта не отменяет и не ограничивает другую, а именно ту, что на войне быт и бытие, забота о насущном и мысль о «вечном», как нигде, сходятся, сближаются. Живя военным бытом на самом рубеже жизни и смерти, человек вынужден решать — в чувстве, в мыслях, в поведении — самые что ни есть проклятые, вечные вопросы. Даже если не хочет, не привык, не умеет, не способен.

Умный, испытавший войну сполна писатель утверждает: человек хотя бы единожды убивший — уже не прежний, уже другой человек. Даже если на войне, на справедливейшей из войн убивал. Так, видимо, и есть — в принципе. И если я тут же все-таки выражу с этим несогласие — как с истиной всеобщей — то лишь потому, может быть, что из себя себя не видишь. Сам не видишь, каким ты стал.

И все же хочется сказать, что не так абсолютно все. И даже не так все трагично, хотя чего-чего, а трагизма хватает там, где война. Когда я писал дилогию о Толе Корзуне, я почти стенографически пытался восстановить свою память о чувствах и мыслях подростка, юноши, которого убивают и который убивает. Когда это занятие, состояние — убивать, умирать было, стало по сути дела самой формой существования миллионов людей. Мой Толя, пережив многое и даже убивая, тем не менее не утратил юношески лирического взгляда на мир. Все еще влюбленное отношение к жизни вынес он из всех испытаний. И он, по моим наблюдениям, никакое не

исключение. Я с понятным любопытством, как дети детей или собаки собак, сразу замечал «своих», т. е. одно-годовалых, и наблюдал многих. И даже не возраст тут главное, а вообще таящийся в человеке запас прочности. Защитный механизм психики — чудо живой природы, которое сохраняет (и сохранило!) человеку его лицо. Лицо в переносном, но и в прямом значении: да если бы все «знаки» от пережитого и увиденного за тысячи лет на человеческом лице отпечатались, какая это была бы маска жестокости и боли!

Я очень люблю «Ивана» В. Богомолова, так же как и до времени повзрослевших детей из рассказов А. Платонова, которых сделала такими война. Гюго, Достоевский, Кузьма Чорный — сколько было их, великих художников-гуманистов, до глубины сердца потрясенных и нас потрясающих образами детей, у которых отнято детство, которых жизнь превратила в невыносимо мудрых старичков. А дети блокадного Ленинграда, которым приходилось заново учиться смеяться и даже плакать учиться! Как страшно сама жизнь подтверждает правду искусства, которая могла казаться (и некоторым критикам казалась) лишь заострением художественным. Но, написав это, я снова хочу оспаривать любую претензию (если бы она прозвучала) эту правду абсолютизировать. Хотя бы потому, что знаю про пятнадцатилетнего, которого война и немецкие зверства ожесточили до такой степени, что, когда пуля раздробила ему голову, взрослые с виноватым чувством, но признавались, что испытали что-то вроде... (хотел сказать «облегчения», но не решаюсь). Все как будто бы выход в этом увидели. Страшно было представлять, как бы он жил, этот паренек, для которого возможность убить стала не то что необходимым, но даже сладостным занятием...

Так вот, даже при этой, при такой крайности ожесточения (почти болезни) паренек оставался веселым, живым, озорным — мальчишкой оставался. В «обычные» дни. Озорничал, смеялся громко и беззаботно, надоедал всем детскими выходками. Когда после войны я увидел «Иваново детство» Андрея Тарковского, вспомнил я этого паренька. Реальных подростков, своих одногодков вспомнил. Они не мешали мне оценить фильм: ведь это и о них, с таким уважением, рассказывалось. Но знающе посмеивались где-то там, в памяти: и они и я сам, мы знали, что не удержалась бы долго

на их живых лицах такая, как на Иване, трагическая, постоянно трагическая маска. И смеялись, и дурачились они там — на войне, в партизанах — как и положено им по возрасту, а может быть, даже чаще и безудержнее, чем когда-либо. А ведь убивали — и они и их.

Но вернемся к мысли, утверждению, что единожды убивший не может остаться прежним — в лице, в глазах, в «натуре» его что-то резко сдвинется. Мысль в высшей степени гуманная и даже нужная. И все-таки вся правда не менее нужна и важна, а она, мне кажется, не укладывается, не вмещается в формулу эту. То, что я расскажу, всего лишь «мой случай», возможно, ничего не опровергающий и ничего не доказывающий. Но я и хлопочу здесь о том лишь, что вот такой случай, например, не вмещается, не помещается... Ведь мне предлагают проследить путь от вполне конкретной «жизни» к вполне конкретным «книгам» — тут важна прежде всего точность и конкретность.

Всю жизнь болезненно помню, мучит меня факт биографии: я убил слепых котят! Известно, как просто когда-то решался вопрос с «лишними» котятами (не знаю, как сейчас его решают) — в воду или зарывали в землю. И я однажды согласился это сделать, и сидит во мне ноющее воспоминание, как нес я их, с какой внезапной злостью все проделал (на них же озлился — за то, что они такие беспомощные и что их так жалко!).

И еще знаю, помню, что я убил (или по крайней мере тяжело ранил) двух человек: немца-жандарма и власовца, но присутствует это воспоминание глухо, ничего во мне не задевая — как-то изолированно от моего существа. Если бы точнее звучало и не так громко, можно было бы сравнить это с тем, как организм изолирует засевший в тканях осколок — заключая его в капсулу из солей. В романе «Сыновья уходят в бой» я подробно, из собственной памяти записал чувства паренька, который целится в идущих через поле двух власовцев — то в одного, то в другого, по очереди. Выбирая, которому умереть — высокому или тому, который пониже. Ничего больше о них он не знает. Если не считать, что знает главное для того времени: это враги, такие же, как и немцы!.. (А в деревнях наших вам сегодня скажут многие, что «бобики» были похуже некоторых немцев.) Или вот эти с большими медными бляхами на груди — тоже двое, сидят на передней повозке (через три дня после

власовцев) — в кого бы ни выстрелил, убьешь врага, который пришел, чтобы убивать тебя, всех твоих, всех наших...

Котята нет-нет да и царапнут живую память, что ты *убил человека* — нет, не осталось такого чувства. Не люди они были для нас, не вернулись к человеческому образу и десятилетия спустя. Для точности отмечу, что я не рассмотрел тогда, в торопливом ознобе, ни глаз, ни лиц человеческих — лишь цвет, лишь форма мундира... Максим Царик, наш зычный командир роты, после той засады на обоз жандармов требовательно спрашивал: «Нет, говорите: сто убили?» Нам тоже хотелось, чтобы побольше, но «сто» — это было заведомое очко-втирательство (говоря сегодняшним языком), и мы скромно, но с удовольствием, что это тоже немало, называли: «человек 20—25». Но слово это — «человек» по отношению к фашистам употребляли чисто механически. Не человека — фашиста убил ты, а потому мало что сдвигалось в тебе, мало что менялось в человеке убитом. (Конечно, нам повезло в том смысле, что и тридцать пять лет спустя мы знаем, видим, что мы стояли на стороне жизни, справедливости — против самых жестоких врагов жизни и человека. Слишком часто бывало в истории, что тот же механизм «военной психики» — умение не видеть человека в противнике — использовался силами зла. На это ставку делал и фашизм, когда внушал немцам, что все другие народы — «термитоподобные», «недочеловеки».)

Когда я писал «Хатынскую повесть», когда собственную память, военные переживания, хотя и жестокие, но в то же время и юношески легкомысленные, когда все это безжалостно протаскивал сквозь ад хатынской памяти белорусских деревень (мы снимали, записывали для документального кино рассказы выживших женщин, мужчин), я уже не мог оставить своего Флеру Гайшуна столь же наивно лирическим, каким был в партизанской диалогии Толя Корзун. В «Хатынской повести» и судьба другая, и интонация. Но и растворять в глобальном трагизме или «замораживать» юную душу мне тоже не хотелось. Наоборот, даже получилось (непроизвольно), что «вымороженным» Косачем отделил «душу живу» Флеры. «Защитный механизм» психики во всю силу работает в юном Флере. И это не мое художественное своеволие, а как раз сгусток живых впечат-

лений, полученных на войне. На Флеру столько всего обрушилось, что впору с ума сойти, но он держится, и потому держится, что человек умеет не все впускать в себя...

«Документ, память, воображение... Делались ли на войне какие-то записи?» — интересуется «Анкета».

Пришел в лес в партизаны с «Пушкиным» и «Толстым» (тайком вынул из чемоданчика, который мне поручено было нести, буханку хлеба и втиснул книги, самые нужные, как мне казалось, партизанам). Тетрадки же со своими стихами не прихватил — значит, не думал, что стану там писать. Но самопишущую ручку взял, даже заправил синими чернилами. (Помню, как окрасили они полу моего пиджака, когда в первом же бою с напавшей на партизанский лагерь эсэсовской «ягдкомандой» отбилась от своих и уже ждал, что обнаружат меня в кустиках близко перекликающиеся немцы и убьют. Я запомнил эти чернильные пятна на кармане пиджака потому, что подумал: когда «все произойдет», на пиджаке появятся еще и красные пятна.) Праздную ручку эту я потом легко и радостно обменял на две обоймы патронов.

И все-таки потянуло записывать, но это уже через полгода: к тому времени всласть настролялся, находился, набылся в партизанах и партизаном, и захотелось, очевидно, «остановить мгновение», хотя прекрасным оно едва ли представлялось. Сидя возле постреливающей на загнетке смоляной лучины, дневаля, пробую писать карандашным огрызком на каких-то случайных листках: день, час, деревня (Крюковщина Глусского района), возвращаемся от «варшавки», хлопцы спят на голом полу, бормочут, яростно чешутся, вчера было то-то, а месяц назад... Начал, но скоро бросил это занятие с чувством человека, который барахтается среди моря, не зная, где берег и выплывет ли, а сам хочет запомнить цвета моря и неба, себя в эти минуты и пр. и пр. Выживешь, тогда и будет все, а теперь... Помню ведь, что в эти именно дни в той же Крюковщине проверял себя на мысли (и запомнил ее и действительно записал — но уже после войны), на такой вот мысли: а что, если бы пришел кто-то и спросил: «Хочешь, согласишься неделю-две прожить, гарантированные

10—15 дней, как до войны, но потом умрешь?» И я соглашался. Всмотривался в себя и видел: согласен! Но тут же выторговывал себе деньков десять лишних и считал, что здорово выиграл бы, потому что без такого «уговора» и десяти дней не проживешь: скольких ребят, которые позже тебя пришли в отряд, уже убили!..

Господи, как мы бесились, студентами будучи, в сорок пятом, в сорок шестом от постоянно длящегося чувства, что живы, и теперь надолго! Полуголодные постоянно, на шестерых жильцов нашей комнаты не доставало трех рук и одной ноги, но таких неутомимых жизнелюбцев-буянов, не злых, симпатичных, мне видеть больше не доводилось.

Когда встречаемся сегодня: кто завкафедрой, кто литератор, а один даже президент Академии наук — всегда смешно и чуть-чуть грустно знать, что это мы и есть...

Записывать начал где-то в 1948-м. Но сразу же стали мучить сны, что не смогу, что-то не успею, что-то мешает (не то новая, не то старая, возвратившаяся война). Отзывалась во мне эта работа, эти первые записи военной памяти каким-то сдвоенным чувством: острота воспоминания, еще свежего, и острота радости, что я «пишу». Нет, не думал, что роман сочиняю, но что «пишу» — уже это переполняло. И до того это было всерьез (не по результату — по чувству), что даже организм как-то странно отреагировал. Долго не могли врачи определить: не то туберкулез, не то «вегетативный невроз» — отчего так потеет этот румяный студент, просто купается в поту? А что бывают и такие симптомы начинающегося заболевания литературой — этого не знали. (Зато потом, когда мы документально записывали чужую память, намного острее моей, болезненнее, я уже знал, как с этим надо обходиться осторожно — если это память военная. А тем более хатынская или блокадная.)

Так что писать начинал с искренним, даже наивным переживанием самого занятия этого, но когда тайна моего писания обнаруживалась, вел себя, прямо надо сказать, предательски по отношению к своей «литературе». Бывало, что друзья-аспиранты находили очередную мою тетрадь, и как им было удержаться, не присочинить что-либо от себя? Дописывали к моим описаниям и диалогам свои, да такие, что ржание неслось из нашей комнаты. И слышнее всего, говорят, было ржание Ада-

мовича. Но не изображать же всерьез из себя обиженного писателя! Встречает хлопцев профессор, мой научный руководитель, интересуется своим аспирантом. «Да он все романы пишет!» — отвечают. «Неужели? А казалось — неглупый парень».

Как писать — об этом не задумывался. Не писал — записывал. Хотя почему-то все в третьем (в «романном») лице: он, Толя... Но о «романах» всерьез не помышлял. Просто для себя, чтобы не было так, будто ничего и не было: ни переживаний, таких неожиданных, открывших ранее незнакомые закутки твоего существа, ни погибших хлопцев, которых, думалось прежде, так будет недоставать живым, но оказалось, что их отсутствия счастливицы просто не замечают. А в моих записях они есть, они вроде бы продолжают быть...

Литературу, писателей — настоящих, т. е. не таких, как я, уважал страшно. Но только не там, где они рассказывали о партизанах. Несогласие промелькнуло еще в войну, когда к нам прилетел «живой писатель» и засел в деревне, по нашим понятиям «тыловой», шагу не сделал, чтобы самому что-то увидеть, испытать. Конечно, так думать было несправедливо: человек сделал «шаг», и немалый, — сотни километров пролетел навстречу опасности, таинственному и тревожному миру оккупации, и его ли вина, что он просто не догадывался, что из тыла попал в тыл, что в наших условиях 10, 5, 3 километра — уже глубокий тыл, откуда «самую правду» так же сложно разглядеть и оценить, как и за 500, 300 километров. На войне достоверно лишь то, что испытал сам: Хемингуэй не зря говорил, что личный опыт для пишущего о войне ничем не восполним. Нет, я трепетно думал о рядом появившемся «живом писателе». Но обидно было, что ходят к нему самые что ни есть трепачи, побасенки, будто из газет вычитанные, рассказывают, а он слушает и радуется. А потом они, и Вася, и Петя, уже нам рассказывали, как «заливали писателю», зарабатывая «казбечину» и право причаститься рюмочкой «московской».

И вот стали в нашей послевоенной литературе появляться все новые рассказы, повести и даже романы о партизанах, а меня преследовала мысль, что это все «он» тогда записал, написал — со слов дурашливо серьезного Васи или Пети, которым всерьез поверил. Были и другие книги, появлялись, они так не оскорбляли чувства прав-

ды скучно-розовым сочинительством. Но таких было гораздо меньше. А те, те не только сами не помнили, как оно было на самом деле, но и от других, от тебя как бы требовали — забыть. И вроде бы действительно твое не настоящее, а то настоящее, потому что оно существует — вот она, книга! Но и твое хочет существовать, хотя бы в записях, никому не ведомых. Вот и писали мы — не я один, конечно. Потом был XX съезд и то, что ему предшествовало. Много сдвинулось, перевернулось, стало смотреться и оцениваться по-иному — и в жизни и в литературе. А у тебя что-то есть, лежит. Но что, чего стоит это — ты не знаешь.

— Что ты все там пишешь, прячешь? — однажды поинтересовался товарищ мой, поэт начинающий. Ладно, покажу, все равно он пьян, завтра и не вспомнит. Послушал несколько страниц и даже сказал: «Посоливиши, есть можно». С этого начал смелеть, на других испытывать стал, пока не попала машинопись в редакцию журнала «Дружба народов»...

Писал я свою дилогию о партизанах 15 лет, сначала страницы, которые потом вошли во второй роман, потом — для первого романа, пока не понял на каком-то (седьмом или восьмом году), что же я пишу. А тем временем чем только ни занимался: диссертацией, критикой и даже киносценариями. Только в свое главное никак не осмеливался поверить.

Эти пятнадцать лет записывания, собирания своей памяти в большущий роман имели потом значение и для «Хатынской повести». Ведь перебрал день за днем, а где и по мгновениям, оценил стилистически (что серьезно, а что и с иронией) всю войну — как я сам ее пережил. И тем самым освободился от неодолимой потребности рассказать сразу *все* (по принципу: *этого, об этом никто еще не писал*). После романа «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой» я уже мог не тащить в «Хатынскую повесть» все, что знаю и «о чем не писали». Тем более что к этому времени (после «Асии» и «Последнего отпуска») ощутил удовольствие писать лаконично, плотно, прессуя слова мыслью.

Недавно нашел первый черновик «Хатынской повести», помеченный 1965 годом, называлась она еще «Власть власти». Хатынь вообще не присутствовала: просто едут люди в свой края на партизанскую встречу. В автобусе том и бывший командир — не самый прият-

ный для бывших партизан и даже не самый уважаемый человек. Хотя ведь помнят, что слово его, одобрение или неодобрение на лице, в глазах могли заставить пойти и на смерть. Да, это будущий Косач, но писался этот образ «разоблачительно». Косачевской трагедии я еще не видел, не ощущал. Но вот возникла, появилась рядом (в том же автобусе) еще одна фигура — Столетова, и будто промокашка сняла, забрала на себя все лишнее, всю черноту с Косача. А Косач стал проясняться совсем в другой образ — трагедийный. (И так вот случается при писании, а почему — сам не знаешь.) Тем более что к этому времени прототип появился, нашелся (вот так — не сразу, а после) и наложился на вымышленного командира. Это когда уже ездил в 1968 г. с киногруппой по «бывшим деревням» и там пришлось разговаривать с председателем колхоза, брат которого партизанил, командировал в той же местности.

В деревне этой (Брицаловичи Осиповичского района) стараниями председателя поставлен памятник сожженным людям, пожалуй, после Хатыни самый значительный из всех, которые довелось видеть. Но я понял, что брат председателя, партизанский командир, так и не приезжал сюда ни разу после войны. Я ничего о нем не знал, кроме того что воевал он крепко, зло, хотя защитить Брицаловичи или спасти брицаловичевцев не сумел (или не смог). Не о нем — о себе подумалось. А ты на его месте приехал бы, приезжал бы сюда?..

Словом, прежний командир и публицистически разоблачительный пафос постепенно стали неинтересны самому автору — как только возникла тема «бывших», «убитых» деревень. Тема эта такое вовлекала в орбиту повести, такие вечные проблемы, вопросы, что уже никак невозможно претендовать на «исчерпывающие» ответы. Потому что и человека, если всерьез о нем говорить, «исчерпать» невозможно. Человек — тайна, написал осужденный на каторгу молодой гений Достоевский, и задача в том, чтобы разгадывать ее всю жизнь...

К «Хатынской повести» шел и пришел под действием разных толчков — изнутри и извне. О всех помнить и даже знать, по-видимому, невозможно, назову лишь некоторые.

Была поездка в деревню Ковчицы — в места, где недалеко от Березины отряд наш когда-то вел бой с не-

мецкими фронтовыми частями. Засев в дзоты, окопы, которые отбили у полицаев, партизаны продержались с утра до вечера — с двумя ПТР против танков. Некуда было отступать: родная стихия — лес «отгорожен» был от нас двухкилометровым чистым полем. Но вечером выстроившиеся в ряд танки уже низали нас, отступающих к лесу, на огненные трассы пуль... И вот в 1966 году приехали мы открывать памятник 80 партизанам, здесь погибшим. Участвовали в открытии, конечно, и жители деревни, среди них было всего лишь несколько женщин, которые в тот декабрьский день 1943 года находились в Ковчицах. Потому что жителей немцы, ворвавшись в деревню, перебили. Уже не смотрели, чья семья партизанская, чья полицейская, — всех. Одна из уцелевших женщин стала рассказывать, как их гнали к канаве, где уже лежали расстрелянные, как ее с сынком и других, кого поймали, всех уложили, будто поленья, на убитых «и тоже убили из автоматов». И начали наваливать солому, чтобы сжечь трупы, а она все слышит: «Думаю, это ж я мертвая, а все понимаю...» Поискала рукой своего мальчика под соломой, а он теплый, живой. «Это ж он угрелся на крови и заснул!» (Потом нам многие рассказывали, что «спать хотелось»... Все тот же «защитный механизм», спасающий от безумия.) Разбудила сынка (все это под соломой, которую уже подожгли с краев) осторожненько, чтобы только не испугался, не выдал себя: «Сынок, ползи, за мной ползи». И как-то выползли, за дымом до леса добрались...

У меня была любительская кинокамера, снял я и рассказывающую женщину из Ковчиц, а когда увидел ее лицо, глаза на домашнем экране, понял, как я буду писать свой «Автобус». (Одно из первоначальных названий «Хатынской повести».) О чем и как. Для начала сочинил и подал на белорусскую киностудию сценарий документального фильма, назвав его по статье, как раз появившейся в «Правде» (Фролова, кажется, статья). Назвал «Двести Лидице». Двести их, белорусских Лидице, или сколько — не знали точно ни автор статьи, ни я. Да и вряд ли знал кто-либо в те 1966—1967 годы. Хотя, казалось бы, сколько лет уже минуло после окончания войны. Даже мемориал Хатынь закладывали вначале под 119 деревень — «уничтоженных с людьми и не восстановленных». (Только о «невосстановленных» собрали сведения по районам, но «восстановленных» и, тем не

менее, все равно убитых — было во много раз больше!) Сегодня и тех и других в Хатыни значится 627. Но и это лишь самые массовые трагедии. За этой цифрой — еще более 4000 (тысяч!) белорусских деревень, испытавших карательные акции фашистов, сожженных деревень, большинство жителей которых сумели спастись (или их выручили партизаны). Во всех местностях Белоруссии это творилось, и везде немцы свои «акции», «экспедиции» старались изобразить как ответ на действия партизан, как «борьбу с бандами». Убьют, сожгут в церквях, амбарах, сараях тысячу, две, три тысячи женщин с детьми, а в донесениях «наверх» (согласно инструкциям, полученным оттуда же, «сверху») сообщают о потерях «партизанских банд». Геноцид, заранее распланированный, прятали за ложью и лицемерием: истребляли мирное население, чтобы «снизить биологический потенциал славян» и других народов, но проделывали это с обиженной миной: как же, «незаконные действия партизан» мешают им налаживать «мирный быт населения». Не желают люди ни на западе, ни на востоке — вот и в этой Белоруссии, расположенной к тому же на стратегических путях к сердцу Советской России, — не согласны «мирно» дожидаться, когда придет пора «окончательного урегулирования». Т. е. когда, разгромив армии главных противников и вызволив необходимые силы и средства, фашистская Германия займется «дальними целями»: окончательно «разгромит русских как народ». «Разгромит» белорусский, украинский, польский и др. народы — все тем же способом: массовым истреблением мирного населения, голодом, онемечиванием.

И не только «восток» ждала такая судьба — согласно нацистским планам. Первые зондеркоманды, айнзатцкоманды, убивавшие белорусские деревни, переместились сюда с берегов Ла-Манша. Сначала нацелились было на Англию и, конечно же, рассчитывали попасть туда рано или поздно — поднабравшись кровавого опыта на востоке. Для оккупированных стран Востока существовало два «плана Ост»: «Большой» и «Малый». «Большой» — когда придет время «окончательного урегулирования». Но в Белоруссии «выведенные из терпения» заправилы «третьего рейха» уже в 1942 г. фактически запустили в действие «Большой план»: перешли к поголовному уничтожению населения

на обширных территориях, в десятках деревень подряд. Ну и, конечно, действовал «конвейер» многочисленных концлагерей.

Народ наш не собирался сдаваться: партизанские армии выросли в огромную силу, истребившую полумиллионную армию фашистских убийц, партизаны беспощадно громили немецкие тылы, парализуя коммуникации врага.

Но об этом литература наша писать, рассказывать стала сразу же. Звучала и тема «убитых деревень», но не напрямую, а как сопутствующая (в романах К. Чорного и И. Шамякина, в рассказах, повестях Я. Брыля и др.). Память о самых трагических, невыносимо жутких событиях жила, продолжала жить в народе, она, как электричество, копилась и в литературе. Да и наша личная память тревожила, подсказывала, требовала. В диалогии своей я тоже пытался заговорить об этом, но все еще с недостаточной мерой боли и понимания. А ведь помнил и я. И даже кое-что сам пережил.

Тяжелого, трагического в войну хватало на каждом шагу. Но и сейчас помнится то чувство, с каким — слышал — говорилось: «Немцы выбили Парщаху», «Сожгли Белые, с людьми», «В Каменке немцы всех выбили». Это «всех», это «выбили» холодило кровь и душу. Что-то запредельное, тайно нацеленное угадывалось в этих акциях, что уже никак не диктовалось конкретной обстановкой, хотя немцы и их «бобики» — полицаи, конечно же, старательно сваливали всю вину на партизан.

Дошла было очередь и до нашего рабочего поселка, до нашей Глуши. Никаких особо заметных диверсий против немцев в эти летние дни и недели 1942 года в Глуше не случилось: просто дошла очередь и до нас — в чьих-то «местных» планах и расчетах. Согласно фашистским «законам» такое решение принять мог и командир роты, капитан («гауптшарфюрер», если это эсэсовец). Из Бобруйска приехала большая колонна крытых машин, остановилась на шоссе напротив комендатуры, немцы (мы сразу настороженно отметили, что приехали эсэсовцы) пососкакивали и мирно расположились под соснами. Эти здесь, а другие тем временем, не доехав до поселка, слезли и уже окружали Глушу, «растягивали сеть». Словом, делали то, что до этого сотни раз отработано проделывали в других местностях,

с другими деревнями и поселками. Мы жили совсем на виду у комендатуры, но и она была у нас на виду. Мать тут же приказала: «Уходите на хутор к Лещуну, они что-то задумали». В этих случаях раньше всего думалось: будут хватать молодежь! И мы со старшим братом (и еще шурин, а также оказавшийся в доме соседский парень) ушли тут же, как уходили не раз. Топоры и пилу прихватили — будто по дрова. Всех, кто «пригоден» был для отправки в Германию, Глуша — как потом обнаружилось — попрятала, матери нас быстро спровадили: кого в лес, кого в погреба или в «каналы», которых много было под неработающим стекольным заводом. Нас отправили, а сами остались — наши матери, потому что оставались еще малые, старые. На возможную расправу оставались — и так бывало не у одного Флеры Гайшуна, и не его одного потом мучило безысходное чувство вины перед ними, принявшими мученическую смерть.

Когда согнали, собрали «всю Глушу» к огромному больничному сараю — в огороженный колючей проволокой двор комендатуры, — каратели увидели, что тут одни женщины, дети, старики. В других случаях, не обнаружив молодежи в своей «сети», они с тем большей яростью расправлялись с захваченными. Всех, кто попался, — в огонь, в ямы! То же самое проделали бы и с нашими родными, близкими, уже и приготовились, загнали всех в крытый соломой сарай. «Вначале плакали, кричали люди, — рассказывала назавтра наша мама, — а потом какое-то безразличие пришло. Лежали все кучей, столько нас затолкали в сарай, и молчали». Что в этот раз спасло людей, наших матерей от огня и страшных мук (а нас — от пожизненного казнящего чувства невольной вины), даже не знаем. Возможно, соображение, что две сотни убежавших молодых парней, если сжечь Глушу, — это уже партизаны. Или то, что Глуша расположена на шоссе и дома ее понадобятся для постоя. Говорили, что переводчик Бартель (он из местных немцев) все бегал, все отговаривал немецкое начальство. И, наверное, приводил те самые доводы. Одним словом, случайность сработала против «плана» — на этот раз, — но обычно побеждал «план». Так что и наша Глуша, и наши матери — с детьми, со стариками — побывали в «хатынском сарае». Вышли из него живые, хотя и почерневшие от пережитого (мы

с трудом узнавали их лица, глаза, когда вернулись назавтра из леса) — вышли, так и не понявшие до конца, что это было, что готовилось, происходило. Как не понимали, не могли, не в состоянии были понять и поверить многие, даже опаленные хатынским огнем. (В этом мы многократно убеждались, записывая потом людей для книги «Я из огненной деревни...».) Люди как бы отталкивали, отталкивают от себя такую правду — слишком тяжелую, мучительную. Вот и я, совсем непонятно почему и зачем, но и я в своем первом романе хотя и писал об этом (и в одном, и в другом месте романа), но все как бы спеша проскочить *это место*, побыстрее от него уйти... Да что я, или даже Брыль, Быков, когда и вся наша литература, если и затрагивала это, то лишь «по касательной». Кажется порой, что сама память нашей республики-партизанки долгие годы на этом боялась остановиться, задержаться — на самом болезненном и тяжелом. В белорусском календаре значился, отмеченный красным, «день трагедии чешской деревни Лидице». Свои Лидице мы не обозначали в календарях. Пожалуй, пришлось бы все дни года пометить красным. Но было в этом, сказывалось, возможно, звучало и такое: незачем о трагедиях, если такой массовый героизм проявили советские люди, белорусский народ! Как будто можно понять, показать, оценить героизм республики-партизанки, не зная, не показывая, какую цену платил, заплатил народ за свою готовность умирать, но не склонить головы. С этим и мы столкнулись, авторы книги «Я из огненной деревни...», даже в середине семидесятых, когда начали публикацию глав из книги. Редактору «Маладосці» нашему поэту Геннадию Буравкину и авторам книги пришлось выслушать и преодолеть немало опасно строгой и возмущенных претензий, и главная претензия: в книге жертвенность, а не героизм! Один так даже наших рассказчиц упрекнул в недостаточном «героизме поведения»: «Кто хотел найти путь к борьбе — находил!» Так и сказанул, блестя золотом очков, как сталью. Бог ему судья, дураку! Но ведь человек этот даже не понимал, куда он сам забрел — в своей уверенности, что ему все виднее. Ведь как старались каратели «обработать» каждую деревню «чисто»: чтобы ни одного свидетеля не осталось! По три раза в хату, в сарай возвращались, слушали за стеной: «не дышат ли», и снова приходили добивать. Так им не

хотелось, чтобы кто-то потом рассказал. И вот нашли, записали более трехсот таких свидетелей (к стыду нашему, лишь тридцать лет спустя), они заговорили, да как заговорили! («Не боролись? Да они и сейчас борются — словом, памятью своей!» — сказал один наш писатель.) Не дать им говорить, свидетельствовать — да это же для «тех», за «тех» стараться!..

Но были, нашлись люди, которые понимали, что память «убитых деревень» должна быть собрана и сохранена такой, какой ее сберег народ. Что она «не могла не быть собрана в книгу». И книга появилась, сейчас она заинтересованно переводится в других странах.

Но вернусь, согласно вопросу «Анкеты», к «Хатынской повести», которая предшествовала документальной книге «Я из огненной деревни...».

У повести было несколько названий: после публицистического «Власть власти», «бытового» «Автобус» и «Автобус идет через Хатынь» появилось «философское» — «Время камней» («Время собирать камни»). Но все эти названия обязывали, вынуждали определять еще и жанр: «роман», «повесть», а на это у меня «перо не поворачивалось». Рассказать, даже не рассказать, а дать выкричатся жестокой памяти Хатыней, и холодно написать, что это «роман», «повесть»?..

«Повествование», «быль», «Хатыни, о себе повествующие» — такой смысл в названии «Хатынская повесть». Логика заглавия, хотя и говорили мне, что слишком оно публицистическое, диктовалась тем не менее чувством. Чувством жестокой правды, с которой нельзя «играть в литературу». О «жестокости» повести говорилось (с пониманием) во всех без исключения откликах на ее публикацию (в рецензиях А. Бочарова, Г. Березкина, Д. Гранина, Г. Бакланова, И. Козлова, Л. Лазарева, М. Кузнецова и др.). Потому что такая степень «жестокости» нуждалась и в объяснении и в оправдании. Еще нуждалась.

А уж про книгу «Я из огненной деревни...» и говорить нечего. Свою рецензию в «Комсомольской правде» М. М. Кузнецов начал так: «Страшнее книги я не знаю...» Так что если и были завихрения и трудности с публикацией этих произведений, многое (хотя и не все) из временной дали видится почти закономерным, потому что в самой психологии нашей есть свои пороги. Автор

или авторы через работу, например, с хатынским (или блокадным, ленинградским) материалом пороги эти преодолевают тоже не сразу, но все же раньше других, а затем туда же тащат издателей, читателей, а тех естественно ошарашивает, поначалу даже пугает непривычно жестокая правда, с которой авторы уже «сжились». И необходимо время, душевные усилия, желание и способность сопережить, не щадя своей чувствительности, чтобы такую литературу принять. Хотя бы «по частям». Так и говорили, писали нам многие: «Не мог не читать, но и прочесть сразу не смог. Откладывал и снова возвращался».

И тут нужна своя практика — читательская, наряду с писательской. Только она в конечном счете покажет: что допустимо, а что нет, что нравственно оправданно, эстетически возможно...

Помню давний наш, во время поездки по Грузии, разговор с Даниилом Граниным: как показывать и нужно ли вообще раскрывать все пределы жестокости, с которыми мы столкнулись в годы войны? Я начал уже писать «Карателей», и мне было важно услышать мнение автора одной из самых жестоко правдивых наших повестей о войне. А несколько лет спустя мы вместе стали делать «Блокадную книгу» и уже на практике столкнулись с вопросом о нравственно допустимых пределах в раскрытии (или «сокрытии») всей правды, которую отдавали в наши руки блокадники, — правды, порой невыносимой и даже обидной для человека. Ведь не случайно люди так мало оставили писаной правды о трагедиях массового голода, непропорционально мало, если учесть, что значили такие трагедии и сколько их было за историю хотя бы нашей цивилизации. Человеку и человечеству свойственно не только помнить, но и стараться забыть. Пытка, унижение голодом не из тех событий, состояний, которые хочется сохранять в себе. Ведь бывает, что память такая смерти подобна, хуже смерти. И это не громкие слова, а вполне реальные ситуации. Вот как эта. Муж и жена (врачи) в голодном безумии... Словом, их расстреляли за трупоедство (если не хуже). Мы все же не могли не спросить: «Ведь они невинны были? Значит, неповинны». «Да, но их пожалели и потому расстреляли. Представляете: вернулась бы к ним память, сознание, что они сделали с ребенком своим!...»

Человеческое сознание — наше, сегодняшнее, — сталкиваясь с такой правдой, не может не пережить состояние, подобное шоковому. И вот решай: в пределах или «за» — такая правда, нужна, необходима она людям, даже если она и правда? И решают не только авторы таких книг, но и читатели, каждый в отдельности и все сообща — это мы ощутили по сотням писем, которые на дом (и через «Новый мир») получаем от блокадников и от «неблокадников». Большинство писем блокадников начинаются почти криком. Криком облегчения, даже какого-то освобождения...

«Я верила, я чувствовала, что такая книга, именно такая, когда-нибудь будет. Каждая строчка, каждое слово — все-все правда. Читала и плакала. Я многое помню, хотя мне и не верят» (Ковалева Ольга Демьяновна).

«Да, это страшная правда. Даже себе не веришь, что все это было с тобой» (Александрова Елена Николаевна. Ленинград, ул. Л. Чайкиной, д. 4/12, кв. 12).

«И даже уверенности не было, что это когда-нибудь найдет выражение, и вот теперь это произошло. Тяжело читать, тяжело вспоминать (я лишилась сна), но радуется, что это обнародовано и то, что люди представляли абстрактно, теперь узнают — истинно» (Блюхер З. В., Ленинград, проспект Металлистов, д. 83, кв. 99).

«Воспоминания и обиды ожили под влиянием опубликованных Вами блокадных материалов огромной впечатляющей силы. Таково мое мнение. Думаю, иного и быть не может. Ибо блокадники-ополченцы могут твердо сказать: все правда, все до последней буквы» (подполковник в отставке Кузнецов М. Г., Баку, проспект Строителей, д. 42, кв. 20).

«Тяжело было читать, два дня трясло, как в лихорадке, но я должна была ее прочитать... Мне даже легче стало на душе: наконец-то о блокаде, а значит, о моих родных и близких рассказана эта потрясающая правда, осмысленная и обобщенная» (Вовчар Екатерина Васильевна, Ленинград, ул. Литераторов, д. 15, кв. 21).

«Прочитав «Главы из блокадной книги», я буквально была выбита из колеи жизни. Волной захлестнуло меня то страшное далекое прошлое. Все опубликованные Вами рассказы блокадников правдивы. Да, так было. Было и хуже, всяко было... В свидетельстве о смерти моего отца написано: «Умер от физической и моральной дист-

рофии» (Кашкова Галина Николаевна, Челябинск, ул. Студенческая, д. 20, кв. 4).

«В записанных Адамовичем и Граниным рассказах бывших блокадников немало неточностей, ошибок памяти, случайных оговорок (например: «Пять углов — это угол Разъездной и Марата» вместо «Разъездной и Загородного», что известно каждому ленинградцу), но ни одной строки, ни одного слова лжи, никаких преувеличений...» (Рисс Олег Вадимович, Ленинград, ул. Фрунзе, д. 25, кв. 41).

«Не пишу о впечатлениях (их все равно не описать), а хочу только посоветовать: провести работу над книгой (или книгами?) о Великой Отечественной войне в той же, исключительно удачно найденной Вами форме. Дело это срочное — ведь через 15—20 лет участников войны просто не будет в живых» (доктор технических наук Раков Михаил Аркадьевич. Львов, ул. Ломоносова, д. 31, кв. 11).

Вот, заодно ответил и на вопросы «Анкеты»: «Как складываются Ваши отношения с читателями?.. Какие читательские отклики Вы получаете, их характер?»

Читатель видит, получает итог, результат. Но был еще и путь — порой сложный, неровный, с потерями.

В 1977 г., начав работу над фильмом «Убейте Гитлера» (экранизация «Хатынской повести»), мы с режиссером Элемом Климовым стали просматривать документальные ленты о Хатынях, в том числе и первую по времени — «Хатынь, 5 км», которую в 1968 г. режиссер Игорь Коловский делал по моей «заявке». Я удивился, а Элем Германович просто в ярость пришел: самое главное, ценное в фильме — голоса, рассказы людей из убитых деревень были приглушены, замазаны зудящим «кинематографическим» звуком. Откуда он, как появился? Удивился и я. Хотя сам участвовал в делании фильма — на всех этапах. И должен был помнить, что он не «появился», он б ы л, но прежде я его не слышал, а если и слышал, значит, соглашался, что он по крайней мере не мешает, а вроде бы даже «усиливает» — намекает на мысль о чем-то роевом, пчелином, потревоженном... В заявке, в сценарии этого не было, а потом родилось, возникло — из чего? И ради чего?

Да, что-то шло, исходило от самих авторов фильма. Но что-то и вошло в них, в авторов, — извне. В процессе

работы и трудного прохождения столь непривычного «материала». За фильмом этим еще не стояла такая работа, как «Я из огненной деревни...», как это было позже, когда о Хатынях делал документальные киноленты Виктор Дашук.

Первая реакция (очень многих) на наш с Коловским фильм (и даже не фильм, а «материал») была: исчезло время! Будто и не было послевоенных двадцати пяти лет. Сидит на скамеечке немой и «рассказывает» (руками!), как все было: как гнали, поджигали, стреляли из пулемета... Показывает на пальцах, что шестерых детей у него убили... Крик нутряной, глаза, лицо человека, который сам оттуда — из огня, только что, чудом вырвался!

Или женщина: зарывает или раскапывает что-то, в земле ищет или прячет (сняли мы ее прямо на огороде, картошку копала, в хату отказалась идти), руки, лицо, рассказ — и все о том дне, который для нее никогда не кончится...

Вопрос: «Где 25 послевоенных лет?» — звучал над Игорем Коловским не единожды. И тогда, видимо, появился зудящий, кинематографический звук, который должен был приглушить первую реакцию на фильм. Не приглушил. Судьба фильма Игоря Коловского «Хатынь, 5 км» сложилась не очень счастливо: несмотря на авторитетное одобрение Ромма, Кармена, Льва Гинзбурга и на диплом Оберхаузенского кинофестиваля, фильм старился в архиве.

А потом появились четыре киноленты Виктора Дашука (по книге «Я из огненной деревни...»), и они, подчеркнув значение именно простоты, которой первому фильму все-таки не хватало, еще глубже похоронили его. А мне его все жалко, наш первый фильм о Хатынях — ведь через него я шел и к «Хатынской повести».

Киногруппа снимала рассказывающих женщин в Брицаловичах, в Великих Прусах, в Борках Кировских, а сценарист смотрел, слушал и тоже записывал их рассказы — в блокнот, думая о повести. Сам же это дело заварил, но не очень полагался на кинопленку, которая где-то, у кого-то, в чьем-то ведении. Бумага — не такой дефицит, и, главное, она на твоём столе, в полном твоём распоряжении. Я благодарен и Коловскому, и его фильму, и тому времени, когда мы с ним ездили, записывали, снимали, соглашаясь и споря. Но в благодарности этой

заключено и чувство невольной вины: у повести судьба другая. Получилось, что сценарист «подстраховался», а у режиссера такой возможности не было. Хотя повесть не мягче, а как раз жестче фильма, но тут уже сработали преимущества бумаги перед кинопленкой. Что они, эти преимущества, не придумка моя, подтвердила и наша с Элемом Климовым попытка экранизировать уже «Хатынскую повесть». Оказалось, что даже при таком перво-классном варианте, как режиссура Элема Климова — автора «Агонии», кинопленка не терпит того, что вполне терпимо на бумаге. Фильм уже не делается...

Но это если брать в сравнении. Потому что и на бумаге Хатыни — это не совсем привычная мера жестокости, боли.

Написал, закончил (как мне казалось) свою повесть и раздал (как делаю обычно) тем людям, мнение которых мне было необходимо для проверки собственного ощущения: Брылю, Бакланову, Березкину, Друцэ, Лазареву, Коваленко, ну и, конечно же, работникам «Дружбы народов». Наиболее определенно объективную ситуацию сформулировал в своем письме Григорий Бакланов: мол, долг Вы свой исполнили, но напечатать это никто, видимо, не напечатает! Прошел год, второй — карантинный срок «привыкания», — и повесть напечатали: одновременно «Маладосць» (на белорусском языке) и «Дружба народов». Чем освободили меня для работы, в которую мы уже вошли — с Брылем и Колесником начали мы ездить по Белоруссии, собирать, делать записи для книги, которую назвали потом «Я из огненной деревни...».

Работал над «Хатынской повестью» довольно долго — с 1965-го по 1971-й. Переписывал раз двенадцать, а повесть все более и как бы изнутри — от рассказов белорусских женщин, услышанных, записанных, живущих в сознании, в чувстве, — раскалялась. Они и сейчас, те рассказы людей из убитых деревень, присутствуют в повести: как бы выжгли «нишу» в повести и остались в ней. Рассказы эти — «прообраз» тех, что составили потом книгу «Я из огненной деревни...» — жгли, выжигали, раскаляли «Хатынскую повесть», давая всему, что вошло в нее, меру правды и боли. А годы, когда повесть писалась, ведь это время Вьетнама: мир содрогнулся ознобно, услышав, узнав о Сонгми, напомнившем и предупреждающем. А другие каратели, португаль-

ские, играли в «футбол» черными головами жертв африканских Хатыней, Сонгми — об этом тоже писали газеты... Все как бы повторялось, но уже под тенью зловещих ракет с атомными боезарядами. Так что само наше время было гулким резонатором для рассказов женщин из убитых белорусских деревень. Тут впору было кликать на подмогу великих: помогайте, без вас не одолеть, они уже прошли по нашей земле — и чтобы их загнать назад, мы заплатили двадцатью, а человечество — пятьюдесятью миллионами жизней! Но они и сегодня присутствуют в мире, действуют — те, кто готов за свой «прогресс» потребовать не то что «сто миллионов голов» (как предрекал, сам боясь верить, Достоевский), а уже миллиарды!

«Присутствуя» в мире, империализм, милитаризм, фашизм в новейших обличиях и облачениях, вооруженные сверхбомбой, способны исказить самосознание человека и человечества — всей современной цивилизации. Об этом и говорил один из великих гуманистов нашего времени — Альберт Швейцер, голос которого, наряду с голосами Толстого, Достоевского и многих других, великих, автор «Хатынской повести» собирался включить в текст повести — в контекст с голосами женщин из деревни Борки, Великие Прусы, Рудня ¹...

Когда зал суда в Нюрнберге, весь встав и повернувшись весь, долго, как бы не веря, не понимая, смотрел на себе подобных — после просмотра документальных фильмов об Освенцимах и Хатынях — на главных убийц смотрел, на этих «человекоподобных», да разве думали люди, что мысль об убийстве (уже атомной бомбой) 100, 200, 300 миллионов перестанет поражать, вызывать крик ужаса и протеста, сможет стать «привычной» (о чем предупреждал Швейцер)?! Что уже загово-

¹ В статье «Доверие и взаимопонимание» Альберт Швейцер говорит: «Атомное оружие должно быть отвергнуто, однако не только по соображениям разума, но и по более глубоким соображениям, внушаемым нам нравственными принципами культуры. По вине атомного оружия мы, не отдавая себе отчета, сошли с пути, ведущего к созданию нравственной культуры. Наша готовность применить это чудовищное, нечеловеческое оружие, хотя мы и не признаем-ся себе в этом, сделала бы нас бесчеловечными. Под его властью мы перестали бы быть цивилизованными людьми. Пора окончить эту ужасную главу в истории человечества». (В кн.: Альберт Швейцер — великий гуманист XX века: Воспоминания и статьи. — М.: Наука, 1970, с. 235—236.)

рят о «половине человечества», которая труппами «ляжет» в «фундамент будущего счастья»...

Тут уж действительно самое время звать, взывать к великим, которые и на одну «слезинку» одного ребенка не хотели дать согласия...

В более ранних вариантах «Хатынской повести» Толстой, Достоевский, авторы Старого и Нового заветов, Ганди, Альберт Швейцер и другие великие присутствуют, говорят, пророчествуют, объясняют, предупреждают... Но мои «собственные рецензенты» все восстали против — и Брыль, и Бакланов, и Друцэ, и Лазарев. Автор какое-то время еще держался за цитаты из великих — как за «леса», — потом все же снял их. Когда поверил, что «стены» достаточно поднялись и не завалются.

Конечно, они, мои рецензенты, были правы. Я слишком рисковал. Я и без того пошел на риск, когда после авторской сцены сожжения деревни Переходы решил дать живые рассказы реальных людей — о таких же событиях. Рассказы эти могли полностью уничтожить одну из главных сцен повести.

А тут хотел, наряду со своей собственной публицистикой (споры Флориана Петровича с Бокием), дать еще слово Толстому и Достоевскому. Так и прихлопнул бы все свои умные мысли.

Советовали убрать и сами споры, всю публицистику, но тут я заупрямился. И не потому, что поверил, будто удалось мне (или моим персонажам) понять и объяснить «расчеловеченного человека». (Что это не так, свидетельствует следующая моя, семилетняя уже, похоже, что бесконечная, работа над повестью «Каратели», где об этом же — напрямую.)

И все-таки я не выбросил, оставил споры Флориана Петровича с Бокием, всю эту «философскую публицистику» — отчасти, кажется, из соображений психологических. Обожженному телу нужен холод: вон как Флера хватается вспухшей ладонью за приклад винтовки, за холодные кирпичи, за землю!..

Мне казалось, что и воспаленному сознанию читателя — после хатынских сцен — понадобится «холод». Человек, увидев, услышав такое, не может не спрашивать: да что же это, да как это могло быть? Как люди могли?

И не заговорить с читателем об этом напрямую,

не отвести его глаза на время от огня и боли — значит рисковать, что он или начнет «привыкать» и уже перестанет воспринимать или, что еще хуже, — заподозрит автора в каком-то художественном садизме.

Товарищ позвонил из Москвы и вместо «здравствуй» — «Сволочь ты!» — «Откуда ты узнал, что сволочь?» — «Жена из-за твоей повести не спала ночь, и я всю ночь мучился, отпаивал ее. И уж извини, надо было что-то говорить, я и говорил: «Врет он все, и все они, белорусы, врут!»

Так вот «публицистика» — как бы вместо воды холодной...

Но если до конца честно — все эти объяснения родились, пришли на ум потом, а писалась вся «публицистика» не ради чего-то, а потому что и самому автору кричать хотелось...

Об авторах, много раз переписывающих свои произведения, говорят обычно как о добросовестных тружениках. Но сами-то они знают, что они гурманы: без усталости мечтают не столько о последней, сколько о первой (снова и снова первой) странице, без конца стремятся, спешат, рвутся к наслаждению первой, чистой страницей. Дорвался, выводишь заново первые строки, абзац, и такое чувство, какое, помню, бывало в младших классах: устал от старой нескончаемой тетрадки с каракулями и кляксами, спрячешь, «потеряешь» ее и берешь новую и радостно веришь, что даже почерк в новой будет красивый.

В этом смысле одно мучение с большим романом: пока доберешься до первой страницы! То ли дело повесть: каждые полгода переворачивай новые варианты — как блин на сковородке. Потому, кажется, и задержался на этом жанре. И уже посматриваешь на рассказ, новеллу: там с первой страницы можешь и не уходить.

А если серьезно об этом говорить, то и серьезно будет то же самое: повесть привлекает относительной легкой обозримостью ее площади. Ведь в произведении все связано со всем, и если брать чувство пишущего, то очень важно сознавать, что все подконтрольно твоему взору и слуху, ничто не ускользает. И потому действительно с облегчением и новой надеждой возвращаешься к первой странице, к новому варианту: любое изменение в середине, в конце, любое добавление что-то смещает, меняет во всем корпусе повести, должно отозваться и

отзывается и на первых страницах. А измененные первые требуют уточнения и дальше...

Постоянную вибрацию, колебания всего корпуса повести от малейшего толчка на любой странице, от «упавшего» слова, фразы — так и хочется это сравнить с «эффектом Луны» (которую даже заподозрили в пустотелости!).

Снова и снова переписываешь, и конца, кажется, этому не будет...

Кто граблями сдвигал валки сена, знает, помнит радостное, «эпическое» ощущение, когда узенькие грабли превращаются в широкозахватный, гонящий огромную копну агрегат. Сначала гребешь и движешься в любую сторону, но лишь до тех пор, пока не скопилась перед тобой гора, а дальше она как бы сама себя направляет — только по прямой, и чем труднее толкать, тем хочется быстрее двигаться, набрать разгон, чтобы было скольжение. Вот так, всей массой, и повесть к концу движется и тебя направлять начинает — когда уже достаточно наработано, скопилось. Свернуть в сторону уже не так легко. Не то что в первых вариантах. И совершается как бы обязательная эпизация повести — к финалу. Скапливаясь, вырастая, материал захватывает перед собой все шире...

Конечно, все это лишь про собственные ощущения: у других по-другому. Но и у других, тем не менее, ищешь и находишь свое. Помню, с каким предвкушением и беспокойством смотрел «Рим» Феллини, ждал финала: как же все это можно завершить, в узел свести — весь этот фейерверк памяти и фантазии? Но «беспокоился» напрасно: не был бы то Феллини! В конце понеслись по опустевшим улицам и площадям ночного Рима орды новых варваров на грохочущих мотоциклах — и все обрело законченный смысл. Эпический финал — это второе дыхание повести, он подобен горизонту, который и хочет быть частью земного пространства и стремится оторваться от него, быть где-то там, чтобы все к нему дотягивалось и не могло дотянуться...

Финал «Хатынской повести» найден мною случайно. И всякий раз пугает эта случайность самого необходимого: а что, если бы не попала она на дороге? Ведь без «кольцевого боя» уже сам не мыслишь «Хатынскую повесть». Кажется, что ради него она и писалась. Ну, а не приедь я тогда в Бобруйск, не разговорись с

бывшим партизаном Раменчиком Степаном Иосифовичем и не Расскажи он мне про такой бой... Да, рассказ его был лишь толчком, который вынес наверх то, что в моей памяти тоже хранилось, толчком, от которого заработало и воображение — в определенном направлении. Но ведь именно этот толчок понадобился, а другой мог направить воображение по-другому. И как бы я заканчивал повесть? Как-то закончил бы и тоже, наверное, «эпически». Но в это уже не веришь. Как не хочет верить отец любимой дочери, что у него «вместо нее» мог быть сын. Хотя сам когда-то, может быть, ждал сына.

Да, случайность, и всегда удивляешься, как чуду, что она подоспевает кстати и вовремя. Но чтобы ее настичь, нужную тебе случайность, для этого и превращаешься в нечто вроде «локатора», который без усталости ощупывает все вокруг (и внутри тоже!). И днем и во сне даже. (И даже если совсем не до повести тебе: ведь я поехал в Бобруйск по печальному поводу: тяжело заболел близкий человек.)

Люди по-разному пишут, и, очевидно, нет хороших или плохих способов, важен результат. Я, например, не умею писать вещь по частям, а не всю сразу. Она постепенно выступает, вся — как на фотобумаге в проявителе. Помню, в детстве рисовал я, как все самоучки: сначала глаз или нос — до полной видимости, затем ухо, волосы навешивал на человека. Будто из «конструктора» собирал. А когда студент-художник Виктор Суценья (в «Войне под крышами» — Виктор Петреня) пытался показать, как надо делать, чтобы человеческий образ, пейзаж и т. п. равномерно выступали из бумаги, из мягкой, а затем все более густой и твердой штриховки, я еще сопротивлялся: мой способ казался мне вернее, интереснее. Сначала глаз, потом нос... Но вот прозу пишу его способом: «заштриховывая» площадь повести сразу всю, от начала до конца. То, что уже в первых вариантах найдено, в следующих проступает яснее, четче, а что не найдено, отыскиваешь при следующем переписывании, не задерживаясь, если даже текст не удовлетворяет. Расчет на разгон мысли, чувства, настроения, на то, что при новом переписывании наконец «проступит» и на том месте, где была пустота или слишком общо, невыразительно. Что-то появляется на страницах, что-то, не удержавшись, пропадает, свали-

вается, к каждой детали идешь через всю повесть, добиваясь, чтобы все было связано со всем не только «сюжетно» или мыслью, но и настроением. А настроение вещь капризная, на нем, как на велосипеде, легче удержаться, непрерывно, стремительно двигаясь... Конечно, и это очень субъективно. Я, например, боюсь машинки: она создает ложное чувство «окончателности», «ясности», когда этого еще нет. Другим машинка не мешает, а помогает, мне же надо, чтобы до самого последнего варианта, до полной опустошенности все, что в тебе есть, стекало с руки. И только когда появилось наконец ощущение, что страницы, фразы, слова и как бы даже буквы твои наполнены, напряглись изнутри, пульсируют и уже не хочется вернуться на первую страницу, — тут можно и на машинку. Теперь можно и даже нужно: лучше увидишь, яснее, как бы со стороны, текст, пропорции, что получается, а что лишнее...

В какой шкаф ни сунешься — громадное что-то, чужое, не твое. Рукописи. А ведь когда-то жил на этих страницах, годами в них жил. Теперь же папки с твоим почерком — будто покинутые коконы, высохшие, мертвые. Жизнь переместилась в печатный текст, в книгу. Началась «жизнь книги» — то, о чем есть вопрос в «Анкетe».

Вопреки ожиданиям жизнь «Хатынской повести» сложилась благополучно. Но когда повесть вышла в свет, автор уже весь был в другой работе — делалась книга «Я из огненной деревни...». Из всех рецензий на «Хатынскую повесть» «отрицательной» была одна, и эта единственная принадлежала автору повести. В интервью «Литературному обозрению» я высказался в том смысле, что «Хатынская повесть» — «литературное поражение». На что редактор журнала иронично заметил: нужно быть очень самокритичным автором или же очень самонадеянным, чтобы такое сказать. Но дело все же не в качествах автора, а в особенности материала, с которым он столкнулся. Я говорил и сейчас считаю, что если бы раньше прослушал все рассказы, которые составили книгу «Я из огненной деревни...», т. е. до написания «Хатынской повести», делать «литературу» об этом не смог бы, не осмелился. Смог, осмелился, *успел* лишь потому, что только прикоснулся к обжигающей хатынской правде (в тех первых поездках с киногруппой) и оставался еще простор для домы-

сливания, воображения, творчества. А потом, объездив всю Белоруссию, мы такую правду на себя обрушили, что не до литературы стало. Впору вообще было усомниться в ее возможностях — в способности литературы это поднять, такое вместить, выразить.

Впрочем, не я один так подумал, почувствовал. Василь Быков переслал мне письмо писателя Александра Бахвалова, автора известного романа «Нежность к ревущему зверю». В письме этом острее и продуманнее, чем у меня, говорилось обо всем об этом. С разрешения Александра Александровича Бахвалова привожу некоторые его мысли:

«И я хорошо понимаю Адамовича, когда он говорит: «После всего нами услышанного, записанного, собранного в книге «Я из огненной деревни...» вроде бы ничего не стоит написать еще одну повесть, роман написать... Только зачем? После таких рассказов, такой правды!.. Но то же самое, что закрывает путь, так же и открывает его — только совсем в другом направлении». Очень верно! Дальше идти некуда. Нужно возвращаться. В этом направлении ничего равного сказать невозможно. Толстой не прибавил бы ни строчки. Более того: гений Толстого отступил бы перед тем, что являет собой эта книга. Но она-то как раз и напоминает о толстовском, т. е. человеческом, не опосредствованном теориями видении, понимании и отображении правды. «Другое направление» — попытаться дать равнозначную по искренности, а значит и силе воздействия, картину мира, сотворившего народ без милосердия — немцев сороковых годов, нас с вами той же поры — от руководящих теориями командующих фигур до простого крестьянина, нашу подлинную (неофициальную) сущность. «Другое направление» — это в конечном счете истинное отображение человека выходцем из Европы, этой «огненной деревни» первой половины XX века. Чтобы сравниться с Толстым, нужна не только «правда войны» (гнойник, как известно, заключительная фаза воспалительного процесса), а прежде всего правда мира».

Очень угадал автор письма настроение, направление мыслей, под влиянием которых я, задним числом, заговорил о «литературном поражении».

«Не обижайте «Хатынскую повесть», я ее люблю», — написал мне Владимир Огнев. А повесть, как бы и

впрямь обидевшись на автора, в укор ему, стала получать премии, переводиться...

Важным и полезным для меня результатом этой истории (внутренней) было то, что я укрепился в убеждении, что чувство «литературного поражения» после всякой написанной вещи почти нормальное состояние и, пожалуй, самое плодотворное. Ведь пишешь не потому, что тебе все ясно и хочется этой ясностью поделиться с другими, а, наоборот, чтобы «мысль разрешить», от которой житья нет. Которую и сама жизнь никак не разрешит. Тут возможна лишь какая-то степень приближения, а не исчерпанность. Всегда ставишь цель, которая явно выше твоих возможностей, сил, и через работу (отсюда бесконечные варианты) пытаешься к ней дотянуться.

В нашем деле не поражение опасно, а боязнь его, страх перед ним. Ничего нет опаснее, чем нацеливать себя на обязательный успех и еще хуже — «шедевр». Сколько волей и талантов сломилось о первый успех, от страха, что вторая, третья вещи окажутся совсем не шедеврами. Тут-то и начинается эксплуатация уже найденного, открытого, работа наверняка, с оглядкой и фактически вполсилы, даже если человек весь извелся в работе.

Очень близки мне и понятны Гранин, Залыгин, которые всегда делают не то, чему уже научились, что им дается, удавалось, а всякий раз роют на новом месте и новым способом, совершенно по-другому. Чтобы Залыгину выйти к мудрой и ясной (при всей ее сложности) «Комиссии», ему необходимо было (теперь это видно) после «Иртыша» пройти-пробиться и через «Южно-американский вариант», и сквозь «Соленую падь»...

Вот уж действительно: бояться поражений — в литературу не ходить!

Без такого настроения, пожалуй, не осмелился бы на еще одну повесть о войне, которую я назвал «Каратели»...

МЫСЛЬ РАЗРЕШИТЬ ¹

Александр Михайлович, в одном из своих выступлений Вы высказали сомнение, что после книги «Я из огненной деревни...» когда-либо вернетесь, осмелитесь писать о войне что-либо «художественное». И тем не менее написали, готовитесь публиковать.

— Война ушибла нашу память на всю жизнь, и мы в своих писаниях к теме войны возвращаемся снова и снова, сколько бы ни зарекались... Но после работы над документальной книгой о белорусских Хатынях действительно было такое чувство: что может значить твой ручеек перед этим морем и бездонностью народной трагедии, правды памяти? Что ты еще можешь поведать миру о войне после них — женщин из Хатыней или блокадного Ленинграда?!

Один русский критик выразил это так, когда прочитал опубликованные «Октябрем» хатынские истории: «Мне сейчас смешно читать воспоминания про то (назвал автора), как тридцать лет назад недалеко от его особы разорвалась бомба!»

Хотя новая моя повесть «все о том же», но тут я не соперничал с народной памятью. Взял то, что за ее горизонтом, перед чем и она тоже останавливалась в недоумении, с растерянностью, мучительным вопросом: «Как могли они и кто они, эти люди, если они это делали?» Повесть, тему долгое время обозначал для себя напрямую: «Каратели». В «Хатынской повести» и в нашей коллективной книге «Я из огненной деревни...» рассказано о тех и те рассказывают, кого убивали. А здесь — о тех, кто убивал. Об этом берешься писать не потому, что именно тебе известны ответы на «проклятые

¹ Ответы на вопросы «Литературной газеты» (июль 1979 г.).

вопросы» и ты спешишь их огласить, а как раз потому, что мучают и не даются и эти вопросы и ответы на них. Нелегко «мысль разрешить»: кто же они — нелюди среди людей, как из человека делают это и что с ним при этом делается... Почти восемь лет, пока работал над повестью, смотрел в прошлое сквозь эту тему, проблему, а прошлое с годами не удалялось, а как бы приближалось. Укрупняясь, настигало. Пока не обрушилось на сознание и совесть землян кампучийским кошмаром!..

Да что же за явление такое — эти массовые организованные преступления, совершаемые людьми (как бы их ни называли мы), и постижимо ли это в художественном произведении, т. е. психологически через психологию? И надо ли это постигать, ради чего?

То, что совершалось, например, в Белоруссии в годы фашистской оккупации, можно определить как «атомную войну обычными средствами». По кровавому итогу, результату: убит каждый четвертый житель (а в некоторых местностях — каждый третий), десятки городов уничтожены, сожжено более девяти тысяч деревень и шестьсот из них — вместе с людьми!.. И везде работали они — каратели. Сколько же должно было их быть, убийц-исполнителей! А за ними стояли убийцы-теоретики, вдохновители, распорядившиеся жизнями, судьбами миллионов людей из столицы «тысячелетнего рейха»! Куда уйти от этого вопроса, от правды, когда уже заявил о себе и азиатский вариант того же явления? Орудия убийства самые допотопные — мотыги, а результат еще более «атомный» — будто нейтронные бомбы лопались! И направляли этот «мотыжный фашизм» тоже «теоретики» и тоже из чужой столицы...

На какой-то стадии работы название вещи изменилось, и даже жанр: «Гипербореи. Документально-фантастическая повесть» (сам я к этому уже привык и собираюсь такое предложить).

Она действительно документальная, эта повесть, в своей основе: были, жили на Могилевщине Борки — деревня из семи поселков (1830 жителей), и был, действовал «спецбатальон» Оскара Дирлевангера, убивший эту, самую большую, страшную из белорусских Хатыней, и еще около двухсот деревень...

За всем за этим — документы. Ну а «фантастика» — в том лишь смысле, что наше сознание даже «документ» не готово признать, принять, когда он свидетельствует

о такой правде. И чем реальнее, тем фантастичнее...

Но и название повести требует пояснения. Был, существовал, утверждают историки, такой народ — гипербореи, гиперборейцы, жили то ли на севере от светлого, теплого античного мира («бр-р, бореи!»), то ли в далекой Азии — никто точно не знает. За словом этим — историческая пустота. Потому-то и появляется соблазн заполнить ее своим собственным содержанием, заново. До революции даже журнал издавался с таким названием — «Гиперборей». А у Фридриха Ницше «гипербореи» — предтеча сверхчеловека. («Здесь быть врачом, здесь быть неумолимым, здесь действовать ножом — это надлежит нам, это наш род любви к человеку, с которым живем мы — философы, мы — гипербореи...»)

«Штурмбатальон» Дирлевангера фигурировал и на Нюрнбергском процессе. Там прозвучало и слово: «экспериментальный» — при допросе одного из приближенных Гимmlера, начальника штаба «по борьбе с партизанами» Бах-Зелевски. Дескать, для работы по сокращению славянского населения начали формировать такие вот «спецкоманды» — из уголовников, убийц, подонков самых различных национальностей. Не обходя и местных фашистов в тех странах, где предстояло работать. Своих уже не хватало: слишком широкозахватные были планы и много работы.

Фашизм всегда пытался (и ныне пытается) «интернационализироваться». Хотя, казалось бы, как это возможно, если все фашисты «свою» нацию объявляют единственно достойной уважения и даже существования? Но классовый эгоизм, международная ненависть этих подонков (так их называл Томас Манн) к революционным силам оказываются сильнее и их логики, и даже национального эгоизма.

«Спецбатальон» Дирлевангера — реально существовавший и тот, что в повести, — и есть такой вот экспериментальный, коричневый «интернационал» убийц в действии. Когда фашизм уйдет (будет уничтожен), говорил Хемингуэй, окажется, что его история — это история убийств, убийц, и только. Но ее пытаются творить заново на самых неожиданных континентах. Чтобы быть гипербореем, необязательно жить в 30—40-е годы в Европе или в 70-е — в Азии. Достаточно им быть!..

Так что же происходит с теми, кто становится или кого делают «гипербореем»? Что в них рушится, а что

в них внедряют? Как это совершалось — какова механика и процесс расчеловечивания человека? Что «срабатывало» в нем самом и как его затягивало в страшную машину, которую непрерывно совершенствовали и настраивали «теоретики»? Об этом прежде всего повесть «Гиперборей»¹.

Не знаю более точных слов об этом явлении и, может быть, самых нужных сегодня, чем вот эти — толстовские:

«Если можно признать, что что бы то ни было важнее чувства человеколюбия, хоть на один час и хоть в каком-нибудь одном, исключительном случае, то нет преступления, которое нельзя было бы совершить над людьми, не считая себя виноватым...»

По книге «Я из огненной деревни...» мы сделали пять документальных фильмов: четыре — кинорассказы жертв геноцида, один — он называется «Последнее слово» — об убийцах, которые прошли «школу» сродни дирлевангеровской (режиссер фильмов Виктор Дашук).

Жутко наблюдать, как и сейчас, тридцать с лишним лет спустя, срабатывает все тот же внутренний механизм: любой ценой длить существование, даже когда жизнь потеряла человеческий смысл! На этом многое строилось в батальоне Дирлевангера. Отнимали у человека все: Родину, родню, прошлое, будущее, само имя. Тем, что принуждали (а он соглашался!) убить ребенка, женщину. А ему оставляли одно лишь существование. Но чтобы оно длилось, надо было все время платить — чужими жизнями. И он платил, а за свою цеплялся с тем большей жадностью, чем страшнее было жить... И вот теперь, через три десятилетия, окончательно рушится не по праву прожитая среди обыкновенных людей жизнь вчерашнего «сверхчеловека». О, как это бесконечно много, оказывается, — быть *обыкновенным*, быть просто человеком. Уже и дети его, рожденные и выросшие за эти годы, узнали, кто и что он — их отец. От их знания и оцепенения надо бы под землю лезть, а он, гиперборей, мучим не этим, а все тем же: как продлить существование!.. Чужими жизнями платить за свою было и легче и привычнее. А теперь своей — за чужие! Не готов. И какая изощренность в самооправдании, даже когда

¹ В издательском варианте — «Каратели (Радость ножа, или Жизнеописание гипербореев)».

вроде бы казнят себя словами. Не эта ли «механика» давала возможность, позволяла им жить как ни в чем не бывало среди людей и даже растить детей? («Которых я, — стыдливо выдавливая из себя признание, — вот таких, когда-то расстреливал».)

Среди них — даже женщины попадались! Помните, в «Правде» о такой особи рассказывалось.

Один из путей такого «прогресса» по-гиперборейски — всемерное укорачивание «идей». Оружие поскорострельнее, идеи покороче! А самая испытанная и коротенькая из них: мы всегда, во всем и перед всеми правы, потому что это мы! Мы — белые, мы — желтые, мы, мы, мы, у нас — самый-самый!.. И мы признаны всем «преподать урок»!

У того же Ницше: «Мы открыли счастье, мы знаем путь, мы нашли выход из целых тысячелетий лабиринта... Нет ничего более нездорового среди нашей нездоровой современности, как ... сострадание...»

На место системы ценностей, выстраданной человечеством за всю его историю, — демагогия и властолюбие очередного фюрера и его коротенькие «идеи», всеми способами внедряемые. А способов все больше.

И вот из человека начинает выступать существо, которое неизвестно как и назвать, а потому назовем хотя бы так — гиперборей! У них своя «школа ценностей», взаимооценок: «Когда возвращались из Борок домой, кто-то рассказал, что Русецкий Андрей расстрелял по приказу шарфюрера Иванова Афанасия целую семью. Тогда же все смеялись, что, когда Русецкий расстреливал, у него тряслись руки». (Из показаний бывшего карателя.)

Чтобы опустить человека в бездну палачества, соорудилась длинная лестница фюрерства: от ротэн — шар — обершар — гауптшар и пр. и пр. фюреров — вплоть до «просто фюрера» Адольфа Гитлера. Он в повести тоже «самоисповедуется» по-гиперборейски — в главе «Чем выше обезьяна взбирается по дереву, тем лучше виден ее зад». Есть у людей такая поговорка.

Вы ссылаетесь, Александр Михайлович, на мысли и авторитет Толстого, и это, конечно, понятно: литература, в том числе и белорусская, когда встает вопрос о психологической сложности жизни, снова и снова обращается к опыту великого Толстого. В чем, на ваш

взгляд, заключается верность современных писателей толстовской традиции в изображении человека на войне?

— Мне кажется, что наше время все больше ставит вопрос о совмещенном воздействии Толстого — Достоевского на литературу вообще, а «военную» — в особенности. «Параллельные» пути сверхгениев если не сошлись, то значительно сблизились во времени. И главное, что их сближает в нашем восприятии, — сопряжение человека и человечества в единой тревожной огромной мысли: как человеку жить с людьми, по каким законам добра и зла, что обещает гибель, а что — спасение? Слишком многое обострилось (и многое прояснилось) из того, что и Толстой и Достоевский — каждый своим путем, обнаружили в мире и в человеке. Обнаружилось и сошло в нашем времени столько и такое, что нам уже мало *одного* Толстого или *одного* Достоевского.

Это если о сегодняшнем их воздействии на литературу. Но, конечно же, современные военные писатели не одинаково «расположены» по отношению к «двуглавному Эльбрусу»: одни «со стороны» Толстого, другие — «со стороны» Достоевского. И, разумеется, способны перемещаться, как, например, Василь Быков, который, начиная с «Сотникова» — все ближе к опыту и проблемам именно Достоевского.

В произведениях Толстого и Достоевского — на вершине мировой литературы — совершился гениальный «взрыв», с которого началось то ускорение в самопознании человека, которое сравнить можно разве что с ускорением естественнонаучного познания в XX веке.

А началось — если иметь в виду все-таки Толстого — с неожиданной, казалось непереносимой, искренности всего лишь одного человека перед самим собой и перед людьми.

Махатма Ганди сказал: «Он был самым правдивым человеком своего времени».

Да, гений! Но, может быть, как раз искренности гений. «Ненормально» было количество его ежедневных записей о своих мыслях, о чувствах и поступках, «ненормально» было и качество их (в смысле правдивости, откровенности)» (Иван Бунин. «Освобождение Толстого»).

Не его ли пример безусловной искренности и жажды истины, даже если правда, истина для нас, людей, и

обидная и больно ранит (но зато и исцеляет!) — не это ли сегодня особенно важно в толстовской традиции?

Да что мы, писатели, или литература! Этого же, все большей искренности и ответственности перед собой и миром, человечеством требует наше кризисное время и от политики государств, и от исторической памяти самих народов. Без такой ответственности и искренности как распутать сложнейший клубок вселенских проблем и противоречий, с которыми человечество до сего времени жило и выжило, но в атомную эпоху с которыми лучше бы расстаться?..

Среди неизжитых и опаснейших противоречий и проблем века — все тот же старый шовинизм и агрессивный национализм, сегодня маскирующиеся, охотно рядящиеся в «социалистические одежды». (Чем не пренебрегал, кстати, даже германский нацизм.) Не кто иной, как Толстой, назвал национализм и шовинизм, прикрываемые «патриотизмом», — «последним прибежищем негодяев». Не из-за этого ли укрытия выскакивают и набрасываются — снова и снова! — на людей те самые «каратели-гипербореи»? А стены укрытия, убежища, за которыми прячутся бывшие и копятя будущие «гипербореи», — из чего они сложены, возводятся? Не из предрассудков ли и честных людей, их беспамятства и неспособности хотя бы иногда посмотреть на самих себя глазами соседей, со стороны? Все перед всеми всегда правы! А кто же обидчики? Только не мы! Как-то пришлось беседовать с одним турецким журналистом, и он очень недоумевал, что «немцы могли такое творить, о чем вы написали» (он прочитал опубликованные «Октябрем» документальные рассказы о зверствах нацистов в Белоруссии). Человек недоумевал, расспрашивал, а меня мучило другое: ведь он совершенно искренне не помнит, забыл ту страницу истории, которая миру известна как «армянская трагедия»! А забыл, не помнит потому, что память эта неприятна ему...

Осенью 1978 года мы, небольшая группа литераторов, «связанных с кино», побывали в ФРГ — по приглашению прогрессивной писательской организации «Когге». Встречались с читательской и зрительской аудиторией, с писателями и студентами, бывали дома у добрых и гостеприимных людей — в Миндене, Ерлангене, Нюрнберге, Мюнхене. В общем и впечатления от людей, нас принимавших, самые хорошие, а беседы, даже спо-

ры — потому что и мы не стеснялись говорить, рассказывать, например, о наших Хатынях — все проходило без предвзятости, с желанием услышать друг друга. И та застольная историйка, о которой я хочу рассказать, не была каким-то вызовом или желанием оскорбить чьи-то чувства — ничего подобного! Она тем и поучительна, что люди, вполне доброжелательные, продемонстрировали и обнаружили, как это непросто, нелегко порой бывает — друг друга услышать и понять. Валентин Ежов заговорил о том, что в ГДР будет ставиться немецко-советский фильм, где рассказывается о берлинском мальчике: его глазами — агония столицы фашистского рейха и т. д. И о, удача! Один из наших гостеприимных хозяев — как раз такой бывший берлинский мальчик!.. Что, как вы помните? — нам, конечно, любопытно. С братиками и сестричками, с матерью сидели в подвале, а все рушилось, дым, пламя... И вдруг дверь распахнулась: на пороге солдат с автоматом и в ушанке! (Бог его знает, может, и был в ушанке? А может, потому, что в ужасе ждали такого: по плакатам!) Вошел — ничего — и вдруг вскинул автомат и застрочил.

— По вас?!

— По портрету. Отца портрет.

Сказал об отце, и на глазах — слезы, голос пресекался. Неушедшая детская или уже взрослая обида... За отца, за портрет? Или за пережитый испуг?

Я не выдержал, все-таки белорус!

— Не по детям, а по портрету!

— Да...

— В мундире был? Отец ваш.

— Да, конечно...

— А вы не подумали — не тогда, сейчас, — что где-то в Белоруссии или на Украине такой вот в мундире тоже прострочил — но не по фотографиям, а по живым детям? И это могли быть дети того солдата в ушанке.

— Мой отец?

Было, конечно, но чтобы «мой отец»!.. А чьи же отцы и руки это натворили?

Как это нелегко, непросто — человеку выйти за границы своего и своего народа опыта, чтобы совместно с другими искать выход из «лабиринта тысячелетий», но не *по-ницшеански*, не с ножом в зубах искать, не по-гиперборейски, а *по-человечески*... Само время вынуждает, и человек, человечество выход найти обязаны.

ПО ПРАВУ ЛЮБВИ

Существует понятие, категория: «военный писатель», «писатель военной темы». Подобное определение, конечно, суживает, но и подчеркивает пафос творчества того или иного автора. Ну, а критик «военный» (с теми же оговорками об условности термина) — такое возможно? Существует? Да, возможно, и существует. Именно о таком критике хочу сказать несколько слов. Вышла новая книжка Л. Лазарева, и, разумеется, книжка эта, как и все у Л. Лазарева, — о военной литературе, о давней любви критика — Василе Быкове¹.

Любовь критика к писательскому творчеству, к литературе любовь — как это много, оказывается! Не в этом ли природа истинного таланта критика? Таланта, который считается редкостью. Утверждают даже, что он реже встречается, чем, например, талант «прозаический» или «поэтический». Реже — а не потому ли, что бескорыстная любовь к творчеству собрата в литературе — не самое распространенное чувство? Прозаики, поэты — вопрос особый. Но вот когда и в критиках этого мало или нет вовсе — любви к *чужому* творчеству — тогда лишается смысла, плодоносящей основы сама деятельность критика. Когда нет *таланта любви* к литературе, а лишь претензии — сегодня они открыто декларируются! — подменять собой художественную литературу, нелепое соперничество, недобрая конкуренция — до чего же тоскливо!

Славя неистового Виссариона, сознаем ли, помним

¹ Лазарев Л. Василь Быков. Очерк творчества. — М.: Худож. лит., 1979.

ли, что это была неистовость любви к литературе, преданность ее интересам до конца? А уж из этого проистекала, рождалась бескомпромиссность, а где надо — и жестокость.

Но нам знакома и другого рода «неистовость», другая критика, громко заявляющая: «Художественная литература? Ах, да, художественная — пусть ее, пусть существует, но нас это не касается. Для нас она лишь повод, предлог высказаться...»

Юрий Трифонов на страницах «Вопросов литературы» весело делится впечатлениями о встречах, совсем невеселых, с подобной критикой.

«Самовыражение и самоутверждение — чего бы это ни стоило! Критик сразу нетерпеливо претендует на вечность. Но чаще всего и вечность не достигнута и предмет искажен. Мне, как «предмету», приходилось попадать в подобные переделки. Я уважаю честолюбивые порывы критиков, которые хотят стать властителями дум, сказать свое слово, создать концепцию, но хочу, чтоб и меня уважали: не искажали бы мое слово, мою концепцию. А то приходилось слышать: «Да, я имел намерение высказаться, и я высказался! Ваша книга оказалась отличным подспорьем. Она появилась кстати. Я ей благодарен». — «Но вы совершенно ее не поняли! Вы неправильно трактуете...» — «А это неважно». — «То есть как неважно? О чем вы написали статью?» — «Моя статья не о вашей книге, так же как ваша книга не о моей статье»¹.

Что, в сегодняшних критиках меньше этого качества — понимания литературы, любви к литературе «как таковой» — нежели было 20 или 40 лет назад? Или, например, 80 лет назад... Похоже, что не в этом лишь дело. Хотя, быть может, «технический век» и на некоторых критиков повлиял.

Но замечается в «холодности» этих критиков и некая бравада. Холодность, но, так сказать, принципиальная. «Охлаждение чувств» и даже «развод» с литературой, но как бы вынужденные...

А не «родители», как бывает и в «обычных» семьях, не они виновники раздора и разлада?

Какие еще «родители»? Да те самые, что яблоки ели, а оскомину оставили детям.

¹ Вопросы литературы, 1979, № 12, с. 292.

Легко ли, приятно ли читать, как и что говорили и оставили на страницах о критике и критиках все великие — от Толстого и Чехова до Маяковского и Булгакова? А если другие литературы брать... Самое нелестное, что только можно сказать о какой-то профессии, сказано было именно о критиках. С отвращением и брезгливостью. И даже с битьем стекол в окнах — как, например, в «Мастере и Маргарите» Булгакова...

Очень было любопытно читать № 12 «Вопросов литературы» за 1979 год — почти целиком посвященный критико-писательским взаимооценкам. Согласие и мир, но не без иронии и самоиронии. Как бывает в очень интеллигентных семьях после бракоразводного процесса и неожиданного примирения. Публично столько наговорили всего и всякого, что теперь приходится неловко и удивленно друг другу улыбаться...

Истина всегда конкретна. Даже несогласные в идеях с Белинским (например Ф. М. Достоевский) писали о нем уважительно, ценя бескорыстие, честность критика и вот это — неистовую влюбленность в литературу, благоговейное служение ей.

Но ведь имя им легион — и совершенно иным критикам, пронесившимся по литературным нивам, как стада слонов, устремившихся к водопою...

Передо мной два сборника критических статей и выступлений, которые не только достаточно объясняют, но и вполне оправдывают отвращение Толстого и презрение Булгакова к самому слову «критика».

Перечитываешь статью за статьей в сборнике 1902 года — «Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого»¹, и глазам не хочется верить. Это о Толстом — *уже авторе «Войны и мира»?! Это, такое — об «Анне Карениной»?! Действительно, будто саранча налетают на публикуемые все новые главы «Анны Карениной» и обгладывают их, обгрызают, оставляя после себя пустыню и ужас перед механической работой челюстей... Что только ни писали, в чем ни упрекали Толстого — и каким развязным, хамским языком! — авторы всех этих «Ведомостей» и «Вестников», «Дона» и «Сына Отечества»!..*

¹ Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого: Хронологический сборник критико-библиографических статей. Ч. 8. — М., 1902. — Собрал В. Зелинский.

Вот тут начинаешь понимать, отчего в Ясной Поляне опасались появления газет и журналов, как «инфлюэнции» или желудочного заражения, и всячески оберегали от них Льва Николаевича. Да он и сам годами не брал в руки газет и журналов с рецензиями и статьями.

А это уже другое время и другой сборник: «Второй пленум правления СП СССР по критике. Март 1935 г. Стенографический отчет» (М.: Гослитиздат, 1935). В нем — среди многих знакомых — и совсем уже родные имена белорусских критиков. Будь они все живы и получи сегодня возможность стереть или сжечь слова, которые так грозно (и испуганно) произносили в разные годы, думаю, что охотно и торопливо проделали бы это. Как у нас это пытался проделать критик — в свое время очень громкий — со всеми изданиями, где напечатаны были его угрожающие филиппики в адрес Купалы, Коласа, Чорного и многих других писателей, что-то там не понявших и чего-то не уяснивших. С немалым риском в библиотеках Минска, Москвы, Ленинграда вырезал из старых белорусских журналов и газет свои статьи. Но на всякого мудреца хватает простоты! Другой критик, помоложе и ловчее его — тоже фрукт хороший! — побывал в библиотеках раньше и сфотографировал продукцию старшего коллеги. И предложил купить — на добрую память.

Пришлось выкупать.

Радует нас, критиков, это или печалит, но то, что мы говорим, пишем — остается, сопровождает нас по жизни. И то, что наговорено, написано до нас о критиках, тоже как-то влияет на отношение к нашей профессии.

Вот некоторые из нас похоже что зело обиделись, и за нелюбовь (историческую) платят «холодностью» к литературе (современной).

Да, критик вовсе не обязан любить все, что именуется литературой. Мало ли что и как хотело бы себя называть! Критик — это высота вкуса, требовательность, а не комплиментарность. Требовательность, но — повторяем — по праву любви...

И как отдыхаешь, когда читаешь критику, критика без всех этих комплексов, простую и понятную по изначальному чувству любви и уважения к чужому таланту!

Именно так читается новая книжка Л. Лазарева — о творчестве Василия Быкова.

Когда говорим о достижениях прозы «военной», мы называем или помним имена и произведения Шолохова, Симонова, Бакланова, Бондарева, Быкова, Ананьева, Семина и др. А когда о «деревенской» — Шукшина, Абрамова, Залыгина, Можяева, Белова, Распутина, Друцэ, Айтматова, Стрельцова, Кудравца и др.

Ну, а критиков имена — тех, кто помог утвердиться (или, наоборот, активно мешал) той и другой литературе. Кто их-то помнит, может назвать? Не для восславления или поношения, а справедливости ради. Или хотя бы — для полноты картины жизни литературной, процесса литературного.

Такая историческая «анонимность» деятельности критики, критиков отнюдь не способствует пробуждению и укреплению чувства большей ответственности за свои слова и деяния у новых поколений работников этой профессии. В условиях беспамятства можно писать что угодно и знать заранее, что слово твое «канет». Обидно, может быть, но зато и удобно — не всплывет, не кольнет когда-нибудь в глаз...

Впрочем, времена такой удобной анонимности, кажется, кончаются. Стали выходить правдивые исследования о литературной жизни минувших десятилетий — такие, как «Неистовые ревнители» С. Шашукова, «Белорусская критика и литературоведение 20—30-х гг.» М. Мушинского и др. Печатаются сборники статей самих критиков. Хорошо бы при этом не слишком щадить нашу, критиков, репутацию и самолюбие: что понаговорил, понаписал — получай! А то ведь подчищаем так, что и не угадаешь, кто есть (а точнее — был) кто.

Но это — о тех, о том, кто и что не украшает ни биографию человека, ни историю критики.

Но ведь и то, что приятно вспомнить, про что напомнить радостно, не слишком часто вспоминаем, напоминаем. Как-то рассказывал писатель, какая трудная судьба была у его вещи и как за нее вступались, самоотверженно и бескорыстно боролись малознакомые люди на самых разных уровнях. «Ну и вы, конечно, нигде и никогда не сказали, не написали о них благодарного слова!» — «Не сказал и не написал».

Я спрашивал и знал ответ (по собственному опыту). А он отвечал и виновато соглашался, что «такие уж мы есть...».

А должно ли быть так?

Не есть ли это уступка тем, другим — кого как раз анонимность устраивает? И в прошлом и в настоящем.

А ведь бывает, случается, что имя, деятельность критика мы ставим (должны бы ставить) в один ряд с тем, что сделали большие прозаики или поэты для утверждения или развития того или иного направления, качества литературы.

Изучая творческое наследие Константина Симонова последних десятилетий, мы обязательно придем и к тому, что делал критик Л. Лазарев в эти же годы — для утверждения новых идей и тенденций в литературе об Отечественной войне. Работа, деятельность критика были практически необходимы прозаику, критическое слово Л. Лазарева как-то соучаствовало и в том, что делали в 50—60-е гг. Бакланов и Бондарев, Быков и Богомолов, что делают многие из нас сегодня в прозе.

Что сближает работу этого критика и этих прозаиков, ставит в один ряд, так это общность исходных творческих и нравственных стимулов. Не «самоутверждение любой ценой», подмеченное Ю. Трифоновым у авторов некоторых статей, и не нелепое соперничество, а чувство неоплатного долга перед теми, кто навсегда остался в 1941—1945 годах и перед требовательным взором которых стыдно быть суетным и лживым. Одним словом, те же чувства и побуждения, которые питают и современную военную прозу.

Изучая и оценивая творчество прозаика Василя Быкова, критик Лазарь Лазарев — автор рассматриваемой книги — во-первых, знает о войне не меньше, чем сам прозаик, во-вторых, он видит в прозаике своего собрата по правде и, в-третьих, знает и руководствуется им обоим понятным чувством: «Мы единомысленцы, даже друзья по общему делу, но мы живем и действуем не сами по себе, а еще и от имени тех, кто не вернулся и за кем большее право быть судьей нам обоим и каждому в отдельности».

Правдой и судьбой *тех* судит, оценивает критик сделанное Быковым — это и дает высоту взгляду, делает любовь критика и строгой и объективной.

«Кому когда-то пришлось на фронте это пережить или хотя бы видеть, знает, как достается тяжелораненым, какую муку приходится им выносить, даже когда все складывается удачно. Мысль об этих нестерпимых

страданиях выражена и в названии повести; оно многозначно, но первый и прямой его смысл так раскрывается в одной из последних глав: «Не сон ли это? Бывало же сколько раз во сне, что попадал в руки немцев, которые даже пытались меня убить. Но затем пробуждение, и все становилось на свои места. Может, и теперь будет так? Вот только невыносимая, нечеловеческая боль. Такая не может присниться. Да, я хочу умереть и не хочу идти в плен. Я не буду давать им никаких показаний. Я не хочу и не могу больше страдать. Мне даже трудно сказать, где и что болит. Боль самовластно хозяйничает во всем моем теле. И я завидую Юрке. Ему уже не больно».

Да, мертвым не больно! Но их боль взяли на себя мы, ею измеряем степень правды, которую говорим от имени живых и мертвых; мы это вынесли из войны, и нам это нести — в памяти и в литературе...

Все это явственно звучит в том, что пишет прозаик Быков. И в том, что пишет критик Лазарев. Каждый — в своем жанре и в меру своего таланта. Но оба — на бессрочной передовой.

Вот что такое «военный критик». И вот что такое — критик, пишущий по праву знания и любви.

Книга Л. Лазарева — итоговая. Итоговая не только в том смысле, что Л. Лазарев обобщил и привел в систему собственное долголетнее критическое соучастие в творческой судьбе одного из прекраснейших современных писателей. Критик попытался обобщить опыт всей критики «по Быкову», выделяя и развивая плодотворное, с его точки зрения, и отсекая то, что себя изжило, отвергнуто самим временем. А главное, что стремился сделать, чего достичь хотел автор монографии — это увидеть, объяснить, проанализировать богатство всей «системы» быковских повестей. Ведь в прозе Быкова все связано со всем, одно подсвечено другим.

«Уже в первых повестях Быкова, — пишет Л. Лазарев, — проявилась одна существенная особенность художественной индивидуальности автора. Обнаружив какое-то явление, писатель нередко и в следующей вещи (а иногда в нескольких произведениях) не выпускает его из поля зрения, исследуя новые его варианты, словно бы задаваясь вопросами: а что было бы, если бы человек этого типа попал в иную ситуацию, а что было бы, если бы в сходных обстоятельствах оказался человек другого

склада, могут ли иные причины привести к тому же результату и т. п. В основе сюжета Быкова почти всегда случай, а ищет он закономерность. И чтобы убедиться в правильности открытой им социально-нравственной «теоремы», он изменяет «условия задачи».

Книгу, подобную этой — о всей «системе» повестей Быкова — написать мог бы и не Лазарев. Но чтобы написать с таким не только сопереживанием всему, что самим Быковым и его героями испытано, но и знанием того, что они познали, знают, нужно иметь за душой то, что есть именно у этого критика. То есть быть «военным критиком», а что это значит, уже говорилось.

Лазарев стремился и, главное, ему удалось это больше, чем кому-либо прежде, — определить направление и смысл творческой эволюции Василия Быкова. Чтобы этого достичь, мобилизуется не только великая любовь к творчеству писателя, но и скепсис фронтовика, который тоже столько всего видел и от стольких иллюзий там освободился, что возврата к любой «красивости», даже «лирической» (как в «Альпийской балладе»), не прощает и Быкову. Безоговорочная честность перед правдой войны, которая и для прозаика и для критика — «символ веры», не есть лишь «ветеранское», в прошлое обращенное, чувство. Из этой честности рождается, на нее опирается и гражданственность повестей «военного прозаика» в их современном звучании (также как и статей «военного критика»). Хотя можно и обратную зависимость установить, она всегда существует: честно видеть и писать прошлое, войну невозможно не будучи честным во взгляде на современность. «Доводя обстоятельства до критической точки, а героя до катастрофы, — пишет Лазарев по поводу «Атаки с ходу», — Быков судит не только героя, но обстоятельства, коль скоро они толкают его в сторону от человечности».

Высоко оценивая эту повесть Быкова — пожалуй, одну из лучших, — Лазарев, однако, упрекает художника-Быкова в том, что тот потеснил фронтовика-Быкова, который, конечно же, знает, что «Ананьев, заняв высоту и ожидая контратаки противника, установил бы связь с соседним батальоном» и т. д. Т. е. Быков ради художественной цели пренебрег собственным же знанием войны и ее обстоятельств. Это тот случай, где с Лазаревым не соглашаешься: тут уж в самом критике фронтовик (и дотошное знание обстановки) как бы по-

беждает (заглушает) тонкого аналитика и его эстетическое чувство...

Но критические замечания Лазарева в адрес Быкова (а их немало в книге), прямо скажем, — хороший признак. Значит, вокруг Быкова и его творчества обстановка нормальная. Те самые «челюсти», о которых говорилось в связи с «Анной Карениной», прекратили свою механическую работу вокруг этого автора, и теперь настоящая критика может спокойно, без ущерба для писателя, по-деловому разобраться в общем нашем богатстве — творчестве Василия Быкова.

Есть в книге Лазарева одно очень важное, принципиально важное высказывание. Идя от него, многое увидишь и оценишь у Быкова в истинных масштабах. И даль его развития с этой точки видится наилучшим образом...

«Конечно, такого рода склонность Быкова к одному и тому же типу героя таит в себе опасность повторения, — так начинает свою мысль автор монографии. — И если писателю до сих пор удавалось счастливо избежать этой опасности, то потому, во-первых, что Быков стремится ко все более углубленному исследованию нравственного мира своего героя, который прост и незамысловат только для поверхностного наблюдателя, и, во-вторых, потому, что через этот характер раскрываются некоторые важные черты народной войны. Не остывающий на протяжении довольно продолжительного времени интерес писателя к подобного рода персонажам — ничем особенно не выделяющимися до решительного дела, не укладывающимися в трафаретные представления о героическом и не героическом — в сущности, это интерес к народному характеру в его самом массовом проявлении.

Вот почему в повестях Быкова, в центре которых какой-то один эпизод и действует всего несколько человек, явственно ощущается масштаб всенародной войны, в которой решается судьба родины, огромное напряжение гигантской битвы не на жизнь, а на смерть. И сила духа героев Быкова, и свойственное им чувство ответственности, и их самоотверженность — за всем этим неизменно встает народ на войне...»

Черты и правда народной войны, масштабы всенародной войны не только не чужды прозе В. Быкова, но, как очень верно подчеркивает Л. Лазарев, составляют

ее важнейшую, глубинную суть. И ее мощь — добавлю от себя.

Много и подробно писалось о нравственном максимализме, о «пограничных ситуациях» и пр.— о всем том, что тоже составляет силу и отличие прозы Быкова. Пишет об этом, по-своему, с большим, чем прежде, проникновением в глубину названных проблем, и автор монографии.

Но я остановлюсь, задержусь на тех самых чертах, качествах народности быковской прозы, на которые обратил внимание и Л. Лазарев. Сказать об этом подробнее тем более нужно, что сам писатель о самом заветном говорить открыто как бы стесняется. И это во времена, когда так модно клясться и заклинать словом «народность», «народный». Но, может быть, потому и стесняется...

Когда-то мне уже приходилось отстаивать мысль, что показавшаяся непривычной некоторым критикам, даже «избыточной», трагедийность быковской прозы — тоже свидетельство народности. За его повестями — край, народ, который столько узнал о войне, что не может не ощущать по-особенному угрозу и будущей...

Некрикливая, но истинная народность в самом чувстве, отношении к войне и ко всему, что с ней связано, чувство правды, принесенное с фронта, но не в меньшей степени впитанное из времени мирного, из народной памяти Белоруссии-партизанки — все это живет в Быкове и его повестях на самом важном для художника, на эмоциональном уровне. Именно это, усвоенное от народа своего, чутье помогает Быкову оставаться предельно правдивым даже там, где он чего-то и не познал «воочию», «лично». Именно этим поддерживается уровень «партизанских» его повестей — такой же высокий, как и «фронтовых». «Круглянский мост», «Пойти и не вернуться» и особенно «Сотников» учат правде даже тех из писателей, кто сам жил, партизанил в оккупированной Белоруссии и, казалось бы, знает обстановку больше, полнее, чем Быков.

«Волчья стая» хорошее, но далеко не самое значительное среди повестей Быкова произведение. И меня поразило не то, что в нем имеется, а как раз то, чего избежал автор — именно благодаря очень точному народному чувству, чутью правдивости. Другой писатель мог соблазниться: до чего же любопытно вместе с Левчу-

ком позвонить в дверь и войти в послевоенную квартиру «младенца», чтобы взглянуть на него — увидеть, как вырос спасенный человечек, узнать, кем и чем стал!..

Тысячи вариантов и неожиданностей поджидали бы реального Левчука в реальной жизни. И столько же более или менее правдивых вариантов манили, подзывали самого автора. Быков не избрал ни одного: не решился переступить порог. Будто подозревал, что за той дверью и вот это может его ждать...

В одной из полесских деревень, когда записывали уцелевших от карателей жителей, старая женщина рассказала нам, как она, с дважды простреленной рукой.. Нет, пусть сама рассказывает: «А я за это дитя, за Сашку своего, да прижала к себе. Так немец меня — раз! — в руку ранил... Он хотел в Евку попасть да еще раз — мне в руку. И сюда вот. Так у меня рука опустилась. И дитя я пустила. Побежало оно... Побежал бороздкою Сашка. А пахота была высокая, дак они и не попадали в этого хлопчика. А пули разрывные летят. А хлопчик все равно бежит бороздою.

Маленький остался живой, и теперь живет. В Гомеле... Такой пацанок — и остался живой. Били, так по нему били, что, поверьте, пули разрывные горят!.. Я еще чувствовала немного, так посматриваю и думаю: «Ну, все!..» А оно, бедненькое, катилось по этой борозде. Пахота высокая, а оно маленькое... Так что же это такое делается?..

Ой, что уж это! — это же не война была, а прямо так... Какая же это война?! Ну, тот, что на фронте, взрослый, ну, он хоть был солдат, ну, того человека убьют, — дак он же воевал, ведь правда? Но дети, дети! А дитя то бедное? Ребенок! Он же, бедный, нигде не был. Также убивали... Это дитя маленькое бежит... За что же его? Оно же маленькое, оно ж дитя! Оно же, как яблочко, катилось, а они бьют, разрывными, искры скачут...»

Это так звучало, это так рассказывалось, что мы и в Гомеле стали искать продолжения — встречи с тем Сашей. Нашли улицу, дом, позвонили у двери. Открыла женщина и на наш вопрос ответила вопросом же:

— А что? Может, его уже убили?..

— ?!

— Скорее бы уже дружки прирезали его или что!..

Впустила в квартиру и там все о том же, те же горько-озлобленные причитания: пьяница, утаскивает и пропи-

вает детские вещи, избитый домой возвращается, дерется, детей пугает...

Поделом нам! Рассиропились, бросились, побежали заглядывать в «конец книги», но жизнь — это тебе не трогательная беллетристика, где из спасенных младенцев вырастают обязательно достойные затраченных на них слез и усилий граждане и отцы.

Конечно, наш вариант — совсем не обязательный. Пусть даже исключительный. Но он тоже поджидал Левчука (и Быкова) за дверью...

Вот уже два десятилетия Василь Быков одну за одной «расставляет» свои повести. Не шеренгой, хотя они и «военные», не в затылок, а скорее — как партию на шахматной доске. Какая-то из повестей — «ферзь», другая — «слон» или даже «пешка». Но ценность каждой определяется еще и расстановкой «фигур». Силовые линии незримо протянулись от каждой ко всем и от всех — к каждой.

Книга Л. Лазарева посвящена анализу всей «партии» — как она складывалась и во что сложилась. И какой может быть следующий «ход».

Действительно, какой?

Мне он видится — в еще большем заострении все тех же народных начал быковской прозы. Быков никогда не станет расписывать, как наличники или пряник, национальный характер. Просто постесняется этим заниматься, а не потому, что не сумел бы. Но интерес к национальному характеру, к крупному народному типу с каждой повестью у него усиливается, углубляется: а что мы, кто мы в этом вскипающем мире? За что держаться, от чего отказываться, чтобы служить добру, свету, а не чему-то другому?

Поразительное это в нем — постоянная свежесть, острота эмоциональной памяти. Краски выцветают не только на картинах, но и в книгах — если они недостаточно прочные. А секрет литературной прочности и долговечности — прежде всего в эмоциональной силе произведения. Быков один из тех писателей, память которых о войне и через 20—30 лет и после десятка повестей не выцветает. А таких очень немного. Время обидные фокусы умеет с нами проделывать! Сам не заметишь, как начнешь пускать беллетристические кораблики по человеческой крови.

В чем-то даже повторяясь, Быков умеет избежать

самой большой опасности — это когда писатель иммитирует переживания и чувства прежних своих произведений. Там он их заново пережил, а тут симмитировал — такое нередко случается с многопишущими. Быков же в каждой новой вещи действительно заново испытывает весь жар и озноб войны, боя, смерти, готовности к самопожертвованию. А с ним — и читатель.

Эта способность в Быкове как бы не подвержена никакой амортизации — и это поразительнее всего! Но и эта способность, а значит и эмоциональный потенциал быковских произведений может возрастать и возрастает, когда вещь рождена не только «природной» эмоциональной памятью и умением — а это при нем всегда — но благодаря тому еще, что писатель снова куда-то продвинулся, ушел от себя прежнего, открыл в мире и в себе то, что не было ему видно, до чего не дотягивался.

Такие книги, как монография Л. Лазарева, написанные по праву знания и любви, помогают и писателю самого себя видеть впереди — в той вещи, над которой он работает.

Ведь так, Василь Владимирович?

НАДО ЛИ БОЯТЬСЯ «ЧУЖИХ» КЛАССИКОВ!

Подсчитано, что из 591 рецензии, которые в 1977 году появились в русских журналах и газетах, только три были отрицательные. При этом имелась в виду и продукция журнала «Литературное обозрение», в котором участвуют также и «республиканские» критики, рецензируются произведения и литератур национальных.

Ну, а как у нас, в Белоруссии, тоже все проходит со «знаком качества»? Много у нас рецензий отрицательных, резко критических? Также немного, а точнее — совсем мало.

Значит, все принимаем «на ура», всему, что пишем, радуемся, все приветствуем?

Тожe нет. Плохие произведения, серые и бесталанные, если они преодолели препоны журнальные, издательские, все же подвергаются нашей критике. Но я назвал бы ее «критикой молчанием». Просто не замечаем, не называем, как бы и не существуют эти авторы, эти произведения.

Конечно, ее можно и даже следует раскритиковать — такую критику. Мы игнорируем серую, бесталанную литературу, а ей это, может быть, и надо. Этого только и хочется. Чтобы ее не замечали, чтобы игнорировали. Она не гордая.

Правда, только до определенного момента ей это нравится. Проходит время, и автор, которого вполне устраивало такое положение, начинает выражать нетерпение, становится все более обидчивым.

Да, наступает момент, когда молчание уже не устраивает никого: ни автора определенного сорта книг, ни критику.

Человек напечатал десяток рассказов, уже повесть напечатал, и не одну, даже цикл повестей у него выстраивается, а критике по-прежнему все равно, есть он в литературе или нет его. Уже и должность в журнале или на радио-телевидении этот автор заполучил; уже сам решает судьбу других авторов, произведений чьих-то... У кого хотите лопнет в конце концов терпение! И оно лопается.

И тогда появляется, например, большая статья...

Вроде бы статья как статья. И почему бы человеку не написать о хорошем романе хорошего автора и заодно не высказаться о положении в нашей литературе и критике?

Вот и Генрих Далидович написал, напечатал — о «Чужой родине» В. Адамчика, о литературе всей, о критиках, которых давно надо поправить. (Шаги к большой книге.— Лим, 1980, 6, 13 июня.)

То, что говорится в статье о романе «Чужая родина», весь пересказ его — сцена за сценой, образ за образом, подробно, описательно, без каких-либо открытий, серьезных мыслей — малоинтересен для тех, кто читал роман Адамчика. Но таков уж стиль Г. Далидовича — тоже знакомый тем, кто читал «цикл» его повестей об учителях и завучах, которых так и хочется назвать мертвым словом «шкрабы» — так неинтересно у Далидовича рассказывается о неинтересных людях.

Зато очень интересно читаются абзацы о критике в его статье. Здесь по крайней мере угадывается страсть — и подспудная и выплеснувшая!

«Пишу так и, кажется, слышу знакомый голос критика: стоп, стоп! — вдруг как бы вздрагивает Г. Далидович.— Как это так, что писатель имеет только свой жизненный материал, свои философские и эстетические воззрения, «вливает» в свою память народную память, и его произведения растут, как колосья на своей национальной почве? А влияния? А Золя? А Достоевский? Толстой? Шолохов?

Некоторые критики склоняются к такому подходу в оценке явлений литературы, в прогнозировании ее дальнейших путей: «Черный пошел» от Достоевского и Золя, «Полесская хроника» — сестра «Тихого Дона», «х» — падчерица «у», «а» — «б» и т. д. На первый взгляд это и хорошо. Вон как высоко оцениваются произведения, вон с чем они сравниваются! Но если глянуть на это

внимательней, так можно и задуматься: а самостоятельная ли такая литература, оригинальная ли, не эпигонская ли случайно?... Мол, все «привозное» — и почва и мысли...

Хотел бы я прочесть те работы, статьи, где действительно доказывается, что «Черный пошел от Достоевского и Золя», а почва нашей литературы «привезена на железнодорожных платформах». Пожалуй, только в раздраженном сознании автора статьи такие критики с такими взглядами и существуют.

Если так подходить к «своей» литературе, как Генрих Далидович, понимать ее самобытность, «самостоятельность», как он понимает, — представляю, как должны были бы обижаться на современных исследователей русские. Ибо о «самом» Достоевском сегодня пишут, что он «не смотрел на свою художественную работу как на плод одних лишь собственных творческих усилий, но видел в ней продолжение коллективной работы писателей разных стран и эпох, проявление общих по своему замыслу тенденций и закономерностей развития национальной и мировой литературы» (Фридлендер Г. Достоевский и мировая литература. — М.: Худож. лит., 1979, с. 141).

Тем, кто «обиделся» бы за Достоевского (как Г. Далидович — за Черного и литературу белорусскую), можно было бы напомнить слова самого Достоевского: «Вот он ставит мне в вину, что я эксплуатирую великие идеи мировых гениев. Чем это плохо? Чем плохо сочувствие к великому прошлому человечества? Нет, государи мои, настоящий писатель — не корова, которая пережевывает травяную жвачку повседневности, а тигр, пожирающий и корову, и то, что она поглотила» (см. Вильмонт Н. Великие спутники. — М.: Советский писатель, 1966, с. 9).

Ну, а насчет того, не придумка ли наших критиков и литературоведов эта проблема — *близость-спор* (через всю творческую жизнь!) Черного с Достоевским (а именно так ставился вопрос и в моей давней работе «Масштаб-нась прозы»), так лучше послушаем самого Черного. В 1955 г. Иван Мележ напечатал в газете «Літаратура і мастацтва» (3 декабря) воспоминания о своих встречах и беседах с Кузьмой Черным.

«В тот вечер писатель много говорил о литературе, больше всего о Толстом, которого очень любил.

— Вы любите Достоевского? — неожиданно спросил он.

Помню, я сказал, что Достоевский кажется мне очень мрачным писателем, что люди у него болезненные, и настроение в произведениях нездоровое, и стиль какой-то сумбурный — будто сидел и писал, писал, не очень обдумывая заранее.

— Это вы напрасно наговариваете на него. Болезненность — правда. А вот что не обдумывал — ошибаетесь.

Он наклонился над столом и взял одну книжку.

— Смотрите, какие предварительные заметки к «Братьям Карамазовым».

Он подал книжку. Это был том «Литературного наследства» — наследие Достоевского. Обождав, пока посмотрел открытую страницу, он восторженно сказал:

— Вот знаток души! Вот психолог! Гениальный человек!.. Одни «Братья Карамазовы» — какая глубина чувства... Будет время, перечитайте, присмотритесь.

Помолчал.

— Всем бы нам писать своих Карамазовых. Не больных — с такой силой».

Но вопрос поставлен снова — Далидовичем. Нужны или не нужны нам и нашим классикам «чужие» классики? А соответственно и — должна или не должна, имеет или не имеет право критика наша «подсвечивать» нашу литературу, когда изучает ее, широко, всерьез, другими литературами, видеть и рассматривать произведения наши в «силовом поле» других литератур, мировой литературы?

Говоря напрямик: полезно или вредно это — такой подход, такие критерии — для нашей литературы? А еще конкретнее — кому он вреден, а кому полезен, каким авторам и каким произведениям — высокий и даже высочайший критерий оценок?

И проблема для нас не новая, и споры. В 50-е и 60-е годы вокруг этого какие еще страсти закипали! И сторонники «эстетического протекционизма» обычно пользовались теми же, что и Далидович, приемами. Один из приемов — польстить своей литературе, собратьям-писателям: что, мол, вам эти Маркесы да Фолкнеры (даже Шолоховы и Достоевские), если вы для своего народа сделали даже, может, больше, «пошли дальше и глубже», как сказано у Г. Далидовича.

Какая уж тут «сестра «Тихого Дона», если мы и сами — вон с какими усами!

Кстати, это выражение: «Полесская хроника» — белорусская сестра «Тихого Дона», впервые прозвучало на одном из последних авторских вечеров Ивана Павловича Мележа, и я что-то не заметил на лице его неудовольствия и обиды за белорусскую литературу.

Большие писатели, истинные таланты, по-настоящему заинтересованные в успехах и авторитете национальной литературы, — те же Чорный, Горецкий, Колас, Мележ — все они ориентировались и ориентировали нашу литературу не на провинциальное зазнайство, а на смелый выход на перекрестки больших литератур, где «запросто встречаются» Шекспир и Достоевский, Пушкин и Мицкевич, Данте и Толстой.

И если литература белорусская на тех перекрестках все больше чувствует себя «своим человеком», то именно потому, что она в свое, в национальное, углубилась и углубляется, вооружившись большой, и не только национально-белорусской, культурой человековедения.

Поводом оспаривать эти очевидные вещи для Далидовича послужил роман В. Адамчика. И совершенно без всяких оснований к тому — Адамчик и его роман тут ни в чем не повинны. Потому что как раз этот роман и этот прозаик — еще один пример того, что национальная глубина и богатство характеров постижимы лишь для писателя большой культуры. Это только он прикидывается простачком, наш Вячеслав, а на самом деле он вон какой — Толстого читал (и не просто читал, а дотошно изучал) по 90-томному изданию, а Достоевского проштудировал всего, до записных книжек включительно. (Вот за что приходится расхваливать белорусского автора! Но что поделаешь, если автор статьи вынуждает нас это делать.)

А вот еще один полемический прием, хорошо знакомый нам по дискуссиям и выступлениям 50-х годов, — это когда средненькая, а то и просто серая литература свой страх перед теми «перекрестками», где сразу заметно, кто и чего стоит, выдает за заботу о национальном достоинстве, о самобытности белорусской литературы. И даже об идейной ее чистоте. Впрочем, не столь важно, на чем акцент делает эта «средненькая» — преимущественно «идейности» (как в 50-е годы) или на «самобытности» (как сейчас). Мотивы, побуждения все те же:

желание смазать эстетические критерии, снизить их, утопить в провинциальном чванстве. Без этого ей, средненькой, существовать, может быть, и можно, но процветать трудненько. А ей именно процветать охота. Быть на первых ролях.

Вот и это помнится — из прежнего.

В журнал «Советский Союз» поступило письмо на бланке.

Дело в том, что журнал этот напечатал небольшую заметку о белорусских «военных» писателях, где упоминались Быков, Брыль и другие. В письме на бланке было сказано: «Названные вами писатели не получили широкого признания у народа. Вы неправильно информированы. Признание получили...» И далее предлагался (к сведению и для руководства) такой вот список: «Алесь Савицкий, Антон Алешка» и др.

А если еще глубже заглянуть — в мотивы, в побуждения средненькой, но такой агрессивной литературы...

В те, 50-е, как-то пришлось мне с глазу на глаз встретиться с автором романов, которые забыты сегодня намертво, а тогда претендовали на то, чтобы быть эталоном «идейности», «актуальности» и т. д. Только об этом автор и его сподвижники и говорили, гремели с трибун и на страницах прессы: о современной теме, о патриотизме, о служении народу...

А тут, разгоряченный, видимо, не столько обстановкой кафе, сколько тем, что мы, постоянные и ожесточенные оппоненты, впервые остались вот так один на один, он вдруг сказал мне... Посмотрел в упор, вдруг шторы какие-то раздвинулись в глазах его, и оттуда выглянул некто. Выглянул и сказал быстро, торопливо: «Ну ладно, ну плохие мои романы, толстые, плохие! А тебе какое дело: твои деньги, что ли?..»

Каюсь, после этого я перестал ругать его романы. Стало тошно, стыдно стало, что столько эмоций и энергии мы тратили на «литературную борьбу» с тем, что к литературе никакого отношения не имело.

И был, конечно, не прав, потому что «нелитература», если ее игнорировать, делается только агрессивнее.

А это уже из воспоминаний — о тех же 50-х и 60-х — Сергея Залыгина. О его беседе с Александром Твардовским.

«Как-то я заметил:

— И что это вы, Александр Трифонович, все ругаете

и ругаете в журналах одних и тех же авторов? Раз, другой — это куда ни шло, ну а сколько же можно, не без конца же?!

И тут же я понял, что разговор будет серьезным и сердитым.

— Надо! Обязательно надо! — начал этот разговор Твардовский. — Плохие книги не потому плохи, что они плохие, это бы полбеда: они — живучие¹.

Да, очень живучие! И формы борьбы за свое существование, и не лишь бы какое, а именно господствующее у них — у плохих книг, у серой литературы — самые разные. Но главный прием ее — снизить идейно-эстетические критерии и эти сниженные критерии сделать нормой. Объявить их высшей — для своей, для «родной», литературы — нормой. Зачем нам Достоевские и Толстые?! А потом уже и Черные — зачем? Никто нам не пример, «не указ»!

Так и говорится в повести Далидовича «Завуч» (голос его «шкрабов», но и явно авторский голос): «Честь тебе, если у тебя не от Фолкнера, не от Чорного или еще от кого, а свое. Своя тема, свои конфликты, свой эстетический идеал, образ положительного героя»².

Вроде бы и правильно, но когда это говорится в повести (и как бы «от имени» повести), на удивление беспомощной, ученически вялой и претенциозной, — заявления такие звучат вызовом, забавным, но вызовом.

Так и вертится на языке:

Не, не кажыце: гной няроўны.
Найлепшы той, што зробіш сам.
Бо ён жа твой, уласны, кроўны,
Як твор, які ты напісаў.

Ох, это «свое» и это «чужое» — чего только не наворочают люди пишущие, когда пропадает чувство меры!

Вдруг читаем — черным по белому — в сборнике «О литературе для детей», выпущенном ленинградским издательством:

«Наши» и «чужие», «мы» и «они». Социальная психология говорит, что с этого начинается национальное сознание. Оно должно наполниться духовностью, знанием и уважением своей истории, своей культуры, чтобы

¹ Воспоминания об А. Твардовском. — М.: Советский писатель, 1978, с. 240—241.

² Далидовіч Г. Мілаўкі: Аповесці. — Мн., Маст. літ., 1980, с. 233.

вырасти в одно из самых могучих, глубоких чувств, какие только может испытать человек — в чувство патриотизма».

Мария Полежаева в «Вопросах литературы» (1980, № 5) хорошо объяснила этому «теоретику» существо истинного патриотизма, который обогащает человека, народ, литературу не тем, что будто бы разделяет на «наших» и «чужих», а тем, что сближает всех людей против нелюдей, культуры сближает против варварства, направляет литературы по одному для всех пути гуманистического развития.

Нам, кто участвовал в напряженнейшей литературной борьбе за высокие, выверенные классикой (своей и «чужой») критерии, которая велась в Белоруссии в 50-е и 60-е годы, совсем не безразлично, какую эстафету примет литературная смена — молодые поэты, прозаики, драматурги, критики.

Не хочется думать, что точка зрения работника журнала, где печатаются преимущественно молодые авторы, как-то отражает «сдвиг назад» в среде тех, кто помоложе, — к уже пройденному, преодоленному нашей критикой, литературой.

Те литераторы, которые идут следом за поколением «военным» и за «филологическим» (как его одно время именовали), конечно же, должны будут пройти через собственные поиски, сомнения, ошибки, обретения. Но пусть не повторяют чужих ложных ходов, не тратят на это душевные силы и необратимое время. В том, что проповедует Г. Далидович, есть дурной соблазн как раз для молодых, начинающих: действительно, пока не окрепли, давайте ориентироваться на «местные» критерии! Потом, мол, поменяем на более высокие. Когда подрастем.

Не поменяете! Потому что не подрастете. Если будете следовать таким советам. Чтобы появилась надежда, что станете Брылями, Быковыми, Адамчиками (не по стилю, а по масштабу, конечно) и будете держать высоко авторитет белорусской литературы, как они держат, надо равняться не только на своих, но и на «чужих» — да, да, на Толстого, на Достоевского, Чехова, Шекспира, Данте. Как те же Быков, Брыль, Адамчик, Танк, Панченко «равняются», хотя и никогда, ни на миг не забывают, что они белорусские писатели, люди своего времени, патриоты своей земли.

ВСЕМ ВЕТРАМ ОТКРЫТАЯ...¹

Сначала — слова самого писателя из автобиографии 1928 года:

«Тов. Клейнбарт! Честь имею дать Вам краткие автобиографические сведения о себе. Родился на Случчине, в местечке Тимковичи, в бедной крестьянской семье... Окончил я учительскую семинарию в Несвиже, работал в волостных исполкомах, потом был в Красной Армии, демобилизовавшись, был год учителем, затем пешком пошел в Минск учиться. Учился в университете, учился мало, больше занят был поисками работы. Грузил на станциях дрова, нанимался колоть их на складах, у частных козьяев, жил, тосковал, болел, радовался, голодал. После занялся журнальной работой, занимаюсь ею и по сей день, работая в редакции газеты. Кроме романа и повести, занимаюсь сейчас драматургией, где стремлюсь дать живых людей, как самое важное, что живет и действует среди событий в мире, в них, с ними и на фоне их. Проблема живого человека занимает меня все время. Это фактически новаторство в белорусской литературе, и оно понуждает искать новые формы, работать над ними. В этих моих стремлениях, которые в Минске некоторые лица не хотят понять, поддержали меня идеи нынешней культурной революции. Литературное объединение «Узвышша», к которому я принадлежу, как раз и борется за литературный столичный Минск, против Минска — как губернской провинции, с консерваторскими взглядами на литературу и традициями губернского масштаба.

¹ Доклад — к 80-летию со дня рождения Кузьмы Чорного (1980).

Пишу много, много работаю и думаю над формой. Вот краткие сведения о себе. Главное, что мучит меня с самых молодых лет моих, это страдания человека на земле, которые у нас еще не уничтожены и за уничтожение которых мы все теперь боремся. Это потому, что я вышел с самого «дна» нашей белорусской жизни и с этим «дном» и теперь связан духовно и физически».

Это было «пока». А потом много чего еще было, случалось на непродолжительном, как для прозаика, жизненном и творческом пути Николая Карловича Романовского. Еще пятнадцать лет напряженной и обязательной, как дышать, работы над словом, строкой, страницей — создавались, выходили к читателю новые рассказы, повести, романы, подписанные таким спокойным и обстоятельным, обжитым, как сама земля урожайной Случчины, псевдонимом: Кузьма Чорный.

И до последней записи в дневнике в последний день жизни — 22 ноября 1944 года: «Боже, напиши за меня мои романы...»

Не обошло его, сына своего народа, человека своего времени, ничто в 20—30—40-е годы — ни хорошее, ни плохое. Что ж, писателю и не должно быть легче, чем всем остальным. А иначе как он выполнит свою роль, свое предназначение исполнит — передаст со всей правдивостью, личной причастностью всегдашний драматизм, сложность человеческого существования на земле?

Единственное, на что писатель имеет право пожаловаться в конце жизни, — это если он не имел возможности отдать всего себя избранному делу.

Возможность писать, творить, расти в своем деле вместе с той крестьянской массой, из которой он вышел в литературу, — такую возможность Чорному открыла революция.

И Кузьма Чорный возможность эту использовал, может, как никто из его ровесников. Он меньше других потерял времени на пену («буропень»), на шумные и небезобидные литературные игры-забавы тех лет. Почти сразу пошел за плугом, как потомственный пахарь, ровненько, без подскоков.

И если все же в конце пожаловался (на самого себя), что будто бы «всю жизнь писал для дураков и врунов» — это значит поддавался определенного сорта критике — и пообещал самому себе, как поклялся, что теперь все будет иначе и ничто уже не сдвинет, не столк-

нет его с пути, на который вывела и его тоже трагедия и героизм народа во время военного лихолетья, с тех позиций, которые отвоевал и упрочил в романах «Млечный путь», «Великий день», «Поиски будущего», так этим он никак не зачеркнул для нас все прежнее — ни «Любу Лукьянскую», ни «Третье поколение», ни «Отечество», ни тем более «Левона Бушмара», «Землю» или «Сентябрьские ночи»...

Вспомним, что не менее горькие слова вырвались в конце жизни и у Довженко и у Шукшина. А еще раньше — и не один раз — у Толстого.

Это не просто неудовлетворенность собой — ее знают и посредственные литераторы. Это что-то большее: готовность и способность много раз начинать как бы с самого начала. С новой и новой предельной самоотдачей. Это вечная молодость таланта!

Даже не Лев Толстой, а сам творец нашего грешного мира, согласно Библии, был предшественником в таких делах и настроениях. Все шесть дней творения ему казалось, «что это хорошо», но зато потом! Сколько раз потом хотелось все стереть, смыть водой, выжечь огнем. Чтобы начать сначала?..

Создатель белорусского эпического романа не раз говорил, писал о своем намерении, плане — построить, воссоздать законченный мир белорусского жития-бытия. Исторического, социального, психологического, интеллектуального. По горизонтали — история и быт белорусского народа, по вертикали — философия человеческого существования на земле. Белорусское и общечеловеческое в органическом, в художественном единстве, синтезе.

И он много, необычайно много успел, смог за свою недолгую жизнь.

После его рассказов и пьес, повестей и романов сделалось как-то просторнее в литературе белорусской, легче стало дышать и литературе и языку нашему воздухом истории. И современности воздухом. Кубатура легких наших как бы стала больше, сразу увеличилась. Как после Купалы и Коласа увеличилась. После Горецкого. А совсем недавно — после «Полесской хроники» Мележа.

Все писатели, поэты, драматурги, даже критики этому способствуют, если они чего-то стоят. Но чтобы все вместе почувствовали, ощутили: вот теперь мы можем

поднять и нести большую тяжесть! — для этого нужно, чтобы рядом начал работать талант особенный.

Большие писатели, оставляя нам свой опыт, произведения свои, оконченное и неоконченное, оставляют еще и то, что Достоевский в своей речи о Пушкине обозначил словом «тайна».

В самом конце пути своего Кузьма Чорный воззвал: «Боже, напиши за меня мои романы...» И добавил: «Разве так молиться, что ли?»

А может, он молил-умолял тех, кто придет после? Всю литературу белорусскую молил: напиши!

Его романы за него написать? Это, конечно, невозможно. Как не напишешь, не допишешь за Мележа его «Полесскую хронику». Дай бог хоть бы собрать и напечатать с наибольшей полнотой то, что осталось в архивах Мележа.

Интересно, что были тем не менее попытки (и, конечно, безнадежные) продолжить, продлить, перебросить в послевоенные обстоятельства романские ситуации Кузьмы Чорнага, «развить» его образы (Михала Творицкого, например, в романах В. Карпова). Попытки такие демонстрировали всего только несоответствие уровней.

Принципиально иными и действительно плодотворными можно считать те тенденции и случаи, когда Кузьма Чорный помог или помогает писателю лучше почувствовать, увидеть свои Тимковичи — то, что Твардовский назвал «малой родиной». (Которая, по его же словам, как и память детства — самый необходимый, «неразменный» капитал для любого художника.)

Абрамов Федор, когда я начал соблазнять его «блокадной» темой, работой, показал мне на сундук — обыкновенный, деревенский. «Что там?» — «А там все мои планы, должок мой на десять или больше лет вперед. То, что я привез и привожу из своей деревни каждое лето...»

Хорошо известны слова Чорного о том, что только тимковичской улицы хватило бы ему на десяток романов. Когда мы, группа писателей и артистов, ездили этим летом на родину Чорного — на юбилейные торжества, — я все поглядывал на тимковичскую улицу, на окна домов (все уже, конечно, изменилось), тщетно пытаюсь вообразить, представить те ненаписанные романы...

Но мы читаем сегодня не те, так другие романы,

повести, рассказы, иначе написанные, другими художниками, по-разному, но с сыновней искренностью написанные — и тоже о малой своей родине: Мележа и Брыля, Кулаковского и Скрыгана, Витки и Янковского, Стрельцова и Адамчика, Чигринова и Полторан, Науменко и Мартиновича, Василевич и Ипатовой, Сипакова и Карамазова...

Эта чорновская традиция (а раньше если брать, то и коласовская, Горецкого, Бядули традиция) нашей прозы. Точнее — одна только грань ее. Есть еще и другая, обязательная — если проводить линии к названным писателям. Сегодняшние наши писатели умеют (а если кто по-настоящему еще не умеет, так учится) видеть и показывать через свою «малую родину», за ней — всю Белоруссию, всю нашу, общую для советского народа, историческую судьбу, а еще дальше, глубже — судьбу человека и человечества на земле. Без этого лучше не вспоминать, как говорят «всуге», имя и традиции Кузьмы Чорного. Ибо он, как никто другой у нас, сознательно и целенаправленно шел, выходил от «своего» обязательно ко «всеобщему», от судьбы белоруса к судьбе человека и человечества на всей планете. «Тимковичи» и «весь мир» в произведениях Кузьмы Чорного действительно соотнесены, стоят рядом. Потому что, как говорил, писал Кузьма Чорный, белорус-крестьянин (тот же тимковец) — это человек, в котором каждый, «у кого есть глаза, увидит и найдет и Эжени Гранде, и Ивана Карамазова, и Андрея Болконского...».

Не замечать этого, значит снижать Чорного до провинциального уровня, а любой провинциализм ему всегда был чужд, оскорблял в нем чувство национальной гордости.

Помните, еще в 1928 году:

«В этих моих стремлениях, которые в Минске некоторые лица не хотят понять, поддержали меня идеи нынешней культурной революции». И дальше: «...за литературный Минск столичный, против Минска — как губернской провинции, с консерваторскими взглядами на литературу и традициями губернского масштаба».

Так какую же «тайну» наши классики нам покинули? Какие исторические цели, задачи, ими начатые, продолжать нам? В условиях конца XX столетия. Когда над всем витают огромные надежды, но и угрозы, опасности наиогромнейшие.

И надежды те и угрозы — общие для всего человечества. А потому и для нашей литературы они свои, а не чьи-то. Как свои они Быкову, например, вселенские проблемы войны, мира, подлинной человечности.

Есть и специфические проблемы. И тут также по-ищем, спросим советов у них — великих предшественников.

Наши литературные классики работали в условиях, когда Белоруссия была краем преимущественно «деревенских людей», как называл своих героев Кузьма Чорный. А литература стояла, более того, «плавала» на море белорусскости, языка белорусского, как «плавает», говорят геологи, наш Минск на подземном море.

Деревенские люди стали или становятся горожанами. Процент уже перевалил за полста. Это процесс всеобщий, характерный для большинства стран современного мира. А в Советском Союзе, как засвидетельствовала статистика, наибольшая динамика характерна как раз для Белоруссии.

То языковое море, которое окружало города, вливалось в города, как Вилия влилась в минскую Свислочь, море, на котором «плавала» литература во времена Купалы, Коласа, Горецкого, Чорного, — оно уже не то.

Что же на волне этого процесса делать литературе, как ей быть, как и чем влиять на процесс?

Как-то получил письмо от выдающегося писателя из нашей Средней Азии — и как раз в связи с творчеством Кузьмы Чорного. Познакомившись с моей книжкой о Чорном, что была издана в Москве (а услышал о ней от Аркадия Кулешова), он написал мне, и в частности о том, что деятели культуры в других республиках с особо пристальным вниманием присматриваются к процессу, языковому и литературному, что происходит в Белоруссии.

Значит, тем большая ответственность на нас, в том числе и на писателях.

Так какими же путями двигаться белорусской литературе сегодня, завтра? — не у Адамовича, а у классиков наших спросим.

Разные на это сегодня существуют взгляды, сомнения, мысли, ответы.

Но может возникнуть (и уже возникает) и такое настроение: что ж, мол, будем писать хотя бы для тех,

для кого мы интересны. Сколько есть у нас читателей, столько и хорошо. Мы не гордые. А ведь это значит кончать тем, с чего начинали Богушевич и Дунин-Марцинкевич...

Конечно, при таком настроении, достаточно первоначального опыта зачинателей белорусской литературы — бытовизма, этнографизма, трепещущего огонька лиризма.

И уже не нужен будто бы купаловский размах — с целым миром от имени белорусов по-белорусски вести разговор! Или чорновский опыт — рассказывать о бездонном мире человека то, что важно, интересно для всех людей на планете...

Об этом опыте К. Чорного мне доводилось писать в специальных работах.

Приведу лишь вот это высказывание К. Чорного:

«Все величие белорусской литературы в том, что она уже давно «завоевала» весь мир, потому что в ней ставятся и решаются проблемы интересные и нужные всему человечеству». (Это из статьи: «Сила нашей культуры — в интернационализме».)

А в его статье, что печаталась в «Литературной газете» в 1934 году, с характерным названием «Писатель писателю — брат» (видите, и тогда это нужно было доказывать), читаем вот что:

«Раньше иногда возникала мысль, что мои работы не получают достаточного резонанса, что дальше пределов Белоруссии они не пойдут. Во время работы не было ощущения, что пишешь в Минске, а прочтут везде, не было того ощущения, которое счастливо сопутствует работе русских писателей. Оторванность, изолированность от русских, украинских, армянских читателей, территориальная замкнутость — вот что мешает. Ведь когда пишешь какую-либо вещь, то в основу ее кладешь не тот или иной образ, не то или иное событие, а определенную проблему, которая в рамках национальной формы должна перерасти в социалистическое содержание. Типы, носящие белорусские имена, взятые из белорусской жизни, должны стать обобщенными образами, понятными всем национальностям».

«Всем бы нам писать своих Карамазовых!» — вырвалось у Чорного под конец жизни (в разговоре с Иваном Мележем).

Для чего, спросим? Чтобы повторить Достоевского?

Оставить свою, пусть более бедную, ниву и пойти арендовать соседскую? Богатым детей качать?

Самого Чорного могли бы сегодня упрекнуть за такие слова некоторые литературные хуторяне, которым кажется, что на семи ветрах мировой литературы белорусская развеется по ветру, погаснет...

Нет, именно на семи ветрах, как и вчера, и позавчера — когда творили Купала, Колас, Чорный — только в таком направлении, но еще с более решительным выходом на перекрестки развитых литератур, только так может плодотворно развиваться литература в современном мире.

Слова Чорного «своих Карамазовых, с такой силой» звучат сегодня как подсказка и требование самого времени. Долг белорусских писателей перед литературой, перед языком своего народа — писать так, чтобы белорусскую книгу искали, чтобы считалось — без нее не обойтись. Как ищут сегодня каждую новую повесть Быкова, где бы ни была напечатана — в русском или белорусском журнале. Почему он нужен, Василь Быков, — а значит, и такая вот белорусская литература, белорусское слово? Русский критик Игорь Дедков в книжке «Возвращение к себе» отмечает, что «проза В. Быкова выросла в одно из самых выразительных явлений нашей литературы, нашего морально-этического сознания». Так что не легкая беллетристика, за которой также погоня бывает, а вот что: *часть нашего морально-этического сознания*. И цена тем 80 тысячам подписчиков его Собрания сочинений, которые хотят прочитать Быкова именно по-белорусски, также настоящая. Они ищут у белорусского автора ответы на самые серьезные вопросы жизни, на «проклятые» вопросы века.

А сколько людей читают его на русском, на других языках. Его и других наших лучших прозаиков, поэтов.

Но тут нашей радости и гордости сразу начинает мешать мысль: но что все-таки получают читатели за пределами Белоруссии? Мысль о переводах, их качестве, уровне. Вопрос этот очень беспокоил еще Чорного. (Та же статья «Писатель писателю — брат».) И не напрасно беспокоил, как засвидетельствовало время. Чорный, его произведения так и не вышли ко всесоюзному читателю в переводах, которые открыли бы миру мощь и глубину прозы Чорного.

Кто знает, если бы жил он сегодня да понаблюдал бы

за горбачовским конвейером, где главное звено переводческого процесса — машинистка, может, ужаснулся бы и взмолился, как в свое время автор «Полесской хроники». (Очень горькие и гневные слова насчет этого в записных книжках Ивана Мележа.) Или начал бы сам себя переводить. Как Быков. Это вообще не новость, а возможно, что и примета времени — высококвалифицированный, подлинно художественный самоперевод на язык всесоюзного читателя — русский. Стоит вспомнить и такие примеры: Ион Друцэ, Чингиз Айтматов и др.

Пусть кто-то хитренький (для кого, может, нужен не столько толмач, сколько толкач) считает самопереводы заботой об одном себе, а я вижу в том, что делают Быков, Друцэ, которые наконец перестали соглашаться, что произведения их дискредитируют переводческой халтурой перед всесоюзной аудиторией, — в этом вижу обиду за всю свою литературу, заботу об авторитете белорусской, молдавской и других литератур в мире.

Что касается Чорного, звучания его произведений на всесоюзной арене, то это наш невыплаченный долг. Может, и мой — не буду прятаться за других. Но все же, может, и Бурьяна, который уже начинал такое дело. Или Кислика, который недавно блестяще перевел Купалу — произведения, ранее неизвестные русскому читателю.

Многие из нас вышли к всесоюзному читателю даже более «широко», чем тот же Чорный. Или, например, Максим Горецкий. Однако не будем наивными: мы не вышли, мы убежали. Впереди батьки. Но придет туда «батька», и все всем станет понятно: кто и чего стоит.

Чтобы авторитет белорусской литературы рос, ширился за пределами республики (а это, можете быть уверены, усилит ее влияние и на нашего читателя-горожанина), нужно больше заботиться, печься о реальном выходе нашей классики к всесоюзному читателю.

Идя навстречу всем ветрам — так и только так можно раздувать пламя, ширить свет литературного дела, начатого когда-то Богушевичем, Купалой, Коласом, Бядулей, Горецким. Идти смело, открыто, как шел навстречу этим ветрам Кузьма Чорный — вместе со своим читателем, о котором он писал: «Бывший вековечный батрак, несчастное создание, панский невольник, которому даже не только не давали хлеб после каторжной работы, а даже глумились за то, что он говорит по-бело-

русски (так, как поляк, скажем, говорит по-польски, немец — по-немецки), этот человек теперь приобщается к высочайшим достижениям культуры. Он знает, ценит и любит Гете и Шекспира, Льва Толстого и Адама Мицкевича, Тараса Шевченко, Янку Купалу».

Навстречу ветрам, большой всечеловеческой культуре несут свет нашей литературы, культуры и сегодняшние лучшие поэты, прозаики — Максим Танк и Панченко, Брыль и Бородулин, Быков и Пысин. И многие, многие другие.

И более молодым идти, не боясь, что «задует», что выдует из них «свое». Если выдует, следовательно было слишком легонькое, поверхностное.

Помню первое в нашем Союзе писателей выступление «Песняров» — еще в старом нашем здании. Зазвучали их голоса в переполненном, забитом молодежью зале, и тогда с первого ряда встал один наш коллега и демонстративно вышел. Я не специалист и боюсь оценивать музыкальную культуру «Песняров». Одно знаю: они дали белорусской песне, поэзии столько приверженцев и именно среди городской молодежи, сколько не дали все вместе взятые самые большие пуритане, часто энтузиасты лишь на словах.

Но есть здесь и «пена». Вы заметили, что белорусское слово в городе порой становится «стиляжьем» приметой. Как самая модная одежда. Раньше для многих слово это было признаком деревенской простоватости, даже необразованности, теперь же — как бы знак элитарности.

Но и это, может, всего лишь пародийное проявление более глубокого процесса — пена на новой, упругой, давно ожидаемой волне: *к белорусскому языку горожанин выходит уже через образованность*. И это очень важная примета времени. Не здесь ли может быть еще одна точка приложения усилий нашей литературы. Если мы хотим, чтобы круг читателей расширялся.

Вспомним, что самыми большими энтузиастами собирания белорусских памятников материальной и духовной культуры — в результате чего создан замечательный музей при АН БССР — были физики. Молодые ученые-физики! И не только белорусы. А кружки знатоков и любителей белорусской литературы в среде врачей, учителей!

Это тот процесс, которому литература наша содейст-

воватъ, способствовать сможет только в том случае, если она будет соответствовать самым высоким интеллектуальным, духовным, нравственным запросам.

Вот почему такое насущное это чорновское: «Всем бы нам писать своих Карамазовых, с такой силой!»

Белорусской литературе есть что рассказать миру о судьбе человека на земле белорусской, о судьбе народа, который вместе с другими народами нашей страны прошел через пламя наисуровейших битв и испытаний XX столетия.

Чтобы быть на уровне народного героизма и народных трагедий, литература все более смело и открыто идет навстречу самым сложным проблемам, которые волнуют человечество.

Литературе Купалы, Коласа, Горецкого, Чорного сегодня есть что рассказать человечеству, человеку XX столетия о них самих. Потому что Хатынь и сегодняшней Минск, партизанская Рудобельщина и новое Полесье — все это на той же планете, где и Кампучия, и Сальвадор, и музеи Рима, Парижа, и стартовое пламя ракет...

Только идя навстречу всем ветрам эпохи, литература наша способна выполнить исторический долг перед своим народом. Будущее литературы на белорусском языке — поверим Кузьме Чорному! — на том пути, где возможны «свои Карамазовы», «с такой силой»...

Кому-нибудь более сильному и с исторически иной языковой ситуацией можно и позволить себе временную задержку на пути развития, роста, контакта с читателем — они ни читателя, ни самих себя не потеряют. А если и лишатся читателя, то вернут его потом.

Для нас такое рискованно. Могло бы случиться, произойти необратимое, если бы какое-то поколение писателей, одно, другое взяли бы да сошли с широкого большака, на который возвели нашу литературу Купала, Колас, Чорный, Кулешов, Танк, Панченко, Мележ, Брыль, Быков и те, что хоть и помоложе, но тоже поддерживают «уровень». И вдруг свернули бы куда-нибудь в провинциальный тупик. Читатель вслед за ними туда не пойдет.

Как видим, не такое уже и частное, личное это дело — каким быть, например, молодому литератору, на какой уровень ориентироваться. Ибо каждый, выбирая путь себе, выбирает (в определенном смысле) будущее для всей белорусской литературы.

ДОСТОЕВСКИЙ ПОСЛЕ ДОСТОЕВСКОГО

От других слышал, по себе знаю: Достоевского и Толстого читаем порознь. Редко, чтобы одновременно. Чехов и Бунин, Гоголь и Тургенев гораздо легче берутся («даются»?) в руки — в один и тот же день.

Нет, не помню, чтобы мог читать одновременно Толстого и Достоевского. Слишком перегибают они, эти двое — каждый в свою сторону — и нам перегнуться (всем нутром) одновременно в разные (настолько разные!) стороны почти невозможно.

Но в *нас* они, и Толстой и Достоевский, прочитанные и сопережитые, как-то совмещаются ведь. Не тесня, а дополняя, ограничивая и усиливая друг друга. *Совмещенное*, а не раздельное их воздействие и на всю духовную ситуацию в мире, а также — и на современную литературу. Или так скажем: *все более совмещенное!* Параллельные (а когда-то воспринимались и как расходящиеся) прямые не только сблизились, но и пересеклись. Во многих точках. Пересеклись, пересекаются в нашем времени — не таком уж удаленном от их времени.

И потому, оглядываясь на «Войну и мир»: «Вот бы такую эпопею о нашей Великой Отечественной!», неизбежно замечаем там же и другого гиганта, другую вершину — «Братьев Карамазовых»... Не помещается наше кризисное время даже в безбрежных границах жанра толстовской эпопеи, требует оно и того провидческого заострения мысли, тревоги человеческой и о человеке, которое у Достоевского.

А «Преступление и наказание» — такой современный призыв к запрету на кровь и жестокость! — обя-



Делегаты VII съезда писателей СССР:
Алесь Адамович, Валентин Распутин,
Виктор Астафьев. Москва, 1981 год.



Алесь Адамовіч і Данііл Гранін —
авторы: «Блокадной книги».
1982 год.

зательно зовет, кличет на подмогу и толстовскую публицистику, все ту же «Войну и мир»...

И тогда замечаем вдруг, что конфигурация каждого из этих величайших литературных континентов, именуемых Толстой и Достоевский, сохраняет следы, черты изначальной близости их, которую современники замечали меньше.

А может, у них, у современников Толстого и Достоевского, и не было такой необходимости в совмещенном воздействии сверхгениев. Нам, с нашими проблемами, в пору кликать на подмогу всех великих и сверхвеликих.

Имеется в виду то, о чем в свое время предупреждал Альберт Швейцер, когда говорил, что «привыкание» к атомной бомбе, а тем более к любой возможности ее применения — превентивного или в ответ — повлияет на массовую психологию, на саму психику человека. И надо этому всеми способами и средствами противиться!

Разве не важнейшая это задача современной литературы — оберегать от такого сдвига психику и психологию людей, вырабатывать противодействие. И искать, спрашивать помощи, подмоги у великих гуманистов.

А иначе — пожар на высушенном болоте, переползающий невидимо — в сознании, в подсознании человеческой массы. Бесполезно гасить прорвавшиеся вспышки пламени, когда огонь, жар копится по всей площади...

Зловещее, безудержное тиражирование и усовершенствование смертоносных боеголовок, сама демографическая ситуация во многих странах, где с ужасом подсчитывают, не сколько умирает, а сколько рождается, кошмар фашистского, уже азиатского эксперимента в Кампучии и т. п. — все как бы направлено на то, чтобы обесценить жизнь человеческой единицы. Да что единицы — миллионов жизней! Физики в отношении своих явлений и процессов называют это энтропией.

Когда-то, на Нюрнбергском процессе — всего 35 лет назад! — люди с отвращением, но как бы чему-то все еще не веря, как на существа с другой планеты, смотрели на тех, кто планировал миллионные убийства.

Ну а сегодня — так ли это поражает? Хотя разговоры идут уже о 200 миллионах жертв — «после первого обмена ударами». Схватили хотя бы одного телемилитариста, упрятали за решетку? Хотя бы в клинику. Что-то не слышно об этом!

Да, произошла в миллионах душ — наряду с осознанием всей опасности такого процесса и стремлением, готовностью этому противодействовать — происходит то там, то здесь снижение общего уровня человеколюбивых понятий, настроений, идей. Разве не наводит на такую горькую мысль тот оскорбительный для рода человеческого факт, что более 60 стран — дипломаты, правительства — все еще поддерживают в ООН Пол Пота — убийцу более трети населения Кампучии?

Люди никак не могут остановить, несмотря на все попытки миролюбивых сил обратить вспять или хотя бы затормозить этот процесс, дикую игру термоядерно-ракетной конфронтации. Такое не проходит бесследно и для психики человека. Слишком обычной для слишком многих делается страшная, но уже не очень сознаваемая прикидка: если они нас столько, то мы их столько!

Да и как иначе, если самые близкостоящие к «кнопкам» деятели снова и снова внушают сотням миллионов людей, через телеящик вторгаясь в их жизнь, врезываясь в поток повседневных забот и размышлений: есть вещи более важные, нежели мир...

Так говорит государственный секретарь ведущей страны капиталистического мира.

В этой ситуации — не самое ли важное, чтобы как можно больше людей и как можно скорее осознали жестокую реальность положения. Ни одна нация, ни один класс, ни одна страна ничего не защитят, ничего не выиграют, обменявшись ударами. Все потеряют все!

Но чтобы выполнить свою задачу в такой ситуации, и выполнить ее не на публицистическом лишь, а и на художественно-психологическом уровне, литература и ее служители сами обязаны осознать: меняется, нет, уже изменилось очень и очень многое в самосознании мирового искусства. Которое достойно называться искусством. Само понимание гуманизма в чем-то изменилось — в нас, в нашем сознании и произведениях последних лет.

Да, что-то приходится решительно пересматривать, не боясь повредить и отбросить старые клише. Идеологические и психологические.

Одно из таких идеологических и психологических клише, самых устойчивых, с которыми спорили еще Достоевский и Толстой, но которые дожили и до «атомной эры», — так называемый «арифметический гума-

низм». (На этой проблеме еще в 60-е годы сосредоточил, заострил внимание наш философ Ю. Ф. Корякин в известных статьях «Правда о посястороннем мире» (Вопросы философии, 1967, № 9) и «Антикоммунизм, Достоевский и «достоевщина» (Проблемы мира и социализма, 1963, № 5.)

Когда-то Достоевский подставил подножку безоблачной логике «арифметического гуманизма», который увлеченно подсчитывал, сколько голов *не жалко* ради счастья миллионов обиженных и униженных. Сколько же не жалко? Ста голов, тысячи, ста тысяч? Ну, а если эти сотни и тысячи абстрактных единиц взять да и персонифицировать: не просто единица, а *ребенок!* Ради вас, счастья вашего будет замучен один-единственный ребенок! Примете вы, лично вы, свою порцию счастья? Или, может, вернете *билет* — как Иван Карамазов возвращал самому богу!

И тем не менее и после Достоевского, Толстого «арифметический гуманизм» (столькими *можно* пожертвовать ради стольких!) царил не в одних лишь головах политиков, но и во многих произведениях литературы. И не будем максималистами в оценке этих произведений задним числом. Доатомное человечество еще многое могло себе позволить, не выглядя самоубийцей...

Достоевский именовал это «бесовством», проецируя его на будущее, когда радители человеческого счастья «потребуют» (тогда это казалось немислимым преувеличением) «миллиона голов».

Петруша Верховенский в «Бесах» передразнивает оппонентов (и самого автора): «Кричат: «Сто миллионов голов», — это, может быть, еще и метафора...» А дальше приводит аргументы, которые и после Достоевского (но до бомбы) звучали порой даже убедительно. Особенно если ими пользовались не Петруши, а честные борцы за человеческую справедливость, счастье большинства: «...но чего их бояться (т. е. «голов»), если при медленных бумажных мечтаниях деспотизм в какие-нибудь во сто лет съест не сто, а пятьсот миллионов голов?»¹

Но потом были 30-е и 40-е годы XX столетия, нацизм

¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 32-х т. — Л.: Наука, 1974, т. 10, с. 315.

(Дальше, если не оговариваем специально, цитируем по этому изданию.)

с его программой и практикой *убирания* с планеты уже сотен миллионов неарийцев. Вот как перевернули формулу Петруши: уже пятьсот и более миллионов ради блага ста миллионов! Заметьте: во имя «блага», «счастья» не большинства (отринутых), а меньшинства (себя избравших).

Раз можно «ради счастья» и «ради будущего» пожертвовать тысячами голов (чужих, разумеется), так почему не миллионом (ради соответственно большего счастья). А если миллион, то почему только один? И какая разница, кому и скольким «быть счастливыми», если счастье возможно в принципе — на чьих-то мучениях и костях. Важен разрешающий принцип, а уж применить его найдется кому — и, может быть, совсем не в тех целях.

Можно даже великую, истинно гуманную цель исказить до неузнаваемости — таким «принципом», средствами такими. И воистину — нет пределов!

Спросить бы у генерала и госсекретаря Александра Хейга — при его детях и внуках спросить, — какие же это вещи и понятия важнее самого существования человека на планете?

Да, Достоевский после Достоевского (так же как и Толстой!) куда как правы во многих и многих вещах — даже больше, чем в контексте своего времени.

Абсолютный запрет «Не убей!», который в «Преступлении и наказании», в «Бесах» и «Братьях Карамазовых» звучал как «эхо» христианского, религиозного идеала человеческого общежития и лишь подкреплялся «политикой», сегодня неожиданно стыкуется с жестокой реальностью, в которую поставлены все люди на планете. Уже не идеал только, а неотвратимая реальность диктует все более жестоко такой запрет. Возможности «арифметического гуманизма» (погибнут тысячи, но это во имя счастья, будущего миллионов!) исчерпаны, исчезли — под угрозой атомного самоистребления.

Даже «малая цифра» способна всех и все обратить в радиоактивный пепел.

В Сараеве туристам показывают следы-отпечатки человеческих ног (в асфальте) — место, с которого Гаврило Принцип, сербский студент, стрелял в австрийского эрцгерцога. История так распорядилась, что его выстрел оказался стартовым выстрелом первой мировой

бойни. Получилось, как в тире: попал в «яблочко», обвалилась вся «фигура». Все неустойчивое равновесие европейской политики рухнуло. И вслед за одной жизнью — еще 10 миллионов!

И сегодня стреляют и чьи-то жизни обрываются: в Сальвадоре, в Иране, на вьетнамской, на кампучийской, на афганской границах, в Ливане, время от времени — в Европе и в самой Америке. Но «фигура» вроде бы держится, не обваливается...

Да, держится, но кто может предугадать, какой выстрел станет «стартовым» — если так будет продолжаться, и, может быть, у кого-то появится соблазн рискнуть еще и атомным выстрелом («одним-единственным») ¹. Ну хоть бы ради того, чтобы продемонстрировать возможность, допустимость «ограниченной атомной войны».

* * *

Достоевский после Достоевского...

Век двадцатый читает его произведения, одно усваивает, а другое по-прежнему откладывает на дальше, хотя кое-что откладывать вроде бы и рискованно...

В новом контексте, в прочтении совершенно иным временем меняется что-то и в самом Достоевском. И кое-что действительно изменилось в его произведениях: одно укрупнилось, высветилось, другое ушло на второй план.

Многое, очень многое как бы прожектором, из глубины выхвачено и притянута. Ну хотя бы вот это: «Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще таким развеселым образом, точно шампанское... И что такое смягчает и в нас цивилизация? (Век XIX еще спорил с этими «подпольными» мыслями и ощущениями. И начинающийся XX продолжал спорить. Но не наше время: оно не одного Наполеона, оно Гитлера и иже с ним помнит! — А. А.) Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и ... решительно

¹ Когда в «Новом мире» (1981, № 10) была напечатана эта статья, стала известна зловещая генеральская идея о «предупредительном» атомном взрыве в Европе. Значит, действительно была, есть, носится в воздухе идея — «выстрелить» атомной бомбой. Разок. И посмотреть — что дальше... Воистину сбываются мысли о самом немыслимом!

ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение... По крайней мере, от цивилизации человек стал если не больше кровожаден, то уж, наверно, гаже кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость и с покойной совестью истреблял кого следовало; теперь мы хоть и считаем кровопролитие гадостью, и все-таки этой гадостью занимаемся, да еще больше, чем прежде».

Яснее высвечивается и как бы притягивается нашим временем, материализуется именно та сторона его произведений, которую сам Достоевский и его исследователи обозначают как фантастическую («фантастический реализм»). Именно то, что казалось авторским «пережимом», чрезмерным сгущением и нагнетанием, особенно натурально перекликается с нынешней повседневностью существования человеческого, едва ли не нормой стало. Воистину «неизбежность невозможного»! (Из черновых материалов к «Преступлению и наказанию».) «Будущее Слово» великого провидца (выражение Федора Михайловича Достоевского) угадало многое, даже обидно для века двадцатого, как он обреченно следует за предупреждающими прогнозами человека из предыдущего века.

Еще в 1968 году критик М. Туровская в статье «Преступление века» и «массовая цивилизация»¹ простым сопоставлением текста Достоевского и фактов повседневной западной действительности с ее психозом потребительства, немотивированных убийств и пр. и пр. продемонстрировала провидческую силу «Будущего Слова» этого писателя, которая все не ослабевает.

А если это так, тогда и его «положительные рекомендации», и видимо многие, заслуживают отношения куда более серьезного, чем нам представлялось и теперь, может быть, представляется.

Кто еще так знал человека, как Толстой, Достоевский — эти гиганты, по словам одного из западных исследователей, у ног которых по-детски резвится вся мировая литература?!

И потому стоит нам лучше вслушиваться не только в его, Достоевского, разоблачительные филиппики, но и в те слова, в которых — мучительные поиски выхода из

¹ Новый мир, 1968, № 7.

лабиринта извечного человеческого взаимонепонимания.

Помните его настойчивое — в «Бесах»: «Да, потому что все и каждый один перед другим виноваты. Все виноваты!..» (т. 10, с. 491). «Все виноваты, все виноваты и... если бы в этом все убедились!» В «Братьях Карамазовых»: «Всякий человек за всех и за все виноват...»

Сегодня, в нашем контексте, звучит это отнюдь не узкопроповеднически, как у Степана Тимофеевича, может быть, да у старца Зосимы звучало. Здесь мысль о всечеловеческом, мысль, которая так занимала Достоевского во время написания «Подростка» и когда «Братьев Карамазовых» создавал, речь о Пушкине готовил. Мысль о том, как всем жить со всеми...

Нет, было бы нелепо механически переносить эту нравственно-философскую идею на любую конкретно-историческую ситуацию, уравнивать по линии вины, скажем, агрессора и жертву, преступника и честного человека и т. д. Можно спросить: а что, ситуация, которая сейчас реально существует в мире, — что она, отменяет право человека, право эксплуатируемых, угнетенных народов на борьбу за человеческие условия существования? Против агрессии расистов, империалистических разбойников?

О другом речь.

Сложна и противоречива человеческая история, и только безумец (особенно страшный, когда он во главе государства) может в наш век да при технике, дающей возможность слишком больно для других народов самоутверждаться, считать себя во всем правым и только других — виноватыми: и ныне, и в прошлом, и в будущем все виноваты передо мной, а я, а мы — ни перед кем!

Именно из этого чувства, последовательно культивировавшегося нацизмом, вызревал зоологический эгоцентризм в душе вполне нормальной, как и все другие, нации. Этим же путем идут и неонацисты и некоторые западные политиканы, постепенно, но настойчиво расширяющие список угрожающих претензий ко всем близким и неблизким соседям.

Речь идет о тех зарубежных политиках, которые рискуют не собой, а тем, что им не принадлежит, — судьбой, жизнью человеческого рода. О тех, кого американские коммунисты, говоря о планах «ограниченной» атомной войны, бескомпромиссно окрестили атомными идиотами.

Никто, как Достоевский, умел замечать и показывать ту черту, порой еле различимую черточку, за которой в страдальце вызревает мучитель, жертва становится палачом, хотя все еще продолжает считать не себя, а других обидчиками. По инерции.

Интересное я письмо получил в 1980 году из Ленинграда. В ответ на статью в «Литературной газете» (Забывтое и незабывтое.—1979, 31 окт.), где я как раз пытался об этом рассуждать в связи с предстоящей публикацией «Карателей». Корреспондентка из Ленинграда написала (как бы не для меня, а для самой себя — душу облегчая):

«Меня заинтересовал Ваш разговор с турецким журналистом, который «забыл» трагедию армянского народа. Думаю, что ему пришлось забывать многое еще, кроме армян. Например, болгар, которых даже русские добровольцы (еще задолго до революции) ездили спасать от турецкого ига...

В начале 50-х годов попала мне в руки книга английского историка Грима — история английского народа от его истоков почти до современности. Книга очень интересная, читается, как захватывающий роман. И с каждой страницы льются ручьи крови. И не только «вражеской», черной: льется кровь соотечественников, даже близких родных в борьбе за власть, за троны, за «идеи». И читая эту книгу, я загордилась. В те века, когда цивилизованная Англия, «матерь парламента», уже была впереди всех по уровню культуры, — славяне все еще «в лесу жили, пню молились». Но — были людьми! Не были такими палачами-кровопийцами! С этой гордостью в душе я отправилась в библиотеку Дома печати и, в силу хорошего ко мне отношения, получила *на дом* «Повесть временных лет»! И с той же гордостью приготовилась читать светлую историю славян... Дорогой Александр Михайлович! Кровь, пропитавшая все строки этой летописи, лилась мне на руки... Когда я шла по улице, мне чудилось, что под камнями скрыты миллионы мертвых глаз, миллионы жертв под моими ногами, погибших в веках славянской истории *от руки братьев*... От этого ужаса я в самом буквальном смысле заболела... Излечилась от своей гордости. И поняла, что *нет* такого народа, которому не надо было бы многое и многое забывать...»

* * *

О Толстом один голландец сказал, что если бы господь бог захотел писать роман, он не смог бы обойти стороной опыт автора «Войны и мира». Такое порой впечатление, что бог жизнь действительно старательно штудирует, а порой и напрямую цитирует Толстого, списывает у Достоевского. А мы, пишущие сегодня, казалось бы, идя за жизнью, перебирая руками нить самой жизни, обнаруживаем себя... в романах этих чудодеев. Будто списывает кто-то с книг того же Достоевского саму жизнь и подсовывает нам.

Когда-то я считал собственным наблюдением (и действительно сам заметил это, когда жил «под немцами», а потом ушел в лес, к партизанам) то, как не умели мы, как трудно нам давалась роль победителей, суд творящих, даже когда суд правый. Даже если это каратели. (В романе «Сыновья уходят в бой» — как Толя рубит дрова с пойманным шпионом, в «Хатынской повести» — Флера стоит с винтовкой над пойманными карателями.) И вдруг, много лет спустя, читаю у Достоевского в «Подростке» (единственный его роман, который даже не прочитал толком в свое время, когда всего Достоевского читал-перечитывал):

«Есть случаи, в которых победитель не может не стыдиться побежденного, и именно за то, что одержал над ним верх. Победитель был, очевидно, — я; я и стыдился»¹.

Нет, у нас было не совсем так: мы не побежденных стыдились. Вот этого как раз не было! После всего, что натворили они на нашей земле, такое испытывать мы вот именно стыдились бы. Но и в роли «божков» над поверженным, хотя и ненавидимым противником выступать не умели. Сказывалось, очевидно, довоенное воспитание на самой гуманной из гуманных русской литературе. Зато хорошо помню, какими бездушно уверенными «богами» и как натурально чувствовали себя в роли хозяев чьей-то жизни и смерти «пришельцы из Европы», когда перед ними были пленные или заключенные.

А для нас подобная роль была все же чужая, сколько ни длилось ожесточение войны. По крайней мере, для таких, как мои Толя, Флера, моих одноклассников.

¹ Достоевский Ф. М. Подросток. — М.: Худож. лит., 1961, с. 396.

Да, вырастали мы в мире не безоблачном. Отнюдь. Но мир книг, нас, меня окружавших, был самый светлый: Пушкин, Толстой, Некрасов, Гюго... Ясность, гармония, простота, обещание впереди обязательного счастья, добра, любви!

Но помню, как с высокого неба литературы набежала на душу тень — не светлая тень грусти, печали, сострадания, как прежде бывало не раз, — а знобящая, как чья-то холодная ладонь меж лопаток. Ночь, все спят беззаботно, а тут такое творится, такое этот студент, этот Родион Раскольников с собой и с другими делает, творит! Я впервые читаю Достоевского...

И до того, бывало, десяти-двенадцатилетний, грустил, упивался мировой скорбью наедине с Лермонтовым, Байроном, но тут было что-то совсем иное.

Но я еще не взялся их читать — романы Достоевского. Во-первых, потому что не очень-то мог бы и найти его книги в то время и в своем небольшом поселке. А во-вторых, и не очень искал: все еще был внутренне отгорожен своим беззаботным и все не кончающимся детством от горя человеческого, которого вокруг, конечно, хватало. На многих, очень многих моих одноклассников и даже одноклассников жизнь обрушила незаслуженные и страшные удары, а нас, семью нашу, обошло так же случайно, как других не обошло, — и такие, как я, школьники умели многого не замечать. А если и замечали, то не задумывались...

В нашем поселке рабочих-стеклодувов есть свой обелиск жертвам Великой Отечественной — около ста фамилий. А какие столбики имен-фамилий получились бы, когда бы записали тех, в чьих семьях детство оборвалось, закончилось еще до войны.

Мое же — в тот день, когда радостно голодный прибежал из леса и, как на стену, налетел на голос матери: «Война, сынок!..»

Тут уже и вовсе не до книг. Тем более что его, Достоевского, книг я не отыскал, не добыл из той кучи возле школы, где полицаи жег литературу, а мы поворачивали у него за спиной. Пока он занят был картошкой. (Так и не спек, оболтус, не очень для этого пригоден книжный жар, пепел.)

Нет, все-таки книги стали нужны. Когда схлынула первая волна ошеломленности.

Вчитывался в Толстого, это понятно: у него ведь о

разгроме нашествия под Москвой, о дубине партизанской войны! Но не только об этом. Так же как любимые однотомники Пушкина, Лермонтова, Гюго, Байрона, которые тоже читал-перечитывал при дымной коптилке, книги Толстого помогали сохранять, удерживать мир воспоминаний о довоенном, когда все это читалось впервые и так сопрягалось с довоенными мечтами, надеждами...

«Довоенного Достоевского» (кроме того единственного чтения «Преступления и наказания») во мне не было, не жило. И книг его не было. Хотя, может быть, в ненормальных условиях войны, оккупации как раз Достоевский был бы особенно созвучен мыслям, настроениям. Тому, что происходило. Как знать. Но почему-то думаю, что читался бы он с чувством двойственным. Да, именно потому, что больше мог рассказать о том отвратительном, что мы сами вдруг обнаруживали в людях. Но мы-то обнаруживали и тут же отлучали их, вычленили из числа людей — наших людей. Например, некоторых вчерашних «активистов», сделавшихся бургомистрами, полициярами. Не вступая в долгие объяснения с «психологией». А у него ведь, у Достоевского, — нескончаемый диалог и спор с нею, особенно с «содомской» психологией.

Мы (говорю о себе, о своем подростковом возрасте) как раз от этого уходили — от любой правды, которая не казалась привычно нашей. А к той, что у Достоевского — глубинной, не скажешь, что мы были приучены, как к своей, в 30-е годы школьным и домашним чтением.

А тем более не могли мы и не хотели что-то менять в представлениях и оценках своих, в критериях, если это исходило от жизни наоборот. Именно как жизнь-наоборот, мир-наоборот мы воспринимали то, что принесла война и тут же начавшаяся оккупация. В мире-наоборот и души наши настроены были на восприятие-наоборот: яростно удерживали в себе довоенное, даже еще больше украшая и идеализируя, и не впускали в душу, в сознание никакой «правды», если она исходила от жизни-наоборот. И потому на нас никак не действовали, например, разоблачительные брошюры, залапанные красной краской, злорадно предлагавшие нам разъяснить, поведать, какова судьба, куда пропали многие наши поселковцы.

А что, можно спросить (если вернуться к Достоев-

скому): его правда, жестокая, трудная, о человеке, о людях, не помогала бы, а мешала ненавидеть фашистов, пришлых и своих? Не об этом ведь речь. Но, видимо, нам следовало ею переболеть, этой правдой, раньше, в свое время. И тогда мы были бы закаленнее и более зрячими душевно в минуты особенно сложные и тяжелые. Но именно вовремя переболеть. А когда уже все случилось и началась жизнь-наоборот, все усилия души теперь были направлены на то, чтобы держаться за довоенное — если даже оно выглядело наивным или уязвимым и не могло себя ничем прикрыть. Мы, не в пример сыновьям Ноя, старательно отводили глаза...

Так мне все это представляется. Но, кажется, я нащупал разницу: в отличие от всей русской литературы Достоевским, начиная его читать, мы болеем. Переболев, только потом становимся его читателем. Сказать так о Пушкине, о Толстом, не правда ли, было бы странно. Детство, юность воспринимают их, в себя забирают как что-то абсолютно себе созвучное.

Интересно, что даже пройдя через всю «достоевщину» войны, я не был готов им переболеть. Нет, набросился на его тома, днями сидел в минской библиотеке имени Пушкина, собирался даже писать дипломную («А защитить вы хотите дипломную?» — «А почему?..» — «То-то же почему!» Такое тогда было к Достоевскому отношение).

Я упивался чтением всех его романов подряд. И литературы о нем. И все не заболел. Это было скорее открытие неведомого материка парадоксальных мыслей, гимнастика интеллекта, нежели работа чувств, а потому больше, может быть, волновали старые послесловия и статьи о «клейких листочках», о «билете» Ивана Карамазова и о мрачном своеволии «принципиального самоубийцы» Кириллова, нежели соответствующие страницы самих романов. Ведь мы были «из леса», где переживаний и клейких листочков с нас достало, а вот умные и умнейшие мысли — и чем необычнее, парадоксальнее, тем лучше! — вот это как раз и было сильнейшим проявлением самой жизни, которую удалось нам пронести мимо всех смертей. Непривычные мысли, столь заостренные, интеллектуальная гимнастика и были в то время для нас (таких, как я, во всяком случае) теми самыми «клейкими листочками», самой что ни есть «живой жизнью»...

Вроде бы снова *наоборот*... Ну что ж, еще одно. Так уж взросло наше сознание, перекувыркиваясь через самое себя.

А в общем в запой читаемый Достоевский не накладывался, мало соответствовал послевоенному состоянию души, и я все не заболел: слишком мы бурлили радостью, счастьем, что все-таки прорвались через жизнь-наоборот к своей и вообще — к жизни сквозь смерть.

Какой уж там Кириллов с его вознесением в боги через принципиальное лишение себя жизни, если мы этой гадостью, смертью, смертями, были сыты по горло. Даже на военные фильмы не ходили. А когда наш сосед по общежитию, студент-фронтовик (главное — фронтовик!), взял и застрелился, да еще 9 мая — как бы с вызовом, — мы были потрясены, как предательством. И кто предал: прошедший всю войну, столько раз свою жизнь уберегший — честно уберегший — гимнастерка от орденов тяжелая, как кольчуга, — а тут вдруг предавший ее той гадине, которая четыре года нас преследовала!..

Заболел я Достоевским, может быть, как раз тогда, но открылось, обнаружилось, что переболел, гораздо позже. Когда не я к нему, а он пошел — на меня, из самой жизни пошел. Да не из книг, а из реальной жизни! Это когда начали мы записывать — сначала для документального кино (а я — для «Хатынской повести»), а затем для книг «Я из огненной деревни...» и «Блокадной» — хатынскую и ленинградскую память народную о минувшей войне.

Вот мне, помню, и пришло на ум, даже вслух высказался, когда ездили с Брылем и Колесником по бывшим деревням, по обезлюженным нацистским геноцидом районам Белоруссии: «Ему бы в этой машине сидеть, Федору Михайловичу Достоевскому, и мы записывали бы для него да фотографировали!..»

Вот так высказалось удивление, открытие, что все это прямо просится в его романы. И не только потому, что обезлюживание целых стран усилиями зараженных фашистским бешенством наци — это как бы прямой выход к практике его же, Достоевского, «бесов», которые «сто миллионов голов» требовали «для водворения здравого рассудка в Европе». Хотелось позвать Достоевского на подмогу, чтобы как-то осмыслить совсем иные

масштабы и уже не прогнозы, а жестокую практику им открытого и предсказанного «бесовства». Но и еще потому он вспомнился, что почти в каждом рассказе людей, переживших Хатыни и смертельный блокадный голод, столько раз пронзала душу (так потрясавшая и в его романах) неожиданность и пугающая нелепость поступков и мыслей людских, переживаний в момент, когда в упор видит человек свою или чужую смерть. (Вспомните самоубийство Кроткой или смерть Ставрогина, убийство Лизаветы Раскольниковым и еще многое в его романах.)

Так и кажется, что обезумевшая жизнь начинает себя списывать с литературы.

«...Хозяину в затылок — он и упал, ни словечка не сказал, ни словечка. А хлопчик уже идет, бедный, идет да все: «Ой, боюсь, ой, боюсь!» А как выстрелили, дак он еще крикнул: «Ой, не боюсь!» — и упал».

«Схватила младшую, ей было девять лет... Горит и на ней платье, и на мне горит... Замчала в ту яму, где глинобитку делали, положила... И опять же лезу потому самому огню — за старшей... Мало что поубивали, а то еще и сгорят!.. Потянула, подняла. Так оно такое молодое, мя-ягкое!..»

«Ну знаете, когда свечка горит, так по краям жарко, а в середине — нет. Горит хлев вокруг меня, а я стою. И когда мне уже невозможно было стоять, меня припекать начало, я и полез под стену».

«Вдруг сказала своему восьмилетнему сыну: «Сынок мой, сынок, что ж ты в эту резину обулся? Твои ж очень будут ножки долго гореть. В резине».

«В дом вскочила растерянная, понимаете. А мысли такие... Еще жить думалось. Лежал узелок одежды, дак думаю: «Возьму я хоть узелок, сожгут же, дак переодеться не во что, я ж в одной одежке». А тогда думаю: еще посмеются, скажут: «Убивают, а она узел какой-то!..»

«Я лежала, пока принесли солому. Лежу и думаю: «Во, это ж поубивали, и убитые все знают». Лежу и сама себе так думаю... В общем убитый человек, а знает... Слышу — солома зашелестела. Лежу и подергаюсь — ничего не болит. Думаю, это ж ничего и не болит. Убитый человек, и все знает. Потом они подождгли...»

«Я трое суток сидела в сарае с убитыми. Ну, все равно что убитых людей стерегла. На каждом углу

страж стоял. Обойдет вот так кругом сарая и вот так ухо приложит да это слушает, дышат ли люди...»

А это уже из воспоминаний ленинградских блокадников.

«Дома нас ждала мать, которая уже не могла встать... Перед смертью мать потеряла дар речи и все только смотрела своими большими глазами на нас четверых, которые собрались у ее кровати. Как раз в тот день объявили выдачу по карточкам продуктов, и я получила пшено и какао (взамен сахара). Пришла домой и сварила кашу, заварила какао и в первую очередь стала кормить мать, но она уже есть не могла и изо рта у нее шла пена. Она начинает закрывать глаза, но мы в этот момент начинаем плакать, и она опять открывает глаза. Так продолжалось несколько раз, и я поняла, что мы ей не даем умереть, и я сказала детям, девочкам, чтобы все отошли от кровати и плакали в другом углу комнаты, т. к. она все равно умрет. Когда очень скоро я подошла к кровати — мать была уже мертвая. Она была такая маленькая, что я смогла взять ее на руки и перенесла в другую (холодную) комнату». (Из письма Нины Михайловны Рачковской) ¹.

Их сколько угодно можно привести примеров — из «Блокадной книги» — некоторые приводил в статье «В соавторстве с народом» ², но я лишь повторяю то, что уже когда-то говорил: когда мы с Граниным записывали ленинградцев-блокадников, появлялось порой ощущение, что «все начитались Достоевского». Такое знание человека, «неба» и «бездны» человеческой души, столько мыслей о пределах человеческих — и все через собственную судьбу пропущенное! Не книг начитались, а жизнь прожили, но зато она, жизнь, кажется, «начиталась Достоевского». С него себя взяли безудержно списывать. Литература прошлого, оказывается, не обязательно в обозе движется. Не обязательно вслед новому

¹ Кстати, общее у этих рассказов с Достоевским — не только острая неожиданность человеческого поведения и самонаблюдения в экстремальных ситуациях, но и то, что человек-рассказчик как бы сам прописан своим рассказом, нанизан всем существом на него. Один и тот же на всю жизнь рассказ! Достоевский, с его постоянной мучительной памятью о минутах, секундах перед «расстреливанием» на Семеновском плацу, — как бы один из этих рассказчиков. Как бы в их ряду.

² В кн.: Литература великого подвига. — М.: Худож. лит., 1980.

времени — в виде услужливой маркитанки. Да нет же, литература, которая обозначается словом «Достоевский», все время впереди дожидается: вышли куда-то, пришли, а он уже здесь, Достоевский. Все время обнаруживаем, что *он уже рассказал об этом*.

Ну ладно, ленинградцы — культурные традиции, музеи, библиотеки — но и самая что ни есть святая простота, бабка с белорусского Полесья — ее те же вопросы мучат, что когда-то и великим (тому же Достоевскому) с такой болью, так мучительно давались. Вон как яростно оспаривают Иван Карамазов и Зосима — каждый свою правду о «детской слезинке». Зосима — через притчу о божьем избраннике Иове. У которого отнял бог, чтобы посрамить сатану, детей, а затем новыми одарил и будто бы вернул человеку счастье... «Да как мог бы он, казалось, возлюбить этих новых, когда тех прежних нет, когда тех лишился? Вспоминая тех, разве можно быть счастливым в полноте, как прежде, с новыми, как бы новые ни были ему милы».

Когда мы встречались, разговаривали с матерями, пережившими хатынский ужас, всегда было рискованно и мучительно переспрашивать, сколько у них сегодня детей. Скажет — четверо или шестеро, а мы, уже понявшие кое-что, знаем: возможно, лишь двое или трое. Живых, новых. Но называет всех. И тех, замученных. Не заменили и не могли заменить их новые. И радость за новых — хотя и великая — не вытеснила горе великое и неуходящее. Может быть, только потеснила. Нет, не замечали мы, чтобы «старое горе великою тайной жизни человеческой переходило постепенно в тихую умиленную радость».

А они ведь, бедные матери, даже старались обрести какой-то — не скажем — покой, но хотя бы равновесие в обрушившейся своей жизни. У той, у которой было двое, столько же и сегодня. Было трое — стало трое (прямо нам говорили: «Столько же и родилось!»). Но когда спрашиваешь, все равно вырвется у них: «Четыре у меня», «Шесть их у меня...» И «тех» все видят, стоят перед глазами. Какая уж тут «тихая умиленная радость»! Скорее крик на весь мир в спрашивающих глазах: «Так что же это было и неужто правда то, что с нами делали, неужто быть могло то, о чем вы спрашиваете, а я рассказываю?» А когда ее, такую женщину, находят и привозят в Минск свидетельствовать против

убийц ее детей (через 20, через 30 лет), она, бедная, так не умеет быть грозным роком для сидящих под солдатской стражей вчерашних палачей, таких непохожих, обрюзгших, испуганных, лысых. И все в ней кричит-взывает: «Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены?»

Снова и снова поражаешься, как на все есть, находится слово у Достоевского. Не на все, так на очень и очень многое. О чем сам он, казалось бы, и представления не имел, не мог иметь. И о Хатынях — его слова такие точные. И о Кампучии...

Совість его вычитывала в торопливо всеядной газетной хронике разрозненные факты, к которым другие давно привыкли — о мучителях-родителях, о жестоком помещике, — совесть его кричала, корчилась от боли. За все человечество. Современное ему. И будущее.

А когда разрозненные факты преступлений отлились в преступные системы, государственно налаженные, нацеленные на истребление миллионов и миллионов людей, вот тут обнаружилось, что все равно слов адекватнее тех, что уже есть у Достоевского, не находим...

И как он необходим в нашем деле — даже практически! В наших спорах, сомнениях. Вот и я написал повесть («Каратели») и по обыкновению стал давать читать — машинописный текст. Ради самопроверки. Очень уважаемый мной писатель и переводчик, великолепный знаток немецкой литературы, поэзии и вообще Германии был для меня «рецензентом № 1». Но вот он меня и огорошил. Прочел и сказал приблизительно так: «Смущает меня, что вы в чем-то отступаете от русского гуманизма. Да, юридически срока давности у таких преступлений нет и быть не может. Но они, ваши вполне реальные персонажи, в большинстве случаев другие уже люди были, когда их через двадцать, через тридцать лет судили. Ведь и это трагедия... Во всяком случае так посмотрела бы русская литература когда-то...»

У меня была возможность сослаться на то, что та литература не знала, не ведала ничего подобного — таких массовых и страшных преступлений, зверств...

Ответил, объяснил мне Достоевский. Только у него нашел ответ и на эту непростую ситуацию.

Один из моих «персонажей», Муравьев, на суде (и в обращении к судебным инстанциям) так говорил, пи-

сал: «Я не стараюсь защитить себя, т. к. все время чувствовал, что являюсь подлецом и негодяем... Однако я хочу сказать, что мы сейчас не те, какими были 30 лет тому назад, и потому встает такой вопрос: каких же людей вы будете приговаривать к расстрелу — тех, которые были 30 лет назад, или тех, которые в течение более 25 лет честно трудились на благо всего нашего народа, которые в настоящее время имеют детей и даже внуков».

Сразу же коробит от слов: «25 лет честно трудились на благо...» Т. е. человек исполнял, делал всего лишь то, что тысячи и тысячи лет миллионы людей делали, — работал. Но считает, почти убежден, что этим уже заслужил если не прощение, то снисхождение за убийство 100—200 человек. (Если иметь в виду, что «дирлевангеровцев было около тысячи, убили они более ста тысяч человек, значит, на каждом из них кровь не менее ста человек, а если точнее, так все сто тысяч на каждом: групповое преступление!»)

Значит, сами вы уже себя простили? За трудовую доблесть!

А не служит ли именно это и самым неопровержимым свидетельством, доказательством, важнейшей уликой, что и через 30 лет не изменился такой человек, в главном не переменился! Я узнавал и всякий раз поражался: ни одного не нашлось, не то что Мити Карамазова, который, помним мы, за один всего лишь помысел об убийстве, случайный, горячечный, готов себя покарать, даже «истребить», но и вообще не оказалось среди бывших карателей *ни одного*, кто не выдержал бы мук совести и сам себя покарал бы по-настоящему. Да где уж там: цепляются за существование до последнего, хотя ничего нет ужаснее их существования. Дети узнали, жена, все люди знают уже, кто он такой, недавний их сослуживец, их отец, муж, — куда с этим пойти можно, как жить возможно? А они цепляются, а они изворачиваются! Как когда-то цеплялись за любое существование и согласились собственную жизнь каждый день выкупать — десятками чужих жизней.

Достоевский своими «Карамазовыми» и на это дает ответ: изменились они или не изменились, бывшие каратели, — через 30 лет. Изменились бы, поднялись до истинно человеческого облика, образа, состояния, так разве могли бы жить с той памятью, как ни в чем не

бывало? Да сами себя сразу же и покарали бы, как только открылся бы в них действительно «новый» человек. Потому что открылась бы и их взгляду вся бездна вины перед людьми, детскими жизнями, загубленными ими. А как с этим жить, плодить детей и смотреть в глаза им («таким же, каких когда-то...» — запоздало бормочет в «последнем слове»), перевыполнять на работе план?..

Да, действительно классики с таким материалом не сталкивались. И Достоевский не сталкивался. Но снова срабатывает то самое необъяснимое Будущее Слово и вот уже отвечает на вопросы, казалось бы, сугубо нашего времени.

Кстати сказать, не слишком ли привыкает современный человек к тому, что можно измерить добро и зло тоннами добытого угля или кубометрами обструганных досок (бывший командир отделения у Дирлевангера и послевоенный бригадир на деревообрабатывающем комбинате в Донецке Лакуста Г. Г. настойчиво демонстрировал суду благодарственные грамоты). Век техники приучает к этому, что ли? И он же век постоянных презрительно нигилистических атак на моральные ценности, выстраданные человечеством за тысячелетия. Главная из тех ценностей — не чисто словесная, конечно, а выраженное в отношениях между людьми чувство запрета: не делай другим, чего не пожелал бы себе самому! Оно-то, наименее, может быть, прочное чувство, подвергалось всегда и подвергается наибольшему давлению, испытанию.

Но есть Толстой, есть Достоевский, мировая гуманистическая традиция, а значит — и высота, эталон требовательности человека к самому себе!

Это и нам, с нашими ограниченными силами и масштабами, придает смелости, решимости браться, тащить-перетаскивать на себе темы, проблемы часто совсем «негабаритные», мало освоенные литературой, которых жизнь, не церемонясь, столько нашвыряла нам под ноги.

Достоевский после Достоевского... Не следом за нами поспешают такие художники, а как бы из будущего навстречу нам выходят — опытнейшие проводники на все более сложном и крутом пути человечества.

ЧТОБЫ НЕ ПРОЗВУЧАЛ «СТАРТОВЫЙ» ВЫСТРЕЛ¹

1. Чем объяснить Вашу приверженность военной тематике — только ли жизненным опытом?

— Да, прежде всего жизненным опытом. Там ты увидел человека, которого высветили до самого доньшка страх смерти, жажда жизни и в то же время непростая готовность умереть, если это необходимо. Разглядел его вблизи. Со всем, что в человеке (в тебе) есть — и высокого и низкого. С этим знанием человека, *пределов человеческих*, можно бы и к другому, невоенному материалу переходить. И переходят многие: Ю. Бондарев, Г. Бакланов, Д. Гранин, Я. Брыль, А. Ананьев... (Я тоже написал две «повести о любви» — «Асия», «Последний отпуск». Но говорят, что без того «знания предмета», какое находят в повестях военных.)

Другие же идут не сворачивая, для них писательское «ни дня без строчки» означает — ни дня без войны, сами приговорили себя к бессрочной передовой: В. Быков, В. Богомолов, В. Кондратьев. Таким был и Константин Воробьев, до последнего дня жизни выплачивавший счет войне и предъявлявший ей счета — солдатские, человеческие.

Да, так или иначе, но все мы остаемся литературно прописанными к своим взводам и батальонам, партизанским отрядам и бригадам. Снова и снова возвращаемся к минувшей войне, лично пережитому, к живым и мертвым, их памяти — с неизбежностью, которая может и удивлять.

¹ Ответы на анкету журнала «Культура и жизнь» (1981).

«Это у вас от вашего Достоевского!» — сказала милая француженка, журналистка, оправдывая и жалея нас.

А писательница из Голландии, с которой вместе мы с Валентином Ежовым выступали в небольшом западно-германском городке, упрекнула нас, советских:

«Голландия тоже воевала, но мы уже не пишем о войне: 30 лет минуло, и разве нет проблем сегодняшних!»

Есть, конечно, и еще какие проблемы! И самая сегодняшняя, наисовременнейшая — проблема выживания человечества в термоядерный век. Т. е. все та же тема, проблема — военная...

И даже в моем случае, когда человек по неопытности взял и растранижил на первые же вещи (романы «Война под крышами», «Сыновья уходят в бой»), с первого раза израсходовал весь свой автобиографический материал, связанный с войной, — даже здесь обнаруживается, прослеживается неотпускающая сила, власть военного материала. Быков вон сколько пишет, написал более десяти повестей! — но все не отпускает его война, человек все не может разрядиться. Правда, он поступал и поступает с большим профессионализмом, умнее: умело и бережливо, по словам критика И. Дедкова, «квадратами повестей» нарезает поле своей памяти. А я после первых же романов оказался наг и пуст. Но, может быть, потому пришла мысль записывать, собрать чужой опыт, память других людей. У моих соавторов по документальной книге «Я из огненной деревни...» (Я. Брыля и В. Колесника) и «Блокадной книге» (Д. Гранина) были свои мотивы, побуждения, подтолкнувшие к этой трудоемкой работе. Но главное, что нас собрало и двигало нами, — власть пережитого над сознанием не только нашим, но и окружающих нас людей.

«Не навоевались досыта, — спросит кто-то чересчур догадливый, — продолжаете в книгах?..»

Да нет, именно потому, что хватило нашим людям ее, распроклятой, как никому во всем свете, именно потому ненавидим войну — и за себя и за всех на свете. Но такая ненависть, если о литературе говорить, — действительно «привязывает». Вот она, «достоевщина»! Угадала что-то милая француженка. А я, белорус, даже погордиться готов тем, что «корешки Достоевского (говоря словами нашего классика Ивана Мележа) в

нашем Полесье», даже село и музей существуют на Брестчине, где жили его предки, — Достоево.

Помню, когда ездили мы с Брылем и Колесником по Белоруссии, записывали рассказы чудом уцелевших непосредственных свидетелей трагедии сотен наших Хатыней — людей, которых фашисты живьем жгли, в землю закапывали, один из нас подумал вслух, указав на свободное место в машине: «Здесь бы Федору Михайловичу сидеть!»

Уж он-то увидел бы самую глубину, высказал бы самую суть о человеке и его будущем, если даже единичные случаи необузданной жестокости, известные ему из газет (мальчик, затравленный собаками помещика, ребенок, истязаемый родителями, студент, зарезавший купца и т. п.), если факты газетной хроники позволили ему открыть и заклеить опаснейший вирус «вседозволенности», предсказать почти за сто лет до появления на планете фашизма, что «главные убийцы-теоретики» скоро сто миллионов голов потребуют «во имя идеи» — удержу им не будет.

Достоевскому современники не поверили. Но он и сам не поверил бы, когда бы услышал, что не сто миллионов, а уже миллиард, полтора миллиарда человеческих жизней, — такие цифры называть станут новые радители о «счастье будущих поколений»...

Ну, а уж когда я «Карателей» писал — о реальных «теоретиках» и практиках фашистского геноцида, — все время сознавал, мучился, стоя перед глухой стеной, в потемках «чужих душ», что эти тайны, бездны лишь Ему под силу. Спросить бы у Него!

И мы, конечно, спрашиваем, когда вынуждены об этом обо всем писать, а он, его романы отвечают — даже больше, чем мы способны спросить...

2. В последние годы в литературе наметился новый подход к изображению отрицательного героя — когда писатель как бы изнутри высвечивает его психологию, его душу, анализируя не просто отрицательного героя, но человека (Рыбак В. Быкова, Гуськов В. Распутина, Ваши каратели). Почему, как Вы думаете, появляются сейчас эти персонажи?

— Читая дневники или записывая людей, переживших блокаду Ленинграда, которые были свидетелями мук и голодной смерти своей семьи, соседей — целые

дома, кварталы вымирали, — мы с Даниилом Граниным открыли для себя (а я — когда еще записывал хатынских свидетелей), что сегодня человек в массе знает о людях, о самом себе столько и так способен это осмыслить, так сказать о *пределах человеческих*, как не умела, не решалась литература наша еще вчера.

Послушаешь их — кажется, что и полесские женщины-колхозницы и работницы ленинградских заводов, домохозяйки — все начитались... Достоевского. Такая сложность и осмысленная острота переживаний, глубина и верность понимания человеческой природы. Но для большинства «Достоевским» была, конечно же, сама жизнь, собственная и близких судьба, работа души и совести, обожженных болью на всю оставшуюся жизнь.

Вот в чем дело прежде всего, когда и о литературе идет речь. В начале всего было это. Все в обществе, в народе — сообщающиеся сосуды, и раз жила та правда и глубина в сознании, памяти народной, не могла не устремиться в литературу. Когда создались — в конце 50-х, в 60-е гг. — подходящие условия. А Достоевский (как и Толстой, а для белорусов — еще и Чорный, и Горецкий), конечно же, помог этому движению литературы навстречу глубинному народному опыту, сознанию, памяти народной.

Сейчас у нас огромный интерес к прозе, именуемой «деревенской» — Шукшин, Абрамов, Распутин, Залыгин, Белов, Астафьев, Мележ, Друцэ, Матевосян и др. — сила этой литературы в том же, в чем и литературы «военной»: живой, реальный опыт народной жизни поднялся и сюда по «сообщающимся сосудам». Раскупорились они, очистились от «тромбов» полуправды, умолчаний, иллюзий.

Мне думается, что здесь ответ и на вопрос анкеты: почему литература (Распутин, Быков, мои «Каратели») погружается в сложности даже «падших душ»...

Как мне, например, было не влезть в «души» карателей, если в течение четырех лет я и мои друзья по работе над книгой «Я из огненной деревни...» почти в каждой из ста тридцати белорусских деревень, в которых удалось нам найти живых свидетелей хатынских трагедий, слышали один и тот же вопрос, обращенный как бы ко всему свету: «Так что же это было? И кто они те, что это делали? Они люди или кто?»

А потом и читатели книги «Я из огненной деревни...» снова и снова задавали вопросы, как бы обязывая нас — раз уж начали! — до конца додумать: кто они и что они, убийцы 619 белорусских Хатыней?

Те же вопросы неотступно задавало само время — 60-е и 70-е годы — вьетнамские Сонгми, а затем — открывшаяся миру трагедия Кампучии.

Поскольку уже существовала книга «Я из огненной деревни...» — подробнейший мартиролог сотен белорусских Хатыней (а еще раньше я написал «Хатынскую повесть»), я чувствовал писательское право и возможность весь свет направить, бросить в самую тьму крошечную — уже на самих карателей, фашистских убийц.

О жертвах, о том, что с ними и в них происходило, рассказано в «Хатынской повести», «Я из огненной деревни...». В «Карателях» же — как бы только цитаты из народных рассказов-плачей («Мамочка, будем гореть, и вочки наши будут выскоквать...», «Кто вы, вы люди или кто вы?»...). Они как бы подталкивают, отсылают память читательскую к обвиняющей книге мук и страданий — «Я из огненной деревни...». Не считал вправе что-то сочинять, когда уже есть, существуют эти рассказы.

...Великолепную, поучительную, очень близкую мне «Осень патриарха» Гарсио Маркеса прочел, когда уже был почти написан монолог Гитлера-Шикльгрубера и вся моя повесть. Кто действительно помог, подтолкнул к рискованному шагу — изнутри писать карателей, «больших» и «малых», через внутренние монологи, так это Фолкнер, и прежде всего повестью «Шум и ярость». (По-моему, самое удивительное и глубокое из всего, что им создано.) Помните (если читали, конечно помните!) «внутренний монолог» человекоподобного, мычащего дебила, который дается наравне с монологами брата и сестры — нормальных людей? Это ошарашивает, но убеждает...

А я все колебался, давать или не давать Тупиге «голос». И другим карателям. Потом понял: надо именно изнутри (и можно изнутри — Фолкнер!). Чтобы самими средствами письма подчеркнуть, выразить ту опасную истину, что грань между «человеком» и «карателем» не обязательно патологическая, а чаще всего лишь социальная (ложные идеи), психологическая (не устоял в какой-то момент, сломался).

Один критик, некогда фронтовик, сказал мне: «Было страшно читать. И знаете отчего? Мучил вопрос: ну а я, я устоял бы? Ведь тоже мог попасть в плен, в тот Бобруйский лагерь».

Да, человеку надо знать себя, пределы свои, чтобы быть наготове, когда обстоятельства (и те, кому это надо, выгодно) попытаются затащить человека за черту, откуда возврата не бывает. Есть, есть такая черта, а Белый, Муравьев не знали этого. Не знал этого и быковский Рыбак...

3. Бытует мнение, что за последние годы возросла философичность современной прозы. Так ли это? Что Вы понимаете под философичностью прозы?

— Во всяком случае потребность в этом сильнейшая. Есть, конечно, и дань моде, «философия», диктуемая претензией, а не самой жизнью. Но если о той, что из самой жизни, — из ощущения, что все сегодня, как никогда, связано со всем и все зависимы от всех — так ее, философичности, действительно стало больше в нашей прозе. Достаточно ли — это вопрос другой. Слишком серьезные и неотложные проблемы встают, встали перед каждым и всеми, чтобы довольствоваться «мыслительным потенциалом» современной литературы. Нашей и не нашей. Достоевский интуитивно поднимался до *космической философии* с квадрильонами лет и топором (!), летающим в виде спутника — в век XIX, «обыкновенный». А мы — в век космический! — мы все еще и очень часто мыслим категориями допотопными. По крайней мере — доатомными. Например, в разумении сути действенного, практического гуманизма. Об этом, кстати, и вопрос в «Анжете»...

4. Изменилось ли понятие гуманизма за годы, прошедшие после войны?

— По-моему, изменилось и вот в каком направлении. Яростно уличаемый Достоевским в безнравственности «арифметический гуманизм» (сколько голов, чужих, конечно, допустимо отдать, «не жалко» за прогресс, «за счастье миллионов») все-таки царил в большинстве мировоззренческих систем, полагавших, что они гуманистические. Нет, не будем максималистами задним числом: доатомное человечество еще могло позволить себе — ради избавления от реакционных

тормозов и пут — использовать ту самую «арифметику», пусть и жестокую. Трудно было, но можно было спорить, доказывать, что предпочтительнее: страдания, муки «одного-единственного» ребенка или тысячекратные, миллионкратные?! И окупаются ли счастьем миллионов муки одного-единственного...

Более того: человечество могло, не соскальзывая на путь физического самоистребления, самоубийства, позволить себе «прогрессивно необходимые» войны.

Сегодня такая возможность исчерпана полностью: любая, самая малая, война — шаг к атомному безумию. Даже самая малая «цифра» способна всех сбросить в пропасть, в атомную бездну. В Сараево туристам показывают «следы» (в асфальте) — место, откуда прозвучал «стартовый» выстрел первой мировой войны.

Всем даже интересно смотреть на «исторические» следы. О первом, о «стартовом» выстреле третьей мировой — кто и кому будет рассказывать?!

И перед кем — перед собственным прахом, пеплом — последние «радители» о благе человечества будут оправдываться? Мол, справедливости ради, только ради благополучия — не своего лично, а общества, класса, государства — сделали тот роковой выстрел! Все еще думали: что, мол, стоит жизнь «единичная», когда речь о «более важном»? И вдруг оказалось, что стоит — всего стоит!

Казавшийся бессильным и наивным призыв-запрет бессрочной давности «не убий!» вот так неожиданно грозно сомкнулся с современной ситуацией в мире. Совпал, слился с чувством — к сожалению, все еще недостаточным — самосохранения рода человеческого.

Хорошо бы уяснить до конца каждому: попав в «единичную» жизнь, можешь, как в «яблочко», вклеить в жизнь сотен миллионов — обрушить, как в тире, всю «фигуру». (А уж высчитывать возможности какой-то ограниченной атомной войны — заведомое самоубийство.)

Неделимой стала сама жизнь на планете — и только ли человеческая? — индивидуума жизнь и рода человеческого.

То, что привычным казалось еще 40—50 лет назад: столькими-то жизнями можно пожертвовать ради того-то и того-то — сегодня начинает звучать кровавым воплем людоеда. А политик все еще считает слова свои и

подсчеты свои — нормальными, человеческими, цивилизованными и даже «гуманными». Вот как этот!

«...Как сказал в прошлом году в интервью Бжезинский, думать, что ядерная война уничтожит человечество, — это «думать неточно». По словам Бжезинского, даже если народы США и Советского Союза будут уничтожены, то на земле останутся народы других стран. По словам этого ядерного идиота, мы не должны проявлять «эгоцентризма» и преувеличивать важность уничтожения США и Советского Союза». (Из заявления компартии США — «Правда» от 5 февраля 1979 года.)

Психология и методы «заложничества», захлестнувшие в конце XX века авиалинии планеты, «спустились» к террористам не откуда-нибудь, а из высших политических сфер, империалистических, милитаристских. Для бжезинских (американских, европейских, азиатских) жизни миллионов людей, целых народов жизни — заложнические. Ставя их на карту, играя с атомным огнем, деятели такого рода по старинке думают добиться политических, а то и просто иллюзорно престижных «выгод», «преимуществ» своему классу, своей нации, своему государству. Как будто не главная и не самая большая для всех и каждого в отдельности выгода не сгореть в ядерном огне, сберечь, сохранить жизнь и возможность жизни для собственных детей, внуков, правнуков — для рода человеческого?!

Так в чем же новизна современного разумения гуманизма, к которому все больше людей выходят, все более осознанно? Вопреки практике «ядерных идиотов», в ответ на их опасную практику. По-моему, именно в этом: в полной невозможности — не идеальной, а уже практической — выторговывать у творящейся истории, у будущего «счастье миллионов» за счет «голов немногих».

Если не бог любви, так хотя бы божки выгоды и расчета вдруг да и восторжествуют — для начала! Начнет утверждаться — не в книгах и в проповедях, а в самой практике человечества — пусть и вынужденное, но спасительное «не убий!». Не убий одного, чтобы не стать убийцей многих, а может быть, всех! — вот как звучит сегодня «арифметика», если уж ей пользоваться. Спасительная арифметика!

Прогресс, который, по утверждению К. Маркса, всегда предпочитал пить нектар из черепов убитых, сегодня такой «прогресс» — немислим, самоубийственен.

Абсолютный запрет на кровь и жестокость, диктуемый высшими интересами рода человеческого, — вот формула гуманизма, рождающаяся на исходе самого жестокого и кровавого из веков.

Если можно лишить жизни одного, то можно — и двоих. Для общей пользы! А если двоих позволено, то почему не две тысячи, не двести тысяч — для «еще большей пользы»!.. (Как спорил когда-то со «смешными» предрассудками «слабонервных» (сохранилась стенограмма) полуграмотный человек с усиками под совсем не арийским носом: «Двести пятьдесят тысяч — какая ерунда! Что такое двести пятьдесят тысяч при такой операции!»)

А там — и полмиллиарда Бжезинского...

Лев Толстой еще на пороге века предугадывал, к чему придем, если все будет идти, как шло...

«Если можно признать, что что бы то ни было важнее чувства человеколюбия, хоть на один час и хоть в каком-нибудь одном, исключительном случае, то нет преступления, которое нельзя было бы совершить над людьми, не считая себя виноватым...»

Но homo sapiens должен был еще пройти через фашизацию целых стран и народов, принявших кровь и жестокость как символ веры, через Освенцимы, Хатыни, Херосиму пройти, чтобы поверить, что человек разумен лишь в той степени, в какой он добр, милосерден, гуманен.

5. В чем главная задача литературы? Можно ли считать ее категорией постоянной?

— Главная и вечная задача литературы — быть дозорным и стражем самых гуманистических принципов, выработанных человечеством за всю нелегкую историю. Питаться ими и питать их — новым опытом своего времени.

Что именно гуманизм — главная и *постоянная* задача литературы, подтверждается всем опытом развития. Предавая эту цель, литература тотчас перестает значить что-то как искусство, просто-напросто исчезает из общественной жизни — как в фашистской Германии.

Гуманистическая «завербованность», «ангажированность» литературы — главное условие самого бытия, существования большой литературы. Но, кажется, мы переходим к общим истинам...

6. Какие задачи сейчас, по-вашему, стоят перед литературой, какие могут встать в ближайшее время?

— Что ж, задачи все те же — о них мы уже говорили. В этом духе отвечу и на ваш следующий вопрос: чего я хочу «от своего творчества дальше»? Хочу, чтобы антивоенный пафос «Хатынской повести», «Карателей» и нашей коллективной книги «Я из огненной деревни...» в следующих моих вещах (если напишутся) прозвучал еще более лично и неотменно: «Не убий!»...

Люди обязаны выработать в себе абсолютное отвращение к убийству себе подобных — такое же, как испытывают к антропофагии. А у литературы — какие мощные «исходные позиции» для движения в этом направлении! И первыми вспоминаются «Преступление и наказание», «Война и мир»!..

7. Как происходит у Вас общение с читателями? Какие формы этого общения Вы предпочитаете?

— Нормально происходит. Беседуем о том, кто же мы такие — люди, человеки? И чего нам ждать от самих себя.

Могу засвидетельствовать, подтвердить то, что, конечно, и другие замечают: читателя нашего как-то уж перестает мучить извечная читательская озабоченность: а что случилось, приключилось с героями дальше, кто на ком переженился, куда и кто уехал? Зато по-настоящему волнует, заботит: что с нами всеми приключится и как можно повлиять на нашу общую судьбу...

НЕ ХУТОР, НО МИР

В последнее время стало почти обязательным в статьях о литературе горячо доказывать, словно защищая нечто всеми забытое, что писателям надо знать жизнь своего народа, почитать классиков, продолжать их традиции... Ну, а кто же утверждает, что можно стать хорошим писателем, достойным внимания своего народа, не зная, чем живет-дышит твой народ, игнорируя родную литературу, ее традиции?

В статье «Надо ли бояться «чужих» классиков?» мною уже была высказана мысль о том, что ориентация на самые высокие идейно-художественные критерии собственной, а также русской и других замечательных литератур — это также наша, *белорусская*, традиция.

Если бы белорусская проза в свое время (творчество Я. Коласа, М. Горецкого, К. Чорного и других) не пробились, не поднялась к высотам современного психологизма, аналитизма («послетолстовского», «последостоевского») в показе социальных отношений и человека и если бы до сих пор обходились только средствами поэтично-фольклорной выразительности, кто знает, не завидовали ли мы сегодня другим?

И такая проза бывает и может быть выдающейся, но разве не лучше, не перспективней для литературы, если рядом и одновременно она имеет и может иметь таких разных художников, как Брыль и Быков, Науменко и Адамчик, Чигринов и Кудравец, Сипаков и Козько и т. д.?!

Много сейчас говорим, пишем о «Полесской хронике» Ивана Мележа, хотя все еще по-настоящему не увидели, не оценили социально-идейное и творческое новаторство Мележа в масштабах всей современной советской прозы.

Кто-кто, а Мележ умел ценить и понимать исключительные возможности фольклорно-поэтической выразительности. И как прекрасно он их использует, рисуя, например, молодую любовь Ганны, народные обычаи, быт и т. д. Но на этом его творческие искания не закончились. Ему необходимо было всесторонне художественно проанализировать социально-психологические выводы полувековой истории белорусского (да и не только белорусского) крестьянства. И вот тут Иван Мележ с необыкновенной гражданской и художественной смелостью вышел к той самой — тоже белорусской — традиции: он ориентируется на самое высокое и в то же время самое близкое, что было сделано раньше. Своими, да и не только своими классиками: Коласом, Чорным, Шолоховым...

Вот один только момент.

Наше литературоведение подчеркивает принципиальное значение трагического финала «Тихого Дона».

«Хоронил он свою Аксинью при ярком утреннем свете. Уже в могиле он крестом сложил на груди ее мертвенно побелевшие смуглые руки... Он простался с нею, твердо веря в то, что расстанутся они ненадолго...

Теперь ему незачем было торопиться. Все было кончено.

В дымной мгле суховея вставало над яром солнце...»

Человеку, который впервые читает это замечательное произведение, сначала кажется: восходит, взойдет «литературное» солнце надежды. Мол, вечное и непобедимое солнце жизни! И все станет на свои обычные места. Но потом каждого как током пронизает (и при первом, и при последующем прочтении): «Словно пробудившись от тяжелого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца».

В первой половине XX столетия эпопея заканчивалась (впервые в истории литературы) на такой вот трагичной, бесконечно тревожной ноте. Автор словно и старается, но не может преодолеть свое пророческое ощущение глубокой тревоги. Тревоги не только за своего героя, но и за всех людей на земле.

«Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока

еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром».

А в 60-е годы того же XX столетия — звучит навстречу голосу русской эпопеи-трагедии, должно было прозвучать, но уже в белорусской эпопее: «Весна, пашет. (Через год? два?) Только бы здесь. Будь что будет. Вот она, Корчова полоса. Которую жаждал. Все пошло прахом. Ни Ганны, ни земли. «Дурак». Так, наверно, надо. И нужно жить как есть. Как predetermined судьбой. Жить».

Так собирался закончить третий роман своей хроники Мележ. На трагической ноте.

Нет, не нужно нам, уважаемые коллеги, свой собственный уровень — теоретический и практический — предлагать современной белорусской литературе в качестве не только какой-то обязательной нормы, но и якобы патриотического долга. А может, лучше подождать, когда сами подрастем-поднимемся до того уровня, на котором уже стоит белорусская литература? Поднялась и стоит крепко, ибо наши писатели никогда не считали, что повредит подняться еще выше, над нами сегодняшними и вчерашними. Поглядывая при этом: а как там соседи, близкие, далекие, нет ли у них чего интересного, а возможно, и выдающегося, что и нам не повредит?

Не следует представлять свою литературу каким-то хутором, стоящим на отшибе от всех. Хутором, к которому и от которого если и есть одна-две тропинки, то едва заметные. Чем меньше, мол, связей с соседями и всем миром, тем надежней и спокойней. Еще стащат что-либо наше или ящур (литературный, разумеется) принесут на своих подошвах!..

Безусловно, при всей динамичности и способности аккумулировать все то, что обогащает расширяет наш опыт, делает белорусскую традицию более разветвленной, а поэтому и более устойчивой на литературной планете, нам менее всего к лицу суетливость, стремление быть обязательно впереди любого «литературного прогресса».

В человеке мы уважаем то, что называется характером. Способностью в любых обстоятельствах оставаться самим собой. Такой человек самый надежный.

Характер — устойчивый, надежный — украшает и литературу. Характер, но не фанаберия.



100-летие со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа.
Алесь Адамович выступает в Русском клубе ООН.
Нью-Йорк, 1982 год.



В Индии. 1982 год.

Кто умел и умеет проявить характер в литературе и тем самым утвердить ее подлинную, а не поверхностную самобытность, так это наш Быков.

Вот у кого можно поучиться «быть самим собой в литературе», к чему так стремятся обычно молодые. Только не всегда знают, чего это стоит.

Литература «военная» туда или сюда, а Быков — прежний, пишет все о том же: «Проклятая высота», «Круглянский мост», «Сотников», «Дожить до рассвета». Литература побывала уже в штабах дивизий и армий и особенно охотно задержалась в ставках (нашей и немецкой), писателям, даже бывшим фронтовикам, в «окопах» уже не сиделось. Искали: кто более богатую панораму, кто эпопейный размах. Одни — где выше, другие — где глубже.

Литература пела и то и другое, а Быков все тянул (и тянет) свою трагическую оду (бывает такой жанр?), нескончаемую оду «пролетариату войны» — пехоте: тем, кто бежит в атаку, то есть убивать врага, или, засыпанный, корчится, добиваемый, доколачиваемый немецкими минами, снарядами, идет добывать партизанский харч или взрывать и, помимо всего этого, вроде бы немногого, но чего хватило миллионам людей на четыре года, еще и тем занят, озабочен постоянно, чтобы сохранить в себе правду, идеал жизни человеческой, человека сохранить.

Да — «пролетариат войны». Пехота, по словам Василия Быкова, «в прошлой войне являлась не только царицей полей, но и пролетариатом всех битв, выигранных ею большой кровью».

Кто-то должен был написать и о том и о другом — не только об окопах, но и о штабах, и о ставках. Литература всегда к этому стремилась. Да и читателю хочется побывать там, куда без литературы не войдешь.

Но кто-то должен был и это: всего и навсегда отдать себя «пролетариату войны».

Ни Быков, ни мы сказать не могли — ни в 60-е, ни в 70-е годы, — что о «пролетариате войны», о тех, кто и составлял массу народную на войне, не пишет никто и пусть «хотя бы Быков»... Писали, хорошо и много писали. И тот же Бакланов — «Июнь 41 года», «Навски — девятнадцатилетние», и Астафьев — «Пастух и пастушка», и Науменко — «Сорок третий», «Печаль белых ночей», и В. Богомоллов — «Момент истины».

А вынырнувший из безвестности и ставший вровень с уже знакомыми по лучшим произведениям героями — «пролетариями передовой» — «Сашка» Кондратьева! А дошедшие наконец до широкого читателя пронзительно правдивые повести Константина Воробьева, симоновские «Разные дни войны»...

Да, не один Быков писал, пишет о матушке-пехоте. Но никто так неотступно. Никто, кроме него, не отдал себя «пролетариату войны» в бессрочные писаря. Что ж, будем справедливы. Даже если вам больше нравится, как пишут Бакланов, Симонов, или Науменко, или Кондратьев, вы должны будете признать, что всегда был и остается при «пролетариате» один Быков. Он один столь постоянен. Вот об этом, а не чтобы его над всеми как художника поставить, — об этом я здесь столько толкую.

Знаете, графически это можно вычертить так: прямая линия, просто тоскливо даже, какая она прямая, — это Быков, его повести «все о том же», а над этой прямой взвиваются, горбятся, то вверх поднимаясь, то к низу западая, зигзаги, параболы развития «военной» прозы. И не в укор это другим. А всех бы заклинило на одном, да навсегда — что бы мы сказали? И читатель как бы зажаловался.

Да и самого Быкова все время и всем хотелось с этой линии столкнуть, поднять или опустить — поправить и куда-то направить. Еще одна повесть об «окопной правде», почти о том же снова? Сколько можно, Вася? Скоро каждую новую быковскую повесть будут брать в руки не с нетерпеливым жадным любопытством, как прежде, а с понимающе снисходительной усмешечкой: что, снова двое или трое в степи, в лесу? Снова — «критическая ситуация»?

Я тоже, когда в 1975 году прочел верстку «Его батальона», присланную мне из Гродно, написал Быкову, не удержался от советов: вот, мол, отличное завершение цикла твоих повестей, не удивить ли всезнающего читателя вещью Быкова, но совсем не о войне? О чем угодно: о матери, о детстве, о птичках, о собаке, но не о войне... А потом с новой энергией, со свежими чувствами вернешься к войне.

Одним словом, советы были дельные. И... неприемлемые для Быкова.

Я-то его «Батальон» видел (мы видели) в контексте

лишь его, лишь быковского творчества. В таком контексте советы были, возможно, и полезные.

Сам же Быков то, что он делал и делает, воспринимает в контексте ином, всей службы литературной: как она исполняется во имя все того же солдата, партизана, тетки Демчихи с ее детьми. Уйти-то я уйду, а кто захочет сидеть на моем писарском месте, при том самом «пролетариате»?

Да, Быков все всем отдал не жалея, все самое выигрышное — штабы, ставки, а себе оставил только «прозу войны». Зато это уже никому отдавать не хотел. Ощущал (и ощущает) себя там как на постоянном посту, на который его поставила солдатская совесть.

Вел и ведет, тянет прямую линию, а от нее отрывались, взлетая, параболы широкопанорамных романов, эпопей. Но вот проходит какое-то время, и «военная» проза снова спускается из штабов в окопы, параболы падают все на ту же быковскую «линию». Снова и снова прозаики и критики делали открытие, что солдат, солдаты на войне — вот главное, что нужно глубже и полней осваивать «военной» литературе.

И тогда снова все обратили внимание и удивились: смотрите, а наш белорус Василь Быков уже там, куда мы показываем! Куда собираемся двинуться!

Сам принцип многонационального единства литератур — принцип выдающийся. В современных условиях он необычайно ускоряет художественный процесс. Принцип этот должен вообще исключать такое явление, как продолжительный творческий застой, топтание на месте. Потому что в любой момент какая-нибудь из наших литератур обязательно вырвется вперед, как, например, белорусская — в «военном» направлении, русская — в «деревенском», киргизская — в направлении социально-философского романа.

Пока в одних литературах идет накопление художественных ценностей, другие движутся в каком-то новом, важном направлении, а это создает постоянное общее настроение поиска, творческого соперничества, взаимообогащения.

Безусловно, все это не значит, что Кондратьеву, или Бакланову, или Бондареву надо обязательно бежать за белорусами, а Брылю или Козько — за Беловым или Распутиным или всем вместе — за Айтматовым, который написал этапный для 80-х годов социально-филосо-

софский роман о делах земных и «небесных» «И дольше века длится день». Потому что за каждой из литератур — свой простор национальной истории, культуры, традиции.

При всем при том была бы не в пользу, а во вред каждой из литератур — и нашей также — хуторская амбиция: что мне ваш опыт, у меня своего хватает! Если кто-то проложил своим трудом путь в каком-нибудь важном направлении, то, пожалуйста, используйте его, чтобы, сберегая время, силы, на новом этапе и в своем направлении самому вырваться вперед, стимулируя общее движение. Только так, а не упорным копанием в стороне от всех, на изолированном литературном хуторе, создает национальная литература авторитет себе и своему народу.

То, что было справедливым и дало замечательные результаты в 60—70-е годы, найдет, можно быть уверенным, подтверждение и новое развитие и в 80-е и в 90-е годы.

С ЧЕГО ПОШЛА, НАЧИНАЛАСЬ «БЛОКАДНАЯ КНИГА»¹

Алесь Михайлович! В выступлениях по телевидению, в интервью Даниил Гранин, когда шел разговор о Вашей с ним книге, не раз отмечал, что «идея «Блокадной книги» принадлежит белорусскому писателю». Выглядит это несколько парадоксально, если не знать, что за этим стоит, как оно начиналось, с чего. Не расскажете ли про это...

Получилось как-то само собой. Хотя теперь, когда работа сделана, начинаешь думать, что были, были какие-то невидимые, но сильные токи — от Хатыней к блокадным ленинградским трагедиям — и что токи эти, импульсы как раз и направляли мысли и намерения одного из авторов книги о Хатынях — направляли на Ленинград.

На Даниила Гранина вышел, когда решил этим заняться сам. Потому что сначала об этом не думал, лишь хотелось поджечь той работой, что проделана была в Белоруссии, чей-то энтузиазм в Ленинграде. А ты тут при чем и кто тебя просил, просит? Понимаю, что это так, сам над собой издевался, однако что-то заставляло. И не что-то, а именно то, что война была на всех одна — Отечественная: что в Белоруссии, что в Ленинграде. Кроме того, внутренний гул от долгой работы над книгой «Я из огненной деревни...» все еще продолжался и, может быть, тоже подталкивал, требовал какого-то про-

¹ Интервью белорусскому альманаху «Братэрства» (издание «Мастацкай літаратуры»), 1982. «Блокадная книга» в 1982 году получила Рабочую премию Ленинградского производственного объединения «Невский завод» имени В. И. Ленина. В 1983 году ей присуждена Золотая медаль имени А. Фадеева (Ред.).

должения... Тем более что во мне уже жило несколько ленинградских историй, таких же пронзительных и мучительных, как наши хатынские. И услышал я их, кстати, от Галины Максимовны Горецкой, дочери классика нашей литературы Максима Горецкого, когда ездил в Ленинград к семье писателя — писал книгу о его трагической судьбе и замечательных произведениях. Вон сколько случайностей и как тем не менее все выглядит закономерно связанным с «Блокадной книгой»: трагедии наши вели, привели поиск к ленинградским, потому, очевидно, что они, трагедии века, как подземные реки, связаны, сливаются. Хотя бы вот эти истории, разве не стоят они в одном ряду с памятью, болью «огненных деревень»?

...Женщина-мать, чтобы спасти остальных детей от близкой смерти, не заявляет до конца месяца об умершем ребенке (хлебные карточки!), прячет замерзший трупик в шкафу.

...Пункт приема детей-сирот, которых собирали в жутко тихих домах «бытовые отряды»: принесли мальчика, санитарка, добрая душа, целует голодного плачущего ребенка. Оглянулась: все дети выстроились в рядочек, чтобы и их поцеловала...

Я много читал о ленинградской блокаде, но сердцем понял, как себя чувствовал там человек, лишь после этих простеньких историй, услышанных, как я уже говорил, от Галины Максимовны Горецкой.

И я их пересказал аудитории — после таких же, хатынских, — на одном из заседаний, собранном в Москве тогдашним председателем бюро по публицистике и очерку Константином Михайловичем Симоновым. (Кажется, в 1971 или в 1972 году.) Пересказал, чтобы сообщить о книге «Я из огненной деревни...», которую мы, белорусы, делаем, и одновременно узнать, делают ли что-либо похожее ленинградцы. Ведь это рядом стоит: трагедия деревень и города в современной тотальной войне. Кто-то из ленинградцев подходил, говорили об этом, обсуждали.

Но не слышно было, чтобы кто-то взялся, и когда мне пришлось (уже в 1974 г.) быть у Федора Абрамова, я сделал попытку ему навязать эту работу.

— Там у меня крестьянский сундук стоит — вот кто хозяин моего времени! — пожаловался Федор Александрович. — Пока не доберусь до дна...

Но тут же сообщил, что заполняется сундук быстрее, нежели опорожняется. Каждое лето писатель сидит, живет в своей Верколе, в Пинежском районе — рядом с Пряслиными и другими героями будущих книг о судьбах русской деревни...

Только после этого я осмелился подумать, что, видимо, сам буду делать книгу о ленинградской блокаде, подобную нашей «Огненной деревне». Конечно, в соавторстве с кем-либо из ленинградцев. Кроме Федора Абрамова, с которым знаком еще с 1950 г., ближе других ленинградцев знал Даниила Гранина, но больше заочно — по произведениям его, превосходным эссе и через короткую переписку (как раз по поводу его эссе о Пушкине и Булгарине).

Написал ему о нашей белорусской книге, о том, как вижу ленинградскую. Даниил Александрович сразу отозвался: да, все верно, но где найти время на такую работу? Время — с этой категорией бытия у Гранина отношения самые строгие. (Не случайно он автор удивительной книги «Эта странная жизнь», в которой, при всей гранинской сдержанности, звучит гимн человеку, который за свою сознательную жизнь не потерял, не упустил из-под своего контроля ни одной минуты времени. *Ни одной* — в буквальном смысле.) Нужно было убеждать занятого больше, чем ты сам, человека, что *эта работа* — для него лично и вообще — самая важная, главная. Тем более что он вправе спросить: «Почему за такую работу должен браться писатель? Она скорее журналистская...»

— Но хотите, я найду вам толковых соавторов?

И мы собрались на квартире Даниила Александровича: кроме нас — еще трое. Хозяин, как бы подчеркивая важность «исторического момента», щелкнул клавишей магнитофона, включил:

— Ну, выкладывайте, Александр Михайлович, свои идеи.

Я — все сначала: о нашей белорусской книге, которая уже частично опубликована в журналах «Октябрь» и «Неман», о том, что блокада ждет...

— А вы читали книги о блокаде? — строго и недоверчиво спросили меня. — Или хотя бы знаете, сколько их уже написано? И документальных — не десятки, сотни!

И я увидел себя со стороны — глазами тех двух ле-

нинградских журналистов. (О третьем — особый разговор.) Чудак (если не хуже), забежал в чужой двор, где люди с пеленок живут, и хочет, пытается хозяевам показать, где и что у них есть, зарыто, лежит, стоит...

Столько книг — и хороших — сделано, написано, а он хочет что-то заново открыть, будто нога писательская там не ступала!..

Они были по-своему правы, видимо, не сумел, не удалось мне убедить, что книга — хотя и действительно много уже написано — не будет лишь повторением или даже дополнением, а чем-то совершенно иным. И не благодаря нашей гениальности, а потому лишь, что начнем с самого простого и сделаем самое простое: дадим, позволим наконец выговориться самой блокаде, собственным голосом выговориться, выкричатся, выплакаться...

Из троих лишь один ленинградец понял, о чем речь, но и он вынужден был отказаться:

— Я взялся бы, но ведь это такое трудоемкое дело, а на мне целое издательство!..

Когда гости ушли, хозяин, на глазах у которого я столь сокрушительно провалился со своими «идеями», видимо, пожалел меня. (Тем более что и его миссия — сосватать мне соавторов — тоже потерпела крах.)

— Ну раз так, возьмусь я!..

Назавтра мы поехали записывать первого блокадника. 5 апреля 1975 года — это я хорошо помню. Куда-то на улицу Шелгунова, по адресу, который мне дала все она же, Галина Максимовна Горецкая. Блокадную историю ее знакомой я уже знал в пересказе и рассчитывал, во всяком случае хотел, чтобы и Даниила Александровича сразу «зацепило и потащило». Хотя и знал (по прежнему опыту), что нужно набраться терпения и тогда из 10—12 рассказов-воспоминаний одно получите потрясающее. Но здесь мне хотелось, чтобы сразу же услышать, записать именно такое...

Чуда, к сожалению, не произошло. И, действительно, лишь десятая или одиннадцатая ленинградка нам рассказала такое и так, что сразу открылся нам уровень правды, безоглядной искренности, трагизма, который «сделает книгу». Это — рассказ бывшего командира «группы самообороны», жактовского коменданта «жилых объектов» — Дмитриевой. Той самой, о которой в первой части «Блокадной книги» мы не могли не

написать: «Эта бессмертная, эта вечная Мария Ивановна».

Не буду подробно рассказывать, как мы — вдвоем или каждый из нас самостоятельно — искали адреса блокадников, телефоны, ездили, ходили, знакомились, расспрашивали, записывали. От человека к человеку, от квартиры на одном конце огромного города к дому, квартире — на другом. Всякое бывало. На какой-нибудь бесконечной улице Бассейной, где и дома не нашел и того блокадника не повидал, вдруг посмотришь на самого себя со стороны — да так ясно увидишь себя с чемоданчиком-магнитофоном в том вечернем «петербургском» тумане! — и какой-то смех дурацкий: «Зачем ты здесь? Почему именно ты? И кому это надо?»

А конца дела не видно, и будет ли какой-либо результат? Все больше нам открывалась и пугала невозможность что-то целостное выстроить из того, что у нас на магнитных лентах и что наша стенографистка-машинистка Софья Сергеевна Локшин переносила на бумагу. (Она, наша самоотверженная помощница, которая и сама прошла через блокаду, так и не увидела работу в печати — мы ее потеряли на полпути.)

Чем больше записано воспоминаний, чем больше в руках у нас дневников, тем сильнее ощущение, что мы от своей цели дальше, чем в тот апрельский день 1975 года, когда затевали работу. Воспоминания по 50 и по 100 страниц каждое — сотни таких рассказов-воспоминаний, записей, дневников — целая гора, но как с этим выйти к читателю, как сделать то, *что можно взять в руки и читать*. Мучительно хотелось сделать работу, чтобы освободиться быстрее, вырваться. Вот где я, кажется, был готов согласиться с ненавистным мне краснобаем Заратустрой: если ты смотришь в пропасть, то и она смотрит тебе в душу!..

А нам уже открылась пропасть — массовый голод во всей его блокадной беспощадной реальности, правде.

Я все ездил в Ленинград, квартира Даниила Александровича и Риммы Михайловны на улице Братьев Васильевых — наш «штаб», куда все больше нитей стягивается, сходится. Столько, что уже и запутаться можно. Хорошо, что и здесь у нас есть женские руки и аккуратность женская — Риммы Михайловны. О нашей работе уже прослышали, уже звонят, пишут нам, сами ищут нас, и тут уже не отступишься, даже если бы

захотел. Он ничего так не просил, ленинградец-блокадник, не требовал, не хотел для себя — хотя нужда была в помощи и не раз в послевоенные годы — как здесь вдруг прорвалось. Не просьба что-то дать ему, а взять, взять, взять у него — всю правду!

«Горько и обидно иногда слышать: «Ха, блокадники. Хорошо, значит, жили, если до сих пор живы. Настоящие блокадники давным-давно на Пискаревке лежат».

И еще один деятель в юридической консультации мне сказал: «Что такое блокадники? Такого слова теперь нет. Есть словосочетание — «люди, пережившие блокаду».

«...Спасибо тем людям, которые рассказали вам о блокаде, спасибо, что Вы хотите помнить о блокадниках» (Из письма Ковалевой Ольги Демьяновны).

Когда ухо, когда сознание настроено все время на одну волну, блокадника услышишь, разгадаешь и далеко от Ленинграда. Сколько я их нашел в поезде Минск — Ленинград, который изрядно обжил за годы с 1975-го по 1981-й.

Или вот такой случай: старая женщина-минчанка все время занята тем, что находит, собирает и кормит на улице, во дворе бездомных котов, собак (или хотя бы голубей) — сцена не такая уж редкая или удивительная. Но неожиданные слова ее меня заставили внутренне сжаться: «Я не могу видеть голодных. Я была в Ленинграде...»

Была в блокадном Ленинграде, это на всю жизнь.

Я все ездил в Ленинград, изучил его улицы и кварталы, возможно, как редко кто из коренных жителей: не всякому ленинградцу необходимо знать, где там эта улица Солдата Корзуна или Бассейная. Найдешь улицу, дом и, если ты один и не объяснил по телефону, спешишь сказать: «Вот мы с Граниным... Вы же Гранина знаете?..» Это — чтобы не объяснять долго, кто ты и зачем, почему здесь оказался, чтобы долго не выпрашивать доверие к себе. «Даниил Гранин... Мы с Граниным...» — срабатывало как пароль. (Только в некоторых республиках Средней Азии, где тысячелетнее уважение к книге и «ученому человеку», я замечал что-то подобное.)

Так что если иногда и один ходил по Ленинграду, то тоже, как видите, с Граниным.

А с материалом — чем больше его набиралось, копи-

лось, тем больше не хватало. Слишком много — чтобы напечатать, как есть, и слишком мало — чтобы нам главное открылось, самим стала ведома общая нашего произведения идея.

Чего ради, зачем мы потревожили, собираем блокадную память, кажется, знаем. Чтобы не упустить, не потерять навсегда народную правду о трагических и героических 900 днях Ленинграда, *всю правду* о войне. Чтобы дать выговориться, выкричаться памяти о невыносимом блокадном голоде, о муках, потерях и героизме людей, спасавших цивилизацию от фашистского варварства. И чтобы еще раз проклясть войну — этого «железного зверя», говоря словами белорусского классика Кузьмы Чорного, от которого столько веков, тысячелетий людям покоя нет...

Все это так, но и жанр наш, как и всякое произведение, требует сверхидеи, сверхцели. Не той, которую навязывают материалу или привязывают к нему, а которая открывается в самом материале и через него, если долго всматриваться.

Мы всматривались, искали — пока действительно не открылось: *а, вот мы о чем!*

Это не сразу пришло. Спорили, что удерживало и удержало рядового ленинградца на такой гордой и трудной высоте солдатского и человеческого поведения? Ленинградцы умирали, но умирали с каким-то особенным достоинством, не оценит которое лишь тот, кто не прочувствовал всю меру, бездну испытаний, выпавших на их долю.

Фашистские фюреры рассчитывали, что «Ленинград выжрет самого себя» — так и кричали, и писали, потому что танкам их не удалось, но голод уже ворвался в Ленинград. А вместе с голодом и то, что, по их расчетам, должно было ленинградца превратить в безвольное, ко всему равнодушное существо. «Голод — наш союзник!» — радовались и мстительно ждали момента, когда в городе все поползет по швам, потому что не выдержит сам человек, «расползется»...

Да, дисциплина, организованность дали почву, опору даже слабым, а сильных еще больше укрепляли на борьбу до победы — это важно помнить. Однако только это увидели, оценили те, кто хотел задушить Ленинград блокадой — оценили потом, когда им самим пришлось спасаться от расплаты в собственной столице.

И пошли инструкции, указы берлинцам: как организовать, чтобы «тоже выстоять», — циркуляр Гитлера и Гимmlера № 40/10. Старательно вспоминают «опыт ленинградцев» и перечисляют все необходимые мероприятия по мобилизации населения на борьбу до последнего дыхания.

И вот это не забыли, вспомнили: «Ненависть населения (в Ленинграде) создавала важнейшую силу обороны». Да, о ненависти к себе фашисты сами хорошо позаботились — чего-чего, а этого хватало во всей Европе и во всем мире! Только не ею единой вскормлен был и держался «дух ленинградцев».

Чем больше мы слушали самих ленинградцев, изучали документы, читали дневники, тем яснее нам открывалась одна из главных опор того самого «духа ленинградцев».

Что Ленинград — один из самых культурных городов в мире, кто об этом не знает. Что это город-интеллигент и по культурным традициям и по насыщенности музеями, библиотеками, научными учреждениями, а главное — по культуре, облику самих горожан, по их взаимоотношениям и отношению к тем, кто приезжает в Ленинград, — также давно считается общепризнанным. Рабочий класс в городе Ленина всегда славился не только технической, но и общей культурой.

Все это так, и все, оказывается, имеет не только прямое, непосредственное отношение к легендарной стойкости ленинградцев во время блокады, но и может объяснить многочисленные конкретные ситуации и судьбы, с которыми мы сталкивались во время работы над «Блокадной книгой». Например, те же «подневные записки» блокадника Г. А. Князева или дневник Юры Рябинкина: как точно они документируют движение человека к состоянию, когда голод уже способен отобрать, действительно «сожрать» и силы, и волю, и совесть, и саму способность сопротивляться гибели. Физических, биологических калорий недостаточно, чтобы не умереть, а тем более остаться прежним человеком — кем ты был всегда. Но нечто все равно человека держит, поддерживает, не позволяет переступить «за черту», где распад всего, «моральная дистрофия». И это нечто — может быть, как раз и есть то, что не было учтено фашистами, хотя они все остальное (достаточно точно) подсчитали и высчитали: сколько может про-

держаться в лютые морозы четырехмиллионное население, если в городе нет значительных запасов продовольствия, топлива, не действует канализация, нет воды...

Ленинград блокадный о многом поведал миру: и о нечеловеческом облике фашизма, который голод избрал своим союзником, средством террора против мирного населения, и о том, что способен перенести и перед чем смог устоять народ, когда решался вопрос жизни и смерти Родины, сражающейся за человеческое будущее.

То, что нам, авторам «Блокадной книги», открылось через долгую работу, что нам Ленинград открыл и что мы хотели своей книгой тоже сказать — это мысль, убежденность, что интеллигентность, внутренняя культура — сила, а не слабость человека. Что работа разума, духа, например, спасла Г. А. Князева, а сила, работа любви помогла Лидии Охупкиной (и не одной ей) выжить и спасти детей — когда уже ничто другое помочь им не могло. Одну из глав второй части «Блокадной книги» мы сначала назвали условно «Мальчик-интеллигент». Очевидно, догадываетесь, что мы имели в виду Юру Рябинкина.

Так вот, сверхцель книги, которая необходима, чтобы был не просто памятник прошлому, пережитому, но и живой контакт с современностью — сверхидея «Блокадной книги» открылась нам и для нас сформулировалась именно в этих словах: *внутренняя культура, интеллигентность — сила, а не слабость человека*. А поэтому, возможно, в этом направлении более последовательно и настойчиво следует искать пути и средства разрешения многих узлов и проблем, которые никакими иными средствами развязать не удастся. (Кстати, на это сориентирована и разрядка, которую мы отстаиваем, и как раз против этого снова и снова набрасываются сторонники «голой силы».)

...Помню тот день... Я все приезжал в Ленинград — летом и зимой, осенью и весной — мы уже знакомы были с сотнями жителей города, которые никогда не видели друг друга. Даниил Александрович «свел» меня, познакомил с уголками и местами города, связанными не только с жизнью Достоевского, Пушкина, Лермонтова и др., но и с судьбой их героев (стоял возле него, знаю даже тот камень, под который Родион Раскольников

ков спрятал деньги, вещи убитой им старухи). У меня уже были свои воспоминания о собственной жизни в этом городе. Но все еще не было ощущения, что город *принял* меня — вместе с теми миллионами, которые его по-особенному любят. Любят как что-то единственное и неповторимое на земле и в то же время знают, что и сами принадлежат городу.

Мои к нему — Петербургу, Петрограду, Ленинграду — чувства начало берут не из дня сегодняшнего или вчерашнего, возникли они где-то на десятом году жизни — с первыми, не строчками даже, а как бы аккордами Пушкина: «На берегу пустынных волн...»

И вот тот момент, когда все переменялось. (Конечно, во мне самом это произошло, но показалось, что город глянул и вдруг меня обнаружил, и я даже голос услышал — радостным эхом во мне прозвучал.) Был уже 1978 год. Мы уже напечатали первые главы «Блокадной книги», сотни писем блокадников, которых мы не разыскали, теперь через «Новый мир» разыскивали нас. Чтобы добавить что-то, свое сказать или просто добрым словом поблагодарить Даниила Александровича и его «соавтора из Белоруссии». Я снова приехал в Ленинград ранней весной, побыл на Краснопутиловской, на очередной своей квартире, и, как обычно, к метро пошел мимо памятника блокадному Ленинграду. В этот день и памятник был не такой, каким виделся прежде, вдруг как бы заколыхалось, ожило в весеннем воздухе: нереально вытянутые тонкие фигуры женщин, солдат, рабочих, детей — будто сквозь колеблющееся сознание не твое, а блокадника... Доехал до Невского и вдоль напряженно изогнутой Мойки, а потом через горбатый мостик возле дома Пушкина вышел к Зимнему — Эрмитажу, через Дворцовый мост перешел на другой берег Невы, где университет, Архив Академии наук — отсюда начал считать шаги. Какое приблизительно расстояние от Архива до дома, обвешенного черными мемориальными досками, в котором жил, куда и откуда ездил на своем инвалидном «самокате» Георгий Алексеевич Князев?..

У нас был уже его дневник, и мы уже начинали работу над второй частью «Блокадной книги». А вот и сфинксы над самой Невой, которые в дневнике директора академического архива все более оживают, делаются едва ли не главными его собеседниками — по мере того как жизнь вокруг не просто замирает, а вымирает. За

широкой Невой огромный купол Сената. Князеву отсюда из-под коротких дорических колонн его дома после обстрела показалось, что это расколотый череп!..

Когда я возвращался по Дворцовому мосту, солнце уже было над Финским заливом и, как положено в Ленинграде, — садилось в тучи, на непогоду. Из-за разорванных, с синью и краснотой по краям, облаков вырвались последние лучи и залили растопленным стеклом, зажгли окна вдоль всего берега реки. Людей возле Эрмитажа непривычно мало, мост пустынен, хотя еще и не вечер. Вот здесь я и услышал (или ощутил) тот миг... И понял, что не чужой в этом городе. Не совсем чужой ему. Будто глянул он в мою сторону и даже сказал: «Ну что ж, если так...»

Закончу словами из «Блокадной книги»:

«Москва держится, Ленинград не сдается!» — как это важно было слышать, знать в лесах Белоруссии... Для нас важно было, что Ленинград не просто стоял несокрушимо, а то, что он как бы обесценивал силы и самоуверенность врага. Мы тогда не могли знать, какой ценой, какими усилиями это дается. Важно было, что он держался — после того как мы собственными глазами видели ошеломительное начало немецкого марша на восток. Ленинград остановил этот марш и указал на предел немецкой силы. Он был очерчен, этот предел, разгромом немецкой армии под Москвой. Город на Неве демонстрировал бессилие врага, оно тянулось годами, это кошмарное для Гитлера бессилие сделать хотя бы шаг вперед.

Тогда мы не знали, кому поклониться за эту, издали, из Белоруссии, казавшуюся нам железной, стойкость ленинградцев. Участие в работе над «Блокадной книгой» автора-белоруса пусть тоже будет таким поклоном, хотя и запоздалым...»

ЧТО ДАЕТ НАМ СЕГОДНЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ ¹

1. Из всего, что прочел, «Плотина» Виталия Семина (как некогда кондратьевский «Сашка», а теперь и его же «Селижаровский тракт») завладела сознанием. Хотя и остальное, многое — стоящая литература. Не иссякает литература о войне, которая теперь уже совершенно определенно стала литературой против войны.

Последний роман Виталия Семина — событие более нежели литературное. Это характернейшее проявление нашей духовной жизни. Роман помогает осознать, обнаруживает то, что сдвинулось, переменялось в нас самих за последнее время. Как бы ни действовала инерция позавчерашних психологических стереотипов, жестокая реальность берет свое. И главное, что произошло в мире людей, — это то, что понятия «убить человека» и «убить человечество» опасно сблизилась. Судьба человеческой единицы и судьба миллиардного множества оказались сегодня в страшной близости. Как устремленные одна к другой половинки урановой массы перед всепожирающим взрывом!

«Плотина» Виталия Семина закрепляет гуманистическое самосознание нашей антивоенной прозы на уровне, до которого она если и поднималась, то все еще как бы не веря сама себе. После Семина и нам легче понять, чего же мы добивались, чего хотели в своих повестях и романах. Мог бы много хорошего сказать и о прочитанной мной новой повести Василя Быкова «Знак беды» (начало ее опубликовано в «Литературной

¹ Ответы на анкету журнала «Дружба народов» (1982, № 5).

России»). Она о том же, о чем все быковские повести: о человеке, о людях, на которых обрушилась война. Но еще и о том, что подготавливало задолго до трагических событий как наши победы (победы духа прежде всего), так и наши поражения, утраты.

2. Вот конкретные примеры, что не иссякает поток хорошей антивоенной литературы у идущих нам на смену поколений литераторов. Наш Виктор Козько зачерпнул трагедию военного лихолетья сознанием трех-пятилетнего малыша. Этот отрезок памяти, как известно, в человеке если и сохраняется на протяжении всей последующей жизни, то в «запечатанном» виде. И вот оказывается, что силой творческой интуиции, напряжением таланта, чувства, мысли человек в состоянии черпать, казалось бы, из наглухо закрытого источника. А иначе и не объяснишь феномен Виктора Козько — исторгнутые как бы из реальной «военной» памяти звуки, краски, боль его повестей «Високосный год» и «Судный день». Рядом с этими вещами такие романы, как «Верой и правдой» Алеся Савицкого, который войну познал в возрасте вполне зрелом, выглядят высокопарной риторикой человека, войны не нюхавшего. Вот тут и решай: от кого чего ждать! От какого поколения большей правдивости в показе войны...

У талантов, не испивших обжигающей, горькой фронтовой или партизанской жизни, есть, как это ни странно, свои преимущества, иные, нежели у тех, кто испил сполна. Помнится, это заметил и отметил в «Роман-газете» Виктор Астафьев — автор предисловия к распутинскому «Живи и помни». Читая младшего своего товарища по перу, бывалый фронтовик внезапно понял: а ведь я, всего хлебнувший, о дезертире так раскованно рассказать, взвешивая все «за» и «против», не смог бы. Сразу включился бы еще военного времени рефлекс: «Ах ты, сука, ты устал, захотелось домашнего, семейного тепла, а мы, мы не устали, нам не хотелось?!»

А вот еще один пример того, что не кончается, не иссякает серьезная литература о минувшей войне. Но пример этот в ином жанре — в жанре наших книг «Я из огненной деревни...» и «Блокадная книга». Книги эти, как известно, делали участники войны, хотя это совсем не обязательно, чтобы участники. Во всяком случае после того как жанр найден и достаточно определен. Это и доказала Светлана Алексиевич, подготовившая

к публикации работу, удивительную по силе правды и человечности, — книгу рассказов-воспоминаний бывших фронтовичек и партизанок-подпольщиц. Прочел я ее, и даже было мгновение, когда запоздалая писательская скарედность в душе шевельнулась: почему отдал, почему сам не сделал? Но и понял сразу: так работу эту я не сделал бы. И не только потому, что я мужик и не сумел бы, как она, Светлана, разговаривать с женщинами обо всем, вплоть до их сугубо женских дел и бед, которые так усложняли жизнь в холоде, грязи и среди мужского фронтового народа. А Светлана со своими героинями и обед сварит, и повздыхает над их послевоенной судьбой, и поплачут они вместе...

Но не в одном этом дело. Писатели, пришедшие в литературу с войны, принесли щемящее чувство благодарности к женщине за то, что и там она была рядом, а позже, прояснившись, оно стало чувством вины. Им ведь было тяжелее, чем кому другому, дочерям, сестрам, матерям, там, где убивали; и им в этом приходилось участвовать.

Но, может быть, как раз и надо было, чтобы на эту ситуацию, на женские фронтовые и партизанские судьбы кто-то взглянул и глазами поколений, меньше знающих о минувшей войне, но именно поэтому более остро и несогласно отвергающих ее «данности» и «реальности»!

Так что не стоит слишком абсолютизировать писательские преимущества поколения, прошедшего войну. Новые поколения имеют свои «преимущества». И тоже невеселые. Не зацепив той войны, они больше шансов имеют дожить до следующей. Не хочется в это верить? Да, не хочется. Но все равно такая возможность воздействует на самую-самую сердцевину литературы о минувшей войне, поднимая температуру ее антивоенного пафоса.

Эстафету антивоенной литературы берут следующие поколения. Переход, перепад сложный, нелегкий, связанный с неизбежными потерями.

Но и с приобретениями — это уже доказала литературная практика.

3. Доминанта творчества моих писаний, как я сам ее осознаю? Проявилась она по-разному в разные годы. Когда писал дилогию «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой», все диктовалось давлением собствен-

ной памяти, понуждавшей: «Запиши! Пусть это никакая не литература, но запиши добросовестно все, как было на самом деле».

Зачем? Видимо, чувство это сродни тому, которое заставляло бывших блокадников писать в редакцию «Нового мира» после опубликования ленинградских воспоминаний: мол, полегчало на душе оттого, что блокада наконец выговорилась. Один даже написал: «Наша взяла!»

Оказывается, человеку это важно, чтобы пережитое им (и чем мучительнее были испытания, тем важнее!) не погасло бы бесследно и не было подменено тем, что кажется тебе неправдой или полуправдой. А иначе словно бы обесмысливается и жизнь твоя, и все тобой испытанное.

Конечно, были еще и давние несмелые мечтания о собственной литературной судьбе, питаемые истовой влюбленностью в Пушкина, Лермонтова, Толстого.

Но выглядело все так, будто я сам пришел к себе (как потом приходили мы к белорусским бабкам, пережившим хатынские трагедии, или к бывшим блокадникам), пришел и *записал самого себя*. Все, как было, записал, не слишком беспокоясь о «чисто литературных» качествах материала. Запишу, мол, а там будет видно!

Если не считать переходных, промежуточных вещей — повестей «Асия» и «Последний отпуск», — то, пожалуй, именно здесь и лежит доминанта, которая потом подтолкнула к работе и над книгами «Я из огненной деревни...», «Блокадная книга». То есть сознаешь себя не столько «художником», а тем более «поэтом», сколько летописцем, свидетелем и еще «проповедником».

«Хатынская повесть» и «Каратели» потребовали большего чисто писательского воображения, чем вещи прежние. Хотя бы потому, что ранее «Хатынской повести» была уже та самая диалогия, а впереди «Карателей» книга «Я из огненной деревни...». Сбросив или, во всяком случае, уполовинив груз автобиографизма и документальности, стало возможно воспарить туда, где законы диктует прежде всего писательское воображение.

Но доминанта действует. Потому, когда в статьях или рецензиях на мои книги проскальзывает слово

«мастерство» и т. п., снова и снова удивляешься и даже пугаешься: «Постой, о ком это он?!»

Вот бы действительно написать литературное произведение, где ты всему хозяин — ты и твоя фантазия, свободная, летящая, никому и ничему не обязанная. Увидеть ту самую доминанту далеко-далеко внизу!..

4. И все-таки доминанту, пожалуй, не выловил — покорябал бока, подергал, и сорвалась, осталась где-то там, на глубине. Стремление, потребность свидетельствовать, «записывать» себя и других, спасая пережитое от забвения, — все это так.

Но подумалось: а не будь этой потребности и необходимости, что ж, пропал бы интерес к литературной работе? А если не пропал бы, тогда на чем бы держался, чем бы поддерживался? Не им ли, давним, давно мучающим интересом к человеку как таковому, психологическим сложностям человеческой души? Интерес этот разбужен был литературой и одновременно юношеской рефлексией в возрасте, когда так легко воображаешь себя и Андреем Болконским, и Квазимодо, и пушкинским Алеко, и лермонтовским Демоном...

И еще важно вспомнить, прикинуть: а что больше всего ценишь в других авторах? Я больше всего ценю ум. Но не сам по себе, а направленный на глубины человеческой психологии, смело и остро вскрывающий их. Потому люблю прозаиков с письмом «густым», напряженно психологическим, у которых в тексте сам процесс психологического «дознания»: пишу не потому, что все наперед знаю и хочу вам поведать, а потому, что не знаю, потому, что мучит меня, покоя не дает...

То, что Толстой назвал «поэзией мысли», особенно близко, но опять-таки мысли, врезающейся в психологию, врезающую ее. Способен понимать любовь к праздничному, феерическому письму Бабея, Лескова, Паустовского, но сам по-настоящему люблю напряженно трудящееся письмо Толстого, Достоевского, Бунина, Чорного, Фолкнера, Белля, Распутина — произведения, в которых автору, как современному диспетчеру над взлетной полосой, приходится быть предельно сосредоточенным, неотступно следящим, чтобы на экране души человеческой не упустить ни одного движения, ни одной черточки. (Помните, Толстой говорил, что мир погибнет, если он остановится?)

«Я из огненной деревни...» и «Блокадная книга»

рождением своим обязаны меньше всего нашим авторским литературным пристрастиям и целям. Не мы их — они нас избрали, эти книги, эта работа.

Но даже здесь, если в себе покопаться... Во много раз умноженное, но все то же удивление, уже не влекущее, а властно и больно сжимающее душу, оглушающее удивление перед немыслимой сложностью человеческих переживаний и поведения. И снова-таки удивление, почти испуг, что в людской, в народной памяти «просто так» лежат развороченные войной — как недра земли на месте промышленных разработок открытым способом! — глубинные тайны душ человеческих, тайны массовой и индивидуальной психологии, залежи, которые прежде добывались величайшими мастерами лишь при глубинном бурении!

Да, тайны эти и глубины часто таковы, что их лучше бы не видеть и не знать. Но если столько людей их видят неотступно, несут в себе через десятилетия, разве имеет право литература отворачиваться? Или, как говорил Достоевский, «отвертываться» («...но человек, на поверхности земной, не имеет права отвертываться и игнорировать то, что происходит на земле, и есть высшие нравственные причины на то»).

Отвертываться права не имеем, но долго смотреть, очень долго — как это выдержать?

Туда бы, где не боль, не тоска смертельная, а психология радости, мира, света. Только возможно ли это, если слишком долго находился в тех черных, разрытых войной карьерах?..

«ПОЛЕССКАЯ ХРОНИКА» ИВАНА МЕЛЕЖА ПО ЗАПИСНЫМ КНИЖКАМ

На юбилейном вечере, вечере памяти лауреата Ленинской премии Ивана Мележа, выступил гость — большой русский писатель. Он приехал специально, чтобы выступить, сказал все, что вроде бы положено. Но было в голосе, в самом построении фраз какая-то смущенность, скомканность...

Зная редкую искренность, правдивость этого человека, я спросил напрямик, когда мы прогуливались по весеннему Минску: «А ведь что-то мешало Вам. То ли наш чрезмерный пафос, то ли Ваша собственная неуверенность в чем-то».

И он столь же откровенно согласился: «Да, Вы правы. Я очень любил, уважал Ивана Павловича, мы много и откровенно с ним беседовали обо всем, что явилось предметом и его деревенских романов. Но когда я взялся их читать, мешало чувство, что проблематика их далеко не первична. Ведь была уже «Поднятая целина». Ну и, конечно, перевод...» — «Одним словом, Вы не дочитали романы, просто не прочли». — «Да, хотя я понимаю, что для белорусской литературы...» И т. д. и т. п.

А потом мы долго (пол-Минска исходили) выясняли, что же все-таки сказал (и что не успел сказать) Иван Мележ своей «Хроникой» о деревенской жизни 20—30-х годов. Я имел возможность сослаться не только на романы, но и на записные книжки писателя, частично уже опубликованные.

Гость, собеседник, все повторял: «Вот оно как! Как это хорошо! Как хорошо, что я приехал, а я все думал, сомневался, ехать ли».

А для меня был праздник — видеть, как наш брат писатель способен радоваться, что чье-то произведение даже лучше, честнее, глубже, чем он представлял. Ведь случается, бывает!

И вот я подумал тогда: а может быть, и еще кому-то надо это, необходимо перепроверить свои чувства и мысли — кому-то, читавшему романы нашего Ивана Мележа. «Полесская хроника» как-никак — незавершенное произведение. Представляете: «Тихий Дон» да без четвертой книги! Без нее и без финала с «черным солнцем» разве читались бы, прочитывались первые три книги на всю глубину авторской мысли-боли о человеке и человечестве?

Четвертой книги мележевской «Хроники» нет, остались лишь наброски, да и третья не завершена...

Но существует вот это — записные книжки. Так хотя бы они должны быть для читателя открыты.

К «Полесской хронике» — современной эпопее народной жизни — Иван Павлович Мележ шел непростыми путями, жизненными и творческими. И внутреннее движение к этой его Главной книге начиналось задолго до второй половины 50-х годов, когда Мележ непосредственно приступил к работе над романом «Люди на болоте».

В записной книжке Ивана Павловича Мележа 1947 года читаем:

«Написать большую вещь (когда-нибудь) про то, как менялась, ломалась психика белорусского крестьянина с 1914 года до нашего дня. Прожиты страшно жестокие, крошачьи годы. Этапы — 1914, 1917, 1921, 1926, 1930, 1937, 1941, 1945. Ходить за образами недалеко — взять жизнь отца или матери».

И снова в том же году:

«а) Наступление на болота — большая, прекрасная, национальная тема. Написать.

б) Пески Белоруссии. Борьба за урожай на песчаных землях. (Национальная тема)»¹.

Не раз, отвечая на вопросы корреспондентов, Иван Павлович настойчиво подчеркивал, что нес в себе эту

¹ Архив писателя. Далее цитаты из неопубликованных записей Ивана Мележа к «Полесской хронике» даются без указания на источник.

тему как чувство сыновнего долга перед «матерью, батюшкой, родной землей» — давно, очень давно: «Я родился и вырос в Полесье. Это поистине удивительный край, и еще более удивительные его люди, полешуки, вошли в мое сознание с тех пор, как я стал помнить себя... Я сутками мерз в окопах, а перед моими глазами стояло мое жаркое Полесье. Я месяцами валялся в госпиталях — у моего изголовья стояли полешуки. Я писал роман о войне — они стояли за моими плечами, волнуя мое воображение. И вот пришел день, когда я отчетливо осознал: все, больше не могу, надо писать...» (Известия, 1972, 4 сент.).

Да, полешуки, память — своя, народная — все настойчивее, требовательнее звали писателя. Но Иван Павлович человек был такой: прежде чем затевать что-то серьезное, он должен был все не спеша, всесторонне обдумать, взвесить (как и полагается полешуку!). Например, широко обсуждавшийся тогда (да и сейчас) вопрос: что такое современное произведение и современность в литературе?

Нужны или не нужны будут его полешуки с их заботами, судьбами сегодняшнему читателю? Начинается длительная внутренняя (и открытая — на писательских собраниях, в печати) полемика, спор с реальными и потенциальными оппонентами.

В середине 50-х годов Мележ записывает: «Процессы, которые происходят теперь в белорусской литературе, объясняются именно этим — желанием заглянуть шире и глубже, шире и глубже понять то, что называется современностью. Именно поэтому пишут и о 1905, и о революции и предреволюционных временах, и о 20-х годах, и о войне...»

Не надо думать, что на Мележа вовсе не оказали влияния те упрощенные представления и веяния 40—50-х годов, с которыми здесь он так упрямо спорит. Спор этот был обращен не только «вовне», но и «внутри». Да, инерция действовала, жила и в нем самом. Она ощущается даже в первых набросках, планах полесского романа. Вдруг начинало сворачивать его намерение просто, не углубляясь ни во что всерьез, «написать небольшую повесть о мелиораторах, о людях, которые дают Полесью новую жизнь».

И думается, что вторая половина 50-х годов, тот новый идеологический и общественный климат, который

устанавливается в это время, также помог писателю преодолеть соблазны узко понимаемой «актуальности» и пойти в глубину, и именно в направлении той «прекрасной, национальной темы», о которой он когда-то лишь мечтал, а теперь уже не мог не реализовать ее.

«Люди на болоте» в том виде, в каком они написаны, — отмечал Мележ в 1966 году, — могли появиться лишь после тех перемен, которые произошли после XX съезда партии. Говоря по совести, не так просто, как может показаться, было писать это произведение, хотя оно и о далеких событиях. Мне приходилось заново переосмысливать материал, знакомый литературе, давать как высокую поэзию явления, которые мы привыкли считать почти не стоящими поэзии. Мне очень мешали многие старые представления, к которым я привык и которые фактически пришлось преодолеть»¹.

Думается, именно такой была диалектика развития замысла «Полесской хроники»: от довольно смелой, широкой мысли о национальной, народной теме — к иллюстраторски суженной — «о мелиораторах», а позже снова к эпопейной широте и глубине.

Первое время после войны литература несла в себе заряд мощи и искренности, трезвой правдивости книг, писательских свидетельств о тех героических годах. И это понятно — после таких испытаний! А Белоруссии это особенно касалось. «Подвиг народа, — писал Мележ, — был огромный; война обострила в каждом чувство слитности, сплоченности с народом; возможно, никогда с такой силой, как в войну и послевоенные годы, не ощутили мы, что мы — народ. Война научила нас ощущать и мыслить крупными масштабами» (с. 399).

Вот тут как раз и должна была захватить такого человека, как Мележ (хотя он был всего лишь «начинающий» автор), мысль-мечта о произведении, в котором прослеживались бы исторические судьбы белорусского народа через годы и десятилетия — с 1914 по 1945 год.

¹ Из кн.: Иван Мележ. Жыццёвыя клопаты. — Мн.: Маст. літ., 1975, с. 236. — Кроме особо оговоренных случаев, статьи и интервью Ивана Мележа цитируются по этому изданию (указаны страницы в тексте).

Общественная атмосфера второй половины 50—60-х годов придала этим мыслям и творческим планам еще более глубокое гражданское и философское направление.

«Конфликты тогда жизненны,— говорил Мележ в одном из интервью,— когда они взяты из жизни, из самых заветных глубин ее. После XX съезда партии, когда многое мы начали видеть под новым углом зрения, воспринимать более непосредственно, недавняя история становится такой же насущной, актуальной потребностью литературы, как и день сегодняшний. Поле, которое вспахано не до конца, не полностью, нужно перепахать по всем правилам «современной агротехники»...» Писатель снова возвращается здесь к вопросу о современном звучании будущего произведения: «Я не прячусь от конфликтов современности. Все, что я пишу, мне кажется, очень важно для понимания конфликтов сегодняшнего дня, для действительного проникновения в современность. Рост дерева трудно понять, не зная, какие у него корни, в какой почве они, чем питались и питаются» (Литература і мастацтва, 1964, 5 июня).

В самом взгляде автора на жизнь, в понимании исторического прошлого билась напряженная мысль о «связи времен» — высокая гражданская озабоченность тем, как прошлое отозвалось в нашей современности, как и что плодотворно развивается, продолжается сегодня или — отрицается, преодолевается.

В 1965 году, уже работая над «Дыханием грозы», Мележ отмечал: «О коллективизации написано много. Но мне кажется, сказано о ней далеко не все. Хочется глубоко и правдиво показать этот важный поворот в жизни деревни. В тяжелых тридцатых годах брало начало не только доброе, но и злое. В том, что происходило тогда, было немало такого, что вызывало ненужную остроту отношений, рождало несправедливость, обиды, приводило к неоправданным жертвам» (с. 218).

Так начиналась, так выростала «Полесская хроника» — из жизненного опыта писателя, исторического опыта народа, но и то и другое было, как море ветрами, вздыблено именно современностью, ее небывало сильным порывом ко «всей правде»...

Первый роман хроники — хотя он и о «людях на болоте» — начало свое, свой исток брал высоко, на вершинах. Там, где белорусская классика. Писателю было на

кого опереться — Купала, Колас, Чорный. Очень ценил он роман «Соки целины» Тишки Гартного, «Вязмо» Михася Зарецкого. Ну и, конечно, русская классика, мировая¹.

Особенно настойчиво подчеркивал Мележ значение, роль в своей творческой жизни романа «Тихий Дон». Это произведение для него было отнюдь не «чужой» классикой, но самой что ни на есть своей, более того — куском реальной жизни, как бы и про его отца, мать...

В 1965 году Иван Павлович вспоминал, как в годы войны в ростовском госпитале читал «Тихий Дон»: «Я еще жил тревогами фронта, ощущением непрочности фронтового покоя, ощущениями огромности войны и огромности человеческой беды, что вобрала в себя миллионы судеб; где-то в немецкой неволе была моя родная полесская деревня, и где-то высматривала, ждала меня моя Ильинична, моя мати» (с. 226).

Казалось бы, не «Тихий Дон», а «Поднятая целина» должна была больше притягивать автора «Полесской хроники»: писал он почти о том же времени и о тех же событиях, хотя и в условиях Белоруссии.

Но не все так просто в литературе.

И дело не только в несравненной мощи «Тихого Дона» (хотя это и важно, и, может быть, важнее всего остального). Когда Шолохов писал «Поднятую целину», он писал о самой-самой злободневности. А «Тихий Дон» — уже об истории. И Мележ также об истории: к 50—60-м годам коллективизация стала уже частью истории. Хотя и очень живой еще, пульсирующей, не остывающей. Мележа не могли не притягивать также произведения мировой литературы о крестьянской жизни, как «Тихий Дон» Шолохова или «Мужики» Реймонта, где крестьянское и национальное через широкое эпическое изображение, разворот событий переходит

¹ В ответ на мое письмо-анкету Иван Павлович написал в 1972 году: «В разные периоды жизни меня сопровождали разные книги и многие писатели. Я погрешил бы против правды, когда бы выбрал двух-трех... Люблю Бальзака и Купалу, Роже Мартева дю Гара и Кузьму Чорного, Скотта Фицджеральда и Ивана Бунина и Михайлу Коцюбинского. Неизменно — Льва Толстого, Михаила Шолохова (особенно «Тихий Дон»), Александра Фадеева (особенно «Разгром»). Склоняюсь перед мощным талантом Достоевского. Горжусь, что корешки его — в нашем Полесье».

в общечеловеческое — как бы сближаясь там, в исторической дали, сливаясь в историческом фокусе...

Конечно, очень важным фактором, определяющим выбор традиции, было само время (вторая половина 50-х — 60-е годы), питавшее новые традиции литературного развития; появились и произведения о коллективизации, где общественные процессы 30-х годов и судьбы людские показаны были гораздо более полно, всесторонне сравнительно со многими прежними книгами на эту тему. Здесь можно вспомнить и повесть «На Иртыше» С. Залыгина и более поздние «Кануны» В. Белова.

Очень благодарен был Мележ А. Фадееву, отзыв которого о его первом романе «Минское направление» помог ему найти свой путь в литературе и выйти в конце концов к Главной книге. «В «Минском направлении», — вспоминал писатель, — А. А. Фадееву особенно понравился образ крестьянки Шабунихи. Все страницы, связанные с этим образом, где отражена жизнь народная, отмечены А. А. Фадеевым как наиболее удачные. А. А. Фадеев будто подталкивал меня в тот мир, который меня волновал уже и который я стремился воскресить позже в «Людах на болоте», «Дыхании грозы» (с. 525—526).

«Люди на болоте» уже делались рукой мастера. Она ощущалась и в прежних произведениях — эта рука. Но только ощущалась... Радостное удивление — вот первая реакция многих и многих на публикацию этого романа в журнале «Полымя» в 1961 году. И радость за Ивана Мележа, за белорусскую литературу, и удивление — немного даже обидное для автора. Не случайно он потом с некоторой иронией и даже упреком говорил, писал об этом — вот как в интервью газете «Литературная Россия» (1972, 22 сент.):

«Действительно, если для кое-кого появление романа «Люди на болоте» было неожиданным, то А. А. Фадеев задолго до появления книги увидел и предсказал ее».

А что была радость, чувство литературного праздника — об этом свидетельствуют сами заглавия рецензий и первых статей: Янка Брыль — «Заветная песня» (Літаратура і мастацтва, 1961, 17 окт.), «В белорусской литературе праздник» (редакционная статья в «Калгаснай праўдзе» (1961, 26 нояб.), Владимир Колесник — «О старом по-новому» (Литературная газета,

1962, 30 янв.), Иван Шамякин — «Начало большого пути» (Правда, 1962, 14 окт.), Г. Березкин — «Так начиналось в Куренях» (Звезда, 1961, 21 нояб.) и др.

Янка Брыль писал в своей рецензии: «В романе этом действуют герои с ярко очерченными, живыми, полнокровными характерами. Люди эти не выполняют по приказу автора какие-то глубоко идейные и высокохудожественные роли, а именно *живут*, в чем я, читатель, не сомневаюсь от начала и до последней страницы...

Роман «Люди на болоте» — результат многолетнего, напряженного и основательного труда, результат серьезного и талантливое проникновения в жизнь. В произведении этом, не в пример некоторым другим, не только белорусским произведениям, не видно в подтексте авторского пота от конъюнктурной суетливости, не виден «глубокомысленно» наморщенный лоб...

Пользуясь общепринятыми словами, можно сказать, что романом своим Мележ продвинулся далеко вперед в сравнении со всем, что им было написано прежде. Хочется сказать и больше — он тут, по-моему, на самых близких подступах к своей самой заветной писательской песне...»

Надо сказать, что «Люди на болоте» не были первой ласточкой в белорусской литературе 60-х годов в подлинно правдивом изображении жизни — в противовес схематизму, иллюстративности и т. д. В конце 50-х — начале 60-х годов уже появились по-новому написанные произведения о деревне (Янка Брыль, Алексей Кулаковский), о войне (Василь Быков и др.)... И тем не менее это был действительно праздник открытия и взлета. Главное, видимо, было в том, что новаторские пути и возможности белорусской прозы получили ощутимую поддержку и подтверждение в произведении, которое с невиданной мощью возвращало нашей прозе классическую традицию — обновленную традицию глубинной народности.

Сколько было в 50-е годы деклараций, заявлений — в печати и с трибун — о великолепном «движении вперед», «расцвете белорусского романа», называлась при этом обойма произведений, в которых если и замечалось движение по сравнению с прозой Коласа, Чорного — так не вперед, а вниз — к бесцветной иллюстративности. Роман Мележа в сравнении с этими романами («За годом год» В. Карпова, «Над Неманом» В. Дадиомова,

«Даль полевая» Т. Хадкевича и др.) был скорее «возвращением»...

Позволю себе повторить мысль из давней моей статьи о Мележе — про то, как совершается в литературе движение вперед через видимость возвращения к прежнему. Да, это напоминает накатывающуюся волну у морского берега: в ней два одновременных движения — несущее вперед и влекущее назад, в море... Но такое движение — вперед с одновременным возвращением назад, в «море» великой литературной традиции, — не является ли оно вообще формой существования искусства, которое, чтобы не повторяться, не омертветь, должно все время искать, уходить вперед от самого себя, но и возвращаться с такой же неизбежностью к той пограничной черте, где искусство не то начинается, не то кончается? А «за черту» выносятся мусор ложных попыток, ходов, заблуждений — все, что так и не стало искусством.

Вот с таким чувством новизны и одновременно «возвращения» читали мы и «Людей на болоте». Чувства, разбуженные этим романом, можно сравнить разве что с теми, которые потом вызвала русская деревенская проза — Шукшина, Абрамова, Можаяева, Белова, Астафьева, Распутина. Заново, с забытой силой прозвучало слово из самой глубины народной жизни...

«Никогда не думал, не гадал, — это уже из записной книжки Мележа, — что «Люди» так пойдут. Писал наперекор всем призывам (к современности), и вот на тебе. Когда печатали в «Полымі» — все корректуры расхватили. Сколько пожиманий рук, поздравлений; теперь нет такого пленума или собрания, чтобы не упомянули добрым словом. От всего этого я не испытываю никакого головокружения. Я, оказывается, очень спокойно воспринимаю славу, хвалу; мне становится даже грустно: и это — все?

Из всех этих разговоров самое главное для меня: я могу! я сделал хорошее, стоящее; стоит это продолжать — вот что самое главное. Так бы написать и вторую! Не хуже!»

Видите, даже опустошенность какая-то (понятная после такого долголетнего напряжения), вроде бы и разочарование. Разочарование бойца, который подготовил-

ся к напряженному поединку, а серьезных противников не оказалось...

По газетным отчетам, рецензиям, статьям, которые сопровождали выход мележевского романа к читателю, может сложиться представление, будто произведение это было принято всеми — всех обрадовало и примирило.

А было не так.

Потому что была, оставалась, стремилась защитить свои позиции и дутый «авторитет» литература, которую такой роман, как «Люди на болоте», отрицал и идейно и своей художественной сущностью. Та самая литература, которая не стеснялась сама себя объявлять «расцветом белорусского романа».

Роман Мележа, чрезвычайно усилив то направление в белорусской литературе и критике, которое резко, всей своей художественной сущностью противостояло агрессивной иллюстративности и серости, спекуляции на темах, должен был вызвать (и вызвал) и отрицательную реакцию части писателей и критиков (в том числе и достаточно влиятельных), упреки в приглушении социального фона, ненатуральности некоторых бытовых сцен и др.

Открыто выступить эта критика решилась, правда, не сразу. Только в 1966 году появилась статья белорусского критика В. Карпова «Взгляд назад» (Полымя, № 3), в которой безоговорочное расхваливание слабых, посредственных произведений 40—50-х годов сопровождалось довольно грозными поучениями в адрес Я. Брыля, И. Мележа, В. Быкова и других писателей.

Разгорелась острая полемика. В ответ на эту статью в том же журнале «Полымя» (№ 4, 5) появились целых три, в которых критиковалось стремление В. Карпова подсказать писателю раз и навсегда, как смотреть на мир, что отображать, чем восхищаться и какими изобразительными средствами пользоваться, его стремление смазать в литературе эстетические критерии. Эти критики (В. Коваленко, Г. Шкраба и др.) отмечали, что высокие художественные достоинства «Полесской хроники», идейная смелость автора — все было вызовом той литературе, которая упрямо и сердито настаивала на своем: «тематика», только «тематика» — вот что главное!

Вот как белорусский критик Г. Шкраба писал о

стремлении смазать критерии хорошего и плохого в литературе:

«Я прошу прощения у Тараса Хадкевича за то, что сравниваю его роман «Даль полевая» с романом Ивана Мележа «Люди на болоте». Я прошу извинения у Мележа за то, что сравниваю его роман с романом Хадкевича. Такое сравнение напрашивается, когда читаешь статью В. Карпова...

Скажу искренне: мне, читателю, больше нравится роман И. Мележа. И ничего я не могу с собой сделать...

Я искренне верю, что оба автора писали свои романы с самыми лучшими намерениями, что вкладывали в работу всю душу и сердце. Но мы судим о произведении не только по их идее или теме, не только по добрым намерениям и похвальным стремлениям. В. Карпов сделал, мне кажется, не совсем продуманно, когда говорил о романе Хадкевича с подчеркнутым пафосом, так что роман хочется немедленно прочесть, зато говоря о романе И. Мележа, как бы намеренно сдерживает себя, говорит с оглядкой и осторожно. Критик может сказать, что он и не ставил себе задачу сравнивать романы. Но такое сравнение читатель статьи должен будет сделать, а сделав — основываясь на оценке В. Карпова, — должен будет роман Хадкевича поставить на видное место, читать и перечитывать его, а роман Мележа должен будет отодвинуть куда-нибудь подальше на полке нашего белорусского романа».

Как видим, роман И. Мележа — и первая книга и вторая (да и третья) — был слишком крупным и новым явлением, чтобы даже безусловные художественные достоинства вывели его из-под огня догматической критики. Совсем наоборот: высокие художественные достоинства также были вызовом. Таким же, как и гражданственная позиция, идейная смелость автора. Все это было вызовом той литературе, которая (конечно, не только устами автора статьи «Взгляд назад») упрямо и сердито звала литературу назад — к удобной, привычной иллюстративности.

На протяжении 1958 и 1961—1965 годов писался второй роман «Хроники».

В ответах на анкету газеты «Правда» Мележ сообщал: «Пишу сейчас роман о времени великого перелома в полесском крае. Это будет вторая книга моей «Полесской хроники». В ней мне хочется рассказать, как сло-

жен, труден и велик был путь наших людей к сегодняшнему дню... Хочу написать книгу в полном смысле народную, прославляющую народ, его подвиг, проникнутую великим уважением к нему» (Правда, 1963, 16 июня).

Название второй книги «Хроники» в газетных очерках, публикациях, в интервью художника несколько раз менялось: сначала «Зверь следит из зарослей», потом «Гроза над полем» и, наконец, «Дыхание грозы».

Как бы готовя читателей (а критику особенно) к встрече со второй книгой, где в центре событий, а также размышлений автора — Апейка, его судьба и мысли о событиях 20—30-х годов, Мележ настойчиво подчеркивал:

«Положительный герой это не икона, которую надо «повесить» в произведении и молиться на нее. Это должен быть живой человек, человеческий прежде всего. Он должен быть как все люди, но не может быть один на все времена. Каждый исторический период «проявляет» в герое те или иные черты в наибольшей степени. Рожденный революцией герой нашего времени — а такой у меня Апейка — это человек, прежде всего, богатый мыслями, человек непрерывного поиска истины. Ему не может и не должно все быть ясно, иначе получится схема. Он должен искать, он имеет право ошибаться, сомневаться, как и любой человек... Идеальный герой — это выдумка некоторых писателей и критиков. В жизни такого героя нет. То идеальное, что есть в положительном герое, — это его стремление к какому-то, соответствующему его пониманию, времени — идеалу в жизни» (Литература і мастацтва, 1964, 5 июня).

Об Апейке Мележ говорил и писал, пожалуй, больше, чем о любом из своих героев. Он как бы заранее ожидал спора с мыслями и рассуждениями Апейки, острополемическими не только по отношению к линии Башлыкова, но и к тому, что Апейка вычитывал порой в газетных статьях и что считалось нередко истиной общепризнанной, широко рекламировалось...

Для Башлыкова в таких случаях вопросов не существует: «Думать тут уже нечего!», «Не такие умы думали, взвесили все!» У Апейки противоположный взгляд на свою роль, свое место в делах страны: «Хочется все понять! Ко всему прийти разумом и сердцем... Есть люди, которые считают доблестью, что они не умеют рас-

суждать. Партия сказала, партия решила!.. Нечего рассуждать! А я хочу думать, хочу понять все, почувствовать, как свою правду! Я должен быть убежден во всем, а для этого я должен понять все, почувствовать! Разумом и сердцем!

Настоящий большевизм и есть убежденность... Ибо нет ничего сильнее убежденности».

Конечно, не только герою Мележа, но и автору необходимо было все самому оценить, собственным умом взвесить. Более того, он хочет, чтобы и читатель романа смог воспользоваться этим правом, и потому обращается непосредственно к документам времени, смело и щедро вводит их в роман. И уже читатель сам, как бы собственными ушами, слышит людей, которые на столичной сессии решают судьбу Куреней, тысяч таких деревень: одни решают, как Апейка, другие — как Башлыков.

Апейка для Мележа — человек своего времени, со всеми человеческими слабостями, но и очень сильный человек — своей честностью, принципиальностью. Уже в «Людах на болоте», а также в набросках к роману «Дыхание грозы» образ Апейки предстает как выражение наиболее близких и дорогих писателю человеческих качеств и взглядов.

Вот подготовительные наброски, мысли писателя — из записных книжек:

«Апейка и Башлыков. Башлыков — из города, выдвиженец, гордится — рабочий класс; чистый по всем статьям, биография чистая, ясно все, просто, непоколебимо.

Апейка и Башлыков — два взгляда на события, на судьбу людей. Башлыков — прямой, жесткий; Апейка — мягковатый, человечный, видит, как все переплелось, сложно...

Сомнений много, жалеет, рассуждает. Заглядывает в произведения Ленина.

Башлыков обвиняет его: крестьянская душа, не рабочая. С чувством превосходства рабочего человека — «высшей породы».

Гнет — побыстрее переделать деревню. Выйти в число первых в республике. Не хочет считаться ни с чем.

Апейка: все решает чувство меры. Не один, не два раза он замечал, что мера эта терялась. Зашли далеко.

Возникла какая-то нервозность, подозрительность. Исчезла деловитость — лучше перегнуть, чем недогнуть. Карьеристы вылезли — под правильными лозунгами, выскакивали вперед, по сути портили дело».

«Апейка видел, что многих из тех, кого ссылали, можно было бы и не ссылать! И не нужно было ссылать! Немало из тех с чистой душой готовы были пойти в колхозы и работать, начать жить по-новому! Им можно было поверить!..

Каждый день приходили, просили заступничества, клялись, плакали. Просили сжалиться над детьми...

Ленин доверял даже важные посты людям из дворян, если они готовы были честно служить советской власти, когда они доказывали это. Почему же здесь нельзя было просеивать внимательно, не торопясь. Взвесить все, прежде чем вынести приговор, к тому же такой строгий».

«Апейке требуется много мужества, чтобы вступить за невинно раскулаченного. Чтобы произнести трезвые слова, за которые повесят ярлык...»

«Какой он бухаринец! Разве у него были сомнения, что деревню надо переделывать? Социалистической делать. Разве он не готов к битве с врагом? Но — он против того, чтобы врагом объявляли так легко, без всяких оснований. Решается всякий раз судьба человека, жизнь. Как же легко порой, преступно легко решается! Сколько порой мелкого, грязного примешивается, что губит чистоту дела!

Мелкий карьеризм, стремление к дешевой славе — примешивается, подкрашивается, подстраивается! И как трудно это вывести на чистую воду! Формально они будто бы более преданны, тот, кто кричит «ура», всегда выглядит более смелым, нежели тот, кто хочет осмотреться, разобраться. Как будто «ура» кричать, для этого нужна смелость, как на войне!..»

Полемика эта у Мележа направлена не только против «башлыковщины», не только в прошлое. Писатель весь жил, кипел страстями своего времени — конец 50—60-е годы, — когда многое по-новому взвешивалось и оценивалось.

Вокруг «Дыхания грозы» тоже велись споры. В том числе и о художественных достоинствах романа. Даже те, кому и второй роман Мележа был близок мыслями, гражданственным пафосом, задавали вопрос и себе и

автору: а на том ли уровне этот роман, что и первая книга?

Сейчас особенно отчетливо видны причины этого: после «Людей на болоте», столь полюбившихся, от Мележа снова ждали... «Людей на болоте». И даже требовали. По праву любви. Со всем расположением к писателю и верой в его талант. Искренне полюбив этот роман, Ганну, Василя (а «Люди на болоте» — роман действительно наиболее целостный в художественном отношении из всей трилогии), даже благожелательная критика и читатели будто не допускали уже, что кто-то иной (тот же Апейка) заслонит от них Василя, Ганну (да и сами Курени), оттеснит их на вторые роли, на второй план.

Что же касается теоретической обоснованности некоторых претензий критики ко второй книге «Хроники», надо сказать, что она не всегда учитывала одно очень важное обстоятельство: в романах Мележа разделение на героев главных и второстепенных чисто условное. По взгляду на мир и людей, по разворачиванию событий, по жанру «Полесская хроника» принадлежит к эпопеям толстовского типа, где фактическая граница между «главными» и «неглавными» персонажами неустойчивая, чисто количественная, а не качественно-эстетическая.

Для Толстого и Кутузов, командующий русской армией, и анонимный Тит из обоза, которого шутники все посылают «молотить», — оба они равноценные участники событий — события эти они одинаково не направляют.

И тот и другой — в потоке, который их несет.

А уж какой-нибудь тихий батарейный Тушин или Тимохин с красным носом куда более «исторические личности», чем царь Александр или Наполеон. При таком взгляде на вещи Тушин или партизан Щербатый легко могли бы «повести за собой» романские события, если бы Толстой не был связан исторической канвой.

Жизненно равноценные герои Мележа такой канвой менее связаны. Тут уж ожидай всяких неожиданностей! И Мележ, как и предсказывал кое-кто из критиков, удивил многих (а возможно, и сам удивился), когда напор материала, мыслей, чувств вдруг сдвинул все «в сторону Апейки». Во второй книге. А в третьей — уже Башлыков потянул на себя сюжет.

Такая переакцентировка — с героя на героя — закономерна в циклах романов (было это и у Бальзака и у Золя), в которых главный герой — сама жизнь, история во всей ее сложности. И где художник сам напряженно ищет ответы на сложные проблемы действительности, взрезая пласты общественной жизни в разных направлениях.

Из бесед с Иваном Павловичем (уже в 70-е годы) помнится, как он интересовался опытом и примером тех романистов (Бальзак, Чорный), которые, всю жизнь работая над циклом произведений, стремились, чтобы каждая новая книга цикла читалась и самостоятельно, держалась бы на собственной законченной художественной идее и на характерах, которые, «дождавшись своей очереди», своего времени, вдруг выступали на первый план, определяя сюжетное движение...

Если судить по записным книжкам Ивана Павловича, второй и третий романы «Хроники» вначале виделись ему более протяженными во времени: через все 30-е годы и аж в военное лихолетье!..

Вот что записал Мележ, когда еще работал над «Людьми на болоте»:

«Второй роман. Все в местечке! Полесское местечко Хойники. Райком и милиция. Харчев, коллективизация, борьба с кулаками. Евхим удирает в лес, скрывается. Первые налеты банды. Дальше — в банде. Их цели. В райкоме — меры борьбы с бандой.

Третий роман: начало — Володя вернулся из Москвы, работает на мелиорации. Планы осушки Полесья. Широкие планы, надежды. И тут — война (первая часть). Вторая часть — война, мобилизация, Хойники, Гомель, бой, Василь возвращается, «Евхим приехал». Евхим в знакомых местах. Батьково селище. Злоба. Василь скрывается. Третья часть: Василь и партизаны. Куреневка горит. Последние дни перед освобождением. Наши. Калинковичи, Мозырь. Широкая картина, из области: разорение, пепел, черная земля. В Минске: «Надо жить! Восстанавливать!»

И еще один вариант третьего романа, который тут озаглавлен «Полесская изменчивость»: «Проблема Полесья после коллективизации — стала злободневной и реальной. Решению ее мешает то, что часть — половина — захвачена, в Польше. Тема разорванного Полесья. Справедливость — сентябрь 1939 года.

Войска подтягиваются к границе. Немцы наступают. Панская Польша разваливается.

Переход границы. Встречи на западной земле. Первое дыхание войны на Полесье — которая началась менее чем через 2 года. Первая встреча с немцами. (В армии — Василь или Миканор.)

Евхим Глушак удирает — вторично гонят с насиженного места...»

Так это виделось вначале.

Напряженное, мучительное раздумье над «самым-самым переломом» (которого «хватило» на целых три романа «Хроники»): коллективизация, раскулачивание, судьбы Василя, Ганны, Нибыто-Игната, Глушаков, конфликты между Апейкой и Башльковым и все другое, что определяет пафос и содержание трилогии, все это вошло в «Хронику», видимо, далеко не сразу, а в процессе работы над «Людьми на болоте» и над второй (а потом и третьей) книгой. Мележу важно, и интересно, и необходимо стало: не просто описать события, а все то, чем жили тогда люди, — «батька, мать, родная земля», — понять, пропустить через сердце, совесть, тщательно проанализировать. (Мы отвечаем за все, что было при нас, — говорит герой одного из произведений этого же времени — Венька Малышев из повести П. Нилина «Жестокость». За все, что было при нас и даже до нас, — утверждает своими романами Мележ.) Поэтому и сжалось вдруг «романное время» в «Полесской хронике» — мучительно, до боли сжалось. Столько событий, драм человеческих, и главное — таких, что дай бог об одном лишь 1929 годе — даже о полугодии — рассказать в двух (во втором и третьем) романах! «Дыхание грозы» — поздняя осень двадцать девятого года. А «Метели, декабрь» — вообще один лишь месяц этого же, двадцать девятого, тот, что назван в заглавии...

Мележ писал, успел написать в основном о времени, которое очерчено было событиями, фактами, тенденциями, в конце концов оцененными формулой: «головокружение от успехов».

Писатель сомневался, прикидывал: чтобы высказаться вполне, не следует ли давать отступления прямо от автора, философско-публицистически-лирические? («Философия событий, философия образов, психология людей. Давать *лирические*, публицистически-лирические *раздумья*, просто от автора — не бояться говорить

прямо, с болью, мукой, жалостью. О жизни народа, о событиях 1937 года и т. д.».)

И таких набросков, отступлений — использованных потом в романах и неиспользованных — немало осталось в записных книжках.

«Какие губительные потери нес русский народ, наш народ. В войнах, особенно в последних: потери действительные, неизбежные и потери ненужные...

Остановись! Подумай, прежде чем замахнуться саблей или кулаком, — необходимо ли это: враг ли он, кто перед тобой. Не товарищ ли твой — сегодня или — пусть — завтра. (Надо же думать и о — завтра!) Подумай, не обеднишь ли землю свою, потеряв человека, не ослабишь ли народ на одного работника, который немало еще сделал бы для ее красоты, для ее славы».

Кое-что действительно прозвучало потом в «Дыхании грозы», в «Метелях, декабре» — от автора. Но широко этот прием Мележ не использовал. Почему? Потому что есть Апейка, который и сам этим живет, мучаясь постоянно, и может высказаться. За автора? Нет, за себя — в соответствии со своим характером и своим временем. (Но кое-где иногда и за автора — об этом потом велись споры, полемика, на которую отозвался и сам автор «Хроники».)

Мне кажется, важно понять главное: от самого автора, его раздумий передалось Апейке стремление самому все осмыслить и оценить. Сам автор мучительно, напряженно думал о судьбе человеческой и судьбе народной, о процессах истории. Время и совесть обязывали высказаться. Но ощущал, что нет нужды — «от себя». Ибо есть в романе такой думающий герой.

Апейка, конечно, человек своей эпохи. Но и в те времена не все по-башлыковски радовались и даже гордились тем, что за них «все обдуманно». Сколько было и таких, кто от Ленина и ленинской партии взяли и несли через всю жизнь, через любые испытания готовность служить делу революции, народу, а не личностям! «Ни слова на веру» — эти ленинские слова были особенно нужны Апейке.

Сила образа Апейки — в этом пафосе напряженного и постоянного «думанья» в условиях, когда все, казалось бы, подсказывает: некогда и незачем думать — действуй! Гляди, как другие, ни о чем не спрашивая,

действуют — Башлыков, Дубодел, Кудрявец; делай, как они!

Но Апейка — честный работник партии — так не хочет и не может. Он весь пронизан напряженной мыслью, мучительными вопросами. И в этом новизна образа Апейки в тогдашней прозе. Но именно здесь-то автора подстерегали и опасности.

Их чутко уловил тогда же Г. Березкин. Отмечая, что образ Апейки — «удача, причем принципиальная, такая, что открывает новые горизонты правды во всей нашей прозе», что «не много у нас героев, которые бы так смело, честно, с чувством высокой гражданской ответственности подходили к самым сложным и противоречивым явлениям действительности, как это делает Апейка», критик в то же время писал и об известных противоречиях во взаимоотношениях автора и его героя: «Писателю не терпелось высказаться по многим проблемам: и в ряде случаев он не задумываясь уполномочивает это сделать Апейку. Тот высказывается, и чаще всего содержательно, остро, нетрафаретно, но, к сожалению, не всегда есть ощущение, что Апейка говорит лишь свое, выношенное и передуманное. От разнообразного множества проблем образ начинает несколько расплываться, терять свою очерченность, превращаться в доверенное лицо автора»¹.

Мележ не соглашался с этими замечаниями, спорил: «Меня упрекали, что Апейка очень много вместил в себя, что от этого он теряет определенность. Из наблюдений над многими и невыдающимися людьми я убедился, какой он широкий — мир человеческих мыслей. Мне думается, что мы напрасно так мало говорим о том, о чем и как думает человек. Мысли в человеческой жизни, по-видимому, занимают не меньшее место, чем эмоции» (с. 239—240).

«Дыханием грозы» Мележ открывал новые пути для современного белорусского романа. И опять-таки, как бы возвращая нашу прозу к опыту классики: вспомним хотя бы, в каком «широком мире человеческих мыслей» жил Лобанович, герой коласовской трилогии «На ростанях».

Но думается, все же, что в замечаниях Г. Березкина

¹ Бярэзкін Р. Час ідзе, раман разгортваецца.— Літаратура і мастацтва, 1965, 3 снеж.

есть резон, и не случайно у самого Мележа мы находим записи «для себя»: сократить «Дыхание грозы», «по словам, по фразам»... И возможно, работа эта пошла бы в направлении еще большего уточнения психологии героев.

Однако есть в этой статье Г. Березкина мысль, которую хочется оспорить — тем более что она очень расхожа: «Не будучи в состоянии, конечно же, понять сразу *государственный* смысл коллективизации, куреневцы тем не менее вступали в колхоз, потому что очень уж неприглядным, ненадежным был их вчерашний день, и это ярко, в полном соответствии с правдой истории показывает нам Мележ».

Прежде чем приводить записи самого Мележа — как он сам это все понимал, — процитируем одно место из книги А. Кондратовича об Александре Твардовском:

«В конце 1953 года Твардовского познакомили с одной интересной студенческой работой, посвященной «Стране Муравии». Внимательно прочитав ее, он ответил приславшему эту работу А. Г. Дементьеву обстоятельным письмом. Письмо это показалось Твардовскому столь для него самого существенным, что он попросил: «Повелите снять для меня копийку, т. к. тут с ходу я высказываю одну мою мысль, которая мне дорога». Интересных мыслей в этом большом письме не одна. Так какая же из них особо дорога Твардовскому? Думается, следующая: «Главное и основное, что ему (автору работы. — А. К.) нужно понять при рассмотрении книг, посвященных коллективизации, это вот что. Наиболее общий их (этих книг) изъян в том, что авторы решали вопрос о вступлении мужика в колхоз, исходя из необходимости самого единоличного хоз-ва (скажем, среднего). Мол, «из нужды не выйти» и т. п. Для этого подчеркивалась эта «нужда», подводилось все к тому, что, мол, прямая материальная заинтересованность — основной стимул вступления, скажем, середняка в колхоз. И это тогда, как мужик имел Советскую власть, получил землю, построил хату из панского леса, пользовался с.-х. кредитом и т. п., но главное, конечно, земля. Он только что начал жить, только что поел хлеба вволю. И при этих условиях он мог, по моему глубокому убеждению, воздерживаться от «коммунии». Дело не в мужике, подчеркивает Твардовский, хотя литература того времени как раз упирала на эту мужицкую необходи-

мость непременно объединиться и тем спастись от вековой бедности и нужды. С полученной от революции землей бедность постепенно исчезала. Но оставалась и все более становилась острее «нужда общегосударственная»: мелкое раздробленное хозяйство вполне и, может быть, неплохо могло прокормить крестьянина, но оно не могло прокормить город, страну, готовившуюся к гигантскому строительству, к индустриализации и, следовательно, к небывалому в истории страны росту рабочего класса, вообще городского населения. «Короче, суть в том, — продолжает Твардовский, — что колхозы явились не из потребности единоличного (среднего) хоз-ва, а из общегосударственной необходимости (отсутствие товарного хлеба с ликвидацией крупного помещичьего хоз-ва, диктат кулачества и т. п.). Это была... революция сверху, проведенная по инициативе государственной власти, при поддержке самого среднего и бедняцкого крестьянства...» Исходя из такого взгляда на историю, Твардовский и советовал автору работы о «Муравии» посмотреть и понять, откуда в литературе «фальшь и натяжки в изображении такого драматического периода в жизни народа». При этом он не исключал и самого себя: «Муравия» — не исключение в ряду др. книг в этом смысле». И объяснял, в чем не исключение: «Слабейшая ее сторона — попытка («Острова») представить дело так, как — всем нам тогда казалось — нужно его представлять. И отсюда же — невнятность конца, «свадебный» апофеоз и пр.». Но были же в поэме и очевидные достоинства, благодаря чему она до сих пор живет. В чем эти достоинства? Твардовский отвечает на этот трудный, щепетильный для него вопрос неуклончиво и нестеснительно: «А сильнейшая и ценнейшая сторона — в драматизме картины, в том, что упор не так на «материальность» единоличной жизни, как на ее «поэзию», традиционную красоту. Не будь этого, нечего было бы и говорить об этой книге теперь».

«Вот это основное, — твердо заключает дорогую ему мысль Твардовский»¹.

С этими глубоко пережитыми мыслями русского поэта романы Мележа во многом перекликаются.

¹ Кондратович А. Александр Твардовский. Поэзия и личность. — М.: Худ. лит., 1978, с. 93—94.

Вот некоторые его записи.

«Апейка (Башлыкову или Харчеву): «Заставить (пойти в колхоз) не трудно, поверить должны, — нужно добиться... Принудить можно, власть в наших руках: вся соль в том, чтобы поверили. Поверили в дело это. Чтобы дело это стало делом сердца людей. Эта задача трудная, большая и новая. Человек отдать должен едва ли не все, чем жил все годы, чем жили отцы и деды, в чем видел смысл жизни: землю, корову, коня, телегу — отдает, можно сказать, на честное слово, потому что счастье колхозное — пока что наши обещания, потому что жизнь эта совсем еще незнакома ему, нереальное что-то. И это при хорошо известной крестьянской практичности, недоверчивости! Поэтому надо — чтобы он поверил новому делу, поверил нам, а для этого, между прочим, надо — чтобы и ему верили! Верили, что он тоже обладает правом рассуждать, правом на раздумье, на сомнения, что он имеет право на все человеческие чувства, ибо он — человек. Верили и понимали его — знали, что ему не легче, нежели нам, что ему — тяжело! До отчаяния тяжело! Тяжелее, чем нам, и прежде всего потому, что у него нет такой убежденности, как у нас, этого качества, а между тем именно ему надо идти на тяжкие жертвы!

И все же — как это ни трудно — есть одно средство: убедить, добиться, чтобы поверили! Только там, где вера, где душа вся, будущее колхоза обеспечено!.. Только там, где все, что мы делаем, человек считает — и своим, кровным!.. Великая вещь: вера! Вера человека, вера народа!

— Идеалист!»

Последняя реплика, конечно, принадлежит Башлыкову...

«И в самих фактах раскулачивания, и в ссылках, — записывает Мележ, — он видел то, что, как он считал, видели другие умные люди, но о чем не надо было говорить... что он называл про себя политикой». Весь свой расчет Башлыков строит на «нажмем», силе власти, которая, мол, не собирается «церемониться». Сам процесс раскулачивания, полагает он, «даст это почувствовать не только кулакам, но и всем остальным крестьянам. То, что это подействует на другие слои крестьян, Башлыкову казалось очень важным для настоящего момента, даже самым важным. Раскулачивание, ссылка

добавят охоты, подтолкнут очень многих к колхозам: боязнь попасть в далекий край кому не добавит охоты! Вот в чем видел Башлыков тот неписанный, молчаливый, но понятный каждому политически грамотному человеку закон, который Башлыков и считал политической».

* * *

Напечатав «Дыхание грозы» — роман неторопливого, но острого раздумья, произведение глубоко аналитическое и полемическое, — успешно решив сложную художественную задачу, не очень для белорусской прозы привычную, Иван Павлович начал прикидывать: как и на чем, «на ком» строить третью книгу «Хроники»?

Первая книга вся выростала из чувства сыновней близости к «людям на болоте», строилась на крупных, открытых Мележем, но и в чем-то традиционных для белорусской литературы характерах людей из народа, «крестьянских типах», на поэзии труда, первой любви и т. д., — неторопливое, основательное письмо, с постепенным углублением в человеческие переживания, обычные крестьянские заботы и радости...

Книга вторая — вся вдумчивость, мучительное размышление, нескончаемые поиски ответов. И тоже неторопливость, основательность: неутомимый поиск доводов «за» и «против».

А вот третью — свою последнюю, так и не оконченную книгу, которую он назвал «Метели, декабрь», писатель видел совсем иной.

В 1967 году он записывает: «Третий роман писать более сжато. Компактно. Можно уже не объяснять-готовить: все подготовлено.

Больше действия. Картины — подразделы — действие.

Время перемен. Все рушится, меняется. И это нужно в композиции. Изменения, изменения, изменения.

И не терять глубины».

Об этом же и так же — в 1969 году:

«Писать — вразбивку — разные главы, в разных местах. Не держаться постепенности в написании романа. Чтобы не глохнуть от однообразия. Разнообразить характер письма. Здесь написал, в ином месте немного.

Чтобы была новизна. Новое стараться писать сразу. Записывать обязательно по горячим следам»¹.

В центре куреневской жизни и авторского внимания в «Людах на болоте» — Василь и Ганна. В центре жизни и событий «Дыхания грозы» — Апейка. В романе «Метели, декабрь» главным, центральным образом становится Башлыков.

Конечно, в каждом из романов идейно-композиционная роль других героев также огромная, и чаще всего на первом плане не один персонаж, а два или три (Апейка и Башлыков — в «Дыхании грозы», Башлыков и Ганна, а также Апейка — в «Метелях, декабре»), и все же переход к каждому новому роману означал и новый акцент — на том из героев, через кого авторская идея и само «дыхание времени» могли проявиться наиболее полно и сильно.

«Башлыков (в феврале) ощущает: сила у него. Он повернул народ, массы. Он представляет себя уже

¹ Янка Скрыган вспоминает, что к этому принципу, методу писания: «вразбивку — разные главы, в разных местах» Иван Мележ склонялся уже в ходе работы над «Людьми на болоте».

«Обычно то, что читал Мележ, — пишет Янка Скрыган в статье «Мой сосед Иван Мележ» (Беларусь, 1980, № 11) — было последовательным продолжением произведения. Но однажды прочел главу, которая очень удивила меня. Она выпадала из последовательности, не была подготовлена ни событиями, ни логикой движения, знакомы были имена...»

Это была глава, выход уже ко второму роману, который потом назван был «Дыханием грозы» (Ганна хоронит свою дочурку).

«И какая была неожиданность, — продолжает Янка Скрыган, — когда я узнал, что Мележ может писать, не придерживаясь последовательности произведения. Писать те места, которые в голове уже созрели, продуманы, пережиты в воображении — в конце это или в середине книги, — а уже потом компоновать их, вставляя каждую на свое место».

Это диктовалось и материалом (неохватная одним коротким взглядом история множества характеров, историческая картина народной жизни), и стремлением сбечь, не растерять свежесть чувства, вызвавшего из памяти или воображения ту или другую сцену или мысль, и вот этим соображением (особенно укрепившимся при работе над третьей книгой «Хроники»):

«Чтобы не глохнуть от однообразия. Разнообразить характер письма. Здесь написал, в ином месте немного».

Между прочим, когда мы с Лидией Яковлевной Петровой-Мележ взяли на себя смелость как-то продолжить работу автора по «компоновке» уже написанных им глав и кусков, набросков романа «Метели, декабрь» (для десятитомника), мы исходили из того, что и сам Иван Павлович роман этот как бы «собирал» из уже написанного: понял, что основательнее завершить не успеет...

выше — среди массы. Способен и на большее, все видит. Руководит всем.

Свысока на Апейку. (Значительность в походе. Башлыков говорит размеренно, значительно.)»

Таким видит себя Башлыков и в этот «метельный», холодный декабрь. Это его «звездный час» — конец 1929-го — начало 1930-го. Это — его время. Так кажется Башлыкову.

Таким встретила, увидела его и Ганна: сильным, уверенным в себе. Человек, который знает, что делать, как жить. Не только ему, но и всем!.. А сама она, Ганна, на распутье: оставила «кулацкую хату», мужа, Глушаков, живет у учительницы Параски, работает в школе уборщицей. А в себе носит дитя Евжима Глушака...

И неудивительно, что потянулась, как на свет, когда увидела Башлыкова и заметила его тщательно скрываемый интерес к ней. Надежда на что-то невиданно новое затеплилась в ее душе.

И Башлыкова захватывает новое для него чувство.

«Дать: Башлыков любит Ганну, но стремится преодолеть. Для него любовь это — как *наваждение*.

...«Была замужем за кулаком», «связана с кулаком». Ему больно, но он прячет в себе. Во имя идеи.

Он нападает на Апейку за то, что тот заступился за Ганну. Спор у них. Апейка ругает его. «Формально она подлежит... (раскулачиванию.— А. А.) — Башлыков».

«Он (Башлыков.— А. А.) способен на сильные чувства.

Его тянет к ней, как отравы. Он думает о ней, мечтает быть с нею. И то, что это невозможно, еще больше разжигает огонь.

Интересно это: деформация чувства из-за ложной философии».

«Башлыков с Ганной сухо, строго. Как бы нарочито — твердость. Жестокость. Грубоватость.

Она ему тем же...

— Сошлите, товарищ секретарь. Ведь жена кулака. Конечно, свет вам заслонила?..»

Вначале у писателя было намерение линию Башлыков — Ганна (которая составит потом основное содержание романа «Метели, декабрь») «давать чуть-чуть. Чтобы не выпирало. Это — второй, третий план...

Все время давать почувствовать: Башлыков не боит-

ся, он не трус: вся причина осторожности, затаенности, прятанья — в том, что для него это — запрещенное чувство. Собственно, ненужное, отвлекает от главного. Противоречит представлению об идеальном образе, к которому стремится».

Башлыков забивает свое чувство к Ганне.

«Аскетизм как идеал. Норма жизни и опасение: нечистая биография».

Есть и такая запись:

«Только в конце, когда сняли (с работы сняли, и приходится уезжать назад в Гомель — после статьи Сталина «Головокружение от успехов». — А. А.), идет к ней. Сдался. Хочет забрать с собой.

Она дает ему урок — с достоинством. Насмешливо и с гордостью: «Вы же мне никогда не простите, что я была кулачкой».

Отношение Башлыкова к Ганне и к своему чувству — это еще одно, второе (в масштабах всей «Хроники») испытание его на человечность. Испытание, которого он не выдерживает.

Как не выдержал первого.

А первое и главное испытание — отношение его к тому делу, которым судьба или случай поставили его руководить. Отношение к крестьянам (и вообще — к людям), которых он должен «вести к лучшей и более человеческой жизни».

В самом начале 30-х годов известный белорусский прозаик Михась Зарецкий в своем романе о коллективизации «Вязьмо» создал образ Симона Корианы, которому выпала роль звать за собой и вести крестьян к новой жизни, но которому эти люди, их психология были глубоко чужды и даже враждебны. Постепенно он начинает их просто ненавидеть, ибо боится уже за собственную судьбу: его, Корианы, родители после революции успели обжиться настолько, что подлежат раскулачиванию, — вот он и мучится, что станет известно это, а потому из кожи вон лезет, чтобы в своей местности любой ценой выполнить план «стопроцентно и досрочно». А мужики — колеблющиеся, раздумывающие — кажутся ему темными и упрямыми. Их беды и тревоги, их сомнения его нисколько не волнуют. «Он ненавидел эти красные вспотевшие лица за все: за неудачи с коллективизацией, за свои страхи, сомнения, за свои старые грехи, за родителей своих, за свои чувства, которые он

должен был безжалостно ломать в себе, которые его так жестоко мучили...»

Конечно, и пример Михася Зарецкого как-то воздействовал на Мележа, когда он писал своего Башлыкова. Роман М. Зарецкого он высоко ценил именно за чувство правды, справедливость в отношении крестьян. Ведь во времена Зарецкого литераторы так легко бросались словами «идиотизм», «темнота» — этим и только этим объясняя (и обругивая) инертность крестьянской массы в деле, которое требовало времени и терпения, ума и дальновидности, а главное — настоящей любви к людям.

В записных книжках Мележ не раз возвращается к этой теме, делая наброски к будущим книгам и главам «Полесской хроники».

Говорили о собственнической душе крестьянина, об идиотизме. А почему никто не сказал о его самопожертвовании. Почему никто не сказал, что коллективизация потребовала от крестьянства необычайного, не сравнимого ни с чем самопожертвования. Отдать землю, отдать инвентарь, нажитое за всю жизнь — не имея твердых гарантий, если не считать слов, обещаний, — сколько для этого нужно самопожертвования!

Кланяюсь вам, люди тридцатого года!

Самоотверженность, величие души трудового народа. Вот о чем не говорили. А сколько ее было и какой великой, когда годами работали, не получая за это ни копейки, в войну, когда, забыв все обиды, отдавали последнее партизанам, рисковали смертельно, шли на смерть!

Великий ты, воистину великий душой народ!»

А вот как понимает свою роль, свою миссию Башлыков, как относится к этим людям, к делу, — это также из записных книжек, в которых писатель фиксировал все новые и новые грани, повороты характеров, мыслей, поведения своих персонажей.

«Жестокость — напор. Какое тут будет добро, если из-под палки.

Но и без принуждения — как выполнишь такое задание.

Нужны темпы. Из округа требуют: давай. Давай сводку. В сводке и без того дутые проценты. Прибавлено. Приедут, проверят, — будет. Да, да, он понимает — нужны темпы. И решение есть решение...»

Башлыков раскручивает маховик, но тот затягивает и самого его...

«И колхозы, какие есть — липовые. Еле-еле. Так, для приличия. Для показа.

Обман один. Партию обманываем. Как терпеть такое?

Злоба у него была такая горячая, что не мог размышлять, разбираться...»

«Да, гнездо. Все заражено поганым кулацким духом. Даже бедняцкая часть заражена... Кулачье поработало...

Вылезли. Что ж, тем лучше. Война в открытую. Тем лучше! Ударом на удар! Тройным ударом на поганый удар!

...Ветер сечет, холод пробирает. Кажется, берется мороз. Зима как надо. Скорее бы доехать, броситься в постель, передохнуть. Не хочется додумывать: следом за злобой вот-вот вползет страх: чует — беда. Катастрофа. Развал колхоза в такое время.

...Мужичье. Упрямство мужичье — слепота. Он почти ненавидел это мужичье, слепое. Ненавистью, как он считал, пролетария. В эти дни все мужичье в его мыслях сливалось с кулацким. Один черт! Одним миром мазаны».

Интересно сравнить ситуацию «Башлыков — Апейка» у Мележа и «Коризна — Зеленюк» в романе «Вязьмо». Ситуации эти предстают как полемически противоположные, зеркально-обратные. У Зарецкого человек из города, рабочий Виктор Зеленюк, — носитель «правильной линии», и, конечно, он ближе к авторскому взгляду на крестьян, отношению к ним. Иначе и не могло быть в тогдашнем произведении. Ну, а деревенский интеллигент Симон Коризна, конечно же, несет в себе явные и тайные «родимые пятна» крестьянского происхождения. У него родители окулачились (как у Апейки — брат), а это поселило в душе Коризны опасение, страх и за себя и, как результат этого, — ненависть к мужикам, которые «мешают» проявить, показать его политическую преданность делу...

В романах Мележа все наоборот, и это шло не только от автора, но и от самого времени, открывшего, что жизнь не укладывается в схемы, она многогранна, она выдвигает перед художником все новые и новые проблемы. И у Мележа не горожанин, не рабочий Башлы-

ков, а бывалый крестьянский парень, сельский учитель Апейка — вот кто выразитель ютинного стиля работы, отношения к людям, а для автора и самый близкий (идейно и психологически) человек в романе. Иван Мележ решается отойти от самой классической из схем, за которой авторитет самой «Поднятой целины».

В записных книжках Ивана Павловича мы находим такие рассуждения на эту тему:

«Башлыков считал себя выше Апейки. Прежде всего потому, что он сын рабочего класса, а это уже само ставило его выше во всех отношениях. Тогда был такой взгляд... В те времена единственной характеристикой считали социальное положение. Социальное положение решало: рабочий — основа, идеал, крестьянин — двуличный, служащий — человек, к которому надо бдительно присматриваться. А жизнь показывала: хотя в основном это верно, рабочие не были похожи один на другого, и крестьяне разные, и служащие — что человек — то и душа.

И не понять было: почему партию создал, создал ее учение человек дворянского происхождения, почему руководящее ядро в ней — которое шло на смерть, на все жертвы — были интеллигенты, те самые, которым особенно теперь не верили, когда партия работала в несравненно более легких условиях.

Нет, это не свидетельствовало о слабости ленинского или Марксова учения. Это показывало, что нельзя его толковать упрощенно, примитивно.

Это показывало, что нельзя его понимать вульгарно. Это показывало, что вульгарный социологиям — опасная вещь.

Ленинизм — метод, которым надо было пользоваться умело, умно, учитывая связь многочисленных жизненных условий, помня о главном, стараясь быть на уровне великого дела».

Но, построив ситуацию «Апейка — Башлыков» полемически, в сравнении с литературной традицией прежних десятилетий, Мележ вовсе не утверждает обратную схему.

Образы и того и другого героя у него художественно многокрасочные, живые, противоречивые, ибо сложной и противоречивой была сама жизнь, которую изображал писатель.

Мележ хорошо понимал опасность новой схемы и

сознательно стремился ее избежать. И пользовался способом, который был открыт еще классиками реализма: в добром отыщи злого, в злом — доброго, в железном — мягкость, в мягком — твердость!

«Вообще преодолеть: Башлыков не должен быть плоским. Сложный, противоречивый. В нем есть своя человечность. Своя беда, и не одна. Рядом с черствостью.

Где-то дать его в одиночестве. В раздумье. На распутье. (Может, после того как сняли.)

И — в истории с Ганной, когда думает, что делать.

У Башлыкова — мать, кто она. Больная? Сестра? Горбатая. Брат?..»

«Рано работал, тяжело. Жил, как аскет. Выбился.

На заработках у богатея. Тот издевался, бил...

Дивчина была. Бросила. Замуж пошла. Обманула... Не может забыть. Подозрительный поэтому в этом отношении. (Это накладывает печать и на его чувства к Ганне.) Он чист в отношениях к женщинам. Есть стеснительность даже».

«Что Башлыков знает о крестьянах. (Исследовать.)

Голодали в городе. На базаре крестьяне — драли как могли. Недружелюбие. Чужой мир.

Читал. Двуличность. Собственник. Темнота. Кулачество — их среде».

«Самоотверженность Башлыкова (а в ней и карьеризм)».

Вот так нацеливает себя художник: в одном искать другое, противоположное. Искать, находить, замечать и подчеркивать в Башлыкове неоднозначность, «слабости» (с его, Башлыкова, точки зрения), свидетельства человечности.

И нечто совсем другое стремится отыскать писатель в Апейке, чтобы он — добрый, умный, мягкий — не выглядел этаким «облаком в штанах». Он ищет и находит в его поведении, характере еще и твердость, силу. Записывает: «больше прямоты»...

«Апейка не раз проявляет волю, твердость. На чистке не признает вины. За брата, за заступничество...»

«Приходят к Апейке женщины с плачем. Все забрали. Курей не оставили».

«Ненависть к карьеристам, приспособленцам. «Слизняки». К показухе ненависть».

«Прямота в трудные моменты. Даже резкость».

«Показать твердость характера. И честный. Разумный, твердый, честный».

Да, не однозначные иллюстрации к «авторской идее», а живые люди — и Апейка и Башлыков. И по замыслу. И по реализации — в мележевской «Полесской хронике».

Если брать их будущую судьбу — как она пунктирно прочерчивается в записных книжках к следующим романам «Хроники», — то никто из них не может считать, что он окончательно взял верх над оппонентом — его взглядами, его «линией». Башлыкова, правда, после статьи Сталина «Головокружение от успехов» снимают «с треском» с должности секретаря райкома. Писатель хотел (он не раз говорил об этом) «отправить Башлыкова назад в Гомель». А в 1937 году Башлыков еще раз попадает под тот маховик подозрительности и «рубки с плеча», который и сам старательно когда-то раскручивал, не зная, куда это приведет...

И Апейка не знал, не предвидел многого... Но он, по мысли Мележа, из числа тех коммунистов-ленинцев, которые уже в 1929—1930-м пытались, пока не поздно, остановить тяжелое колесо подозрительности, нарушения законности... «Он (Апейка.— А. А.) не был пророк, не было еще 1937 года, но были близорукость и черствость, была власть и сила у людей, которые...» — на этом запись оборвана.

Мележ писал о «метелях» 1929-го, а видел продолжение жизни, судьбу своих героев в следующем десятилетии. Там, где не Башлыкову уже (и тем более не Апейке) стоять в центре событий, быть «главными персонажами»; а, возможно, Дубоделу с Харчевым.

А дальше — скорее всего снова Василь. И снова-таки Ганна («судьба женщины, жены-матери, страдальницы»). Ибо они — народ, и они остаются.

В записной книжке: «1968—1969—1970 гг.» — содержатся наброски и план романа, завершающего хронике.

«Четвертый роман — роман-эпилог.

Или, может быть, 2—3 маленькие повести?

1935—1945 — или до наших дней.

Главы от прежних.

Судьба тех же героев.

Как результат прежних, развитие.

Небольшой, листов 10».

«Название «Несколько дней из многих». Или «Отголосок».

«Взять несколько узловых событий из судьбы героев».

Как же сложились судьбы основных героев «Хроники»? И как все виделось (конечно, не окончательно) Мележу?

Заглянем в записи разных лет.

«Исключают из партии Апейку».

«В связи с делом Апейки делают запрос в сельсовет (теперь там — после Миканора — бдительный Дубодел) — о Василе. Дубодел дает ответ: ненадежный».

«Вызывают на допрос Василя.

Тревожат его: снова Маслака ему припоминают» (Маслак — атаман банды, которая в «Людах на болоте» терроризировала Курени.— А. А.).

«Гайлиса арестовали, как шпиона. Думает, что ошибка. Ждет, что освободят. На допросе — уверенный, твердый.

Беспокойство Ганны: Евхима припоминают ей. Будто в насмешку. Миканору вину пришили за Евхима. Как за товарища какого.

Но Миканор молодойчина: не попрекает ее! Не теряет веселости: выяснится все, быть не может! Еще извинения попросят!

Но что-то не просят! Конечно, на душе у него не легко. Но молчит».

«Снова вылез наверх, заграбастал власть Дубодел. Его пора! Бдительность, твердость. Теперь бдительный и твердый — как никогда».

«Разговор колхозников о Ленине и Сталине».

«В 1940 году Апейка был на заседании Совета народных комиссаров о Полесье в Москве.

После заседания услышал: Мудрый! Широта какая! Размах! Гений.

Апейка — сомнения об осушении. Не упростили ли проблему?.. Вспоминает: 1936 год.

А вот Харчев.

«Твердость, непреклонность. Окружение, враги народа. Никаких сомнений. А за этим — карьеризм. Но карьеризм — не боязливый, смелый, решительный.

Ощущает, что судьба вознесла его на волну истории.

...Но — беспокойно на душе. Совесть мучит. Сомнения неотступные. Неуверенность в себе.

Подозрительность: и на него что-то готовится.

Ждет: и его возьмут.

Все неопределенно. Никакой опоры...

Не может свести концы с концами. Запутался.

Опустошенность и ощущение — запутался. И ощущение — позорного конца. Что делать?

Наган к виску. Все разом кончить! Кончил. Рука не дрогнула».

Ну и, конечно, судьба Василя, Ганны. У них тоже не просто, даже очень не просто.

Ганна замужем за Миканором. А первый сын у нее — от Евхима. И любит она — может быть, больше памятью, нежели чувством,— все же Василя...

Но вот Миканор, который председательствует в Куренях, сам накликал беду на себя, и это беда всего колхоза, всех колхозников, в том числе Василя.

«Василь первый год в колхозе очень старательно работает. Очень принимает к сердцу все неурядицы колхозные».

«Весь год Василь изо дня в день усердствовал: на посевной, на косовице, на молотье. Весь обгорел, обтрепался; побольше бы заработать. Обдумывал, что получит. Получалось много. Урожай на редкость. Зерно, как боб, и пшеница, и ячмень. Погода благоприятствовала. Разговоры у людей веселые... И картошка хорошо шла... И Миканор (или новый председатель) веселый. Подбадривал. Конечно, были и такие, что не верили, что побаивались: не может быть, чтобы так хорошо все. Но надежды были веселые. И Василь дожидался распределения с нетерпеливой веселой надеждой.

И все надежды рухнули в один день. Надо было сдавать заготовки сверх плана. Сдали. Все подчистую вымели, хотя люди косо глядели и кричали, кричали не очень — научены были уже. И пропала радость, и надежды как и не было. Скомкал Василь лист бумаги, где выписывал день за днем — что делал. Коту под хвост.

Вот она, твоя работа! Твоя земля! Обобрали, и молчи. Еще и хвали!»

Политика перегибов подрывала у крестьян веру в новые формы жизни.

«На второй год едва ли не выгоняли из хат: никто не шел. Все выкручивались: тот болен, тот не умеет...»

Все лето кричал Миканор. Вегал по хатам. Угро-

жал... «Не кричи. Не панщина. Не имеешь права. Добрая воля — колхоз. А как нет хотения, нет желания — не лезь!...»

Тогда Миканор пообещал, что не выметут все под метлу, что даст заработать. «И обещание исполнил. Вопреки всему. Сдал заготовки. Выделил семена. А все остальное распределил. И дождался прокурора. И попал в райком. Положил партийный билет. Сломленный, потеряв веру во все, с пугающей неизвестностью впереди, шел домой.

Через полмесяца — судили — и получай: десять лет».

«И снова Ганна одна. Одна с детьми. Жена не жена, вдова не вдова. По ночам гадала: где он, что с ним.

Упрекает: надо было ему больше, чем всем. Детей не пожалел. Ее не пожалел! Другие — вон живут как живется, приспособливаются!

В минуты отрезвления укоряла себя: а как было ему иначе! Не век же неправдой жить? Не всем же неправдой! Потому и трудно так, что многие поприлаживались, сгубить готовы все — лишь бы наверху быть самим! Без хлеба готовы других оставить, лишь бы самим белой булкой лакомиться.

Люди сочувствуют. Добрым словом вспоминают Миканора».

Как будто «подравняла» судьба Апейку с Башлыковым, всех со всеми... Но литература, особенно большая литература, в состоянии глубоко увидеть и показать общественные процессы и человеческие судьбы, не одни лишь внешние события, но и моральную, духовную победу или поражение героев.

Крах — идейный, моральный — настиг именно Башлыкова. Апейка — как бы трудно ни складывалась его судьба — победитель. Если не тогда, не в 30-е годы, так в 50-е, 60-е. Всем нам памятны съезды партии, перемены в нашей идейной, общественной жизни, в стиле руководства и хозяйствования — это и его, Апейки, победа.

В записных книжках Мележа угадывается и возможная военная судьба Апейки: он, конечно, партизанит, но и здесь остается таким же, как и прежде, — нетерпимым к любой несправедливости.

Иначе выглядит «во времени» Башлыков. Потеряв официальную «высоту», должность, он сразу потерял

уверенность в себе. Не умеет, оказывается, не привык, не научился быть «самим собой» — без кого-то, кто направит, даст команду.

«Башлыков после ОК¹ («Головокружение от успехов») Харчеву.

— Переводят на железную дорогу. В политотдел. И выговор вклеили. А за что? Я оппортунист какой? За что? Я зла хотел... Район в передовые вывел!

Выпил уж. Раскис совсем.

— Пятно такое! Товарищ Сталин как обухом по голове. Я думал... Не сварила башка. И теперь не верят. Я, конечно, готов выполнить. Но зачем?.. Что теперь будет?

Сколько зла натворил!

Апейка увидел: и недалекий он, прямой, как кий. И несчастный по-своему: поставили на крутое течение, а он — не понимает. И он — решает!

Самоуверенный недоучка! Случайный!

Апейке вдруг стало жаль его. А жалеть не надо! Пусть, может, поумнеет!

— Ничего, я докажу. Искуплю все».

Но и что-то иное оживает, растет в Башлыкове, более человеческое. И могло вырастать, укрепляться при определенных условиях, потому что он все же — не Дубодел. Были у него свои принципы, хотя и ложно направленные, была совесть. И все же его моральный и политический крах закономерен.

Гораздо в большей степени это относится к Дубоделу, который все более нагнетает в атмосфере нарушений законности, — в нем все меньше остается человеческого. Изменяются обстоятельства, и он себя покажет — какой он «кадр». И его тоже «обидели» — перед самой войной, а затем пришли немцы...

«Криворотый (такая у него в народе презрительная кличка, и она держится, какой бы властью над людьми он ни располагал. — А. А.) в войну — пришлось остаться на оккупированной земле — продался немцам. Стал служить им».

«Он в душе карьерист. Ему, Криворотому, главное — быть наверху. «На коне», как он сам говорит. А его с коня — на землю перед войной. Вот и злоба на советскую власть. Евхим встретил его как товарища.

¹ ОК — окружная комиссия.

Немцы дали снова власть. Он опьяняется властью. Хвалит немцев, распинается за них длинными речами, как когда-то за советскую».

Это проявилось и в истории с Ганной, когда башлыковский «кадр» Дубодел «принципиально» и ее подвел под раскулачивание. Правда, принципиальность эта особенная, своя, для себя: «Авторитет и благополучие свое в его понимании были слиты с интересами государства. Каждый, кто замахивался на него, замахивался тем самым и на государство. И от имени государства Дубодел мог заступиться за себя — ведь он и государство — нечто единое!

Разве же Ганна, оттолкнув его, назвав «слюнявым», не оскорбила тем самым и государство. И разве же не должна понести наказание, как за государственное преступление».

...«Собирайся!

— Вы не имеете права!

— Имеем. Не разведены. (С Евхимом. — А. А.) Проверено! — радостно.

— Да к куда же ты пошлешь меня?

— Смейся. Посмеешься потом.

— А все-таки?

— Куда Макар телят не гонял.

— В Соловки?

— Есть место.

— Ага. — Держалась. — С Евхимом?

— С мужем.

— А я с тобой хочу остаться.

— Мало что.

— Уже не хочешь. Передумал. А еще недавно хотел. Не смотрел, что кулацкая.

— Бреши!..

— Забыл уже! Так, может, не забыл, как угрожал, когда посмеялась с заигрываний твоих?

— Не клевети. Никто не поверит!

— А вдруг — поверят.

— Кулацкая сплетня!.. — Строго. — Собирайся.

... — Я в сельсовет пойду! К Гайлису.

— С Гайлисом обговорено.

— Посмотрим!.. А нет — к Башлыкову самому!

— Хоть к Калинину!..»

А Башлыков не остановил Дубодела, когда прослышал обо всем. Отступил в сторонку. Принципиальность?

Мол, «личная заинтересованность», а потому не должен вмешиваться. Более того: «Он нападает на Апейку, что вступился за Ганну... Формально она — подлежит...»

А может, страх в нем заговорил? Боязнь, что всплывет: знался с «кулачкой»? Тот же Дубодел и продаст — только тронь его...

Вступился за Ганну Апейка. И выручил ее. А за это (и еще за другие «поблажки») Апейку и Гайлиса привлекают к ответственности: «За оппортунизм и поблажки кулацким элементам». Тот же Башлыков и закручивает это дело...

Когда Башлыков отрекся от любви к Ганне, узнав, что она была «кулацкой женой», он повел себя ничуть не лучше, чем Василь Дятел. Тот продал свое счастье за землю, за собственность, а этот — за карьеру. Но в конце концов оба потеряли все, за что так цеплялись: один — землю, другой — карьеру.

Это Мележ и записывает в своем «моральном досье» на Башлыкова: «Дать хорошенько линию Ганны — Башлыкова. Эта линия любви — как аналогия линии Василь — Ганна. Там искалеченная, загубленная любовь, лишения, бедность, крестьянская философия, тут — философия аскетизма, подозрительность, недоверие к человеку. И та и другая причина — одинаково бесчеловечная».

Для Василя хоть оправдание возможно: что, кроме этой самой земли, видел он, знал в жизни?! А когда — за ту же карьеру — Башлыков во второй раз предал Ганну, отдав ее на расправу Криворотому, изменив уже не только чувству, но и обыкновенной мужской порядочности, тут он повел себя — и снова у Мележа подчеркнута параллель — даже хуже... чем Евхим Глушак, дальнейшая судьба которого тоже прочитывается в записных книжках Мележа.

Эти записки говорят о неоднозначности и этой судьбы, и характера. Евхим продался немцам, но видит народную ненависть, которая его окружает, чувствует, что «дело их дохлое» и на него им наплевать — «себя лишь считают людьми». Беспробудно пьет...

«А вот Ганна не уходит из сердца. Не удалась жизнь. Не будет ничего. Завязалась петлей, на шее».

Евхим прослышал, что схватили нескольких куревцев и что Ганна среди них.

«Сидят в Загадье. Едет туда (напрашивается сам).
Приходит в сарай, где они сидят.

Говорит резко, с издевкой. «В расход пустят. Что передать?» Рисуется... Пусть видит его силу.

Она с ненавистью.

Выходит в полицию. Пьет.

Думает о Ганне, о жизни.

Отнимает ключи. Стычка с полицаем. Требуется, чтобы освободил. Тот бежит к немцам...

— Выходите. Выматывайтесь. Пока не поздно...
В лес сразу.

Сам закрывает сарай. Немцы бросились к нему с криком.

— Век!

Стреляет. В перестрелке ранили.

Схватили, связали.

Ведут в Хойники.

— Партизан?»

«...Бьют. Плюется кровью.

Держится душа.

Думает о Ганне. Спаслась.

Плачет о сыне.

Ничего не остается. Только об этом и жалеет...»

Самым цепким, живучим из всех оказался Василь Дятел, потому что и дело его на земле самое вечное — делать хлеб. Хотя и он прошел — да и как еще! — через все, чем одарило людей время.

Судьба Василя, как и других героев «Хроники», виделась художнику «сквозь магический кристалл» по-разному — если читать записи разных лет. Но везде и всегда главное для Василя было и оставалось все то же — земля и работа на ней. Даже когда и глядеть на нее уже боялся...

Дубодел не только Ганну, но и Василя подводит под раскулачивание, и Василь вынужден скрываться — он просто сбежал из Куреней.

«Подался на заработки — плоты гонять».

«Тоска по земле. Вернулся. Только бы на земле работать».

«Когда все режут скотину, Василь жалеет ее. Не режет. Совесть не позволяет. И человечность. Как можно так губить!

И — болит, что все сводят на нет.

В колхозе жалеет скотину. И не одобряет бесхозяй-

ственность. Не может терпеть ее. Сцепился с одним...»

В войну — вернувшись — Василь не радуется земле.

«Земля! Она лежала теперь будто ничья. Бери сколько хочешь. Живи, разворачивайся.

Звала, искушала. Бери, нет запрета. Нет хозяев.

Люди брали в основном то, что было до колхоза. Брали нехотя, будто с недоверием. С оглядкой.

...Бери! То, о чем некогда мечтал, лежало пустое. Как бы в насмешку над его молодыми мечтами.

Маня подгоняла: возьми. Брось песок да возьми то. Жадная.

Он ходил, смотрел. Хотелось. Но остерегался. Осматривался, ждал: что будет?

Неизвестно, что будет. Значит, неизвестно, что делать. (Боялся уже земли. Не верил. Немилое было уже в ней.)»

Записи в блокноте (за 1957—1958 и 1961 годы) дают довольно полное представление о том, как виделся писателю путь Василя через войну.

Многое война обнаружила в жизни и в людях непредвиденного. Не заглядывая в предвоенные анкеты.

Вот Мележ записывает то, что происходило в годы оккупации в его родной деревне Глинищах, — слушал, расспрашивал, видимо, когда приезжал туда сразу после войны.

«Она составляла для партизан списки изменников, передавала сведения о немцах. Немцы и полицаи напали на партизан, те отступили, бросили землянку, а в ней — списки и донесения, написанные их связной. Разобрали почерк. Допросы, истязания. (Ее звали — Маня Чекал, она из Волок, ее хорошо знал Разуменко.)»

Это «девушка из Волок» — из раскулаченной семьи, и судьба ее заставляет писателя вспомнить о детях Гайлиса и других «врагов народа».

«Сын Гайлиса — Володьки товарищ. Вместе учились. Горе сына. Не верит, что отец такой. Ему, сыну, — не верят другие. Слепой ты. От отца у сына — прямота, твердость, решительность».

А вот и обратное:

«Бывший комсомолец, активист (Ермольчик), лейтенант Красной Армии — возвращается в Хойники из плена, выслушивается перед немцами, становится начальником полиции. Не рассмотрели карьериста, шкурника. Теперь он садист, зверь. Упивается властью».

Тоже реальное лицо, и о нем слышал в своих полесских Глинищах Иван Павлович...

«Кулацкая дочка (Маня Чекан) становится героиней подполья!

Вот она — жизнь, ее повороты, ее законы! Показывать — жизнь — угол мертвой догмы, схемы, — ломает ее всюду резко и непреклонно».

«Евхим будто бы дружит с Ермольчиком. За столом пьяный, по-дружески (Ермольчику):

— Вот я — кулак. Кулацкий сын. Мне дорога — одна, прямая сюда. А ты — почему? Тебе советская власть все дала. Выучила. Комсомольцем был».

Во всех записях Мележа разных лет, где говорится о Василе Дятле в годы войны, характер этого героя — уже знакомый по романам — ясно угадывается: как-то со стороны присматривается он и к немцам и к партизанам... Но, разумеется, это уже совсем не тот Василь, с которым читатель расстался в «Дыхании грозы». Потому что все 30-е годы прожил и пережил, было и у него всякое — и плохое и хорошее. Но появились дети, и теперь он больше всего озабочен их судьбой. Какая у них может быть судьба, если «чужинец», лютый враг будет хозяином и земли и жизни твоей. (Возможно, впервые, лишь теперь «моя земля» для Василя, в душе его, зазвучала как: моя, наша Родина!)

А его совращают «своей землей» — и «новая власть», и собственная жена, Маня. Но только уже пошатнулась его вера в то, что земля, своя земля — самое надежное. Нет ничего надежного в мире, где само существование — твое и детей твоих — каждую минуту под смертельной угрозой.

Неизвестно, на чем писатель сделал бы акцент в характере Василя, если бы написал книгу «Хроники» о военном лихолетье, но и те наброски, конечно, пробные, приблизительные, что остались в архиве Ивана Павловича, говорят о многом.

«После скитаний недавних (Василь был мобилизован в Красную Армию.— А. А.), грохота боя, смерти жил Василь тишиной, покоем, привычностью родных мест и забот.

Тишина, какой бы тихой она ни была, но и в ней слышалась угроза. Старался не замечать, не терзаться мыслями — ничего утешительного в них не было.

Болела душа за детей малых, за огород, за корову, за хату — неверным, беззащитным было все, но тем более дорогим.

С необычайной лаской баловал, голубил малых, как за последнее хватался за работу по хозяйству.

Поначалу вспоминал все обиды, которые были ему от советской власти: особенно — как записали подкулачником, как забрали радость — хату, отрезали землю, заставили, можно сказать, бродягой таскаться по свету.

Злился на Миканора: вот хвастались — всех победим, ни одной пяди земли не отдадим, на чужой земле воевать будем. А как пришлось да как накатился, так и остановиться не могут...

Но это была раздраженность не злорадная, а все чаще влоба, от которой больно, самому от нее было больно!»

Нет, не собирался писатель выпрямлять характер своего Василя. Наброски, касающиеся дальнейшей его судьбы, свидетельствуют: характер этот развивался бы по законам все той же сложности и противоречивости, если бы Мележ довел свою «Хронику» до военного времени.

Да, Василь, как и прежде, неоднозначен. Но это уже не безоглядно упрямый хозяин-подросток, как было в первом романе. У него дети, он побывал на войне. И вообще — пережито немало. Правда, автор еще не захвачен по-настоящему движением и самораскрытием характера Василя в условиях войны. Он всего лишь делает наброски, примеривается. Не так сопереживает своему герою, как «подсматривает» за ним. Как бы со стороны.

«Болела душа за детей малых, за огород, за корову, за хату...»

Будто одна всему цена: детям, огороду, корове!..

И не меняют сути вполне здравые оговорки, что без огорода, коровы — как их сбережешь, тех детей? Есть в этом перечислении через запятую как бы и упрек «Василю-собственнику» — то самое «подсматривание»: изменился он или все тот же, такой же одержимый «своей землей», «хозяйством»?..

Однако есть в этих записках фраза, которая могла все повернуть, направить в свою сторону, увести и писателя и его героя от всех этих расчетов-вычислений — если бы всерьез начата была работа над романом:

«Когда пылали Курени — семья погибла. Один сынок спасся. Смерть его случайно пощадила».

Первая жуткая, обжигающая весть, которую Иван Павлович услышал и пережил, побывав после войны в родных Глинищах, — о том, как в соседней деревне, Алексичах, живьем сожгли, перебили всех жителей. Да и в других окрестных деревнях.

Он пытался написать об этом в «Минском направлении». Но можно представить, как углубился бы, как вошел бы в эту тему (тоже национальную для белорусов и столь невыносимо жуткую), когда бы описал военную судьбу Куреней (и Василя, Ганны). И как дети заслонили бы в душе Василя все остальное. Горящие живьем дети! Можно представить, с какими чувствами пошел бы Василь на фронт — после освобождения. И каким возвратился бы!

И об этом свидетельствуют записи. Мележ так видел (на каком-то этапе своей работы) дальнейшую судьбу Василя:

«После освобождения — взяли в армию. Кончал войну — в Германии или Австрии. Боевал неплохо. Пулеметчик. Начал от Мозыря.

Ехать — не ехать домой? Болело — от одной мысли о доме, сначала думал — не поеду. Подался с товарищем — к нему. Побыл — потянуло домой.

Приехал. Встреча с Куренями. Боль. На кладбище. Сколько здесь похоронено! Но никто не видел такой беды!..

Курени. Нигде мне без вас жизни не будет. Только в вас и мое горе и моя радость. Моя жизнь».

А дальше — запись, слова, которые, может быть, не очень согласуются, выжуются с образом Василя, каким он представляется по прежним романам, но с Василем военным и послевоенным, по-видимому, вязались бы: «И все-таки мы будем жить. Нас — не уничтожат. Мы — народ!»

В статье «Найти себя» Иван Мележ зафиксировал ту историческую правду, что в Отечественную войну и «после такой войны» белорусы по-новому, как никогда, ощутили, поняли, «что мы — народ».

Так почему не ощутить было этого и Василю, не пережить, не осознать этого чувства? Василю, которого ничто не обошло и обойти не могло, ибо таких, как он, — миллионы, основная масса народа. Вот где и как могла

отозваться та первоначальная мысль о «большой, прекрасной, национальной теме», с которой все начиналось. Вот такой исторический масштаб, такую гуманистическую глубину она, все усложняясь, приобретала в процессе работы над романами.

«16.9.1975 г. Погода сегодня с утра пасмурная. А к вечеру прояснилось. Все дни в основном солнечные, небо синее. И тепло, ночью уже холодно. Но я чувствую себя плохо. Усталость общая и апатия ко всему. В том числе и к роману. Не хочется (и не может) ничего делать, лежит моя книга, которую ждут в «Полымі» (напоминали).

Видимо, так и останется недописанной моя обещанная «Полесская хроника». Этот роман я, может, как-нибудь со скрипом дотяну. А как то, что лежит в папке? То, что могло дать «Хронике» вид хоть какой-то завершенности...»

И через несколько дней: «Позавчера умер Михась Лыньков. Завершилась еще одна судьба».

С горькой мыслью, что не сумеет, не успеет дописать даже этот роман («Метели, декабрь»), как хотел бы, как мог бы, он собрал и отдал в журнал «Полымя» те главы, страницы, что имели вид наиболее законченных...

«30.1.76.

Сдал верстку в № 3 «Полымя» I ч. романа.

Сижу, читаю «Сибирь» Г. Маркова. Надо — статью для «Лит. газеты». Статья плохо видится. Задача очень трудная, и на душе мука.

И это при том, что думаю и тянусь сердцем — к своему новому роману. Беспокоюсь о нем (новый, это значит ненаписанный)».

«Корректурa № 2. Читаю. Чувствую неудовлетворенность сделанным. Тяжело писать это. И писать трудно, и бросить не могу. Не могу остановиться на дороге. Как — путник, что устал телом и душой, а должен брести дальше. Все, кто читал роман — Саченко, Пташников, Адамович, — пока хвалят. А во мне неудовлетворенность!»

Только часть новых глав, более-менее законченных и связанных одна с другой (вокруг испуганно оборванной Башлыковым и гордо — Ганной зарождающейся их любви), Иван Павлович выстроил в романе «Метели, декабрь» — как было можно, как получалось. Сделать остальное, дописать роман уже не успел. То, что остава-

лось на столе, в шкафах, требовало еще работы и работы...

Главы, наброски, отдельные страницы и записи к этому произведению, те, что остались в папках, в блокнотах, в небольших записных книжках Ивана Павловича, мы с вдовой писателя Лидией Яковлевной Петровой-Мележ рискнули собрать и осторожно сложить, выстроить хотя бы в какую-то систему (не произведение, конечно, а всего лишь «штрихи к произведению»¹), чтобы читатель мог получить более полное представление о романе «Метели, декабрь» и о всей «Полесской хронике».

Чем мог завершить Иван Павлович свой третий (и последний, как оказалось) роман «Полесской хронике»? Есть два наброска.

И оба заставляют вспомнить «Тихий Дон», судьбу Григория Мелехова...

«В конце дать сценку: Василь возвращается в Курени. Потянуло. Когда весной запахло, когда почувал запах земли, может, из Куреней принес вetchточку, потянуло — не усидеть здесь. (Это когда Василь прятался на лесозаготовках. — А. А.) Немило стало все тут. Пусть будет что будет — только там быть, ходить по своей земле, ощущать ее под ногами, дышать ее запахом. Мигом собрался, все бросил, летел домой. И вот — куреневская гать, глинище, стрехи... Что бы ни было, только здесь быть! Только здесь...» (запись в блокноте 1961—1966 годов).

А в другом месте: «Весна, пашет. (Через год? два?) Только бы тут. Любой ценой. Вот она, Корча полоса. (У раскулаченного Глушака такая кличка деревенская — «Корч». — А. А.) Которой так жаждал. Все поломалось.

Ни Ганны, ни земли. «Дурень».

Так, наверное, надо.

И надо жить, как есть. Как судьба распорядилась. Жить».

И на полях авторской рукой: «Хороший конец».

Наша литературная наука подчеркивает принципиальное идейно-эстетическое значение трагического фи-

¹ Частично материалы эти в русском переводе были опубликованы в журнале «Дружба народов» (1978, № 6). На белорусском языке записи полностью входят в 10-томное Собрание сочинений И. П. Мележа.

нала «Тихого Дона». Эпопея завершается не просто щемящей, но звучно трагической нотой.

«Хоронил он свою Аксинью при ярком утреннем свете. Уже в могиле он крестом сложил на груди ее мертвенно побелевшие смуглые руки... Он попрощался с нею, твердо веря в то, что расстанутся они ненадолго...

Теперь ему незачем было торопиться. Все было кончено.

В дымной мгле суховея вставало над яром солнце».

Человеку, который впервые читает эту великую книгу, сначала может показаться: восходит, взойдет сейчас «вечное солнце надежды».

И все станет на свое место — то самое литературное, общее место... Но тут же каждого понижут, как током (и при втором, и при пятом чтении), знаменитые строки: «Словно пробудившись от тяжелого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца».

На пороге XX века эпопея (впервые в истории литературы) оканчивается на такой вот трагической, бесконечно тревожной ноте. Автор будто и стремится, старается, но не может преодолеть свое пророческое чувство глубокой тревоги — не только за своего героя, но и за всех людей на земле.

«Что ж, вот и сбылось то небольшое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром».

А с другого конца того же XX столетия — навстречу голосу русской трагедии-эпопеи — звучит, должно было прозвучать уже в белорусской эпопее:

«Так, наверное, надо. И надо жить, как есть. Как доля велит. Жить...»

Так собирался закончить третий роман своей «Хроники» Иван Мележ.

На ноте трагической.

Так или несколько по-иному оканчивался бы роман «Метели, декабрь», надо думать, именно в таком направлении разворачивались бы события, образы, характеры в следующих романах «Полесской хроники», — всего мы не знаем.

Знаем одно. Иван Павлович Мележ шел к своей Главной книге через всю творческую, да и вообще почти через всю сознательную жизнь. Он отдал «Полесской хронике» все самое дорогое, заветное, важное — все, что пережил, узнал, понял. И с каждым годом труда над грандиозным замыслом, с каждым новым романом и замысел и романы углублялись, обретали новые масштабы и, главное, стремительно возрастала потребность и решительность сказать действительно народную правду — написать поэтическую и в то же время жестоко правдивую эпопею народной жизни.

1982

НИЧЕГО ВАЖНЕЕ...¹

Современная литература — если она действительно современная — важная, неотъемлемая часть мира, в котором мы живем. Мира, домчавшегося до самого края бездны и на этом краю пытающегося удержаться — со всем грузом нерешенных проблем...

Во времена доисторического человек выжил, сохранился как вид благодаря тому, что стал человеком умелым, человеком работающим.

В те — доисторические времена и в эпоху сменяющих одна другую цивилизаций держаться и идти вперед, завоеывая все более прочные позиции среди других видов, помогал человеку его удивительный мозг, разум.

И вот он, *homo sapiens*, человек разумный, а вместе с ним и все, что он создал (или, наоборот, обескровил — братья меньшие) — на краю бездны. Как это получилось, ведь у него все время был «фонарь», который разгорался, светил все ярче — разум, так почему, как же он, человек, выбежал на самый край?

Что может дать ему реальный шанс на выживание? Все та же умелая рука и быстрый разум, современная наша техническая сноровка и ученость? При всем техническом всесилиии, которое нас вроде бы защищает от реальных трудностей существования, мы, люди, оказываемся, как никогда, беззащитными перед силой случая, случайности. Они всегда висели и висят над человеком. Но чтобы над всем родом человеческим! Чтобы таракан мог столкнуть нас в пропасть!.. Да, самый обыкновен-

¹ Век XX и мир. 1982, № 11.

ный, который и нашим бабкам-дедам досаждал, умело, расчетливо падая с потолка в крынки с молоком. Но чтобы он мог погрузить во тьму целую державу — а именно это случилось с Японией, когда таракан заполз, забрался в компьютерную систему энергорегулирования!

Ну, а если заползет в какой-нибудь другой компьютер, поважнее?.. И называть не буду, потому что мы с вами вздрогнули вместе, об одном и том же подумали.

Человек умелый и человек разумный — они свой отрезок пути проделали. Дальше идти — если нам это будет дано, если сможем, удержимся на краю, — *человеку гуманному*. Только такой и возможен в будущем. Другому туда не прорваться, не выйти.

«Проблема в самом человеке», — утверждает, подчеркивает автор книги «Человеческие качества» Аурелло Печчеи, и к мыслям этим следует прислушаться внимательнее, не отбрасывая чужие аргументы только потому, что они вначале могут показаться прекраснодушно наивными. Так вот — проблема в человеке, «в самом человеке, а не вне его, поэтому и возможное решение связано с ним; и отныне квинтэссенцией всего, что имеет значение для самого человека, являются именно качества и способности всех людей». Притом «не качества отдельных элитарных групп, а именно «средние» качества миллиардов жителей планеты»¹.

Не много, не слишком ли много хотите вы, такое утверждающие (или с этим соглашающиеся), от человека, притом «среднего»? Нет, кажется, не больше, чем практически необходимо, чтобы нам, людям, выжить на планете, уже познавшей и соблазн обманного всемогущества и ужас грозящей всеобщей гибели.

Уже не отдельные мечтатели, или философы, или ученые, политики — сама немислимая, но вполне реальная ситуация на планете толкает всех в одну сторону, и чувства и разум людские заостряются на одном «общем деле»: живых надо спасать и еще не родившихся! Саму возможность жить дальше.

Мировая печать последнее время много писала и пишет о дотоле никому не известной женщине из Осло — домохозяйке Ракель Педерсон (у нас о ней рассказывалось в журнале «За рубежом», 1981, № 45 (1114), а также о Холле — американском рабочем. Они были иници-

¹ Аурелло Печчеи. Человеческие качества. — М.: Прогресс, 1980, с. 44—45.

аторами «Маршей мира — 81» — в Европе и в Америке. При этом норвежская женщина продала дом и поселилась с мужем и ребенком в чужом, сняла квартиру, а деньги за свой дом отдала на организацию марша мира, который и состоялся, прошел невиданно мощно через европейские столицы, города, поселки.

По жертвовала своим домиком, чтобы спасти общий дом — Европу, планету!

Так разве не поразительные существа эти люди? Такие до невозможности инертные, погруженные в свои лишь интересы, заботы, так что кое у кого снова и снова появляется соблазн, уверенность, что можно с ними делать все, что вздумается, — даже к мысли о немыслимом приучить, согласиться с возможностью и полезностью атомной войны. Но вдруг эти же люди и покажут себя. И это «вдруг», к счастью, обнаруживается именно тогда, когда вопрос — действительно о жизни и смерти, о главном, когда медлить уже нельзя, невозможно.

Сколько раз за свою историю народы, люди преодолевали, казалось бы, непреодолимые сложности, трудности, препятствия, чтобы идти дальше. Чтобы жить дальше.

Высшим этому примером может служить выстраданное, преодаленное и совершенное нашим народом в годы тяжелейшей из войн — Великой Отечественной.

И в этой способности людей совершать невозможное, когда встает вопрос о жизни и смерти, — в этом надежда!

* * *

Чтобы ничтожнейший таракан не посмеялся над многотрудным и удивительным путем человека от пещеры до космоса, самое разумное для человека — как можно стремительнее становиться человеком гуманным. Не частично, не «полу», не «отсюда и досюда» гуманным, а принципиально и абсолютно гуманным. Становиться человеком, для которого ничего нет важнее, выше чувства человеколюбия. Ни на один час и ни в каком, даже исключительном, случае ничего нет и не бывает важнее. (Это я пересказал известные слова Толстого.)

Сегодня великая страна объявляет, что она ни при каких обстоятельствах первой не пустит в ход страшного, самоистребительного оружия. Вот шаг именно по

этому пути. Но это первый шаг, и он может остаться шагом на месте, если не присоединятся другие страны. И не последуют новые шаги.

Спешите делать добро! — взывал доктор Гааз, тюремный московский лекарь, которым так восхищался бывший каторжанин Достоевский. «Спешите, — умолял и предупреждал человек XIX века, — если хотите умереть людьми!»

Сегодня это звучит: спешите, если не хотите умереть! Всем родом своим умереть.

Но что сегодня — добро, высшее добро? Ведь столько за последнее столетие было все новых и новых попыток понятия добра, зла, нравственные все категории подчинить ближайшим целям, поставить в зависимости от того, что «выгодно», «полезно», как выражался Гитлер «нашему движению».

Бомба, которая способна все истребить, кое-что ставит на место. Сегодня уже не получится, ни у кого не получится — доказать, что высшее благо есть то, что полезно тебе и во вред «врагам» твоим. При такой бомбе — чего пожелал «врагу», то поджидать будет и тебя самого. Настигнет «врага» — настигнет и тебя тоже.

Судьбами, жизнью и смертью человечества, всего человечества — вот чем сегодня измеряется высшее благо, добро. (И соответственно — высшее зло.) Там, на этой высоте, и абсолютный, нравственный закон.

Не убий человечество! — ничего нет и быть не может, что этот закон ограничивало бы, сужало. Дескать, так-то оно так, но есть, могут быть «вещи поважнее...». Нет и быть не может ничего важнее для человека самого существования человечества, рода человеческого.

«Не убий!» — звучит все же как-то... вроде бы не из нашей оперы. Но та же проклятая Бомба многое, очень многое (и многих) заставляет (и еще заставит) поворачиваться неожиданной стороной и к неожиданным, может быть, забытым вещам. Вроде бы привычные слова, формулы начинают вдруг вставать на дыбы, перекашиваться, «поперек» становиться. «Иди и гибни: дело прочно, когда под ним струится кровь...» Всегда все тут было в порядке. Когда мы были учениками, студентами. Хотя нет, задолго до нас, уже Достоевскому кое-что не нравилось в словах поэта, которого он всегда ценил. Но уже тогда подумал человек с больной совестью: ну, а если это

кому-то слишком понравится, чтобы «струилась кровь» и, конечно же, желательнее, чтобы чужая...

А потом были кровавые годы фашизма в Европе, были Хатыни, Хиросима да и современные войны (пока что «локальные») — нет, лучше не ставить в положительную зависимость «дело» (любое!) и «кровь». Кровью измерять — значит карт-бланш выдавать все новым и новым радетелям о «благе» людском и державном, для которых всегда найдутся «вещи» поважнее, нежели жизнь человеческая (чужая, само собой разумеется).

Технический гений современного человечества использует, в дело запускает все, что лежало, хранилось или просто валялось, как бесполезное или слишком «фантастическое», в запасниках. Почти все технические идеи и даже многие фантазии, какие только возникали в головах людей — от Леонардо да Винчи и еще раньше до Циалковского и дальше — почти все или уже реализовано или на пути к реализации.

Гуманитарная ветвь человеческого сознания в век НТР тоже пытается не отстать, тем более что люди увидели опасность «ножниц» между прогрессом техническим и нравственным. Того и гляди ножницы эти перережут саму нить жизни. И тут тоже замечается стремление: все извлечь из запасников, чтобы пустить в дело, на пользу, во спасение. Но не все, как мы уже видели, выдерживает проверку атомной бомбой, ракетно-ядерной опасностью.

Зато кое-что из того, что, казалось, давно продемонстрировало свое бессилие и «непрактичность», вдруг обретает новые качества, по-новому высвечивается нашими тревогами и надеждами.

«Не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы с тобой поступили...», «Не убий!» — это в нашем сознании прочно связывалось с религией. А религия слишком долго была служанкой как раз тех, кто и убивал (во имя богатства и власти) и делал другим именно то, что себе, конечно же, не желал.

Но не следует считать, что эти истины изобретены религиозным сознанием, специально «для обмана» придуманы им. Нет, их инстинкт «придумал», спасительный жизненный инстинкт перволюдей. Задолго до христианства, до индуизма. Без запрета на убийство, истребление себе подобных человеческий вид просто не выжил бы, не сохранился в мире куда более сильных,

более вооруженных для этого дела — убивать — существ. Автор серьезнейшего исследования «О начале человеческой истории» П. Ф. Поршнев утверждает, что там, тогда мы были вообще трупоядными. Самыми смиренными и мирными среди млекопитающих. Сохраняли и сохранили себя как вид не знаменитой агрессивностью, а именно тем, что не были конкурентами в борьбе за пищу для более сильных и кровожадных.

«Убей и отними!» — это появилось позже, гораздо позже. И настолько стало не исключением из правила, что люди и начало своей истории представляют обязательно с дубьем, атакой на саблезубых тигров и друг на друга.

Хотя именно законом природы было «не убий!» — по отношению к себе подобным.

Так что же, выходит, человек возвращается, приближается — по спирали развития, на новом витке — к тому самому месту: не убий! иначе род твой обречен! Но там, тогда действовал инстинкт выживания, биологический запрет. Здесь — *сознание, понимание*, что не выжить нам, людям, если вето на убийство не обретет силу если не абсолютного запрета, то хотя бы равновеликую силам, которым войны, убийства необходимы по самой их социальной сущности, природе.

Это в их адрес звучит сегодня из миллионных демонстраций в защиту жизни на земле: «Не убий Европу!», «Не убий человечество!..»

Но кто и когда, имея силу, оружие, возможность взять верх над другими, всерьез воспринимал или хотя бы слышал эти «не убий!» и «не делай другому»?

Так было. Но не так сегодня. Не так будет завтра. И не в том дело, что слова эти обладают какой-то божественной силой, значимостью. Дело в том, что сама ситуация открывает уши сильным. И как раз сильным в первую очередь. Чего никогда не бывало.

Раньше и даже совсем еще недавно было так, что у кого больший «потенциал», кто лучше вооружен и самым современным оружием, тот чувствовал себя самым защищенным от внешней опасности, от угрозы разорения, уничтожения.

А сегодня?

Что-то не слышно, чтобы из Австралии или Эквадора уезжали в Западную Европу или США по той причине, что «вот-вот начнется...». А из Западной Германии, из

Италии — бегут, уезжают. Туда, где ни ракет, ни взлетных полос для атомных бомбардировщиков. Где вроде бы никакой «защиты». Почти физически ощутили люди: чем больше копится «абсолютного оружия», тем сильнее эта «масса» притягивает возможный удар такого же оружия. В сильных, в вооруженных до зубов странах человек намного восприимчивее сегодня к тому самому «не убий!», которое в прежние времена лучше понимали и слышали «слабые».

И совсем неудивительно, что именно в таких, в наиболее сильных и перегруженных оружием странах возникают не только наиболее внушительные движения против войны, но что и прогрессивные литературы этих стран все решительнее переходят на позиции полного и безоговорочного гуманизма: не убий! Не убий человека, не убий народа, не убий человечество!..

Может быть, мир и человек все еще слишком прежние, «доатомные» — в поступках и в мышлении. Слишком — если иметь в виду, что ситуация не допускает промедления.

Но мир и человек уже поняли, понимают, что надо меняться, пока не поздно.

ВЫБЕРИ — ЖИЗНЬ¹

Просматривая записные книжки того времени, когда делалась книга «Я из огненной деревни...», натолкнулся на запись — рассказ полесской женщины: людей гнали в сарай жечь, и они знали, что их ждет, «так один мужчина стал петь, громко так, хорошо, голос у него хороший был, так он думал, что пожалеют за голос...».

Не то же ли самое сегодня происходит во многих литературах? Все, чем богаты, что хорошее было, есть, хочется выставить, показать. Вот мы какие были, вот он какой, наш народ, а значит, и все мы!.. Вот какой у нас «голос»! Показывают, показываем и при этом как бы спрашиваем кого-то, от кого зависит многое и будто все зависит: вот ведь что у нас, вот кто мы есть — люди, неужели этому гореть, исчезнуть?!

И вчера это было, бывало, когда литературы, когда люди вдруг начинали вытаскивать на высокое, на видное издали место все, чем можно погордиться: свои духовные богатства, историю, победы духа (и оружия тоже!), но бывало, что и ради того это делалось, чтобы объяснить свои претензии и «права» быть первыми среди других. Быть над другими. И сейчас такое прорывается — то там, то здесь, но лишь по инерции, по недомыслию, по глупости людской...

Нет, о другом взывают и камни, и лики — прошлое, настоящее и будущее каждого и всех: вот как богаты и талантливы мы, мы — русские, мы — украинцы,

¹ Выступление перед участниками международного «круглого стола», организованного журналом «Вопросы литературы» (1982).

мы — армяне, белорусы, узбеки, мы — французы, колумбийцы, индусы, японцы!.. И т. д. и т. п. Вот что у нас есть, было, что может быть, помноженное, завтра! Так разве мы, каждый порознь и все вместе, разве не достойны мы жить дальше на этой планете, творить нашу национальную и общечеловеческую историю! Неужели все это предназначено атомному смерчу?

Неужто и в будущем возможно, наступит свое «22 июня», когда все враз переломится, вся жизнь обрушится в один миг? Но тогда уже некому будет разгребать угли и пепел истории. Некому будет читать последнюю страницу — сгорит страница-то!

Это одна сторона современной ситуации в мире. Но есть и другая, в ней — свет надежды. Так уж устроен не только пушкинский поэт, но и человек, но и люди вообще так устроены: погружены в дела и заботы порой ничтожные, но лишь до того момента, пока не покличет, не позовет их общая забота, действительно для всех важное дело, тревога.

То, что произошло в Европе после объявления американского плана о размещении новых ракет, еще раз засвидетельствовало, что люди достойны быть жителями такой великолепной планеты, как Земля.

Как вдруг отбросили люди все мелкие заботы, интересы, эгоистические цели и объединились в общем порыве: нет, мы вам не заложники, не пешки, не марионетки. И как растерялись планировщики «ограниченной» атомной катастрофы. Как обиделись на неблагодарных европейцев, да, именно обиделись. Мелькают лица генералов, военных министров, президентов, госсекретарей на экранах телеящиков, и какие у них у всех обиженные лица. Они ведь так стараются — не себя, других ради! Ничуть не меньше обиженные, чем у тех, что приезжали жечь наши деревни и очень гневались, обижались, что люди «по-доброму» не хотят заходить в сарай, в церковь, в амбар...

Совсем недавно написала мне Вера Александровна Покровская и предложила ознакомиться с архивом ее покойного мужа — одного из советских обвинителей на Нюрнбергском процессе. Того самого Ю. В. Покровского, который говорил в Нюрнберге о преступной деятельности карательного батальона Дирлевангера — этот документ я привожу в «Карателях». Мы рассматривали с Верой Александровной знакомые и совершенно незна-

комые фотографии Нюрнбергского процесса, и тут она обратила мое внимание на то, что окна в зале суда зашторены.

Оказывается, все окна во дворце, где совершался суд народов, все время были закрыты наглухо. Чтобы палачи не увидели до самого своего конца дневного света, света божьего. Они столько людей лишили земного света, и было бы величайшим кощунством, если бы они сами еще смотрели на небо, на солнце.

Нет, не месть это была, а высшая справедливость. Сам воздух Европы и всего мира пропитан был этим — вселенским, народным чувством гнева против палачей. В дни Нюрнберга. Сегодня чувства эти возрождаются. Против новых палачей, убийц народов.

И в этом надежда.

Те получили то, чем палачески одаривали миллионы людей — смертную кару. Но полмира уже лежало в развалинах, 70 миллионов жизней унесли их преступные планы и дела. Ну а сегодня чем все это грозит?!

Один из парадоксов нашего времени в том, что самые мощные и вооружившиеся страны сегодня и самые уязвимые. Когда-то было не так: большой промышленный, технический потенциал гарантировал большую защищенность от удара извне. Сегодня все это именно *притягивает* удар. От которого ни защиты, ни спасения. Надо быть слишком ослепленным жадностью или классовой ненавистью, чтобы делать то, чем занята «команда Рейгана»: стремиться еще больше наращивать как раз ту «массу» (вооружений, бомб), которая удар притягивает!

Но если это так, тогда вполне закономерно и ничуть не удивительно, что в странах наиболее сильных в военном и промышленном отношении литература будет с наибольшей силой, страстью, пафосом жить именно этими тревогами и идеями: антимилитаризма, борьбы за спасение человека и человечества. Сильные никогда не были особенно склонны к призывам: не убий! Но ситуация снова-таки парадоксально изменилась. Самые сильные сегодня — наиболее вероятные жертвы всеистребительного удара. И не будет странно, если именно их литературы (американская, советская, европейские) открыто и резко станут на позиции: не убий человека, чтобы не убить человечество! Не планируй «малые»

войны, дабы не спланировать великое, всеобщее истребление рода человеческого!

Да, Европа уже ощутила сегодняшнюю реальность: чем большая масса вооружения и чем совершеннее оружие, тем сильнее они притягивают атомную погибель. Европейское «не убий!» («не убий Европу!») услышали даже за океаном. Долго делали вид, что это лишь «помехи», «шум», которые следует убрать, устранить и все пойдет по-прежнему. Но уже прозвучало, звучит и у них дома: «Не убий Америку!»

Так что когда-то действительно наивное, беспомощное «не убий!» (пока не угрожала гибель всем, а лишь тем, кто послабее и менее вооружен) сегодня уже не бессильное.

Овладевая чувствами, душами миллионов людей, оно становится силой. Стало силой. Перед которой потенциальные убийцы человечества вынуждены маневрировать. Да, всего лишь маневрируют. Но что ни говори, а ощутили, что руки у них не так свободны, развязаны, как вчера было...

На седьмом съезде писателей СССР звучала мысль, обращенная к себе и к иностранным коллегам, заседавшим в комиссии по проблемам мира и гуманизма: а не плохо бы, чтобы каждая литература заимела свою «Черную книгу» — правдивые рассказы, обращенные к самим себе, — о том, что исторические обиды чаще всего были взаимные. Не только вас, ваших предков обижали, но и они творили несправедливости, войны и пр. и пр. Так уж развивалась история — история классовых обществ. Так не пришла ли пора, чтобы литературы всех стран активнее содействовали тому, чтобы над «черным» счетом взаимных обид и претензий встал другой, «светлый», благородный свет взаимопомощи и взаимопонимания? Но для этого нужен трезвый взгляд на всеобщую историю. Если «твой» Чингисхан, или Тамерлан, или кто-либо помоложе, посвежее (исторически) убивал или душил соседние и дальние народы, помни и про это, а не только про то, как те ближние и дальние приходили на твои земли, возглавляемые своими «великими» кровопийцами. Помни про это и не верь, что «твой» чингисхан лучше, нежели чужие. Только потому, что они «твой». Вот такие книги, хотя бы по одной, подарила бы каждая литература сама себе. И своему читателю.

Об этом говорилось на съезде писательском, и действительно сегодня это жизненно важно — чтобы ни историческое прошлое, ни современные проблемы отдельных народов, чтобы никто не мог все это использовать корыстно против общих интересов, против высших интересов человечества — мира и взаимопонимания между народами. Мир, как никогда, неделим. Одна для всех угроза, опасность — навсегда исчезнуть. Вместе со своим прошлым и будущим.

Да, сегодня уже нельзя, невозможно: «врагу» — смерть, себе — жизнь. Не та ситуация. Выбрал для другого гибель, не обойдет она и тебя, твой род-племя. Никакие запасы атомной смерти, никакая новая технология убийств не в состоянии изменить или отменить общую ситуацию термоядерного века.

«Хочешь мира — готовься к войне!..» — устарело, отменено самой реальностью. Хочешь мира — борись против войны! Желаете себе, своему роду, племени жизни, а не смерти, обязан и для всех других выбрать жизнь. Не войну, а мир. Для всех. Навсегда.

Не убий человечество! — вот тот главный постулат, всеобщий закон нравственный, абсолютный запрет нашего времени, который — над всем. Любые слова, формулы, стремления, интересы, дела сегодня испытываются на истинность этим, главным: куда они влекут, тащат или подталкивают мир, человечество. К атомной бездне или подальше от нее? Никакие традиции, ничьи «права», никакие авторитеты не могут оправдать дела, доктрины, политику, способные обрушить на планету атомный огонь.

Важнее мира нет ничего. И тем более ничего нет, что может быть важнее грядущих миллионов и миллионов лет жизни человечества. Важнее, нежели будущее рода человеческого, когда проблемы, идеи, цели, во имя которых кое-кто готов обрушить на миллиарды жизней атомный огонь, когда все они будут не только решены, но, возможно, и позабыты — как нечто мелкое, промежуточное, преходящее, а возможно, и случайное на бесконечном пути человеческой истории. Где они, те «вещи», которые могут встать рядом, которые «важнее» всего, что у человечества еще будет? Если оно будет, человечество! А оно будет, если люди будут делать все для этого необходимое — ведь ради самих же себя!

* * *

В таком мире живем мы, люди.

В этом же мире живет, действует, развивается и литература. В частности, наша, советская. Литература многонациональная.

Сам принцип многонационального единства литературы предполагает особенную динамичность внутреннего развития. Принцип этот должен бы вообще исключать такое явление, как длительный творческий застой, топтание на месте. Потому что в любой момент какая-нибудь из наших литератур обязательно вырвется вперед, движется вперед: как сегодня белорусская — на «военном» направлении, а русская — на «деревенском», как киргизская — в направлении социально-философского романа, а молдавская — в поиске историко-поэтического синтеза...

Пока в одних литературах определенное время идет накопление новых качеств, другие вырываются вперед, движутся в каком-то новом, важном для общего развития направлении, а это создает постоянный общий настрой поиска, творческого соперничества, взаимообогащения.

Разумеется, все это не означает, что В. Кондратьеву, или Г. Бакланову, или Ю. Бондареву обязательно следует бежать за белорусами, а Я. Брылю или В. Козько — за В. Беловым или В. Распутиным или всем вместе — за Ч. Айтматовым, который написал, можно сказать, этапный для начала 80-х годов социально-философский роман о делах земных и «небесных» («И больше века длится день»).

Ибо за каждой из литератур — свое пространство национальной истории, культуры, традиции. Только неопытные грибники-горожане дружно бросаются туда, где кто-то нашел семейку боровиков — будто леса на всех не хватает. Тем более что все идет в «общий кузов». А потому ищи дальше, захватывай шире, протаптывай дальние стежки, чтобы только голос твой слышен был, не вытаптывай землю, корни, мох вокруг соседа!..

Да, конечно, есть общие для многих наших литератур массивы, которые не обойти ни русским, ни белорусам, ни украинцам, ни прибалтам, молдованам и т. д. Например, память о военном времени или судьбы вчерашней, дела и проблемы сегодняшней деревни. И тут

могут быть значительные если не заимствования, то чьи-то и в чем-то опережения. Например, Виктор Козько написал новый роман «Колесом дорога» (белорусский вариант называется «Неруш»). И каждый, прочитав Козько, обязательно прикидывает, в каком родстве эта вещь с «Матерой». Хотя распутинский роман — о затоплении земли (и человеческой памяти), а роман В. Козько — об осушении (и иссушении). Об осушении Полесья и об иссушении душ человеческих, когда люди механически выполняют работу, требующую любви к тем и беспокойной мысли о тех, кому дела адресованы. Нет, полешук Козько написал свой роман не потому, что сибиряк Распутин создал притягательное великое произведение. А потому что живет своим краем, его судьбами, весь живет чувствами и мыслями родных по духу людей. Ну, и кроме того, у белорусской литературы немалая имеется традиция в разработке полесской темы, начиная с «Полесских повестей» Якуба Коласа. А потом была «Полесская хроника» Ивана Мележа. Так разве могла литература белорусов не отозваться на заключительную ситуацию, когда, собственно говоря, Полесья в его историческом облике просто не стало? Сплошная мелиорация, мощная современная техника, решив одни проблемы, одновременно создала множество других, глобально экономических: Полесье как-никак — «главное болото Европы»!

Роман Козько появился потому, что об этом мы не могли не написать. Но у него есть русский сосед — «Прощание с Матерой». И им существовать в советской литературе рядом, друг друга подсвечивая. Но не затеняя друг друга, как бывает, когда одно из произведений эпигонское.

Сама жизнь, судьбы народные, дела, проблемы целого края обязывали белорусов написать полесскую «Матеру». Не будь этого зова, повеления самой земли, любая степень умелости, таланта автора не спасла бы его вещь от вторичности. А ее, вторичности, даже следа нет в романе Козько.

Да, что и говорить: есть свои сложности, проблемы для литератур национальных, у которых читатель общесоюзный. Один у всех, все со всем сравнивающий. А сегодня ситуация именно такая. Тут особенно не рассчитывай, что проживешь за счет местного патриотизма, скидок: серенький, зато свой, нашенский! Чтобы быть

своим, стать своим для современного своего и общесоюзного читателя, необходимо учитывать критерии вот какие: ведь читатель этот и к мировой литературе доступ имеет самый широкий.

Так что ищи свое, у себя, но и на соседа, не ленись, посматривай: как у других дела, какой «урожай», какая «агротехника»!

Не на пользу, а во вред каждой литературе была бы этакая хуторская амбиция: что мне ваш опыт, у меня достаточно своего! Нет, если кто-то проделал работу, протоптал стезжку в каком-то важном для всех направлении, поблагодари его и используй это, чтобы, сберегая силы и время, может быть, на новом этапе и в новом направлении самому вырваться вперед, стимулируя общее движение. Вот так, а не упрямым копанием в стороне от всех, на изолированном литературном хуторе, создает национальная литература авторитет себе и своему народу.

Когда прочитаешь произведение такого уровня, значения, такой творческой *удачи*, как «Последний срок» или «Прощание с Матерой», испытываешь чувство прочности, надежности — *с этой стороны*. Кем-то сделано, а всем надежнее, уютнее в литературе, у которой такой мощный хребет, такие вершины. (Так и было, такое чувство, когда впервые прочитал романы Распутина, даже написал об этом автору.)

И тем более радуется чья-то удача, если ею укрепляется, поднимается значение, влияние на читателя, мощь того массива литературы, к которому причастен сам. «Военной», например. (А точнее — антивоенной.)

Кстати, «военные» писатели почему-то совсем не возражают, что критика объединяет их под «одной шапкой». «Деревенские» время от времени (некоторые) протестуют и даже обижаются. Что это: извечная гордость военных своим «мундиром»? И столь же не новая обидчивость «деревни» — даже вот так, в делах литературных? Хотя чье положение, звание сегодня более почетное, авторитетное, если не это — «деревенщички»!

Ну да это к слову пришлось.

Так вот, внутри литературного «цеха» («военного», «деревенского») чувства творческого соперничества (также как и сподвижничества), видимо, должны быть, если не острее, то сложнее. И в романах национальной литературы и в общесоюзном масштабе.

Ведь тут разные направления возможны, порой резко отличные друг от друга. Да и есть, существуют такие направления, в «военной», например, литературе. (О чем свидетельствуют в одинаковой мере статьи Василя Быкова и статьи, выступления Ивана Стаднюка.) При этом белорусскому писателю Быкову вполне может быть ближе (поисками, творческими принципами) не «свой» Мележ (автор «Минского направления») или Шамякин, а русские прозаики Кондратьев или Семин, также как в свою очередь Ивану Шамякину романы Ивана Стаднюка или Александра Чаковского родственнее некоторых известных белорусских произведений (это вычитывается и из его ответов на анкету «Дружбы народов» — 1982, № 5).

И это закономерно, нормально — без творческих пристрастий, направлений какое же возможно движение, развитие в литературе, без этого нет литературной жизни. А для многонациональной литературы, какой является наша, советская, характерно и то, что направления, течения внутринационального литературного развития легко и свободно вливаются в общее русло, в свою очередь усиливая и ускоряя те или иные течения в том, уже общесоюзном процессе. Литовцы — аналитико-психологический поиск всей нашей прозы, латыши — эпический, эстонцы — жанрово-философский, эссеистский («мини»-роман) поиск, молдоване, армяне — притчево-поэтический и т. д. Ну, а белорусы, они, видимо, тоже свое ищут в общесоюзной прозе и это свое усиливают, делают полноводнее, например, военно-документальную да и вообще «военную» литературу. «Птицы и гнезда» Янки Брыля находятся в интересном творческом взаимодействии с «Плотиной» Виталия Семина, а повести Василя Быкова определенно и очень заметно влияют на жанр современной советской «военной» повести. Быков, много взявший (по его словам) от Бакланова, Бондарева, честно возвращает долги. «Сашка» и «Селижаровский тракт» Вячеслава Кондратьева — развитие, обогащение той линии «военной» прозы, которой особенно стойко держался (и которую упрямее всех удерживал) именно Быков. А когда читаешь, например, повесть (кстати, интересную) Григория Глазова «Подробности неизвестны», сразу хочется сказать: быковская школа!

Любопытно затронуть и вот какую тему. Не просто

влияние, воздействие наше друг на друга — одной национальной литературы на другую и всех сообща — на каждую в отдельности. Но и те случаи, когда даже корни или корешки какие-то (исторические и т. п.) тянутся в почву соседа. Стоит нам отдалиться на несколько столетий в прошлое, как сразу обнаруживается, что у нас есть общие писатели, общие произведения — даже белорусско-русско-украинско-польские! Не говоря уже о белорусско-русских, или белорусско-украинских, или белорусско-литовских. Нас роднят, объединяют имена и произведения Георгия Скорины, Симеона Полоцкого, Миколы Гусовского и Сырокомли и т. д. и т. п. А подземные (под литературой), сливающиеся, пересекающиеся реки и ручьи фольклорные!

И вот еще что интересно.

Во время и после долгих десятилетий насильственной летаргии (когда сам язык белорусский был под запретом) участие нашей, белорусской, духовной культуры в делах общелитературных зачастую выражалось именно в том, что почва белорусская (фольклор, народное творчество) обогащала литературы соседних народов. Общеизвестно, как много значила Белоруссия и ее фольклор в творчестве Адама Мицкевича или Элизы Ожешко. Куприн свою Олесю нашел на Полесье, там же кое-какие корешки и Достоевского. Можно и пушкинского «Дубровского» вспомнить и «Боярина Оршу» Лермонтова...

В известном письме Горького украинскому писателю Коцюбинскому подчеркивалась простота, народность первых произведений основоположников новой, возрождающейся белорусской литературы Купалы и Коласа: «Так примитивно-просто пишут, так ласково, грустно, искренно. Нашим бы немножко сих качеств! О, господи! Вот бы хорошо-то было!»¹

И если было влияние белорусов, их новой литературы, то именно в этом направлении. Т. е. вначале — непосредственно фольклорное влияние на Мицкевича, Ожешко, Лермонтова, Куприна и др. Затем — более сложное и уже более литературное. Думается, что крестьянский эпос XX века — «Новая земля» Якуба Коласа тоже имела какое-то значение и влияние, когда хорошо знавший и любивший белорусскую поэзию и народное

¹ Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т. — М.: Госиздат, 1955, т. 29, с. 138.

творчество белорусов Александр Твардовский создавал «Страну Муравию»...

Тут уже не только «почва» и не одно лишь «сырье» — для других литератур.

Тут уже воздействие иного уровня, обмен на уровне, так сказать, технологии литературного дела. Даже если именно сугубая простота, которую Горький подчеркивал («Так примитивно-просто пишут...»), и была основным качеством той «технологии».

Да, мы, белорусы, сегодня тоже на том этапе, уровне, когда можем не только брать, но и предлагать кому-то свою «технология». Как в жанрах чисто художественного творчества, так и в документальных жанрах.

А ведь литература белорусская (новая, возродившаяся заново лишь в XIX, в начале XX столетия) сравнительно молода. А проза так и вовсе ровесница революций — 1905 и 1917 годов.

Но в условиях, в обстановке активнейшего взаимодействия с литературами соседей, близких и далеких, когда твоя литература — часть многонационального литературного массива, бурно развивающегося, в этих условиях и сроки и пути сокращаются, укорачиваются.

В этом мы убедились на собственном опыте.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ЖУРНАЛА «ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА»¹

Где леса Амазонки, Бразилия, а каждый, зная, что эти леса, что «легкие планеты» выжигают, вырубают, живет как бы в предчувствии удушья. Хватает всем и своих дымов, но тот тревожит особенно.

Побывав в Индии, вы уедете с благодарным чувством к великому народу, который все еще хранит-сохраняет в центре Азии огромный исторический оазис гуманизма, воистину народного. Страна занимает десятое место в мире по промышленному развитию, но наследие многовекового колониализма и демографическая ситуация держат страну на грани полуголода. В Калькутте из десяти миллионов несколько миллионов человек спать ложатся голодными, встают (с асфальтового «ложа», спят на улицах), не зная, где добудут и добудут ли хлеб насущный. И в этом городе за весь год — 49 убийств! Представьте эту ситуацию в другом городе, в другой стране, в другой среде. Вот что такое индусы — с их мироощущением, традициями, национальным характером.

Конечно, тем более заслуживают эти люди, такие люди, чтобы быть хотя бы сытыми-одетыми. Но сколько соблазна вырубить, выжечь и этот оазис — планетарный оазис народного гуманизма...

Потому-то так дорог сегодня этот великий оазис народного гуманизма — Индия, который смягчает и выравнивает климат не в одной лишь Азии, но и на всей планете.

Вот таким, планетарного значения, оазисом, уже литературным, видится мне и латиноамериканская

¹ 1982 г.

проза. Свежестью этого оазиса сегодня дышит вся мировая литература.

Конечно, явление это величайшей сложности, во многом нераспознанное нами — латиноамериканская действительность и литература. Мы, издали, склонны замечать лишь отдельные грани, стороны явления и тут же их абсолютизируем. Нам кажется, что это-то и есть главное: мифологизация, притчивость и т. п. Труднее постигается удивительный синтез в этой литературе самых глубоких корней человечества и самых высоких вершин его. В старых книгах писали: и времени больше не будет! Кубинец Алехо Карпентьер, мексиканец Карлос Фуэнтес и Хуан Ральфо, гватемалец Мигель Астуриас, аргентинец Хулио Кортасар, колумбиец Габриель Гарсиа Маркес и другие латиноамериканцы удивительно просто растолковали, что это значит: «времени больше не будет». У них все времена сошлись воедино, в одну точку сущего, настоящего. Все, что было, что есть и что будет, что может быть — все это сдвинуто, сведено воедино, происходит как бы одновременно. Прошрое, настоящее, будущее — одновременно.

Читая их, мы вдруг поняли, что это вовсе не особенность только латиноамериканского литературного мышления. Что это и в нас живет, что это наше, современное ощущение самих себя. Что это самосознание человека, человечества конца второго тысячелетия. Живем мы в мире, когда все может исчезнуть в одно мгновение. Из этого понимания, ощущения и возникает, очевидно, такое обострение памяти о прошлом и такое обостренное чувство длящегося мгновения. Каждое мгновение — как средоточие всего, что было, есть и что когда-либо может быть. Но что может и исчезнуть. Навсегда.

Да, удивительное стало происходить с миром, с людьми, когда они поняли, как все хрупко на этой планете, вся их цивилизация. Все стало так дорого — все, что может быть потеряно. Каждый народ, каждая литература взялись вытаскивать все, все выволакивать на высокое, на видное место: а у меня еще и это есть, было, есть и еще вот это — смотрите, какие богатства! И все это обречено, погибнет? Неужто правда, неужто возможно?!

И вчера это бывало, когда свое выставляли на общее обозрение: свои духовные богатства, историю, победы духа (и оружия тоже!), но чаще всего, чтобы подкре-

пить свои претензии на главенство среди других. А иногда и свое право на господство над другими. И сейчас такое прорывается, но лишь по инерции, по недомыслию, по глупости людской.

Потому что все больше осознается (и должно осознаваться!), что нынешний поворот всех к своему прошлому, к своим богатствам, корням, истокам должен диктоваться более высокими, возвышенными, более гуманными чувствами, мотивами: вот как богаты мы, мы — русские, мы — киргизы, мы — украинцы, белорусы, армяне, мы — англичане, бразильцы, колумбийцы, китайцы, индусы и т. д. и т. п. Вот что у нас есть, было, что может быть завтра! Так разве мы, каждый порознь и все вместе, разве не достойны мы жить дальше на этой планете, творить нашу национальную и нашу общечеловеческую историю! Неужели это все предназначено атомному смерчу?!

Я не хочу сказать, что у латиноамериканцев это чувство яснее проявлено, нежели у других.

Скорее наоборот: у нас да в Европе эти чувства и мотивы даже сильнее, чем у латиноамериканцев. Нищета, засилие янки, генеральские путчи и диктатуры все еще для них, для латиноамериканцев, — на первом плане. А уже потом — общая угроза атомного уничтожения.

Именно высокоразвитым странам, больше чем, например, самим индусам, нужен, необходим их, индусов, традиционный гуманизм. И больше, чем самим латиноамериканцам нужна их ненависть к диктаторам и тиранам, которые терзают Латинскую Америку, но великим странам грозят куда большей бедой (а через них и всей планете) — бедой, помноженной на их атомную мощь.

Вот почему, кстати сказать, гордимся и мы, белорусы, что перевели (журнал «Неман»), что ввели в наш обиход «Осень патриарха».

И еще: к вопросу о том, как литературам нашим обходиться с собственной историей.

Как важны история, их прошлое для латиноамериканских писателей — мы знаем. Нам тут есть чему поучиться. Но и здесь у нас, у стран, которые не могут не жить прежде всего идеями и тревогами атомного века, свои особенности. И свои проблемы, сложности. Соблазны свои, от которых следует наконец уходить. Пока не поздно.

Леса на Амазонке — величайшие в мире по величайшей из рек — нужны и бразильцам. Но без них и всему человечеству дышать будет труднее. Гуманистическое мироощущение почти 700 миллионов индусов — достояние, ценность их родины, но также и всей Азии, всего человечества. Весь климат нравственный на планете, уровень взаимопонимания людского зависит от величайшего из массивов человеколюбивой жизненной философии. Приходилось разговаривать с молодыми интеллигентами-индусами. Конечно, рискованно судить со стороны о проблемах и трудностях развития чужой страны. Не твой народ голодает, страдает от колониальных пережитков и экономической отсталости. Как говорится: чужую беду руками разведу!

Но со стороны кое-что и виднее, ну, хотя бы то будущее, в которое устремляется молодое нетерпение индуса, с которым мы разговаривали в делийском аэропорту. По человеческому обыкновению — не очень ценить то, чем издавна богат, наш собеседник совсем не склонен был разделять наш восторг, удивление перед человеческой незлобивостью, независтливостью, терпеливостью его соотечественников. Со всем этим молодой индус готов хоть сегодня расстаться. Это, дескать, «тормозит». Ну, расстанутся, а что взамен? Хлеба, риса, бананов на всех прибавится? Убийств — это точно, прибавится. В сотни и сотни раз увеличится та калькуттская цифра «49». И кто может поручиться, что не хлынет в образовавшийся внезапно духовный вакуум, который за год-три не заполнишь чем-то другим, равноценно гуманистическим, что не вломится в душу народа стихия жестокости, злобы, разрушения всего и вся?! Ведь написал, почти пророчески, еще в 1923 году, мудрый китаец, автор «Записок о кошачьем городе» Лао Шэ: «Ты видел, как режут преподавателей? Удивляться нечему — это результат воспитания... Прогресс человечества идет очень медленно, а регресс — мгновенно: стоит утратить гуманность — и ты снова дикарь».

От такого внезапного «прогресса», случись он в великой стране Индии, насколько суше, континентальнее и опаснее для всех сделался бы весь нравственный климат на планете людей.

Вот как видится издали то — в каждом народе, в каждой культуре — что особенно ценно, нужно всем, для всех: издали иногда ценится больше как раз то,

что сами люди той страны рассматривают как путы на своих ногах, тормоз развития.

Но уже появилась и эта точка отсчета — глобальная, с высоты (или дали) всечеловеческих интересов.

Если с этой высоты и дали смотреть не на леса, а на литературу Латинской Америки, и здесь кое-что особенно близким покажется. И важным особенно, нужным всем.

Латиноамериканский континент — своеобразный ноев ковчег, где вынужденно, в результате долгого, насильственно совместного «плавания», сживались и скрещивались самые далекие, казалось, культуры, языки, расы и т. п. Насилие, жестокость, корысть были здесь «господом богом», стирающим лики целых народов и рисующим новые и по-иному. Такая история у «страны будущего», как называл Латинскую Америку Гегель.

Литература помнит это, вспоминает с болью, с гневом. Тем более что все еще не закончился, все еще продолжается, опираясь на поддержку северного соседа, все тот же разгул, пиршество жесточайших и бесплоднейших диктатур. Но зато и опыт какой — для всех, ради всех на земле! А потому и литература какая!

Только у Макиавелли был под руками столь обильный и разнообразный, разноликий материал — калейдоскопическая вакханалия борьбы за власть в карликовых государствах средневековой Италии. Генетики плодovitую мушку дрозофилу имеют для пристального и постоянного изучения, а циничный флорентиец имел перед глазами непрерывно заменяющие друг друга разновидности одной и той же породы государей, князей.

Такой же материал, столь же внешне изменчивый и одновременно постоянный по сути, подарила история латиноамериканским писателям: бесконечную галерею тиранов, «патриархов», непрестанный культ диктатур, насилия, жестокости. Аргентинский душегуб, тиран из скотоводов Росас, мексиканский «хозяин» Парфирио Диас, венесуэльский тупица с пистолетом Висенте Гомес, кровожадные антильские деспоты, ставленники американцев — Мачадо и Батиста на Кубе, «генералиссимус» Трухильо в Санто-Доминго, «пожизненный» отец-кровопийца Дювалье, которого на Гаити сменил

дегенерат-сын, тоже Дювалье и тоже «отец народа». И пр. и пр. — нет на них свода! Революции время от времени выжигают их, как клопов. Но проходит время, и они снова ползут, кровососы.

Их выжигали, выжигают революции. А начиная с 20-х годов нашего века — и литература тоже. При том средство, действие это не столь уж слабое, как можно предположить: смежа бояться даже те, кто уже ничего не боится! Чилийский Пиночет от слов колумбийца Гарсиа Маркеса, пожалуй, вздрагивает чаще и сильнее, чем от резолюций ООН.

«Осень патриарха» колумбийца Габриеля Гарсиа Маркеса, «Тиран Бандерас» испанца Р.-М. дель Валье Инклана, «Сеньор Президент» гватемальца Анхеля Астуриаса, «Великий Бурундун Бурунда умер» колумбийца Хорхе Саламеа, «Я, Верховный» парагвайца Аугусто Роа Бастоса, «Превратности метода» кубинца Алехо Карпентьера — еще один ряд, список, тоже рожденный латиноамериканской действительностью. И жизнь копила, опыт копил — тиранический. И литература латиноамериканская копил — опыт анти-тиранический, антидиктаторский. Который нужен не одной Латинской Америке. И может быть, даже не ей в первую очередь. Латиноамериканские Дювалье пока еще не завладели термоядерными средствами утверждения своей власти...

Столь же важен для всех, необходим опыт обращения с мифами, которым располагают латиноамериканские писатели. Они умеют вырвать миф из рук реакции, фашизма, диктаторов. Разоблачая современное мифотворчество, служащее порабощению сознания масс. Как это делают Гарсиа Маркес и Карлос Фуэнтэс. Или же, наоборот, используя народно-мифологическое мышление в борьбе с реакционной действительностью, с фашистско-тиранической властью своих и северо-американских поработителей. (Ангель Астуриас, Алехо Карпентьер и др.)

Европа, прошедшая через фашизм, вступившая в эпоху НТР, обнаружила, столкнулась с одной вещью, которую не может не учитывать литература.

Что такое современная НТР? Полоса в истории человечества, когда все идеи, которые когда-либо будоражили человеческое воображение, получили, обрели техническую возможность воплотиться. Почти все, о чем

фантазировали Леонардо да Винчи, Жюль Верн, Циолковский и т. д.. Все захватывает в свое русло, засасывает и овеществляет стремительный поток, конвейер современного технического прогресса.

Это относительно идей физического, математического, биологического, химического и тому подобного профиля.

Ну а гуманитарные? С ними что происходит в наш век научно-технической революции и все еще грозящих миру фашистских тираний?

Их тоже засасывает тот же поток, захватывает тот же конвейер — как никогда прежде. И тут уж думай, прикидывай — не только физик или биолог, но и писатель, публицист, философ: как и для чего (или против чего) используют твои слова, блестящие парадоксы, удивительные формулы.

«Вперед через могилы!» — написал старик Гете, опечаленный тем, что одногодков, сподвижников забирает, уносит неумолимое время, смерть. И не думал, не гадал, что слова эти подхватят другие немцы, рвущиеся к власти над миром, устремившиеся «вперед через могилы» (целых народов и «расовых единиц»).

Ну, а «дело прочно, когда под ним струится кровь» — как это звучит сегодня, после рек и морей пролитой во имя всяких-яких «дел» и целей?!

Или: «если враг не сдается, его уничтожают» и т. д. и т. п.

Я специально не привожу здесь «блестящие» парадоксы Ницше — после 30—40-х годов они блестят металлически, как ножи, как финки эсэсовцев, которыми те вспарывали животы «неарийцам». Этот «лирик» наразбрасывал особенно много колюще-режущих предметов, хотя считал, что всего лишь вспарывает брюхо «устаревшим» понятиям доброты, сострадания и тому подобного.

Мы нарочно говорим о не причастных к бесчеловечной философии ни чувством, ни умом. Но и здесь видим, как опасно в наше время заострились против человека слова, фразы, афоризмы, когда-то звучавшие во имя, а не против человека. И как опасно они заостряются, когда некто вещает самоуверенно: «добро должно быть с кулаками» и т. п.

Нет, не одним физикам, но и лирикам всегда следует хорошенько подумать перед тем, как они решаются

отпустить, послать в наш опасный мир свои идеи, открытия, формулы. Ибо еще не известно, по чьим формулам — физиков или лириков — взорвана будет планета Земля!

Литература латиноамериканцев тем и сильна, тем и дорога, нужна людям во всем мире, что она поднялась из бездны, из ада диктаторской лжи, тиранических мифов и несет в себе великолепный иммунитет против любых слов, мифов, формул, самых совратительных, но которые используют и могут использовать в своих целях все эти «патриархи», «благодетели», «спасители», благословляющие человечество рукой, в которой сегодня — атомная бомба, атомная смерть.

ЭХО МАРША МИРА — 82 ¹

Их было всего лишь триста. Если не считать те сотни фамилий и адресов, которые записаны были на разноцветных лентах, являвшихся как бы частью их одежды и без того для северян неожиданно экзотической. На лентах расписались те — друзья, знакомые, соседи, — кто не смог пойти, но тоже внес средства на Марш.

Ленты эти, розовые хитоны с нарисованными зелеными ветками мира и голубями, самодельные транспаранты и плакаты, сухой звук плоских барабанов японцев-монахов, присоединившихся к походу европейцев, нехитрая песня, сочиненная участниками Марша, негромкое и вразнобой скандирование: «Мир и разоружение!», «Нет ядерному оружию в Европе, на Западе и на Востоке!», слова на листе бумаги по-русски «Идите с нами!» в руках светлородого шведа — и это против 15 тонн взрывчатки, уже приготовленной на каждого участника Марша, запрятанной у человечества под ногами, нависающей над головой? Против всех бомб, ракет, термоядерного, химического и прочего оружия? И против нарастающего в условиях новой гонки вооружений недоверия, страха, предрассудков вековых, эгоизма людского?

Серьезно ли это — то, что происходило в середине лета 1982 года в Минске? А несколькими днями раньше — в Смоленске, Москве, Калининe, Ленинграде, Хельсинки, Стокгольме. А несколькими днями позже — в Братиславе, Будапеште, Вене!

¹ Впервые опубликована в «Литературной газете» 11 августа 1982 года под названием: «Колокола Хатыни. Марш мира — 82».

Их пугали: вас даже не впустят к себе! А когда стало ясно, что «Марш мира — 82» все-таки пройдет по советской земле, вслед понеслось: вас используют ради своей хитроумной политики!

А вот эти запугивания, шантаж участников Марша — это что, это не политика? Только какая, во имя чего политика — в этом весь вопрос.

Они сошли с поезда, ступили на землю Белоруссии, вынесли на привокзальную площадь свои плакаты, транспаранты. Сначала шли по улицам города, недавно лишь заново отстроенного, поднятого из руин, через которые столько раз проходили на восток, ворвавшись с запада, посланцы войны, разбоя, ненависти.

Сегодня Западная Европа, пробудившаяся с чувством смертельной опасности, исходящей от заокеанских планов «отвоеваться» за счет Европы, направила на Восток колонну мира, посланцев мира. Чтобы самим убедиться, что нет, не отсюда исходит угроза? Или других там, на Западе, убедить в том, в чем сами участники Марша (и многие об этом не раз говорили, выходя) убеждены?

Но некоторые и нас уговаривали, убеждали в том, о чем кричит наша боль и память еще с минувшей войны — неумолкаемо, неотступно, как колокола Хатыни.

Их было триста. Всего лишь триста, одетых по-походному, для похода. Но сколько раз можно было бы обмотать планету, нарядить ее в ленты — «па-вясельнаму», как говорят белорусы, по-свадебному, — когда бы все, кто хочет мира и кто против атомного безумия, все бы написали свои имена, названия городов, селений, стран!

Марш, вступив на землю Белоруссии, не мог не пройти по обожженным черным плитам Хатыни. Как не мог в Ленинграде не почтить зеленые холмы-могилы Пискаревского кладбища.

Хатынь — единственное на планете кладбище деревень. Шестьсот девятнадцать Лидице, шестьсот девятнадцать Орадуров! Прах и пепел сгоревших вместе с жителями деревень.

А разве не ради того все Марши людей доброй воли — в Западной Европе, в Америке — чтобы сама планета не превратилась в такое вот кладбище городов, стран, народов?!

Среди выступавших на митинге в Хатыни была женщина из ближайшей деревни с такой белорусской фамилией — Савостей, а с ней одиннадцать ее детей. Она заговорила — и из глубины снова вырвался крик памяти хатынской. Когда в 70-е годы мы для документальной книги «Я из огненной деревни..» записывали случайно спасшихся свидетелей хатынских трагедий, одна из таких вот женщин, с болью вспоминая о родных, близких своих, вдруг вскрикнула, как от еще острейшей боли: «Ой, а у Марфы-соседки, так с ней сгорело двенадцать душ ее детей! Представляете — двенадцать!..»

Представить такое безмерно страшно. Сколько раз умирает мать, перед глазами которой, с которой в том же огне — ее дети?!

И когда, возвращаясь в Минск, участники Марша подписывали заявление, обращение к Организации Объединенных Наций, правительствам, народам мира, незримо возникала подпись и той женщины, которая и без атомной бомбы познала весь ужас атомного пламени. Подпись Хатыни стоит под требованием, воззванием сделать все, отбросить все, что людей разъединяет, — во имя общего спасения!

И все-таки вернемся к вопросу: против всего, что работает на войну, наработано для войны, вот эти Марши домохозяек, студентов, детей, пенсионеров в хитонах не то первых христиан, не то буддистов? Песнопение и лозунги на бумаге, которая горит и от спички?

Серьезно все это? Серьезно, если эти «новые варяги», появившись на земле Франции, ФРГ, сняли с места и повели за собой 800 тысяч других европейцев! И если руководитель сверхдержавы, у которого дня не проходит без отказа от еще одного достижения времени разрядки, если и он сегодня вынужден льстить участникам движения маршей, заигрывать, объявляя, что сам готов был бы пойти «в первых рядах», но только после того, как все «программы» будут выполнены, все маховики «холодной войны» раскручены до предела. Вот тогда его «команда» могла бы даже возглавить любые марши...

Сохрани господь! Сила движения за мир, Маршей — 81 и 82 — в чистоте и бескорыстии помыслов и целей их участников. В простоте и демократизме средств. В их вере в здравый смысл себе подобных и в самые

простые ценности: жить на земле, дышать и любить, трудиться и радоваться другим людям, растить детей.

Я смотрел на участников Марша — зарубежных и наших — и как-то по-новому понимал не новую истину: да, простота цели, понятность и близость устремлений — сохранить общее достояние всех людей — мир, жизнь — в этом сила движения. И до чего же странные существа мы, люди! То погружены в рутину жизни, кажется, что ничем не выманить — для самого главного и общего дела. Но всегда до определенного лишь предела. Пока не встанет вопрос о самой жизни. И тогда эти самые люди покажут, что они достойны быть жителями такой прекрасной, такой голубой планеты.

Но именно о жизни и смерти вопрос встал, стоит сегодня. И людям ничего не остается, как выпрямиться до конца и сбросить весь груз и хлам вязких мелочей и предрассудков, мешающих им объединиться ради самого главного. Ничего не остается, как подняться, встать во весь рост человеческий, чтобы самим увидеть себя такими и до конца поверить: термоядерная катастрофа может быть предотвращена!

ВЫБРАТЬ СЕБЯ: ТАКОГО ИЛИ ТАКОГО

— Читали новые рассказы Распутина?
Не читали?!

С завистью спрашиваем, не читал человек, значит, ему предстоит огромное наслаждение, еще одно открытие удивительного даже для русской литературы таланта. Владимир Енишерлов в «Огоньке» от 20 мая уже высказал радость читательской встречи с новыми рассказами В. Распутина, и он же справедливо отметил, что многое, что здесь выступило крупным планом, уже заявлено было в прежних вещах Распутина. Вся мощь, плоть произведений, которые сразу вспоминаешь, читая, видя имя этого писателя, подпирают снизу и его новые вещи — но именно вся «плоть», а не только мелькавшие и в прежних произведениях «сны» и «предчувствия».

Да, они, эти рассказы, существуют собственной силой и глубиной. И все же (у меня, во всяком случае) особенное доверие к такой прозе еще и оттого, что впереди, ранее Наташи и всего, что происходит с рассказчиком и вокруг него в новых вещах Распутина, уже прошли перед взором нашим Дарья и Настёнка, а зверек-Хозяин с затопляемого Енисейского острова, так он, кажется, и не убежал никуда, невидимый и всевидящий, мягко трется о все углы, о наши ноги...

Новые рассказы В. Распутина читательски мысленно сопоставляешь не только с его собственными вещами. Конечно, это кто как увидит, услышит. Про себя же могу сказать, что ничто другое со времени первого прочтения ранних повестей Льва Толстого (а несколько позже — «Исповеди» Руссо) не будило такого детски,

наивно энтузиастического, испуганно счастливого согласия с тем, что вычитываешь в «книжке»: господи, ну как он угадал? это же чудо какое-то! и как осмелился так просто об этом рассказать?!

Внутренне ахаем: да, и мы тоже, и в нас это!..

Не знаю, задумывались ли эти рассказы как «цикл», ведь каждый существует в созвучном соседстве, но воспринимается публикация в «Нашем современнике» именно так. Внутренне противоборствующие, но и зовущие, окликающие одна другую темы — как в сложном музыкальном произведении.

Среди рассказов, возносящих нас к самым высям, которые в человеке можно лишь угадывать, есть один («Не могу-у»), нет, два (и «Век живи — век люби»), сбрасывающие в темную нишу, яму, которая тоже может обнаружиться в самом человеке. Вдруг обнаружится, приоткроется. В яму, над которой люди умеют, приноровились жить безмятежно, ходить, разгуливать, почти не замечая — как в перерытом ради каких-то, вроде бы строительных, дел, дворе.

«Не могу-у!» — уже вроде бы не сам человек кричит, нет, воет, спившийся, «конченный», а все, что ему предшествовало («ради тебя такого — мы все, сколько нас было, прошли по земле?!»), и все, чему еще быть или не быть потом, завтра («Врешь! Ты спился, я сопьюсь, а им нельзя! — он вытянул руку в сторону ребяташек, которые, ничему не удивляясь и ничего не пугаясь, стояли тут же. — Им надо нашу линию выправлять... Кто-то должен или не должен после тебя, после всех нас грязь вычистить...»).

Да, сюда, в выгнившую нишу, в яму, заглядываем мы вместе с Распутиным. Заглядываем и вместе с ним мучимся несогласием с тем, что человек может «кончиться». Потому что и этот рассказ и весь «цикл» новых рассказов Распутина прежде всего о том, что над нами, людьми. В нас, но как бы *над* нами.

Человеку дано выбирать самого себя. Такого или такого.

Какой же он человек по Распутину, по его новым вещам? А точнее — каковы возможности, пределы человеческие?

Век живи — век люби... Оно как подсказка — заглавие рассказа. Тут и радостное утверждение известного человеческого устремления, горечь от сознания,

открытия (мальчишка Саня — герой не первый тут и не последний), что лучше на капкан наступить в тайге, чем оказаться рядом с дурным человеком (и разве в тайге только?).

У мальчишки удивительный день «первого выхода» не только в тайгу за ягодами, но как бы в самую жизнь. Все так удачно сложилось: родители оставили его одного у сибирской бабушки, а бабушка уехала к больной дочери, и вот Саня — один в избе, впервые по-настоящему один на один с миром. «Люди только на чужой взгляд остаются в общем ряду — каждый из них в отдельности, на свой взгляд, выходят вперед, иначе жизнь не имеет смысла».

Саня выступил, вышел из общего ряда — впервые, — и жизнь его обрела особый, небывалый смысл, наполненность. «В такой день где-то — на земле или в небе — происходит что-то особенное, с него начинается какой-то другой отсчет».

Рядом с Саней двое: Митяй — вроде бы потерявший себя в обычной жизни, но сразу и легко возвращающий свое и к себе уважение, когда он один на один с тайгой, с привычным, излюбленным делом. И некто «дядя Володя» — лица почти не имеющий, зловеще непроявленная, расплывчатая личность. Его, такого, заметишь, обнаружишь рядом — через внезапную боль, удивление перед «неспровоцированным» злом (сегодня это так называют, хотя само явление — из далей дальних, из забытых глубин).

А что, собственно, произошло-то? Ну, не знал Саня, что оцинкованное ведро не годится под ягоду, под голубицу, которая за ночь «пустит сок» и можно отравиться. Ну, не обратил Митяй внимания, какая у Сани посуда, а «дядя Володя» тот очень даже обратил, заметил, знал это, но дожидался момента, когда ведро будет полно ягод, а душа мальчишки будет наполняться счастьем и восторгом. Чтобы тут его и огорошить: «Нельзя ее варить. И есть ее нельзя... Кто, какой дурак...» И так далее.

Ну, случилось, ну, решил «проучить» другого человека, как сам «дядя Володя» объясняет («Больше не забудешь. Учить вас надо»), но отчего в такую ярость пришел Митяй: «Я смотрел и не видал. А ты, гад, ждал: такое гадство в тайгу нести... Мало тебе поселка?!» И главное: отчего и нам по прочтении рас-

сказа действительно кажется, что случилось что-то жутковатое, даже катастрофическое — не с одним Саней?..

Все дело в том, что и Саня — в тайге, в этом своем первом выходе в самостоятельную жизнь — и мы, читая рассказ Распутина, приобщаемся к чему-то солнечно высокому, нисходящему на человека словно с небес, а на самом деле — с высей, которые в самом же человеке и существуют, и после вот этого — будто в горах ногу неверно поставил, разбежавшись. От чувства легкости и восторга, на сыпучую почву ступил, и тебя вдруг рвануло, потащило вниз...

И Саню вот так рвануло, потащило: «Сане снились в эту ночь голоса... И все они шли из него, были частью его растревоженной плоти и мысли, все они повторяли то, что в растерянности, тревоге или в гневе мог бы сказать он. Он узнавал и то, что мог бы сказать через много-много лет. И только один голос произнес такие, такие грязные грубые слова и таким привычно уверенным тоном, чего в нем не было и никогда не могло быть.

Он проснулся в ужасе. Что это? кто это? откуда в нем это взялось?»

Такая осыпь под ногами тем опасней, чем выше забрался человек. А в рассказах В. Распутина главное как раз ощущение этого — высоты, той, которую как раз и называют «горней». И человек в них существо, себя самого удивляющее — глубинами, просторами, которые в нем сокрыты. И вдруг распаивается. Существо светоносное. Назовем это так. Синонимов сему было бессчетное количество за историю человечества и литературы. Людям снова и снова становилась необходимее всего на свете вера в самих себя, а, значит, и поэтизация человека и его возможностей.

Вот и новые рассказы Распутина — они истово верующие в человека. (Хочется именно так их определить.) Но если это поэтизация, то особенная: писатель видит человека всего — и «горнего», и самого что ни есть «низинного».

Вот и в рассказе «Что передать вороне?» — над реальностью повседневного человеческого существования как бы вдруг приподнимается полог...

На этот раз — через общение с ребенком, через игру-сказку о вороне, которая, как добродушно болтливая

соседка, все видит, подмечает и передает отцу о каждодневных «прегрешениях» и тайнах девчурки. «Я выдумывал, знаю, что выдумываю, дочь верила, не обращая внимания на то, что я выдумываю. Но в этой, казалось бы, игре существовали редкие меж нами согласие и понимание, не найденное благодаря правилам игры здесь, а словно бы доставленное откуда-то оттуда, где только они и есть. Доставленные, быть может, той же вороной».

Внешнее событие и в этом рассказе вполне реальное: занятый делами взрослый отец не расслышал как следует зова своего заболевшего ребенка: остаться дома с ним хотя бы до утра, — оторвал себя от игры и согласья и увез. Конечно, дела ради, но предчувствие мучит его, не дает покоя, мешает дело делать, ради которого уехал.

Тоненькая вначале ниточка предчувствия расплаты за свою вину перед ребенком выводит рассказчика к нехоженным тропинкам в самом себе — таинственно запутанным. Он бродит, мечется по округе, как бы повторяя внутренние метания. Вырвавшись из тяжелого плена сна («кажется, для того, чтобы проснуться, может уйти вся жизнь»), промаявшись целый час без толку над листом бумаги, ушел к реке, уселся на камень и стал смотреть: «Медленно и беззвучно продолжало кружиться небо, снижаясь все больше и больше... Но теперь и вода в Байкале, подчиняясь небу, начала движение медленными и правильными, не выплескиваясь на берег, кругами — будто кто, как в чаше, размешал ее и оставил затихать».

Освобождение от себя прежнего и наполнение собой — новым, другим, высшим, а точнее, высвобождение этого высшего совершается с неотвратимостью наступления утра, или ночи, или дня. Это такая же реальность, как и Ангара, и Байкал, и небо над нами. «И все тише и тише становилось во мне, все покойней и покойней. Я не ощущал себя вовсе, всякие внутренние движения сошли из меня. Но я продолжал замечать все, что происходило вокруг, сразу все и далеко вокруг, но только замечать. Я словно бы соединился с единым для всего чувствилищем и остался в нем. Ни неба я не видел, ни воды и ни земли, а в пустынном светящемся мире висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее,

то тише проносились голоса. Лишь по их звучанию и можно было определить, что дорога существует, — с одной стороны они возникали и в другую уносились».

Потом, в рассказе «Наташа» он будет летать — исследует «дорогу» эту, так сказать, руками-ногами, а пока лишь на слух воспринимает, в себя самого вслушиваясь, свои пространства обзревая.

«И странно: они (голоса) словно бы проходили сквозь меня, я словно бы, издали замечая их, приготавливался и замирал, когда они приближались. И странно, что, приближаясь, они звучали совсем по-другому, чем удаляясь, до меня в них слышалось согласие и счастливая до самозабвения вера, а после меня — почти ропот».

Предчувствием и тревогой окрашено все в рассказе, поэтическая таинственность разлита в нем, как свет. Но мир реален и человек в нем и его тревоги — тоже реальность.

Предчувствие подтвердило свою и всего происходящего правду реальным фактом, властно вторгшимся: «Мне долго не удавалось соединиться, телефон подключался и тут же обрывался, а когда наконец дозвонился, из дома мне сказали, что дочь еще вчера слегла и лежит с высокой температурой».

Как сказано напрямую в «Наташе»: «...Все разгадать нельзя да и не надо: разгаданное скоро становится ненужным и умирает, погубив таким образом немало замечательного в своем мире и нисколько этим не обогатившись: мы снова с детской непосредственностью и необремененностью потянулись к предчувствиям и ко всему тому, что к нему близко».

В рассказе «Наташа» светоносность человеческого существа (или сущности человеческой) утверждается даже сюжетно, ситуационно. Ситуация более чем реальная: больница, медсестра Наташа, которую рассказчик откуда-то знает, помнит, вот только не может сразу сообразить, в связи с чем помнит... «Уходя, Наташа не выдержала и в дверях, пропустив вперед врача, оглянулась с робкой обнадеживающей улыбкой, словно подтверждая, что да, я не ошибся, это она и есть».

Человек, которому ложиться на операцию, под нож, мучится, пытается отыскать какой-то ускользнувший кончик в памяти, пробиться к какому-нибудь факту,

связанному с простым и милым обликом медсестры: «Я делал уже порывистое движение к Наташе и замечал, что и она с готовностью поднимала навстречу мне лицо; все во мне замирало перед озарением...»

Но озарение все не наступало. Уже на каталке, когда везли на операцию, укрытый простыней, увидел перед собой только ее большие, казавшиеся огромными, глаза: «Она избегала смотреть на меня и все-таки с испугом взглядывала и крупно, словно крестясь, принималась моргать».

А потом надо было проснуться, и это было труднее всего. «В темном тумане начали появляться обрывочные и бессвязные видения, настолько бессвязные и далекие один от одного, точно они слетались ко мне от разных людей, а может быть, и не только от людей».

И наконец: «— Наташа, я вспомнил, вспомнил... мы летали».

Она с волнением закивала мне, прикоснулась легкой и мягкой рукой к моему горячему лбу и отошла так быстро, что мне показалось, что она убежала».

И снова просторы Ангары, Байкала, их дальняя вознесенность к небу — как в рассказе «Что передать вороне?».

«— Готов? — спрашивает девушка.

— Не знаю. Я не сумею.

— Как же не сумеешь, если ты уже умеешь, — говорит она озабоченно. — Если бы не умел, я бы не велела прийти тебе сюда».

Может, оказывается, умеет!

«Ноги мои вытягиваются, руки выдвигаются вперед, солнечный свет сильным порывом подхватывает меня и возносит высоко вверх. Рядом с собой я обнаруживаю девушку, она улыбкой пытается успокоить мое волнение. Восторг распирает меня, вот-вот, кажется, оборвется от него сердце, и я двигаюсь неровно, подныривающими толчками, мне уже мало того, что я лечу, и хочется чего-то большего, окончательного, хочется повернуть к солнцу, от которого я ощущаю сладостную тягу, рвануться к нему и никогда не останавливаться. Я вижу и слышу все и чувствую себя способным постичь главную, все объединяющую и все разрешающую тайну, в которой от начала и до конца сошлась жизнь... Вот-вот она осенит меня, и в познании горького ее груза я ступлю на ближнюю тропинку...»

И вдруг, оборачиваясь ко мне, девушка говорит:
— Пора.

И показывает на берег.

— Нет, нет, — волнуюсь я. — Еще. Я не хочу».

И снова — как в «Вороне» — резко бытовым факт. Но который не разрушает все, а как бы подтверждает: «Через два дня из послеоперационной меня перевели обратно в палату... Я ждал и день, и два, и три — Наташа не появилась... Когда, наконец решившись, я спросил о ней, мне ответили, что Наташа уволилась и уехала из этого города». Оказалось (чего-то все равно не понимая, прикидывает рассказчик), что работала она в больнице недолго: словно и поступила для того только, чтобы встретиться снова (уже не во сне), чтобы помочь и вернуться куда-то туда...

Так что же это? Девушка из сна или реальная медсестра Наташа, но которая помнит *чужие* сны?

Ну что же. В литературе что только невозможно! И все вроде бы было, уже случилось.

Новое, действительно новое здесь — подчеркнуто реальное чувство происходящего, реальность страстно утверждаемой художником нашей человеческой неисчерпаемости. Привычное, ставшее расхожим, утверждение «человек — это целая вселенная» у Распутина как бы исследуется. Через полет по просторам этой самой бескрайней человеческой вселенной. Как-никак век космических путешествий, исследований! Но главное здесь — не любознательность, а тревога за человека, человечество.

Как говорит сам писатель в интервью, которое напечатала «Комсомольская правда», от 8 августа с. г.: «— В чем истина-то? Наверное, в том, что не может для человека и человечества оказаться злой насмешкой жизнь, если есть в ней Матера — душа людская. Если есть в ней так много всего — добра, света, счастья...»

Как-то прочел Валентин Григорьевич повествование о людях, которые согласно (чтобы только самим жить!) приняли работу и судьбу палаческую, и он даже взмолился в письме к автору: «Ну хотя бы глоток воздуха!..»

Его новые рассказы — этот самый «воздух», пронизанный солнцем, светом, спор с житейской реальностью XX века. Что, утешительство? Чего тоже всегда в досталь предлагала литература в особенно сложные времена.

Отнюдь нет. И даже совсем наоборот. Высветив человека изнутри, показывая, сколько в нем «добра, света, счастья», писатель подводит его к безжалостному вопросу, адресуемому самому себе: если мы такие, тогда почему мы можем и как мы ухитряемся быть столь непривлекательными и, главное, опасными — для самих себя и себе подобных? Отчего столько зла и вражды накопилось, набралось на планете — в тех самых существах, в которых вся красота и весь простор неба и земли способны так отозваться, вместиться?! В тяжелую чугунную «грушу» собралось, уплотнилось, вот-вот ахнет по голубому шару!

«Если дальше ничего не будет, то зачем это было?» — несогласно спрашивает рассказчик («Наташа»), зачем то все это в человеке есть, было дано ему — столько добра, света?!

В том же интервью писатель сказал (и это в рассказе вычитывается): «Истина, по-моему, в том, что человек вечен на земле. А человечество — не случайно...»

ДА, НИЧЕГО ВАЖНЕЕ...

Высвобождение силы атома изменило все, кроме нашего мышления... Если человечество хочет выжить, то ему необходима совершенно новая система мышления.

Альберт Эйнштейн

Раз уж возникла ситуация, что человек, люди обладают мощностью самих себя уничтожить, обрвать жизнь на планете, нет и быть не может более высокого нравственного чувства, чем чувство-запрет, отвергающее все, что может привести к необратимому результату.

Все доктрины и все цели, любые стремления и средства, интересы и устремления как отдельных людей, так и целых классов, сообществ, наций, союзов и т. д. и т. п. — все оценивается, и должно, и будет оцениваться по высшему счету: к бездне толкают или от бездны уводят они человечество? И это так, даже если кто-то объявляет и будет и дальше убеждать себя и других, что есть «вещи поважнее»...

Раз существует как реальное и неотменимое ничем требование, диктуемое высшими интересами людскими: «Не убий человечество!», тогда все другие нравственные постулаты, требования самые древние, «исходные», тоже должны как-то с этим соотноситься.

«Не убий человека, дабы не стал твой выстрел стартовым — ко всеобщей бойне!»¹ Или же: «Не делай другому человеку, народу, чего не хотел бы, чтобы делали тебе, твоему народу, потому что, выбирая смерть и горе для другого, выбираешь это и для себя, для своего народа!»...

¹ Об этом я уже высказывался в журналах «Литературное обозрение» (1981, № 6) и «Новый мир» (1981, № 10) в статьях «Слово против силы» и «Достоевский после Достоевского».

* * *

Последние романы Виталия Семина «Нагрудный знак *«OST»* и особенно «Плотина» наводят на размышления, понуждают задумываться: откуда, из чего возникают в отдельном человеке мотивы поступков, поведения, явно опережающие свое время, какие ветры приносят и разбрасывают семена этики, которую так и хочется назвать «будущей»?

Что это еще за новость «будущая этика»?.. Ну хотя бы то, что обозначил в свое время как «область предвидений и предчувствий» Салтыков-Щедрин, говоря о способности литературы (в частности Достоевского) жить интересами самыми общими для человечества, глобальными¹.

Новое заключено не только в романах Виталия Семина, но и в нас самих — людях 70-х и 80-х годов. То, что еще вчера, позавчера вызвало бы по меньшей мере беспокойство по поводу «абстрактности» писательского гуманизма, сегодня нами воспринимается как нормальный разговор о самом насущном. Какие уж тут абстракции, коль все в мире сошлось на совершенно практической реальности, дилемме: быть на земле человеку или не быть? Он ли уничтожит войну или она его?

Из кризисной ситуации атомного века вырвется, чтобы жить дальше, в тысячелетиях, человек гуманный. Homo sapiens — человек разумный — мыслим в будущем, видится в будущем лишь как человек до конца гуманный. Иному в будущее путь просто перекрыт, иной просто не выкарабкается из всех нарастающих социальных, классовых, национальных, демографических и т. п. противоречий.

Поразительные существа эти люди! Такие до невозможности инертные, погруженные в свои лишь интересы, заботы, так что кое у кого снова и снова появляет-

¹ Вот они, известные слова Салтыкова-Щедрина о Достоевском, который «не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленных исканий человечества... Это, так сказать, конечная цель, в виду которой даже самые радикальные разрешения всех остальных вопросов, интересующих общество, кажутся лишь промежуточными станциями» (Салтыков-Щедрин М. Е. Полн. собр. соч. — М.: Гослитиздат, 1970, т. 9, с. 412—413).

ся соблазн, уверенность, что можно с ними делать все, что вздумается, — даже к мысли о неммыслимом приучить, к мысли о возможности и даже «полезности» ракетно-ядерной войны! Но вдруг эти же люди и покажут себя. И это «вдруг», к счастью, обнаруживается именно тогда, когда вопрос — действительно о жизни и смерти, о главном, когда медлить уже нельзя, невозможно.

Сколько раз за свою историю народы, люди превозмогли, казалось бы, непреодолимые сложности, трудности, препятствия, чтобы идти дальше. Чтобы жить дальше.

Высшим этому примером может служить выстраданное, преодоленное и совершенное нашим народом в годы тяжелейшей из войн — Великой Отечественной. А сегодня — взрыв народного негодования во всем мире — прямо под теми, кто начал форсировать подготовку к термоядерной войне.

Наша вера в людей, надежда прямо восходит к высшим целям коммунистического движения, сформулированным В. И. Лениным в самом начале двадцатого века:

«Окончание войны, мир между народами, прекращение грабежей и насилия — именно наш идеал»¹. Да, именно наш.

* * *

Многое угадал Виталий Семин — в унисон с тем лучшим, что прозвучало в нашей литературе последних десятилетий — многое открывает в нас и для нас. Долгие годы вынашивал, копил в обожженной памяти, нес в себе узнанное, познанное, долго и безжалостно обдумывал, анализировал человека, как ему открылся он в других и в себе самом, и хотя собственная жизнь оборвалась, романы его заговорили, говорят: из прошлого времени языком сегодняшней (а может быть, и завтрашней) этики, нравственности.

Внимательно вчитаемся в те страницы «Плотины»², на которых герой романа Сергей Рязанов столь позор-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 26, с. 304.

² Все цитаты из романа «Плотина» — по журналу «Дружба народов» (1981, № 5).

но (и столь удивительно) ведет себя, пытаюсь воздать «око за око и зуб за зуб» — недавним своим палачам. А палачи для него — по горькому опыту трех каторжных лет — все немцы, которые встречались на пути. Все — и кто с оружием, и кто без оружия, — все были винтиками одной машины, жестокой, безжалостной.

Трижды Сергею предоставлялась возможность, случай выпадал убить — с полным сознанием своей абсолютной правоты. И трижды (как Петр от Христа) отрекся он от себя прежнего, ненавидящего само слово «немец» до судорог душевных.

Вот один из таких случаев.

«— Доктор Леер? — спросил он меня и наклонился к немцу: — Доктор Леер? Фрау Леер?»

Немка и немец молчали, и я подумал, что их парализуют не только наши пистолеты, но и гробовая теснота каморки, и эта лампочка на длинном шнуре.

— Отвечай! — схватил Ванюша немца за грудь своей перевязанной рукой, тут же сморщился, но не отпустил. Я понимал, что перевязанной рукой Ванюша пугает немца. И гримасой боли тоже. Перевязанная рука чем-то страшнее здоровой. Ванюша тоже не знал, что дальше делать с немцем.

То есть мы, конечно, знали. Однако не было уверенности, что перед нами доктор Леер. То ли мы когда-то видели его портрет, то ли, собираясь сюда, каждый представлял его по-своему, но этот огромный старик не был похож на человека, которого мы ожидали увидеть... Гитлеровский министр или нет, но, должно быть, он был очень большим злодеем. И, скорее всего, чиновным. Ведь американцы защитили даже нашего лагерного коменданта.

Чутье говорило нам, что мы напали на что-то очень важное. Уж больно этот немец не помещался в подвальной каморке.

— Имя! — требовал Ванюша. — Документ!

...Напряженное внимание в глазах немки и немца вдруг показалось мне лукавым. Будто своим профессиональным чутьем они в какой-то момент оценили нас с Ванюшей и уловили, что мы не решимся на то, чем угрожаем. Ощущение было обжигающим. Мешая мне, Ванюша наклонился к стулу, который стоял рядом с кроватью. А когда отклонился, в глазах немки и немца опять был тот же неживой электрический блеск.

На сиденье стула лежали сигареты и зажигалка. На спинке висел пиджак. Сигареты и зажигалку Ванюша отдал мне: «Возьми!» — а сам потянулся за пиджаком.

— Документ!

Однако немец с неожиданной решимостью ухватился за пиджак. Несколько мгновений длилась борьба. Она мне казалась нелепой. Дело не в документе, а в том, на что решимся. Ванюша боролся с немцем, а я стоял с пистолетом и прислушивался к накоплению решимости. Сейчас Ванюша отклонится...

Но тут застучали по лестнице шаги и Яшка Зотов крикнул:

— Патрульная машина! Американцы!»

Все три случая «капитуляции» Сергея Рязанова перед чем-то в самом себе — ему самому непонятном и даже обидном — самое удивительное, к чему десятилетиями шла обожженная мысль автора «Нагрудного знака» и «Плотины». За этим — высокая драма человеческой памяти.

«Есть чувство, — написал Виталий Семин в 1976 году, — которое можно назвать страданием памяти. В разряд забытых или забываемых могут, по-моему, переходить лишь удовлетворительно объясненные события. К тому, что не объяснено, память наша возвращается постоянно»¹.

Виталий Семин и попытался наконец объяснить то, что лет еще 10—15 назад, казалось, требовало не анализа, движения в глубину явления, а обязательного «исправления» героя, а если не согласен на исправление, так и разоблачения.

От Семина время не потребовало этого. А вот от Брыля, который с вещью своей (роман «Птицы и гнезда») выступил на десятилетие раньше, — требовало. Инерция мышления еще очень была сильна и действовала, давила не только извне, но и изнутри.

В записных книжках («миниатюрах») Янки Брыля за 1962 г. (во время поездки по Сибири) читаем:

«В связи с этим мой роман показался чем-то ненужным, в лучшем случае странным, непонятным по своей концепции. Что, любоваться тем, как я вращался в со-

¹ Семин Виталий. Предисловие к книге: «Семьсот шестьдесят третий». — М.: Молодая гвардия, 1976.

ветскую жизнь, в патриотизм, — в то время, как этим жила такая огромная земля, когда героями были женщины и даже дети? Любоваться тем, что описываешь, только потому, что это — твоя жизнь? Шире, глубже, яснее — вот что необходимо, вот что должно родиться в новых творческих и просто так, человеческих муках. *И не доводить до такой банальности, что вот он, мой Алесь Руневич, поплутал малость в «толстовстве» и стал, как все, советским человеком...»*¹ (Курсив мой. — А. А.)

У нас есть возможность, сопоставляя семирские романы и «Птицы и гнезда» Янки Брыля, тем самым как бы спроецировать литературную судьбу «Плотины» на времена более ранние, иные. Через которые прошли «Птицы и гнезда». Чтобы лучше ощутить, в каком направлении мы меняемся — в своем восприятии такой литературы.

А литература эта — русского автора Семина и белоруса Брыля — во многом, очень во многом близка, родственна.

И автобиографический роман Янки Брыля написан был и напечатан не сразу. Почти 20 лет понадобилось, чтобы две повести («Солнце сквозь тучи» и «Живое и гниль»), писавшиеся в 1942—1943 гг. (еще до ухода Янки Брыля в партизанский отряд), отлежавшись в партизанских тайниках, а затем в столе писателя, в начале 60-х годов заново родились в форме романа «Птицы и гнезда» (опубликован в 1964 г.).

И здесь была своя драма сомнений, поисков, идей. «Льва Николаевича какое-то время воспринимал без оговорок, всего — с непотивлением и вегетарианством», — вспоминает Янка Брыль в автобиографии 1962 года «Мысли в пути».

Ведь это Западная Белоруссия, жизнь, «как в мешке», по словам Янки Брыля, — жизнь в глухой белорусской деревне, испытывавшей гнет и социальный и национальный. Мечта о «работе в литературе», о полноценной духовной жизни, разбуженная чтением случайных в той деревне, но тем более ошеломительных книг русских, белорусских, польских классиков. И среди них — сочинения Льва Толстого, защитника, адвока-

¹ Брыль Я. Збор твораў: У 5-ці т.— Мн.: Маст. літ., 1981, т. 5. Лірычныя запісы і мініяцюры, с. 438 (Персвод мой. — А. А.).

та крестьянского, превыше всего ставившего народ крестьянский, его моральные ценности, его творчество, язык.

«Символ веры» молодого Брыля — его запоздалое, как потом и ему самому казалось, своеобразное брылевское «толстовство» прошло через жесточайшие испытания и безжалостную проверку.

Наивное ушло, стерто было жестокими жерновами действительности — война, плен, побег из плена, партизанщина.

Но что-то и осталось, что-то важное, без чего нельзя жить, для Брыля и сегодня главное. Сам он об этом так говорит:

«Я могу ошибаться много в чем, в жизни моей было немало ошибок, но одно я знаю твердо: выше всего и прежде всего — человечность.

Я верю в это всю свою жизнь, и только это осталось бы у меня, если бы пришло самое большое или последнее горе».

В повестях, писавшихся сразу же после побега из Германии (прятался от полицаев, от немцев у матери, у родных и писал, писал то, о том, что ему открылось в далеком и в близком — в немецком лагерном «вавилоне» и в собственной душе), в первых своих повестях 1942—1943 годов Брыль не отрекается от того, что «превыше всего» — от человечности. А в чем еще, если не в этом, была, оставалась надежда, что когда-нибудь люди заживут по-другому! Из повестей и в роман «Птицы и гнезда» перешло многое. Не все, но многое перешло, сохранилось.

Немецкая женщина говорит беглецам, пробирающимся на восток:

«— Весь мир — один дом. И зачем она только, скажите, война? Моего сыночка тоже забрали... Ну кому это, вы скажите, нужно? Идите на здоровье. Пусть ваши мамы не плачут. Филь глюк! (Счастливо.) Пускай и Эрих мой вернется. Он не хотел, ой, не хотел идти!»...

Потом, когда они уже отошли, Бутрым глухо заговорил:

— Тут, брат, не только что я, но и ты, видно, не все понял, что она сказала. А говорила она... ну, ей-богу же, как будто по-нашему...

— Люди, браток, везде люди, — сказал он тихо, точ-

но впервые до глубины поняв эти простые слова»¹.

И тут же, но уже только в романе (в повестях не было этого):

«— Пахать начнут, браток, пока мы с тобой выкарабкаемся из этого немецкого г..., — также приглушенно забубнил Бутрым... — Чтоб у того, брат, руки отсохли, кто этот свет сделал таким дурацким. Жизнь! И правда, как сорочка детская: коротка и за... Ну, за что я, к примеру: скосил чужое, запахал? За что мы, скажи ты мне, с тобой мыкаемся? Почему он, Левон мой, должен расти без отца, а я тут — нудиться без него?.. И люди и нелюди — на что они мне, немцы? За какие грехи должен я тут им отрабатывать?»...

«И часто, думая о немцах, которые его окружали, Алесь вспоминал слова Бутрыма:

«И люди и нелюди — на кой вы мне ляд?»...

И тем не менее — новая встреча с человечностью в этой, казалось, забывшей о милосердии стране — с девчушкой Статей («Мамуся немка, а татусь поляк») — и снова, к герою Брыля Руневичу Алесю возвращается счастье думать, верить, что «люди — везде люди».

Фашистская Германия, жизнь, какой она открывается Алесю Руневичу, все меньше дает, казалось бы, оснований верить по-прежнему, что народная мудрость «люди — везде люди» что-нибудь значит в новые времена. Но он снова и снова возвращается к тому, что и во тьме светит: «А ведь существует она, добрая старая мать. Живет в лесу над озером. Она меня в прошлом году, голодного, накормила... С товарищем, другим, не этим. И говорила нам со слезами, что война — это страшное зло, что весь мир — один дом»...

В одной из глав романа «Птицы и гнезда» Алесь Руневич прямо говорит о себе: «Пускай я — все еще неустойчивый элемент, испорченный толстовством...» Но говорит, определенно не соглашаясь, что его «толстовство» мешает увидеть, разглядеть правду о жестокости или несправедливости. Нет, он скорее уверен, что Лев Николаевич помогает лучше ее разглядеть — любую жестокость и несправедливость — потому что не

¹ Брыль Я. Птицы и гнезда. Быстрый Неман: Роман и рассказы. Авторизованный перевод с бел.— М.: Советский писатель, 1965, с. 126—127 (все цитаты по этому изданию.— А. А.).

одним умом, но и сердцем, болью сердца учит воспринимать несовершенства мира.

Конечно же, «толстовство» Алеся Руневича, перешедшее из повестей 1942—1943 гг. в роман 60-х годов, подверглось авторской переоценке. Переоценке — где художественно убедительной, органической, а где поверхностно публицистической:

«Крушина посмотрел на Руневича долгим взглядом.

— Милый мой хлопче,— заговорил он без всякой иронии,— кто из них, великих, сказал, не Словацкий ли: «Не час жаловать руж, гды плонон лясы»? ¹ Твою гуманность придется на время отставить. Если хочешь, как раз во имя ее, за Человека, мы и будем драться насмерть!.. Это ж не просто война, а такая, каких еще не было. Война света и тьмы, смерти и жизни. Мы будем воевать с фашизмом, а не с немцами... Да что мне тебя — агитировать?»

Нет оснований утверждать, что сам Брыль вполне удовлетворен тем, как удалось ему ранние повести свои, иногда и наивно-«толстовские» по взгляду на мир, людей, но очень цельные по чувству, трогательно человеческие, переплавить и возродить заново, в романной форме «Птиц и гнезд».

И не все зависело от самого автора, но многое — от условий, требований, которые еще довольно жестко диктовало само время — конец 50-х — начало 60-х годов, время и инерция.

Виталий Семин в это время писал свою лирическую повесть «Ласточка-звездочка» (1963), в которой лишь первые вспышки молний, которые позже опалят, обожгут душу его героя. Написал свою, столь напумевшую, талантливую «бытовую» повесть «Семеро в одном доме» (1965). К лагерной же своей войне подступал осторожно. Ни сам, ни время, казалось, не были еще готовы, чтобы их родить и принять. Нужен был сильный толчок — изнутри, из души, но также и зов — извне, зов самого времени.

На русском языке роман Янки Брыля вышел в «Советском писателе» в 1965 г. Читал ли, а если да, то когда прочел его Семин — на каком этапе работы или обдумывания собственных сочинений (особенно «Плоти-

¹ «Не время жалеть розы, когда пылают леса» (польск.).

ны»). Что вещь Брыля могла его заинтересовать — и военной судьбой героя и, возможно, авторской позицией — об этом свидетельствует хотя бы вот эти надписи на книгах Виталия Семина, в 1976 г. присланных белорусскому собрату по перу и военной памяти:

«Янке Брылю с симпатией, которая не определяется нашим кратким знакомством».

«Ивану Антоновичу Брылю от ростовского читателя и почитателя сердечно. В. Семин. 15 декабря 76».

А это из письма — в ответ на посланные Брылем «Птицы и гнезда» и «Витражи» (май 1976 г.):

«Глубокоуважаемый Иван Антонович! Вчера вернулся в Ростов и был обрадован Вашими книжками. Посылаю Вам две своих. Ветхость «Ста двадцати км» объясняется тем, что книжка эта издавалась очень давно. Я ее теперь добываю у букинистов. Как только в «Молодой гвардии» появится «Нагрудный знак «OST», я Вам его тотчас вышлю. Я Вам желаю здоровья и всяких благ. Передайте мой привет Адамовичу.

Ваш Виталий Семин».

Но не в том главный интерес, повлиял ли Брыль на Семина и как повлиял. Интересно другое: роман Брыля прошел впереди почти десятью годами раньше, тараня все еще значительные преграды на пути такой литературы (не только внешние, но и в собственном сознании преграды, как свидетельствует приведенная выше запись Брыля во время поездки по Сибири). Роман понес при этом и некоторые потери (художественные и прочие).

Именно в этом смысле мы и сопоставляем «Птицы и гнезда» Брыля и семинские романы. Путь романа Брыля к читателю в условиях 60-х годов, а затем романов Семина — в условиях 70—80-х гг., если их соотнести, позволяет лучше ощутить движение самого времени. Как оно проявляется в литературе и в читательском восприятии.

Брылевское: «весь мир — один дом», «люди — везде люди» вынесено из Германии, которая еще только выходила на большую дорогу мирового разбоя. И многое в этой стране еще было спрятано, существовало подспудно — в душах рядовых немцев и в планах руко-

водящих. И тем более не выставлялось на глаза первых пленников Германии.

А еще следует иметь в виду и особый настрой, душевную биографию героя Брыля, очень отличающегося от семинского.

С самого начала обнадеженный «Львом Николаевичем», что «люди — везде люди», жадно выглядывавший из-за пригорков, что теснились вокруг его деревни, — а что там в большом мире, какие и как живут там народы, люди? — Алесь Руневич воспринимает и войну, столь неудачную для польской армии, и плен, весь этот лагерный «вавилон», где и французы, и бельгийцы, и даже марокканцы, негры, — все еще не трагически, а как неожиданный выход в «общечеловеческий», в большой мир, раньше для него недоступный. Его и под расстрел ставят за «саботаж», и в тюремной камере посидел за побег, а все еще не верит, что всерьез это, все еще с молодой надеждой на лучшее, с каким-то щенячьим доверием ко всем вокруг, а иногда с застенной крестьянской усмешечкой смотрит на окружающее.

«А тебе, молодому и даже веселому дурню, все это кажется лишь временным пристанищем, созданным для твоего отдыха».

Тем более что он «русский» (белорус, но для немцев — русский), т. е. подданный теперь уже Советского Союза — могучей державы, с которой Гитлер, хочет не хочет, должен считаться. Вот и договор о непадении заключил...

Так чего ему здесь бояться: помучился, но зато и свет повидал, людей со всей Европы, а теперь только подождать немного, словчиться и передать в советское посольство документы — не оглянешься, как будешь дома, в Советской теперь Белоруссии, где мать и брат ждуют тебя.

Там, где твой народ.

Так что можно и не расставаться с кое-какими иллюзиями — в такой обстановке, с таким умонастроением.

На страницах семинских романов звучат те же, что и у Брыля, слова — вроде бы народной мудрости: «Вир аллес меншен» — «все мы люди»...

Но как звучат, насколько по-иному!

«Вир аллес меншен» — «все мы люди» — немец-

кая формула, осуждающая цели войны и отразившая ее перелом. У русских или, скажем, французов она не могла появиться, поскольку они никогда не утверждали обратного. Надо представить себе, от какой бездны отталкивался немец и какое расстояние прошел для того, чтобы сказать: «Все мы люди».

Для кого-то это был белый флаг, для других — воскресное размышление и лишь для немногих — убеждение»¹.

В. Семин и его герой смотрят на Германию, которая за какие-то три года (это уже не 1939—1940-й, а 1942—1944 гг.) была отброшена еще на несколько столетий ко временам варварства. (Впрочем, сравнение со средневековым варварством — неточное и обидное для средневековья и времен варварства, так же как для зверя обидно и несправедливо выражение — «фашистский зверь».)

И хотя Германия Сергея Рязанова в романах В. Семина уже не совсем та страна и не совсем тот народ, которые открылись Алесю Руневичу (в романе Брыля) — немцы уже не играют в «договор с Россией», теперь для них человек со знаком «*OST*» («Восток») — самый ненавистный и опасный «недочеловек» — при всем при этом есть что-то общее в этих романах, что как раз и отличает их — и брылевский и семинские — почти от всей литературы о фашистской Германии (но зато сближает с роммовским фильмом «Обыкновенный фашизм»).

В 1979 году, все еще помня трудный путь своего романа к признанию и справедливым оценкам, Янка Брыль записывает:

«Сегодня упрекал себя воспоминанием о том, как Б., прочитав мой роман, не верил, что Алесь и Толя (читай: я и Миша) могли так рассуждать и тем заниматься в глухой западнобелорусской деревне. И еще — как обрушились кое-кто на мой показ плена в романе, пытаясь обвинить меня даже... в желании «обелить фашизм»...

Вчера С. рассказал мне о своем плене, плене красноармейцев, про этап по зимней Смоленщине, о го-

¹ Семин Виталий. Нагрудный знак «*OST*». — В кн.: Семьсот шестьдесят третий. — М.: Молодая гвардия, 1976. — с. 452 (все цитаты — по этому изданию).

лоде, холоде, расстрелах, расстрелах... Но не так ведь было в моих обоих шталагах»¹.

Да, лагеря военнопленных 1939—1940 годов, которые прошел Янка Брыль и герой его, чем-то отличались от более поздних. Адские печи Гиммлера только еще растапливались. Но зато, живя на «вольном поселении», работая у бауэра, на почте, наблюдая «обыкновенную» Германию, будущий автор «Птиц и гнезд» мог увидеть, познать то, о чем литература до него не рассказывала со знанием дела. О фашизме «обыкновенном», массовидном, расплзающемся, как плесень, по всем уголкам центрально-европейской страны, заползшем в сознание и души самых рядовых немцев.

«В арбайтслагерях рабочая сила для Германии только начинала свой путь,— пишет В. Семин в «Плотине»,— завершаться он должен был в лагерях уничтожения. Все это в разное время и ощущалось по-разному. Но ощущалось всегда. Теперь-то я знаю, что мне, пожалуй, повезло с Лангенбергом».

Но, как исключение, возможен был и обратный маршрут. В арбайтслагерь Виталия Семина попал Яшка Зотов — из страшного Освенцима или Майданека. Концлагерь не назван, но повеяло от новичка на лангенбергцев ужасом тех мест.

«...Яшкина память была обожжена страшной моей. Стоило к ней прикоснуться, как Яшка становился сам не свой...»

Да, и Семин, подобно Брылю, не самое страшное из того, что было уготовано узникам фашистской Германии, повидал и не о самом ужасном повествует.

Но это — откуда посмотреть!

Что может быть страшнее правды, вблизи рассмотренной, исследованной,— правды о том, как в палаческую работу по истреблению миллионов людей стараются втянуть целый народ. Почти всех, от мала до велика, палачи превращают в своих подручных и пособников. По крайней мере всех, кто попадался на пути семинского Сергея Рязанова. А арбайтслагерь, «трудовой», именно и давал возможность соприкоснуться не только с охраной, но и с жителями — на улице, на заводе, даже в домах, квартирах. Куда только не гоняли работать «восточных рабов»!

¹ Брыль Янка. Збор твораў: У 5-ці т.— Т. 5, с. 579.

Да, тот самый обыкновенный фашизм, повседневный, массовидный.

«Почти все лагерные полицейские были пожилыми людьми. Они подошли к тому возрасту, за которым человека в Германии называют «опа». Опа — дед, старик, старина, отец... Опа действовали быстро, жестоко и весело. Били не только гумой — резиновой палкой, но ногами, руками и тем, что в этот момент попадало под руку. Тогда я понял, что такое выворачивающая душу ненависть. Душа выворачивалась именно оттого, что, как сказали бы теперь, разрушалась вся система моей ориентации в этом мире. Обманывали вернейшие, определяемые самим инстинктом признаки благоразумия, снисходительности, доброты... Пожилой человек, интеллигентный человек, человек в белом халате — врач, или, как все мы в детстве называем врачей, доктор. Одно из самых ярких первых впечатлений в Германии: нас гонят по улице небольшого рурского городка. Только что мы носили мебель в какое-то здание, и полицейские, сопровождающие нас, даже довольны нами. По тротуару идут две нарядные молодые женщины с нарядными детьми. Дети кидают в нас камнями, и я жду, когда женщины или полицейские остановят их».

Еще действует, заведенная с детства, система ориентации в мире. Ждет, почти уверен, что матери остановят детей, отвратительно играющих в «расовую политику».

«Но ни полицейские, ни женщины не говорят ни слова».

Да потому, что «игру» эту не они, дети, а сами взрослые, их родители, начали, затеяли.

Система ориентации, выработанная интернационалистским довоенным воспитанием, ломается в Сергее Рязанове, больно рана душу подростка. Недоумение, обида, ответная ненависть. Тем большая, что не этого ждал, не так все ему виделось когда-то.

«...Как рассказать о том, как почти ничего не знаящий о таких болезнях подросток заболевает ненавистью, как поражается тому, что от нее нет отдыха и что самый жестокий приступ может настичь, например, за баландой, когда ненависть смешивается со слезами и жалостью к себе?»

На что рассчитывали те, кто не просто возбуждал

в нас ненависть, а доводил до болезни и заботился о том, чтобы болезнь не ослабевала».

Рабочие-литейщики, механики, простые люди, о которых всегда думалось (и не заученно, а убежденно) как о «союзниках по борьбе за счастье трудового народа», представляли перед мальчишкой из Ростова в форме штурмовиков. С лицами слепыми от бездушной жестокости и самодовольства. С голосами одинаково орущими, преследующими, настигающими беззащитную жертву. И вот уже и язык немецкий — за это в ответе. Фашизм сделал и язык подчинившегося, принявшего кровавую догму народа отвратительным миллионам людей.

«Ни на каком другом языке нельзя так яростно кричать. В любом другом языке для этого не хватит нужных звуков».

Рабочий Пауле, полунищий, больной и всегда голодный пролетарий, он-то почему оказался такой, как есть? А не такой, каким мог и даже обязан был быть — согласно счастливо уверенным довоенным представлениям, ожиданиям. Оттого, что этот рабочий — немец? И в мыслях, и в самом чувстве происходила перестановка, но не сразу изменяется «система ориентации» семинского героя.

«Встречаясь с ними на фабрике, я смотрел на них с опасением и неприязнью. Но и надежда моя ни одного из них не обошла».

И не хлеб, не сигарету душа его, глаза его мальчишеские выпрашивали, вымаливали — он уже понял, усвоил, что дать узнику что-нибудь — они этого просто не знают. Душа молила о надежде. Не все же довоенное о «братьях по классу» — самообман, потеряно!

А ведь интернационализм был воздухом моего детства — объясняет автор душевную и идейную (да, идейную!) драму автобиографического героя своего.

«Я не все понимал, как это получается, но уже чувствовал, что с хлебом легче расстаться, чем с мыслью».

А теперь, что теперь с миром, с людьми, со мной происходит? — вопрошает этот замученный голодом, каторжным трудом, ненавистью полумальчишка.

«Физически я не мог тогда подумать: «Этот немец высокий и красивый». Раньше шло слово «немец» и уничтожало другие слова».

Так что же произошло с автором и его героем, которых война протащила сквозь обжигающее пламя чужой и собственной ненависти? Что в них сгорело, выгорело, что осталось, уцелело, появилось?

Ведь ненависть была вон какая беспредельная и неотступная: «Главная боль не отступала ни на секунду. Как голод, она накопилась в мышцах и мозгу, текла по сосудам. Излечиться от нее можно было, только убив коменданта, полицаев или Пауля...»

Неизвестно, что и как смог бы рассказать В. Семин в 40-е, в 50-е или в 60-е годы, если бы тогда написал свои романы о войне и лагере. В 70-е же он и «обыкновенную» палаческую ярость немцев, и свои чувства лагерника — все подверг анализу, строгому, жесткому, не щадя никого.

В. Семин видит и хочет рассказать всю правду: о немцах, о немцах, о всех людях, как они ему открылись в те страшные дни и годы, для которых и слово «война» вроде бы неточное, слишком традиционное, щадящее. («У кого из нас хватило бы душевной свободы думать не о сегодняшней крови, не об этой войне, которую мне и через тридцать лет назвать войной все равно что приравнять ее к тому, с чем равенства не может быть».)

Всю жестокую правду стремится поведать, хотя именно хорошее в людях, о которых помнит, его радовало бы больше всего. Но сколько его, хорошего, в той лагерной дали? Да, Ванюша, «болеющий честностью», с его словно бы прищуренными глазами, в «прицеле» держащими любое зло, да, бездумно храбрый белорус Володя и добрейшая душа Андрей, его земляк, опекающий Володю, как мать...

А женщина — врач Софья Алексеевна, на каждом шагу рискующая всем, но ступающая по лагерной земле с таким чувством человеческого достоинства и правоты своего милосердия, что даже на этой фашистской людской бойне с нею невольно считаются!

Но были там и «блатыги», все эти «соколики», «левы-кранки» и т. п. шешура — тоже из узников. «Чужой дурак — смех, свой дурак — стыд», — сказано о таких «своих» в романе Янки Брыля. Виталий Семин вместе со своим героем мучается, страдает и от этой правды: ведь они не с неба свалились и почему их столько много, ведь они «готовые сюда приехали»!

«Формировала ли этих людей лагерная жизнь или в лагерь они попали уже блатными, но они очень быстро находили друг друга. Мгновенное это узнавание было их отличительной чертой. И не писать о них можно было бы только в том случае, если бы они не занимали так много места в той нашей жизни».

Да, занимали много места. И чувствовали себя как дома — в лагере немецком. Такие, как Сергей, выросли на солнечной стороне, а они порождение теневой, холодной — «изморозь», «плесень».

«Главная блатная добродетель — жестокость...»

«Нормальному человеку трудно представить, что бьют потому, что дорвались...»

«Хочешь быть не слабее других, не умом сравняйся с ними, не добротой — жестокостью».

«Дух, который заставлял немцев жечь чужие страны, сжег все и в их собственной стране... Как этот дух связан с убогим миром блатных антимыслей и античувств, я не знаю. Но связь несомненна».

Все в Германии было направлено на то, чтобы затоптать человека, погасить в человеке доброту и надежду и вызвать то, с чем блатные в лагерь приехали, — взаимную жестокость узников, цепную реакцию самопожирания.

Тем более что Сергей не очень-то различает, что в нем самом главное, лучшее, за что надо в себе держаться не меньше, чем за жизнь.

«После трех каторжных лет мне и в голову не приходило, что я так связан с собой довоенным. Я ведь из всех сил отбивался от того слабого, презираемого, не знающего жизни мальчишки и только по ночам давал ему волю».

Сергей связан с довоенным тем, что в нем, в его душе, мыслях лучшее. «Блатыги» тоже связаны — но худшим, что в них есть. И через стремление того и другого в людях отстоять и утвердить себя, через это как бы и та, довоенная жизнь продолжается, разными сторонами своими, солнечной и теневой, существует в новых условиях.

Виталию Семину через своего героя надо понять все, всю правду. А иначе как поймешь и их, немцев, а через них и ту почву, на которой произрастают ядовитые растения жестокости и палаческого послушания фашистской доктрине? Писателю нужен был плавный

спуск в бездну, куда обрушили целый народ. По-разному спускались в нее в своих романах Семин и Брыль. Но и тот и другой — не отделяя немцев от человечества. Да, они сами себя отделили, отдалили, немцы, поверив в свою исключительность, избранность, и прежде всего делами своими страшными и непростительными. Но серьезные писатели 60-х и 70-х годов, конечно же, не могут исходить лишь из этого, хотя это тоже правда. Не с одних немцев в истории начинались жестокости, бесчеловечность. И не на них, к сожалению, кончились. Этому свидетельств уйма — и в послевоенной истории планеты.

Сегодняшняя литература, ища ответов, стремится как можно глубже заглянуть в человека, понять «феномен человека» в контексте всеобщей истории человечества.

Потому и Брылю и Семину не безразличны случаи, когда и «свои» оказываются ничуть не лучше немцев — те же блатные в «Плотине». («Полицаев я, конечно, ненавидел больше. Но чувство справедливости сильнее обжигалось этими любителями жестокости и порядка».) Они, в ком немецкий «орднунг» отозвался рабьим, лакейским презрением ко всему, что осталось дома, вызывают в брылевском Руневиче и презрение, и стыд («Чужой дурак — смех, свой дурак — стыд»). В своих (вот таких) увидеть «тень», в немцах (таких, как женщина, которая посочувствовала беглецам — пленным) разглядеть «свет» — вот те ступеньки, по которым писатель «плавно» спускается в бездну (или выбирается из нее). Вынося наверх добытую правду о человеке, порой горькую, печальную, но необходимую, как прививка против эпидемий.

По этим, по таким вот «ступенькам» знания о людях, вчера еще казавшихся «своими», Виталий Семин спускается в бездны еще более низких душ человеческих. В бездну, где «вечные истины» (вроде: люди — везде люди), казалось, перестали что-либо объяснять в человеке. Где вроде бы извечные ценности, положительные, вдруг обрели знак отрицательный. Даже выражение «простые люди» оставляет горечь во рту, в душе, взывает к самообличению и самоказни.

И сейчас помнит чувство стыда, потому что ведь палачествовали люди, и даже очень простые люди...

Схватили где-то в чужой стране, в Ростове под-

ростка, притащили к себе, затолкали за проволоку, гоняют на страшный, делающий орудия убийства завод, где мальчишка должен поднимать, таскать непомерно тяжелые металлические заготовки, которые за одну смену работы острыми зазубринами срывают с него одежду. И голоден, голоден — всегда, каждый миг наяву, во сне! Одежду, которую рвет, сжигает на нем завод, он привез из дому, а «брот», а хлеб «не догадался» прихватить. Его презирают — и за это тоже. За то, что голоден и не имеет своего «бутерброта»...

«Не могу подавить надежду, что кто-то из немцев хоть в этот перерыв поделится хлебом. Это даже не надежда, а голодный спазм, с которым не совладать. Не дали ни разу. И сейчас через много лет после войны я испытываю страх и стыд — ведь все мы люди. Я долго не решался об этом написать. Раньше мне казалось другое страшней. Но постепенно самым удивительным мне стало казаться то, что никому из многих сотен молодых и пожилых, веселых и злобных в голову не пришло дать мне хлеба».

У автора тут особый счет к немцам. Ведь он был мальчишка, а они — взрослые. Действительно рушатся все ориентиры, с которыми входил в жизнь.

«Я сам был разочарован в себе» — это самоказнь человека, который понимает, что мир людей — сообщающиеся сосуды. И если где-то зло подскочило чрезмерно, значит в других людях, значит где-то не достало силы и убедительности добра, чтобы зло осело, было задавлено в зародыше.

Зло есть зло. Но знание о зле — благо. Это они остро ощутили в войну — и Семин и его герой. Те, кто познал истину о зле, не имеют права растерять ее, не донести до других. А иначе все муки, усилия, страдания людские не обретут смысла и искупления.

«Потом я десятки раз слышал такие разговоры. Главная мука здесь была в том, что когда-то им не хватило знания. А то, что они знали сейчас, никаким другим путем узнать было невозможно. То есть они и раньше слышали и читали, но не то чтобы не верили, просто поверить было невозможно. (Помню, как и мне не верили, когда в 1944 году на Алтае рассказывал, что творят немцы в Белоруссии: «просто поверить было невозможно». — А. А.) Надо было стать другим человеком. Все дело было в немислимой полноте этого зна-

ния... И не жизни им было жалко — ее и так не было. Жалко им было знаний. Они и ценили сейчас себя как людей, которые знают. Они считали, что знанию этому нет цены. Кому-то на фронте сейчас не хватает его, а у них его так много, что они наделили бы им всех. Они и бежали потому, что хотели сохранить это знание и принести его на фронт».

Когда Сергей Рязанов вернулся в Ростов, домой, к матери, он только и мог — кричать.

Можно представить, что Виталий Семин записал, написал бы в те дни.

И если бы на войну попал уже сложившимся писателем и мог сразу же потом все высказать.

Можно на это возразить, что ведь и такие были, но что-то «ожога», «крика» в их первых послевоенных произведениях не было слышно. Настоящая боль прорвалась несколько позже — «Лес богов» (Балис Сруога), «Пропавшие без вести» (Степан Злобин)... Это если лагерную антифашистскую литературу иметь в виду. Но что, если не крик обожженной войной души — первые произведения Бондарева, повести Бакланова, Быкова, Богомолова, Константина Воробьева, а позже — воспоминания белорусских и ленинградских женщин об «их» войне?!

«Кричал я, кажется, два дня, — рассказывает себе и нам герой В. Семина, — заходил Исаак Абрамович, кивал, но я видел, как исчезал из глаз его интерес. Мать смотрела с опасением. Потом позвала мою двоюродную сестру... Они с матерью долго слушали меня, потом Аня сказала так, будто меня не было в комнате:

— Они все сейчас кричат. Перекричит и будет нормальным пареньком. Постарше Сергея мальчишка вернулся у наших соседей, дня четыре кричал, сейчас отошел...»

О чем и отчего они кричали? От боли — душа обожжена? Не только от боли, но и заранее протестуя, не соглашаясь, что боль оседет, утихнет и все забудется. От мысли, что их знание никому не нужно, что людям покажется, может показаться, что уже не нужно им это, что можно забыть, что «нормальные» лишь те, кто не кричит...

Семин-писатель молчал годы и годы, все в себе держал, но ничего не забыл, не растерял. Он молчал, но память продолжала кричать. Сам он считает, что мол-

чал именно потому, что внутри не смолкал крик. А выразить его — не подошло время.

«За тридцать лет, прошедшие после войны, я много раз пытался рассказать о своих главнейших жизненных переживаниях. Но только обжигался. А что можно рассказать криком! Слух послевоенного человека уже не настроен на крик. Живая память сопротивляется насилию, может, больше, чем живой человек».

Кто знает, так ли это, все ли этим сказано? Не в одном лишь читателе или слушателе дело. И не только в причудах или законах памяти человеческой. Многие объясняют, например, письма Ольги Берггольц, ленинградские стихи которой, самые наилирические, — тоже крик обожженной души.

Вот выдержки из ее писем, посылавшихся из Москвы, — Берггольц летала туда из Ленинграда в начале 1942 года.

«...А по приезде в Москву, через два дня, после разговора с Тихоновым, — я провела у него весь день, он чудеснейший, какой-то новый, очень строгий и в то же время по-новому мягкий, — после разговора с Егoliniным, я убедилась, что о Ленинграде ничего не знают...

Ставский воскликнул откровенно: «Не знал, ничего не знал, только от Кольки Тихонова первый раз услышал, что в Ленинграде такое положение. Разве бы мы так долго копались, если б знали. Мы слышали, что трудности, что туго с продуктами, но и представить себе не могли, что вы выносите...»

Мы очень горько говорили об этом с Тихоновым...

Отсюда — и все мои дела литературные. На радио, не успела я раскрыть рта, как мне сказали: «Можно обо всем, но никаких упоминаний о голоде. Ни-ни. О мужестве, о героизме ленинградцев — это то, что нам просто необходимо, как и все о Ленинграде. Но о голоде ни слова».

Сегодня я должна первый раз выступать у них. Хотела читать «Разговор с соседкой» — редактор не пропустил, даже с купюрой о бедном кусочке хлеба. В среду хотят дать мне целую «девятиминутку» — это у них такие вечерние литпередачи, — и не хотят выпускать с «Первым письмом на Каму», так как «это слишком уж мрачно, слишком тяжелое впечатление остается о Ленинграде». — «Почему?» — «Ну, как же, вы пишете: «Не жалуйтесь, что трудно нам», — слишком уж пря-

мо сказано о том, что трудно; и вообще мрачное стихотворение...»

...В первом своем письме, присланном вместе с Ходоренко, ты спрашивал, как меня встретили, как мой творческий вечер? Это все определялось общим отношением к Ленинграду. К счастью — да, к великому счастью, — мы только одни (может быть, еще Севастополь) знаем, что такое блокада, голод, тьма...»¹

Вот так относились (как видим) многие во время войны к литературе, в которой правда о ленинградской блокаде звучала, так сказать, из первых уст.

А как — после войны, спустя одно-два десятилетия? Когда уж не могло быть ссылок на трудности и сложность, требования военной обстановки.

Вот что написал сам переживший, познавший блокаду Виктор Конецкий — после того как он познакомился с воспоминаниями ленинградцев, собранными в «Блокадную книгу».

«В семье строго существовал негласный закон — о блокаде не говорить. И вот сидишь один на один с пишущей машинкой и уходишь в кошмар тех времен, и запах лежалых трупов, и мороз, и стены качаются от близкого взрыва... А потом начинается: «Что вы сюда столько трупов понапихали? Как это так: они у вас в дворовой мусорной яме? И подростки их оттуда из льда вырубают? Зачем вам эти страсти? Учитесь у классиков! Толстой не хуже вас войну знал, а без ужасов обошелся... Нет уж, уважаемый, мы такими фантазиями нашего читателя запугивать не собираемся...»

Но дело не в запугивании читателя. Уж больно не вписываются блокадные «фантазии» в устоявшиеся каноны тыловой прозы.

И я, например, давно устал от борьбы с блокадным материалом и за него...

И я вдруг понял, что не только бежал от блокадных воспоминаний, но — самое непростительное — на чисто прекратил попытки осмысливать ее, блокаду. Перелистал записки за последние десять лет — чего там только нет! А о блокаде ни полслова».²

¹ Макогоненко Г. Письма Ольги Берггольд (1941—1942 года). — Вопросы литературы, 1978, № 5, с. 215—216.

² Конецкий Виктор. У каждого свой спаситель. — Дружба народов, 1980, № 5, с. 255.

Как бы то ни было, но Семин тоже свой «крик» зажал на десятилетия. Однако не верил, что надо стремиться стать «нормальным» и по возможности забыть самое тяжелое. Нет, он знал цену своему знанию.

Больше всего Семина мучит именно то, что и тридцать лет спустя он не в состоянии объяснить, истолковать. Ну хотя бы вот это:

«Городок назывался Лангенберг». Лагерь располагался в пойме бывшей речки... Весь лагерь с его стандартными, общими для всех германских лагерей бараками... был как на ладони, виден идущим по мосту. Виден он был и из окон трех-четырёхэтажных домов, которые снизу, из лагеря, казались очень высокими с их острыми черепичными крышами. Много раз я пытался поймать чей-нибудь нечаянный любопытный взгляд. Ни разу мне это не удалось».

Это что — равнодушие? Немецкая дисциплинированность?

И в том и в другом случае, говорит автор, — «нечто такое, глубину чего я не мог измерить».

Сколько лет мучит его видение конфеты в блестящей обертке, которую кто-то из немцев положил на столбик — для пленных. И тот вкусовой шок, который испытал он, попробовав начисто забытую сладость.

И еще был случай — но уже перед самым концом фашистского рейха. Сам хозяин фабрики передал заболевшему астмой подростку лечебную сигарету. «Господин Фолькен Борн, — переводил Александр Васильевич, — слышал, как ты кашляешь...» Услышал наконец! Хотя тысячеголосого крика боли, мук, пока не грозила близкая расплата, не слышал, казалось, никто.

«Конфета в яркой малиновой фольге, которую мы нашли на заборчике, и эта сигарета — теперь я уже сказал все», — с убежденностью объективного исследователя констатирует бывший узник фашистской Германии писатель Виталий Семин.

Так что же с ними случилось, произошло — с нацией в самом центре цивилизованной Европы? Банде демагогов, подонков, позванных к власти толстосумами, удалось за каких-то десять лет существования «тысячелетнего рейха» так наследить, напакостить в немецкой истории, что действительно и за тысячу лет отмоются ли кровавые пятна!

Хотя куда там: еще война не окончилась, а уже началась, на глазах всего мира, работа, направленная на то, чтобы поменять местами палачей и жертвы. На Западе опубликованы дневники Геббельса — еще одно свидетельство («авторизованное!»), какие они были ничтожества — и все, как нарочно, на букву «г» — эти гитлеры, геринги, гиммлеры, геббельсы... Полуобразованные выскочки, кровавые демагоги в дни, когда их власть и все вокруг них рушилось, все еще грызутся за первые места возле «фюрера», от которого уже трупная вонь, как и от самого фашизма. На каждой странице геббельсовских записок — мольба, взывание к Гитлеру, чтобы он наконец понял, какой плохой и вредный для нацистской Германии деятель рейхсмаршал Геринг и какой нужный, преданный, хороший он, Иозеф Геббельс! А как радуется «сморчок-германец» (так обзывал его Геринг) буквально за три дня до того, как решится отравить собственных детей, что очередную речь его кто-то из его холуев назвал «исторической».

Какой-то бред сумасшедшего в спятившей от бесчисленных преступлений стране!

В дневниках Геббельса отлично просматривается и это: как планировалась и использовалась ненависть, притом взаимная. Вначале пишет, откровенно, цинично, что надо нацелить пропаганду на запугивание населения зверствами «восточных варваров», чтобы уходили все на запад и чтобы лучше сражались. Поднял крик, да такой, что и сам почти поверил в свои «факты». Но как сделать, чтобы «законопослушные» не забежали слишком далеко на запад — в плен к англо-американцам? Записывает: убедить фюрера и отказаться от Женевской конвенции об обращении с военнопленными — воспользовавшись «народным гневом» в связи с жестокой бомбардировкой Кельна американцами. И тем самым подтолкнуть противника к «ответным мерам», а это, мол, принудит и немцев держаться до последнего. Глядишь, Иозеф Геббельс еще недельку, еще две просуществует на этом свете — спрятавшись за встречные волны, валы нарастающей ненависти, ожесточения...

Фашизм весь замешан на человеконенавистничество: он планировал ненависть с такой же тщательностью, как и выпуск стали, снарядов, взрывчатки, ко-

лючей проволоки. Ненависть палаческая планировалась. Но и ненависть жертв к немцам входила в планы и расчеты руководителей фашистского рейха. Им это было просто необходимо: возвести вокруг немецкой нации стену ненависти, чтобы никто из немцев уже не вырвался (и не стремился бы вырваться) из тенет фашизма. Связать всех немцев преступной круговой порукой, страхом перед расплатой — вот чего они добились с самого начала.

Геббельс еще тогда, в ходе войны, начал собирать «документы» о том, как обижали, обидели невинную Германию и немцев. «Собрали» и издали их (более 20-ти томов) уже в наше время — те, кому это сегодня надо, выгодно.

Но и это — капля в потоке «литературы», которая старательно, настойчиво отбеливает мрачную десятилетнюю историю «тысячелетнего рейха».

Но был момент, не может быть, чтобы он не зафиксирован был в историческом сознании немецкой нации, — миг, когда сознание сковали не только ужас перед расплатой за все, во что вовлек фашизм нацию, но и понимание справедливости гнева, ярости народов, которых совсем недавно фашистская Германия планировала уничтожить, физически.

И не только планировала, но и осуществляла преступнейший геноцид во многих странах.

Вдруг обнаружили себя не только среди пожарниц, на развалинах собственных городов и сел, но и на развалинах своей исторической репутации.

Западногерманский писатель Д. Веллерсдор отметил, прослеживая послевоенную историю Германии: «Позор нацизма ложился на всю нацию, и во всем ощущалось, что нет на земле более непопулярного народа, чем немцы.»¹

Немцы были «непопулярным» народом? Да нет же — ненавидимым! Самой ненавистной, проклятой страной была Германия долгие годы.

Томас Манн в «Докторе Фаустусе» беспощадно передал смятение, страх расплаты, охвативший многих и многих немцев в последние месяцы войны и первые послевоенные дни и недели.

¹ Цит. по статье: Архипов Ю. Спектр романа (Литературное обозрение, 1982, № 1, с. 30).

«Взломаны толстые стены застенка, в который превратила Германия власть, с первых же дней обреченная ничтожеству; наш позор предстал теперь глазам всего мира...» (лагеря смерти и пр.). «И не болезненное самоунижение спрашивать себя: смогут ли в будущем немцы о себе заявить на каком бы то ни было поприще и участвовать в разговоре о судьбах человечества?»

Пусть то, что сейчас обнаружилось, зовется мрачными сторонами общечеловеческой природы, немцы, десятки, сотни тысяч немцев совершали преступления, от которых содрагается весь мир, и все, что жило на немецкой земле, отныне вызывает дрожь отвращения, служит примером беспросветного зла. Каково будет принадлежать к народу, история которого несла в себе этот гнусный самообман... который будет жить отрезанно от других народов, как евреи в гетто, ибо ярая ненависть, им пробужденная, не даст ему выйти из своей берлоги, к народу, который не смеет поднять глаза перед другими...»¹

Так думали, чувствовали, писали лучшие люди Германии после крушения гитлеризма. Но что-то подобное ощущали, чувствовали и те из рядовых немцев, возможно, многие, кто сохранил в себе хоть какую-то меру справедливого отношения к происходившему в годы войны.

И потом происходило всякое. И адэнауэрская реамилитаризация, и эрхардовское «экономическое чудо», увенчанное самодовольным «Мы опять кое-что значим», и уже совсем прежнее, рычащее, штраусовское: «Германия снова сильна, и мы можем требовать, чтобы прошлое было забыто!»

Как надо запутать все и перепутать — в реальной жизни и в сознании послевоенных немцев, чтобы возможен стал такой факт: премия имени Томаса Манна властями города Любека (родина писателя) присуждена в 1981 г. И. Фесту — за ностальгическую книгу о Гитлере.

В романе «Плотина», в уже приводившейся сцене, где бывшие узники охотятся на недавних палачей своих, есть очень емкая, содержательная деталь: гла-

¹ Манн Томас. Доктор Фаустус.— М., 1975, с. 547—549.

за немки — глаза как бы самой Германии первых дней после крушения гитлеризма!

«Немка не кричала, не возмущалась, как жена хозяина дома наверху, молча ждала, что я сделаю. В молчании этом я улавливал какое-то признание или даже согласие, но не со мной, а с кем-то или с чем-то другим. И тусклый отблеск в ее глазах был не от слабого электричества, а от ожидания».

Сергей не выстрелил в немца, который прятался с этой женщиной в подвале.

«Все было за то, чтобы выстрелить: три лагерных года, пистолет, который я специально для этого добыл, почти полная уверенность, что немец — тот самый фашист. Даже какое-то согласие в глазах немки. Чего же мне не хватило? Что показалось непереносимым? Звук, который ударит в каморке? То, что после него изменится?».

Пронесло! Но по-разному к такой счастливой для них развязке отнеслись жители разгромленной «расы господ», избравшей себя (по воле и подсказке «фюреров») в вершители судеб и жизней других народов.

Одни — с этого момента повернули назад. К людям, проклиная саму идею «сверхчеловеков». К человечеству, чтобы снова воссоединиться с миром людей. Ведь фашизм — это тот же соблазн Раскольникова и та же невозможность: прожить в абсолютном отъединении от человечества. Но тут уже был замах не на «одну-единственную» жизнь, а на жизнь целых народов.

Однако и другая реакция возможна и она была, имела место — подленький ответ на благородство и человечность вчерашних противников и жертв, оказавшихся в роли хозяев положения.

В глазах той немки из подвала многое, очень многое прочел автор «Плотины» — в тот миг, когда Сергей Рязанов готовился и не смог выстрелить:

«И в выражении глаз немки что-то изменилось, словно она догадалась, что мы не те, кого она с усталостью и согласием ждет. И еще в глазах ее было что-то. Будто она презирала нас за то, что мы упускаем такой случай. Презрение, казалось, шло из жуткой глубины, где никогда никаких случаев не упускают».

Так что же за всем этим, за этой психологией, за такими вот людьми стояло, если, и через леденящий страх расплаты пройдя, они ничего не поняли, ниче-

му не научились? Откуда это все в них, такое глубокое, вкоренившееся?

Над этим же много раздумывала, мучилась и немецкая литература, искала истоки, корни и в далекой истории, и в политических реальностях, в национальных путях и особенностях развития.

В «Верноподданном» Генриха Манна есть очень неожиданные и в то же время очень точные слова-формулы о власти, «которая топчет нас и копыта которой мы целуем. Против которой мы бессильны, потому что любим ее! Которая у нас в крови, потому что подчинение у нас в крови! Мы — атом ее, бесконечно малая молекула чего-то, что нас выплюнуло».¹

Фашизм все это не только использовал, но и многократно умножил, усилил в характере нации и в людях, душами которых завладел.

Из прошлого к нам доносятся голоса литературы, которая многое уже замечала, видела, о чем предупреждала.

Литература сегодняшняя — и романы Брыля, Семина в этом ряду — тоже предупреждение и тоже не только сегодняшнему, но и завтрашнему дню.

«Почву, на которой вырастал фашизм, — пишет Семин, — надо исследовать тщательнее, чем само растение».

Почву социальную, историческую, классовую, которая была в той же Германии. Но которая и в отдельном человеке, в людях. Потому что другой почвы для выращивания идей — и высоких, человеколюбивых и самых подлых, жестоких — кроме сознания, души человеческой не существует. Лишь овладев людской массой, которая состоит, конечно же, из реальных особей, идеи становятся силой — созидательной или разрушительной, поднимающей человека, народ или же обрушивающей их в бездну зла и позора.

«Вперед через могилы!» — печально подбадривал себя великий немец Гете, озирая окрестности своего жизненного заката: ушли, уходят его одногодки, близкие по духу и работе, творчеству люди. Но пока живу, обязан идти своим и их путем!..

«Вперед через могилы!» — записывает в своих днев-

¹ Манн Генрих. Верноподданный. — М.: Худож. лит., 1952, с. 264—265.

никах один из самых больших в немецкой истории подонков — Геббельс, подбадривая себя и озверевшую от человеческой крови фашистскую орду, которую Советская Армия и союзники загнали, затолкали на развалины их собственных, уже германских, городов и сел.

Слова как бы те же, но идеи, цели, чувства бесконечно противоположны у этих разных немцев из разных эпох.

И слова иногда были те же, и «символы веры» оставались порой как бы прежние — великие немцы Шиллер и Гете, Гегель и Вагнер и т. п. — но всему придан иной, часто обратный, смысл, знак¹. А немцы, многие, просто не заметили подмены, подстановки, а потом было уже поздно...

«Надо объяснить, как ум очищается от доброты, — читаем в романе В. Семина. — В детстве было просто. Ум — добр, злоба — глупа. Обидеть может дурак, защитит умный. Слабость пронизательна. Очень быстро в уличном потоке выделяешь интеллигентные лица».

Но и тут привычные представления рушатся.

«Сама внешность немецких городов была интеллигентной. Интеллигентной внешностью обладали многие фабричные вещи. А все вместе жестокой петлей душило нас. Это был противоестественный ум — ум без доброты. И я ненавидел гладкий асфальт, ровный булыжник и чувствовал, что где-то в глубине подо всем этим лежит огромная, страшная, противоестественная глупость».

Та самая, «историческая», которую заметил когда-то и Бакунин на офицерской физиономии культурной Германии. Но и новая, идущая уже от новых времен — огромная, страшная, противоестественная глупость.

Фашизм, нацизм не только и не просто вгоняет, вдалбливает в людей нужные ему «новые» качества, он именно возвращает свои «растеньица» — на той почве и на том навозе истории, которые формировали нацию, характер национальный и пр. и пр.

«Злоба, ожесточение, жестокость — это и сейчас можно себе представить. Гораздо труднее представить чувство превосходства, которое по-особому освещало

¹ Так же как знак свастики был перевернут не только в изображении (не «против», а «по» часовой стрелке), но и по содержанию; джайнистский (Индия) «солнечный» знак абсолютного запрета «не убий!» стал символом идеи глобального разбоя, массовых убийств. «Солнце» стало «пауком»!

злобу и ненависть. Недостаток каких качеств оно заменяло, возникло ли вместе с фашизмом или само его породило — не знаю».

Да, тут была своя диалектика, и хотя В. Семин пишет «не знаю», он как художник глубоко проникает в суть того, что видит и о чем думает Сергей Рязанов. «Отношение к старым порокам было таким же, как во всем мире. Высокомерие осуждалось, скромность восхвалялась», — отмечает писатель. Но существовала при этом «двойная бухгалтерия»: высокомерие по отношению к «ненемцам», к другим народам, нациям возводилось в добродетель, совершенно обязательную для «честного патриота».

Это уже и другие, не один Семин, отмечали, над этим задумывались: ведь не исчезло ни трудолюбие немецкое, ни даже давно известная честность немецкая, ни мечтательность и сентиментальность (музыка, цветочки), но рядом с этим — какое массовое озверение, готовность мучить, грабить, убивать. Во исполнение приказа, но и «от души».

Как написал Брыль в «Птицах и гнездах»: «Правду, от народа идущую правду, на свой лад высказал Змитрук: «Тут — что ни немец, то гад». И я в Германии видел немцев — и нелюдей и людей. Здесь (т. е. в оккупированной Белоруссии. — А. А.) мы видим фашиста-захватчика, убийцу, грабителя...»

В. Семин, тот и в самой Германии уже не делит немцев столь категорически на «людей» и «нелюдей». Границы стираются, зараза, коричневое пятно расползается, захватывая так или иначе почти всех немцев (по крайней мере тех, с которыми каторжная жизнь сталкивает Сергея Рязанова).

И традиционные хорошие качества немецкие резко изменяются — не только в том смысле, что фашизм беззастенчиво эксплуатирует и трудолюбие, и дисциплинированность «своей нации» — в результате даже убийства и пытки совершаются с этакой немецкой старательностью и добросовестностью. Изменяются национальные черты в направлении полного их разложения: невозможно быть честным и добрым, быть человеком по отношению к людям своей нации и «гадом» — ко всем другим людям. Фюреры внушали своим законопослушным подданным, что это и возможно, и нормально, а чтобы создать в их душах некоторый даже

«комфорт», воспитывали в них убежденность, что немец — просто не человек, что он «недочеловек». И в античные времена, мы знаем, раб даже для образованных людей был не больше нежели «машина». Хотя времена были совсем иные, человечество прошло уже школу Возрождения, великую школу гуманизации всех представлений о мире и человеке, а Германия познала и освободительные войны (против тирании Наполеона) и даже какое-то подобие социальных революций во имя равенства и справедливости и имела в прошлом немало великих учителей-гуманистов, но почему-то сработала, цепко внедрилась в душах и сознании миллионов людей совершенно дикая для XX века «идея» о праве «фаустовских народов», а конкретнее — праве немцев быть над всеми и решать, кому, какому народу как жить и вообще — жить ли!

«Когда жестоки учителя, жестоки и ученики; они деградируют, впадают в первобытное состояние. Прогресс человечества идет очень медленно, а регресс — мгновенно: стоит утратить гуманность — и ты снова дикарь»¹.

Написал это за несколько лет до фашистского переворота в Германии проницательный Лао Ше — автор «Записок о кошащем городе».

Это, конечно, не все объяснение тому, что произошло с немецким народом в 30-е и 40-е годы, но есть большая и горькая правда о людях и событиях не только древней, но и новой, новейшей истории в этих словах мудрого китайца.

«Этакое чудовищное, — пишет о нацистском угаре немецкой нации В. Семин, — и в то же время неразвитое, детское представление о своем месте в мире».

Добиваясь и почти добившись, казалось бы, невозможного — заразив целый народ почти «античной» уверенностью, что все, кто не они, — варвары и недочеловеки, нацистские фюреры совершенно всерьез рассчитывали на еще более невозможное — поработить весь мир, уничтожая «целые расовые единицы» (как открыто заявлял Гитлер), всех, кого они посчитают лишними на «немецкой» планете. Восемьдесят миллионов немцев против двух с половиной миллиардов, заранее

¹ Новый мир, 1969, № 6, с. 126.

объявленных «низшими», рабами и в большинстве своем подлежащими уничтожению!

Лагеря были началом этой «работы». И моделью будущего мирового порядка.

«Вообще уровень страха в каждом лагере был, конечно, свой. Колебался он в зависимости от причин, которые можно учесть (например, чем больше лагерь, тем хуже) и которые учету не поддаются. Но, безусловно, была и общегосударственная отметка, к которой полицаи были обязаны дотягивать лагерный режим и которую они могли переходить как угодно далеко, поскольку в конце этого «как угодно далеко» была наша гибель. А в арбайтслагерях рабочая сила для Германии только начинала свой путь — завершаться он должен был в лагерях уничтожения».

Я и сам помню (об этом пишет и Семин), как это было даже непонятно (не говоря о других чувствах), когда видели мы, что немцы-конвоиры, «наводя порядок» в колоннах военнопленных или в толпе арестованных (когда людей хватили на базарах или на улицах для отправки в Германию), как немцы, будто нарочно, забегали наперед колонне и, комкая ее, мешая двигаться, куда сами направляют, начинали избивать людей. Просто «порядок» — этого им было недостаточно, это еще не вся их цель. Им нужно было все время удерживать и поднимать его — уровень страха. Держать людей в состоянии непрерывного шока. И чем большее скопление людей, тем сильнее должен быть страх — чтобы сквозь толпу, сквозь массу он проникал в каждого, в каждую душу.

«...В Германии, — читаем у Семина, — легче было там, где меньше людей. Отдельный человек виден лучше. Когда часто смотришь друг другу в глаза, в конце концов захочется и улыбнуться, и о чем-то спросить, и ответить на улыбку. А последствия этих улыбок невозможно проконтролировать».

«Чем больше лагерь, тем хуже...»

Можно представить, какая «мера страха» планировалась и какая поддерживалась бы, какими способами нарастающего террора, невысказанных зверств, если бы действительно вся планета стала фашистским лагерем.

И сколько ненависти обязана была бы выработать немецкая нация. И каждая немецкая душа в отдель-

ности. Той самой планировавшейся наряду с углем, снарядами, взрывчаткой, колючей проволокой ненависти.

Что уровень ненависти в фашистском государстве поддерживается выше, в Германии обнаружилось, когда руки власть предержащих ослабели и уже не доходили, не доставали до всякого и каждого.

«И количество ненависти,— отмечает В. Семин,— к нам не увеличилось к концу войны, как можно было ожидать, а уменьшилось. Ненависть была режимом, ритуалом, а к концу войны режимы обмялись».

Да, их сделали такими. Но они позволили, чтобы из них сделали самый ненавидящий и самый ненавистный на целые десятилетия народ в мире.

«...Цепь, несомненно, была одна. Это была страна, в которой дураки взяли верх над умными, жестокие и жадные — над добрыми. Это не сейчас, а тогда я так думал», — пишет В. Семин.

Думал так тогда, и не один он. И не он один потом задумывался над горьким опытом немцев. Опытom нашего, двадцатого, века.

«Только одним способом совершаются все фундаментальные победы дураков над умными. Под давлением обстоятельств умник сам себя подвергает ревизии, жестокость называет бескомпромиссностью, злобность — решительностью, участие в массовых преступлениях — долгом или голосом крови».

Но всему приходит конец, даже тому, что планирует себя на века и тысячелетия. И вот уже рушится «нечто такое, что с самого начала верило в свою бесконечность. Жестокости, не опасавшейся расплаты, самоуверенности, которая, казалось, сколько хотела, раздвигала свои пределы, приходил конец».

Но не так-то просто вернуть себе свои, ранее проданные, души. Они уже побывали в опытных руках бессовестных демагогов-манипуляторов, запятнаны, изгажены, в них «посеяны» бациллы, «трихины» (как любил называть это Достоевский) подлого отношения ко всем, кто «не мы...».

Но все рушится, и надо самим спускаться к другим людям и народам с «высот», на которые себя вознесли, спускаться, не дожидаясь, пока сбросят, столкнут, коли слишком промедлить.

А тем, кто столько лет внедрял в немецкие души

чувства вселенской ненависти, теперь очень бы хотелось подобным бешенством заразить и своих противников, уже вступивших в «логово зверя». Заразить, чтобы убить победителя своим трупным ядом. Зло, побежденное на полях сражений, было не прочь внедриться в души своих противников и тем самым затесаться в ряды победителей. Войти вместе с ними в собственные города, в Германию — снова.

А ведь удавалось. Кое-где.

В романе «Плотина» есть сцена дикой расправы победителей-англичан... над узниками фашистских лагерей, которых немцы затолкали в трюмы судов-сухогрузов и направили в море, чтобы утопить.

«— Сговорились, это ж ясно, — сказал Яшка.

Несколько дней по городу (отвоеванному у немцев англичанами.— А. А.) в мундирах со всеми орденами и знаками различия маршировали и просто ходили группами бесконвойные эсэсовцы и немецкие военные моряки. Непонятно было, кому принадлежит город сегодня и кому будет принадлежать завтра...

Война заканчивалась, как и начиналась, чудовищной жестокостью».

Жестокостью по отношению к тем, кто нес в себе слишком большой заряд антифашизма. А это уже было опасно для послевоенной Европы, по мнению того же Черчилля, который именно в эти дни велел собирать и складывать немецкое оружие — на случай, если придется его снова раздать вермахту.

Уже для войны против недавних союзников, против Советской Армии.

«По-рыцарски» обошлись с Рунштедтом и десятками других высокопоставленных убийц в генеральских мундирах, все сделали, чтобы ушли от возмездия и палачи помельче — даже те, что свирепствовали, например, на британском острове Олдерни¹.

И если дальше в своей работе я буду говорить о способности человека освободиться от ненависти, подчеркивать, какая это необходимая и жизненно важная в наших условиях черта человеческая, то, конечно же, имеется в виду совсем не такая вот расчетливая «гуман-

¹ См. об этом перепечатанную в журнале «За рубежом» (1981, № 33) статью Э. Стеколлы «Олдерни — остров молчания, ужаса и страха».

ность» политиканов и милитаристов, в которой — семена будущей бойни, еще более страшной. Семена, сознательно сберегаемые «до лучших времен».

Семена зла переселялись в почву ему близкую, благоприятную.

Бацилл жестокости, ненависти было рассеяно по миру больше чем достаточно. И очень многое зависело (а сегодня зависит еще больше!) от того, что в людях все-таки сильнее, достанет ли гуманистических «анти-тел» в их душах, способных сопротивляться эпидемиям жестокости, ненависти, всеобщего страха перед замыслами и действиями себе подобных.

В романах В. Семина полнее всего исследуется «на этот предмет» душа подростка Сергея Рязанова, но исследуется с такой пронизательной тревогой за всех, кто живет на земле и кому жить (или не жить!) завтра, что открытия и выводы писателя приобретают характер широкого обобщения.

Сергей Рязанов прошел через все, что и взрослые узники, чью судьбу он разделил. Но и через еще что-то свое, особенное, прошел он, если иметь в виду его внутренний мир: он ненавидел своих мучителей еще и за то, что они, все-таки взрослые, даже не замечают, не способны, разучились видеть страдающие детские, мальчишеские глаза, души...

«Я был как раз в том возрасте, когда каждая мысль приходит с силой, потрясающей все существо... Она приходит, и все тут. А это значит, что и к коменданту она приходит! Хочет он этого или не хочет. Когда он бил меня, он знал, что мужчина не должен избивать истощенного подростка, с которым и договориться толком нельзя, которого привезли насильно».

Так удивительно ли, что к этому мальчишке и ненависть пришла «с силой, потрясшей все существо».

«Это уже была не моя ненависть. Потому что сам я, истощенный и лихорадящий, так страшно, так сильно ненавидеть не мог!»

«— Взорваться с полицаями, жителями домов, из окон которых так хорошо был виден наш лагерь, — вот чем могла бы насытиться ненависть. Но теперь была надежда дожить, выйти за проволочные ворота, посмотреть на этих людей в их же домах, на их же улицах...»

* * *

И вот выжили, дожили, освобождение! Но какое-то странноватое. Пришли американцы, которые тоже воевали с фашистской Германией, но о том, что здесь, в этой стране творилось, то ли не знают, то ли не в состоянии этого понять. Или просто не хотят.

«Мы были участниками одной и той же войны. Но их война лишь отдаленно напоминала нашу».

Жестокость фашистов — этого они не испытали, а потому замечают лишь ожесточение бывших узников лагеря, готовящихся к расправе над комендантом. Тут же спасают коменданта, вырывают его из рук бывших жертв, увозят.

«Лагерфюрер тоже был сыт и чисто одет. И мы догадывались: подобное тянется к подобному».

Ревность тоже усиливала жажду возмездия.

Мы выдели мускулистую массивность эмпи. Их неуязвленность невзгодами, которые так хорошо были знакомы нам. Их готовность защищать немцев от нас. Союзническое равнодушие. И не ценили, что нас как бы просто разводят с немцами. Ведь нам не было сделано никакого внушения».

«Никакого внушения» — за попытку расправиться с немцем, прятавшемся в подвале. Чему помешал вроде бы американский патруль, внезапно появившийся, но на самом деле — нечто другое помешало. Что не во вне, а в нем самом — в Сергее Рязанове. Да и в Ванюше, «болеющим справедливостью» парне, в которого Сергей по-мальчишески влюблен.

Потом Сергей будет мучиться мыслями, сомнениями:

«...И кто же поставит мне в вину, что, тысячи раз представляя себе свою гибель, я столько же раз представлял себе гибель своих обидчиков. Тысячи раз думал я, как убью Пауля, коменданта или Пирека. Ночами клялся себе, что сделаю это».

Пауль умер сам. Случай выстрелить в коменданта я упустил. Это ведь только отговорка, что его увезли американцы. Пистолет-то был у меня в кармане!

Утешаясь мыслями о мести, я совсем недавно думал, что убить и быть убитым — самое противоположное. Противоположнее не бывает. А вот теперь чувствовал, что это чем-то похоже.

Что же другое помешало мне выстрелить, когда я

стоял в подвальной каморке, ощущал на лице тепло электрической лампочки и видел ее отражение в глазах немца и немки, сидевших на разворошенной постели?»

Подвальный немец увидел, понял, что они, эти страшные мстители, слишком не похожи на него самого, а потому — не выстрелят. Не видя в руках его оружия. И как положено арийцу, сразу их презирал, привычно: ведь все, что на него не похоже, — низшее!

Но сложность в том, что и Сергей Рязанов сам тоже презирает свою нерешительность, «слабость». И не могло быть иначе: ведь он вроде бы изменил себе, своим горячечным клятвам узника.

«Так почему они могли убивать сто за одного, а я не решаюсь одного за сто? Разве есть другой способ расквитаться? И как иначе избавиться от памяти, которая давит меня? Может, неполноценность, о которой толковали эти стреляющие мотоциклетки, и есть отходчивость? Не за нее ли нас презирала немка в подвале?»

Да что немка! Разве кому-нибудь в лагере расскажешь все как было? Разве не скривятся презрительно Костик или Блатыга? А я сам не презираю себя?»

Но существует в романе и другая на это точка зрения, другие оценки — Виталия Семина, выношенные, выстраданные в мыслях послевоенных. Писателю 70-х годов Виталию Семину особенно дорого и важно в поступках и переживаниях своего героя как раз то, что его тогда смущало, мучило, ставило в тупик, принуждало стыдиться и даже себя презирать. Это такие вот случаи и открытия его героя:

«Не рассказывал я (своим товарищам. — А. А.) о напряжении, которое испытывал, стоя перед этим немцем и готовя себя к выстрелу. А было оно таким, будто курок заклинило и я не сумею его нажать, даже если немец на меня бросится».

«Со страхом и неприязнью к себе я заметил, что мне не по силам поступки, которые бы полностью соответствовали бы моим же мыслям и желаниям... Я был обязан убить форарбайтера Пауля, но удерживался, хотя не ярость это уже была, а наваждение...»

«Через много лет история эта (еще одна попытка выстрелить, отомстить. — А. А.) вдруг обессилит меня воспоминанием. И облегчение будет, как при нечаянном избавлении. Уже было оступился, но вдруг услышал

в темноте то, что и услышать нельзя, — дыхание глубины.

Тогда, однако, главным ощущением была досада на слабость. Мог ее не показывать, но ведь сам затеял непосильную игру. И должок Блатыге увеличился. Долг блатным всегда растет, а не остается тем же самым. И Костику позволил презрительно хмыкнуть.

Но самое досадное — обнаружил, что слишком слаб для возмездия. Оказалось, оно требует сил, которых у меня нет. Это было открытием. Три года ненавистью клялись. Возмездие казалось не только желанным, облегчающим-обязательным. Без него не вернуть власти над собственной судьбой. Да что там! Дышать будет нельзя...

И вот не могу выстрелить».

Мы все это чувствовали на войне: через страх и ненависть, «смертью смерть попирая». Но выходили к правде, которая открылась герою Семина — к той большой правде: *убить и быть убитым — это чем-то похоже* — далеко не все. Многие выходили, но позже или гораздо позже.

Одного годок Виталия Семина, я не могу, читая его романы, не примеривать все к себе — тогдашнему. Много сходится, очень многое — если не в судьбе и поступках, так в переживаниях, мыслях.

Да, как это точно — то, о чем рассказано у Семина, — не только о своем, но и о нашем он поведал!

И мучение, страх перед запоздалым раскаяньем, что мог убежать («вот сейчас могу!») в лес, не дожидаясь, пока фашисты схватят и уволочут к себе — мучить, издеваться, забивать! — кто из подпольщиков не переживал этого состояния и наяву и во сне?.. Или презрение к блатным, которые еще вчера казались нам самыми смелыми, отчаянно готовыми жизнью рисковать по любому поводу, а когда до дела дошло, оказались самыми бессовестными трусами и «придурками», увиливающими от боя, от дела. (Были у нас в отряде такие — один даже из нашего поселка, знакомый еще со школьных дней.)

Или ненависть к немцам, к самому слову «немец», которая вскоре стала впереди всего остального и над всем. Но в то же время (как это вязалось, не знаю) наша, хотя и стыдливая, но все равно готовность обрадоваться любому случаю (или хотя бы слуху), что какой-

то немец вел себя или повел себя в соответствии с нашими довоенными представлениями о «немецких рабочих и крестьянах». («Добежал до партизанских окопов, схватил пулемет — и по своим»!) Жило в нас это, жило — как угли, жар под пеплом — довоенное, то самое школьно-интернационалистское, не уходило окончательно!

Но вот это: «Убить и быть убитым... чувствовал, что это чем-то похоже»... Сергей Рязанов из семинского романа так чувствовал еще тогда. Боюсь, что многие из нас, его одноклассники, если и ощутили, осознали правду о человеке на такую глубину — то гораздо позже. Ощущали, может быть, и тогда, но слишком она была не ко времени, эта правда о нас самих, и чувство свое мы не впускали в сознание. Считали его невозможным, а потому и несуществующим.

Но когда война кончилась, я его тоже зафиксировал, чувства такого след. По свежей памяти. В записях, которые делал в 40-е и 50-е годы, не думая еще, что пишу роман или повесть.

Это самое чувство («убить и быть убитым... это чем-то похоже»), но уже напрямую повернутое к нашему времени, к атомной опасности, я заново обнаружил в «Хатынской повести» (почти неожиданно для самого себя), совсем недавно. Уже после того, как прочел «Плотину».

«Сон мне один запомнился и не само событие сна, а чувство необычное, сдвоенное. Будто я вверху, на самолете, но внизу тоже я. И вижу себя и боюсь самого себя: гоняю по открытому, как стол, полю того, кто внизу, беззащитного, маленького. И вдруг маленький, испуганный, злой — тоже я — опрокидывается на спину и стреляет, стреляет в самолет. Я почувствовал, что попал и что падаю, лечу прямо на стреляющего, сейчас встретимся, насмерть ударимся друг о друга, и я прошу, молю, чтобы падающий или стреляющий снизу, чтобы хоть кто-то остался, уцелел»...¹

Когда сегодня вспоминаешь себя прежнего, того и гляди, что придется, подобно семинскому герою, оправдываться за то, чем вчера гордился больше всего. Или, наоборот, гордиться тем, чего когда-то стыдился.

¹ Адамович А. Избр. произведения: В 2-х т.— Мн.: Маст. лит., 1977, т. 2, с. 216.

Сергей Рязанов мучится стыдом: почему не стрелял? Мы, многие его одногодки, — стреляли. В несколько иных условиях, конечно. (И главное — в тех, кто сами вооружены и потому смертельно опасны.) Но одними условиями все не объяснишь. В герое Семина что-то выражено было, возможно, сильнее, более полно, чем в других его одногодках. Или осознанное.

Да, что-то меняется — в нас самих. Возможно, под влиянием критической ситуации, в которой сегодня живет человечество, но мы лучше замечаем в себе нечто такое, что и тогда в нас жило, присутствовало, но что могло казаться второстепенным, случайным или даже стыдным. А вот сегодня именно это выступает на передний план и видится по-иному. Э. Хемингуэй в письме своему русскому переводчику И. А. Кашкину в 1939 году написал: «Война — это зло. Однако иногда необходимо сражаться. Но все равно война — зло, и всякий, кто станет отрицать это, — лжец. Но очень сложно и трудно писать о ней правдиво»¹.

Сказано это не сегодня, но сегодня мысль, что «война — зло, и всякий, кто станет отрицать это, — лжец», близка, нужна, очевидно, куда большему количеству людей.

Мы все чаще — и это тоже не случайно — цитируем симоновские слова: «Как бы ни были высоки наши побуждения, война все равно оставалась... противоестественным состоянием для каждого человека, не потерявшего людской облик»²...

Нам все еще (по привычке) нужны авторитеты, их слова и формулы — потому что чувства наши по отношению к войне (уже любой войне) резко «накренились»: ведь само судно человеческой цивилизации осело и крепится от смертельно опасных грузов...

И вдруг появляется произведение — «Плотина» В. Семина — в котором уже не слова и формулы, а живые переживания по поводу, сегодня нам близкому и понятному как никогда. Роман Семина удивительно помогает нам, людям 80-х годов, очень многое в душе, в сознании (и в памяти, у кого она зачерпнула войну) переоценить и заново упорядочить — в согласии с ве-

¹ В кн.: Кашкин И. Эрнест Хемингуэй. — М.: Советский писатель, 1966, с. 284.

² Вопросы литературы, 1965, № 5, с. 51.

ком. Началось это и до Семина и без Семина, его роман, может быть, лишь кристаллик, попавший в перенасыщенный раствор, — отчего, как известно, реакция «выпадения кристаллов» сразу ускоряется...

* * *

Трижды Сергей Рязанов пытается убить — не просто немца, но и самого себя прежнего, того, *который не может нажать до конца на спусковой крючок. Убить и разрядиться, убить и освободиться.* Ему кажется, что это единственный ответ на их жестокость и на собственную невыносимую ненависть. Единственный способ восстановить равновесие в мире, порушенное *ими*, их безжалостным надругательствам над миллионами судеб, жизнью. Без этого поступка, кажется Сергею, жить дальше будет невозможно. Зло останется неотмщенным, а следовательно торжествующим.

Он так и уедет из поверженной Германии, разбитой и сожженной огнем, который сами немцы взожгли — увозя не только боль пережитого, но и стыд, униженность собственной «слабостью».

И только через много-много лет он по-другому взглянет на то, что в нем было, что с ним происходило, творилось.

Нет, все-таки откуда в нем это — из прошлого или из будущего? Чем рожден, чем поддерживался тот внутренний запрет, так и не позволивший преодолеть «металлическое сопротивление под указательным пальцем» — выстрелить в первого, во второго, в третьего? Хотя все кричало, требовало, обязывало это сделать. Все, в том числе и чувство справедливости.

Да, хочу подчеркнуть: и чувство справедливости! Как мы его понимали в те годы. Да и сегодня еще, пожалуй, понимаем.

Но к этому вернемся потом, а пока вслед за писателем возвратимся в детство, в довоенную жизнь Сергея Рязанова, попробуем искать истоки, ответы.

Откуда в нем, в семинском герое, этот запрет, эта «невозможность» выстрелить в упор даже в ненавистного человека?

«— Да не целуй ты меня! Не называй дурацкой «ласточкой»!»

— Не смогу, — смеялась мама, — все равно проговорюсь».

Это из более раннего семинского произведения о жизни все того же автобиографического Сергея Рязанова (повесть «Ласточка-звездочка»).

«Эта жалостливость, которую он знал за собой и не любил (Сергей считал, что это мать испортила его в детстве своей необузданной ласковостью), была чувством хлопотливым, толкавшим Сергея на ссоры с ребятами, озорными, ловкими драчунами»¹.

В романе «Нагрудный знак «OST» есть такой разговор матери Сергея с отцом, человеком честным, добрым, но слишком уверовавшим в слова и формулы «надо», «должен».

М а т ь. Мальчик ни в чем не виноват. Он слишком мягок и добр.

О т е ц. Мягок! Добр! Церковные добродетели! Сейчас за доброту сечь надо, как за воровство. Мы живем в мире...

М а т ь. Мне был бы противен мир, где за доброту надо сечь... Доброта и порядочность...

О т е ц. Знаю, знаю. Все знаю. Но с мальчишкой нужно быть пожестче — это в его же интересах...»

Именно потому, что он добр, жалостлив, Сергей уже в детстве не раз безоглядно бросался в драку с обидчиками слабых — в драку до крови. Но в подслушанном ночью разговоре матери с отцом он тоже, конечно же, не на стороне «жалостливых»: стыдится материнской опеки, ее горячей ласковости — мальчишки задразнили!

Но потом, потом как будет взывать к доброте и жалости, отрезанной от него войной, чужим бессердечным миром фашизма, — к ней, к матери, по-детски будет взывать!

Все время снится ему не только хлеб, оставшийся там, дома, но и любовь, которой было когда-то в избытке, даже тяготившем его избытке. Он и душевно истощен до предела — хлеба, хоть и голодная «пайка», но перепадает ему, а любовь, ласка, жалость — они только в памяти, на самом донышке...

«Я не боялся, что мастер ударит меня. Пиджак на животе и брюки до колен у меня порвались (таскал тяжеленные металлические заготовки. — А. А.), а до

¹ Семин В. Ласточка-звездочка: Повесть. — В кн.: Семьсот шестьдесят третий, с. 16.

утра было так же неправдоподобно далеко, как и до конца войны.

Некоторое время следовало бы потянуть, но я сразу же использовал свой единственный способ прервать работу.

— Аборт! — сказал я немцу и пошел в уборную.

Немец закричал и побежал к мастеру. Но я уже прошел освещенное пространство. В соседнем, шишельном, была темнота. Я шел, минуя освещенные участки, — торопился в уборную поплакать, и если слезы сразу не шли, я говорил себе: «Мама!» — и сразу заливался. Но с тех пор, как мы с Валькой бежали, я ни разу не плакал, и это тоже, наверно, страшно истощило меня. Мне надо было хоть от кого-нибудь услышать слово жалости, и я шел сказать его себе».

Ну, а те, кто не знал и знать не хотел, постарались даже забыть эти слова — сострадание, доброта, разве не было у них матерей, и, может быть, тоже ласковых и жалостливых? Таких, как немка, что попала на пути брылевским лагерным беглецам...

Матери есть матери. Но, значит, слишком многое зависит еще и от общего климата, в котором живут и дети и сами родители.

Нас готовили к войне, учили воевать, но жестокости не учили — а ведь мысль эта из повести Вячеслава Кондратьева «На сто пятом километре» очень даже справедлива. Противоречиво все было в той, в довоенной жизни. Как пишет тот же Кондратьев, имея в виду миропонимание своего поколения тех лет: «Люди разные и должны быть такими, наверно, но в одном они должны быть одинаковы — в безусловной вере в правоту происходящего в стране и готовности отдать за это жизнь. Таково время! А все лишнее, ненужное обрубить безжалостно»¹.

Вопрос, однако, в том, что посчитать «лишним». Отец Сергея Рязанова, тоже на само время ссылаясь, отбрасывал доброту, жалость. На словах только, потому что по натуре он был человеком мягким, доброжелательным. Он — на словах, но другие-то на деле.

Но сколько их ни было, тех, других, и как ни сильны они были, что-то все же было сильнее их в той, в до-

¹ Кондратьев Вячеслав. Сашка: Повести и рассказы. — М.: Советский писатель, 1981, с. 16.

военной действительности, если вырастали на ней такие натуры, души, характеры, как Сергей Рязанов.

Он сам пытается объяснить себе (и нам) — откуда это в нем, то, чего он даже стыдится, как слабости, как бесхарактерности. Ведь мир, в который зашвырнула его война, он-то уже действительно «слезам не верит»! Там все «плюсы срезаны на минусы» и наоборот.

«Главной моей предвоенной страстью было чтение. В иные минуты мне казалось, что вся моя предвоенная жизнь — это сплошное чтение... То было время осуществления напечатанных слов, даже если они были написаны очень давно. И Жюль Верна, и Майн Рида, и даже Дюма раньше мальчишки не могли так читать. Все слова в их книгах были обновлены, стали многоцветны и содержательны, потому что получили опору в нашем времени. Сбылись или сбывались все победы добра и все технические прозрения».

Видели, замечали многое, понимали далеко не все, что лишь потом нам открылось, через десятилетия. Но заряд гуманизма получали, и даже очень мощный — на идеях интернационализма, братства и самопожертвования по отношению ко всем Гренадам, ко всем, кто унижен и оскорблен. Себя видели, считали Крезами — нет, не по богатству, зажиточности, а по открывшимся нам очевиднейшим истинам, как устроить на земле, чтобы ушли из мира несправедливость, бедность, эксплуатация, жестокость, войны и все, все, «что было до нас».

И я тоже помню, как все это проявилось, работало в первые же недели войны, оккупации — в нашем небольшом рабочем поселке. В романе «Война под крышами» я этот случай описал как умел. Это эпизод, когда немцы решили «повеселить» нас, вместе с нами «поразвлекаться» — выставив на позор, раздев на глазах всего поселка старую больную женщину. (У нее была мания одеваться в мужское, выдавать себя за мужчину — сдвиг в психике после фронтовой контузии. В первую мировую она была сестрой милосердия.) У оккупантов появилась, видимо, и агитационно-политическая цель: продемонстрировать, «как маскируются агенты НКВД».

И вот на трибуне, на глазах у сотенной толпы, они это проделали: сорвали со старой женщины одежду, ударили «гумой» (резиновой палкой) и, улыбаясь, по-

ощряюще смотрят на людей. Ждали, наверное, ответного веселья, хохота. Наверняка ждали.

А толпа отхлынула, сжалась, как от холода. Точно ее, точно всех нас они раздели, замахнулись палкой...

До этого момента мы их еще боялись. С этого — стали презирать. Действительно улыбаться, действительно хохотать — но над ними, над этой «Европой на машинах», которая лупит друг друга по мордасам (офицеры — солдат), которая по-немецки громко портит за столом воздух и которой ничего не стоит ударить женщину, ребенка...

Они не страшны, они гадки стали нам. И это для оккупантов, как показало время, было самое опасное. Презирая, уже не будешь бояться, даже если опасность смертельная.

Как они ни зверствовали, ничего не могли поделаться с населением, для которого они-то и были «недочеловеки». Разве может человек избивать женщину, ребенка, убивать? Недочеловеки, нелюди и есть!

Вот один из истоков — психологический, нравственный — партизанской войны в каждом городе, поселке, деревне. Вот сила, с которой фашизм так и не совладал. Никакими средствами, никакой жестокостью не мог он поставить на колени тех, в чьих глазах немцы-оккупанты потеряли облик человеческий.

Позволю себе выписать одно место из книги «Я из огненной деревни...»:

«А дальше давай нас... Поставили, привезли ящик и поставили на ящик пулемет. На скрыню, что картошку возят. Придет немец — выпихнет каких, значит, души три, четыре, пять — сколько он отсюда выпихнет. Кто ж это хочет идти под расстрел? Ну, матка, это, забирает своих, семью вот обхватывает и падает. Они ж кричат: «Падайте!» Матка своих детей, какая там родня — обнимутся и падают. И они из пулемета строчат...

Я все так сзади стояла, не выходила, ага.

Так все видят, глядят в окно, говорят:

— Вон, моя дочка горит, и внуки горят...

И вы скажите — чтоб кто заплакал или что на свете!...»¹

¹ Адамович А., Брыль Я., Колесник В. Я из огненной деревни... — М.: Известия, 1979, с. 62.

Да я сам себе не поверил бы, если бы я это сказал, написал — то, что подчеркнул! Но женщине из полеской деревни Тэкле Кругловой, которую дважды в тот день жгли-убивали и которая осталась жить, чтобы это рассказать, — ей верю. Каждому ее слову.

«...И вы скажите — чтоб кто заплакал или что на свете!...»

Не плакали, потому что не к кому было обращать плач свой, слезы, мольбу: те, кто *такое* могли делать, *такую* работу выполнять, не были уже людьми в глазах Тэкли Кругловой и тех, кто с нею рядом находился.

Народ наш помнит это, знает, не забыл. Но удивительно, с какой цепкостью удерживаются в его обожженной памяти и те случаи, когда в немце увидели, разглядели человека, потому что повел себя как человек. В Борках Малорицких (Брестская область) о таком немце помнят, рассказывают все, кто уцелел после зверской расправы карателей над сотнями жителей Борок. Как он, тот «чудной немец», плакал, как упал от ужаса и горя, в отчаянье за всех: за убиваемых и за убивающих. Ведь убивающие были его земляки, его родная, но взбесившаяся кровь.

* * *

«Винтовку я взял, чтобы поугаждать собственную слабость, — так описывает Семин «первую попытку» своего героя. — Пришла минута расквитаться, которую так долго ждали, перед которой клялся страданиями миллионов людей. И немец, в которого я целился, несомненно, был фашистом. Ни в повадке, ни в партийных усах не мог я ошибиться. И возмущенные крики его жены, и сына только возбуждали мою память».

Из окна барака, в котором три года истязали голодом, унижениями, побоями привезенных в Германию узников-рабов, высунулся ствол винтовки и издевательски-испытывающе следит, следует за шпацирующими, прогуливающимися немцами, которые под опекой американцев уже поняли, что страх перед расплатой был напрасный («Пронесло!»).

А тут эта винтовка! Наглость! Эти иностранцы, эти «унтэрменши» всегда нарушают «орднунг». Вчера — немецкий, сегодня — американский.

Немец с фюрерскими, «партийными» усиками, за которым вопрошающе следил ствол Сергеевой винтовки, не спасовал. Чего-чего, а солдатской выдержки, хладнокровия у них хватало. А тем более — на глазах у жены, сына и когда на его стороне «орднунг» и сам, да, да, справедливость!

«Спасовал» Сергей. Хотя, казалось, на его стороне тоже немало аргументов и болельщиков, подталкивающих: выстрели!

«Три года натягивалась пружина. Была потребность не просто сбросить унижение, а дать знать об этом городку, который окнами домов все эти годы сверху смотрел на нас. И возмущенные крики мальчишки в белых гетрах и немки в светлом пальто действовали на меня совсем не так, как можно было предположить.

Не крики спасли меня от выстрела. Я затеял игру блатных, а сам их ненавидел так же, как полицаев...»

«Болельщики были, конечно, и у немца и у меня. И на палец на спусковом крючке одинаково давило внимание и тех и других.

Несчастную свою глупость я в этот момент понимал прекрасно. Видел, что немец выдержит до конца».

Еще бы: на стороне немца возмущение всего городка.

На его стороне оказалось, в его пользу сработало и еще что-то — в самом мальчишке, взявшем винтовку. Что — Сергей и сам не знает, но что-то ему подсказывает, говорит, что он «глупость затеял».

«После трех каторжных лет мне и в голову не приходило, что я так связан с собой довоенным» — сказано в повести устами героя.

С тем нашим довоенным, о чем выше говорилось.

«И когда я вел винтовку вслед за немцем, надеясь, что он все-таки испугается, я понимал, что палец на спусковом крючке напрягается не только от жажды расквитаться, дать немецкому городку почувствовать унижение, которому нас подвергали три года, но и потому, что в эти радостные и сумасшедшие дни я заразился той самой жестокостью, которую сам же ненавидел. И удержать меня от нее может лишь то, что есть во мне самом».

Лишь то, что получил когда-то, чем зарядился на всю жизнь дома и что привез сюда, в проклятую для миллионов узников фашистскую Германию.

«— Пацыр! — сказал мне Блатыга, когда немец прошел мост, — не можешь — не берись».

«История эта не забылась, — отмечает автор из 30-летней дали. — Но я никому ее не рассказывал».

Ни отцу, ни тем более матери. «Хотел было, но почувствовал, что это почему-то невозможно».

Я не догадывался, какая сила в самой этой невозможности»¹.

«В Германию я попал, — вспоминает герой Семина, — с почти ненарушенным представлением о себе, людях, нормах бытия. То есть, конечно, с книжными представлениями. Все оказалось не таким. И люди, и нормы, и я сам».

А это уже о Яшке Зотове, который через концлагерь прошел, через самый ад:

«...он не только выжил, но и нисколько не растерял уверенности, что жизненные правила, которые он усвоил у себя дома, самые лучшие».

Эти нормы не противились ни чувству ненависти, ни чувству мести-возмездия — нет, мы все еще в таком мире, где ненависть к человеку ненавистникам нормальная защитительная реакция добра против зла.

Сербский классик Иво Андрич мудро-афористически сказал когда-то: «Ненавижу только тех, кто ненавидит других людей...» (Но добавил — о блаженные доатомные времена! — тоже наболевшее: «...и еще изредка тех, кто пренебрегает искусством».)

Классик белорусской прозы Кузьма Чорный так выразил формулу ненависти гуманиста к фашисту:

«Я возненавидел его за то, что он приволокся на мою родную землю, отнял у меня радость, загнал меня в оглобли и не позволяет мне быть, как прежде, мягким и добрым, милосердным и незлобивым при виде чужого страдания» (роман «Млечный путь»).

От имени этих, таких же нормальных (у которых и ненависть нормальная), людей герой Семина говорит

¹ А я, читая про это у Семина, не мог не вспоминать свое: как посмотрела мама на моего старшего брата — с внезапным испугом, отчуждением, — когда после боя он появился в зеленом немецком френче. Не потому, что немецкое было на нем, а что — немцево (с убитого). Пришлось хлопцам объяснять, что это не он, что они — и подарили ему (так оно и было в тот раз). Вот так, хотя она сама в отряд нас привела (мы, конечно, рвались туда, но решающее слово было за ней) и знала, что идем в партизаны, чтобы убивать немцев. (Примечание автора. — А. А.)

твердо, убежденно, потому что это опыт всей его нелегкой жизни, и, может быть, главный опыт:

«Но я не знал еще, что злоба и мстительность у обычных людей спадают, как спадает зубная боль. Они подерживались насильно. (Не только в немцах, но и в узниках Германии — это было необходимо «фюрерам». Об этом уже говорилось выше.— А. А.). И возбудить их в себе по желанию невозможно. А жалость, любопытство тут как тут».

Окончилась война, и «зубная боль» измученных душ — ненависть, мстительное чувство — начинает спадать, но на место этого к герою Семина приходят отнюдь не успокоение и счастье, а тоже мука — юношеская мысль-заноза о предательстве, о слабости, да же неполноценности.

«Это была какая-то постыдная отходчивость! Страшно сказать, мне не хватило гнева, памяти. Где я их растерял? За какое время? За несколько недель при американцах? При такой памяти на зло, вооружен ты или нет, тебя возьмут голыми руками».

В третьей (а по времени она вторая) попытке Сергея победить в себе эту «постыдную отходчивость» есть нюансы несколько отличные от того, о чем говорилось. Недавние узники стали ходить по улицам немецкого городка, ездить в трамваях — «как люди». Но недавним нацистам, даже разгромленным, трудненько было сразу же признать, что это не есть нарушение немецкого орднунга. Орднунг, порядок — это у них в крови, не с Гитлером это в них вошло. Гитлер только окрасил это в откровенно расистские цвета.

«Однажды вслед на нами в трамвай поднялся немец с дочкой и женой. На полном его лице выступали капельки пота. Это был плотный, сильный человек. Его раздражали трамвайная духота и теснота. Но его просто взорвало, когда он понял, за кем поднимался в трамвай и с кем рядом стоит.

С нерасчетливостью бешенства — нас было трое — он заорал тем самым голосом, который мы так хорошо знали. Привычным жестом сильной руки показал нам на выход — вон! И первый услышал тишину, которая наступила в трамвае. Руку он опустил, но продолжал орать, уже обращаясь не к нам, а к трамвайным пассажирам...

Мы искали этот случай, чтобы усилить ослабев-

шую решимость к возмездию. Но мы не ждали такой тесноты. Не ждали, что рядом с немцем окажутся дочь и жена и что трамвайная тишина сложится в нашу пользу. Но, может, труднее всего было от вежливых полуулыбок, с которыми мы только что сторонились, освобождая место немцу и его жене, сразу перейти к чему-то другому.

Кто-то из пассажиров сказал немцу что-то укоризненное. А он, уступая нашим засунутым в брючные карманы рукам, отходил к стене трамвайной площадки. Это тоже смущало нас. От неукротимого здоровяка мы ждали яростного сопротивления. Присутствие жены и дочери должно было возбуждать его самолюбие. А он, не прекращая бешено орать, послушно отходил под нашим несогласованным напором.

Лучше трамвайное окно, в которое он уперся своей белой рубашкой, было бы подальше. По смущенным лицам напарников, по собственному смущению я чувствовал, что наши брючные карманы так и останутся оттянутыми. Никто из нас не решится в трамвайной тесноте ответить яростному ненавистнику так, как он это заслуживает.

Плюясь и проклиная, немец сошел на ближайшей остановке. За ним дочь и жена. Он грозил нам той же рукой, которой помогал им сойти по трамвайным ступеням».

И дальше мы слышим, мы видим, что происходит с теми тремя, что на глазах друг у друга так «опозорились». Собственно, считают, что опозорились только двое — Сергей и Костик. И надо найти кого-то, кто виноват в этом больше всех — конечно же, Василь, тем более что и лагерная кличка у этого крестьянского парня Дундук, т. е. размазня, рохля. Стали рассуждать, кто «шарахнул бы немца», не задумываясь.

«— Блатыга немца не шарахнул бы? — спросил Костик.

— Лучше он нас кого-нибудь шарахнет, — не сразу ответил Василь».

То ссорятся, то молчат...

«Из глубины этого молчания возникло что-то совсем уж неподобное.

— Зачем немца шарахать? — сказал Василь, словно решил выговориться до конца.

— Он же фашист! — сказал я. — Месяц назад он бы тебя живьем съел!

Василь молчал, и я возмутился:

— Что же ты молчишь?

С той же набыченностью Василь ответил:

— Пусть.

Что пусть? — взорвался я.

Василь отвернулся. Иногда мне казалось, что я слишком рано взрываюсь и Василь отворачивается от крика, от возмущения, на которое не хочет отвечать тем же...»

Кто этот Василь и что его упрямые слова означают: «Кому надо, пусть шарахает»?

Новый вариант толстовского Каратаева, встретившийся Семину и его герою? Или что-то иное — не из прошлого, а из будущего?

«Мы столкнулись с какой-то невозможностью. Костик и я не могли с ней согласиться. А Василь сразу же ее для себя признал...»

Да, в нем, в Василе, есть что-то очень народное, из глубин тысячелетнего опыта, хранящего память о той истине, что слишком много и часто все обижали всех. А поэтому последний по времени случай пусть не кажется чем-то исключительным, требующим воздаяние за все вины-провинности. И твои тоже.

«Когда мне не удавалось победить свой страх или жалость, я стыдился. У Василя же было раздражавшее меня бесстыдство признать правильным то, что чувствуешь».

Сергей, как почти все его ровесники, насилует себя, старается «словами заговаривать» такие свои ощущения, которые ему казались неправильными, уже не соответствующими «норме». Василь — что чувствует (жалость, стыд), то и считает правильным.

Его присутствие в данной сцене и в романе вообще помогает подчеркнуть, выделить и в Сергее главное, отделяя это главное от вымученно наносного. Хотя сам Сергей и стыдится в самом себе «Василя» (еще бы — Дундук! Размазня!), но живет и в нем такой «Василь», обнаруживается в самих поступках, в невозможности переступить через границу, черту, которая отделяла нас от них, фашистов. Да, им «можно», на то они и фашисты, а нам нельзя — многое, очень многое нельзя! А иначе

количество зла в мире никогда не уменьшится, зло будет лишь перекрашиваться в другие цвета.

Нет, не простая это проблема и не просты те ситуации, чувства, мысли, сомнения, открытия, которые составили содержание романов Виталия Семина. Сложнейшие нравственные вопросы ставит, задает нам век глобальной атомной угрозы. Виталий Семин пошел им навстречу, может быть, дальше всех нас, пишущих о войне.

Мучительная сложность таких вопросов открылась нам с Элемом Климовым, когда в 1977 г. работали над сценарием фильма «Убейте Гитлера!» (по «Хатынской повести»). Предполагалась такая сцена — финальная в том, все еще неосуществленном, фильме...

Партизаны и жители с последним уцелевшим скарбом и двумя-тремя коровами пытаются оторваться от немцев-карателей и уйти через горящие торфяные поля. В полубреду от чада и усталости после целого дня хождения по замкнутому кругу, когда не понять было, кто преследует, а кто уходит от преследования, мальчишка-партизан Флера Гайшун представляет себе, рисует фантасмагорическую картину. Вот такой процессией выходят они прямо в освобожденную до самого Берлина Европу, проходя через ликующие столицы и деревни, — все с теми же коровами, побуревшими от ожогов и сажки, несут свой небогатый скарб бабы, детишки, партизаны — но словно не видимые никем, не смешиваясь с толпами других людей.

Потому что у того, кто это представляет, рисует в воображении, осталась в жизни одна-единственная цель, ему нужен лишь один человек на всей земле. Чтобы его убить.

Вот эти сцены, так и оставшиеся в режиссерском сценарии:

«...Флера и Глаша, и идущие за ними, проходят на фоне Бранденбургских ворот.

Перед ними толпа, охрана-оцепление.

Из подземного бункера на белый свет выводят фашистских главарей.

Флера стоит в толпе. Флерины глаза ищут ЕГО, самого главного.

Вот он! В шинели, с поднятым воротником, без фуражки, небритый, мешки под глазами. Гитлер, пря-

ча глаза, идет вместе с остальными к серому крытому автомобилю с решетками на окнах.

Перед тем как поставить ногу на ступеньку, он оборачивается. Взгляд Гитлера останавливается, он не может не заметить парня в грязной немецкой форме — такие у него глаза, у этого парня!

Гитлер видит, что парень медленно поднимает ствол винтовки, у которой разбитый приклад, как кулья, обмотан тряпкой.

Гитлер пытается скрыться в автомобиле, но поздно — гремит выстрел...

Быстро крутится назад хроника жизни — его и фашистской Германии. С обвальным грохотом крутится: 1945...1943...1941...1940...

Следующий выстрел настигает фюрера на трибуне огромного стадиона, пробивает его насквозь, разрывая в клочья!..

И встают из руин рухнувшие дома, снова целы Варшава, Минск, Сталинград...

1938... 1936... 1934.... Теперь Гитлер, только что захвативший власть, убит в открытом автомобиле на каком-то параде!

Флера стреляет холодно и методично — надо убить этого «зверя», убить все, что сделало слово «немец» синонимом самого страшного зла — фашизма!

И убитые, замученные встают. И нет, не было Дахау, Освенцима, Хатыней...

Выстрел прошивает Гитлера, когда он появляется с бандой штурмовиков на улицах старого Мюнхена.

Дымящаяся дыра в фотоизображении Адольфа Шикльгрубера-Гитлера, ефрейтора первой мировой войны.

Выстрел! — и нет безусого парня с челочкой, который позирует вместе с папой и мамой на фоне австрийского пейзажа.

И вот в стволе Флериной винтовки последний патрон, он целится...

Перед ним — женщина, обычная немецкая женщина конца прошлого века. Одета скромно, но чистенько. На руках у нее годовалый младенец. Женщина смотрит в фотоаппарат, откуда вот-вот вылетит «птичка» для ее младенца. Она — мать, обычная мать, которая родила на свет божий ребенка, мальчика. Она верит, как каждая мать, что подарила миру если не доброго ге-

ния, то хорошего, честного, нужного людям человека...

Флера медлит, не нажимает курок.

Женщина с младенцем спокойно и счастливо смотрит на него».

Она не знает, ей знать не дано, что ее невинный младенец Адольфик, когда вырастет, зальет кровью и слезами вот таких же младенцев и матерей полмира! А мальчик с винтовкой это знает, он это видел, познал, испытал. Он живет в мире, где нет имени ненавистнее, для сотен миллионов людей, чем Адольф Гитлер.

Что он сделает, этот мальчик, — выстрелит или не выстрелит в младенца Гитлера?

Фильм мы собирались закончить-оборвать на вопросе без прямого ответа.

У нас допытывались: все-таки выстрелит? не выстрелит? что этой сценой вы хотите сказать?

Реальный Флера в реальной ситуации, возможно, и выстрелил бы. После всего! Для таких, как Флера, фашисты не были людьми. Они сами заставили, вынудили — своими нечеловеческими делами — смотреть на них, как на бешеных собак.

Флере, у которого всех убили, сожгли, который вырвался из одной из белорусских Хатыней, где сожгли всех жителей вместе с детьми, ох, как трудно было бы все учитывать, взвешивать... Но ведь и у того солдата из Минска, который спас немецкую девочку, а теперь стоит бронзовый в центре Европе, в Трептов-парке, у него фашисты убили детей, жену, стариков родителей, и вот он действует как спаситель, хотя шел в «проклятую Германию» как мститель... Отдал собственную жизнь за жизнь немецкого ребенка. Да, ведь перед Флерой какой «младенец»!.. Но и бросить себя под огонь из-за «их» ребенка — разве тот солдат думал в Минске, что поступит так в Берлине?

Мы решали задачи с конкретной, индивидуальной психологией. Но в предложенной ситуации важна прежде всего нравственная идея, которая вырастает из самой неразрешимости (без потерь) такой ситуации. Неразрешимости в условиях, в мире, где все еще «убей!» звучит как вполне нравственное (а иногда — и высшее нравственное) требование. Но в конечном счете одно «убей!» цепляется за другое, как зубья огромной шестерни, и дьявольское колесо, не нами, не в наше время запущенное, вращается все стремительнее.

Выстрели в «младенца» Флера — что, не стало бы будущего убийцы? Но кто он, если не тот самый убийца — человек, выстреливший в ребенка, способный выстрелить? Зло не только осталось среди людей, но и приблизилось.

Царь Ирод истребил всех младенцев, чтобы не пришел, не прорвался к людям тот, кто ему, Ироду, опасен. Современное прочтение древней притчи не в том, что Ирод злодей из злодеев. А в том, что сам «метод» его — злодейский. Подобные методы, средства способны исказить неузнаваемо любую цель.

Гитлеры, большие и малые, вырастают — в конечном счете — из способности человека убить себе подобного. Убивать себе подобных. По какому поводу, по какой доктрине — это все еще важно для людей. Даже важнее для некоторых самого существования рода человеческого. И вот звучит из уст человеческих: «Есть вещи поважнее мира и пострашнее войны...» Это в атомный-то век!

Убить самое убийство, и не одно лишь атомное, но и всякое иное — только так можно навсегда убить Гитлера!

Да, быть убитым и убить — не самое противоположное в нашем мире. Увы, прав в своих мучительных раздумьях герой Виталия Семина. И наш с Элемом Климовым герой в той фантазмагорической сцене-ситуации, в нашем неосуществленном фильме целился и в себя самого. Не убил бы он Гитлера своим выстрелом в «младенца», наоборот, позвал бы, покликнул в мир и без того ожесточившийся.

А впрочем... Может быть, он как раз в самое смерть, в убийство и целился, наш мальчишка-партизан. Возможно, так и прозвучала бы эта сцена фильма. Но все-таки без заключительного выстрела.

Последним, «стартовым» — но не к войне и всеобщему истреблению, а к миру навсегда — возможно, и будет как раз такой вот «невыстрел»: кто-то задумается, прежде чем «нажать», помедлит, задержится, и, может быть, этим наконец «задействована» будет цепная, объективно назревшая, реакция — но не убийств, как бывало прежде, а именно мира, вечного...

Если у войн бывает стартовый выстрел, то почему не может быть стартового «невыстрела», с которого планета людей навсегда устремится к миру?..

Поразительная сцена в романе «Нагрудный знак «OST» — финальная. На дороге Сергей и Костик попадают в скопления немецких войск, пленных. Огромная, привычно враждебная, в то же время какая-то «мертвая» людская масса, лишенная всех средств и целей, ради которых она была когда-то собрана.

Двое русских вместе с этой массой попадают в темный тоннель, ночуют там. К ним еще трое земляков присоединяются, которые уже вступили в конфликт с массой солдатни, вроде бы инертной, но все равно грозящей расправой.

«Я представил себе живую, враждебно шевелящуюся темноту подвала и не понял, что тут могут сделать пять человек.

— А что случилось?

— Двух побили».

Оказывается, те трое успели подраться с пленными за место в тесном подземном вокзале и теперь с тревогой наблюдают, как немцы ловят момент для расправы.

«Потом я много раз рассказывал, как мы с Кости́ком и Саней ехали из Крефельда в Дюссельдорф, как переправлялись через Рейн. Вначале это был хвастливый рассказ о том, что мы не побоялись пройти мимо целой армии раздраженных солдат, которым ничего не могло помешать свернуть нам головы. Затем была гордость — что значит быть гражданином страны-победительницы. Было удивление — традиционное впрочем — перед немецкой готовностью соблюдать порядок. Но каждый раз я с тревогой чувствовал, что что-то важное остается неисчерпанным. Эта темнота и теснота подземелья без электричества, без огоньков сигарет, с длинными перерывами между вспышками зажигалок или спичек. Разговоры в *полголоса не из-за тесноты, а из-за невероятных развалин наверху. Как будто каждый боится, что обвинят именно его*». (Курсив мой.— А. А.)

Нет, это после *той*, а не после атомной войны. Но Семин, кажется, ловит, фиксирует не только оставшееся от прошлого чувство — память, но и чувство — тревогу наших дней, нашего времени.

«Как будто давят не темнота и потолок, а воспоминания о чем-то ужасном. Как будто все здесь опасаются, что их примут *за тех, кем они являются, на самом деле*».

Т. е. «примут» за разорителей, убийц собственных городов, сел, собственной страны!

Собралась под землей, скопилась в крошечной тьме и виноватой тишине уцелевшая масса — небольшая часть тех, что недавно, как смерч, пронеслись по земле, рвали ее взрывами и гусеницами танков, убивали, убивали, убивали, пока у всех — и у соседей, и у них самих, на их собственной земле («там, наверху») — остались только развалины и гниющие трупы, бесчисленные трагедии и горе людское.

Романы Виталия Семина — о прошлом, ушедшем. Но вся их проблематика заострена веком нынешним, атомным. Вооружались, вооружались, чтобы позволить себе как можно больше. И довооружались, что запретного (под страхом самоистребления) стало куда больше, чем было когда-либо. Все более и все большим количеством людей осознаваем главный запрет — на войну. Хотя все еще продолжают раскручивать гонку вооружений те, для которых пусть лучше земля станет мертвой, но только не «красной», те, кто все еще мертвые догмы готов «защищать» до последнего, пока никого живого не останется на земле. Этому не может противостоять лишь сила материальная: она должна быть подкреплена духовной, моральной силой и правотой, тем, что живет только в людях, реальных, конкретных. Моральные, идейно-нравственные требования и запреты, овладевая массой людской, тоже становятся силой материальной.

Ее уже увидели, обнаружили на своем пути, вынуждены принимать в расчет самые циничные политики и генералы, и это говорит о многом.

Да, много существовало и существует формул, запретов, постулатов, регулировавших и регулирующих нравственный уровень жизни человека, народов, человечества. Многие ушли из жизни людей, многие, обновляясь, остаются и даже возвращаются.

Но над всем, все себе подчиняя, перепроверяя и оценивая все, встал главный из всех существующих запрет: *не убий человечество!*

* * *

«Какой-то немец, похожий на переодетого солдата, о чем-то спросил меня, я ответил. И вдруг поразился тому, что отвечаю, не затрудняясь поиска-

ми нужного немецкого слова. Память сама выдавала слово за словом, хотя за секунду перед этим я ничего, казалось, о них не знал. Это было чудо, и я боялся, что оно вот-вот иссякнет... Они (немцы) ушли, мы с Кости́ком побежали догонять своих. И пока я бежал, я испытал странное ощущение: было чудо, а теперь на его месте пустота. Это я про себя пытался повторить слова, которые говорил немцу. И к первому восторгу, переполнявшему меня, примешивалось досадное чувство потери. Никогда не повторялось то, что случилось со мной в первые минуты победы».

Виталий Семин описывает в романе «Нагрудный знак *«OST»* состояние человека, известное по многим случаям, зафиксированным памятью людской и самой наукой: «включение» резервных возможностей ума, памяти, подключение физических ресурсов организма в минуты особенного подъема духа, радости или же, наоборот, опасности, беды. (Как тот случай, когда хрупкая, маленькая женщина-японка приподняла автомобиль, придавивший ее ребенка, хотя потом несколько сильных мужчин не смогли сделать то же самое.)

Но в человеке, в людях, очевидно, и другой резерв имеется, который тоже обнаруживается, включается в условиях, обстоятельствах исключительно важных — для многих или даже для всех важных — вдруг вспыхивает в ком-то, как острый «лазарь», луч нравственного прозрения, далеко вперед проникающий...

С этим чудом мы встречаемся в произведениях одного из удивительнейших романистов последних десятилетий Виталия Семина.

Выше была заявлена, но до конца не развивалась мысль, что семинский герой иногда действует настолько вопреки нормам того, военного, «лагерного» времени, что в нас, сегодняшних, нет-нет да и появится чувство несогласия с самим автором, который порой слишком уж резко «насилует» наши привычные взгляды, оценки.

Все три попытки Сергея Рязанова выстрелить в человека и тотчас срабатывающий запрет и мучающая его «невозможность переступить» — все это можно еще свести к тому объяснению, что война-то окончилась, выстрел Сергея был бы запоздалой мстью, самосудом, бессмысленной жестокостью, унижающей тех, кто фашизм ненавидел, боролся с его человеконенавистнической жестокостью.

Отчасти это так. И это уже много. Но это еще не вся правда о человеке, вычитываемая из романов Виталия Семина. И не вся правда о самом авторе, о решимости его идти гораздо дальше в понимании человека и современной нравственной ситуации в мире.

В романе «Нагрудный знак «OST» есть и такая сцена, ситуация: рассказывается, как узники, ночью выбравшись из лагеря, уже слабо охраняемого немцами, идут на хутор, чтобы расправиться с немцем-мастером, осатаневшим от служебной старательности, которого особенно ненавидели рабочие-иностранцы. Война еще не окончилась, еще гремит и пылает пожарами, хотя теперь — в самой Германии.

И вот вооружившиеся узники затаились возле дома своего врага, Сергею тоже поручили участок наблюдения.

«От напряжения я временами слеп. В один из таких моментов мне показалось, что из двери что-то вытекло. Пока я с оборвавшимся сердцем понял, что дверь открыли, и открыли бесшумно, кошка пробежала через двор к сараю. Я еще надеялся, что дверь открывали специально, чтобы выпустить кошку, когда кто-то рослый и будто смущающийся отделился от двери. Движения его были спрашивающими. Постоял, взял рядом с дверью не замеченные мною вилы и словно показал их. И первый шаг его был спрашивающим. Меня он не видел.

Там, где я стоял, тень была гуще. Я отступил к калитке и вспомнил о револьверчике только тогда, когда уперся в нее спиной. Калитка открывалась во двор, и теперь, чтобы выйти, надо было сделать шаг или два навстречу тому, с вилами. Я присел под заборчик и только тут почувствовал в руке маленькую рукоятку. Под бойком в барабанчике была пустая ячейка. Я щелкнул.

Словно ждал этого звука — человек остановился и... кивнул. Я передохнул, увидев его оцепенение, и шепотом скомандовал:

— Цурюк!

Кивая, будто в заговоре со мной, он так же осторожно отступил, и я услышал, как он закрывает и запирает дверь.

Это было все! Надо было давать знать нашим».

* * *

Вот уже сто лет жизнь и литература, заглядывая друг в друга, как напротив стоящие зеркала, без конца повторяя и повторяясь: «слезинка одного-единственного ребенка», пытаются разрешить мудронаивный вопрос больной совести века девятнадцатого (и двадцатого): ну, а вы, лично вы, приняли бы тот рай и будущую гармонию? Если бы точно знали, что ради вашего счастья и благоденствия замучили ребенка, одного-единственного...

Достоевский и век девятнадцатый испытывали человеческую совесть: *кто-то* ради вас, вашего счастья замучил...

Но начиная с гитлеровских тридцатых, а затем — в тревожные шестидесятые годы и пол-потовские семидесятые человеку *самому* предлагают кого-то замучить — будто бы ради будущего счастья «народа», «народов», «человечества». Требовательно навязывали, навязывают человеку роль палача, убийцы, открыто предлагают поучаствовать и посоучаствовать в многомиллионных убийствах. Хотя бы потому, что «есть вещи поважнее...».

Сознание, фантазия невольно лепит из всего этого сонмища все новых «убивцев-теоретиков» обобщенно единственный образ — уже с пальцем на «кнопке». Все зло мира в этом нацелившемся пальце, а этот некто говорит из пуленепроницаемого «бокса»: «Вот пистолет, а перед тобой затылочек ребенка. Да, да, того самого «одного-единственного»! Не выстрелишь — я нажму пальцем. И все взлетит в космос. Не говорю «в воздух», потому что и сам воздух планеты вашей развеется в межзвездном мире. Такая это кнопка! Не убьешь одного-единственного, не захочешь, не сможешь, значит, убьешь все пять (или сколько вас теперь?) миллиардов, в том числе и его же, этого мальчонку. И себя тоже. Так что стреляй!»¹

¹ Ну зачем эти фантазирования, если такого никогда не может быть?.. Не может, и слава тебе господи! Только ведь ничего окончательно не знаешь. Не успел «Новый мир» (1981, № 10) выйти в свет с набранными строчками: «кто может предугадать, какой выстрел станет стартовым, если так будет продолжаться и, может быть, у кого-то появится соблазн рискнуть еще и атомным выстрелом (одним-единственным)» (с. 186), как стало известно из газет, что такой «единственный» как раз и предусмотрен в планах НАТО: бросить «предупредительную» бомбу и посмотреть!.. (Примечание автора.— А. А.)

Как бы вы поступили? Ни за кого не прячась — именно вы. Нажмет на кнопку, ведь нажмет, гадина! Что же делать, как спасти всех? Все «за» и «против» («pro» и «contra» у Достоевского) переберете — надо выстрелить! Иначе вы, именно вы окажетесь убийцей пяти миллиардов. Какое мировоззрение, какая религия, чья мораль, а тем более здравый смысл — кто и что возьмет на себя ответственность: отдать, обречь на гибель пять миллиардов жизней ради одной-единственной, которая тоже «все равно» обречена?

Не будем дальше пытаться этой ситуацией нашу совесть. Тем более что полного и окончательного ответа все равно не получишь: человек себя до конца не знает, не видит «до самого-самого доньшка». Пока не наступает момент действовать. Знаем мы одно. Человек все еще убивает и способен убивать. Именно на этом «ловят» его не воображаемые, а вполне реальные «убивцы-теоретики». И «великие» этого дела практики. Да нет же, не кто-то, а сам себя человек и «ловит», и в угол загоняет. В конечном-то счете. Загоняем себя в угол взаимной ненависти, жестокости, войн, тирании.

Но раз мир пока еще такой, каким же человеку быть? Отдельно взятому. Представить себе невозможно более несчастное существо, чем то, которое уже несло бы в себе абсолютный запрет на «убий» и вдруг оказалось бы в ситуации, которую мы смоделировали. (Смоделировали, всего лишь следуя за развитием, логикой современных мировых событий). Все «pro» и «contra» требовали бы: выстрели и спаси, а человек корчился бы, как на огне, от невозможности «нажать», выстрелить — не потому, что не хочет, что у него «принципы» и т. п. А потому, что не может, это ему не дано, для него невозможно. Нечто сродни инстинкту, равное запрещающему инстинкту. Как сегодня для всех нормальных людей — отвращение к каннибализму.

И мир еще не тот, и мы, люди, все еще не те. Но уже сознаем — какие. И какими хотим быть, стать. Чтобы наконец вырваться из этого «чертового колеса» бесконечного самоистязания и самоистребления.

Главное знать — куда идти. Куда, на кого путь держать.

Мир погибнет, если я остановлюсь! — с этим чувством входил гений Льва Толстого в литературную, в умственную жизнь своего века, в общем-то еще далекого

от этой перспективы, возможности — погибнуть. Сегодня, когда опасение, выражение «мир погибнет» не всего лишь метафора, а высчитанная реальность (если мы, люди, не сделаем того-то и того-то!), не обязательно гением быть, чтобы ощутить внутренний, неотменимый приказ: не останавливайся, не имеешь права и именно ты, ты, а иначе мир погибнет!

Поддерживать, укреплять, расширять в человеке это чувство, сознание личной ответственности за самое главное — каким нам быть и тем самым где быть, в каком мире жить и жить ли — не эта ли задача важнейшая для современной литературы.

1982

БИБЛИОГРАФИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АЛЕСЯ АДАМОВИЧА

НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ СССР

На белорусском языке

Шлях да майстэрства: Станаўленне маст. стылю
К. Чорнага.— Мн.: Выд-ва АН БССР, 1958.— 180 с.

Культура творчасці: Літ.-крытыч. артыкулы.— Мн.: Дзяржвыд БССР, 1959.— 237 с.

Беларускі раман: Станаўленне жанру.— Мн.: Выд-ва АН БССР, 1961.— 294 с.

Маштабнасць прозы: Урокі творчасці К. Чорнага.— Мн.: Навука і тэхніка, 1972.— 198 с.

Я з вогненнай вёскі...— Мн.: Маст. літ., 1975.— 448 с.— У сааўт. з Я. Брылём, У. Калеснікам.

Хатынская аповесць.— Мн.: Нар. асвета, 1976.— 206 с.

Здалёк і зблізку: (Беларус. проза на літ. планеце).— Мн.: Маст. літ., 1976.— 624 с.

Літаратура, мы і час: Артыкулы і выступленні.— Мн.: Маст. літ., 1979.— 383 с.

«Браму скарбаў сваіх адчыняю...» — Мн.: Выд-ва БДУ імя У. І. Леніна, 1980.— 223 с.

На русском языке

Война под крышами: Роман.— Мн.: Госиздат БССР, 1960.— 287 с.

Сыновья уходят в бой: Роман.— М.: Воениздат, 1964.— 318 с.

Партизаны: Диалогия.— Мн.: Беларусь, 1963.— 598 с.— Содерж.: Война под крышами; Сыновья уходят в бой.

Становление жанра: (Белорус. роман) / Авториз. пер. с белорус. З. Крахмальниковой и Е. Стояновской.— М.: Сов. писатель, 1964.— 339 с.

Война под крышами; Сыновья уходят в бой: Диалогия / Послесл. В. Коваленко.— М.: Известия, 1966.— 624 с.— (Б-ка «Пятьдесят лет советского романа»).

Война под крышами; Сыновья уходят в бой: Диалогия.— М.: Воениздат, 1969.— 592 с.— (Советский воен. роман).

Война под крышами; Сыновья уходят в бой: Романы. Диалогия / Вступит. статья Л. Лазарева.— М.: Худож. лит., 1971.— 608 с.

Война под крышами; Сыновья уходят в бой: Романы. Диалогия.— Мн.: Маст. літ., 1973.— 500 с.

Партизаны: Роман-диалогия.— М.: Воениздат, 1980.— 571 с.— Содерж.: Война под крышами; Сыновья уходят в бой.— (Школьная б-ка).

Хатынская повесть.— М.: Воениздат, 1973.— 293 с.

Хатынская повесть.— Мн.: Маст. лит., 1974.— 206 с.

Хатынская повесть / Вступит. статья И. Мележа.— М.: Худож. лит., 1974.— 208 с.

Хатынская повесть.— М.: Известия, 1975.— В кн.: Повести о войне, с. 13—212.

Хатынская повесть.— М.: Воениздат, 1976.— 192 с.— Повесть удостоена премии М-ва обороны СССР.

Хатынская повесть; О войне и о мире.— М.: Воениздат, 1982.— 320 с.

Горизонты белорусской прозы: Лит.-критич. очерки.— М.: Сов. писатель, 1974.— 318 с.

Асия; Последний отпуск: Повести.— Мн.: Маст. лит., 1975.— 192 с.

Избранные произведения в двух томах.— Мн.: Маст. лит., 1977.

Т. 1. *Война под крышами; Сыновья уходят в бой: Романы / Предисл. Л. Лазарева.*— 592 с.

Т. 2. *Асия; Последний отпуск; Хатынская повесть; Интервью. Статьи. Выступления.*— 496 с.

Кузьма Чорный: Уроки творчества / Авториз. пер. с белорус. З. Крахмальниковой.— М.: Худож. лит., 1977.— 189 с.

Я из огненной деревни... Мн.: Маст. лит., 1977.— 464 с.— В соавт. с Я. Брылем, В. Колесником.

Я из огненной деревни... / Авториз. пер. с белорус. Д. Ковалева.— М., Известия, 1979.— 524 с.— (Б-ка «Дружбы народов»).— В соавт. с Я. Брылем, В. Колесником.

Лев Толстой и белорусская литература (Война и человек).— Мн.: Наука и техника, 1978.— 63 с.— (VIII Междунар. съезд славистов).

Блокадная книга.— М.: Сов. писатель, 1979.— 294 с.— В соавт. с Д. Граниным.

Блокадная книга.— М.: Советский писатель, 1982.— 431 с.— В соавторстве с Даниилом Граниным.

Каратели. Радость ножа, или Жизнеописания гиперборцев.— Мн.: Маст. лит., 1981.— 206 с.

Каратели / Предисл. И. Дедкова.— М., 1981.— 80 с. (Роман-газета; № 5).

О современной военной прозе.— М.: Сов. писатель, 1981.— 440 с.

Война и деревня в современной литературе.— Мн.: Наука и техника, 1982.— 199 с.

Собрание сочинений в четырех томах.— Мн.: Маст. лит., 1981—1983.

Т. 1. *Война под крышами; Сыновья уходят в бой: Диалогия / Предисл. В. Коваленко, 1981.— 622 с.*

Т. 2. *Асия; Последний отпуск: Повести; Кузьма Чорный. Уроки творчества; Эссе; Публицистика и критика 50—70-х годов, 1982.— 606 с.*

Т. 3. *Хатынская повесть; «Врата сокровищницы своей отдаю...»; Эссе; Статьи, выступления, интервью.— 1982.— 636 с.*

Т. 4. *Каратели (Радость ножа, или Жизнеописания гиперборцев). Публицистика и критика 70-х — начала 80-х годов, 1983.— 682 с.*

На армянском языке
Хатынская повесть /Пер. Г. Овсепяна.— Ереван: Советакан грох, 1981.— 232 с.

На казахском языке
Хатынская повесть /Пер. Б. Нусупбековой.— Алма-Ата: Жазушы, 1982.— 240 с.

На латышском языке
Каратели. Радость ножа, или Жизнеописание гипербореев /Пер. Ю. Ванага.— Рига: Лиесма, 1981.— 236 с.

На литовском языке
Война под крышами: Роман /Пер. Р. Кейдошиса.— Вильнюс, 1963.— 358 с.

На молдавском языке
Хатынская повесть /Пер. Т. Палади. Предисл. И. Мележа.— Кишинев: Литература артистикэ, 1980.— 258 с.

На украинском языке
Хатынская повесть /Пер. Г. Игнатенко.— Киев: Дніпро, 1973.— 176 с.

Хатынская повесть /Пер. Г. Игнатенко.— Киев: Радянський письменник, 1974.— 272 с.

Я из огненной деревни... /Авториз. пер. с белорус. М. Львович.— Киев: Дніпро, 1977.— 404 с.— В соавт. с Я. Брылем, В. Колесником.

НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

На английском языке
Я из огненной деревни... /Пер. А. Графа и Н. Беленькой.— М.: Прогресс, 1980.— 468 с.— В соавт. с Я. Брылем, В. Колесником.

Блокадная книга.— М.: Радуга, 1983.— 402 с.— В соавт. с Д. Граниным.

На болгарском языке
Война под крышами: Роман /Пер. Р. Пренкова.— Варна: Госиздат, 1963.— 302 с.

Хатынская повесть /Пер. Е. Герговой.— София: Народна култура, 1975.— 214 с.

Асия; Последний отпуск: Повести /Пер. Т. Узуновой.— Пловдив: Христо Г. Данов, 1977.— 151 с.

Я из огненной деревни...— М.; София: Прогресс; Партиздат, 1981.— 463 с.— В соавт. с Я. Брылем, В. Колесником.

Блокадная книга /Пер. К. Витановой.— София: Партиздат, 1981.— 365 с.— В соавт. с Д. Граниным.

На венгерском языке
Хатынская повесть /Пер. А. Сопрони.— Будапешт: Магвето киадо, 1977.— 192 с.

Блокадная книга /Пер. Г. Геллерта.— Будапешт: Магвето кёнивкиадо, 1979.— 317 с.— В соавт. с Д. Граниным.

Я из огненной деревни... /Пер. Макая Имре, Мишляя Паля, Рецки Рита, Сабо Марии.— Будапешт: Кошут, 1979.— 388 с.

На испанском языке

Хатынская повесть; Война под крышами /Пер. Мариана Кановас.— М.: Прогресс, 1982.— 410 с.

На немецком языке

Хатынская повесть /Пер. Г. Кубарта.— Берлин; Веймар: Ауфбау ферляг, 1974.— 249 с.

Каратели /Пер. Т. Решке. Предисл. Г. Канта.— Берлин; Веймар; Ауфбау ферляг, 1983.— 253 с.

На польском языке

Рожденная в пламени: (В оригинале «Хатынская повесть»).— /Авториз. пер. М. Конановича.— Лодзь, 1975.— 220 с.

Я из огненной деревни... /Пер. М. Конановича, Е. Литвинюк. Предисл. Ф. Селицкого.— Варшава, ПАХ, 1978.— 440 с.— В соавт. с Я. Брылем, В. Колесником.

Блокадная книга /Пер. В. Веньковской.— Варшава: Гос. издат. ин-т, 1982.— 283 с.— В соавт. с Д. Граниным.

На румынском языке

Хатынская повесть /Пер. М. Новикова.— Бухарест: Универс. 1982.— 221 с.

На словацком языке

Хатынская повесть /Пер. Веры Крновой.— Братислава: Словацкий писатель, 1975.— 208 с.

Блокадная книга /Пер. А. Шуфлярской.— Братислава: Обзор, 1981.— 275 с.— В соавт. с Д. Граниным.

Каратели (Радость ножа, или Жизнеописание гиперборцев).— /Пер. Веры Крновой. Предисл. Андрея Марушака.— Братислава: Словацкий писатель, 1982.— 253 с.

На французском языке

Белоруссия в огне: (В оригинале: «Хатынская повесть»; «Война под крышами»).— /Пер. Ж. Шампенуа, О. Татаринова.— М.; Париж: Прогресс; Книга клуба Дидро, 1977.— 605 с.

На чешском языке

Хатынская повесть /Пер. и послесл. В. Жидлицкого.— Прага: Нар. изд-во, 1975.— 248 с.

Блокадная книга /Пер. М. Беранова, В. Кружикова.— Прага: Нар. изд-во, 1981.— 232 с.— В соавт. с Д. Граниным.

Я из огненной деревни... /Пер. В. Жидлицкого.— Прага: Наше войско, 1981.— 390 с.— В соавт. с Я. Брылем, В. Колесником.

Каратели /Пер. В. Михна. Послесл. В. Жидлицкого.— Прага: Нар. изд-во, 1982.— 201 с.

СОДЕРЖАНИЕ

КАРАТЕЛИ (Радость ножа, или жизнеописания гиперборцев).

Чем выше обезьяна взбирается по дереву	6
Поселок первый	22
Поселок второй	36
Поселок первый. 11 часов 51 минута по берлинскому времени	47
Поселок третий	49
Поселок первый. 11 часов 52 минуты по берлинскому времени	56
Поселок третий	57
Между третьим и четвертым поселками	63
Поселок четвертый	101
Поселок первый. 11 часов 53 минуты по берлинскому времени	114
Поселок пятый	115
Поселок шестой	118
Разговор умершего бога с проституткой	147
По направлению к центральной усадьбе деревни Борки	153
Поселок первый. 11 часов 56 минут	204
Когда мы брали их штыки-кинжалы, то они были в крови...	205
Чем выше обезьяна взбирается по дереву, тем лучше виден ее зад	209
Материалы к современной истории гиперборцев	227

ПУБЛИЦИСТИКА И КРИТИКА

70-х — начала 80-х годов

В соавторстве с народом	235
Через годы и произведения	277
Ответ на анкету издательства «Книга»	282
Мысль разрешить	312
По праву любви	320
Надо ли бояться «чужих» классиков?	333
Всем ветрам открытая...	341
Достоевский после Достоевского	352
Чтобы не прозвучал «стартовый» выстрел	372
Не кутор, но мир	382
С чего пошла, начиналась «Блокадная книга»	389
Что дает нам сегодня память о войне	400
«Полесская хроника» Ивана Мележа по записным книжкам	406
Ничего важнее...	452
Выбери — жизнь	459
«Круглый стол» журнала «Латинская Америка»	470
Эхо Марша мира — 82	478
Выбрать себя: такого или такого	482
Да, ничего важнее...	491
<i>Библиография произведений Алеся Адамовича</i>	553

Адамович А.

А 28 Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 4. Каратели (Радость ножа, или Жизнеописание гипербореев). Публицистика и критика 70-х — начала 80-х годов. — Мн.: Маст. лит., 1983. — 558 с., 4 л. ил.

В пер.: 1 р. 90 к.

Содержание четвертого тома Собрания сочинений известного советского писателя и ученого Алеся Адамовича составили «Каратели (Радость ножа, или Жизнеописание гипербореев)», публицистика и критика 70-х — начала 80-х годов.

А 4702010200—147
М302(05)—83 подписное

**ББК 84 Р7
Р2**

АЛЕСЬ
(Александр Михайлович)
АДАМОВИЧ

Собрание
сочинений
в четырех
томах

Том 4

КАРАТЕЛИ
(Радость ножа,
или Жизнеописание
гиперборцев)

**ПУБЛИЦИСТИКА
И КРИТИКА**
70-х — начала 80-х годов

Редактор П. З. Шевцов.

Художник Н. В. Суслова

*Художественный редактор
Л. Я. Прагин*

Технический редактор Т. М. Сокол

Корректоры

Е. А. Бебель, А. А. Баченкова.

ИБ № 1622

Сдано в набор 02.02.83. Подп. к печати
02.09.83. АТ 12055. Формат 84 × 108¹/₃₂.
Бумага тип. № 1. Гарнитура школьная.
Высокая печать с ФПФ. Усл. печ.
л. 29,40 + 0,42 вкл. Усл. кр.-отт. 29,82.
Уч.-изд. л. 30,01. Тираж 130 000 экз.
Зак. 3320. Цена 1 р. 90 к. Издательство
«Мастацкая літаратура» Государст-
венного комитета БССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торгов-
ли. 220600, Минск, проспект Машерова,
11. Минский ордена Трудового Красно-
го Знамени полиграфкомбинат МППО
им. Я. Коласа. 220005, Минск, Красная,
23.

